

Блестящий подарок
Поэты Пикассо, Натюр, 1968
Миниатюра за 5 копеек
Время
Красный медвежонок
Старый старый лесен
Курьей французской
Первая любовь Балагараши
Счастливые часы
В слезу
Коротко о жизни поэзии
Навес
Синьковичи
Школа турки обуртис
Сказка соловья
Сладкая балка Балагараши
Мелкие турки
Стихи Густаво
Часова
Они в сердце восточности
Стихи поэта в Пикассо
И те минута в часе
Жизнь на родине
Последнее утро
Самый красивый на свете
Смерть Стигана
Ноги ленин, ноги ленин
Красные звонки в отечестве
"Пира Пикассо"
Звездная пира ленин
Сери Пикассо
Арба
Кубинское искусство
Пикассо
Восхи

ЭЛЬЧИН

Раскраски





2.787098

— Эльчин —

РАССКАЗЫ

M.F. Axundov adına
Azərbaycan Milli
Kitabxanası

ÇAŞIOĞLU
2010

Ш 6(2-ФЗ) + ФЗ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Предисловие, которое издательство предлагает вниманию читателей, это — статья выдающегося русского литературного критика Льва Аннинского и написана она в далеком уже 1981-ом году.

Прошло почти тридцать лет и за это время Эльчин написал три романа - «Махмуд и Мариям», «Белый верблюд» и «Смертный приговор», которые стали событием в современной литературе, переведены на многие языки мира; были написаны десятки пьес, которые ставились на сценах многих известных театров и появилось такое художественно-эстетическое понятие как «Театр Эльчина»; написаны другие рассказы и повести, сценарии, статьи, научные монографии по актуальным проблемам литературы...

За это время много написано, в том числе и русскими критиками о творчестве Эльчина.

В 1981-ом году Эльчин - молодой, талантливый, и уже известный писатель - один из ярких представителей «поколения шестидесятых».

Сегодня Эльчин — крупнейший представитель современной литературы, мэтр.

Однако редакция сочла целесообразным вместо предисловия, опубликовать статью Л. Аннинского потому, что в ней очень точно определен дух эльчиновских рассказов, тонко переданы характерные черты его художественного слога, которые нашли свое дальнейшее развитие в творчестве писателя.

Эльчин. Рассказы.

Баку: Чашыюглу, 2010. – 512 с.

ISBN 978–9952–27–255–0



Лев Аннинский

МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА НА АЛМАЗНОЙ ГОРЕ

Эльчин, его герои и героини

— А почему вы, созерцая эту красоту, не задумались о том, чтобы... изменить вашу неудавшуюся жизнь?

— Потому, что это невозможно... Все так думают... Птичка не продолбит алмазную гору своим клювиком.

Эльчин

Все видят у него – птичку. Крошечную, нежную, трогательную. Из сказки, из фантазии. Может быть, она есть, а может, только мерещится. Может быть, это сон, впрочем, скорее чудо. Эльчин любит чудеса, он легкий и добрый сказочник, он грустный волшебник, он импрессионист, предпочитающий мерцающие, золотистые, серебристые краски – что-то искрится в его прозе, что-то трепещет... ах, да, птичка, где-то там, вдали, сверху, в холодной выси. Все видят в прозе Эльчина серебристый слой фантазии; одни растроганы, другие раздражены (я про критиков), одни говорят: что за прелесть эти оттенки, другие говорят: ради оттенков незачем мобилизовать столько чудес.¹

Интересно, стали бы мы вглядываться в ледяную высь, если бы не птичка?.. Интересно, а что она там делает? Тысячеверстную гору долбит клювиком – зачем? Вы думаете, продолжить надеется? А может быть, другое? Может быть, это она нам так на гору указывает? Может

быть, это сказочное мерцание оттенков в прозе Эльчина – только ореол и отсвет, а суть – в этой алмазной тверди, в этой каменной горе, в этой непроходимой, неодолимой, рассекающей мир стене?

Легенда о алмазной горе появилась у Эльчина сравнительно недавно, в одной из поздних повестей, – но ведь и в ранних рассказах, попавших в круг внимания читателей на рубеже 70-х годов, что-то подобное. Помню читательское ощущение от этих рассказов и вообще от прозы Эльчина времен «Первой любви Балададаша»: что-то мерцает, дрожит, трепещет, а что-то незлыблемо проглядывает, проступает сквозь чудесное кружево... стена.

Стена – ключевой образ первых рассказов, с которыми вошел в литературу молодой азербайджанец.

Стена может быть и прозрачная: сквозь нее видишь, а пройти не можешь. Стена из воздуха. По эту сторону – ты. Это реальность. По ту сторону – твоя мечта.

Смешной Балададаш в кепке величиной с аэродром влюбляется в дочь приехавших на лето дачников. Он ее видит, но она несбыточна, бесконечно недостижима для него.

Бесконечно далеки от маленького Абили пассажиры больших поездов, пронсящих мимо его селения.

И точно так же, как студент Джаваншир сказочно недостижим для девочки Дурдане, сам Джаваншир безнадежно влюблен в недостижимую, словно «из того, другого мира» вышедшую красавицу Медину-ханум... Если же недостижимая Медина-ханум оказывается (в реальности) более чем доступной, так это-то как раз и убивает у Джаваншира всякое чувство: герой Эльчина должен томиться по недостижимому идеалу. Жар-птица хороша в небе, за серебристой стеной воздуха; в руках царственная птица съезживается в обыкновенную серенькую пташку: мечту убивает обыкновенность.

Любопытно, что прекрасные видения отнюдь не составляют в прозе Эльчина объекта преимущественного интереса – просто птичка первым делом попадает на глаза. Его чудеса – это чудеса в почтовом отделении. Прекрасное у него окаймлено бытом и быт прописан вполне прозрачными штрихами, выдающимися в Эльчине весьма зоркого реалиста, хорошо знающего и жизнь бакинских квартир, и жизнь Абшеронских поселков нашего времени. Однако среди гомона и шума, которым полнится жилой квартал, Эльчин все-таки любит поставить четыре стены и в стенах поселить старого (впрочем, можно и молодого) холостяка, человека одинокого, до которого будет оттуда доноситься шум чужой жизни, крик детей, топот ног, стук молотка.

¹ См. полемику Аллы Марченко и Владимира Новикова по поводу книги Эльчина «Серебристый фургон» («Литературная газета», 1979, 1 августа, с.5).

Жизнь, в которую оказываются заперты героини Эльчина, кажется им не настоящей, призрачной, хотя они знают, что она реальна. Подлинной жизнью видится им та жизнь, что за стенами, – пока она за стенами... За пронсящимися стеклами вагонов... За волшебной линией театрального занавеса. Переступить линию? «Это невозможно...». У Эльчина какое-то удивительное умение разводять быт и мечту на полюса бытия: если тихая Дурдане дождется своего Джаваншира и он заключит ее в свои объятия – в этом мало окажется для них реальности, ибо бытовой интерьер такой сцены (холодная тесная комнатенка в ветхом доме где-нибудь «напротив старой мечети», керосинка на табуретке, шалью прикрытые ноги) станет для героев воплощенным Раем, которого уже нельзя будет коснуться руками. Уход возлюбленной из этого Рая покажется предательством, и вы напрасно стали бы доказывать герою рассказа «Напротив старой мечети», что молодой женщине, может, плохо в ее скудной послевоенной клетушке с чадающей керосинкой у ног, что для этой изысканной души уход к жениху в «квартиру с ванной» есть, плюс ко всему, еще и реальный уход от одиночества, нужды и холода, – герой этого не услышит, не почувствует, потому что для него реально совсем другое: мир его чувств, его грез, его воображения.

Рассказы Эльчина – это психологические этюды, словно написанные акварелью по грубому натуральному холсту. Можно увидеть в этих рассказах влияние поздних русских классиков, в частности Чехова и Бунина; можно – воздействие русских писателей 20-х и 30-х годов, может быть Зощенко и Булгакова, – мечта и быт, тончайшие оттенки по грубому грунту, чертовщина, возникающая на этом контрасте. Русскому читателю эти аналогии бесполезны, потому что помогают воспринять стиль Эльчина (с этой целью я их и провел в послесловии к первому русскому изданию его рассказов в 1975 году), но, конечно, генезис этого стиля надо определять из более близких аналогий. Надо искать азербайджанскому послевоенному поколению соответствующие параллели в братских литературах. В русской городской «исповедальной» повести, расцветшей на исходе 50-х годов, и в русской же «деревенской» лирической прозе, которая на исходе 60-х стала реакцией на «исповедальность». В литовской школе «подводного видения». В «лабораторной прозе» молодых эстонцев. У грузинских «шестидесятников», с их теплотой и сочувствием «просто человеку». У Гранта Матевосяна с его полуироническим эпизмом, учитывая и ту сентиментальность, ответом на которую явилась его ирония...

В Азербайджане эта волна сформировалась относительно поздно,

когда первые острые схватки «идеалистов» и «догматиков» были уже позади, когда уже и первые иллюзии молодых были изжиты, и радость первого самоутверждения окрасилась горечью некоторого опыта, и претензии объять целый мир сменились трезвым пониманием меры сил. От этого, наверное, в Азербайджане у «новой волны» были особые краски; этюдный психологизм, апология чувствительного сердца, страдающего от соприкосновения с низким, «мещанским» бытом, чудеса, воспарение души. Условность и этюдность вовсе не казались формой самоограничения; напротив, это была форма решения «глобальной» человеческой задачи – как и во всех «молодых литературах» того времени. Самохарактеристики зачинателей «новой прозы» в Азербайджане можно свободно распространить за пределы республики: микроскоп, введенный внутрь души (Иса Гусейнов); повествование от собственного лица, а не от имени «проблемы» (Акрам Айлисли); неоднозначность отношения к предмету (Анар) – это могли бы сказать о себе и Слуцкис, и Шукшин, и Ветемаа... В пределах столь широкого круга надо, однако, понять специфику именно азербайджанской «молодой прозы», ее особенный вклад – тот специфический аспект, в котором она стала решать проблему человека.

Взглянем изнутри. Определяя свои творческие координаты (и отдавая необходимую дань всеобщим литературным «поветриям» от Ремарка до Гарсиа Маркеса и от Бунина до Булгакова), азербайджанские прозаики «новой волны» дружно называют в качестве своего предтечи Моллу Насреддина – знаменитого прозаика, публициста и драматурга начала века, одного из основателей азербайджанской советской литературы – Джалила Мамедкулизаде. Любопытно, однако, что именно они берут у него. Акрам Айлисли воспринимает Мамедкулизаде, прежде всего, как певца городской крестьянской души (в противовес всем тем, кто крестьянину мешают). Анар видит в нем преимущественно исследователя души обыкновенного, «маленького» человека (в противовес выпренности и абстрактности). А Эльчин? Эльчин, называя Мамедкулизаде в качестве первейшего духовного авторитета и ища, как «двумя словами» обозначить суть его заветов, далее всех отходит от социальных характеристик и ближе всех приближается к психологии «как таковой» – Эльчин у великого предтечи избирает для себя «честность и самоотверженность».

В сущности, перед нами три самохарактеристики.

Акрам Айлисли – знаток крестьянской души, певец Дома и Порядка в доме, противник плоской прагматики и «взгляда извне», убежденный, что «крестьянин тем лучше делает свое дело, чем меньше

у него советчиков и подсказчиков», писатель, для которого «крестьянский угол зрения» есть не ограничение и не сужение взгляда на мир, но знак внутренней естественности, крепости и прочности этого мира.

Анар – другое. Анар – широкий строитель: вширь, ввысь, вдаль, камень к камню; видеть звезды, но не терять и опоры; традиционалисты пусть наращивают здание по горизонтали, новаторы – по вертикали; всем можно найти место; да здравствует сложность, да здравствует многозначность, да здравствует думающая личность. Анар рационален (далее я выделяю те характеристики, какие дает своим соратникам Эльчин, мне это необходимо для характеристики самого Эльчина).

Герои Анара современны, и эту современность души Анар сталкивает с властью житейской рутины; у него человек заключен в «круг», в кольцо, в плен мертвящего быта, он – пленник этого быта, если же человек бунтует, освобождается, «эмансипируется», как, например, героиня повести «Круг», то становится пленницей своей свободы, и в том, как мучительно, судорожно, надрывно переживает она эту свою «свободу», видна у Анара восточная женщина, азербайджанка, так и не научившаяся быть свободной без тайной истерики, без искреннего страдания.

Попробуем связать эту замечательную характеристику, данную Эльчиным Анару, с тем вековым духовным контекстом, который Эльчин совершенно справедливо связывает с восточной традицией, а в другом месте (говоря о прозе Максуда Ибрагимбекова) – с «мусульманскими особенностями характера».¹ Это важный контекст, без которого многое в азербайджанской прозе непонятно, как непонятны, скажем, вне тысячелетнего христианского контекста самоотвержение любящей души у Валентина Распутина, или сжигающий самоанализ у Энна Ветемаа, или мотив свободы и расплаты у Нодара Думбадзе... Исламская этика, как известно, делала упор не на красоте любви, не на добром риске свободы и не на истине индивидуального пути; здесь отправными были другие ценности; у этой культурной вселенной был иной эпический центр, вокруг которого все обращалось: красота, верности, добровольная покорность миропорядку, ощущение простой истинности нерелятивного, прочного общего бытия.

В какой-то степени этот традиционный контекст помогает нам почувствовать внутреннюю тему азербайджанской молодой прозы 60-70-х годов, решившей испытать силы и возможности «отдельного

¹ См. Эльчин Сэр Тоби из соседнего села? «Литературная газета», 1979, 31 января, с.5.

человека». Человек ощущает вокруг себя твердь: твердь вещей, твердь отношений, твердь душ. Эта твердь вовсе не обязательно противостоит человеку в качестве тупой стены, она может кружить ему голову замысловатыми лабиринтами – не этот ли крайний случай, когда пробует человек поколебать сложнейшую сеть устоявшихся отношений, его опутывающих, воплощен в ажурной, резной, головоломной прозе Чингиза Гусейнова? А смертная, вязкая, цепкая власть выпавшей человеку судьбы над его несвободной волей – не это ли определяет стиль Максуда Ибрагимбекова (далее я выделю слова Эльчина о повести «И не было лучше брата»): национальный код этой повести М.Ибрагимбекова – упрямая верность безлюбивому браку, полная надменности «честная бедность»... мистика возрастной и служебной иерархии – прочная власть душевной архаики над человеком, пытающимся освободиться...

Теперь попробуем найти в этом кругу место самому Эльчину. «Импрессионист», «кистый романтик», у которого герои действуют как бы «помимо обстоятельств», – эти ходкие определения, прилепившиеся к Эльчину в критике, с тех пор как он в начале 70-х годов вошел в круг ее внимания, отражают только часть правды. Это только птичка, трепещущая на вершине горы, трепетанием своим притягивающая взгляд. Надо ощутить и гору, которую долбит клювом птичка. Когда продолбит до основания – «пройдет лишь один миг вечности»... Есть в этом свое величие, правда? Ощутить извечную, несдвигаемую твердьню миропорядка – это тоже Эльчин... (Акрам Айлисли сказал бы: Дом и Порядок; Анар сказал бы: Круг вещей, Контакт мироздания; Максуд Ибрагимбеков сказал бы: Судьба – верность судьбе, покорность судьбе...).

Так что герой Эльчина действует отнюдь не «помимо обстоятельств» – просто его герой примеряется к обстоятельствам, сила и власть которых несоизмерима с его очевидными возможностями. Здесь – истинная суть поставленной Эльчиным проблемы, и здесь истинная причина его слабостей. Первый импульс: от стены, вдоль стены... или так: по горизонтали, вокруг горы, в облет. Или перепрыгнуть, перелететь; фантастическим скачком свести ближнее и дальнее, «это» и «то», обыденное и прекрасное, наличное и недостижимое. В рассказах Эльчина это «дальнее» проходит иногда буквальным фоном, скользящей линией горизонта. Абили живет в селении, а мимо селения проносятся на железнодорожных платформах трактора и комбайны, проносятся на север цистерны. Это простейший, «горизонтальный» метод прорисовки масштаба. Бывает вертикаль: в глубь памяти. Вот

старик пенсионер: все в прошлом. Надевает старую шубу; шуба пахнет нефтью, потому что проработал человек всю жизнь на промыслах – у него была большая жизнь... Другой старик надевает шинель – она у него с войны осталась... За границами, за стенами, очерченными Эльчиным, легко уловить и отзвуки минувшей войны, и пульс индустриального Азербайджана, и дыхание всей огромной страны: вы чувствуете невозможность для его героев остаться в пределах четырех стен, в пределах очерченного им микромира.

Однако фантастический скачок из «обыденной» реальности – лишь простейшая форма разрешения конфликта, вернее, форма эмоциональной разрядки в рассказах Эльчина. Бежит по перрону красный плюшевый медвежонок, меняет цвет пиджак, отскакивают бандитские пули от героя рассказа... Или сюжет разрешается отъездом: едет Абили в далекий университет, едет Балададаш служить в далекий Амурский край и в поезде в последний раз вспоминает нереальную, несбывшуюся свою любовь...

Конечно, вы понимаете, что такой выход из положения несет печать лирической условности. Ибо, проезжая на новое место, человек все равно несет в себе самого себя, свою душу, свои проблемы. До тех пор пока воспринимаешь Эльчина в качестве «импрессиониста» и мастера психологического этюда, это горизонтальное «сдваивание» реальности еще проходит как прием. Но не больше. Достаточно выйти за пределы этюда – и ограниченность импрессионистского письма становится очевидной. Недаром критика, столь ласково принявшая рассказы Эльчина, немедленно сменила интонацию, как только он опубликовал в журнале «Юность» повесть «Серебристый фургон». Не из соблазна самоцитации рискну привести в сокращении мою тогдашнюю рецензию на эту повесть: думаю, что моя реакция была характерна для момента, когда затрагиваемые «универсальные» нравственные проблемы впервые явно разошлись у Эльчина с условной манерой их решения.

Кстати, у меня и там пропорхнула в заглавии птица – не та нежная пичуга, которая возникла позднее, в повести о «чудесах в почтовом отделении», а та, что важно расправила крылья в повести «Серебристый фургон» – настолько важно, что мне захотелось задать той птице несколько провокационных вопросов. Что я и сделал на страницах журнала «Литературное обозрение» в апреле 1978 года.

Несколько вопросов царственной птице

В Абшеронское село Загульба прибыл фургон с пневматическим тиром. Местный шофер, напившись пьяным, захотел пострелять. Фургонщик, сославшись на инструкцию, отказал. Шофер стал буянить, ударил милиционера и был отправлен под арест. Жена арестованного, продавщица местного овощного ларька, бросилась выцарапывать глаза фургонщику...

Я точнеем образом излагаю события новой повести Эльчина, а между тем уверен, что даже читатель, только что закрывший журнал «Юность», где она напечатана, не узнает это произведение в таком пересказе.

Потому, что, в сущности, там нет ни продавщицы, ни фургонщика. А есть Лейли и Меджнун, которые увидели друг друга под звездным небом на берегу пустынного моря. И почувствовали зарождение любви. Говоря стилем повести, они ощутили, что на них упала тень царственной птицы, живущей у скал Янаргая близ сказочного Соленого озера.

Вот по пейзажу Янаргая в свете восходящего солнца, по этим звездам, по этой птице руку Эльчина узнает каждый, кто читал этого автора. Узнает именно по соединению бедной реальности и волшебной сказки. Когда в ее фиолетовом мерцании едва угадываются очертания быта, но они есть. Когда отпускает продавщица помидоры, скандалит с покупателями, а на самом деле происходит не это; на самом деле она волшебница, она умеет разговаривать с морем, и на нее пала тень царственной птицы.

Эльчин ищет в обыкновенном человеке идеальное начало – это прекрасно. Это сейчас вся наша литература делает; если бы не это, если бы человек оставался погружен в одну только тяжесть работы, в прагматику и необходимость, вряд ли такой подход к человеку вызвал бы сегодня интерес. Все дело, однако, в том, какой выстроить мостик между идеальным и реальным: в обоснованности скачка. Эльчин тщательно ищет обоснований; там, где не находит, смягчает текст самоиронией. Каждый раз, когда прекрасная Месме-ханум воспаряет от своего прилавка в волшебную страну грез, Эльчин с извиняющейся улыбкой напоминает нам, что вкус прекрасной Месме-ханум сложился под влиянием индийских и арабских фильмов. Каждый раз, когда фургонщик Мамедага, подняв глаза к звездному небу, начинает рассуждать о тщете всего земного, Эльчин мягко добавляет от себя: подумать только, Мамедаге впервые в жизни захотелось пофилосо-

софствовать! Такие оговорки смягчают текст; читается все это легко; а все-таки мне не верится, что это фургонщик Мамедага, недавний бакинский таксист, философствует: «Ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью...». По-моему, это все-таки Эльчин философствует. С помощью переводчика Г. Митина.

Обычно в таких случаях на переводчика и сваливают: на русском-де языке чересчур красиво, а в оригинале, надо думать, естественно. Но поскольку я читал все написанное Эльчином, что переведено на русский, причем разными переводчиками, то рискну предположить, что Генрих Митин тут ни при чем. Это именно Эльчин – такое вот острое соединение реальности и феерии. Это его стиль, и этим определилось в свое время его место в литературе. Именно такое лирико-философское вторжение в повседневность позволило молодой азербайджанской прозе 60-х годов преодолеть тяжелую инерцию чистой описательности, и Эльчин, наряду с Анаром, Акрамом Айлисли, братьями Ибрагимбековыми, был одним из творцов этого стиля. В ту пору аналогичные процессы шли во многих республиках. В Грузии это делали Т. Чиладзе и А. Сулакаури, в Молдавии И. Друцэ и В. Василаке, в Эстонии Э. Ветемаа и М. Унт. Если вспомнить русскую литературу, то и тут нетрудно найти нечто близкое: брали какую-нибудь замороченную бытом фигуру с дорожной обочины или из барака и – сразу – в неземное сияние ее, на лунную дорожку булгаковскую, в серебристый лайнер, в волшебную сказку. И герой знает, что это несбыточно, и автор знает, и читатель знает – и шемит душу от самой этой несбыточности, и в этой игре вся суть...

Так плохо ли? – спрашиваю я сам себя. Разве не имеет право писатель работать в такой манере? Вогнать в эту скудную красотой жизнь, полную печали, серебристый фургон мечты?

Имеет право. Более того, Эльчин делает это хорошо, и есть своя прелесть, своя подкупающая сила в его прозе. Есть в ней возвышение, воспарение, очищение от повседневного. И есть поэзия – поэзия многолюдных кварталов, где в послевоенные годы колобродили голодные, едва выжившие, осиротевшие бакинские ребята – те самые, которые теперь выросли.

Но чего-то мне не хватает сейчас – не просто в повести «Серебристый фургон», а в самом этом художественном принципе. Момент не тот. Все-таки: ушли мы или так никуда и не ушли от прекрасных мечтательных 60-х годов?

У нас, в русской прозе, властители дум начала 60-х годов тоже поднимали задавленного необходимостью, остервенелого от быта и забот человека в серебристую высь, в несбыточную сказку, в печально надмирную даль. Но интересней другое. Мечтатель, нашедший в душе «идеальность», должен биться об углы реальности, искажаться, проваливаться в злость, преодолевать ее или не иметь сил преодолеть; мечтая, он должен ощущать ежесекундно тяжесть бытия, тогда я, может быть, этому поверю. Интересно почувствовать духовный импульс не в герое, воспаряющем в мифологические выси, а в человеке, сотканном из реальности. Любой озлобившийся Шукшинский «чудик» в сущности – мечтатель, сорвавшийся идеалист, голубая душа, но в нем одновременно высвечен и жесткий контур реального характера: этого мечтателя действительность цепко держит, не дает ему оторваться... Это трезвей, трудней, страшней. Но это, я уверен, тот самый передний край, который завоеван и выстрадан нашей прозой 70-х годов.

Видите, я не против поэтической повести Эльчина самой по себе. Я задумываюсь о принципе.

Эльчин пишет в финале повести:

«Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой птицы упала на девушку в бязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры».

А я говорю: помидоры-то остаются! Покупатели-то никуда не денутся! И завтра ей стоять, и послезавтра. А не ей, так кому-то еще.

Царственная птица! Ты красиво летаешь. А не можешь ли помочь с помидорами? Да-да, вот с этими ящиками, которые она ворочает руками. С этими покупателями, которые кричат на нее, потому что хотят поскорее? С тем, что у нее муж пьет и дерется? С тем, что фургон приехал и уехал, а от работы никуда не уедешь. И легче не станет. Потому, что реальность есть реальность, и человеку именно в этой «юдоли» надо быть человеком.

Перечитывая эту статью теперь, три года спустя, я думаю: а ведь недаром даже сквозь слепящий серебристый блеск почувствовал реалиста! Все-таки жизнь многолюдного квартала, из которого вышли и Месме-ханум, и Мамедага, и милиционер Сафар, и славный солдат Балададаш, и его младший брат Агаюль, и старая ведьма Зубейда, о

которой мы сейчас поговорим подробнее, - ведь и эту жизнь, где в послевоенные годы колобродили голодные бакинские ребята, сверстники Эльчина, - он все равно дает почувствовать!

Эту реальную, многолюдную жизнь Эльчин пишет с любовной иронией. Зная, что именно скажет жена мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, станет судачить с соседками у ворот; и какие именно вирши по очередному поводу сочинит местный поэт-графоман Алигулу, сын продавца на бензоколонке, и какую именно гадость сделает старая спекулянтка Зубейда... Ирония, с какой Эльчин повествует об этих тысячекратно повторяющихся, безусловно, предсказуемых, почти ритуальных действиях, интонация сказочника (или сказителя), знающего наперед все действия своих героев, тонкое пародирование эпоса - все это тоже черта «новой прозы», и нам есть что вспомнить в этой связи.

В Эстонии Энн Ветемаа пародирует «Калевипозг» чуть не с издевкой; в его романах эпический рассказчик дан без всякой мягкости, почти злорадно, - он и впрямь дергает героев за ниточки, он - «Великий Дергатель».

В Армении Грант Матевосян пародирует эпос с горьким ощущением утраченных навсегда ценностей.

У Эльчина нет ни рациональной жестокости, свойственной эстонской «лабораторной прозе», ни эпической скорби «армянского Фолкнера» (как иногда в полшутку называют Матевосяна). Мягкий и тонкий штрих Эльчина любовно очерчивает реальность, не споря с нею и ничего ей не навязывая: ни новой логики, ни старых традиций. Если у Матевосяна реальность прочна потому, что за ней - сила предания (пропадает предание - рассыпается реальность), то у Эльчина она прочна потому, что за ней - инерция большинства: все так думают - стало быть, иначе невозможно. У Ветемаа этот довод («все так думают») вызвал бы, конечно, ярость и злость, у Эльчина он вызывает понимание. Алмазная гора перед птичкой... лучше отлететь, лучше перепорхнуть - не расшибаться же о твердь... но ведь и этот опыт ценен: познать твердую вечности. Алхимик из «маленьких романов» Ветемаа тоже не стал бы расшибаться; скорее всего он вывел бы химическую формулу алмаза и оставил бы нам для раздумий, надпись: «графит». Высокогорный житель Матевосяна скорее всего основал бы на алмазной вершине символическую «республику пастухов» - ему на такой высоте в самый раз... Но сопоставить такую высоту с силами обыкновенного человека, причем бытового человека, не «формулами разума» живущего, а так, как все, предсказуемо,

«тысячекратно», - это Эльчин.

Раз в тысячу лет садится пташка на гору, и когда продолбит гору до основания...

Где взять человеку силы перед такой громадой и перед такой далью?

Это и есть самое интересное у Эльчина. Краткий миг - и вечное бытие. Ведь на какие полюса разведено...

А контакт все-таки есть. Контакт почти немислимый, головоломный. В отличие от Анара, автора повести «Контакт», где ищет человек логики у космических пришельцев, у Эльчина при таком же «перепаде высот» проблема убрана с космических высот и помещена в «бакинский квартал», в «селение на Абшероне». Только одно условие: не отлетать от реальности, не замешать ее сказкой, искать «вечное» в самом обыденном. Вглядываясь в его усталые глаза. Это в тысячу раз труднее, чем сотворить чудо. Но именно это лучшие мгновенья Эльчина - прозаика.

Его лучшая вещь - повесть «Смоковница» - тем и сильна, что контакт смысла и факта ударом тока проходит через реальность, пусть даже по инерции и прикрытую легендой.

Вот флер легенды: в тени дерева, среди благоухающих кущ Меджнун ласкает Лейлу... То есть Агаюль в кепке, величиной с аэродром, целуется с Нисой, которая прислонила свой портфель к смоковнице.

А старая карга Зубейда, сплетница и сводня, подглядев эту сцену, готовится разнести новость по всему кварталу.

Эмалева ясность рисунка, как везде у Эльчина, предполагает, казалось бы, и здесь полную четкость отношения. Да и определенность социальной характеристики не оставляет вроде бы никаких вариантов: спекулянтка, туеядка, перекупщица... С тем и является раздосадованный Агаюль к Зубейде, чтобы подкупить ее и побудить к молчанию: курочку приносит в подарок.

И тут - нечто странное. Удар тока. Глядя на ненавистную стерву; на рыхлую, дряблую, отечную старуху, одиноко стоящую посреди пустого двора, Эльчин вдруг ощущает - и заставляет нас ощутить - удивительное чувство: эту ведьму становится жалко.

Я подчеркиваю: не ту прекрасную гурию, которую можно было бы вообразить на месте ведьмы, и не ту трогательную бабушку, какая «могла бы» быть на ее месте, сложись в ее жизни все иначе, а именно эту: некрасивую и недобрую.

Впрочем, гурия все-таки возникает. Мгновенным монтажным

2. 7. 7. 9. 9. 8. 8.

стыком Эльчин по обыкновению «удваивает» фигуру и подставляет на место ведьмы ту молодую красавицу, какой еще помнят Зубейду старожилы квартала: хороша она была в военные годы – черные огромные глаза, мраморная грудь, осиная талия, журавлиная походка, стан как кипарис и т.д.

Наверное, если бы повесть Эльчина-прозаика анализировал Эльчин-критик, искавший, как мы помним, «национальный код» у Анара и Максуда Ибрагимбекова, он должен был бы и тут признать восточное происхождение приема. Исламский рай, населенный прекрасными гурьями, кажется сугубо материальным по сравнению, скажем, с потусторонним раем христианской традиции, где прекрасное охотно уходит от образа «мира сего». В одном случае весьма важен внешний облик прекрасного, в другом напротив: прекрасное утвердится скорее в облике жалком, униженном и некрасивом. К примеру, я решительно не помню, да, наверное, и не должен помнить, красива или некрасива внешне Настена у Распутина в повести «Живи и помни» – настолько несущественна и даже кощунственна мысль о такой красоте в свете душевного страдания, на которое обрекает себя героиня, свободно избирающая в любви жертвенный путь неправоты и даже унижения, готовая жизнью расплатиться за свой выбор.

Эльчин работает в магнетическом поле иной традиции – «восточной». У него человек не свободен сделать выбор и расплатиться за ошибку: он словно бы бессилен перед властным, роковым ходом времени. Память удерживает при нем не правоту или ошибку, а красоту, причем «пластичную», не кровавлено душевную, а явную, «для всех» бесспорную: «все помнят», какая у молодой Зубейды была журавлиная походка. На мнение «всех» и Адила сошлется... А вот распутинская Настена пойдет против «всех». Путь гибельный, но она пойдет. Героиня Эльчина – никогда, даже если будет знать, что это путь правый. Пленница. Не уйти за грань данного. Только «по горизонтали» – на стык «двух внешних обликов». Между гурией и фурией: одно компенсирует другое.

Вот почему так странна в этой системе неожиданно возникающая жалость. Она тут вне логики. Чтобы эмоционально уравновесить парадокс, Эльчин опускает другой конец коромысла; он описывает беззастенчивую жизнь молодой красавицы Зубейды: как в тяжелые военные годы она «купалась в грязных деньгах», и «пила вино с этим золотозубым», и не хранила верности честному солдату Закиру... Я понимаю, что с помощью этих подробностей автор помогает мне, читателю, совладать с неожиданным сочувствием старой «туняядке».

Как школьник, воспитанный в свое время на категориях типического, я, конечно, справляюсь с задачей и, прочно сцепляя образ молодой туняядки 1943 года с образом старой туняядки 1973 года, завершаю дело назидательной формулой: сама виновата. Но как человек, воспитанный на Толстом, на Достоевском, на всей русской культурной и духовной традиции, я откликаюсь в этой сцене вовсе не на назидательный пласт, а именно на ту нелогичную, странную жалость, которую Эльчин и пытается вогнать обратно в равновесие: раз фурия вызвала сочувствие, тогда гурья пусть вызовет омерзение!

«Купалась в деньгах...» Назидательность этого мотива не оттого, что показано дурное поведение, а оттого, зачем оно в этой ситуации показано. Мне не нужно «компенсировать» сочувствие, как не нужно и «подкреплять» его, ибо оно – от другой линии отсчета. Я сочувствую несчастной старухе не потому, что она когда-то была хороша (с этой схемой Эльчин борется), но и не вопреки тому, что она когда-то была дурна (эту схему Эльчин выдвигает в противовес прежней). Я сочувствую старухе независимо от того, дурна ли она была или хороша, а просто по милосердию, «нелогично», вернее, по какой-то иной логике, независимой от логики «мира сего».

Более того: я именно это ощущение улавливаю и у Эльчина, когда гляжу вместе с ним и с Агагюлем на одинокую старуху, просящую о помощи, боящуюся опять остаться одной в этом пустом дворе и ищущую зацепки («Агагюль, дорогой, устала я очень... полей немного грядки»), – я ловлю себя на том, что жалею ее тем острее, чем более она была грешна и несчастна и чем сильнее она теперь наказана – эта погасшая, обрюзгшая, обесилевшая, бесплодная, как смоковница, ведьма. Никакой «логики», но когда они стоят друг перед другом: перепуганный Агагюль с курицей в руках и старая Зубейда над тяжелым шлангом, когда они согласасно раскладу ролей друг друга бояться и ненавидят, а потом, вразрез с ролями, вдруг начинают друг друга жалеть и сами не понимают, что с ними, – вот тут-то я и ощущаю, сколь близок мне Эльчин в какой-то потаенной глубине своей и сколь родственны человеческие души, взращенные даже и в разных традициях. И еще я ощущаю, как... поддается алмазная гора клюву маленькой птицы. Потому, что гора мертвая, а птица – живая.

Несколько слов о повести «Чудеса в почтовом отделении», из которой я беру эту легенду о горе и птичке. Повесть характерна для круга мотивов «новой прозы» Азербайджана и ассоциируется все с тем же символом круга, в котором бьется душа, бессильная изменить свою жизнь. Смысл повести Эльчина – томление души здоровой красавицы

Адили, вышедшей замуж по расчету за старого сластолюбца Халила. Со временем Адиля превратится, наверное, в тетушку Зубейду, а пока она, в полном соответствии со старыми канонами азербайджанской «новой прозы», бьется в тенетах быта, в рутине «почтового отделения», в кольце своей несчастной судьбы.

Стараясь помочь героине, Эльчин по обыкновению вводит чудо. Является загадочный Скрипач в черном фраке. Является загадочный Мужчина и задает Адиле тот самый вопрос, с которого мы начали: почему у вас нет желания изменить вашу незадачливую жизнь? Она отвечает: это невозможно, - все так живут, все так думают.

Загадочный Скрипач меня, разумеется, не трогает, чудеса в почтовом отделении — тоже. А вот довод «все так думают» я нахожу реальным и весьма существенным. Во всяком случае, я вижу, что «обыкновенный» человек, выдвинутый в свое время на авансцену молодой азербайджанской прозой, уже не только отлетает от рутины быта в выси и дали, чтобы ощутить высокую жизненную задачу, но и ощущает реальный масштаб задачи.

Масштаб нелегкий. Но хочется сказать Адиле: окончательной и полной ведьмой ты все равно не сделаешься: тебе жалость помешает. А раз так, раз неистребимо в человеке человеческое, - не сдавайся, птичка, не унывай, пташка, не умирай, пичужка.

Не складывай крыльев!

1978. 1981

(Л.Аннинский. Контакты, Москва, 1982, стр. 252-271)

ЖЕЛТЫЙ ПИДЖАК

В такие дни...

*наш дом походит на корабль,
а комната — на каюту.*

Фикрет Садыг

Конечно, об этом странном происшествии можно было бы и не писать — настолько оно невероятно. Но разве не знаменательна большая странность сама по себе? Иногда нам кажется, что дни наши текут уж очень обыкновенно, нет никакой разницы между вчера и сегодня, а на самом деле только это предположение и делает их похожими; и мы почему-то не торопимся его опровергать.

Если вы помните, вечером 6 апреля 1968 года в Баку хлынул ливень, хотя днем погода была очень ясная и теплая, весенняя. Некоторым этот день запомнился потому, что незадолго до дождя закончился второй тур тридцатого первенства страны по футболу, и «Нефтчи» в игре с «Черноморцем» провел в ворота команды одесситов четыре безответных мяча.

К сожалению, двадцативосьмилетний композитор С. Гайыблы не был футбольным болельщиком, к сожалению потому, что царившая в этот день в среде болельщиков радостная атмосфера больших надежд нисколько на него не подействовала, а вот сильный дождь, пошедший не ко времени, почему-то поверг его в уныние.

Молодой композитор С. Гайыблы, проснувшись в этот день утром, и не предполагал, что вечером и особенно ночью того же дня он будет в таком подавленном настроении. Впрочем, это не было для него таким уж сюрпризом. По-видимому, на людей, считающих себя одиночками, резкие изменения погоды влияют больше, чем на супружеские пары.

В шестнадцатиметровой квартире С. Гайыблы, что в новом семизэтажном доме на углу улиц В. и С., не было пианино, и каждый раз, когда хотелось поработать, он был вынужден идти в клуб маляров и садиться за инструмент, сиротливо стоящий за перегородкой. Клуб маляров находился на улице Хагани, и расстояние между ним и домом, где жил С. Гайыблы, то равнялось расстоянию от Земли до Луны или еще больше — двум-трем световым годам, то одному мигу — это зависело от желания С. Гайыблы работать. А желание работать, как известно, зависит от целого ряда причин — мы не будем их перечислять, — хотя и говорят, что работать можно всюду и всегда.

С. Гайыблы занимал должность в клубе маляров: он был руководителем коллектива художественной самодеятельности и раз в неделю, по вторникам, занимался с малярами, то есть раз в неделю, во

вторник, он бывал в еще более подавленном настроении, потому что там был такой заместитель заведующего клубом, который не давал ему дышать. Он говорил: «Слушай, дорогой, ну что ты там сочиняешь? Иногда по радио передают — драм-ба-ба-бам, драм-ба-бам, где же плач нашей кеманчи, где стоны нашего тара, где гром нашего нагара?» Много чего еще он говорил, да притом с таким жаром! Старался, чтобы коллектив самодеятельности маляров не подпал под вредное влияние приверженцев моды без роду без племени, а таковым в его глазах и был молодой композитор С. Гайыблы.

И поэтому для творческих занятий С. Гайыблы обычно приходил в клуб поздно вечером, когда там уже никого не было, кроме сторожа. Этот сторож был заядлый курильщик, каждый раз он просил у С. Гайыблы одну сигарету при встрече, а другую при прощанье — как закон.

В этот день по дороге в клуб С. Гайыблы вдруг подумал, что у сторожа, конечно, всегда есть что курить; сигарету же, полученную от него, сторож считает своей законной добычей, а по какому, спрашивается, праву? Когда он, поздоровавшись, вошел внутрь и сторож, как обычно, попросил у него сигарету, С. Гайыблы в ответ развел руками. Сторож как будто не поверил своим глазам, он улыбнулся и высказался в том смысле, что очень хочется закурить. Тогда С. Гайыблы сказал, что сигарет у него нет, потом достал из кармана пачку «Авроры», неторопливо закурил и поднялся по лестнице, сам немало удивляясь своему поведению.

Он сел за пианино, но даже не поднял крышку. Уставился в потолок, докурив сигарету до конца. Ему захотелось вдруг, чтобы сейчас он вот так же сидел в самолете, летел под облаками, потом над облаками, потом...

Конечно, он мог бы сейчас заставить себя побренчать на пианино, но он никогда не заставлял себя работать насильно, хотя бы потому, что из этого никогда ничего путного не получалось.

Молодой композитор С. Гайыблы снова закурил и принялся шагать взад-вперед за перегородкой: странно, в одну сторону оказалось двадцать три шага, обратно — тридцать один, хотя шаги вроде были одинаковые. Вообще весь этот день его преследовали странности. Утром, едва проснувшись, он побежал в газетный киоск на углу, купил заказанный им еще вчера номер «Бакинского рабочего», быстро поднялся в комнату и достал из ящика стола тринадцать лотерейных билетов. Он специально купил чертову дюжину, пытаясь уверить себя, что далек от всяческих предрассудков, хотя это само по себе тоже было предрассудком. Он внимательно проверил билеты, как обычно, ничего не выиграл, разорвал все тринадцать штук и выбросил в мусорное ведро на кухне. Он совершенно точно помнил, что разорвал лотерейные билеты и выбросил их в мусорное ведро на кухне. Потом он позавтракал и вышел в город. В полдень зашел в издательство

«Азернешр» — там печатали его первую книжку, состоявшую из трех миниатюрных фортепианных пьес, — потом, проходя мимо нового универмага, вспомнил, что надо купить аэрозоль — кажется, у него появились клопы. Он полез в нагрудный карман, чтобы достать бумажник и посмотреть, сможет ли он сегодня купить аэрозоль. В бумажнике лежали... тринадцать новеньких лотерейных билетов... Он вытащил их — они были такие новенькие, хрустящие, как будто до них еще никто не дотрагивался. Это напомнило ему лампу Алладина. В детстве, да и в студенческие годы эта лампа иногда ему снилась.

С. Гайыблы вошел в центральную сберегательную кассу номер 3538, около нового универмага, и вспомнил вдруг старую, выдавшую виды рекламу, висевшую в свое время на здании напротив консерватории:

**ГРАЖДАНЕ, ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ.
ЭТО НАДЕЖНО, ВЫГОДНО И УДОБНО**

А как можно хранить то, чего нет? Об этом реклама молчала.

Он поднялся по лестнице, подошел к висевшей на стене таблице выигрышей. Снова проверил свои лотерейные билеты. Билет серии 13910 номер 191 выиграл один рубль; если бы номер был на две цифры больше, он выиграл бы золотые наручные часы «Луч». Конечно, сто шестьдесят рублей были бы более кстати, но ничего не поделаешь. Он пошел и получил в кассе свой рубль. Краешек у этого рубля был надорван и подклеен папиросной бумагой. Он положил его в карман и вышел не из сберегательной кассы, а из касы¹ (в детстве у него был друг, он говорил: есть каса — чаша с бозбашем², а есть сберегательная касса, но каса — всегда лучше).

И опять в одну сторону — двадцать три шага, а обратно — тридцать один.

Он в последний раз посмотрел на пианино и спустился вниз. Проходя мимо сторожа, он услышал вместо обычной просьбы о папиросе жалобные слова о том, что все его обижают и даже издеваются, а ведь сторож тоже человек.

Шел такой сильный дождь, просто кошмар!

Молодой композитор С. Гайыблы, подняв воротник пиджака, поспешил домой, пробираясь вдоль стен зданий; какая бы ни была погода, он никогда не ездил ни в троллейбусе, ни в трамвае, ни в автобусе; это был как бы протест против монотонности — тот же маршрут, те же остановки, хотя сам этот протест, в свою очередь, стал

¹ Каса — чаша.

² Бозбаш — национальное блюдо.

тоже монотонным.

Квартира у С. Гайыблы была угловая, а в такие вот дождливые, ветреные вечера, особенно же ночи, завывания ветра казались еще более несносными, чем на улице. Над С. Гайыблы на седьмом этаже жил молодой поэт Фархад Хошбахт¹. У него была такая же однокомнатная квартира, как у С. Гайыблы, только он еще был главой семейства, и поэтому С. Гайыблы про себя называл его не Фархад Хошбахт, а Фархад Бедбахт², он называл его так вовсе не потому, что он был плохой поэт, — Фархад Бедбахт был отличный поэт. Да, так вот этот Фархад Бедбахт называл свою комнату каютой, и теперь С. Гайыблы на всех парах мчался в свою каюту.

Все в комнате было как обычно: тот же радиоприемник марки «Ригонда», те же фотографии У. Гаджибекова и И. Стравинского на стене, те же окно и балконная дверь.

Радио рассказывало детям сказку, а в конце пожелало им сладкого сна. Потом начался концерт, какой-то новый певец пел «Земинхара» из «Шур»³. С. Гайыблы выключил радио.

Дождь хлестал в окно, вода пробивалась сквозь щели в рамах и капала на паркет. Фархад Хошбахт, нет, Фархад Бедбахт, напихал между рамами ваты и советовал С. Гайыблы сделать то же самое.

Ветер на улице завывал так, что казалось, еще немного — и полная тарелка гогала⁴ упадет со стола. Гогал прислала ему из деревни мать к новруз-байраму⁵, теперь все превратилось в сухари. Было бы неплохо, если бы разбилась тарелка, и тогда он выбросил бы этот гогал, до каких пор он будет стоять на столе?

И вообще между рамами ничего класть не надо, а вот уши ватой заложить не мешало бы.

Над головой слышались звуки шагов Фархада Бедбахта, вот громила, ведь стены дрожат — такой здоровый парень. Ну и что, все равно он Фархад Бедбахт, а не Фархад Хошбахт. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Надо было еще, как обычно, сварить кофе и выпить его без сахара, и тогда все будет как всегда, и те же мысли придут в голову, хочет он этого или нет.

Посживаясь от холода, он прошел на кухню, зажег газ, поставил чайник — воду С. Гайыблы наливал утром, когда она шла.

«Надо же, какая холодная стоит весна», — подумал С. Гайыблы и посмотрел на пол, покрытый линолеумом цвета кофе. Возле мусорного ящика лежал... разорванный лотерейный билет.

¹ Хошбахт — счастливый.

² Бедбахт — несчастный.

³ Шур — азербайджанский мугам, народное пение.

⁴ Гогал — колобок.

⁵ Новруз-байрам — праздник весны.

Молодой композитор С. Гайыблы нагнулся, поднял лотерейный билет с пола, потом ногой открыл шкафчик под раковиной: все остальные лотерейные билеты, разорванные пополам, лежали в мусорном ведре. Потом он прошел за перегородку и из внутреннего кармана пиджака достал бумажник: рубль с подклеенным краешком лежал там.

У него пропала всякая охота пить свой традиционный кофе без сахара, и он вопреки обыкновению потушил газ под чайником.

Снова стены задрожали от шагов Фархада Бедбахта, он тоже прошел из комнаты на кухню, потом начал что-то колотить, бог знает, что он там мастерил. У Фархада Бедбахта все время возникали какие-то фантастические планы: то он собирался использовать под комнату часть лестничной площадки, то вознамерился превратить балкон в детскую, то хотел в потолке комнаты пробить люк на чердак, поставить лестницу и там, на чердаке, сделать себе еще одну комнату. Но все эти планы оставались планами, и молодой композитор С. Гайыблы прекрасно знал, что так оно всегда и будет, потому что, если бы это было не так, Фархад Хошбахт не был бы Фархадом Бедбахтом. Так подумал С. Гайыблы и вышел на балкон. Во всем доме только его балкон был пуст и свободен, там не было ни пустых бутылок, ни раскладушки, ни петуха или курицы, привязанных за ногу к железным завитушкам балконной ограды, ни веревки для сушки белья, в общем, абсолютно ничего. Беспредметность, пустота.

Закурив сигарету, С. Гайыблы облокотился на перила. Дождь был очень сильный, и, если бы над его балконом не было балкона Фархада Бедбахта, его бы унесло потоком воды, но и дождь этот, и вся эта картина были чересчур обычными: и вид большого черного каменного здания, составляющий две трети панорамы, открывающейся с балкона, и серые силуэты одинаковых зданий, вновь отстроенных в верхней части города, и мелкие домишки, и старая мечеть, в которой размещалась мастерская по ремонту обуви.

И так же, как обычно, приподняв занавеску, смотрела на балкон С. Гайыблы девушка, жившая напротив, на третьем этаже большого кирпичного дома. Это тоже был один из примеров проявления монотонности этой ночи, как и звуки шагов Фархада Бедбахта. Потом девушка опустила занавеску, будто стеснялась, как всегда. Вот уже ровно два года она так стесняется, и ничего не происходит. Через десять минут она снова приподнимет занавеску и уставится на балкон С. Гайыблы.

С. Гайыблы выбросил сигарету, прошел в комнату, лег на диван и посмотрел на четвертую страницу купленного утром «Бакинского рабочего»: под лотерейной таблицей было сообщение о погоде, там было написано, что вечером ожидается умеренный северный ветер, температура воздуха будет плюс пятнадцать-шестнадцать градусов. Подобные противоречия уже не производили на него никакого впечатления, потому что они стали таким же обычным явлением, как и

противоречие между псевдонимом Фархада Хошбахта и его жизнью.

Отбросив газету, он устался в потолок, но почему-то перед его взором появился маящий к себе тротуар. На тротуар, например, можно упасть с балкона вниз головой, и, падая, можно громко закричать, а можно и не кричать, а так и падать все время, заглывая, как Пантагрюэль, эту монотонную ночь. С. Гайыблы встал: понял, что ему надо убежать из этой комнаты, необходимо выйти в город и еще раз как следует промокнуть под дождем.

В этот момент и случилось то необыкновенное, странное происшествие, которое сделало эту ночь самой значительной в жизни молодого композитора С. Гайыблы.

У С. Гайыблы был знаменитый пиджак, сшитый несколько лет назад из желтого вельвета. Знаменитый потому, что он надевал его постоянно — и зимой, и летом. Удивительно, что сам С. Гайыблы терпеть его не мог, и ему было что носить, кроме этого желтого пиджака с золотым оттенком; вот совсем недавно он сшил себе хороший бостонский костюм и сегодня даже надевал его, когда ходил в «Азернешр»; редактор, ужасно грозная женщина, позавчера так уничтожающе посмотрела на его желтый вельветовый пиджак, что С. Гайыблы дал себе слово не показываться ей на глаза в этом пиджаке; этот желтый пиджак не сходил с его плеч потому, что давно уже стал как бы символом всей его жизни, символом абсолютной монотонности.

С. Гайыблы достал из шкафа свой желтый пиджак и быстро надел его, чтобы наконец выбежать из комнаты. Он потушил в комнате свет, прошел за перегородку и в недоумении остановился перед зеркалом: на нем был не тот знаменитый желтый пиджак с золотистым оттенком, на нем был... другой пиджак. Оторвав свой взгляд от изображения в зеркале, он посмотрел на себя, отвернул полу пиджака и впился в нее глазами: в жизни у него не было вещи такого цвета — на нем был зеленый пиджак. Он вошел в комнату, зажег свет и открыл шкаф: вешалка, с которой он только что снял свой желтый пиджак, была пуста и еще качалась. С. Гайыблы снял с себя странную зеленую вещь, и... в руках его снова оказался знаменитый желтый вельветовый пиджак с золотистым оттенком.

В холодном поту молодой композитор С. Гайыблы несколько минут смотрел на желтый пиджак и, подойдя к зеркалу, осторожно, медленно надел его на себя. По мере того как он натягивал на себя пиджак, цвет последнего менялся прямо на глазах: теперь он был темно-синий в тоненькую белую полоску.

С. Гайыблы протер зеркало и покачал головой, потом пошел на кухню, посмотрел на пиджак в кухонном освещении, потом в ванной комнате: это был темно-синий пиджак в полоску. У молодого композитора С. Гайыблы никогда не было такого пиджака. Он снова подошел к зеркалу, снял пиджак, и тот на его глазах изменил свой цвет и

превратился в желтый вельветовый, какой и был у него всегда.

С. Гайыблы вернулся в комнату, повесил желтый пиджак в шкаф и присел на диван. Голова у него кружилась, руки немного дрожали. Потом он пошел на кухню, наклонился над умывальником и пустил воду себе на голову. Постояв так, он выпрямился, повесил, не вытираясь, полотенце на шею и пошел в комнату. Там он сел на диван, закурил сигарету и выкурил ее до конца. Он хотел сосредоточиться на том, что было абсолютно реально: он сам и сигарета в его руке, и все. Он встал, вытер лицо, шею, голову, отбросил полотенце, открыл шкаф, достал свой желтый пиджак и в мгновение ока надел его на себя, и в мгновение же ока пиджак изменился: он превратился в очень красивый пиджак из какого-то странного материала серого цвета в зеленоватую искорку.

С. Гайыблы подошел к зеркалу. Пиджак был так красив, что молодой композитор С. Гайыблы пришел в ужас. Он вздрогнул от звука дверного звонка и хотел снять пиджак прежде, чем открыть дверь, но не смог этого сделать: пиджак словно прилип к телу, а пуговицы, подобно волшебным пуговицам Асли¹, застегивались сами, как только он доходил до последней. Снова раздался звонок, и С. Гайыблы открыл дверь. Это был Фархад Бедбахт, он поздоровался и спросил, нет ли у него парочки гвоздей. Потом, посмотрев на пиджак, сказал: «Поздравляю, чудный пиджак, только зачем он тебе, ведь ты все равно из желтого не вылезашь?» — Потом он спросил: — Что с тобой, почему так странно смотришь?» С. Гайыблы пробормотал что-то невнятное, потом нашел на кухне несколько ржавых гвоздей, вынес их Фархаду Бедбахту, и Фархад Бедбахт поднялся вверх — в свою каюту.

С. Гайыблы закрыл за ним дверь и снова попытался снять с себя пиджак. Чего только он не делал — даже извивался как уж, пытаясь выползти из пиджака, но все было напрасно. И тогда, даже не выключив свет, он убежал из своей каюты на шестом этаже. Когда щелкнул автоматический замок его двери, он был уже на улице — так быстро он спустился по лестнице.

Дождь уже перестал, но ветер по-прежнему завывал на опустевших улицах. Никогда еще бакинские улицы не были так пустынно и безлюдны, как в эту ночь.

Молодой композитор С. Гайыблы шел куда глаза глядят.

В подъезде одного из домов он, спрятавшись от ветра, закурил сигарету, и вдруг до него дошло, что эту сигарету и эти спички положил в карман проклятого пиджака сторож клуба — долг вернул. И С. Гайыблы, не особенно удивившись этому, пошел дальше.

Кто-то крикнул ему: «Эй, товарищ, осторожнее, смотри себе под ноги, куда ты лезешь?» С. Гайыблы вздрогнул и только теперь увидел, что находится в каком-то садике, в таком уютном месте перед

¹ Асли — героиня азербайджанского народного эпоса «Асли и Керем».

костерком; он чуть не наступил на огонь. Он не мог сообразить, что это за сад. Возможно, это был приморский парк, потому что к вою ветра примешивался еще и шум моря.

Окликавший молодого композитора С. Гайбылы мужчина, вероятно, и затеплил этот огонек. Мужчина был сильно заросший, на плечи накинута старый ватник. Может быть, это был сторож в приморском парке, может, просто бродяга какой-нибудь. Он сидел на корточках у костра с прутиком в руке, на конце прутика торчала сосиска, которую он поджаривал на костре.

Этот внезапный свет и внезапное тепло несказанно удивили С. Гайбылы.

Мужчина, сидевший на корточках у костра и жаривший сосиску, сказал ему: «Что это ты так мчишься в такую непогоду, будто тебя кто сзади настегивает, чуть не раскидал мой костер? — Потом он сказал: — А может, и вправду тебя стегают, человека не всегда стегает кто-нибудь другой, иногда он сам себя бьет. — Потом он глубоко вдохнул запах жарившейся сосиски и сказал: — Стегают тебя или не стегают, не имеет значения, вот присаживайся, грейся, будь гостем, у меня и выпить есть».

Молодой композитор С. Гайбылы присел на корточки у костра и протянул руки к огню. Он ощущал странную, какую-то теплую свободу, а что это такое — он и сам понять не мог.

Он вынул сигарету, предложил закурить также и мужчине, жарившему сосиски. Мужчина сказал: «У меня свои», потом достал из бокового кармана одну сигарету «Памир» и старый изъеденный мундштук, воткнул в него сигарету и закурил.

С. Гайбылы почему-то вдруг кинул свою сигарету в огонь и стал смотреть, как она горит. Она сгорела и превратилась в пепел, эта сигарета — доля того самого сторожа из клуба маляров.

Мужчина в телогрейке снова потянул носом запах жарившейся сосиски, сказал: «Пах, пах, пах...», потом поднял голову, посмотрел на темное небо, послушал несколько мгновений ветер и море, затаился сигаретой и, не вынимая мундштука изо рта, сказал: «Хорошо!» Очень от души он это сказал. С. Гайбылы спросил: «Что?» Мужчина слегка прищурил глаза, посмотрел на него, как бы говоря: «Ах ты дубина бесчувственная... — Потом сказал: — Вот эта ночь, этот костер, этот шашлык».

...Когда С. Гайбылы вернулся в свою каюту, было уже очень поздно. Медленно поднялся он по лестнице, открыл дверь, вошел в переднюю, зажег свет. Постоял немного, потом снял пиджак; пиджак снялся, как обыкновенный, и остался таким же, каким был на нем, — красивый серый пиджак в зеленоватую искорку. С. Гайбылы еще немного посмотрел на него, потом быстро вошел в комнату, открыл шкаф: знаменитый желтый вельветовый пиджак с золотым отливом

висел на вешалке.

Молодой композитор С. Гайбылы понял, что это — предложение сделать наконец выбор.

Он снял с вешалки свой желтый пиджак, повесил на его место красивый серый пиджак и закрыл шкаф. Он проделал эти операции так спокойно, что сам удивился.

Потом он отнес свой желтый пиджак на кухню, открыл шкафчик под раковиной и сунул в ведро поверх обрывков лотерейных билетов этот знаменитый желтый вельветовый пиджак, достал ведро, быстрыми шагами спустился вниз и высыпал его содержимое в один из дворовых мусорных ящиков.

Кошки, ожидавшие, когда он уйдет, кинулись к ящику, надеясь найти что-нибудь для себя хорошее.

Молодой композитор С. Гайбылы поставил ведро на место, потом для верности еще раз открыл шкаф: красивый серый пиджак висел на месте.

Поэт наверху тоже уже, кажется, лег — шагов не было слышно. И ветер, кажется, прекратился. И дождь кончился уже давно. А свет в окне девушки напротив еще горел. Странная какая-то девушка. Интересная.

С. Гайбылы лег на диван и против обыкновения сразу уснул.

Молодой композитор С. Гайбылы потом никому не рассказывал об этом происшествии — он знал, что никто ему не поверит. Про свой знаменитый желтый пиджак он рассказывал, что продал его старьевщику. Целый час торговались, а этот бессовестный все равно больше тридцати копеек не дал. «Сколько, сколько?» — переспрашивали друзья. И хохотали.

1968, ноябрь.

ПОЕЗД. ПИКАССО. ЛАТУР. 1969

Муж Мелеке-ханум и угрожал мне, и умолял меня о чем-то молча, взглядом, и при всем том у него был жалкий вид. Особенно когда проводница попросила провожающих выйти из вагона. Он поцеловал жену в щеку, сказал ей, чтобы позвонила ему тотчас по приезде в Москву и рассказала, как доехала. И целовал он ее, и говорил он с ней, но все как-то выходило так, будто обращался он ко мне, а не к ней. Конечно, я мог бы немедленно успокоить его, например, сказать ему: «Не волнуйся, дорогой друг, я ручаюсь, что ничего плохого не случится с твоей женой в дороге», — и прибавить про себя: «Потому что твоя жена меня совершенно не волнует»; или же мог сказать ему: «Ни о чем таком и не думай, хотя мы в купе одни, а дорога длинная — будь спокоен!», и прибавить про себя: «И спокойной тебе ночи, если, конечно, сам ты будешь спать один!» Все это я мог сказать ему, но не сказал. Я промолчал. Это была маленькая месть за его косые взгляды в мою сторону. Как справедливо кто-то заметил, на свете нет ничего хуже такой тревоги...

Когда поезд тронулся, Мелеке-ханум сунула руку в окно и помахала, муж тоже махал ей, но смотрел только на меня. Воистину, нет ничего хуже такой тревоги! А потом пришла проводница и, забирая наши билеты, окинула профессиональным взглядом меня и Мелеке-ханум: мол, дело ясное!

Сначала вышел я — и Мелеке-ханум переоделась, потом вышла она — и я переоделся. После чего мы оба уселись в купе и стали пристально рассматривать вечернюю панораму зимнего Абшерона, где смотреть, как известно, не на что.

Снова появилась проводница, чтобы собрать с нас по рублю за постель и спросить, будем ли мы пить чай. Мы оба ответили, что будем.

Я достал из кармана пальто свежий номер еженедельной бакинской газеты «Адабийят ве инджесенет»¹ и перелистал. Газетчики успели дать сообщение об открывающемся в Москве международном симпозиуме искусствоведов, о предстоящих там наших с Мелеке-ханум докладах. В газете было все, не хватало только фотографии: я и Мелеке-ханум на фоне грозных и тоскливых взглядов ее мужа!

Мелеке-ханум спросила меня:

— «Вы читаете сатирические стихи?»

Я ответил, что да, это очень интересно!

Мелеке-ханум сказала:

— У вас чай остынет.

Как будто она хозяйка дома и угощает гостя! Я ответил:

— Спасибо, я сейчас выпью.

Мелеке-ханум не выносит самолета — у нее сердце. Я тоже не летаю самолетом. И не потому, что боюсь, просто я не получаю от полета никакого удовольствия. Правда, я ни разу и не летал, но уверен, что это так.

Мелеке-ханум улыбнулась и сказала: «Не знаю, говорил ли вам кто-нибудь о том, что вы очень замкнутый человек?» — «Вы не поверите, как я люблю болтать», — ответил я. «Нет, — говорит она, — поверю, потому что мы уже столько лет с вами вместе работаем, а разговоры наши, если записать их на магнитофонную ленту, не составят и двадцати метров: здравствуйте — здравствуйте, до свидания — до свидания...»

Я мог бы, конечно, ответить ей: «Дорогая Мелеке-ханум, а о чем же мне с вами говорить? Наш разговор, если бы он и состоялся, оказался бы пустым, бессмысленным. Я ведь считаю вас совершеннейшей мешанкой, хотя и не знаю о вас ничего, просто я так вас чувствую. Мы с вами чужие люди и настолько чужие, что двадцать магнитофонных метров для нас — это даже много!» Я мог ей это все сказать, но, конечно, не сказал ничего, потому что любые слова — уже разговор, а у меня нет никакой потребности в разговоре с Мелеке-ханум. Впрочем, так же как и с Сафурой-ханум, как и с Самедом, Меликом, Санубар, Керимом, двоюродным братом Бейларом, двоюродной сестрой Мединной и т. д., и т. д. Самый лучший собеседник у человека — он сам. Человека может хорошо понять только один человек — он сам. Это мое убеждение, и обосновано оно всем опытом моей сорокадвухлетней жизни.

Мелеке-ханум отвернулась к окну и сказала: «Вам, конечно, виднее, но, по-моему, такая замкнутость ни к чему». Я опять не ответил ей, хотя на этот раз мне пришлось сказать себе: «Спокойно, дорогой, не надо нервничать».

Проводница вошла в купе и спросила: «Еще чаю?» — «Нет, — ответили мы, — нам не надо». Проводница извинилась и сказала, что больше не будет нас беспокоить, после чего тихо, как заговорщица, закрыла за собою дверь.

Мелеке-ханум снова устала в темноту за окном, а я — в газету «Адабийят ве инджесенет». Возможно, Мелеке-ханум рассматривала в окне свои собственные мысли, поскольку ничего другого увидеть в темноте было нельзя. Однако со времен Адама и Евы самая прозрачная вещь в мире — это, по-моему, как раз мысли Мелеке-ханум и всех прочих мелеке-ханум. Сквозь такие мысли очень хорошо видно, потому что их попросту нет. Продолжая смотреть в окно, Мелеке-ханум тихо сказала: «Наверно, не случайно в вагоне люди рассказывают друг другу обо всем. Наверно, этот мрак за окном, это

¹ «Литература и искусство».

безостановочное движение, этот вечный перестук колес побуждают нас к откровенности. Дорога увозит человека в одиночество, а люди бегут от него, от этого одиночества».

И тут Мелеке-ханум взглянула на меня. Конечно, я мог снова не ответить ей, потому что дорога — с ее мраком за окном, безостановочным движением и перестуком колес — не увозила меня ни в какое одиночество. А если бы и увозила, то я бы не сопротивлялся, Я не боюсь одиночества. Когда человек остается наедине с самим собой, мне это нравится. Ведь я — самый лучший собеседник для себя. Никто не поймет меня лучше, чем я сам. Впрочем, и я не пойму другого человека так, как он поймет себя сам. Одиночество — условие подлинно человеческой жизни. Жаль, что не все это понимают...

Вот что я должен был бы ответить Мелеке-ханум. Но я заметил в ее взгляде какую-то иронию, вроде бы она жалела меня. Это уже не в первый раз. Когда-то именно так смотрели на меня и Сафура-ханум, и Самед, и Мелик, и Санубар, и Керим, и двоюродный брат Бейлар, и двоюродная сестра Медина. Многие смотрят на меня так. Сначала это меня расстраивает — всего лишь на мгновение, только на одно мгновение, а потом у меня появляется какое-то желание мести, однако до сих пор я всегда подавлял в себе и обиду, и порождаемое ею желание отомстить, потому что я знал: я прав. Я это знал, и этого было довольно.

Но вот теперь, в вагоне, под этим взглядом Мелеке-ханум я не смог преодолеть ни обиды, ни желания отомстить и — сам не знаю зачем — рассказал ей о самом странном происшествии в моей жизни, о чем я никогда и никому не рассказывал. Может быть, мне просто захотелось ей на удивление продлить ту двадцатиметровую магнитофонную ленту?

— Вы помните в подробностях офорт Пикассо «Трапезу бедняков», а?

— Да, — ответила она, не удивившись. — Я помню. Это Пикассо «голубого периода». Мужчина и женщина сидят в кабачке, в углу. Перед ними пустая тарелка, два стакана, бутылка. Левая рука мужчины лежит на плече женщины, а правой он касается ее руки. Они задумчиво смотрят в разные стороны».

Мелеке-ханум смотрела на меня тем же неприятным, как бы жалеющим взглядом: ну и как, помню я «Трапезу бедняков», а?

Я не стал отвечать на ее чересчур выразительный взгляд. Я просто сказал, что у нее отличная память. Совершенно верно, — сказал я, — именно об этом произведении я и хочу вам рассказать кое-что.

Однажды, это было в начале сентября, я был у себя, в своей квартире, и наводил порядок в накопившихся бумагах. Среди них я неожиданно обнаружил репродукцию этого офорта, бог знает когда купленную и уж давно не попадавшую мне на глаза. Бегло взглянув на нее, я открыл ящик письменного стола и положил офорт туда.

В тот день я еще долго возился и очень устал. Наконец я лег спать и как-то вдруг вновь увидел перед собой «Трапезу бедняков». Сначала я всматривался в картину, размышлял о ней. Потом решил прогнать наваждение и заснуть. Но не смог. Картина упрямо стояла передо мной. Я закрывал и открывал глаза, переворачивался с боку на бок — все равно этот мужчина, эта женщина маячили у меня перед глазами. Я вскопчил с постели, умылся, вышел на балкон подышать свежим воздухом — напрасно! Образы с офорта чуть ли не ходили по квартире вместе со мной. Я так и не заснул ни на минуту в ту ночь. И с этого дня начались мои страдания.

Эти две фигуры преследовали меня своими пристальными взглядами в любое время суток, где бы я ни был — на службе, на улице, в кино, во время концерта. Везде и всегда! Меня убивало, что они сидят рядом — и в то же время так далеки друг от друга. Мне казалось, что убогая еда на столе перед ними убивает их любовь. Еще недавно они были близкими и дорогими друг другу, но теперь пропитались равнодушием ко всему, и особенно — друг к другу. И если жирный коммерсант, который наверняка сидит в каком-то другом углу кабачка, подмигнет женщине, она пойдет за ним, чтобы заработать несколько франков, не испытывая никаких чувств, не волнуясь, равнодушно. А мужчина, обнаружив, что ее уже нет рядом, лишь попросит гарсона принести ему в долг дешевого вина, от которого можно все-таки опьянеть настолько, чтобы, положив голову на стол, плакать равнодушными слезами.

Эти мысли не давали мне покоя, особенно когда я садился за накрытый к обеду стол. Я чувствовал, что каждым глотком и куском предаю этих двух людей, переставших быть для меня всего лишь картиной. Они уже существовали реально, и каждый свой поступок, вплоть до таких мелочей, как покупки на базаре, поездки на такси и т. д., я соотносил с ними, их бытом, и мое благополучие казалось мне преступлением против них. Жизнь стала невыносимой!

Сколько я мог выдержать это двойное бремя: жизни своей и жизни их? Что-то должно было случиться, но это приближающееся что-то пугало меня. И я боялся тем сильнее, чем определеннее приближалась развязка. Я не мог предвидеть, что же именно случится, и от этого незнания мне становилось не по себе, нарастающий страх мешал думать и работать.

Однажды, это было в ночь на двадцать третье сентября, я лежал в постели, никак не мог уснуть, в голову лезли какие-то глупые фантазии. Вот, думал я, потолок сейчас разломится, как хлеб, надвое — и с неба через трещину спустится большая корзина. Раз! — и я уже в корзине. Куда-то несет, куда-то уносит меня навсегда, в какую-то пустоту. Кто же меня преследует, кто подгоняет? Взгляды мужчины и женщины с офорта Пикассо! Они смотрят в разные стороны — и это

разрывает меня... Впрочем, дело не в фантазии. Просто мне стало ясно в эту ночь: однажды явившись, образы Пикассо уже не позволят мне жить по-прежнему, жить так, как я жил.

Я встал и зажег настольную лампу. Без десяти три. Прошел в ванную, умылся. Хотелось смыть с себя бессмысленные переживания. Все это нервы, я слишком много работаю, все скоро придет в норму! Однако самовнушение не помогало — я сам себе верил не до конца,

Раздался звонок в дверь. Еще раз. В три часа ночи! Я спросил:

«Кто там?»

Знакомый голос ответил:

«Откройте, это я».

Я открыл. Передо мной стоял высокий, очень худой мужчина. Я наверняка знал его, но не мог припомнить. На голове у него был небрежно надетый котелок, на шее — шарф, заправленный в глубокий вырез куртки. Было похоже, что он артист, и все это как-то оправдывало его появление в середине ночи.

— Можно, мосье?

— Пожалуйста.

Я услышал в его вопросе что-то странное, но сразу не понял что. Мы прошли в комнату. Я предложил ему сесть, он сел — и тут я осознал, кто передо мной: мужчина из «Трапезы бедняков».

Меня прошиб холодный пот.

Я смотрел на него во все глаза. В голове у меня творился хаос. Я не мог мыслить логически, ибо не в состоянии был мыслить вообще. Мужчина протянул мне свою тощую — кожа да кости — руку с неестественно удлиненными пальцами.

— Правда, мы еще незнакомы, но уже знаем друг друга. Меня зовут Этьен Раснёр.

Прикосновение его руки привело меня в себя. Это была рука обыкновенного человека. Существо с такой рукой не могло быть привидением. Я почувствовал и тепло, и волнение, и страдание — словом, руку! Это успокоило меня.

Он снял котелок, провел ладонью по острым скулам. Голос у него оказался грудной, низкий и немного сплывший.

«Мосье, извините меня за то, что я ворвался к вам... Я сейчас в таком положении...»

Он говорил с трудом, ломая удлиненные пальцы, волнуясь.

«Вы не знаете, мосье, но... но Тереза уходит от меня, навсегда... Она не говорит этого, она, может быть, сама еще не понимает, но я чувствую, мосье. Я с ужасом предвижу...»

Я не спросил у него, кто такая Тереза. Это было ясно.

«Мы познакомились с семьей Пикассо в цирке Медрано. Я акробат. Вернее, бывший! — Он приподнял левую руку, и глаза его налились ненавистью. — Эта проклятая рука сломалась! И работе пришел конец.

Вы этого не заметили, ведь мосье Пикассо положил ее на Терезино плечо».

Этьен Раснёр улыбнулся какому-то своему воспоминанию и замолчал, продолжая глядеть на сломанную свою руку.

Я не сомневался в его реальности. Не плод большой фантазии, не сон — передо мной сидит собственной персоной мосье Раснёр. Его существование так же достоверно, как и мое, как и то, что мы с вами сейчас в поезде, который мчится в Москву.

Я заметил, что руки Этьена нервно сцеплены, как в начале разговора. Что-то внутри у него закипало, причиняло ему страдания, не выливаясь в слова. Чтобы прервать это утомительное молчание, я спросил:

«Откуда вы знаете азербайджанский язык?»

Он удивился:

«Я не знаю никакого языка, кроме французского».

Теперь удивился я:

«Но вы же говорите на моем языке!»

«Я говорю на своем, мосье».

«А я... я говорю на каком?!»

«И вы говорите, мосье, на французском!»

Он удивлялся, и ответы его звучали искренно. Но это означало, что, употребляя разные языки, мы слышим друг друга на своем, на родном, языке, на том единственном, на котором могли услышать. Это не казалось мне чудом, хотя у нас не было переводчика. Это было просто условием нашего неожиданного общения.

«Какой же сейчас год, мосье Раснёр?»

«Сентябрь 1904-го, мосье».

Остальные вопросы были излишни, но я все же задал еще один:

«И мы с вами, конечно, в Париже?»

«А где же, мосье?»

Этьен Раснёр дышал сентябрем 1904 года, он сидел у меня и беседовал со мной ночью, но в Париже. Для меня же все оставалось по-прежнему: сентябрь 1968 года, Баку, моя квартира. Расстояние во времени и пространстве, по-видимому, не могло помешать нашей встрече, поскольку свела нас внутренняя потребность и еще что-то, что нелегко определяется словами.

Мой гость никак не мог успокоиться, говорить ему было явно трудно, но ведь он пришел для того, чтобы сказать мне нечто важное.

«Мосье, не сердитесь, что я пришел ночью, разбудил вас... Я не знаю, что делать... Я не смогу жить без Терезы, а она удаляется от меня, ускользает против моей воли... Пока она еще со мной, но я вижу... Ее уводит от меня жизнь, мосье... Поймите меня правильно и не думайте о ней дурно... Ей тяжело, ей все уже безразлично, желания умерли или умирают... Она уходит и от себя самой, изменяет себе, не

сознавая этого...А все моя сломанная рука!»

Я слушал Этьена с таким чувством, как будто он наконец объяснил мне то, что я уже смутно мучительно предвидел. Он обращался ко мне за помощью, но ведь я уже давно хотел помочь им, только не знал — как, мучаясь и своим бессилием, и желанием встречи. И вот теперь встреча состоялась, я мог протянуть ему руку друга...

«Это временный кризис, мосье, но он может развести нас навсегда. И Тереза уже не будет Терезой никогда, от нее это уже не зависит...»

Да, встреча состоялась, я мог протянуть свою руку и пожать руку Этьена. Но что еще? Пройдет несколько минут, и он вернется, уйдет в свое время, в свой Париж, в свою беду. А я останусь в своей квартире, в своем Баку и еще сильнее стану мучиться сознанием невыполненного долга... Долга?! Это слово поразило меня, как последняя надежда утопающего! Я вспомнил, что в ящике моего рабочего стола лежат деньги, отложенные для покупки телевизора «Электрон-2», — четырехста с чем-то рублей. Это был выход — дать Этьену в долг, если он согласится. Если согласится!.. Он не сможет вернуть!.. Но ведь он не знает этого! Ему кажется, что мы с ним в Париже, на улице сентябрь 1904 года. Он не знает никакого Баку, ему просто не дожить до 1968 года — года нашей встречи... Значит, я должен его в каком-то смысле обмануть? Но иного выхода я не сумел найти. Я достал деньги и протянул Этьену:

«Вернете, когда сможете, хорошо?»

«Вы меня плохо знаете, мосье... И мосье Пикассо, который еще молод, ему всего двадцать три года, и он недавно приехал из Испании, — он тоже знает нас очень мало... И все-таки я возьму у вас деньги... Ради Терезы... Я верну вам этот долг... По-моему, можно позволить себе взять деньги в долг у друга, не чувствуя себя нищим. Как вы считаете?»

Я согласно кивнул головой. Я не мог сказать ни слова, Я ждал, когда он наконец взглянет на деньги и... Он бросил на мои рубли беглый взгляд и положил их в карман. Вне всякого сомнения, он увидел и положил франки.

Мы пожали друг другу руки, он надел свой котелок и вышел. Я закрыл за ним входную дверь, потом снова распахнул — Этьена не было. Он ушел через мою дверь в свой город, а передо мной была площадка лестницы, по которой я каждое, утро спускаюсь на улицу моего города...

Я вернулся в комнату, лег на кровать в чем был и задумался об Этьене. В сущности, я его совершенно не знаю, он прав. Возможно, он не такой уж гордый человек, каким показался мне, не такой уж чуткий, не такой страдающий... Возможно, он гораздо больше виноват перед Терезой, чем кажется... И тогда деньги, полученные от меня, ничем не помогут ни ему, ни ей... Впрочем, если бы он не пришел ко мне, а я простым усилием воли изгнал бы из своего сердца и его и ее, я бы

успокоился, не изменил бы себе...

Я встал, подошел к столу, взял в руки «Трапезу бедняков», и... у меня перехватило дыхание: Этьен и Тереза казались счастливейшими людьми в мире, они сидели обнявшись, они смотрели друг на друга, они любили друг друга, улыбались друг другу... А вот трапеза их по-прежнему была трапезой бедняков. Да не в курятине же дело, не в том смысле офорта, не в том суть жизни, черт возьми!

Этот изменившийся рисунок Пикассо есть только у меня, больше нигде и ни у кого. Его изменил не Пикассо, а мы: Этьен — тем, что пришел ко мне, и я — тем, что ждал и принял его как друга. Возьмите любую репродукцию «Трапезы бедняков» — они обычны, необычна только та, что хранится у меня. Единственная в мире!

...Знаете, Мелеке-ханум, я ведь никому не рассказывал об этом случае. Какой смысл? Все равно никто не поверит. Самый близкий друг у человека — это он сам. Это я самый лучший собеседник — он все поймет... Так что двадцать метров магнитофонной ленты наших с вами служебных разговоров это для меня не так уж и мало, поверьте, Мелеке-ханум. Я знаю, в глубине души и вы мне не верите — жаль, что я не взял с собой репродукцию! Вот вернемся в Баку — обязательно покажу...

Поезд равномерно потряхивало на стыках рельсов.

Мелеке-ханум прошептала: «Я вам верю...»

Сказано это было с таким чувством, что я пристально посмотрел ей в глаза. В них отражалось внутреннее потрясение, но какое-то свое, тайное, это не было только впечатлением от моего рассказа.

— Я верю... Даже если не покажете... Вы... помните, конечно, картину Латура «Святой Себастьян», — Себастьяна оплакивает святая Ирина?»

Я, как бы почувствовав что-то страшное, сказал:

— Да, помню.

Я действительно помнил эту картину: четыре женские фигуры, склоненные над телом обнаженного мужчины, пронзенного стрелой, — в темноте ночи, освещенные только одинокой свечой.

— Вы помните, в какой неудобной позе лежит на земле Себастьян? Его положение так неестественно... И эта неестественность так мучительна... Вы помните?... Теперь... теперь на моей репродукции это не так... Я выгнала стрелу из тела Себастьяна! Вот она!

Дрожанием от волнения руками Мелеке-ханум торопливо открыла свою дорожную сумку и достала оттуда стрелу сантиметров в десять. Это была хотя и маленькая, но настоящая стрела. Стрела, вынутая из тела святого Себастьяна, — я почувствовал ее подлинность всем своим существом!

— Я тоже страдала, как и вы. С тех пор, как я увидела репродукцию этой картины, я не находила себе места. Я... Скорченное в муке тело Себастьяна все время стояло у меня перед глазами. Однажды ночью я

встала с постели и, сама не знаю как, взяла в руки эту репродукцию и вытащила стрелу... Теперь на моей репродукции Себастьян не так измучен, и тело его не так скорчено в муке, нет даже следа от стрелы... Я до сих пор тоже никому не рассказывала об этом. А стрелу эту я всегда ношу с собой. Боюсь, увидит муж, а я не смогу ему объяснить так, чтобы он поверил. И выбросить стрелу не могу — мне кажется, я предаю тогда что-то самое высокое, самое святое в моей жизни...» — Мелекеханум положила стрелу в сумку и, взволнованная, вышла из купе.

Я же был спокоен, у меня не стучало сердце, не темнело в глазах, не выступал холодный пот, только голова у меня раскальвалась, мне казалось, что она сейчас разлетится на куски.

Почему нам кажется, что лучший собеседник, самый близкий и родной человек — это мы сами?

Почему Мелекеханум носит с собой эту стрелу, боится, что муж увидит, а она не сможет ему объяснить почему? Может быть, с ним произошел такой же невероятный случай — и он тоже никому о нем не рассказывает?

Пройдут дни, месяцы, годы, Мелекеханум надоест таскать с собой эту стрелу, она выкинет ее в мусорный ящик. Она совершит предательство, потому что она никому не может ее показать. Почему?

Я не знаю, скоро ли Мелекеханум вернулась в купе, потому что я поднялся на свою верхнюю полку и впервые после долгого времени заснул сном праведника.

1968, декабрь

МОТОЦИКЛ ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК

Пап, а горы курят? — Нет, курят только люди.

— Неправда! И обезьяны курят, я сам видел по телевизору.

— Ну, если ты видел... Обезьяна сама курить не может, ее кто-нибудь научил.

— Кто?

— Человек.

— А кто научил курить горы?

— Что ты мелешь? Где ты видел, чтобы горы курили?

— А вон! — И Толик протянул руку, показывая на Кавказский хребет. Действительно, горы курили. Они славно так попыхивали облачками, пуская их кольцами в небо.

— Видишь, папа?

«Теперь он будет твердить, что горы курят, и от него не отделаешься», — подумал я.

— Пап, ты видишь?

«Теперь он стал называть меня папой. Раньше называл «ата»¹. Я его тоже недавно переделал в Толика. Настоящее имя его Тебриз. Впрочем, не все ли равно — Тебриз или Толик? Что меняется от того, что человеку дают другое имя?»

Я тут же поймал себя на том, что философствую. Что ж, это от безделья. Толик развлекается, а я скучаю. А когда скучно, начинаешь философствовать.

— ...Пап, ты видишь?

«Вот пристал! Если я сейчас скажу «вижу», он не отстанет. Он спросит, а как горы научились курить, где у них рот и какие они курят сигареты?»

— Давай покатаемся на лодке, — сказал я ему. — Сегодня тихая погода. Мы возьмем лодку и погребем вволю.

— Давай! Давай! — закричал Толик. Он сразу забыл про горы.

Озеро было близко, в двух шагах. Мы уже подходили к нему, как Толик вдруг остановился.

— Пап!

— Что?

— А мама говорила, что на озеро ходить нельзя, «Ну вот, Суря уехала, а запреты ее остались. И сама она смотрит на меня глазами Толика, так похожими на глаза ее матери Мушкиназханум. Смотрит и ждет ответа».

— Мы маме не скажем. Она не узнает.

¹ Ата — отец

«Конечно, она узнает. Толик проговорится. И тогда посыплются упреки: ты подрываешь мой авторитет, ты плохо воспитываешь ребенка. Ты унишь его лгать». В заключение Сурея скажет: «И все это потому, что ты циник».

«Боже, это я-то циник! Дорогой товарищ Сабир Меликов! Дорогой кандидат искусствоведения! Отныне тебе придется подписывать свои статьи новым именем — С. Циник. Надо бы сказать об этом Сурею. Но вряд ли это покажется ей остроумным. Поэтому я лучше промолчу, когда она придет».

На берегу озера стоял киоск проката. Я оставил там свои часы и получил взамен два весла.

Я посадил Толика, сел сам и оттолкнул лодку от причала. Она тихо заскользила по гладкой воде. Как давно не греб! Мы уже неделю живем в Кисловодске, а я еще не брал в руки весел.

Когда-то, когда мы приезжали сюда с отцом, я греб каждый день. Я не вылезал из лодки. Толика еще не было на свете, и я увлекался культуризмом, но из этого ничего не вышло. Неужели было время, когда Толика не было? А настанет время, когда меня не будет, а потом, не станет и Толика...

Я даже присвистнул от неожиданности этой мысли.

— Папа, ты забыл, что мама говорила: не свисти!

— Да... помню, Толик.

— А почему ты свистишь?

— Пардон, больше не буду.

Я сказал это и стал ждать, что Толик спросит, что такое «пардон». Но он не спросил. Наверное, я объяснял ему это когда-нибудь.

— Пап, а это что?

Толик показывал на стоящие на берегу деревянные зонты-грибки. «Если я ему сейчас скажу, что люди боятся солнца и прячутся под грибами, он спросит, а почему они боятся. А если отвечу, что солнце жжет, последует вопрос, почему жжет, и т.д.»

— Толик, ты хочешь купаться?

Глаза его загорелись, но тут же погасли. Он вспомнил: мама сказала «нельзя».

Мы познакомились с Суреей в Кисловодске. Она жила с родителями в автопансионате, на берегу озера; наша семья снимала комнату в городе. Я приходил на озеро кататься на лодке и купаться. Сурея была тогда высокая, стройная, ее большие голубые глаза смотрели таинственно. Впрочем, глаза у нее и сейчас большие и голубые. С тех пор я каждый свой отпуск провожу в автопансионате, месяц законный, а полмесяца без сохранения содержания. Когда-нибудь на стене этого пансионата повесят доску: «Здесь в течение шести лет ежегодно отдыхал выдающийся искусствовед Сабир Меликов». И ниже даты рождения и смерти (1937—19..). Но почему

тысяча девятьсот? Может, я умру в двадцать первом веке?

Обычно мы приезжаем сюда с родителями Суреи. У ее отца есть «Москвич», и он везет нас сюда своим ходом. На этот раз мы приехали втроем: я, Сурея и Толик. Отец и мать Суреи остались в Баку — их младший сын Демир поступает в институт. Мои в Бузовнах на даче.

Я вспомнил, какую послал Сурею телеграмму, и мне стало не по себе. Глупо острить, когда у человека горе. Утром от Суреи пришла телеграмма: «Долетела благополучно. Здесь ужасно. Послезавтра буду там. Целую вас. Жду вашего ответа. Сура-мама». «Сура» предназначалось мне, «мама» — Толику. Но я Толику ничего не сказал. Зачем рассказывать ребенку о смерти? Умерла тетя Фира, Фирангиз... Что я отвечу Толику, если он спросит: «Что такое «умерла»?»

А телеграмму я дал действительно глупую: «Тот же голос, тот же бас. В пансионате тот же Басс».

Иосиф Самойлович Басс — бессменный директор пансионата. С тех пор как я открыл глаза, я помню этого Басса. Невысокий, рыжий, он с той же улыбкой, с теми же унылыми движениями, с той же надеждой в глазах встречает и провожает отдыхающих.

Сурея прочтет телеграмму и скажет: циник. Она скажет это про себя, потому что обо мне она говорит только с собой.

Глупо, глупо, глупо...

Я взглянул на руку. Кожа под часами была белой-белой. Вся рука загорела, а от часов остался след. Потом и он загорит. Если в киоске проката вдруг потеряют мои часы, след загорит, и будет казаться, что часов не было. А останется ли след от Фирангиз? Чем заполнится место, оставленное ею в этом мире? Ничем! Миру нет дела до исчезновения Фирангиз. Он даже не почувствует пустоты: ее место заполнится водой, воздухом, солнцем. И солнце будет светить по-прежнему, как будто не было Фирангиз. Почему?

— Пап, что это такое?

Толик снова показывал на грибки на берегу.

— Иди ко мне, погребем вместе, — сказал я ему. Он хитро так посмотрел на меня, давая понять, что его не проведешь. «Я знаю, что ты уходишь от ответа», — говорил его взгляд. Потом он ухватился за мою руку и перебрался ко мне. Мы стали грести вместе.

Деревянные грибки на берегу этого искусственного озера стояли в слишком строгом порядке. Их симметрия казалась ненатуральной на фоне гор. «Это все равно, как если б Гачаг Наби¹ взял портфель и пошел в издательство, — подумал я. — Гачаг Наби — Кавказский хребет, а портфель — квадрат этих искусственных грибков».

Однажды, кажется, это было в прошлом году, я пошутил таким же образом. Мы гуляли в парке и остановились у водопада. Это был

¹ Гачаг Наби — национальный легендарный герой.

маленький искусственный водопад. Речку перегородили, и он лился жидкой струей, поблескивая на солнце. «Смотри, как красиво!» — сказала Сурей. Я пожал плечами. «Это похоже на Кероглу¹, который взял зонтик и спрятался от дождя», — сказал я.

Сурей рассердилась: «Вечно ты недоволен! Все тебе не нравится! Мы целый год ждем этих дней, готовимся, копим деньги, а тебе хоть бы что. Ты и в отпуске такой же, как дома». — «Но я не могу радоваться тому, что мне не нравится. Я не могу естественно восхищаться тем, что неестественно». — «Заладил: естественно, неестественно! Все это у тебя слова. Ты и простой речкой не можешь восхититься». — «А что ты хочешь? Чтоб я подогревал себя? Чтоб искусственно восторгался самой природой?»

— Пап, давай я перейду на другой бок! — сказал Толик.

Я подхватил его и перенес к другому веслу. Какой он легкий! Сколько я ни проделывал фокусов, чтобы заставить его есть, он не поправляется. Дома это обычно вызывает смех. Смеется даже Сурей. Я кукарекаю, кувыркаюсь, скашиваю глаза и прошу: «Толик, съешь еще ложечку...» Сурей говорит, что мне бы не писать о театре, а играть в нем.

Когда в такие минуты к нам заходила Фирангиз, она тоже смеялась и говорила Сурей: «Все думают, что твой муж сухарь, а он совсем не такой. Посмотри! Это просто цирк, не надо ходить на Олега Попова».

Больше я не услышу смеха Фирангиз. Никто уже не засмеется так, как она, и никто не сравнит меня с Олегом Поповым.

Ее нет. Она умерла.

Вот и я так когда-нибудь уже не буду грести, не буду вспоминать о своих ссорах с Сурей, не буду сравнивать Кавказский хребет с Гачаг Наби. А потом и Толик не будет грести, а потом и сын Толика, и, может, внук его, который уже не будет знать моего имени...

— Пап, ты опять свистишь?

— Прости, Толик.

Впереди виднелся мост.

— Давай проплывем под этим мостом! — сказал я.

Толик улыбнулся. Улыбку, как и глаза, он взял у Мушкиназ-ханум. Интересно, что возьмет его сын у меня?

Когда вчера пришла телеграмма от Мушкиназ-ханум, Сурей сразу же заказала телефонный разговор с Баку. По телефону Мушкиназ-ханум сказала, что Фиру задавил автобус. Он прямо смял ее, нашу бедную Фирангиз. Потом она сказала, что в Баку очень жарко и завтра у Демира первый экзамен.

Сурей едва вышла из будки. Я должен был поддержать ее, чтобы она не упала. Кроме того, я боялся испугать Толика. Ночью она

улетела на похороны.

Фира училась с Сурей в одном классе. Они вместе закончили школу и вместе поступили в один институт — медицинский. Там они учились в одной группе. И на работу их направили в одно место. Я забыл, как называется этот институт, — институт онкологии, рентгенологии и радиологии? Толик точнее знает его название.

Фире, как и Сурей, было двадцать девять. Мы с ней ладили: она предпочитала меня Олегу Попову, и я обещал, когда Толик подрастет, сосватать ее за Толика. Нельзя же оставаться старой девой.

Сурей ругала меня, что я слишком грубо шучу с Фирой. Но Фира не обижалась, я знаю.

Она не вышла замуж не потому, что не была красива. Просто не было человека, которого бы она любила. Она сама мне говорила об этом. Когда об этом говорит красивая женщина, ей можно верить. Я верил Фире, хотя иногда мне казалось, что она тайно любит кого-то. Как-то я сказал ей: «У тебя есть тайный возлюбленный, Она покраснела, но тут же свела все к шутке: «Ты боишься за Толика? Пока он вырастет, я разлюблю своего возлюбленного».

Может быть, Фира любила меня?

— Пап, не свисти!

— Ой, прости, пожалуйста.

Я посмотрел на часы, но часов на руке не было, белел только след от них. Сейчас мы вернемся, я снова надена часы, и белый след закроется.

Но место, оставленное Фирангиз, еще долго будет пустым.

Слева по борту появилась лодка. На веслах сидела; женщина в красивом купальнике. Она и сама была хороша. Портил ее листок на носу, который она приклеила, чтобы спастись от солнца. Мне этот листок напомнил фиговый лист Аполлона (только у Аполлона прикрыт срам, а здесь — нос). Я засмеялся; мне понравилось это сравнение.

Женщина поняла мой смех по-своему. Ее зеленые глаза весело подмигнули мне. «Ишь ты!» — подумал я. Но тут из-за моего плеча показался Толик. Взгляд женщины сразу посуровел. Она резко отвернулась и налегла на весла. Ее лодка ушла вперед.

— Ты боишься, что я утону? Почему ты меня так крепко держишь? Ты боишься, чтоб я не упал в воду?

Когда Толик был маленьким, я думал, что он будет композитором. Потом он заговорил, и я решил, что его призвание — литература. Теперь я вижу, что он родился преподавателем логики.

Он прав: я боюсь. Если он упадет в воду и утонет, я умру. Я не смогу жить. Но чего я больше боюсь: того, что умрет Толик, или умру я?

— Фира была смелая девушка, она не могла полюбить меня. Ее идеалом мог стать только смелый человек, не такой, как я. Но откуда я знаю, смелый я или нет? Был ли в моей жизни случай, когда б я мог это

¹ Кероглу — легендарный азербайджански национальный герой

проверить? Так что, может, я и смелый, и Фира могла полюбить меня.

Но зачем я все время спрашиваю, любила она меня или не любила? Переживал бы я больше, чем сейчас? И переживаю ли я вообще ее смерть? Ведь переживать и сожалеть не одно и то же.

К тому же еще вопрос: была ли Фира смелой? Может, я идеализирую ее. Все мы одинаковы, только стараемся казаться разными.

Нет, нет, Фира не казалась — она была.

Сурея не раз жаловалась ей на меня. Часто она делала это при мне. И как-то Фира ей возразила: «Ты не знаешь Сабира. Он не так уж плох. Внутри его живет другой человек. Он потенциально существует, и его надо лишь подтолкнуть».

Фира говорила о себе. Это в ней жил такой человек, и его не все видели. Я видел, и он мне был дороже того человека, которого видели все. Он-то и был смелым, этот другой человек.

А во мне, кроме меня, никого нет. Я — одновариантный, однозначный, одноэкземплярный Сабир.

— Папа, — сказал Толик, — если б у нас был мотоцикл, было бы здорово. Утром, гуляя, мы проходили мимо универмага, и Толик потащил меня к витрине. За стеклом на подставке стоял новенький ярко-красный мотоцикл. Он весь сверкал никелированными частями, Толик не мог оторвать от него глаз. Мы простояли у витрины полчасы и потом всю дорогу говорили о мотоцикле.

— Пап, а ты водил мотоцикл? — спрашивал Толик.

— Нет, я водил трехколесный велосипед,

— А тебе кто его подарил, дед?

— Да. Я ездил на нем по балкону, потому что бабушка не пускала меня во двор.

— Сколько тебе было лет?

— Я учился тогда в первом классе.

Но и позже я не любил техники. Отец Суреи водил «Москвич», но я не испытывал к «Москвичу» никакого интереса. Я приезжал на нем в пансионат, уезжал обратно, и все. Остальное меня не волновало.

Из-за этого «Москвича» мы и стали ездить в Кисловодск. Нынче «Москвич» остался в Баку, но мы все равно приехали. Выручил Иосиф Самойлович Басс, а точнее, коньяк «Гек-Гель». В обмен на две бутылки мы получили прекрасный двухместный домик. Правда, он временный, но что поделаешь? И к тому же на будущий год мы снова приедем сюда и снова поселимся в этом домике.

Тот же голос, тот же бас.

В пансионате тот же Басс...

Как все это приелось! Неужели я осужден каждое лето видеть одно и то же? Одни и те же дома, одни и те же лица: дворника Лени,

администратора Жени, буфетчика Сергея, охранника Фомы Герасимовича. И конечно, Иосифа Самойловича Басса. Неужто я до конца дней обречен кататься на этом озере, смотреть на эти горы, ходить по этим улицам? Я уже тысячу раз ходил по ним. Впрочем, и ничто другое меня не влечет. Так почему же я об этом думаю?

Всюду эти «почему»!

— Когда Фира и Сурея были студентками, они вечно ссорились. Фира заходила за Суреей по пути в институт. Институт в двух кварталах от нашего (я говорю «нашего», потому что с тех пор, как мы поженились, я живу у Суреи) дома. Но Фира всякий раз избирала новый путь. «Куда ты меня тянешь? — сердилась Сурея. — Мы опоздаем!» — «Я задыхаюсь, когда вижу одно и то же!» — отвечала Фира. Она готова была обойти весь город, только бы не попасть на знакомую улицу.

— Я устал, — сказал Толик. — Я ненавижу твое озеро, потому что ты все время молчишь.

— О чем мне говорить?

— Расскажи сказку.

— Может, рассказать про Джыртдан?

— А кто это — Джыртдан?

— Никто.

— Расскажи про Снегурочку.

— Ладно, но я потом расскажу, а сейчас поехали, надо сдать лодку.

Я спешил. Мне хотелось скорей получить часы и надеть их на руку. Белый след от ремешка раздражал меня. Если часы пропадут, то чем я закрою его?

Лодка ткнулась носом в причал. Я высадил Толика, прикрепил лодку цепью и направился к киоску проката. Часы были на месте. Я надел их на руку и подумал: «Вот и все. И хватит об этом». — Пап, ты расскажешь сказку?

— Пойдем погуляем в парке, — сказал я Толику. — А потом поужинаем.

— Нет, сначала на «Фантомас»!

— А ужин?

— Сначала — «Фантомас»!

Мы подошли к автобусной остановке. На остановке стояла очередь.

— Кто последний? — спросил я,

— Пап, а ты знаешь, как Фантомас смеется: «га-га-га...»

— Не «га-га-га», — сказал я, делая страшное лицо, — а «ха-ха-ха»...

Люди в очереди стали оглядываться. «Вот, уже оглядываются, — подумал я. — Скоро начнут аплодировать». Мне захотелось поклониться им и сказать: «Благодарю за внимание».

Я всегда так делал, когда кормил Толика, и Фира аплодировала мне. «Не понимаю, почему тебя считают пресным, — сказала она как-

то. — Ты не пресный, ты скорей... безразличный».

Я запомнил это слово. Целую ночь я ворочался тогда возле Суреи и не мог заснуть. Так, значит, я безразличный? Фира попала в точку.

Наверное, это оттого, что у меня нет мечты. Большой мечты, высокой. О чем я мечтаю?

Во-первых, чтоб скорей вернулась Сурея. Толик томится без нее, а я томлюсь с Толиком. Во-вторых, чтоб на следующий год мы вновь приехали сюда. Я хоть и ворчу, но мне тут неплохо. Я целый день валяю дурака и ни о чем не думаю. Ни о чем не думать — особое блаженство. Это похоже на состояние человека, который выпил несколько бутылок вина. Он пьет весь день вино и не пьянеет. Какой-то сладкий полусон, идиллия бездумья. Но я, кажется, впал в пафос.

К остановке подкатил автобус. Очередь, толкаясь, погрузилась в него. Влезли и мы с Толиком.

— Ну что теперь? — сказал я.

— Теперь возьми билет.

Я порывлся в кармане и нашел пятнадцатикопеечную монету. Кондукторша (она оказалась интересной блондинкой) дала мне пять копеек сдачи. Новенький пятак блестел как золото.

— Дай мне! — попросил Толик.

«Итак, две мечты у меня уже есть. А третья? — Я пошарил в памяти. — Есть и третья. Третья моя мечта — быстрее защитить докторскую диссертацию. Надоело слышать «кандидат искусствоведения Меликов». Хочется слышать «доктор Меликов». Кроме того, прибавят зарплату, и Сурея перестанет меня пилить.

Нет, за такие мечты Фира бы не полюбила меня.

Представляю, что у них там сейчас делается! У Фиры три сестры, и все ее моложе. Но она самая красивая. Самая красивая и одна незамужем. И мама у нее хорошая, Бике-хала. Она так вкусно готовит дупбере и кутабы.

Отца у Фиры нет. Я не знаю, куда делся Фирин отец — погиб ли на фронте, или еще где. Мы никогда не говорили с ней об этом. Семь лет я почти каждый день видел Фиру и не догадался спросить.

— Пап, мы идем на «Фантомаса»?

— Да, да, Толик, идем.

...Когда начался фильм, я вдруг вспомнил одну вечеринку у Гаджи. Мы были тогда студентами. У Гаджи была удобная квартира — большая и пустая. Отец его все время находился в разъездах, а мать у Гаджи души не чаяла.

Мы веселились, пели, танцевали. Все было как на всех вечеринках. Неожиданно Гаджи встал и попросил внимания. Он сказал, что хочет, чтобы каждый объявил свою мечту, самую заветную. Пусть каждый подумает и скажет.

Мы стали думать. Когда очередь дошла до меня, я еще не знал

ответа.

«Ну, а у тебя какая, Сабир, мечта?» — спросил Гаджи.

«Моя самая заветная мечта, — сымпровизировал я, — чтобы сбылись все ваши мечты».

Получилось хорошо. Все заплодировали. Гаджи обнял меня. Он был растроган. И остальные растрогались. Меня поздравляли: «У тебя самая благородная мечта!»

Я потом стыдился своей неискренности. Я мучился оттого, что у меня нет мечты. Сколько я ни искал в себе, я не мог найти ничего подходящего. Почему у меня нет мечты? Потому что я безразличный? Или потому, что я знаю, что мы все умрем? Мои размышления прервал смех Фантомаса.

— Ух ты! — восхитился Толик.

Потом он успокоился и зашептал мне на ухо: «Видишь, папа, он смеется так, как я».

Месяца полтора назад я встретил Гаджи на улице.

Он торопился на футбол. «Пойдем! Есть лишний билет «Нефтчн» — «Динамо» (Киев)». — «Спасибо, Гаджи, я посмотрю по телевизору». Он посмотрел мне в глаза:

Ты что? Закис? Откуда у тебя такая апатия?»

Слово это так и вонзилось в меня. «Апатия, — подумал я. — Апатия и безразличие. Гаджи как будто подслушал, что мне сказала Фира».

Я разозлился тогда на него, но злиться было нечего, Гаджи был прав.

Но почему? Почему? Почему?

Я сижу в зале, смотрю на экран и повторяю: «Почему? Почему? Почему?» Лучше бы я наблюдал за мимикой Луи де Фюнеса.

Толик громко засмеялся.

«Если б я мог смеяться, как Толик!» Это, кстати, моя четвертая мечта. Если б я мог так простодушно радоваться жизни, я был бы счастлив. Но я не могу, Я сразу заглядываю в конец и спрашиваю: а какой в этом смысл? Я ишу смысла в большом и малом — даже в собственном смехе.

Знаешь что, друг мой, пока еще кандидат искусствоведения, сиди и не рыпайся. Были и до тебя умные люди и не ответили на эти вопросы. Сколько они ни ломали голову, все равно им пришлось умереть.

О том же мне говорил Кемаль Аджалсыз¹. Как-то — это было осенью — мы задержались на работе. За окном лил дождь, серое небо не обещало никакого просвета. «Грустно», — сказал я. Аджалсыз покачал головой: «Что ты хочешь, юноша? Осень». — «Да, но что-то уж очень грустно».

Мы еще посидели немного, а потом Аджалсыз сказал: «Хочешь, я тебя избавлю от этого настроения? Скажи «да», и ты найдешь алтарь».

¹ Аджалсыз — бессмертный.

перед которым не устанешь молиться». — «Что вы мне предлагаете?»

И Аджалсыз вынул из своего выцветшего портфеля бутылку «Московской».

«Нет, — сказал я. — Это не по мне. Я терпеть не могу водки. И вообще у меня семья, сын Тебриз».

Надо сказать, что Кемаль — горький пьяница. Но зато псевдоним у него Аджалсыз.

Моя пятая мечта — вырастить Толика.

Толик об этом не знает. Он смотрит «Фантомаса» и смеется. А я твержу себе: Толик-Тебриз. Толик-Тебриз. Что я имел в виду, когда дал ему имя этого города?

Было бы здорово сейчас явиться на почту, заказать разговор с Баку и позвонить Гаджи. И без всяких околичностей спросить его: помнишь ту вечеринку? Помнишь, как ты просил нас поделиться своею мечтой? У меня есть мечта. У меня не одна мечта, а целых пять.

Он, наверное, решит, что я пьян, и спросит: «Что ты имеешь в виду?»

«Значит, ты не помнишь, значит, все, что вы говорили тогда, — ложь, и у вас не было мечты, вы ее придумали?!»

«Бог с тобой, — скажет Гаджи. — О чем ты?»

«Вот видишь, ты забыл. Ты забыл, как я сказал: моя мечта — чтоб сбьлись ваши мечты! Я вас обманул, но и вы меня обманули. И нечего спрашивать: «Откуда у тебя апатия?» Чем ты отличаешься от меня? Тем, что смотришь футбол на стадионе, а я — по телевизору? И это дает тебе основания для оптимизма?»

Фира считала меня безразличным, но я мог заменить ей Олега Попова. Значит, было во мне что-то. Значит, есть во мне другой человек, иначе стал бы я спрашивать: «Почему? Почему? Почему?» Стал бы я бить себя в грудь и говорить: я плохой?

Впрочем, завтра, может быть, я этого не скажу. Не каждый день умирает Фирангиз... Завтра все уляжется, и я опять стану самим собой — кандидатом Сабиром Меликовым, постояльцем пансионата Иосифа Басса.

Я понимаю, что все зависит от меня самого. Моя судьба — в моих руках. Но это громкие слова, и если в сердце нет желания, то и руки бесполезны. Они безвольно повисают вдоль тела.

...В зале вспыхнул свет.

— Жалко, — сказал Толик. — Посмотреть бы еще раз. — И он взглянул на меня.

— Нет, на сегодня хватит.

Мы вышли из кинотеатра и побрели по улице.

«А смешной все-таки псевдоним у этого Кемалья, — вспомнил я. — Не псевдоним, а протест: я в смерть не верю — где оборвется, так и оборвется.

Он протестует хотя бы этим. Фира — она однажды видела Аджалсыза у Толика на дне рождения — говорила, что ему бы надо взять псевдоним «Аладжсыз»¹. Какой он Аджалсыз, он Аладжсыз!»

Фира тоже была беспомощной и оттого умерла. Все мы беспомощны перед смертью. Но я начинаю повторяться... Как в сказке о белом бычке: ты безразличен, а почему ты безразличен, и как не быть безразличным, и чем это кончится. Каждый раз я упираюсь лбом в этот копец, и все начинается сызнова.

— Пап, ты куда так спешишь?

Я и не заметил, что прибавил шагу. Наверное, это оттого, что мысли мои буксуют и я движением хочу вырваться из этого.

А Толику скучно. В кино он смеялся, прыгал, закрывал глаза от страха. А теперь он молчит. «Если б я мог скучать, как Толик!..» Это моя шестая мечта. Шестая и последняя, больше у меня нет. И все они не стоят и копейки. Разве кроме мечты вырастить Толика. Но и это не мечта, а инстинкт. И животное беспокоится о своем детеныше.

Научусь я скучать, как Толик, или не научусь, не все ли равно. Ну и научусь, ну и что?

Мы проходили мимо универмага.

— Смотри — стоит! — И Толик потянул меня к витрине.

Мотоцикл действительно стоял на месте. Он ничуть не потускнел за то время, пока мы его не видели. Он так же сверкал, был так же нов, наряден и вызывающ. Казалось, он говорил прохожим: «Купите меня! Ну купите!»

Толик так и прилип к стеклу. Он долго смотрел на мотоцикл, оборачивался, смотрел на меня и опять на мотоцикл.

— Пап, купим?

— Ты шутишь, Толик.

Но он не шутил. Его глаза смотрели на меня серьезно и с надеждой.

— Толик, но на что мы его купим? Где у нас деньги? Он протянул мне кулачок и разжал пальцы:

— Вот.

В руке у Толика лежала новенькая пятикопеечная монета.

— На этот пятак?

Все деньги, которые мы взяли на отпуск, лежали в моем боковом кармане. И их вполне хватило бы на то, чтоб купить мотоцикл. Может, так и сделать, подумал я, пойти и купить? А там будь что будет. Если я сейчас это сделаю, я, может быть, что-то изменю в своей жизни.

Толик смотрел на меня и ждал.

А если Суря начнет ругаться, я скажу: «Оставь». А если за этим последуют еще какие-нибудь события (например, разрыв), пусть. Значит, так должно было быть.

¹ Аладжсыз — беспомощный.

Пока я объяснял себе это, старая мысль вылезла снова и спросила: «А зачем? Что это может изменить? Фира умерла, и теперь в этом нет ни-ка-ко-го смысла».

Я взял у Толика монету, и мы вошли в универмаг. Я заплатил в кассу рубль пятьдесят восемь копеек и купил игрушечный мотоцикл. Толик повертел его безразлично в руках:

— А почему ты не купил настоящий?

— Вырастешь — куплю.

— А сейчас?

— Сейчас ты маленький.

— Ты купи себе!

— Ты же знаешь, я не умею водить мотоцикл.

— Почему?

— Меня не учили... и вообще я не хочу, не люблю ездить на мотоцикле.

— Пап, научись!

— Нет, Толик, уже поздно. И мы снова вышли на улицу.

Когда мы уже подходили к пансионату, Толик сказал:

— А я буду водить мотоцикл.

Так я и не накормил его сегодня ужином. Дай бог, чтоб Сурей не узнала: достанется мне на орехи. Вот и знакомые домики.

Тот же голос, тот же бас,
В пансионате тот же Басс...

Сколько лет я возвращаюсь сюда одной и той же дорогой! Конечно, если б я купил мотоцикл, я мог бы подъехать на мотоцикле. Но какая разница? Дорога-то все, равно одна: идешь ли по ней пешком или едешь на чем нибудь.

1968, декабрь

БРОНЯ

«Наконец-то аллах услышал нас, наконец-то он смиловился к нам,— сказала потом Гюлли-хала,— нечего убиваться, все дурное уже позади: дней через десять-пятнадцать Шахин будет совершенно здоров». Она снова — который уже раз! — подошла к постели больного ребенка и вгляделась в личико: «Душа моя, утешение ты мое! Да буду я твоей жертвой...»; слезы выступили на ее глазах, и как ни странно, но именно они, эти слезы, окончательно убедили меня в том, что наш Шахин выздоравливает и что кошмары последних дней действительно отошли в прошлое. Впервые за эти двадцать дней я обрел способность чувствовать что-то, и у меня чуть закружилась голова от дурманящего запаха лекарств, которыми была пропитана комната. Вопреки всему захотелось подойти к окну и открыть форточку.

«Тебе нужно прилечь, мамочка — сказала Солмаз,— ты вся измучилась, идем, я тебя уложу, поспи хоть самую чуточку». Впервые за все эти дни Гюлли-хала подчинилась ее просьбам. «Да, — сказала она,— пойдем, мне нужно поспать, мне необходимо долго и крепко спать, потому что я еще нужна ему, моему внуку, моему Шахину». Потом она ушла вместе с Солмаз в другую комнату.

Шахин спал... Интересно устроена жизнь: самое большое счастье очень быстро забывается за мелкой неприятностью, как, собственно, один плохой поступок начисто перечеркивает тысячу хороших. Ведь как быстро я забыл время, когда Шахин спокойно засыпал... Перед сном я обычно рассказывал ему сказки, разные сказки — про Джирттана, про Меликмамеда, а он все спрашивал, спрашивал, спрашивал... Скольких волков я застрелил, скольких тигров растерзал, скольких медведей ослил; а я отвечал и всякий раз по-разному: четыре волка, семь тигров, восемь медведей или: десять волков, три тигра, девять медведей — это уже зависело от моего умения выдумывать. А Шахин хоть и слушал внимательно, но усмехался хитро — словно понимал, что все это выдумки.

Вернулась Солмаз и сказала, что Гюлли-хала заснула тотчас же, как легла. «Вот и хорошо, вот и хорошо, что заснула,— ответил я,— ведь столько дней бедная женщина не смыкала глаз, ей давно пора отдохнуть». Потом Солмаз подошла и обняла меня — и это тоже в первый раз за последние двадцать дней. Мы помолчали, нам было хорошо.

Шахин был нашим первенцем, и первая его воля, когда он только родился, была та, что он должен был остаться единственным нашим ребенком; Солмаз больше не могла иметь детей. Но Шахин родился,

Шахин жил, он был нашим ребенком, нашим сыном, и нам этого было вполне достаточно.

«Успокойся, милая, — сказал я ей, — ведь все уладилось». — «Я спокойна, — отвечала она, — я уже успокоилась, разве же ты не видишь, что я абсолютно спокойна?» — «Нет, — сказала я, — мне хочется, чтоб ты совсем успокоилась, совсем, совсем, а потому поплачь, если хочешь, будет намного легче, ведь я ясно вижу у тебя слезы, не надо их стесняться». — «Нет, — ответила она, — я не буду плакать, ведь Шахин снова с нами, зачем же плакать, нужно радоваться, а не плакать, а то, что слезы, так это просто так, и не слезы это вовсе, и не нужно обращать на это внимания, и плакать тоже не нужно, незачем плакать...»

Шахин заболел внезапно. Прибежал со двора, по-обычному веселый, возбужденный, рассказывал о чем-то, озорничал, смеялся и вдруг заболел. Щечки загорелись неожиданно, и глазки заблестели, нездорово, нехорошо так заблестели, а Солмаз сказала, что надо измерить температуру. «Брось выдумывать», — ответил я тогда резко, пожалуй, слишком резко, и все потому, что сам прекрасно видел, что сын заболел, и понимал не хуже ее, что температуру необходимо измерить. Так все это началось... Тридцать девять, вечером — сорок.

«Успокойся, — повторил я Солмаз, — ведь Кязымлы при тебе сказал недавно, что кризис миновал, что через какие-то десять-пятнадцать дней мальчик будет на ногах, ты же лучше меня понимаешь, что Кязымлы не будет бросать слов на ветер, не полагается в таких случаях говорить неправду». Солмаз улыбнулась слабо, я снова подивился тому, что за последние дни отвык от всего на свете, даже улыбку Солмаз забыл, не то что смех — последний раз она смеялась, наверное, целый век тому назад, а сейчас была бледной, похудевшей, словно состарилась за эти двадцать дней. Потом она спросила, что сказал мне Кязымлы перед уходом, «Ничего особенного, — отвечал я, — ничего он не сказал, только попрощался». — «Нет, — сказала Солмаз, — я ясно слышала, он что-то сказал тебе, не скрывай от меня, не надо». — «Да, он еще добавил, что мы можем быть совершенно спокойны за здоровье нашего ребенка». — «Нет, правда, он еще что-то сказал». При последних словах Солмаз так посмотрела на меня, что я не выдержал и сознался. «Да, Кязымлы сказал, что и в эту, сегодняшнюю, ночь, мы должны быть осторожны, правда, только эту ночь, одну ночь, а если что и произойдет, он велел бежать за ним в любое время, поздно ли, рано ли, он будет ждать, Кязымлы будет ждать. Ну что с тобой, родная, ну вот видишь, я не должен был тебе этого говорить, пойми же, ничего особенного не случилось, просто Кязымлы осторожен, и правильно, так и должно быть — он же врач, и потом, он же велел будить его в любое время, ну не надо, прошу тебя... Посмотри на Шахина, видишь, как сладко он спит, он выздоравливает, а ты горюешь, ну на что. Это

похоже, хорошая ты моя...»

Солмаз подошла к окну и подняла шторы: стая местных «вожаков», как всегда, стояла на углу. Солмаз опустила шторы, но не обернулась ко мне.

«Все-таки я не должен был говорить тебе о словах Кязымлы, — сказал я. — Ты всегда представляешь себе самое худшее, так нельзя, так ты действительно накличешь беду, а ведь Кязымлы не сказал ничего особенного, он сказал, что может быть, наверное, не исключено, а ты делаешь свои собственные выводы, нет, не должен был я тебе ничего говорить». — «А что мне делать? — вдруг спросила она и обернулась. — Что мне делать?» И тут я не выдержал, я не мог выдержать, мне нужно было доказать ей, что она не права, что она преувеличивает, что Шахин выздоровеет, и я закричал. Я закричал о том, что ничего этой ночью не произойдет, не должно произойти, что она напрасно изводит себя и меня, все уже в порядке, неужели непонятно, что все в порядке, все прошло, все будет хорошо.

В комнату вошла встревоженная Гюлли-хала: «Что произошло?» — «Ничего не произошло, — отвечала Солмаз, — зачем ты встала, ради бога, не беспокойся, идем, идем, тебе нужно спать, идем».

Они снова ушли в спальню. От запаха лекарств деваться было некуда. Необходимо проветрить комнату, подумал я, и в это время за входной дверью раздались знакомые звуки — так-так, так-так. Это Мамедбагир.

Солмаз отворила дверь и пригласила его войти. Он долго выколочивал трубку за дверью: Солмаз не позволяла ему курить в нашей квартире.

Она ввела Мамедбагира в комнату и усадила за стол. Сразу же по комнате распространился сильный запах махорки. Мамедбагир удобно устроился на стуле и, как всегда, только после этого поздоровался: «Салам-алеikum!»; спросил, все ли живы-здоровы, а потом сказал, что, даст аллах, все обязательно будет хорошо. И это тоже как обычно.

Не знаю, кто первым придумал про Мамедбагира двустийше:

Раз Мамедбагир пришел.

Срок молиться подошел.

В нашем квартале полно подобной поэзии.

Мамедбагир был слеп. Была у него каморка — в тупике, напротив нашего дома, около старой бани, родственников у него не было, знакомых тоже, только соседи. Злые языки поговаривали, что где-то он припрятал сундук с золотом, но где — никто не знал. Ему уже перевалило за шестьдесят, но и стар и млад звали его просто по имени: Мамедбагир. В потрепанной выгоревшей шинели — она бывала на нем круглый год, — постукивая своей неизменной палочкой, Мамедбагир обычно обходил те семьи, в которых кто-то был болен: у одних завтракал, обедал у других, ужинал у третьих, и так весь день. Его

принимали, охотно угощали, и это уже давно стадо своего рода ритуалом, так как считалось, что приход Мамедбагира обычно ускоряет выздоровление больного.

Еще про Мамедбагира говорили, что один глаз он выколол себе сам, чтобы освободиться от воинской службы, а другой ослеп со временем. Некоторые считали, что на второй глаз он вовсе не ослеп, что он притворяется: находились даже свидетели, которые видели Мамедбагира у окон бани, где он подглядывал за купающимися женщинами. Говорили о нем много, слишком много, люди не любили его, а за что — вряд ли кто-то смог бы объяснить: Мамедбагир никому не сделал ничего плохого, да и сплетником тоже никогда не был; кто знает, за что не любили его?..

Солмаз принесла и поставила перед Мамедбагиром тарелку супа, он коротко помолится и принялся за еду. Потом снова сказал, иншаллах, даст бог, все уладится: видно, суп ему нравился. «Вы знаете,— спросил он, — вы знаете, сын Халида был совершенно безнадежен, умирал, бедняжка, а сегодня уже встал на ноги, бегает, резвится, как козлик». А потом Мамедбагир сказал, что Агагюль убежал из Сибири, из заключения.

При этих словах Солмаз, несшая ему чай, вздрогнула и уронила стакан на пол. Потом она закричала на Мамедбагира: «Чтобы ноги твоей не было в нашем доме, вставай и убирайся», — и еще что-то подобное она кричала, и еще, и еще... Шахин зашевелился во сне. Нигом в комнате повислась Гюлли-хала и подбежала к кровати ребенка.

«Что ж, — запахивая шинель, сказал Мамедбагир, — я могу уйти и не выпив чая, на вашем чае свет клином не сошелся, зато для вас это добром не кончится». И он посмотрел в сторону кровати Шахина. Солмаз тут же усадила его обратно и пошла за новым стаканом.

Мамедбагир молча ждал.

«Ты много куришь,— сказал я ему,— очень много, дымишь, как паровоз, запахом твоей махорки пропитана вся улица, разве можно так много курить?»

— «Можно, — ответил он, — если я и курить не буду, то что мне останется на этом свете, что?»

Он снова замолчал. Я прошелся по комнате.

Значит, Агагюль бежал. Из Сибири, не из Сибири, какое это сейчас имеет значение, главное, что он бежал и уже находится здесь, иначе Мамедбагир так уверенно не сообщал бы об этом. Что ж, убежал — снова арестуют, отошлют его обратно, вдобавок срок увеличат, хотя и десять лет срок немалый сам по себе. Но Агагюлю, выдать, этого было мало, или он просто не задумывался над этим — он с самого детства ни над чем не задумывался; и не потому, что не любил думать, а потому, что не умел; чтобы думать, надо быть человеком, а Агагюль человеком никогда не был, никогда.

В прошлом году его отец, Азизага, сказал мне при всех: «Как ты только сквозь землю не провалился, подонок, когда продал моего сына? Ну, ничего, ничего...» Мол, долг платежом красен. Так он сказал. Мне было все равно.

Агагюль пырнул Гасыма прямо на нашей улице, в полдень, и свидетелей было человек двадцать — двадцать пять. Но дать показания согласился только я. Никто меня об этом не просил, да и к Гасыму я относился не лучше, чем к Агагюлю: они стояли друг друга.

Но я дал показания, потому что остальные отрицали, что видели все происшедшее; потому что и все эти остальные были ничуть не лучше Гасыма и Агагюля; потому, наконец, что, когда-то нужно было нарушить законы нашей улицы, это было необходимо, многие давно желали этого в глубине души, но нарушил их я один, и я один теперь был предателем.

«Да ниспошлет вам аллах благополучие», — сказал Мамедбагир и встал. Дверь за ним закрылась.

Шахин все еще спал. В кухне Гюлли-хала аккуратно кипятила посуду, которой только что пользовался Мамедбагир. Солмаз сидела за столом и молчала. «Ну что опять, — спросил я, — почему ты молчишь, что случилось?»

— «Ничего, — отвечала она, — все в порядке». — «Хватит, — сказал я, — ничего не произойдет, не бойся». — «А я не боюсь, — сказала она, — я все понимаю, конечно же, ничего не произойдет». — «Пойду прилягу, — сказал я, двенадцатый час уже, до утра совсем немного осталось, совсем немного, а потом все будет по-прежнему, как двадцать дней назад, все будет отлично; я только прилягу, спать не буду; ведь я рядом, я все время рядом с тобой, и нечего за меня бояться, а за Шахина тем более: ты же веришь Кязымлы, а он сказал, что все будет хорошо».

Я прошел в нашу спальню и лег. Было слышно, как Солмаз возится с входной дверью, запирая ее особенно тщательно, на все засовы. Потом она о чем-то беседовала вполголоса со своей матерью. После этого меня окутало запахами лекарств, словно я находился в больнице.

Вдруг подул ветер.

Агагюль крутил над головой молот: стадион был забит людьми до отката, но, кроме наших соседей, никого не было; все шумели и подбадривали Агагюля.

На Агагюле были длинные синие трусы, выгоревшая сетка, на голове красовалась черная кепка, а в зубах была зажата неизменная папироса.

Он все вертел молот над головой, вертел бесконечно долго, вертел, чтобы метнуть его подальше. Наконец молот взвился в воздух. Люди на трибунах, все как один, подпрыгивали на ноги.

Упершись одной рукой в бок, Агагюль затягивался папиросой и выпускал дым прямо зрителям в лицо.

Потом я снова увидел в небе молот, но теперь это был не молот, а долло приглядывался, я никак не мог разобрать, что же это, и наконец разглядел — это был мой сын.

Я схватил Агагюля за шиворот и принялся трясти что было силы.

«Отпусти меня, — просил он, — зачем ты меня дергаешь?» И это был уже не он, не Агагюль, это был Мамедбагир, это Мамедбагира я держал за шиворот, а он все просил, чтобы я отпустил его: «Ну зачем ты меня держишь, пусти, — говорил он, — пусти, я иду к бане, отпусти...»

«Где Агагюль, — закричал я, — где Агагюль?»

В ответ Гюлли-хала тоже закричала, она кричала о том, чтобы я встал: «Что же ты не встаешь, несчастный, у тебя ребенок умирает, ребенок...»

«Что значит умирает, — сразу очнувшись, спросил я, — что значит умирает, ты думаешь, что говоришь, возьми себя в руки, что значит умирает, зачем ты чумь мелешь всякую?»

До потолка вздымалась грудь Шахина, до самого потолка, опускалась и вздымалась, опускалась и вздымалась, опускалась и вздымалась.

«Нет, — крикнула мне Солмаз, — нет, куда ты не пойдешь, не отпущу я тебя», — она схватила меня за руку. «Пусти, — сказал я. — Кязымлы живет совсем рядом, пусти, он сам велел будить его в любое время, не бойся, ничего не бойся, за пять минут я обернусь, всего за пять минут». Я оттолкнул ее, выбежал в наш переулочек, вышел на улицу и снова побегал.

Мне показалось, что сейчас я увижу волка, его светящиеся в темноте глаза, и я вспомнил, что однажды в газете была заметка о том, как один пастух убил своей палкой сразу четырех волков. Он убил, потому что волки пытались загубить овец, среди овец были совсем маленькие, детеныши, овечки, но ведь и у волка могли быть дети, и если они были, то остались сиротами, но пастух убил их тем не менее.

Один пастух убил сразу четырех. Один пастух — четырех.

Скорей.

Скорей.

Скорей.

В конце нашей улицы стоят два тутовых дерева, стоят как ворота в мир никаким другим путем, кроме как мимо этих деревьев, уйти с нашей улицы невозможно. Фазиля пырнули именно здесь, Алекпера тоже здесь, и Агарзу тоже пырнули здесь.

Если он будет только с ножом, то я справлюсь.

Если с ножом, то справлюсь.

Скорей.

Скорей.

Скорей.

Ну а если все-таки ударит, то успеть бы доползти и предупредить...

Я остановился как вкопанный, но только на мгновение, потом я

сказал, чтобы он отпустил меня: «Успеешь еще рассчитаться со мной, а сейчас отпусти, ради всего святого, отпусти». — «Отпустишь, — спросил он, — тебя отпустить?» — «Да, — ответил я, — меня». На его желтом от анаши лице промелькнуло подобие улыбки. «Что значит отпустить, — спросил он, — две ночи стерегу я тебя здесь, стерегу, дрожа от холода, а ты говоришь отпусти, тупая твоя голова? Обесчестил всю улицу, не человек ты, не человек ты — кобель, а теперь говоришь отпусти? Шакал и сын шакала, вот ты кто!»

«Шахин болен, — сказал я, — Шахин умирает, ты же знаешь, кто это, это мой сын, вот теперь он очень болен, и я иду за врачом». — «Да, я знаю его, — сказал он, — я знаю твоего сына, а ты знаешь, кто такой Орхан? Ты думал о нем, когда продавал его отца? Думал? Думал о моем сыне?» — «Отпусти меня, — повторил я, — отпусти, приду, куда прикажешь и когда прикажешь, а сейчас отпусти». — «Нет, — сказал он, — вот здесь семь пуль, и все семь для тебя одного, понятно?» — «Понятно, — отвечал я, — понятно, но позволь только сообщить врачу, пойдем вместе, если хочешь, а потом делай все, что тебе вздумается». — «За кого ты меня принимаешь, — сказал он, — за кого, ишачье ты отродье? Сколько дней я уже на ногах, голодный, холодный, ночи не сплю, тебя поджидаю, умираю, но ты, собака, умрешь раньше, и поделом тебе, продажная тварь!»

Потом раздались выстрелы, и я захотел крикнуть: «Кя-зым-лы! Кя-зым-лы!» — Но я не успел, потому что опять раздались выстрелы, а вместе с ними какие-то металлические звуки, словно монеты одна за другой падали на асфальт. Затем я увидел неестественные зрочки Агагюля, зрочки волка. «Что ты надел снизу, — кричал он, — что ты надел, железную рубашку, что ли? Что ты надел, что пуля не берет тебя? Я их выпущу в твою проклятую башку».

Он снова выстрелил, теперь он стрелял в мою голову, и снова пули отскочили бессильно от меня.

Потом вдруг стало тихо, настолько тихо, что я услышал шорох листьев на тутовых деревьях.

«Что ты с собой сделал? — спросил он. — Что ты сделал? Пули не берут тебя, пули не берут тебя, понимаешь, не берут, что ты сделал с собой? Не подходи, — крикнул он, — не подходи, застрелю, не подходи ко мне, слышишь!»

Последние две пули, как и прежде, отскочили от меня. На этот раз я явственно почувствовал, как они на мгновение коснулись моего лба и отскочили, как щелчок. Это встряхнуло меня, и я наконец сам понял, что пули неопасны для меня, что мое тело закутано в невидимую броню.

Агагюль дико закричал, отшвырнул пистолет и бросился бежать...

...Сейчас, когда я вспоминаю эту историю, мне становится не по себе: неужели такое действительно могло со мной случиться? Действительно ли я видел Агагюля в ту ночь, правда ли, что он стрелял

в меня и его пули меня не брали? Не знаю, что я думал бы со временем сам обо всем этом, если бы я не поднял с земли пистолет, брошенный Агагюлем. В нем оставалась еще одна пуля, и это была самая настоящая пуля. Позже я выкинул пистолет в канализационную яму около старой бани. Мне кажется, что никакого чуда здесь не произошло, что все так и должно было быть, тем не менее я никому не рассказал об этом случае, даже Солмаз не рассказал.

Сегодня вечером, укладывая Шахина, я рассказывал ему о том, как я убивал тигров. За дверью вновь, как и в тот вечер, раздались звуки: так-так, так-так. Солмаз открыла дверь. «Заходи,— сказала она, — заходи, сегодня у нас был плов, и я тебе оставила целую тарелку, проходи, садись». — «Дай вам аллах здоровья»,— ответил Мамедбагир и снова долго выколачивал за дверью свою трубку. Потом он вошел, и вновь было не продохнуть от махорки.

Солмаз подвела и усадила его за стол. Устроившись поудобнее, он поздоровался: «Салам-алейкум». — «Салам-алейкум»,— ответил ему Шахин. Солмаз принесла тарелку плова, поставила ее перед Мамедбагиром, а сама подошла и села рядом с нами.

Как обычно, Мамедбагир коротко помолился, взялся за еду, потом, вспомнив, сказал: «Знаете, Агагюль сошел с ума, вчера его поймали на бульваре, он бегал, целился в гуляющих пальцем и стрелял: паф, паф, паф...»

1969, май

КРАСНЫЙ МЕДВЕЖОНОК

Рахману Бадалову

Дж. Салимов работал инженером на судоремонтном заводе, и вот сегодня он снова задержался после работы часа на полтора, просмотрел кое-какие чертежи и подумал немного. Потом он долго глядел на приклепленную к стене футбольную таблицу: интересно, войдет «Нефтчи» в восьмерку сильнейших команд или нет?

Выйдя из заводских ворот, он сел на троллейбус и вышел прямо у своего дома на улице Низами; сначала ключом открыл дверь и уже после этого, нажав на кнопку звонка, вошел в квартиру.

Звонок этот прозвучал так странно, так неестественно, что Дж. Салимов и сам удивился; удивился как будто и этот темный коридор, и этот вобравший в себя годичную пыль диван, и кресла, и этот платяной шкаф, и книжные полки, и эти панельные стены, казалось, застыли в изумлении, и даже как будто вздрогнул сидящий в кресле большой красный медвежонок, казалось, что и Лейла сейчас закричит: «Папа пришел, откройте дверь!» Этот красный медвежонок может вздрогнуть и даже подпрыгнуть, а Лейла уже здесь не закричит: «Откройте дверь, папа пришел!»

Без Лейлы нет для него жизни — без сомнения, это ложь; вот нет Лейлы, а он живет; Лейлы нет, а вся эта мебель стоит на месте, и телевизор можно включить, и радио передает последние известия, и на улице так же шумят машины, холодильник на кухне так же работает, а то стоит тихо, и этот красный медвежонок все в той же позе, с той же улыбочкой сидит в кресле, только не тикают часы на стене.

Дж. Салимов закурил сигарету, потом завел настенные часы. Они показывали без десяти три, а на самом деле был уже восьмой час, вечер, но он не перевел стрелки, ведь это не имело никакого значения.

Часы затикали, но и это тиканье было каким-то вялым, безжизненным, как и все эти вещи, как этот красный медвежонок.

Вдруг Дж. Салимова прошиб холодный пот, по телу побежали мурашки, ему вдруг показалось, что Лейла умерла. Потом он пошел на кухню, вода опять не шла, он полил себе из чайника, умылся.

В кухне на стене висел календарь, на листке было обозначено шестнадцатое мая, на картоне позади календаря — портрет Бетховена, он совсем пожелтел, как будто это лист ореха и сейчас конец осени.

Сегодня было одиннадцатое июля.

Шафига, забрав с собой Лейлу ушла из этого дома двадцать второго марта; апрель, май, июнь — три месяца и одиннадцать дней; три месяца одиннадцать дней и там девять — итого три месяца и двадцать

дней, как они ушли; а сколько пройдет лет с тех пор, как они ушли, до смерти Дж. Салимова: десять, двадцать или сколько там — это не имеет значения, он без Шафиги, без Лейлы, и так будет всегда, и эти две комнаты умерли, и все вещи, и все вещи, и никогда они не оживут, потому что умер и сам Дж. Салимов и никогда уже не воскреснет, потому что это не имеет смысла, не имеет никакого смысла.

Это был день новруз-байрама. Да, ушли они в день новруз-байрама.

Лейла вырастет, выйдет замуж, может быть, будет счастлива — без него.

А может, Лейла вырастет, выйдет замуж или не выйдет, но будет несчастна — без него.

И Шафига станет бабушкой, постареет, поседеет — без него.

Вернувшись в комнату, он открыл окно на улицу, высунулся в окно, и вдруг ему представилось, что вот сейчас по этой улице пройдет похоронная процессия. Рядом в окне показалась голова артиста, живущего по соседству. Увидев Дж. Салимова, он, как обычно, улыбнулся криво и поздоровался: «Добрый вечер, сосед».

Затем Дж. Салимов сел на диван и посмотрел на красного медвежонка: «Добрый вечер, сосед».

Вот бы случилось сейчас чудо: встал бы этот красный медвежонок с места и крутнул бы сальто.

Чудеса бывают только в сказках.

Лейла тоже это понимала, хотя и говорила: «Неправда, чудеса бывают не только в сказках, я сама видела по телевизору, как птичка превратилась в человека».

И еще Лейла говорила, что медведь — это не медведь, потому что в зоопарке он не красный, а медведь должен быть красный, как мой медвежонок.

Этого красного медвежонка подарил Лейле в прошлом году, когда ей исполнилось четыре года, ее дедушка, отец Шафиги, Мамед-киши. Позавчера он приходил сюда, все посматривал на этого медвежонка, но постеснялся попросить, наверно, Лейла каждый день дергает его: «Где мой красный медвежонок?»

И сейчас Дж. Салимову был невыносим самый вид этого медвежонка, обычное выражение его мордочки, его привычная поза, потому что этот красный медвежонок всегда был с Лейлой, он улыбался ей, и с ней он играл; это был самый близкий друг Лейлы.

Конечно, Дж. Салимов мог выкинуть этого красного медвежонка, но тогда уже и в самом деле было бы все кончено.

А разве сейчас не все кончено?

Позавчера он так и сказал Мамеду-киши. Мамед пришел к нему как бы без ведома Шафиги, он говорил: «Бросьте вы это, хватит, наконец; пойдём, — говорил он, — к Шафиге, или хотя бы позвони, все будет в порядке». Но он сказал: «Нет, отныне все кончено». Может, и правда

Мамед-киши пришел без ведома Шафиги, вполне может быть, он хороший старик, Мамед-киши. Он говорил: «Не упрямясь...»

Что означает это слово — упрямяство? Может быть, так называется чувство собственного достоинства? Если это и есть упрямяство, то да здравствует упрямяство.

Жить без Лейлы можно, вот так, пусть даже среди этих мертвых вещей, и без Шафиги можно прожить, но без собственного «я» — пусть другой кто-нибудь попробует, только не Дж. Салимов, потому что он уже пробовал — ничего не получилось.

Сосед артист снова начал стучать в стенку; зимой он говорил, ковры прибиваю — это в час ночи, — а летом в эту жару что он прибивает, интересно?

Дж. Салимов вспотел, он встал, снял рубашку — хоть выжми, теперь он может ее выжать и повесить на веревку на балконе, совсем как в свою холостяцкую пору.

Холостая жизнь — блаженство, но не после женитьбы.

Вот так пошуты, подураться, почитай немного, посмотри телевизор, послушай радио, вспомни о заводе, а потом усни, потом встань рано утром, походи на работу, и снова все сначала.

И до каких пор?

Не переживай, пошуты еще немного, тебе надо отвлечься, и не так уж душно в этой квартире, брось свою сигарету, смотри, вот сейчас этот красный медвежонок вскочит и начнет кувыркатся, а нет — так помоги ему, сам покрути его на ковре, какая разница; и успокойся ты наконец, хватит себя растревлять, что, в конце концов, произошло, дело обычное, не ты первый, не ты последний.

Дж. Салимов снова подошел к окну: те же крыши, те же трубы, те же деревья, тот же зной; это однообразие убивало его, и началось это после ухода Шафиги. Артист тоже высунул голову, улыбнулся. Дж. Салимов спросил его: «Что случилось, в чем дело?» — «Что-что?» — переспросил артист. «Я говорю: в чем дело, что случилось, что-нибудь забавное произошло — так скажите, мы тоже посмеемся», — сказал Дж. Салимов. Артист мгновенно посерьезнел, даже покраснел. Кажется, — вечер уже, не разберешь, — потом спросил: «Вы читали произведения Бедира Бедирли?» — «Нет, — ответил Дж. Салимов, — не читал, а что, смешная книжка?» Артист сказал: «Ужасно, там о том, как влияет разрушение семьи на нервную систему человека», — «На вашем месте, — сказал Дж. Салимов, — вместо того чтобы читать Бедира Бедирли, я попросил бы себе роль Иуды Искарота».

Дж. Салимов потушил сигарету в пепельнице и сел на диван. Были бы у него длинные руки, протянул бы их и хорошенько надрал соседу уши.

Вот такие дела.

Вдруг ему показалось, что кто-то пристально смотрит на него

сзади, кто-то устался ему в затылок; даже шея у него заболела от этого взгляда, но он не обернулся, он знал, что это, вернее, что это, — это телефон, телефон на маленькой подставке. Номер Маameda-киши: 92-75-34; и Шафига, и Лейла были там, по номеру 92-75-34.

Тут он посмотрел па красного медвежонка и сразу закрыл глаза рукой: ему показалось, что вот сейчас этот красный медвежонок схватит его за руку и потянет к телефону, снимет трубку и наберет номер: 92-75-34, потом всучит ему трубку и заставит говорить, как палач, весь в красном.

Но почему как палач?

Лейла сейчас ждет своего красного медвежонка там — по 92-75-34, там она ждет свои сказки, там она смеется и плачет, улыбается и сердится; и Шафига там, она не смеется, Шафига постарела в свои тридцать лет.

Почему же как палач?

Артист снова начал стучать в стену. Зимой говорит: «Ковер прибываю к стене, а что он сейчас прибывает? Такой что хочешь прибьет».

Все мы из стекла, только не все знают об этом, большинство из нас не знает, что все мы из стекла, но мы из стекла, и когда мы разбиваемся вдребезги, это тоже не все чувствуют, а после этого мы вновь склеиваемся в одно целое, и большинство из нас не замечает пятен клея и грубых швов.

Ну хватит философствовать, давно известно, что в этом мало толку, и нет никаких палачей, и этот красный медвежонок навсегда останется в кресле, чудеса бывают только в сказках, а еще по телевизору, когда птица превращается в человека.

Дж. Салимов встал, пошел на кухню, полил себе из чайника и умылся. Календарь опять показывал, что сегодня шестнадцатое мая. Он начал отрывать дни один за другим: это 17-е, это 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, все на одно лицо — 22-е, 23-е, ну и что же, какое это имеет значение, ну какая разница, что сегодня не шестнадцатое или двадцать третье мая, а одиннадцатое июля? И сколько времени будет безумствовать тишина, до каких пор будет продолжаться эта душная ночь, это одиночество телепередач и радиопрограмм, однообразие шума проносающихся по улице машин, это безразличное тиканье часов, эта неразличимость дней календаря; до каких пор вот так и будет сидеть этот красный медвежонок? До конца.

Дж. Салимов вышел на балкон. Раньше это желтое здание напротив не было таким поблекшим, этот черный каменный дом не выглядел так мрачно, а грязь, пыль и грохот бульдозеров на соседней стройке не сжимали так сердце. И раньше росли цветы на балконе напротив, но раньше балкон этот не был катафалком, и виноградная лоза не казалась такой высохшей и бесплодной, и милиционер на перекрестке не сутился так, и этот старик в очках, глядящий с балкона на улицу, не

выглядел таким убогим; раньше, сто лет назад, не было этой страшной серости вокруг; тогда на этом балконе смеялась Лейла, тогда эти комнаты даже пахли по-другому.

Но ведь все равно этот смех не вечен, и запах этот тоже не навсегда; ну, десять лет продолжался бы этот смех, десять лет держался бы этот запах, ну двадцать, тридцать, пусть сорок лет, ну пусть пятьдесят, а потом?

И что же это такое — он все время помнит тот смех, тот запах, почему он робеет перед этим красным медвежонком, почему он постоянно ощущает на себе взгляд телефона?

Вот такие дела, товарищ инженер, уважаемый Дж. Салимов. Досрочное выполнение плана на заводе — это еще не все, и страдания из-за «Нефтчи» тоже еще не все. Ну что же ты, подними свою драгоценную голову и посмотри на синее небо, и выбрось из головы все эти мысли, а еще лучше — войди в комнату, включи радио, пусть играет музыка, а ты потанцуй хорошенько сам с собой, пропотей как следует, пусть, как простуда, уйдут от тебя эти неприятности.

Отлично, здорово ты подлучиваешь над собой, очень солони, очень смешно, так что надо зашекогать себя до полусмерти, чтобы рассмеяться.

Какие никчемные мысли, какое убожество!

Потом настенные часы пробили четыре, значит, был уже десятый час.

Дж. Салимов вошел в комнату, потушил свет и лег на диван: уснуть и утром пойти на работу, потом вернуться домой, снова сидеть лицом к лицу с этим красным медвежонком, потом снова уснуть и снова утром пойти на работу.

Вдруг ему показалось, будто что-то изменилось, послышался какой-то новый звук — наверно, это комар, он зазвенел, потом умолк, может, в окно вылетел.

Надо аквариум купить и рыбок закупить разных — пусть себе плавают день и ночь.

Или соловья в клетке.

Холодильник на кухне снова зашумел, скоро перестанет, а потом опять зашумит.

Артист успокоился или, может, другую стену колотит. Зимой спрашиваешь, говорит, ковер к стене прибываю, интересно, а в эту духоту что он делает?

Потом все мысли исчезли, но и уснуть он не мог.

Через некоторое время ему показалось, что он заснул, что не надо раздеваться, идти в спальню, ему показалось, что он так и проспит до утра. Вдруг он вскочил, он и сам не заметил, как очутился на ногах; стремительно направился к входной двери, открыл ее и нажал кнопку своего же звонка; снова будто в изумлении застыли панельные стены, а темные комнаты словно ожили на миг, но, как только Дж. Салимов зажжет свет, он сразу же увидел по-прежнему сидящего в кресле

красного медвежонка.

Вдруг Дж. Салимов ощутил в себе небывалую, никогда не проявлявшуюся ранее решимость — он схватил красного медвежонка за его ватную лапу, кинул в платяной шкаф в гущу тряпья и закрыл дверцу шкафа па ключ.

Он хорошо помнил, что бросил красную игрушку — медвежонка внутрь шкафа и закрыл дверцу на ключ; когда потом он рассказывал эту удивительную историю Шафиге, это он подчеркивал особо; историю эту он рассказал только Шафиге, потому что никто, кроме Шафиги, ему бы не поверил.

Он погасил свет и снова улегся на диване. Однако эта ужасающая решимость не оставляла его, она сотрясала все его существо!

Нет! Нет! Нет! Так больше продолжаться не может. Нужно со всем покончить. Раз и навсегда. Раз и навсегда! Нужно уехать. Уехать отсюда совсем. В другой город, в другое место. Работа везде найдется. Чтoб ему провалиться, этому дому!

Прямо сегодня надо уехать, сейчас, сию минуту.

Далеко, очень далеко.

Дж. Салимов вскочил, сам не заметил, как закурил сигарету, как собрал в портфель все, что подвернулось под руку, вышел из комнаты, захлопнул за собой дверь и быстро спустился по лестнице.

Он не сел в машину, сразу большими шагами пошел к вокзалу и взял билет до какой-то очень далекой станции, названия которой он потом не мог вспомнить.

Он многих провожал с этого вокзала в такие вот душные вечера, и его самого часто провожали отсюда, но теперь он даже не замечал, что сейчас его никто не провожает, никто не знает об его отъезде — он не жалел об этом, потому что знал, что уезжает навсегда, он знал, что никогда сюда не вернется, знал, что больше никогда не увидит никого из близких и друзей; он был уверен в этом на все сто процентов.

Подошел поезд. Дж. Салимов в толпе отъезжающих направился к своему вагону. В это время как раз все и произошло.

Сначала на перроне поднялась суматоха, послышался шум, потом люди стали куда-то проталкиваться. Дж. Салимов обернулся и застыл на месте.

Прямо на него бежал красный медвежонок. Дж. Салимов посмотрел на окружающих, хотел что-то сказать, но ничего не смог произнести; красный медвежонок добежал до него и начал лизать ему руки.

Люди на перроне глядели на них во все глаза, многие вслух удивлялись красному цвету медвежонка.

А Дж. Салимов знал, что удивляться тут нечему.

Ухватившись мохнатыми лапами за рукав Дж. Салимова, медвежонок тянул его к выходу в город и скулил.

Окружившие их люди, казалось, совсем забыли про поезд. И только Дж. Салимов не потерял головы. Он лишь ощутил, что исчезла куда-то,

испарилась его ужасающая решимость уехать из этого города. Внешне он был очень спокоен, будто встреча с медведем на вокзале среди тучи народа была для него самым обыкновенным делом.

На улицах люди останавливались, глядя на красного медвежонка и улыбающегося Дж. Салимова, идущего за ним следом.

Они поднялись по лестнице, Дж. Салимов открыл дверь, и они вошли в квартиру. Дж. Салимов включил свет в передней, а потом снова, уже в последний раз, нажал на кнопку звонка, потом он прошел в комнату и включил там свет: красный медвежонок снова сидел на своем месте — в кресле, а дверца шкафа была открыта.

Часы на стене показывали всего-навсего седьмой час, то есть было уже около двенадцати.

Потом Дж. Салимов поднял телефонную трубку:

92-75-34.

...Наутро все бакинские дети говорили, что вчера вечером по городу бродил красный медвежонок — вот чудо!

Они почему-то думали, что чудеса бывают только в сказках.

1969, сентябрь

НАПРОТИВ СТАРОЙ МЕЧЕТИ

А потом опять начало моросить, и он, прислонившись к забору старой мечети, поднял воротник пиджака. Вдруг ему и вправду захотелось закурить, но он не стал доставать сигареты — их было всего две, — их он выкурит там. На живот ему сильно давили книги, вернее, одна — «География», и две общие тетради, засунутые за пояс под пиджаком, давили так, что трудно было дышать. И он опять чуть отпустил пояс.

Ветер подул сильнее, а когда ветер расходитя, стоять тут не дай бог. Ему показалось, что усач сейчас высунет голову в окошко минарета и закричит: «Опять пришел? Потираешься тут!» А он не растеряется: «А тебе что, это твоего отца вотчина, что ли?» Усач станет ему угрожать: «Вот спущусь сейчас, мать твоя плакать будет». А он скажет ему: «Если ты мужчина, спускайся». Усач не может спуститься, потому что он без обеих ног. Он видел его однажды случайно на улице — усач об этом не знает. Пусть лучше не знает, не расстраивается лишний раз, хотя он страшный зануда.

Но окошко оставалось пустым.

Вот уже три месяца, как эту мечеть отдали под обувную фабрику. Раньше было хорошо — в ней помещалось тихое управление глухонемых. Но глухонемые переехали в новое здание, вместо них появились сапожники и посадили этого усача у окна, как аллаха на небе.

«Здорово похолодало, — подумал он, — в этом году так еще не было, наверное, снег пойдет». Пальто он оставил у Вовки, оно было модное, отец из Москвы привез два месяца назад, но ему не хотелось в этом пальто приходиться к Санубар. Он даже подумал, хорошо бы купить телогрейку и приходиться к Санубар в телогрейке, но потом откатался от этой мысли — слишком уж выглядело бы по-детски.

Ужас, как рано зимой темнеет, еще нет пяти часов, а уже темно. Усач зажег свет в минарете — окошко вверху похоже на глаз: как будто одноглазый дракон смотрит в мир. У Санубар тоже, должно быть, зажгли свет, отсюда-то не видно — и шторы на окна плотные, да и свет неяркий. И в классе зажгли свет. Сейчас урок географии, ее преподает завуч. Завуч стоит лицом к классу, спиной к карте, вызывает по одному. И кто бы что ни показывал на карте — это Коста-Рика, это Дарданеллы, это я не знаю что, — он тут же видит, как будто у него на затылке глаза.

Завуч, безусловно, и ему влепил бы двойку — попробуй потом исправь. Но он не из-за двойки удрал с урока. Книга и теперь у него за поясом, он мог бы подготовиться на предыдущих уроках. География

была четвертой, а ему достаточно один раз прочесть, чтобы все запомнить. Он из-за Санубар сбежал, из-за Санубар.

После первого урока они сбежали вместе с Вовкой: когда приближалась география, у Вовки начинали трястись поджилки. Сначала они пошли к Вовке домой (у них в это время никого не бывает), потом, сняв пальто, он отправился к Санубар.

Теперь он стоит возле ее дома и ждет, когда мать Санубар выйдет на улицу. Но та все не выходит и не выходит.

Мать у Санубар проводница. Через каждые два дня она уезжает в поездку, и тогда он приходит сюда.

Ради Санубар он стоит в нагоняющей тоску ранней темноте, на ветру, у этого одноглазого минарета. Никто в мире не знает об этом, только он и Санубар, больше никто-никто, он никому не скажет.

Вышла. Наконец-то вышла из ворот мать Санубар!

Прижимаясь к ограде мечети, он немного поднялся вверх, завернул за угол и остановился. Вслед за матерью из ворот вышел мужчина, и они, о чем-то переговариваясь, пошли по улице вниз.

Выждав, он перебежал мощеную бульжником мостовую и вошел в ворота. От деревянных ступеней, поднимающихся на пол-этажа, знакомо тянуло пылью, известью, и у него потеплело в груди. Согнутым пальцем он тихо постучал в дверь.

Из-за двери раздался ее голос:

— Входи, я не заперла.

Санубар сидела на своем обычном месте — в углу дивана, сидела в своей обычной позе — поджав ноги. Ее тонкие пальцы перебирали кисти шали, которую она накинула поверх лавсановой юбки. Как и раньше, перед Санубар на табуретке стояла маленькая коптящая керосинка — ее запах и тепло наполняли комнату. Всегда, когда он думал об этой комнате, он вспоминал не эту плотную штору на окне, не этот прямоугольный стол посреди комнаты, не выгоревший кофейного цвета диван, не старый немецкий радиоприемник в углу, он прежде всего ощущал запах и тепло керосинки, которые сберегали их счастье, их тайну, их любовь.

— Ты опять ждал за углом? — Кошачьи глаза Санубар весело взглянули на него снизу.

— Нет, я только что подошел.

Санубар улыбнулась и протянула руки над керосинкой.

— Грейся!

Он подставил ладони к огню.

— Горячо? — Санубар взяла его пальцы в свои, потянула к себе: —

Да иди же!..

Он опустил на ковер, и она прижала его голову к своей груди, погладила по жестким волосам, потом поцеловала в губы. Он тут же встал, потому что в такие минуты к горлу его подступал комок, и он

боялся, что заплачет.

— С кем вышла из дому твоя мать? — спросил он, чтобы справиться с собой.

— А, это Агагусейн!..

— Агагусейн?

— Да, наш родственник. Вожатый трамвая...

— Зачем он приходил к вам?

— Откуда я знаю? — Санубар пожала плечами. — Уже третий раз приходит.

Имя Агагусейн ему не понравилось, оно звучало чуждо в этой маленькой комнате.

...Он решил, что сядет сейчас рядом с Санубар, положит ей руку на плечо, просунет другую руку под кроличью безрукавку, бумажный свитер с высоким воротом и бумазейную кофточку и будет ласкать ее грудь.

Он хотел уже снять пиджак, как вдруг вспомнил про книжки за поясом. Жаль, не догадался оставить их у Вовки, а здесь вытаскивать книжки и тетрадки нельзя: вдруг Санубар увидит учебник географии — на учебнике написано: «Для восьмого класса», а она-то думает, что он учится в девятом.

Они познакомились, когда в школьном дворе покупали кутабы. Санубар училась в азербайджанской школе, а он — в русской. Школы были в смежных зданиях, а двор был общий. Тогда у Санубар не хватило мелочи. Он дал ей эту мелочь, а через несколько дней, увидев его во дворе, она вернула деньги.

Санубар не была красива и одевалась как деревенщина. Ему даже в голову не пришло, что эта девочка, покупавшая кутабы, станет его первой любовью. Правда, за полтора года до этого он влюбился в женщину, жившую по соседству. Когда эта женщина появлялась на балконе, он подолгу смотрел на нее. Но это прошло, потому что было ненастоящее, — он понял это потом, когда они в первый раз остались вдвоем с Санубар.

Сначала они просто здоровались, потом однажды вышли вместе. Как-то так получилось, что он проводил Санубар до дому. Она позвала его к себе, сказав, что дома никого нет, и он поднялся сюда, сам не зная как.

Тогда он впервые увидел глаза Санубар, увидел их близко и понял, что они кошачьи. Он сказал ей, что учится в десятом классе и что ему восемнадцать лет. Потом Санубар узнала, что он наврал, но, что он учится в восьмом, она не подозревала.

Ей самой было уже семнадцать. Всегда, когда он думал о ней, он чувствовал себя виноватым: рано или поздно Санубар узнает, что она старше его. Правда, это уже не будет иметь большого значения, ибо к тому времени они поженятся.

— Почему ты не снимешь пиджак?

— Я пойду, у меня дела. — Он сказал первое, что пришло в голову: на самом деле он мог остаться тут до вечера.

— Какие у тебя дела? Пойдешь с мамой в гости?

Ей, кажется, опять хочется унижить его, но он сегодня не смутился, как в прошлые вечера, этот вечер ему дороже, чем все предыдущие, — он так чувствует, а почему, и сам не знает.

— А что он у вас делает, этот Агагусейн?

— Откуда я знаю? — Санубар закусил нижнюю губу и сжалась так, как будто ей стало холодно. — Кажется, мама выходит за него замуж.

— Твоя мама?

— А что?

У Санубар никого не было, кроме матери. Он ни разу не разговаривал с нею, даже не видел ее близко, но почему-то она ему не нравилась.

— То есть как это выходит замуж?

— А ты не знаешь, что такое выходить замуж?

Он испугался: если мать Санубар выйдет замуж, что будет с их встречами? Агагусейн останется здесь, в этой маленькой комнате, в их комнате?

— Да нет, у него есть своя хибара, он получил квартиру в новом доме, — сказала, будто подслушав его мысли, Санубар.

Санубар все знает. Она догадывается о его желаниях, чувствует, какой разговор ему не нравится, какой ее поступок ему по душе. Он еще только про себя напевает какую-нибудь мелодию, она уже выводит ее своим тонким голоском.

Санубар снова погладила его жесткие черные волосы, как будто сказала: не бойся, я никуда отсюда не уйду.

Он был готов стоять на коленях всю жизнь, был готов, забыв дом, школу, ребят, никуда не ходить, ничего не делать, пусть только эти пальцы всегда гладят его волосы, пусть он чувствует тепло этой груди, пусть всегда слышит биение ее сердца.

Он положил руку ей на плечо. Санубар взяла другую его руку, просунула под бумазейную кофту к себе на грудь.

Всегда, когда рука его касалась груди Санубар, сердце у него падало, он замирал, в горле пересыхало, начинали дрожать руки, все тело. Он с трудом успокаивался.

Она была худенькая, он чувствовал своей крупной ладонью ее хрупкие ребра, но груди у нее были полные, не вмещались в горсть, они были как два резиновых мяча.

— Осторожно жми, медведь! — Кошачьи глаза Санубар смеялись, и, когда Санубар смеялась, он считал, что это любовь.

Он хотел думать о Санубар, как о любой другой женщине. Он

никогда не пытался увидеть ее обнаженной или сделать с ней что-нибудь такое. Он по нескольку раз смотрел фильмы, в которых показывали обнаженных женщин, но никогда не ставил на их место Санубар. Иногда во сне он видел ее обнаженной, но, просыпаясь, уходил от этих мыслей и старался думать о футболе, о фильмах, которые снимет.

Он опасался, что расплечется, если Санубар еще раз прижмет его голову к своей груди. Он боялся этого, боялся, что она заметит его состояние и начнет смеяться («Ей-богу, ты ребенок!»), но в глубине души, в самой далекой ее глубине, которой и сам страшился, понимал, что хотя это и ребячество, но то, что он готов расплакаться, — самое лучшее в их отношениях. Санубар тоже знала это, но иногда ей хотелось подразнить его — она вдруг прижималась к нему, ласкалась и спрашивала: «Ну, что же ты боишься? Ну?»

Она слегка играла с ним.

— Ребенок, чистый ребенок! Не может быть, чтобы тебе было семнадцать! Ты здоровый, но я знаю, тебе четырнадцать. И ты брешь-ся каждый день, чтобы шетина росла!

— Мне двенадцать! — отвечал он обычно, но сейчас чувствовал, что заводится, и еще потому заводится, что откуда-то ему в мысли лезло имя Агагусейн. Он вытаскил руку из-под бумазейной кофточки. — Мне даже одиннадцать.

— Ладно, ладно, не вешай нос. — Санубар схватила его за нос.

— Правда, твой отец большой человек?

Он не знал, что ей ответить. Еще давно, в начале их отношений, он хотел сочинить трагическую историю об отце, но не сочинил, потому что не хотел лгать Санубар о чем бы то ни было, кроме своего возраста. Отец был режиссером в театре, и ему казалось, что, если Санубар узнает, станет смеяться.

— Если он большой человек, почему тебе пальто не купит? — подзадоривала она.

— Я пошел, — сказал он, вставая. Санубар ухватила его за руку.

— Не обижайся. Не уходи.

— Дело есть.

— Ну посиди. Я больше не буду, клянусь.

Он наклонился, поднял шаль, упавшую на ковер, и решил, что действительно надо немного посидеть. Он очень удивился, что Санубар умоляет его так по-детски. Он даже подумал, что, если сейчас уйдет, она осиротеет в этой маленькой комнате.

Он сел на диван.

— Ты мой единственный! Кроме тебя, у меня никого нет. — Санубар прижалась к нему, обхватила руками его шею и поцеловала в щеку.

— Ну ладно, хватит. — Он снова представил себя мужчиной, единственной опорой Санубар, и отчески покровительственно

поцеловал ее волосы. Запах этих волос всегда опьянял его, в это мгновение он становился самым сентиментальным человеком на свете.

Он достал из кармана сигарету и, наклонившись к керосинке, прикурил — в этой комнате он всегда прикуривал только так. Он не любил сигарет и знал, что никогда не станет настоящим курильщиком, но в этой комнате иногда возникали такие ситуации, когда он не знал, что ему сказать, что сделать, и в эти минуты он закуривал.

Санубар и впрямь вела себя очень странно. Иногда она отодвигалась, смотрела на него так, будто впервые видела, потом опять прижималась.

Он еще раз поцеловал ее волосы и сказал:

— Когда мы поженимся, мы всегда будем вдвоем в этой комнате.

Он действительно так думал и верил в это. В сущности, он уже сейчас считал себя гостем в своем доме. В детстве он хотел стать кинорежиссером: после окончания школы он поехал в Москву и поступил в Институт кинематографии. Но теперь он решил, что уже не поедет в Москву, а останется в Баку, начнет работать где-нибудь, — очень возможно, станет шофером, потому что умеет водить машину. Раньше его смущала лишь одна деталь: а где будет жить мать Санубар? А теперь, раз она сама уходит, все устраивается.

— Мы ничего не тронем в этой комнате, все останется как есть. Вдруг Санубар вырвалась из его рук и закричала:

— Будь проклята эта комната! Мне противна эта комната! Хватит с меня этой комнаты! Плевала я на эту комнату!

Он не мог себе представить, что Санубар так ненавидит эту комнату — их комнату. Но за что? Ему стало жаль Санубар, и он снова захотел поцеловать ее волосы.

— Не трогай меня! Оставь меня! Он на десять лет моложе мамы! А я что буду делать? Что я буду делать, оставшись одна в четырех стенах?

То есть как одна в четырех стенах? А он?

Он встал и пошел к двери, Санубар бросилась за ним.

— Не уходи, я больше ничего не скажу, я говорю не правду, просто так говорю, не уходи, я не хочу оставаться одна, я не хочу оставаться здесь одна, не уходи!

Он боялся, что не выдержит и останется. Выкинув сигарету, он сбегал по ступеням.

Шел мокрый снег. Его туфли скользили по булыжникам, он чуть не упал, но продолжал идти посередине улицы. Это было в высшей степени кинематографично, если смотреть оттуда, где стояла сейчас Санубар.

Он опять стал самым несчастным человеком на свете, он вновь думал о бессмысленности жизни, о том, что никто его не понимает. Ну почему он не родился в девятнадцатом веке, почему не появился на

свет в Древнем Риме?

Спускаясь вниз по улице, он вдруг снова вспомнил запах и тепло керосинки, но это воспоминание не тронуло его: «Что я буду делать одна в четырех стенах?» Она сказала: «Одна!»

Позади раздался резкий гудок машины. Водитель высунулся и закричал:

— Жить надоело, что ли?

Он быстро поднялся на тротуар, не успев даже ответить — машина была уже далеко, и эта машина вдруг развеяла его грустные мысли, и он опять испугался, что сейчас повернется и пойдет к Санубар, а Санубар взглянет на него своими кошачьими глазами и скажет: «Ты же ушел!»

Он шел к Вовке, чтобы взять свое пальто, но все время думал о Санубар, о том, что еще не видел ее такой И не мог понять, отчего в ней столько ненависти к своей юмнате? Значит, все эти пять месяцев она ненавидела эту комнату, их комнату?..

Теперь она сидит там одна перед зажженной керосинкой, и ноги поджала под себя, как обычно, и шаль у нее на коленях, и тонкими пальцами она перебирает бахрому шали. Лицо у нее побледнело, губы дрожат, и все из-за этой маленькой комнаты — почему, ну почему же?

Он понял, что должен вернуться.

Свет в окне старой мечети уже не горел. Усача, наверное, спустили вниз, и он уехал на своей коляске. Сидит теперь дома со своими детьми и обедает. А может, у него и вовсе детей нет?

Он постучал в дверь.

— Входи. Я не заперла. Он покраснел. Санубар знала, что он вернется. Он стоял у дверей комнаты, желая что-то сказать, но: не мог, и от этого еще больше смущался.

— Иди сюда, — он никогда, не слышал такого голоса Санубар.

Он виновато подошел к дивану, сел рядом с нею, и Санубар обняла его.

Он почувствовал, что Санубар плачет.

— Что случилось?

Она заплакала еще громче. Она всхлипывала, тело ее сотрясалось.

Сроду никто так не плакал рядом с ним. Он начал целовать ее волосы, чувствуя, что на этот раз вряд ли удержится от слез.

— Что с тобой? Что случилось? — повторял он.

Санубар не отвечала. Она охватила его голову и стала целовать, ее соленые слезы размазывались по его лицу.

— У меня никого нет, кроме тебя! Никого, кроме тебя! Ты будешь приходить ко мне каждый день! Чтобы не было без тебя ни одного дня! Ты мой единственный!

Вдруг Санубар оттолкнула его.

— Хочешь, я сейчас стану твоей?

Он сначала не понял.

— Ну, хочешь?

Он поднялся и подошел к окну.

— Ты совсем спятила!

Он отвел штору, посмотрел через дорогу на мечеть. Ему показалось, что кто-то стоит, прислонившись к забору, и смотрит на это окно, а потом он понял, что это он сам.

— Совсем спятила, — повторил он и понял, что не может вернуться к Санубар. — Что это с тобой, а?

Санубар неслышно подошла и обняла его за плечи,

— Ничего со мной не случилось. Я хочу, чтобы ты был моим. Хочу, чтобы ты всегда был моим. Хочу, чтобы ты никогда не оставлял меня одну. Я боюсь оставаться одна. Боюсь оставаться...

— Почему ты одна? — говорил он. — А я кто? Кто же я? Санубар как будто ждала этих слов. Снова стала целовать его лицо.

— Ты всегда будешь со мной! — Она высвободилась из его объятий и взглянула на него мокрыми от слез глазами.

— Конечно!

— Ты никогда в жизни не допустишь, чтобы я осталась одна?

— Конечно!

— Ты будешь приходить ко мне каждый день! Я всегда буду сидеть и ждать тебя!

Она потянула его к дивану, усадила рядом, взяла его руку и прижала к груди. У него опять упало сердце, перехватило дыхание! Санубар была так бледна и дрожала, что ему показалось, что она может сейчас умереть...

Так они сидели, прижавшись друг к другу. Потом она вдруг спросила:

— Когда ты думаешь, ты думаешь по-русски?

— И по-русски, и по-азербайджански.

— Нет, ты всегда по-русски думаешь, я знаю, говоришь по-азербайджански, но думаешь по-русски, — Санубар рассмеялась. — Когда я читаю по-русски, я понимаю с трудом. Ты будешь читать романы по-русски, а потом по-азербайджански мне рассказывать, да?

— Ты странная!

— Будешь рассказывать, да?

— Буду.

— Хочешь, приготовлю тебе что-нибудь поесть?

Он ничего не ел с утра, но только теперь осознал, что голоден. Слова Санубар прозвучали странно: такое он слышал только от матери: «Что ты будешь есть, скажи, я приготовлю». Он понял, что иногда думал о Санубар как о матери, впрочем, не иногда, а всегда. Эта мысль поразила его.

Сейчас я тебе приготовлю.

Санубар вытащила из-под подоконника коробку с картошкой, выбрала оттуда несколько картофелин, две головки лука, быстро все почистила и порезала и, налив в сковородку подсолнечного масла, поставила на огонь. Скоро вся комната наполнилась шипением.

Он достал вторую сигарету, наклонился к керосинке и прикурнул от огня. Глубоко вдыхая дым и глядя на Санубар, хлопчотую над сковородкой, он почувствовал себя счастливым. Он встал, поболтался по комнате — их комнате! — остановился возле керосинки и провел губами по волосам Санубар.

Он лежал на кровати, заложив руки за голову. В соседней комнате раздавался храп отца, и мать уже спала, и брат, и бабушка, а он не мог заснуть. Только он закрывал глаза, как появлялась Санубар. Она жарила картошку на подсолнечном масле и иногда взглядывала на него. Никогда еще их встреча не была такой нежной. И Санубар, наверное, лежит сейчас на диване, завернувшись в свое цветастое одеяло, и думает о нем.

Они никогда не говорили о своей будущей совместной жизни. Если он заводил разговор об этом, Санубар начинала смеяться, и он тут же менял тему. А сегодня она первая спросила его:

— Ты рано будешь приходить с работы?

Он сначала не понял, но потом радостно закивал: «Конечно! Конечно!»

— Я заранее поставлю воду, и, когда ты придешь, она будет уже готова, — говорила Санубар. — И мы будем мыть тебе голову, и я подам тебе чистое полотенце...

Он все кивал: слов у него не хватало.

— А если ты простудишься, я поставлю тебе банки...

...Утром в школе ребята сказали, что завуч видел их вчера на первом уроке — его и Вовку. Вовка ужасно перепугался, а он не обратил внимания на это сообщение; ему теперь было все равно, он ничего не боялся, он только ждал, когда придут два дня и мать Санубар вновь отправится в поездку. Дома мама спросила его:

— Что с тобой, ты какой-то не такой?! И он, глядя ей в лицо, сказал:

— А что со мной может случиться?

Он никогда не ходил в школу Санубар. Обычно они встречались во дворе и, поговорив, расходились. Они ни разу не прошли по улице вместе, они даже в кино не ходили. Однажды Санубар сказала:

— Я знаю, ты стыдишься меня, стыдишься показываться со мной на людях. Я тебе не пара.

И он покраснел.

Позже он много раз приглашал ее, но она отказывалась. «Давай лучше посидим здесь, — говорила Санубар, — нам и здесь хорошо».

Сегодня он прождал ее в школьном дворе полдня, но она не

пришла.

...Как только мать Санубар вышла из ворот, он, прижимаясь к забору мечети, скользнул за угол и остановился. Из окошка минарета свесилась голова усача:

— Ну что, опять пришел?

Вместо ответа он почему-то помахал усачу рукой: все в порядке, мол, добрый день. Усач сначала не понял, но потом помахал тоже: «Добрый день», улыбнулся понимающе и исчез.

В три скачка он преодолел улицу и вот уже запыхавшийся стоял у дверей Санубар. Постучал. Никто не ответил. Он опять постучал — так, как у них было условлено. Ни звука. Тогда он решил надавить на дверь и увидел, что она не заперта.

...Санубар стояла посреди комнаты, на ней было зеленое платье, которого он никогда не видел. Оно блестело и переливалось так, как будто вот-вот загорится. И лицо Санубар сияло. Она оглаживала складки платья и любовалась собой в зеркале. Он заметил, что табуретка уже не стоит перед диваном и куда-то исчезла керосинка. Да и вся комната была непохожа на их комнату — она стала чужой, и так же по-чужому пахло в ней свежеемытым полом.

— Где ты пропадаешь два дня?!

У него упало сердце. Он понял, что что-то произошло, и это что-то связано с его жизнью, и что оно плохое. Как только он вошел в комнату, он почувствовал это.

Санубар взялась за подол платья и закружилась по комнате,

— Я замуж выхожу, знаешь... Оказывается, Агагусейн ради меня приходил! Сейчас мы обручимся, а летом, когда я закончу школу, поженемся!..

— И ты... ты радуешься? — Он и сам не понял, что спросил; какой-то совершенно чужой был голос.

— Я замуж выхожу, дурачок! Вчера мы были в кино. Знаешь, какое чудное было кино! Парень попадает под машину, у него отрезают обе ноги. Его любимая сначала этого не знает. Она думает, будто парень ей изменил, потом...

Он не слышал, что она говорила... Он знал, что стоит в комнате Санубар, что Санубар говорит ему что-то, но, что она говорит, он не понимал.

— Скоро он опять придет, и мы опять пойдем в кино, Я больше не буду сидеть дома одна. Теперь, как только я захочу, мы пойдем в кино. А завтра пойдем смотреть его квартиру. Это в новом доме, его построили для работников трамвайного парка. И ванная там есть... Ой, что с тобой? Ты плачешь?..

Он больше не мог сдерживаться и закрыл глаза рукой. Он понимал, что это позор, но ничего не мог с собой поделать.

— Перестань... Ну перестань же. Ты совсем ребенок, ей-богу.

ребенок! Я даже не думала, что ты такой ребенок... — Санубар все говорила и говорила, глядя его по руке, и говорила искренне.— Ну, хватит... Хочешь, я тебя опять поцелую? Ну, перестань, перестань... Мы же еще увидимся. Ты будешь учиться, закончишь школу, поступишь в институт, потом окончишь институт, и тогда мы с тобой встретимся. Через десять лет мы опять встретимся с тобой. Через десять лет ты будешь совсем взрослый мужчина...

Не смея взглянуть ей в лицо, он повернулся, спотыкаясь, прошел через прихожую, дрожащими пальцами отодвинул задвижку...

Он на некоторое время задержался в темном подъезде — в эту минуту он стыдился себя и хотел побыть в темноте. Потом, достав сигарету, закурил, сильно затянулся, наполнив грудь дымом, — на мгновение у него круги пошли перед глазами, потом кинул сигарету на пол, растер ее ногой и вышел на улицу.

Он спускался вниз по улице, засунув руки в карманы. Сверху раздался голос усача: «Уже уходишь?»

Он обернулся и посмотрел вверх — усач улыбнулся ему: мол, делай свое дело. Он помахал усачу, ему стало легче.

Через десять лет... Что ж, через десять лет он действительно, может, встретится с Санубар, но через десять лет уже не так будет выглядеть эта улица и эта маленькая комната, а может, вообще ее больше не будет.

И если через десять лет его губы коснутся волос Санубар, сердце его не будет таять, и он уже сейчас тосковал оттого, что так произойдет. Через десять лет, увидевшись с Санубар, он поздороваается и пройдет мимо. А вспомнив прошлое, может быть, улыбнется и посмотрит на него свысока.

И ему вдруг показалось, что он уже стал старше на десять лет.

Много разных дум приходило ему в голову, чтобы все их передумать, он хотел пойти на бульвар и посидеть там на одной из одиноких скамеек, но вспомнил, что завтра опять география, надо хорошо подготовиться — с завучем шутки плохи.

Выкинув из кармана сигареты (вечерами мама просматривала карманы), он направился к Вовке, чтобы взять пальто и пойти домой.

1970, декабрь

ГОЛУБОЙ, ОРАНЖЕВЫЙ...

Снова прокричал петух и Гашам-киши¹ с кувшином дня омовения спустился во двор, но, увидев, что опять моросит, да еще и холодно, поднялся в комнату, накинул на плечи шинель, оставшуюся с войны, длинно зевнул и, все еще поеживаясь от холода, направился в конец двора.

В этом году осень пришла поздно, но уж пришла так пришла — неделю погода не прояснялась, все моросило и моросило, и сегодня, кажется, будет то же самое: нет чтобы хоть один хороший ливень — и дело с концом.

Гашам-киши вытер о камень перед уборной свои калоши и потянул на себя деревянную дверь. Дверь со скрипом отворилась и так же со скрипом захлопнулась.

Айна-арвад² выглянула во двор с балкона и тут же отпрянула назад, в комнату. Глаза бы на такую погоду не глядели.

Но в этот час в доме был еще один человек, которому были нипочем и запоздавшая осень, и нудный дождь, потому что человек этот — Аллахверди — сладко спал себе под теплым одеялом и видел сон. Видел, будто стоит он в новом костюме, при галстукке перед районной парикмахерской, а на голове у него шапка с тремя кисточками и с раздвоенным козырьком, точь-в-точь как у кинооператора, что из города приехал. Все смотрят во все глаза на Аллахверди и на эту его странную шапку. Аллахверди и сам во сне посмеивается над своей шапкой, но в то же время и гордится ею. Вдруг видит: отец идет с базара прямо к нему. И спрашивает, как обычно, очень громко: «Что это у тебя на голове?»

Не успел Аллахверди рот открыть, как отец закричал:

— Эй, Аллахверди, уже полдня прошло!

Аллахверди напрягся, уж так ему хотелось остаться в райцентре, но это было невозможно, потому что голос отца раздавался над самым ухом, хотя кричал он с балкона:

— Эй, Аллахверди! Вставай!

Не открывая глаз, Аллахверди потянулся на постели и лениво спросил:

— Ну, в чем дело?

Конечно, он и сам отлично знал, в чем дело: надо было встать, как всегда, за два часа до начала уроков, вывести жеребца из стойла, поехать к арьку, напоить коня, потом вернуться, отвести корову

¹ Киши — мужчина.

² Арвад — женщина.

Гызыл в стадо, потом дров наколоть, потом съесть парочку лавашей с сыром, запивая горячим молоком, и пойти в школу — все это было ему известно и все надоело так же, как осенняя сырость и слякоть.

Но ничего, уже скоро, очень скоро он поедет в Баку поступать в институт: вот придет и уйдет зима, потом весна, а там уже и лето — экзамен за экзаменом, а потом прости-прощай серый жеребец, прощай корова Гызыл, прощай колун с грабовым топорщиком...

А Гашам-киши все надрывался:

— Аллахверди! Ну где ты там?

— Встаю, встаю!.. — Аллахверди откинул одеяло, сел на постели, поглядел на стадо оленей, вытканное на толстом ковре, под своими большими ступнями, и, помаргивая начал одеваться. Глаза у него сплпсались.

Гашам-киши вывел корову из хлева и поставил под балконом. Вслед за нею потащился и теленок.

Аллахверди тем временем умывался, вернее, смачивал глаза холодной водой из рукомойника. Посмотрел на теленка и пожалел его: за что бедному такое — из теплого хлева — да в это промозглое утро?

Гашам-киши отогнал теленка, а мать Аллахверди, Айна-арвад, зажав меж колен подойник, принялась донть корову.

Аллахверди медленно спустился во двор, не глядя на отца с матерью, вошел в хлев, повозился, отвязывая серого жеребца, и за уздечку выткнул его отсюда, потом, открыв ворота, забрался на неоседланного коня, который не хуже человека представлял себе всю последовательность действий: каждое утро ездили они на водопой.

Мелик, который вместе с Аллахверди учился в десятом классе сельской школы, тоже, как обычно зевая, сидел верхом на гнедой кобыле, и гнедая кобыла не торопясь пила из арыка, и пятнистый стригунок пил с ней рядом. Первое, что сообщил Мелик, увидев Аллахверди, — это что заболел Сафтар-муаллим и на урок не придет.

— Да? — сказал еще не совсем пришедший в себя Аллахверди и подумал, что у Сафтара-муаллима, конечно, опять ревматизм разыгрался в такую паршивую погоду. — Ревматизм, что ли?

Мелик зевал не переставая.

— Да, — ответил он.

Сафтар-муаллим был соседом Мелика по двору, он преподавал физику, и как раз сегодня первый урок физика; значит, можно не спешить.

Гнедая кобыла, напившись, подняла голову, мудро так посмотрела на айвовые деревья, что росли неподалеку, и потянулась к недавно зазеленевшей по краям арыка осенней траве. Мелик дернул за уздечку.

— Джафар едет в район, — сказал он. — К вечеру кино привезет.

— Да? — еле выдавил из себя Аллахверди, скулы ему сводила зевота. Джафар, старший брат Мелика, был киномехаником. Раз в два

или три дня привозил он из райцентра фильмы и показывал их в клубе. Молодежь очень уважала киномеханика Джафара, но вот приехал в село кинооператор из Баку в этой самой диковинной шапке, и сразу стало ясно, кто слон, а кто верблюд, потому что одно дело — поехать в район и привезти оттуда фильм, какой дадут, и совсем другое дело, когда берешь кинокамеру в руки, приставляешь ее к глазу и начинаешь сам снимать фильм.

Этот кинооператор уже четыре дня, как приехал из Баку и остановился у Салмана-киши, что жил через три дома от Аллахверди. Четыре дня как приехал, а снять ничего не мог, погода, говорит, плохая, надо, чтобы солнце вышло.

Аллахверди представил себе странную шапку этого кинооператора, вспомнил свой предутренний сон и подумал, что в последнее время ужасно глупые сны ему снятся.

Когда Аллахверди вернулся к себе во двор, Айна-арвад уже развела огонь в печке под балконом и кипятила в медном казане молоко.

Гашам-киши выносил на лопате навоз из хлева.

Аллахверди соскочил с серого жеребца, завел его в хлев и принялся расчесывать коня железной скребницей.

Гашам-киши насыпал в ясли несколько горстей просеянного ячменя, перемешал его с соломой, потом отобрал у Аллахверди скребницу.

— Дров наколи, — сказал он.

Аллахверди вышел из хлева, набрал охапку дров из поленницы под балконом и бросил их на землю возле толстого пня. Орудя колунуем с грабовым топорщиком, он быстро разогрелся и даже взмок немного.

Отдуваясь, сказал отцу, присевшему на лестницу:

— Сафтар-муаллим опять заболел, у нас первого урока не будет. Гашам-киши закурил папиросу на голодный желудок, поглядел на теленка, тыкающегося в коровье вымя, и промолвил:

— Опять ревматизм?

— Да, — Аллахверди со звоном расколол дубовое полено и подумал: вот жизнь в деревне, все наперед известно, все знают, что у кого болит.

Правда, Аллахверди, можно сказать, и не жил другой жизнью, то есть когда он ездил с отцом в Баку, то ни разу не задерживался у дяди больше чем на два-три дня, а что такое два-три дня? Может, поэтому Аллахверди, возвращаясь, скучал по городу, и бывало, целыми днями жил там в своем воображении: по утрам заходил в кофейни, ел сосиски, днем шел на стадион и смотрел футбол, вечером выходил гулять на бульвар, прохаживался среди незнакомых людей.

Ведь это просто чудо — каждый день видеть новых людей. Что может быть лучше? Целый день на улицах, в магазинах, в скверах видеть людей, которых до сих пор ни разу не видел?

Прежде, три-четыре года назад, шоссе из Баку проходило мимо села,

где жил Аллахверди. Аллахверди и все деревенские ребята просиживали у дороги часами, наблюдая за машинами из Баку и в Баку.

Если вдруг машина останавливалась возле них и шофер, высунув голову, что-нибудь спрашивал — куда ведет эта дорога? как называется это село? сколько километров до такого-то места? — ребята старательно, перебивая друг друга, отвечали, объясняли. Если же, бывало, понадобится что-нибудь, скажем, шофер просил принести воды для радиатора, все ребята бежали со всех ног за водой, вырывая друг у друга из рук резиновое ведро из разрезанной старой камеры, все ребята бежали, все, кроме Аллахверди.

Аллахверди как сидел на обочине, так и оставался сидеть; он пристально разглядывал людей в машине, а потом ночью видел сны, разные сны: вот он сам едет в «Москвиче», сам наливает чай из термоса, откидывается на сиденье, улыбается.

А три-четыре года назад провели новую дорогу, и эта новая дорога не огибала село, где жил Аллахверди, а шла прямо к райцентру. Ребята больше не собирались у обочины, незачем стало.

Аллахверди принес дрова, подкинул в печь несколько поленьев, и Гашам-киши, бросив в огонь окуроч, сказал:

— Отведи корову в стадо.

Гашам-киши любил распорядиться, и это почти всегда раздражало Аллахверди. Ну хоть бы отец что-нибудь повеселее придумал. Каждый день был для Аллахверди точь-в-точь похोजим на предыдущий.

Айна-арвад придержала теленка, обняв его за шею, Аллахверди же вывел корову из ворот и погнал ее вниз по дороге в колхозное стадо. И снова вспомнил он свой последний сон и снова удивился, с чего бы он в этом сне, напивав на голову шапку кинооператора, стоял перед парикмахерской в райцентре?

Когда Аллахверди задавал себе какой-нибудь вопрос, то никогда не останавливался на середине: он размышлял до тех пор, пока не находил ясного ответа.

И теперь, не обращая внимания на сельчан, тоже погонявших своих коров в стадо, он немного порассуждал и пришел к выводу: странная шапка оказалась у него на голове потому, что он не смотрел на нее, как другие, с издевкой, в глубине души он даже с завистью смотрел на эту шапку.

Осознав это, Аллахверди поморщился и задал себе новый вопрос: ну хорошо, а почему все-таки он завидовал-то?

Его позвали сзади:

— Эй, Аллахверди!

Аллахверди обернулся и взглянул на старого Салмана-киши, который догонял его вместе со своим буйволом.

— Чего?

— С тобой учится дочка Шукюра? Немного помедлив, Аллахверди

ответил:

— Да

Салман-киши глубоко затынулся дымом из своей трубки.

— Ее в кино будут снимать, — сообщил он.

Аллахверди не поверил своим ушам:

— Что?

— В кино ее будут снимать. Надир будет снимать. Говорит, уж очень подходит она для кино.

Надир — это был тот самый кинооператор в странной шапке, он дружил в Баку с сыном Салмана-киши и поэтому, когда приехал в село, остановился в его доме. Салман-киши произносил имя гостя с гордостью.

Аллахверди подумал, что кинооператор вряд ли будет шутить с Салман-киши, но неужели то, что он сказал, — правда?

— То есть как это в кино будет снимать?

— Дочка Шукюра возьмет на плечо кувшин с водой будет идти от родника, а Надир будет снимать с нее кино, — объяснил Салман-киши, снова глубоко затынулся дымом из своей трубки и повторил: — Надир говорит, очень подходит она для кино... — Салман-киши pokrutil головой и усмехнулся.

Аллахверди отлично понял, что хотел он сказать этой усмешкой: вот, мол, чудачки эти горожане, в целом селе не могут найти подходящую девушку, — ну кому может понравиться тощая, долго-вязая дочь Шукюра?

Девушку, которую Салман-киши называл «дочкой Шукюра», звали Садаф, и она с самого первого класса и до сих пор училась вместе с Аллахверди. Раньше, в детстве, они ходили в школу в соседнюю деревню, а потом и у них в селе построили сразу десятилетку.

Садаф не была отличницей, не была красавицей, скорее даже какая-то несуразная, что ли, была Садаф, и, услышав такое известие, Аллахверди никак не мог в него поверить; он с трудом удержался, чтобы не переспросить старика.

Да, с трудом сдержал себя Аллахверди, чтобы не спросить еще что-нибудь у Салмана-киши.

Дело было в том, что Садаф помирала за Аллахверди, то есть влюбилась она в Аллахверди, но никто об этом не знал, это только Аллахверди знал, потому что в один из летних дней Садаф вручила ему письмо, и, прочитав это письмо, Аллахверди никому его не показал.

Погоняя корову, Аллахверди раздумывал над этой новостью и уже не дрожал от холода: думал он, думал, и постепенно его охватило самое настоящее волнение, и даже сердце как будто сжалось. Почему? — он и сам не знал.

А в ушах звучали слова Салмана-киши: «Говорят, очень подходит она для кино». Вернее, Аллахверди сейчас как будто слышал самого

кинооператора: «Очень фотогеничная девушка». Потому что, как он представлял, чаще всего кинооператоры произносят два слова: «фотогенично» или «нефотогенично».

Мало того, еще этот кинооператор как бы говорил Аллахверди прямо в ухо: «Если бы она жила в городе, ее бы все время снимали в кино, эту Садаф».

И Аллахверди разглядывал возникшую перед его мысленным взором Садаф, ее смуглое лицо, длинные, как у аиста, ноги — и ничего не понимал.

Когда Аллахверди вернулся домой, Гашам-киши уже открыл дверь курятника, выпустил во двор кур, цыплят, индюшек и теперь, достав из подвала бутылку с машинным маслом, смазывал дверные петли уборной, чтобы не скрипели.

Айна-арвад возилась под балконом с самоваром.

Поднявшись в дом, Аллахверди вытер полотенцем намокшие под морозящим дождем волосы и несколько раз встряхнулся всем телом, как кошка или собака, потом повесил полотенце на гвоздик около умывальника и, перегнувшись через балкон, сердито сказал матери, стоявшей возле самовара:

— Надень на самовар трубу, все глаза выело!..

Гашам-киши мурло посмотрел на сына, и Аллахверди, ничего больше не промолвив, вошел в комнату и открыл дверцу шкафа, где лежали его книжки и тетради. Тут он вдруг вспомнил, что в школу сегодня торопиться не надо, покачал головой в некотором недоумении. Потом вытянул самый нижний ящик и с самого дна, из под кучи бумаг, извлек спрятанное письмо.

Это был вчетверо сложенный листок из тетрадки в клеточку. Аллахверди раскрыл его и прочитал про себя:

«Аллахверди, я пишу тебе это письмо. Аллахверди, я в жизни еще никому не писала писем, это мое первое письмо. Аллахверди, как прочтешь это письмо, никому не говори ничего, порви его и сожги, пусть станет пеплом. Я и сама сгораю, превращаюсь в пепел, Аллахверди. Куда ни смотрю, везде вижу тебя. И во сне все время тебя вижу. Совсем я не в себе, Аллахверди. Вдруг тебе покажется, что я всем ребятам пишу письма. Нет, Аллахверди, только тебе. Если судьба мне улыбнется и мы с тобой поговорим, я все тебе скажу. Снова я плачу, Аллахверди. Напиши мне ответ.

Я все время думаю о любви и смерти.
Без тебя нет жизни, милый Аллахверди.

Не смейся надо мной. Никому ничего не говори, Аллахверди, а то меня засмеют. И письмо сожги.

Садаф».

В предпоследней строчке несколько букв расплылось, но прочесть было можно. Сначала Аллахверди подумал, что Садаф капнула на листок из чайной ложки, что это просто вода, но дни шли, и он в конце концов поверил в то, что Садаф и вправду плакала.

Аллахверди спрашивал себя, замечал ли он до этого что-нибудь такое насчет Садаф? Ну, она иной раз посматривала на него как-то странно. И еще, бывало, Садаф краснела, когда они попадались друг другу навстречу в школьном коридоре, но Аллахверди никогда бы не подумал, что дело зашло так далеко.

Он не написал никакого ответа, но и письмо не сжег, поносил его несколько дней в кармане, не зная, что с ним делать, потом положил в ящик на самый низ.

Когда они первый раз случайно встретились после этого письма, Аллахверди сделал вид, как будто ничего не случилось, Садаф прятала глаза и ни о чем не спрашивала. С того дня они, можно сказать, и не разговаривали. Мало того, Аллахверди стал понемногу злиться на нее и пришел к выводу, что Садаф ужасно глупая.

Какое-то время Аллахверди ходил злой, но однажды, когда он уже лег в постель, а заснуть почему-то не мог, как-то так получилось, что он встал, открыл ящик, вытащил письмо Садаф и прочитал один раз, потом другой, третий... Удивительно, что она больше не сердилась Аллахверди, наоборот, вроде даже начало нравиться. Он испытывал какое-то беспокойство, но беспокойство это не тяготило его. И еще ему было почему-то грустно. И неудобно — потому что, не обращая на Садаф внимания, он получал от ее письма такое странное удовольствие. И в дальнейшем Аллахверди доставал иногда из ящика вчетверо сложенный листок, снова его читал...

Айна-арвад крикнула Аллахверди с балкона, чтобы он шел завтракать, и Аллахверди, торопливо спрятав письмо Садаф в нижнем ящике, вышел из комнаты.

Уже не моросило, но небо было по-прежнему серым.

Вот взошло бы солнце, кинооператор приставил бы к глазу свой сверкающий никелем аппарат и стал бы снимать Садаф на ленту, и весь мир смотрел бы, как Садаф несет воду из родника, и никто бы не знал, что эта девушка сходит с ума по Аллахверди.

Как оказалось, в классе уже все знали, что Садаф будет сниматься в кино. Да и вообще только об этой новости и говорили. Один Аллахверди молчал.

А потом пришла Садаф, и, увидев ее, ребята даже слегка растерялись. Садаф была в новом платье, веселая, ну только крыльев ей не хватало, чтобы взлететь. На нее накинута с вопросами, что да как. А Садаф, не слишком смущаясь, довольно громко рассказывала, как вчера к ним приходил кинооператор да как говорил с ее отцом и взял у него согласие, чтобы снять Садаф в кино. Рассказывая, она

иногда посматривала на Аллахверди, сидевшего за партой с таким видом, будто ему все нипочем, искоса посматривала, и ему казалось, она снова глазами повторяет слова, написанные в письме, но уже не так жалобно, нет, а с некоторым вызовом.

Второй урок был тригонометрия, и, как только прозвенел звонок, в класс вошла Гюльсум-муаллима.

Аллахверди, один из самых высоких в классе, сидел на, последней парте первого ряда. Садаф — во втором ряду, в середине.

Гюльсум-муаллима проводила урок, но Аллахверди не слышал ее и словно ни о чем не думал. Потом он поймал себя на том, что не открываясь смотрит на Садаф. У Садаф были черные глаза, черные волосы, толстые такие косы, все, как обычно, и только платье новое. Но Аллахверди будто видел впервые и эти глаза, и эти косы. Садаф была худенькой, да, но полногрудой. Она была смуглянка, Садаф, и Аллахверди не мог оторвать глаз от этого смуглого лица и злился на себя, не хотел смотреть на это лицо и глядел во все глаза.

Аллахверди, напрягаясь, вспоминал их ссоры в детстве, их походы в школу, всякие смешные случаи и никак не мог поверить, что эта девушка перед его глазами та Садаф, которой он мог сказать в любое время что угодно и даже приказать.

А потом у Аллахверди мелькнула мысль, от которой он стал сам не свой: ему вдруг показалось, что то письмо, что лежит у него в нижнем ящике шкафа, не Садаф писала; не Садаф, смущаясь, протягивала ему это письмо, а совсем другая девушка, из другого класса. Сейчас Аллахверди уже ни за что бы не поверил, что именно слезинка размывала синие буквы в письме.

Аллахверди с трудом отвел взгляд от Садаф, хотел было прислушаться к теореме, которую объясняла Гюльсум-муаллима, но ничего из этого не вышло, и он снова устался на Садаф и только теперь понял, что и Садаф смотрит на него, и тогда он оторвался от созерцания смуглого лица девушки и устремил глаза на черную доску, испи-санную формулами.

Аллахверди смотрел на формулы, выведенные на доске учительницей, слушал, что она говорила, и всем своим существом ощущал на себе взгляды Садаф, Наконец, не выдержав, он посмотрел на девушку, и теперь уже она отвела от Аллахверди глаза на доску.

Аллахверди чувствовал, как пылает его лицо.

Наступила перемена, и на перемене снова все собрались вокруг Садаф, и Садаф снова принялась рассказывать. За всю жизнь никогда не говорила она столько, и никогда еще не выслушивали ее с таким восторгом.

Так прошли уроки, одна за другой прошли перемены,

Снова начало моросить, потом дождик вроде кончился, потом снова заморосило, и весь день Аллахверди не находил себе места.

Вернувшись из школы, Аллахверди целый вечер просидел в комнате, не выходя во двор.

У Гашама-киши было дело в райцентре, и он уехал туда на сером жеребце.

Айна-арвад перебирала на балконе фасоль.

Аллахверди же смотрел в окно на серую осень. Склон горы, видимый из окна, сплошь порос айвой, и на каждом айвовом дереве сидела стая скворцов. Они кричали на разные голоса, и непонятно было, то ли приветствуют они эту серую осень, то ли осуждают.

Внизу, на косогоре, стоял дом Салмана-киши, и вдруг Аллахверди разозлился на старика. Ни с того ни с сего. А потом вдруг забыл о нем.

Аллахверди не мог ни читать, ни готовить уроки, не хотелось ему и выйти погулять по селу. Он как бы наблюдал себя со стороны, и ему казалось, что он уже больше не прежний Аллахверди. Почему ему так казалось, почему так думалось — в этом он не отдавал себе отчета. Было совершенно ясно, что его зовут, как и прежде, Аллахверди и это его голова, и руки, и ноги, только вот было непонятно, отчего же с тем же именем, головой, руками и ногами он уже не прежний Аллахверди.

Он отвел взгляд от серой осени и встал с тахты, подошел к маленькому шкафчику, выдвинул нижний ящик и достал из кучи бумаг письмо Садаф, однако не раскрыл его и не прочитал, потому что внезапно обнаружил, что все написанное на вчетверо сложенном листке он знает наизусть.

Аллахверди даже и не подозревал, что он так заучил это письмо.

Когда ночью Аллахверди ложился в постель, ему казалось, что он не уснет до утра, но заснул Аллахверди, заснул и впервые увидел цветной сон.

Рассвет только начинался.

Было столько красок, Аллахверди в жизни не видел таких сочетаний — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

И что самое странное, эти краски еще и серебрились, сверкали.

И Аллахверди был среди этих красок.

Они словно окутывали всего Аллахверди, словно текли по его телу. Аллахверди знал, что это сон, и еще он знал, что этот сон — Садаф. Самой Садаф не было, но Аллахверди знал, что эти краски — ради Садаф, а может быть, даже все эти краски и есть сама Садаф.

И снова послышался голос Гашама-киши:

— Эй, Аллахверди, уже полдень на дворе, вставай!

Аллахверди хотя и видел сон, но будто предчувствовал, что вот сейчас раздастся этот голос и боялся, боялся, что краски вдруг исчезнут — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

— Эй, Аллахверди!

Аллахверди открыл глаза, и на несколько мгновений эти краски заполнили всю комнату, но они уже не искрились, а потом все разом

исчезли.

— Ну, где ты там?

— Встаю!..

Когда Аллахверди спустился во двор, Айна-арвад доила корову. Корова опять стояла под балконом, потому что снова шел мелкий дождь.

Моросило, но эта сырость вовсе не раздражала Аллахверди, когда он выводил из хлева серого жеребца. Гашам-киши удивленно посмотрел на сына — у вечно заспанного, обычно угрюмого с утра Аллахверди сейчас было явно хорошее настроение.

Гнедая кобыла Мелика опять пила воду из арыка, а пегий жеребенок пил рядом с ней,

— Чего ты вчера в кино не пришел? — спросил Мелик, зевая.

Только сейчас Аллахверди припомнил, что Джафар вчера должен был показывать кино, а он почему-то совсем забыл об этом и не пошел в клуб, и Аллахверди несколько не расстроился из-за своей забывчивости, потому что, кроме этой серой измороси, окутавшей все вокруг, у Аллахверди был свой мир, и этот мир был такой необыкновенный, так искрились краски — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

Когда Аллахверди прискакал на сером жеребце обратно во двор, Гашам-киши снова удивленно посмотрел на сына и на этот раз решил, что в жизни Аллахверди что-то произошло, что-то такое случилось, Гашам-киши явно это почувствовал.

Аллахверди, конечно, понятия не имел, о чем думает отец, он вывел корову со двора и погнал в стадо.

Аллахверди шагал по проселочной дороге вниз и, вопреки обыкновению, что-то насвистывал, какую-то мелодию, которая, по-видимому, звучала в нем с самого утра.

Позади раздался кашель, и Аллахверди, обернувшись, увидел, что это Салман-кипи, дымя трубкой, гонит своего буйвола.

Салман-киши как будто ждал того момента, когда Аллахверди обернется.

— Ну и погода! — громко сказал он. — Из-за этой проклятой погоды, — тут Салман-киши хлопнул себя мокрой ладонью по шее и выдохнул теплый клуб дыма, — Надир собрался и уехал!

Аллахверди замер с широко открытыми глазами. А потом будто со стороны услышал свой тихий голос:

— А кино он снимать не будет?

— Ты что, не понимаешь или притворяешься? В такую погоду разве можно кино снимать? — Салман-киши махнул рукой и прибавил важно: — Надир поедет в другой район, Говорит: «Не могу же я здесь сидеть целый месяц, ждать, когда солнце выйдет...»

Аллахверди не спросил у старика: «А Садаф?»

Аллахверди ничего не спросил, все и так было ясно: этой

дождливой осенью вырастет отличная трава на корм скоту, но Садаф уже не будет сниматься в кино, не пойдет она от родника с кувшином на плече.

Аллахверди увидел Садаф, ее поникшую голову, ее грустное лицо, она совсем растерялась, и Аллахверди с трудом удержался от того, чтобы не нагубить Салману-киши прямо в лицо, чтобы не обругать его гостя.

Аллахверди понимал, надо что-то сказать Садаф, надо обязательно утешить ее, но сделать это будет очень трудно. Очень трудно, потому что Аллахверди теперь ужасно стеснялся Садаф.

А что, если ей письмо написать, и хорошо бы в этом письме было что-то от того цветного сна? Только где он возьмет такие искрящиеся краски — голубую, оранжевую, светло-зеленую?.. Да и хватит ли храбрости отдать Садаф это письмо?

Потом он подумал, что напишет Садаф из Баку, когда поступит там в институт, но сразу понял, что поехать в Баку будет теперь очень трудно, очень тяжело это будет, потому что Садаф останется здесь.

1971, октябрь

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ БАЛАДАДАША

На Абшероне, прямо на берегу моря, стояло селение. Над этим селением сияло солнце и так палило, так жгло, что все попрятались по домам.

Разумеется, кроме одноэтажных и двухэтажных домов, а также дворов, огороженных деревянным частоколом или каменным забором, кроме почерневших гроздьев винограда, красных плодов граната, инжирных, тутовых деревьев, кроме палящего солнца, было еще море, и теперь мелкие волны его мягко накатывались на прибрежный песок.

В селе и в самом деле вроде никого не было, кроме Балададаша; Балададаш сидел под тутовым деревом у обочины межколхозного шоссе и как будто внимания не обращал на страшную полуденную жару; небольшая тень от дерева когда еще передвинулась с того места, где он сидел, но Балададаш не пересаживался, так и дремал на солнцепеке, так и сидел в своей трикотажной полосатой рубашке, в мятых парусиновых штанах и в сандалиях на босу ногу. Еще обязательно надо сказать, что на голове у него красовалась огромная кепка, и время от времени капли пота, выкатываясь из-под этой кепки, ползли вниз по худому лицу Балададаша.

Проехала, погромыхая, грузовая машина с полными пивными бочками, и Балададаш открыл глаза, покрасневшие от бессонной ночи, проведенной в борьбе с комарами, посмотрел вслед машине, потом, прищурившись, глянул на солнце, на убежавшую от него тень тутового дерева, но и тут не двинулся с места. Зевнул только.

Из-за каменного забора показалась голова мальчика. Увидев Балададаша, мальчик исчез, но в ту же минуту открылась маленькая калитка в голубых дворовых воротах и мальчик направился к Балададашу; в одной руке у него был бутерброд, в другой — деревяшка, он подошел к Балададашу, остановился, откусил от бутерброда и протянул деревяшку.

— Обстругай мне палку, да!..

Балададаш промолчал. Мальчик откусил еще кусок и произнес неслышно:

— Ну, обстругай, да!..

Снова ни звука в ответ. Продолжая жевать, мальчик опять попросил:

— Ладно, да...

Балададаш, прищурившись, поглядел на мальчика, будто видел его впервые, и сказал:

— Отстань от меня.

Мальчик наконец прожевал кусок и заговорил быстро.

— Когда Ахмедагу забирали в армию, ты разве не сказал, что бу-

дешь вместо него палки для лапты строгать?

Балададаш промолчал.

— Вчера от Ахмедаги пришло письмо, — продолжал мальчик, спрашивает: «А Балададаш строгает тебе палочки?» И еще пишет: «Передай от меня пламенный привет Балададашу». Клянусь! Пламенный привет!

Опять Балададаш ничего не ответил. Он сунул руку в карман, достал пачку «Авроры», вытащил сигарету и заложил ее за ухо, пачку снова сунул в карман и уже теперь полез другой рукой в другой карман, достал оттуда складной нож, раскрыл, проверил на остроту лезвия и сказал:

— Давай сюда.

Мальчик поспешно протянул ему деревяшку. Балададаш взял ее, оглядел со всех сторон и начал строгать.

Снова открылась калитка ворот напротив, вышла женщина и позвала мальчика, стоявшего рядом с Балададашем:

— Аганаджаф, ай, Аганаджаф! Аганаджаф обернулся к матери:

— Чего?

— Пойди посиди с детьми, я иду на базар.

Аганаджаф посмотрел на мать, потом на Балададаша и, сунув в рот последний кусок бутерброда, сказал:

— Как кончишь, позови, я приду, возьму, да?

Балададаш продолжал работу, как будто и не слышал ничего.

Аганаджаф добежал во двор. Женщина, проходя мимо Балададаша, замедлила шаги.

— Как дела, Балададаш, как мама?

— Хорошо, — ответил Балададаш, не поднимая головы.

— Когда тебе в армию?

— Осенью.

— Дай бог. Ахмедага там на курсы поступил.

Балададаш поднял голову и посмотрел на женщину.

— И я поступлю.

— Дай бог.

Женщина пошла дальше, а Балададаш занялся деревяшкой и вдруг закричал ей вслед:

— Передайте Ахмедаге мой привет, пламенный! Напишите, «желает тебе Балададаш здоровья»!

Женщина, улыбаясь, покачала головой.

— Спасибо, напишем, большое спасибо, — сказала она и исчезла за углом.

И снова было палящее солнце над безлюдным селением, и был еще Балададаш, сидящий под тутовым деревом и сосредоточенно строгавший деревяшку.

И еще было море, не так уж далеко оно сливалось с небом.

Небо чистое-чистое, море спокойное, тихое, поэтому и казалось, будто не было никогда в мире ни дождя, ни бури, ни урагана, ни вообще ничего такого.

Сначала послышался звук мотора, потом показался грузовик, проехал мимо Балададаша и затормозил шагах в двадцати.

В кузове машины было полно матрасов, одеял, деревянные табуретки, большой платяной шкаф, стол, в общем, было ясно, что кто-то переезжает.

Водитель выключил мотор, прыгнул на землю, огляделся по сторонам и сказал:

— Да, это здесь.

Полная женщина с трудом вылезла из кабины и долго смотрела на море.

— Дай бог Мураду здоровья, — промолвила она. — В чудном месте снял он дачу.

Водитель достал из кармана ключ, отомкнул висящий на воротах большой замок и заглянул во двор. Инжирные, айвовые и гранатовые деревья затеняли маленький уютный дворик. Позади одноэтажного дома был виноградник, а рядом с ним — деревянный навес, и сейчас в тени этого навеса распевало пять-шесть скворцов. Полная женщина некоторое время стояла в дверях.

— Севиль, милая, а ведь здесь чудесно! — Женщина оглянулась и немного растерянно посмотрела на шофера. Шофер поискал вокруг глазами и сказал:

— Ничего не понимаю...

Между тем женщина обошла машину. — Севиль! Где ты, Севиль?

— Сева-ханум! — крикнул шофер, поднялся на цыпочки и заглянул в кузов.

Балададаш, давно уже усердно стругавший деревяшку под тутовым деревом, поднял голову, глянул в сторону грузовика и снова склонился над своей работой.

Полная женщина, задыхаясь, подбежала к шоферу.

— А вдруг ребенок выпал из машины по дороге, а? Шофер заметался, заглянул в кузов, а женщина уже кричала с надрывом: — Севиль! Севиль! Вдруг раздался девичий голосок:

— Что, мамочка?

Полная женщина выпучила глаза на водителя. Тот пожал плечами и на этот раз, нагнувшись, заглянул под машину.

Женщина снова крикнула:

— Севиль!

И тут с шумом распахнулась дверца большого платяного шкафа в кузове машины и показалась стройненькая улыбающаяся девушка в белом платье, совсем незагорелая, с каштановыми волосами.

Полная женщина прижала руки к груди.

— Все твои шуточки... Сердце чуть не разорвалось, — сказала она и улыбнулась. А шофер будто только сейчас понял, что стоит под палящим солнцем, достал из кармана большой платок и вытер пот с лица.

Севиль, словно пинг-понговый шарик, перелетела через борт машины, и не сводивший с нее глаз Балададаш сразу почувствовал, что его бросило в жар. Он поднялся с места и теперь уже пересел в тень, Севиль заглянула во двор и захолопала в ладоши:

— Ой! Какая красота! Просто прелесть!..

Полная женщина еще раз оглядела уютный дворик, где им предстояло провести лето, и еще раз улыбнулась — она была рада и за себя и за дочку.

— Ладно, давай разберем вещи, надо устроиваться.

Водитель опустил борт машины и принялся перетаскивать вещи в дом. Севиль и ее мать переносили сумки, всякую мелочь. Иногда полная женщина сердито поглядывала на Балададаша, сидевшего как ни в чем не бывало под тутовым деревом. Мол, не видишь, люди приехали, вместо того чтобы помочь, отдыхаешь в тени.

Балададаш чувствовал на себе недовольные взгляды полной женщины и шофера, который работал в прилипшей к телу белой рубашке, но Балададаш был Балададашем, он никому, даже отцу своему, не позволял собой распоряжаться, предпочитая делать то, что считал нужным.

Полная женщина запыхивалась, хотя ей, наверно, не так уж и вредна была эта физическая нагрузка. А Севиль, щебеча как птичка, подбегала, хватала книжку или маленький узелок, относила в дом и снова возвращалась.

Наконец шофер начал двигать в кузове старый платяной шкаф. Тут полная женщина не выдержала и сказала Балададашу:

— Эй, парень, помоги немного, не видишь, мы из сил выбиваемся?

Балададаш поднял голову, посмотрел на полную женщину и спросил:

— Это вы мне?

— Да... А кому же?

Балададаш смерил ее взглядом и произнес:

— Привезли бы с собой еще и носильщика.

Полная женщина открыла рот, шофер гневно обернулся к Балададашу, хотел что-то сказать, но в это время стоявшая в дверях Севиль прыснула, глядя на Балададаша, и шофер промолчал.

Балададаш внимательно посмотрел на Севиль из-под огромного козырька своей огромной кепки, потом, опустив на землю деревяшку, встал, сложил ножик и, отряхивая сзади парусиновые штаны, медленно направился к машине.

Севиль с веселым недоумением посмотрела на кепку, украшавшую голову Балададаша в такую жару, на сигарету за ухом и снова

приснула.

Балададаш искоса глянул на девушку и, не обращая больше на нее внимания, встал спиной к машине и поднял руки.

Водитель сначала колебался, потому что шкаф был очень большой, а парень на вид не очень сильный, но уверенность Балададаша передалась и ему, и он, крихтя, взгромоздил шкаф Балададашу на спину.

Поддерживая шкаф руками, Балададаш устоял, однако в глазах у него потемнело, а в голове пронеслась мысль, что, если он сейчас же не выскочит из-под этого груза, не видать ему ни армии, ни курсов, куда поступил Ахмедага.

Шкаф съехал со спины Балададаша и с грохотом ударился об асфальтовый тротуар.

Увидев, что Балададаш цел и невредим, Севиль громко расхохоталась, и ее смех будто пробудил ото сна полную женщину:

— Вахсей-ей!..

Балададаш посмотрел сначала на опрокинувшийся шкаф, на расколовшуюся дверцу, потом на Севиль и промолвил:

— Ничего, починим.

— Что починим, — тихо сказала мать Севиль, — что починим? Ты только посмотри, что ты натворил!

Севиль снова расхохоталась.

Шофер остолбенело глядел сверху на Балададаша, губы его беззвучно шевелились.

А Балададаш отвел глаза от шкафа, снова посмотрел на Севиль и вдруг понял, что эта девушка, которую он впервые увидел всего полчаса назад, очень родной и близкий ему человек; это чувство пронзило его всего, и ему вдруг показалось, что он в море, что его обнимают ласковые морские волны, а найти второго такого человека, который, как Балададаш, чувствовал, ощущал, любил бы море, было довольно трудно.

Так началась первая любовь Балададаша, и первый день этой любви завершился историей со шкафом; Балададаш сначала отряхнул сзади свои парусиновые брюки, потом как ни в чем не бывало повернулся и удалился так медленно и беспечно, как умел ходить один только Балададаш.

В этот час кроме рыб в море плавал только Балададаш; рыб не было видно, а голова Балададаша чернела на поверхности воды, пропадала, появлялась; Балададаш плыл так бесшумно, что спокойствие моря оставалось спокойствием и безмолвие — безмолвием.

Балададаш перевернулся на спину и увидел голубое небо, вернее, голубые глаза белолицей девушки с каштановыми волосами. Звали ее Севиль.

Эта насмешливая девушка сидела сейчас под большим инжирным деревом в своем новом дворе, но она больше не смеялась. Пропустив

пальцы обеих рук сквозь каштановые волосы на затылке, она устремила свои огромные глаза в небо; она смотрела в небо и читала стихи:

Как прощались, страстно клялись
В верности любви...
Вместе тайн приобщались.
Пели соловьи...
Взял гитару на прощанье
И из струн исторг
Все признанья, обещанья.
Всей души восторг...
Да тоска заполонила,
Порвалась струна...
Не звала б да не манила
Дальняя страна!
Вспоминай же, ради бога,
Вспоминай меня,
Как седой туман из лога
Встанет до плетня...

Потом она раскинула руки, потянулась и только тогда увидела Балададаша, который влез на забор. Она сначала немного смутилась, а потом спросила:

— Ты тоже любишь стихи?

— А почему бы и нет?

— Много знаешь наизусть?

Балададаш кивнул.

— Да ну? — Севиль вскочила с места. Она будто не поверила ему.

— Почитай хоть что-нибудь.

— А что, здесь школа, что ли?..

Конечно, Балададаш знал кое-какие стихи, но Балададаш знал и то, что ни одно из этих стихотворений недостойно Севиль, ну то есть это не те стихи, которые можно прочитать ей сейчас, в эту минуту. Балададаш знал также, что с девушкой, которая просто так, глядя в чистое небо, читает стихи, надо разговаривать тонко, ласково и очень умно, но все дело в том, что он, Балададаш, тонко и ласково и еще к тому же очень умно разговаривать не умел.

В сущности, Балададаш осознал это только сейчас, только сейчас понял, что он, закончивший школу в свои восемнадцать лет, известный мастер по строганию палочек для лапты, не способен разговаривать с девушкой тонко и ласково, вкрапывая в беседу очень умные слова.

Да, конечно, Балададаш чувствовал, что девушка, находившаяся всего в десяти метрах от забора, на котором он сидит, на самом деле очень далека от его мира, но в самой глубине своей души Балададаш

чувствовал также и то, что в один из дней на берегу моря, звездной летней ночью, к тому же прохладной ночью, это состояние может сильно сократиться и даже вовсе исчезнуть, и эта красивая девушка может приласкать его, как это делают теплые морские волны, и поцеловать в губы.

И Балададаш явственно ощутил на губах этот поцелуй, вздрогнул и посмотрел на девушку виновато.

Понятно, что Севиль ничего не знала о мыслях Балададаша, она была совершенно не в курсе того, что несколько секунд назад целовала его худое, смуглое лицо. Севиль рассматривала огромную кепку на голове Балададаша, и Балададаш понял, как это плохо, что он сейчас не прочитал ей стихов.

На террасе мать Севиль готовила зеленую фасоль. Повернувшись к плите, чтобы зажечь газ, она увидела на заборе Балададаша.

— Эй, ты что там делаешь? — крикнула она. — Ты зачем туда забрался?!

Балададаш спрыгнул вниз, отряхнул свои парусиновые брюки и, загребая носками сандалий песок, побрел по улице между заборами.

Мать Севиль залила фасоль сырыми яйцами и, сильно уменьшив огонь, стала натирать на терке чеснок. Внезапно со скрипом открылись деревянные ворота Балададаш, пыхтя, внес два полных ведра воды и поставил их посредине двора.

Мать Севиль удивленно смотрела на Балададаша, Балададаш тоже смотрел на нее некоторое время, а потом сказал:

— Шолларская. Вот принес вам. Пользуйтесь.

— Иди, детка, иди, — сказала полная женщина. — Никто ничего у тебя не просит, иди, пожалуйста, по своим делам...

Балададаш, у которого из-под огромной теплой кепки катились по лицу струйки пота, повернулся и хотел было уйти со двора вместе с ведрами. Его остановил голос матери Севиль:

— Это правда шолларская вода?

Балададаш замедлил шаги и, повернув голову, сказал:

— Клянусь кепкой, шолларская, не верите? Мать Севиль будто не расслышала:

— Что?

Балададаш поставил ведра на землю, хлопнул рукой по огромному козырьку:

— Э-э, клянусь кепкой, шолларская вода, зачем не веришь?

Вдруг Севиль выглянула из комнаты во двор,

— Как, как? — спросила она. — Клянусь кепкой?.. — И залилась, захохотала.

Балададаш не понял, над чем Севиль смеется сейчас; вообще-то ему нравилось, как она смеялась. Но при чем тут кепка? Нет, не мог он на нее сердиться.

— Ну хорошо, раз принес, давай сюда, но больше не утруждай себя, пожалуйста, — сказала полная женщина.

Балададаш втащил ведра на веранду и вылил воду в большой жестяной бак. В это время у ворот остановился красный «Москвич», поигналил. Мать Севиль засуетилась.

— Мурад приехал! Сева, Мурад приехал!

Севиль выскочила из комнаты. Мать, забыв про Балададаша, тоже спустилась во двор, вытирая мокрые руки полотенцем.

Мурад оказался высоким человеком лет тридцати с красивым приветливым лицом. Когда он вылез из машины и пошел по двору, излучая спокойную силу и уверенность, все вокруг как бы изменилось. Непонятно почему.

— Ну что? — спросил Мурад. — Как вы тут разместились?

— Отлично, — сказала Севиль и повисла у Мурада на руке; если бы матери не было рядом, она бы повисла у него на шею.

И мать Севиль это почувствовала и промолвила растерянно:

— Очень хорошо здесь... Просто чудесно...

Мурад огляделся по сторонам и, было заметно, остался доволен всем окружающим.

— В городе такая жара, — сообщил он, — дышать невозможно.

Севиль заглянула ему в глаза.

— Ты не устал? — сказала она, сказала так, что мать снова как будто растерялась; девушка откровенно вешалась Мураду на шею.

В этот момент никто и не думал, есть на свете человек по имени Балададаш или нет, но, когда этот всеми забытый Балададаш с пустыми ведрами в руках хотел пройти мимо, Мурад спросил:

— А это кто такой?

Севиль посмотрела на Балададаша — у него из-под кепки стекали по лицу струйки пота — и рассмеялась.

— Он принес нам два ведра шолларской воды, — объяснила мать Севиль.

А Севиль все смеялась. Балададаш остановился и посмотрел на Севиль. Балададашу было все равно, что рядом с этой девушкой стоит мужчина, лицо которого несколько не портили черные усы, и у этого мужчины есть новенький красный «Москвич», и ему может не понравиться, что Балададаш усталился на его девушку; Балададашу просто хотелось смотреть в эти внезапно ставшие такими близкими голубые глаза, смотреть на эти каштановые волосы, белое лицо, и он смотрел.

Мурад вытащил из кармана металлический рубль и протянул Балададашу.

— Держи.

Балададаш отвел глаза от каштановых волос, голубых глаз, белого лица и посмотрел на этот рубль.

В другое время, конечно, Балададаш выругался бы или запустил

этой монетой в небо, в общем, сделал бы что-нибудь такое... Но дело было в том, что в этот момент Балададаш совсем растерялся, потому что в эту минуту рядом с ним стояла красивая девушка, которая умела, глядя в чистое небо, читать прекрасные стихи, и теперь эта девушка смотрела на металлический рубль.

Мать Севиль сказала:

— Он просто так принес, знаешь, Мурад, бесплатно. Мурад улыбнулся.

— Ничего, пусть пойдет выпьет пива, прохладится.

Балададаш молча вышел со двора с пустыми ведрами в руках.

Сзади послышался голос Мурада:

— Не мало?

А потом эта самая голубоглазая, белолицая, с каштановыми волосами девушка снова громко рассмеялась.

Было две луны: одна в небе, а другая в море, и та луна, что была в море, плясала на мелких волнах. Балададаш сидел на берегу.

На всем берегу не было никого, кроме Балададаша, который давно уже глаз не отрывал от луны в море.

Наконец Балададаш поднялся на ноги, отряхнул свои парусиновые брюки и медленно мимо скал пошел от берега к селению.

Из дома Аганаджафа слышалась громкая музыка: Гадир Рустамов пел «Сона бюльбюль», и Балададаш под эту музыку влез на каменный забор, окружающий двор Севиль, и из темноты стал смотреть на освещенную веранду.

Севиль, ее мать и Мурад сидели за хантахтой на веранде и пили чай.

— Ради бога, веди машину осторожно, — говорила мать Севиль.

— Мое сердце будет рядом с тобой. И телефона тут нет, чтобы ты позвонил, когда доберешься до города.

Мурад улыбнулся:

— Да я и так осторожно езжу. Не беспокойтесь.

— А ты оставайся здесь, — сказала Севиль.

— Неудобно... — после паузы ответил Мурад.

— Скорее бы сыграть вашу свадьбу, — вздохнула мать.

Балададаш спрыгнул с забора и безмолвно, отряхнув парусиновые брюки, удалился от двора Севиль.

Снова был полдень, и снова было очень жарко. Только на берегу и в море народу было много — суббота.

Балададаш только что вышел из воды, длинные, чуть не до колен, черные трусики облепили его худые бедра.

Аганаджаф подошел к нему, ковыряя песок оструганной палочкой.

— А мы получили сегодня письмо от Ахмедаги. Он тебе привет передает. Говорит, пусть приезжает ко мне в Амурскую область. Говорит, тут на курсы поступит хорошие. А оттуда, говорит, очень даже можно в военную академию попасть. А я сегодня же ответил ему, что Балададаш

хорошо строгает мне палки. А мама написала, Балададаш шлет тебе пламенный привет.

— Тебе-то что, — вдруг заговорил Балададаш, — Тебе все равно!..

Потом растянулся на песке и, прищурившись, поглядел на солнце.

Мальчик никак не ждал от Балададаша таких слов и осторожно отвел от него глаза. Потом, показывая на красный «Москвич», едущий к берегу, сказал:

— Управляющий едет.

— Кто? — спросил Балададаш.

— Управляющий, да, — ответил Аганаджаф.

— Кто это — управляющий?

— А вон, в том красном «Москвиче». Балададаш приподнялся на локте.

— У нас новая соседка, — продолжал мальчик. — А это ее жених. Они на лето сюда приехали, а осенью уедут. Ее мать говорит, это управляющий, да. Знаешь, сколько весит ее мать? Сама она такая красивая, а мать, наверно, сто кило весит.

Балададаш, приподнявшись на локте, смотрел на Севиль и Мурада.

Каштановые волосы Севиль рассыпались по белым плечам. Голье ноги Севиль, ее босые ступни легко касались песка. Здоровый, мускулистый Мурад бросился в воду, увлекая за собой Севиль, и они поплыли прочь от берега в открытое море.

Балададаш был в море, и в море, кроме Балададаша и Севиль, никого не было. Севиль лежала в воде на руках Балададаша. Балададаш смотрел на белое лицо Севиль, на распластавшиеся по поверхности воды каштановые пряди, на улыбающиеся и шепчущие стихи губы.

Это продолжалось долго, а потом Севиль протянула руку, и погладила его лицо, и приложила ладонь к его губам. Балададаш целовал эту ладонь, соленую от морской воды, целовал и смотрел вдаль.

Темно-голубая линия горизонта была границей этого морского счастья..

Балададаш наклонился к лежащей у него на руках Севиль и начал целовать ее длинные каштановые пряди и море.

— Кизяк есть для сада, не хочешь?

Балададаш отвел глаза от моря и посмотрел на старика, сидящего в тележке, которую привез облезлый ишак. — Кизяк, говорю, для сада не нужен?

Балададаш удивился, откуда вдруг возник этот старик, снова посмотрел на море, но там уже не было ни Севиль, ни ее каштановых волос. Он встал, отряхнул свои парусиновые брюки и, ничего не сказав старику, ждущему ответа, удалился в сторону селения от уже пустынного берега.

А тележка, скривя колесами, продолжала путь по сумеречному берегу Абшерона.

Было уже совсем темно, когда Балададаш залез на каменный забор и увидел ярко освещенную веранду дома Севиль. Девушка сидела одна в соломенном кресле, в руках у нее была книга.

Внезапно Севиль отвела глаза от книги, пристально посмотрела в темноту, в ту сторону, где сидел на заборе Балададаш, и сказала:

— Ты опять залез на забор?

Сердце у Балададаша оборвалось и упало на землю — никогда прежде с Балададашем такого не случалось.

— Я же знаю, ты на заборе сидишь, — сказала Севиль. — И вчера там сидел. Думаешь, не знаю? Вот скажу Мураду, знаешь, что он с тобой делает?

Балададаш молчал. Только лягушки квакали — к дождю, наверно. И еще кузнечики стрекотали — громко, на все селение. Из дома какая-то музыка слышалась — наверно, по телевизору кино показывали, и мать смотрела. А Севиль снова заговорила:

— Не понимаю, чего ты хочешь? Разве я тебе пара? Ты только посмотри в зеркало на свою кепку... Ой, не могу... С нее на Луну можно летать. И Севиль захохотала.

Из комнаты выглянула мать:

— С кем это ты разговариваешь?

— Ни с кем. Сама с собой. — Севиль снова рассмеялась. — Нельзя, что ли?..

Балададаш понял, что пора спуститься на землю и уходить отсюда и больше никогда не забираться на тот забор. Балададаш хорошо понял это, но руки и нога его словно отнялись, в том-то и дело, что они совсем перестали его слушаться...

Севиль больше не смеялась. Крикнула зло:

— Так и будешь там торчать? Хочешь, чтобы я из-за тебя сидела в комнате, в духоте?

Севиль встала, вошла в комнату и захлопнула за собой дверь.

Балададаш еще некоторое время слушал лягушек и кузнечиков, потом наконец слез с забора.

На этот раз он забыл отряхнуть сзади свои парусиновые штаны.

До селения было далеко, и Балададаш, засунув обе руки в карманы, шагал под палящим солнцем прямо по середине шоссе.

Сзади подъехал к нему красный «Москвич», остановился, и Мурад, выглянув из окошка, сказал:

— Садись, подвезу.

Балададаш посмотрел на красный «Москвич», потом на селение вдалеке, покопался в карманах, потом подошел к машине и сел рядом с Мурадом. Красный «Москвич» продолжал путь.

Не отрывая взгляда от дороги, Мурад спросил:

— Учишься?

Балададаш уселся поудобнее, будто в том, что он ехал в легковой

машине, не было ничего особенного, и ответил:

— Уже не учусь. Кончил школу.

— И не работаешь?

— Осенью в армию уезжаю. Вернусь, потом начну работать.

— В армию? — усмехнулся Мурад. — Сам, что ли, туда хочешь?

— Да, сам.

— Балададаш так посмотрел на Мурада, что тому стало бы не по себе, не глядя он в этот момент на дорогу.

Мурад сказал:

— Тебе хорошо, парень холостой, можешь ехать хоть на край света. Гулять каждый день с новой девушкой, — потом протянул руку, открыл ящичек в машине и достал маленькую коробочку.

В коробочке лежали золотые серьги. Мурад продолжал:

— Мне бы твои заботы. Вот к свадьбе готовиться надо. Одних подарков сколько. А ведь еще... — Он не договорил, вытаскил серьги, положил их в нагрудный кармашек рубашки и протянул Балададашу пустую коробочку. — Возьми на всякий случай, красивая коробочка. А то, когда преподносишь подарок в коробочке, думают, что ты хочешь похвастаться, сколько денег потратил. Цена на коробке всегда указывается.

Балададаш молча взял коробочку, а потом произнес: — Останови здесь, я выйду.

Красный «Москвич» остановился у въезда в селение, там, где начиналась песчаная тропка, ведущая к морю. Балададаш вышел из машины, сунул руку в карман, достал три двадцатикопеечные монеты и, бросив их по одной на сиденье, сказал:

— Это за то, что подвез. Большое спасибо. — Захлопнул дверцу и, отряхивая сзади свои парусиновые штаны, зашагал к морю.

Мурад что-то кричал ему вслед, но Балададаш не оглянулся.

Он шел и шел по песчаной тропке, а потом бросил коробочку на песок и так поддал ее ногой, что коробочка взвилась на седьмое небо. Куда она упала — неизвестно.

На бегу срывая с себя «кепку-аэродром», полосатую трикотажную рубашку, парусиновые брюки и сандалии, Балададаш помчался к морю, к вот он уже лег на воду, раскинулся на мелких волнах и посмотрел на небо; небо было голубым и огромным, и в эту минуту это огромное небо, как и море, принадлежало ему одному.

Вот так и закончилась история с первой любовью Балададаша, и эту любовную историю он вспомнил только один раз — в поезде, который вез его в Амурскую область, вспомнил и ощутил на губах вкус мокрой каштановой пряди.

ОТЧАЯНИЕ ЛИСЫ

I. Тоска по снежной прогулке

Говорят, лиса попадает в капкан потому, что слишком много знает. Но эта Лиса знала еще больше и все равно никак, ну никак не попала в капкан! Хитрая была, изворотливая, чертовски ловкая...

А лес был роскошный, живописный, на склоне горы. И дуб здесь рос, и граб, и груша, и орех-фундук. Водились в лесу косули и олени, аисты строили гнезда, растили в них птенцов.

Одна молодая и красивая Аистиха свила себе уютное гнездо в ветвях старого дуба, и трое хороших аистят только-только вылупились из яиц. По утрам Аистиха улетала искать корм для своих детей, а возвращаясь, кормила птенцов и даже не предполагала, что эта жестокая Лиса уже заметила ее трех хороших деток.

И вот однажды утром, когда Аистиха улетела опять, Лиса раздобыла огромную пилу и приволокла ее к дубу. Облизнувшись, она посмотрела вверх, на щебечущих в гнезде беспокойных аистят, и, отложив пилу, уселась под деревом поджидать Аистиху-мату.

Много ли прошло времени, мало ли, но вот Аистиха, отыскав корм, полетела назад, села в гнездо и хотела уже начать кормить своих птенцов, как вдруг увидела, что под дубом стоит Лиса и, подняв пилу, собирается пилить толстый ствол. У Аистихи сердце ушло в пятки, она вытянула вниз шею и спросила:

— Лисонька, что это ты такое делаешь?.. На что бесстыжая Лиса ответила:

— Дерево пилю.

Бедняжка Аистиха в ужасе захлопала крыльями и вылетела из гнезда.

— Зачем?! — закричала она. — Ну зачем, Лисонька?! Жестокая Лиса, прищурясь, поглядела на нее.

— А тебе-то что? Этот лес мне от дедушки достался. Спилю дерево, отнесу его на базар, продам и куплю себе курицу.

Бедняжка Аистиха, ну откуда ж ей знать, что для того, чтобы спилить старый дуб, у Лисы сил не хватит?! Аистиха горько заплакала и начала умолять:

— Пощади нас, Лисонька! Если ты спилишь дерево, что мы будем делать? Гнездо мое разрушится. Лисонька!

Лиса, сощурилась, опять посмотрела вверх, на Аистиху, и предложила:

— А ты отдай мне одного птенца, и я не спилю дерево. А не то спилю.

— Ну чтоб ты сгорела. Лиса! — Эти слова вырвались, правда, не у мамы Аистихи, а у Самаи (причем совершенно искренне).

...Новую пьесу о бессовестной Лисе и несчастной Аистихе ставил Бакинский детский театр, и Самая в этом спектакле, к сожалению, должна была играть роль Лисы.

Поэтому теперь, глубокой ночью, сидя на диване, поджав ноги и ежась от холода, она учила неприятную, попросту отвратительную роль.

Зима в этом году была ранняя и холодная, не успели еще ивы сбросить листья, как пошел снег, и то ли еще будет... А в комнатах — холод, батареи греются плохо. Самая высказала вслух все, что она думает об истопнике Мамедали, и снова принялась перечитывать роль.

Сколько ни лила слез Аистиха, сколько ни молила о пощаде, жестокая Лиса не отказывалась от своего гнусного намерения, и все тут.

Перед безнадежным горем, как говорят, и чародей бессилен — у Аистихи не было иного выхода: закрыв глаза, умирая от горя, она схватила клювом одного из птенцов и кинула его Лисе. Аистиха уже не соображала, что делает...

А Лиса стиснула птенчика зубами и, вертя пушистым хвостом, удалилась, и еще долго-долго слышался вдалеке жалобный писк несчастного аистенка.

— Джан-джан!..¹ — это опять сказала Самая и, невольно вскочив с дивана, прошла в другую комнату, к мирно посапывающей во сне Фатьме, как будто надо было удостовериться, что Фатьме не грозит никакая Лиса, а удостоверившись, она вернулась к дивану, но учить роль уже совсем расхотелось.

Самая положила руку на все еще не нагретую батарею и опять произнесла, но мысленно, несколько слов в адрес истопника Мамедали и подошла к окну.

На улице шел такой снег — ужас, ничего не было видно, кроме снега и редких освещенных окон. Самая смотрела на эти падающие хлопья снега, смотрела, и в сердце ее кольнуло, — она вспомнила одно желание, которое осталось в далеком прошлом, почти детское свое желание, которое так и не исполнилось никогда...

Это было очень давно, Фатьмы еще на свете не существовало, а она сама была такой же хорошей девочкой-подростком, как Фатьма. Она представляла себе тогда: снежная ночь, белые хлопья падают, и она идет с самым близким, самым дорогим на земле человеком, идет по бакинским ночным улицам, по ночному парку, идет по приморскому бульвару, и нет никого во всем мире, кроме них двоих: Самай и этого, неведомого ей, будущего возлюбленного... А кругом падает снег, спит Баку, и только пять-шесть окон с разных концов светят им во тьме...

¹ Здесь возглас сочувство.

За окном действительно стало светлее — это прошел троллейбус, наверно, последний, в парк, и Самае представилось теперь, что она на вокзале, что она провожает кого-то, очень близкого ей, родного человека, провожает в командировку, далеко...

Без сомнения, в то время, когда Фатьмы еще не было на свете, а она, Самая, была такой же хорошенькой, маленькой девчушкой, как Фатьма, и смотрела из окон их старого дома на падающий снег, ее ждала — в будущем!.. — снежная прогулка, а на сцене ее ждали Дездемона, Луиза и Гюльтекин...¹ Она еще с тех лет выучила наизусть песенку Офелии, и эта песня тоже ждала ее на сцене... Ей, конечно, тогда не приходило в голову, что наступит время, и в такую вот зимнюю ночь она будет зубрить роль Лисы, изобретая тысячу уловок, чтобы заставить плакать Аистиху, — ведь в то время она еще не понимала, что не все могут быть Дездемонами, кому-то нужно играть и Лису, да и роль Лисы тоже требует бессонных ночей и требует, конечно, таланта. В то время она не знала, что Станиславский говорил: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры...

Конечно, лучше, если бы на свете вообще не было ни Лисы, ни ее пины, а были бы всюду только одни аисты и джейраны, цветы, деревья и травы. Подумав об этом, Самая усмехнулась, глядя из окна на падающий снег, потому что говорят ведь, что без шакалов леса не бывает.

К тому же, это бесспорно, одним из таких шакалов — и не при Фатьме об этом говорить — был ее, Самаи, бывший возлюбленный, то есть иначе — отец Фатьмы. Потому, что сначала, один или два месяца, он был самый любимый, потом — три или четыре месяца — популярный, а потом вообще превратился в шакала, так как был, оказывается, шакалом с незапамятных времен, со времен даже Навуходоносора или даже еще раньше!.. И как только это его шакальство открылось ей полностью, Самая взяла Фатьму и ушла.

Тогда Фатьме было два года, теперь Фатьме исполнилось уже пятнадцать, а ведь прежде Самае и в голову не приходило, что раньше Дездемоны, Луизы и Гюльтекин ее ожидает в будущем хорошенькая Фатьма, такая Фатьма, которая сделает ее самым счастливым человеком на свете, и рядом с этим счастьем померкнет, пожалуй, станет незначительной и тоска по снежной прогулке, и тоска по Дездемоне, Луизе и Гюльтекин...

Самая протянула руку к батарее — батарея уже была горячая, и в комнате вроде стало теплее. А ведь если в такую зимнюю ночь в комнате становится тепло, то человек, пожалуй, перестает тосковать и

¹ Героиня трагедии «Айдын» известного азербайджанского драматурга Джафара Джабарлы.

ему больше не приходят в голову плохие мысли...

Самая прошла в спальню и осторожно поправила одеяло Фатьмы, сползающее на пол. Потом, раздевшись, быстро легла в постель, с головой закуталась в одеяло и подумала про себя: Аистиха вернулась в свое гнездо, и ребенок ее при ней. Потом ей вспомнилась Лиса, потом опять отец Фатьмы и тот день, когда она впервые разрешила шестилетней Фатьме погулять с отцом. Собственно, она даже сама организовала эту прогулку: ведь как бы там ни было, каким бы он ни был, а он отец ребенка!.. В тот день Фатьма впервые в жизни, не считая того времени, когда «гуляла» в коляске, вышла погулять с отцом, и первый ее вопрос, когда вернулась домой, был:

— Мама, мой папа, правда, инженер?

«Да уж куда там «инженер»! Бездельник, каких мало, днем с огнем такого будешь искать, не найдешь!» Все это, понятно, сказала Самая в душе, а вслух, совершенно естественно, подтвердила:

— Конечно. А что такое?

И Фатьма пояснила ей, очень серьезно:

— А сказали «дурак».

У Самаи глаза полезли на лоб.

— Что?!

И Фатьма начала ей рассказывать:

— Сказали — дурак... Он со мной разговаривал, а сам смотрел на какую-то чужую тетю. А потом как будто почесал голову, а сам обернулся и посмотрел вслед тете, а потом тетя повернулась и сказала: «Дурак!»

«Пепел на голову такому мужчине! С ребенком рядом и то не мог удержаться!.. Негодяй». Это тоже, естественно. Самая произнесла в душе, но все-таки очень ей стало стыдно перед Фатьмой, и именно поэтому она накричала на дочку:

— Больше никогда не смей говорить таких слов! Нельзя говорить такое об отце!

С тех пор много прошло времени, много раз выпадал снег, и много раз всходило солнце. Теперь Фатьма виделась с отцом раз или два в год, причём без всякой охоты. С одной стороны, это было хорошо, а с другой — конечно, плохо. Хорошо потому, что с таким паршивым человеком чем меньше будешь видеться, тем больше выиграешь. А плохо... Ну, почему так должно быть, почему у такой хорошенькой Фатьмы отец должен быть шакал?! И почему в такую зимнюю ночь...

Ну, раз дело дошло до «почему», тогда все. Тогда уже надо думать, почему никогда, ни разу не была спета песенка Офелии, и снова

переживать — молча! — страдания Гюльтекин... И тогда надо задуматься над своей судьбой, а не только над судьбой Дездемоны. И снова не спать до утра, а только думать, думать и думать. До утра думать. А утром в театре репетиция «Лисы и аистят».

Самая в темноте посмотрела в ту сторону, где посапывала тихонько Фатьма, потом завернулась в одеяло еще плотнее, еще тесней и наконец зевнула, и подумала — а ведь Фатьма какая хитрая, с первого раза в шакале разглядела шакальство... И даже рассмеялась, потом повернулась на другой бок.

Давно над собственным горем научилась смеяться Самая.

II. Радость серебристого дня

После непогоды бывали иногда у Самаи, не часто, но все-таки бывали, серебристые дни, как она их называла. И этот день был одним из таких, серебристых.

Самая шла домой из театра и с радостью в сердце от такого чудесного дня думала о своей Фатьме.

У Фатьмы была новая подруга, звали ее Гюнай, причем девчонки так подружились — водой не разольешь, каждый день вместе.

Прошлым летом Самае дали наконец новую квартиру, и Фатьма перешла в новую школу, училась теперь в восьмом классе в школе рядом. Гюнай была в том же классе, и дружба девчонок очень нравилась Самае. Прежде всего конечно, потому, что Гюнай действительно воспитанная и умная девочка. Во-вторых, потому, что мать у Гюнай была доктором наук, да и отец ее был похож, что называется, на благородного человека... То есть Гюнай была девочкой из хорошей, как это говорится, семьи, тем более — с папой и с мамой. Фатьма уже далеко не ребенок, и теперь очень многое зависит от среды. Так получилось, что при живом отце (что за наказание!) Фатьма выросла без отца, но ведь она, Самая, все эти годы так старалась, чтобы девочка ну совершенно не чувствовала ни в чем никакой разницы между их маленькой семьей и хорошими семьями, где абсолютно все в порядке...

В общем, сейчас Самая делала все, что могла, — по праздникам звонила и поздравляла мать Гюнай, каждый раз передавала с Гюнай приветы домашним. Конечно, можно было ближе познакомиться с матерью Гюнай, но для этого не было времени, да и случай подходящий не подворачивался.

Самая шла с репетиции «Лисы и аистят», думала обо всем этом,

шагая по скрипящему под ногами снегу, и улыбалась. Потому что вдруг представила себе, что рядом с ней идет хорошенькая пятнадцатилетняя девочка, но это не Фатьма, а она сама — пятнадцатилетняя и беззаботная Самая...

Просто вот таким серебристым был сегодняшний день.

Снег только что перестал сыпать, и солнце так ярко блестело на лежащем снегу — на крышах, на балконах, на деревьях, как будто в Баку действительно выпал серебряный снег.

Вот интересно — сколько бы ни было ветреных или дождливых, жарких, пыльных или просто обычных, самых обычных дней, ни один из них сам по себе в памяти у Самаи не остался. Горькие были события или хорошие — они, конечно, в памяти остались, а сами дни, когда случались события, нет. А вот такие серебристые дни в Баку никогда из памяти не исчезнут!

Самая казалась, что она помнит каждый такой день в своей жизни, и у каждого, пожалуй, был свой настрой. Однажды в такой вот серебристый день она, возвращаясь с репетиции, подумала: пусть, Дездемона, конечно, уже недосыгаема, ее время уже прошло, но ведь Гертруда-то еще впереди, и леди Макбет еще впереди, и мамаша Кураж еще впереди!..

И вдруг ей так захотелось, чтобы и Фатьма всегда помнила эти серебристые дни, никогда, никогда их не забывала. И еще — чтобы больше было у Фатьмы таких дней, но чтобы не имели они привкуса ни тоски, ни сожаления, были только очень радостными...

Конечно, Фатьма даже не подозревала о подобных мыслях у своей разумной матери, и когда пришла Самая домой, то увидела, что дочка еще стоит перед трюмо и ей совершенно безразлично, какой день за окном, потому что она обеспокоена красными маленькими прыщами, усеявшими все ее лицо: она давила их пальцами, раскровенила себе щеки, а особенно лоб.

Фатьма сказала плачущим и очень злым голосом:

— Что это, мама, видишь, прыщи какие-то!.. Прямо стыдно...

После великолепного снежного воздуха Самая не могла сразу проникнуться глубоко таким горем Фатьмы и улыбнулась:

— Ничего, это пройдет, — сказала она. — Только не трогай руками.

— Да не проходят! Еще больше становится с каждым днем.

— Ну что ты на меня злишься, не я же их делаю, Фатьма... Самая снова улыбнулась и подошла к дочке, обняла ее и потерлась своим холодным от мороза лицом о нежную щеку девочки.

— И имя же ты мне дала: Фатьма, Мне все говорят Фатьма-нене.

Как будто не могла ты придумать какое-нибудь имя покрасивей.

— Да кто тебя так называет? — Самая опять не смогла сдержать улыбку.

— Но ведь, по правде говоря, ты и есть Фатъма-нене. Я тебя назвала именем моей мамы, как ты знаешь, — твоей бабушки.

— Очень мне было нужно. — Рассерженная больше, наверно, из-за прыщей, чем из-за имени, Фатъма тут же ушла в спальню.

Хорошо, что имя Самая не такое уж «старушечье», и если вдруг когда-нибудь Фатъма назовет свою дочь Самаяей, то будет не так уж стыдно. Самая, улыбаясь, сняла пальто и, вешая его на вешалку в передней, сказала:

— Премьера спектакля девятого декабря. Фатъма спросила из спальни:

— Это какого спектакля?

— «Лиса и аистята». Девятое декабря как раз суббота, я принесу билеты и для папы и мамы Гюнай, пусть посмотрят.

Фатъма, как будто испугавшись чего-то, быстро вышла в переднюю.

— «Лиса и аистята»?..

— Да, Это хорошо, что суббота. Мама у Гюнай как раз свободна. Фатъма стояла перед матерью, но не говорила ничего, потом потрогала воротник своего платья.

— Зачем ты теребишь? — Самая осторожно погладила ее пальцы.

— Ничего... Тогда, знаешь, мама... — Фатъма не знала, как сказать.

— Тогда, знаешь, давай я сначала разведую, а?

И Самая увидела вдруг в глубине ее черных блестящих глаз какой-то страх или смутнение, и это маленькой, но все равно иголкой кольнуло ее сердце, полное радости прекрасного дня.

Самая сказала:

— Ну что ж, произведи разведку. Ты же у меня разведчица, дочка!.. — И, смеясь, она потрепала черные волосы Фатъмы.

III. Премьера

В те времена Фатъма была еще совсем маленькой, и каждая премьера была для Фатъмы настоящим праздником. Она начинала готовиться к премьере за несколько дней, днем и ночью она думала только о спектакле. Это было время, когда Фатъма в детском саду и во дворе так хвасталась, просто ужас: вон ту Козу играет моя мама,

Шенгюлю, Шюнгюлю, Менгюлю¹ — их кормит моя мама, Волку распарывает брюхо своими рогами — моя мама!

Однажды Самая играла Зайца, и вот, когда Лиса пришла, чтобы его съест (ох уж эти Лисы!), Фатъма так заплакала, что все в зале, позабыв о столах и страданиях Зайца, начали смеяться над рыданиями Фатъмы, и Самая (в лапах у Лисы) подумала: разве можно смеяться над рыданиями?

Это было время, когда Фатъма еще говорила «плихожу» вместо «прихожу» и «плоходит» вместо «проходит», даже в голову не могла прийти мысль, что наступит день, когда эта пухленькая девчурка будет страдать из-за прыщей на щеках.

Самая подумала об этом и улыбнулась. Хорошо, что режиссер не заметил улыбки, он встал и, жестикулируя как обычно, крикнул:

— Самая-ханум, требуйте, требуйте с большей страстностью! Здесь нужно больше эмоционального воздействия!

— Хорошо, — сказала Самая и подумала: «Как же можно с еще большей страстностью требовать у бедняги Аистихи второго птенца? Лиса-то лисой, а человек всегда остается человеком» (в общем, ей опять пришли в голову детские мысли...).

Сегодня была последняя репетиция «Лисы и аистят», завтра, то есть седьмого декабря, — общественный просмотр, а еще через день — премьера.

Лиса с пилой под мышкой снова уселась под дубом и опять потребовала у Аистихи птенца. Несчастливая Аистиха, рыдая, умоляла, чтобы Лиса не пилила дуб. Но злодейка Лиса не хотела сжалиться.

— А мне-то что! Лес достался мне от деда! Какое дерево хочу, то и спилю. Или отдай мне птенца, или я спилю дерево, отнесу, продам на базаре, куплю себе курицу и хорошенько позавтракаю.

— Самая-ханум! Вы же опытная актриса? Сколько раз вам говорить, чтобы вы требовали с еще большей страстностью! Ведь вы Лиса! Жестокая! Хищница! Видите, как искренне плачет Аистиха?

Самая подумала — а что ей, несчастной, остается? Только плакать. Подумала и на этот раз действительно с жестокостью Лисы потребовала у Аистихи второго птенца.

— Вот так неплохо, — и режиссер вздохнул.

Давно не шел снег, с балконов все счистили, а на крышах и на деревьях снег почернел от дыма, и Самая вечером у себя дома, стоя у окна, долго смотрела, как брызгает грязь из-под колес троллейбусов и

¹ Персонажи — козлята из детской сказки.

автомашин.

— Тебе когда -нибудь хотелось, — спросила она вдруг Фатьму, не поворачиваясь, — выйти ночью погулять по улицам, когда снег только выпал и все кругом белым - бело? — Она спросила и опомнилась, испугавшись собственных слов: ведь так можно затронуть самые, как говорится, тайные струны в душе Фатьмы, которых никому нельзя трогать. И она виновато посмотрела на дочь.

Фатьма сидела за столом, готовила уроки на завтра и тоже подняла на нее глаза.

— Прямо уж гулять. У меня, ты знаешь, сапожки — только и гулять по снегу!

Самая сначала даже не поняла ничего, но потом сообразила, что это речь идет о сапожках Фатьмы.

— А что, — спросила она озабоченно, — с твоими сапожками? Протекают?

— Да не протекают, но они детские. Все носят модные, и только я в детских сапожках и в детском пальтишке.

Самая хотела было возразить, что они вовсе не детские, но промолчала. За окном шел по лужам автобус, и она вспомнила снова свежий снег несколько дней назад, даже почувствовала его запах. Фатьма уже очень выросла, а она стареет; почему снег так быстро превращается... И прервала себя — очень это «умный» вопрос.

— Я тебе куплю такие сапожки, — пообещала она, — что все рты раскроют.

— Да? — У Фатьмы лицо просияло, и она даже взглянула на свои ноги под столом — как будто уже надела эти новые сапожки.

Самая, улыбаясь, сказала:

— Завтра я тебе принесу билеты, отдашь их Гюнай, пригласишь от моего имени ее родителей.

Фатьма вспомнила про «Лису и аистят» и откровенно расстроилась:

— Правда, всего два дня осталось до девятого... Мама, ты опять будешь, — спросила она, — в костюме Лисы?

— Да, конечно! — И как будто назло кому-то, Самая громко начала ей описывать: — Такой роскошный костюм для Лисы сшили — просто прелесть! Хвост такой пушистый, загляденье! Вот такой величины! — Она развела в стороны руки и показала длину лисьего хвоста, потом посмотрела на дочь и замолчала.

Наконец Фатьма подняла на нее глаза.

— Зачем тебе, мама, зачем тебе их приглашать? — Она умоляюще посмотрела на мать и добавила: — Они в жизни в театры не ходят. Не

любят они театр. Я ни разу не слышала, чтобы они говорили о театре...

Самая приложила руку к лицу, как будто у нее болел зуб, потом поняла последние слова дочери: родители Гюнай просто не способны оценить искусство, — и улыбнулась.

— Ну что ж, не любят и не надо.

У Фатьмы словно огромная гора свалилась с плеч.

— Ну да, мама! Правильно.

А девятого декабря с самого раннего утра опять повалил снег, и весь город был снова засыпан свежим белым снегом.

Самая уже давно забыла, какая у нее по счету премьера, но просто никогда в день ее премьеры не шел такой снег.

Поэтому с радостным ожиданием в сердце она пришла в театр, выслушала последние наставления режиссера, последние просьбы автора, получила у администратора билеты, заказанные несколько дней назад для Фатьмы и Гюнай, вернулась домой и увидела, что Фатьма принарядилась и ждет ее, стоит у окна, смотрит на улицу, на белый, сверкающий снег.

— Какой снег, а! — сказала Самая.

— Да, очень красиво, мама. И Самая улыбнулась;

— Вот тебе билеты для тебя и Гюнай.

Фатьма взяла билеты, повертела в руках, как будто видела их впервые в жизни, и сказала:

— Знаешь, мама... Гюнай хотела сегодня в кино пойти. Мама, ты знаешь...

И Самая поняла, что сейчас в этот зимний снежный вечер, когда стоит она перед своей дочкой, красавицей Фатьмой, сейчас главная ее задача в жизни — взять себя в руки. Однажды в спектакле она играла Медвежонок, и этот Медвежонок, когда ему было очень плохо, всегда говорил себе: «Возьми себя в руки, Медвежонок! Медвежонок, возьми себя в руки!»

— Ну что ж, пусть идет в кино. И ты, если хочешь, пойдись с ней.

— Правда? — Фатьма не знала, что делать от радости. — Правда? — Потом кинулась — ребенок есть ребенок! — к матери, поцеловала ее в одну щеку, в другую, торопливо сняла с вешалки в коридоре пальто и, одеваясь перед трюмом, сказала: — Завтра я сама приду тебя смотреть, одна. Я знаю, ты сыграешь замечательно, в газетах похвалят...

И снова, что-то вспомнив, она обернулась к Саме:

— Мама, а в газете дадут фотографию? Самая улыбнулась:

— Откуда мне знать? И Фатьма отвела глаза.

— Не знаю, почему не дают в газетах твой портрет вот так, в своем

платье. Пусть так дадут, а?..

— Хорошо, — сказала Самая, — я не позволю, чтоб меня фотографировали в костюме Лисы. — Она разрешила и это последнее сомнение дочери — больше никто не узнает, что мать Фатьмы играет Лису, потом так же будет с Зайцем, и с Козой, и с Джейраном...

— Правда, не позволишь?! — Фатьма снова бросилась к матери и расцеловала ее — она была совсем счастлива! — Ну у кого есть такая мама, а! — гордо сказала она и сама себе ответила: — Ни у кого!

В этот зимний снежный день спектакль прошел очень хорошо.

В лес прилетела старая добрая Ворона и раскрыла Аистихе козни Лисы, она растолковала ей, что Лиса не может спилить такой толстый дуб.

И, когда Лиса пришла требовать третьего, последнего, аистенка, Аистиха с Вороной накинулись на нее, и Лиса, вертя своим пушистым огромным хвостом, в таком страхе бросилась вон из леса, что все зрители — и дети, и взрослые, пришедшие с детьми, — зааплодировали; в зале поднялся шум, и все засмеялись, а режиссер и автор были очень довольны.

Потом занавес снова открылся, и Лиса, и Аистиха, и ее птенцы, и старая Ворона — все вышли на авансцену.

Самая поклонилась зрителям, помахивая огромным пушистым хвостом.

Она знала, что на улице сейчас падает снег, она чувствовала запах снега, и ей вдруг показалось, что в зале сидят Фатьма и Гюнай, и мать и отец Гюнай, и она сыграла не Лису, а Гертруду.

Самая посмотрела в зал и поклонилась на этот раз только им.

Зрители были довольны — козни Лисы раскрылись.

А сердце Самаи пронзила боль, отчаянье, как будто только что она сыграла не Лису, а Аистиху.

Сердце Самаи пронзили боль и отчаянье, но напрасно, это совершенно зря, потому что лес на склоне горы был опять таким же живописным, и снова аисты здесь вили гнезда, выводили птенцов.

И опять появилась молодая Аистиха, и снова Лиса с пилой под мышкой уселась под деревом — Лисе захотелось мяса аистят.

Так ты их и съешь, Лисонька!..

И снова Аистиха с мудрой старой Вороной чуть не выклевали Лисе глаза.

А Лиса в таком страхе убежала из леса, что больше она уже никогда не сможет вредить аистам.

Потому что аисты уже знали, что такое Лиса — они узнали ее хитрости, ее трусость и изворотливость.

И опять был все тот же живописный лес, и Аистиха растила своих птенцов, они расправляли крылья и летели, они перелетали через моря, они бродили по городам и странам, они видели леса, они вили гнезда, сами выводили птенцов и растили их...

1973, апрель

В СНЕГУ

Памяти Новруза Джуварлинского

Только-только начался рассвет, а Керим-киши осторожно, на цыпочках уже прошел к детям в спальню и сквозь окно, залепленное снегом, поглядел на улицу.

В сумерках ничего не было видно, кроме снега, мело еще сильнее, чем вчера, — был снег, был вой метели, да изредка неизвестно откуда пробивалось дребезжание музыки — это Рахиль Хаимовна, соседка, заводила у себя довоенный патефон, как всегда.

Керим-киши смотрел на летящий снег, слушал завывание метели. «Неужели это никогда не кончится?» — подумал он с отчаянием. Потом так же тихо, стараясь не шаркать по-стариковски ногами, вышел в коридор, прошел в кухню и уже через кухонное окно поглядел во двор. Двор тоже был весь в снегу, и, кроме светящегося наискосок окна Рахили Ханмовны, ничего больше не было видно.

Всю свою жизнь он знал этот маленький двор, такой же, как многие старые бакинские дворы, которые летом похожи на круглые пятачки-острова на асфальте, где посередине растут два тутовых дерева, а вокруг стоят такие же старые маленькие дома, одноэтажные или двухэтажные.

Во дворе мело немного потише, чем на улице, и звуки музыки здесь были, конечно, куда слышнее. Постоянная эта музыка по утрам вовсе не раздражала Керима-киши, совсем наоборот, она успокаивала: значит, и старая Рахиль Хаимовна тоже пока жива-здорова.

Керим-киши ладонью протер стекло. Большая грубая ладонь была как деревянная, и скрип был такой, словно он провел по стеклу доской, а не ладонью.

— Доброе утро, — торопливо сказал у него за спиной Ахмед, заглядывая в дверь кухни.

Керим-киши обернулся, но ничего не ответил, а только посмотрел на сына — озябшего, с полотенцем на шее, — и тот виновато отвел глаза, пожал с сожалением плечами и, на ходу причесывая пальцами свои совсем седые волосы, пошел по коридору дальше, к умывальнику.

Получилось, что именно Ахмед удержал вчера Керима-киши дома, клятвенно уверяя, что завтра, мол, метель утихнет, погода наладится, и тогда — пожалуйста! — поезжай куда только хочешь!..

Но, действительно, откуда было Ахмеду знать, что завтра, то есть сегодня, начнется такое?.. Наверно, и автобусы не ходят, и троллейбусы... И уроки в школе, должно быть, тоже отменят.

Подумав о школе и детях, Керим-киши, несмотря на всю досаду и беспокойство, немного порадовался, губы его под закрученными кверху совершенно белыми усами чуть дрогнули и поползли в стороны. Выходит, дети смогут поспать подольше.

Дети-школьники были, понятно, внуки Керима-киши. Вообще-то внуков было пятеро, но старшую они уже, слава богу, выдали замуж; она сама и ее молодой муж были нефтяниками; следующий по старшинству внук учился в институте в Одессе, а вот младшие — трое — все еще ходили в школу. Эти пятеро были дети Ахмеда... У Гейбата не было детей. Как один появился на свет, так один и ушел, не оставив после себя никого, не вернулся с войны. Навсегда остался таким, как на висящей над комодом фотографии...

Музыка уже кончилась, и был слышен теперь только вой метели, и еще где-то далеко-далеко плакала как будто собака. Этот лай собаки совсем испортил ему настроение, и он мысленно выругался, проклиная самого себя.

Жена Ахмеда, Фазиля, вошла в кухню и — тоже виновато — сказала:

— Доброе утро.

Быстро зажгла газ, поставила на огонь чайник и торопливо, чтобы не торчать перед глазами явно расстроенного свекра, вышла.

Керим-киши не ответил невестке, но потом сам себя упрекнул — напрасно, ведь невестка совсем не виновата.

Когда они уже сидели в комнате за завтраком, Ахмед озабоченно сказал жене, что не знает, как доберется до работы — автобусы не ходят. Потом добавил, что электрички наверняка тоже не ходят, стоят на Сабунчинском вокзале, потому что дорога заметена снегом.

Услышав эти слова, Керим-киши отставил стакан с недопитым чаем и встал. Прошел в кухню и снова посмотрел во двор; метель действительно усилилась.

Вот уже скоро пятнадцать лет, как, уйдя на пенсию, он каждый день или, в крайнем случае, через день, летом, осенью, зимой и весной, ездил на старую дачу в Бильгя. Обрабатывал виноградник, ухаживал за инжиром, за гранатовыми деревьями, сажал огород, цветы, сооружал навесы — в общем, делал все, что нужно. Но он не просто работал, а, как бы сказать, дружил с этим старым садом в Бильгя. Позавчера он тоже был на даче, надел Набрану на шею цепь, привязал к конуре,

чтобы не мотался по двору как неприкаянный, — разве позавчера мог кто-нибудь представить, что начнется такое?..

Керим-киши прошел в коридорчик и наткнулся на Ахмеда, который, уже в пальто и шапке, пытался открыть наружную дверь, но та не открывалась.

Квартира Керима-киши была на первом этаже, здесь жил еще дед Керима; старая дверь осела, открывалась туго, теперь еще ветер намет снаружи сугроб. Наконец дверь чуточку приоткрылась, и Ахмед протиснулся на крыльцо. И тут же ветер так рванул, что даже в коридорчик нанесло снега, словно это не в Баку, а за Полярным кругом.

Керим-киши вздохнул и вытащил из-за старого сундука лопату, подошел к двери и, ощущая всем телом холод и снежный ветер, протянул лопату сыну.

Когда Ахмед, очистив крыльцо, снова вошел в дом, растирая лицо посиневшими руками, Керим-киши молча взял лопату и поставил за сундук.

— Отец, — примирительно сказал ему Ахмед, — отец, я бы сам поехал, но пойми...

Керим-киши не дал ему продолжить:

— Ладно, ладно, отправляйся на свою работу.

У Фазили, которая заглядывала в коридорчик, просветлело лицо — наконец старик заговорил!.. И Ахмед улыбнулся:

— Хорошо, я пошел, но...

— Не выйдет он, не выйдет, не беспокойся, — уверила его Фазили.

— Чтoб ей пусто было, такой погоде! — И посмотрела умоляюще на Керима-киши; в глазах ее было: ай, Керим-киши, ну что ты на нас сердиться, а?..

Керим-киши не ответил, только бросил на невестку сердитый взгляд и ушел к себе. Ведь на самом деле он сердился вовсе не на них, а на свою старость.

— Доброе утро, дедушка, — приоткрывая дверь в его комнату, сказал заспанный Аяз. — Скажешь маме, чтобы она пустила меня во двор, а?

— Иди, иди, умойся сначала.

И Аяз тихонько закрыл дверь. Теперь ему тоже стало известно, что у деда отвратительное настроение.

А метель, видно, совсем разгулялась, потому что иногда завывало так, что стены дома дрожали, и казалось, ветер вот-вот сорвет с места и совсем унесет этот старый дом. От каждого порыва Керим-киши

вздрагивал, потом сам себя за это ругал, потому что это, считай, тоже от старости. И тогда он стал думать о весне — на абшеронских дачах тогда расцветают вишни, и гранатовые деревья выпускают яркие, цвета хны, листочки. Начинает зеленеть инжир, а привитая алыча еще с ноготок, и листики винограда — новенькие-новенькие, а от воробьиного щебетанья кружится голова! Весной ветер усыпает деревянный пол веранды желтой сосновой пылью, и утром, как выйдешь на веранду, а потом вернешься в комнату, на полу остаются отчетливые следы...

И Керим-киши словно опять увидел эти следы, и среди них отпечатки голых маленьких ножек Аяза, его крохотных пальчиков, — увидел их и улыбнулся. Он теперь чувствовал — как ему казалось — даже запах этой пыли, а потом к этому запаху примешался запах нефти. Точно так, как в те далекие дни — в первые дни мая пятьдесят лет назад.

Это была та самая памятная весна, когда пятая скважина дала наконец фонтан и Керим вместе со всеми нефтяниками Баилова и Биби-Эйбата пришел на митинг, чтобы отпраздновать рождение нового нефтяного промысла: в небольшой бухточке на Каспии нашли нефть, и бухту засыпали землей и камнями, которые перетаскивали на арбах и фургонах, везли на верблюдах. Строили с помощью лома, лопаты и тачки. Ровно пятьдесят лет назад, когда Керим-киши был тридцатидвухлетним молодым человеком с закрученными усами и тело у него было литым, как железный лом, который он держал в руках...

Снова где-то залаяла собака, и этот собачий лай был еле слышен сквозь вой метели, и Керим-киши нахмурился: ему уже начинают слышаться звуки, чудиться запахи, сердце его сжимается от жалости к самому себе!.. Он разозлился — мужчина не должен так размякать...

Он поднес ладонь к лицу, провел по небритой щеке, и, словно ожидая этого, в дверь постучала Рахиль Хаймовна и крикнула тоненьким голосом:

— Керим Биалович! Керим Биалович!

Рахиль Хаймовна была единственным на всей земле человеком, который называл его Керимом Биаловичем, и, несмотря на то, что он был знаком с этой женщиной более двадцати пяти лет, каждый раз такое обращение казалось Кериму-киши необычным: уста¹ Керим — это совсем другое дело! Или просто «уста». Ну, или как теперь вот по-

¹ Уста — мастер

стариковски: Керим-киши.

Сначала Керим-киши подумал, что ослышался. Но, когда вой метели на минуту яростно ворвался в коридор и снова, уже в коридоре, зазвучал тонкий голос Рахили Хаимовны, он понял, что эта старая женщина и в такую жуткую погоду все-таки пришла его брить.

Рахиль Хаимовна сначала пожаловалась Фазиле на пургу, потом вошла в комнату.

— Что же это будет?.. Такой снег, Керим Билалович! Может, конец света? — Но, зная неразговорчивость Керима-киши, она не стала дожидаться ответа — пришел или не пришел конец света, а потеряла замерзшие ладони и, открыв мокрую от растаявшего снега сумку, достала и разложила на столе бритву, кисточку и мыльный порошок.

Каждый раз, когда высохшие пальцы Рахили Хаимовны касались лица Керима-киши, он рассматривал в стоящем перед ним зеркале лицо этой старой женщины, смотрел так, чтобы Рахиль Хаимовна не заметила; видел уменьшившиеся, выцветшие глаза и думал, что все равно эта сильно постаревшая, но с острым зрением женщина должна и будет жить еще долго.

Сегодня высохшие руки Рахили Хаимовны были к тому же холодными, и, когда эти холодные пальцы коснулись лица Керима-киши, он уже не осмелился заглянуть в глаза женщине, заметил свою несмелость и снова рассердился на себя.

Рахиль Хаимовна с обычной сосредоточенностью намылила лицо Керима-киши и начала брить. С тех пор как она вышла на пенсию — около двадцати лет назад, — она каждую неделю приходила к ним и брила Керима-киши. Накануне она тщательно крахмалила и гладила белые салфетки, правила бритву, проверяла, на месте ли одеколон, мыло и пудра.

Рахиль Хаимовна попала в Баку в последний год войны, приехала одна-одинешенька к своей единственной родственнице Изабелле Соломоновне, жившей в том же дворе, что и Керим-киши. Однажды, когда две одинокие женщины беседовали ночью в своей маленькой комнатке, разговор зашел, как всегда, о прежней мирной жизни, о будущем, о разных людях, и тогда в слабом свете керосиновой лампы, с трудом освещавшей помещение, Изабелла Соломоновна сказала несколько слов о душевности молчаливого Керима-киши. Вот эти слова и сохранились в памяти Рахили Хаимовны.

Конечно, Керим-киши ничего не знал об этом, но получилось так, что именно он устроил Рахиль Хаимовну на работу — нашел ей место в одной из парикмахерских на Баилове. Рахиль Хаимовна никогда в

жизни не работала парикмахером, но с первого дня все приняли ее за вполне умелого мастера, потому что она освоилась очень быстро. Изабелла Соломоновна умерла уже лет двадцать назад, и все эти годы Рахиль Хаимовна жила совсем одна.

Рахиль Хаимовна научилась разговаривать по-азербайджански, с Керимом-киши она всегда говорила по-азербайджански, и сейчас, снова взбивая пену на его жестком лице, сказала:

— Керим Билалович, вы одного типа человек, а Шнайдер был другого типа. Но Шнайдер тоже был очень симпатичный человек.

Шнайдер был мужем Рахили Хаимовны, его вместе с их единственным шестнадцатилетним сыном Давидом фашисты расстреляли в Киеве во время войны. Керим-киши знал это, и еще он знал, что имя-отчество Шнайдера были Рувим Эфраимович и был он известный в Киеве портной.

Некоторое время они занимались каждый своим делом, то есть Рахиль Хаимовна сосредоточенно брила Керима-киши, а Керим-киш терпеливо слушал, как шуршат его жесткие волосы под бритвой, и думал о никогда не виденном им сыне Рахили Хаимовны Давиде, потом начал думать о своем сыне Гейбате и подумал, что ни Гейбат не знал Давида, ни Давид — Гейбата, а вот прошло столько лет, и старый мужчина, глядя на морщинистые, со вздувшимися венами руки старой женщины, взбивающей мыльную пену, думает о них обоих.

Снова ветер ударил в стену дома, и Кериму-киши вспомнился жаркий день четыре или пять лет назад, когда он с детьми ездил в Набрань и привез оттуда щенка овчарки; маленький щенок весело бежал за детьми и лаял. Дети называли щенка Набран.

Конечно, Рахиль Хаимовна ничего не знала о голодной собаке, оставшейся на привязи в Бильгя; она улыбнулась вдруг, и от этого на ее пожелтевшем, как пальцы у курильщика, лице прибавилось морщин.

— Изабелла Соломоновна хотела выдать меня замуж. Я ведь была очень симпатичной. Но я сказала: где ты найдешь для меня Шнайдера? Кто даст мне моего Шнайдера?

В другое время Керим-киши сказал бы несколько шуточных слов, потому что, когда Рахиль Хаимовна приехала к Изабелле Соломоновне, ей было далеко за пятьдесят, но он не пошутил и подумал, что и ему Зибейду никто не сможет вернуть. Подумал и опять разозлился на себя за то, что так размяк, и нетерпеливо заерзал на стуле.

Рахиль Хаимовна, хотя и была сейчас вся в воспоминаниях о Шнайдере, провела по подбородку Керима-киши так и не согревшись, холодными пальцами и сказала:

— Еще остались волосы. Не вставайте пока.

Через некоторое время Рахиль Хаимовна закончила работу и, опять окунувшись в метель, пошла через двор к себе домой, но долго еще ее слова «Не вставайте пока» звучали в ушах Керима-киши, и он подумал, что Рахиль Хаимовна, наверно, единственный в мире парикмахер, у которого остался один-единственный клиент.

А еще через какое-то время снова послышались далеко-далеко слабые звуки довоенной патефонной пластинки.

Весь этот долгий день Керим-киши ни с кем не разговаривал, только вечером, глядя, как бушует метель за окном, сказал громко самому себе:

— Я совершил грех.

И Фазиля, и дети, и с трудом добравшийся с работы Ахмед не решались заговаривать с Керимом-киши, поэтому у всех на сердце была тяжесть и все искренне мечтали, чтобы завтра погода наладилась и чтобы старик наконец перестал хмуриться, повеселел. Один только Керим-киши знал, что, во-первых, погода не наладится, а во-вторых, наладится она или не наладится, но если и завтра он ничего не сможет сделать, с Набраном все будет кончено. Никто ведь не знает, что он привязан, что он на короткой цепи.

Ночью метель не утихла, и, лежа в постели, прислушиваясь к вою ветра на улице, Керим-киши снова думал о саде, о море в Бильгя, и — что удивительно! — он вспомнил вдруг большую утку, которую подстрелил сорок лет назад.

Большая утка все время садилась на песчаный берег в Бильгя, и каждый раз, когда уста Керим приближался к ней, она взлетала и снова садилась на песок в двадцати шагах от него. Один раз, два раза, три раза... Как будто сама говорила: уста Керим, пойдй в дом, возьми ружье и убей меня. Уста Керим взял дома ружье и совершенно без всякой надежды вернулся на берег, думая, что утка наверняка улетела. Но утка не улетела, она словно ждала уста с ружьем. И уста одним выстрелом уложил ее на месте.

Керим-киши припомнил тот день совершенно ясно: это был конец апреля, было воскресенье, и еще он вспомнил, что Зибейда сварила из этой утки шорпу.

Керим-киши подстрелил в своей жизни много уток, много всякой другой птицы и теперь никак не мог понять, отчего именно эта утка припомнилась ему так отчетливо и почему утка была совсем одна, почему она не улетала, почему не боялась его? Тут ему послышался звук выстрела, и он, незаметно задремавший под одеялом, вздрогнул.

Когда рано утром Керим-киши, с трудом приоткрыв наружную дверь, выбрался во двор, ветер так ударил ему в лицо, что Керим-киши отшатнулся и спиной прикрыл дверь. Некоторое время он стоял на крыльце, прижавшись к двери и прислушиваясь к звукам внутри дома, но ничего не услышал — никто, наверно, не проснулся.

Керим-киши поднял воротник старой шубы, выставил вперед левый локоть и, стараясь идти боком, прошел через ворота на улицу.

Было еще совсем темно, и на улице никого и ничего не было, кроме снега и воющих вихрей метели. Мороз накинудся сразу на худое длинное тело Керима-киши, и он почувствовал его резкое дыхание, а потом знакомый запах нефти и понял, что это пахнет его шуба.

Давно, очень давно Керим-киши не надевал этот бараний тулуп, с тех времен, когда ранним утром выходил из дома на работу, садился в автобус и вылезал из автобуса возле Бухты.

В этот час в Бухте весь промысел засыпан снегом, но все равно отовсюду из-под снега пробивается запах нефти; Керим-киши знал это. А в старом запахе нефти, исходящем из тулупа, — лишь воспоминание о былом. Керим-киши не ускори́л шаг, а пошел размеренной, спокойной походкой, и под закрученными усами, вчера так тщательно подстриженными Рахилью Хаимовной, дрогнули губы.

Левой рукой он заслонял лицо от ветра, а в правой держал большой и тяжелый сверток.

У трамвайной остановки, напротив садика у Пятиэтажки, Керим-киши остановился. Трамвая не было, рельсы были замetyны снегом. Втянув голову в воротник тулупа, сквозь бьющие по лицу большие хлопья он разглядел в саду у Пятиэтажки сломанные от тяжести снега и погнутые деревья. Как будто это было кладбище деревьев, и теперь здесь хозяйничали только ветер и снег.

Керим-киши стукнул себя рукой по худому бедру, прикрытому тулупом.

— Ух ты!.. — сказал он. Он огорчился, но объяснил себе, что в гибели деревьев не виноваты старость, слабость или «размякание», — просто деревья, как и люди, у них есть своя сопротивляемость, и иногда она тоже кончается.

Он снова заслонил лицо свободной рукой и зашагал к Сабунчинскому вокзалу. Перед глазами все еще стояли поломанные деревья. Потом он подумал о деревьях в Бильгя, тех, что вырастил сам и хотел оставить внукам. Дача Керима-киши находилась в низине, там не должно быть такого ветра — это хорошо, но вот что плохо: гранат и инжир, наверно, поьет морозом. Персикам и абрикосам обильный

снег только на пользу, но к чему такая польза, погибнут гранаты, пусть уж и персики пропадут совсем...

На Сабунчинском вокзале было малоллюдно, и вокзал изнутри напоминал пустую мечеть. Звук электрички как будто внес в эту пустоту жизнь и тепло. Керим-киши вошел в вагон, положил сверток на пол, и поезд тронулся.

Вагон качался, сильно трясло, и Керим-киши, глядя на заиндевевшее окно, вспомнил, как Ахмед говорил вчера, будто электрички не ходят. Он улыбнулся, но тут же нахмурился, рассердился на себя за то, что никому не сказал о своей поездке в Бильгя, а главное — за то, что так постарел, ослаб, что и сам это видит, думает об этом и сердце его стучит: «Увы! Увы! Увы!...»

Керим-киши почувствовал, что уже дремлет, что все его тощее, согрешшееся тело погружается в сон, и он принялся растирать замерзшие руки. Но снова появились перед глазами сломанные пополам деревья, потом подстреленная когда-то утка, а потом он ощутил у себя на лице холодные пальцы Рахили Хаймовны и вдруг подумал, что это, видно, его последняя зима.

Когда он сходил с электрички, ветер хлестал так сильно, словно кругом рушился мир...

Автобусы не ходили, и Керим-киши, снова загородив лицо рукой, зашагал в сторону Каспия. До метели здесь была проселочная дорога, слева стояли дачи, справа — оливковые деревья, среди которых высились сосны. Но сейчас не было ни проселочной дороги, ни дач, ни деревьев, а только снег и все срывающий ветер, и этот ветер не давал Кериму-киши открыть глаза. Он уже еле волочил ноги.

Внезапно он почувствовал, что, кроме снега, ногам его еще что-то мешает, путается у него в ногах. Это была маленькая собачонка, чью конуру, наверно, занесло снегом. Керим-киши хотел было остановиться, развернуть сверток, в котором были остатки вчерашнего обеда, кости и колбаса. Но понял что на это уже не хватит сил, и продолжал двигаться дальше. Собака не отставала — ее манили запахи свертка, запахи человека...

На даче у Керима-киши было огромное абрикосовое дерево; под ним, он говорил всегда, можно накрыть стол для ста человек, и обычно он издалека видел это дерево. Теперь, сквозь завесу снега, Керим-киши не столько увидел, сколько почувствовал, что вот с этого места, пожалуй, уже видно это огромное дерево,— значит, близко. И тут показалось ему, что в ногах у него вертится вовсе не один пес, а два...

Собаки кружили вокруг него и, не останавливаясь, двигались

вместе с человеком неизвестно куда.

Наконец Керим-киши нащупал железные ворота. Калитку замело, и он, собрав все силы, начал незанятой рукой отгребать снег. Ему казалось, что собаки помогают тоже, передними лапами разгребают сугроб.

Когда, открыв калитку, он вошел во двор, у него была только одна мысль: вход в конуру Набрана не со стороны Каспия, и ветер, может быть, не насыпал туда столько снега.

— Набран! — позвал он, прислушался и услышал тихий собачий визг. И хотя Керим-киши не чуял уже ни рук, ни ног, ни собственного тела и ничего больше не видел, он думал все же, что это, если не мерещится, действительно скулит Набран, и еще: что долгие эти дни Набран, видно, ждал его...

Все, что было потом, было совсем как во сне.

Ему казалось, что псы, которые раньше путались у него под ногами, забились, дрожа, к Набрану в конуру, и он, с трудом развернув сверток, достал им пищу.

Потом он на мгновение словно очнулся, потому что совершенно ясно услышал рядом голос Ахмеда: «Отец! Отец!...»

И больше он не слышал ничего.

...Врач отошел от постели больного, посмотрел на Аяза, потом на его сестричку и старшего брата, потом на Ахмеда, на Фазилу, на стоявшую в дверях Рахиль Хаймовну и снова обернулся, взглянул на лицо Керима-киши, утонувшее в мягкой подушке.

— Пневмония,— сказал он.

Ахмед смотрел, не отрываясь, на беспомощного отца, на лицо с закрытыми глазами, и в сердце его стучало: «Отец, отец, мой отец!»

И если бы Керим-киши смог сейчас увидеть в зеркале глаза Рахили Хаймовны, он понял бы, что старая женщина плачет. Потому что несчастен тот парикмахер, от которого уходит его последний и единственный клиент.

...Ну, а что до погоды, то через два дня в Баку прекратился снегопад. Ветер утих, и выглянуло солнце, и даже трудно было себе представить, что всего только два дня назад такой огромный пес, как Набран, оставшись в конуре, скулил от холода и страха.

ХОДЯТ ПО ЗЕМЛЕ ПЕЕЗДА

Много было на свете поездов: «Баку—Москва» и «Баку—Новосейский», «Харьков—Баку» и «Баку—Одесса», «Махачкала—Баку»... А как только начиналось лето, появлялись летние поезда: «Баку—Кисловодск» и «Баку—Сочи».

Во всех вагонах было полно людей, и люди были разные, по-разному одетые. Были даже совсем черные, были желтые-желтые, и все они тоже проезжали в поездах мимо селения, где жил Абили.

А еще чаще проезжали мимо цистерны с нефтью или платформы с бревнами, с большими досками; платформы с грузовиками, с тракторами, с легковыми автомашинами, и Абили, зажурившись, представлял себе, как снуют туда и сюда по ни разу не виденным бакинским улицам эти новенькие, блестящие автомобили...

Поезда шли из огромных далеких городов, и в этих далеких городах никто, конечно, не знал, что есть на свете крохотное селение у подножия горы и что в этом крохотном селении живет паренек по имени Абили, который каждый день провожает поезда глазами.

Абили думал об этом. Но еще он думал, что ведь все эти вещи, которые перевозят поезда, делали где-то, грузили, посылали друг другу самые разные и тоже незнакомые друг другу люди, и поэтому ему казалось иногда, что вместе с тракторами и комбайнами поезда перевозят от одних людей к другим их тайны. Чужие люди теперь уже думают друг о друге, как думает он о тех, кто живет в огромных далеких городах...

А поезда действительно приходили иной раз как будто из сказочного мира.

Однажды, например, в жаркий летний день Абили увидел в поезде настоящих слонов, настоящих жирафов: они ехали в клетках на открытых платформах, ехали настоящие львы, настоящие тигры. Абили сообразил, хотя и не сразу, что это поездом «Киев — Баку» едет в Баку из Киева цирк, и под стук колес проходящего мимо состава словно увидел, прижмурив глаза, этих жирафов, этих слонов, этих львов и тигров в бакинском цирке, увидел клоунов в больших башмаках, с огромными часами, с огромными наклеенными носами; услышал шум и смех нарядно одетых детей, всегда проезжающих мимо в поездах.

Абили никогда не бывал в цирке и вообще видел мало, но он много читал. Поэтому он знал, что слоны живут в Индии и живут в Африке,

что в цирке выступают клоуны, костюмы у них бывают очень большими и спадают, и поэтому все смеются — все это он знал, читал в попавших ему в руки газетах или в журналах, в разных книгах или вычитал из учебников.

Правда, зажурившись, Абили мог представить себе все, что хотел, но и то правда, что Абили сам понимал: настоящее должно быть куда интереснее, чем выдуманное...

Селение, где жил Абили, было в полукилометре от железной дороги. Почти все двенадцать месяцев здесь шли дожди и плыли с гор туманы, и сквозь эти туманы и дожди днем и ночью мимо селения, стоящего под самой горой, шли поезда.

По ночам шум поездов наполнял все дома, и Абили, лежавший в постели, посланной прямо на полу, словно видел сквозь стенку длинный проносющийся мимо поезд.

А утром, пригнав корову в стадо, а овец и баранов — в отару деревенского пастуха Ильдрыма, стреножив на зеленой лужайке за домом гнедого коня и почистив сарай, Абили шел в школу. Потом, вернувшись из школы и приготовив уроки, он спускался к железной дороге, шел рядом с рельсами до тех пор, пока селение у подножия горы совсем не пропадало из виду. Тогда он садился в зарослях клевера, под алычовым деревом, которое росло здесь на каждом шагу, и смотрел на мелькающие мимо вагоны и цистерны.

Абили так натренировался, что успевал мгновенно прочесть надпись на зеленом вагоне, разглядеть людей, их внешность и одежду...

В детстве, когда он босой, без шапки скакал вприпрыжку вдоль полотна, ни о чем не задумываясь, он запоминал, конечно, в первую очередь только сверстников. Абили видел этих ребят во всем красном, или во всем зеленом, или в розовом, и эти ребята казались ему такими далекими, как будто жили они в совершенно другом, в особенном мире.

Однажды один из поездов «Баку—Ростов» неожиданно остановился перед самым селением. Он простоял здесь ровно четыре часа. Говорили, впереди что-то произошло неладное с путями. За эти четыре часа в селе не осталось ни одного яйца, ни одной курицы, ни сыра, ни мяса — все хотели обязательно что-нибудь продать едущим в поезде, на деревьях даже яблок и груш не осталось, не осталось алычи и абрикосов.

Пока все деревенские были заняты торговлей, Абили стоял в отроне и смотрел на детей из поезда, играющих на ровной площадке у подножия горы. Иногда они пробегали мимо прямо перед его носом, и

Абили чувствовал запах вспотевших разгоряченных тел. Этот запах немного напоминал ему запах деревенской парикмахерской дяди Гафара, а также запах печенья, пряников или завернутых в бумажку конфет, которые в кон-то веки привозил из Баку отец; такой вот запах у ребят из больших городов.

Вдруг перед Абили остановилась девочка в розовых туфельках и в розовых чулочках, в розовом пальто и в розовой шапочке, с ярко-розовыми щеками. Она удивленно посмотрела на его ноги в калошах и шерстяных чулках, на бумажные шаровары, посмотрела на яблоки, оттопыривающие карманы пиджака, на старую отцовскую папаху и спросила:

— А как тебя зовут?

Никогда еще в жизни у Абили так не падало сердце в груди. Никогда еще в жизни Абили не был вот так растерян. Наконец он ответил еле слышно:

— Абили.

Розовая девочка переспросила изумленно:

— Как?

И Абили повторил:

— Абили.

Розовая девочка еще постояла секунду, изумленно глядя на него, потом умчалась так быстро, словно Абили хотел ее проглотить.

Но Абили не обиделся. Слово Абили понимал, что так будет. Розовая девочка — розовая, а Абили — в грязи и навозе. Да и откуда знать Розовой девочке, что настоящее имя Абили — Абульфат, это мать с отцом называют его ласково А-би-ли, потому что очень его любят. Нет, Абили не обиделся, он обиделся на другое.

Розовая девочка показывала издали на него Зеленым, Желтым, Красным девочкам и смеялась, и Зеленые, Желтые, Красные девочки тоже смотрели на Абили и смеялись. Было понятно, что девочки смеются над тем, как выглядит Абили, но он и на это не обиделся. Он давно понимал, что расстояние между ним и далекими большими городами, нет, вернее, между ним и живущими в этих городах Зелеными, Желтыми, Розовыми детьми не просто расстояние — это совсем другая даль. Потому что, когда он впервые открыл глаза, он увидел не город, а вот эту гору, по утрам он отводил корову в стадо, по вечерам забирал баранов из отары Илдрыма и приводил их домой, утром и вечером он глядел вслед поездам, а по ночам видел эти поезда во сне — со слонами, с тиграми и с детисками... Нет, Абили не обиделся из-за насмешек, он обиделся на другое.

Розовая девочка мелом нарисовала линии на земле, оглянулась по сторонам: она нетерпеливо искала что-то, но не нашла и достала из кармана розового пальто какой-то плоский предмет, посмотрела и положила себе под ноги. Затем начала скакать, как кузнечик, на одной ножке, толкая через линии эту плоскую штуку.

Потом мамы и папы из окон вагонов стали звать детей. Розовая девочка подняла эту плоскую вещь, которую толкала ногой, оглядела со всех сторон, вздохнула и, кинув ее на землю, помчалась к поезду.

А через некоторое время поезд ушел, и наступила обычная для этих мест тишина. Деревенские люди, продавшие то, что хотели продать, вернулись в село с непроданными остатками, и Абили, засунув руки в карманы бумажных шаровар, медленно подошел к тому месту, где только что перескакивала через нарисованные линии Розовая девочка. Эта плоская штука, которую Розовая девочка толкала ногой, лежала тут же, Абили—руки в карманах — все смотрел на эту плоскую вещь, потом ему стало грустно, и он наклонился, поднял ее с земли, затем осторожно сорвал с нее грязную, запачканную обертку.

В летние дни из районного центра приезжала в село автолавка. Она стояла несколько дней под большой ивой на берегу арыка, и шофер-продавец Имаш продавал сельчанам ситец и бумазею, полотенца и одежду, стаканы и тарелки, пиво и — потихоньку — водку, а также бублики, монпансье и шоколад. Шоколадки были обернуты в золотую бумагу, а сверху — еще одна бумажка, на ней нарисованы лиса, или ворона, или петух. Когда после долгих уговоров отец с матерью покупали Абили шоколадку, он аккуратно разворачивал эти бумажки, долго рассматривал их со всех сторон, а вечером, разгладив между страницами книги, прятал на груди или в папаше и с удовольствием, не спеша откусывал от плитки маленькие кусочки. Это был маленький праздник — праздник шоколада.

И вот теперь плитка шоколада, который продавали не в автолавке Имаша, а в больших городах, была в руках Абили, и это был тот самый плоский предмет, что подталкивала ногой, перескакивая через линии. Розовая девочка...

Вот тут-то и рассердился Абили на Розовую девочку, очень на нее обиделся...

Абили долго думал, что ему делать с этим шоколадом. Хотел отнести его сироте Сафтару, но потом стало неприятно—почему это Сафтар должен есть то, что кинула Розовая девочка себе под ноги?

Именно тогда Абили и сделал открытие: сирота Сафтар из их

селения ничуть не хуже, а может, и лучше живущих в больших городах разноцветных детей.

Потом он положил шоколадку на камень, чтобы птицы ее заметили, и пожелал, чтобы скорей наступило лето, Имаш поставит свою автолавку под ивой на берегу арыка, он купит у Имаша шоколад и съест его.

Через два-три года после этой шоколадной истории с Розовой девочкой, когда Абили, сдав все экзамены на пятерки, перешел в восьмой класс, произошло удивительное событие.

Стояли последние дни осени, дул сильный ветер, было очень сыро. В это осеннее утро Абили, проснувшись, посмотрел из окна своей комнаты на серый склон горы, на пожухлые кусты ежевики, на голые абрикосовые и алычовые деревья, и вдруг вся эта сырость и ветер, вся эта сырость и увядание сжали ему сердце. Ему стало так одиноко, как будто он долгие годы жил в чужих для него краях...

С таким ощущением в сердце он вышел во двор. В конюшню неохотно почистил коня, потом, вскочив на него, отправился поить его к арыку в верхней части селения. На берегу арыка, сидя на спине жеребца, он взглянул, как обычно, на горы, на свое маленькое село с дымящимися печными трубами, на черную гриву коня, который, вытянув шею, цедил воду. Потом Абили поднял голову и, часто моргая из-за моросящего дождя, посмотрел в серое небо, и ему захотелось, чтобы пришла весна. Он больше не хотел чувствовать одно лишь безлюдье этих гор и заброшенность крохотного своего селенья...

И тут Абили услышал, как вдалеке идет поезд. Он пришпорил пятками коня и посакал вниз.

Но, когда Абили добрался до железной дороги, перед ним мелькнули только два последних вагона. Абили сидел на неоседланном своем коне и долго смотрел вслед и вдруг понял, что именно этот поезд увез с собой его, Абили, сердце. Увез далеко, в большой мир, в далекий город... Абили понял это и, соскочив с коня, виновато посмотрел на свое село у подножия горы.

Маленькое село у подножия горы не знало об этом и как ни в чем не бывало дымило печными трубами.

Абили погладил ладонью круп своего коня.

— Такие вот дела, — сказал он ему тихо.

А потом пришло лето, и однажды Абили, лежа на траве у железнодорожного полотна, думал печально и совсем уже как взрослый о том, что годы тоже, как поезда, приходят и уходят — и уже становятся невидимыми.

Потом, как всегда, показался поезд, замелькали мимо вагоны, и девушка в одном из вагонов вытряхнула из салфетки мусор: пустую бутылку, бумагу, яичную скорлупу, огрызки помидоров... и книжку.

Книга перевернулась в воздухе и упала в пяти шагах от Абили. Когда поезд промчался, Абили встал и поднял книгу.

Обложки не было, а на первой, когда-то чистой, без названия странице, теперь измятой, со следами от стаканов и пятнами помидорного сока, было наискосок синими чернилами очень старательно написано:

Я не Пушкин, не Крылов,
Не могу писать стихов.
Но пишу тебе три слова:
Живи, учись и будь здорова!

Вечно твой Руфат

Абили поднял глаза и посмотрел вслед поезду и подумал, что этому Руфату никогда бы в голову не пришло, что книга, которую он подарил девушке, подписав стихами, однажды в таком вот виде попадет в руки парня по имени Абили...

Абили вспомнил девочку из поезда, которую видел несколько лет назад, и понял, что эту неизвестную ему книгу вместе с яичной скорлупой и мятыми помидорами выкинула из окна вагона все та же Розовая девочка.

Абили уже вырос и знал, что на свете много самых разных Розовых девочек... Как, впрочем, и самых разных Розовых мальчиков.

Пришло время, и Абили закончил школу и таким же летним днем сел в колхозный «ГАЗ-51», приехал в Баку. Он сдал приемные экзамены в университет и получил все пятерки, и потом стало известно, что его вместе с двумя другими ребятами решили послать учиться в Московский университет, и первый раз в своей жизни Абили сел наконец в поезд; это был поезд «Баку — Москва»; долго ли, коротко ли шел этот поезд по ущельям, через холмы, через равнины, но наконец он приблизился к маленькому селению у подножия горы...

Абили стоял у окна вагона и глядел, как мелькают среди деревьев черепичные крыши у подножия горы, и вдруг он сделал для себя открытие, что тот поезд, три года назад увез совсем не его сердце. А его сердце — вот оно! — оно остается здесь...

И он понял, что всю свою жизнь он будет помнить эти места, эти

дожди и туманы — они ему будут сниться. И все, что он сделает потом когда-нибудь в будущей жизни, имеет далекое начало — маленькое село у подножия горы. И может быть, он никогда от этого не освободится...

А вдруг — да нет, и как такое в голову может прийти?! — в другое время маленькое селение у подножия горы покажется ему далеким или совсем чужим и совсем для него ненужным? Потому что многое ведь на свете, как поезда, проходит. Проходит...

1973, декабрь

НАВЕС¹

Памяти академика Мамеда Арифа

1

Внезапно раздался треск дерева, и этот резкий сухой звук прорезал безмолвное, прокаленное зноем пространство так неожиданно, что мальчик, выскочивший из уборной на дальнем конце двора, чуть не вскрикнул и замер на месте, вытаращив глаза. Толстый ствол росшего посреди двора хар-тута сам по себе с оглушительным треском раскололся пополам, и некоторое время черные тутовые ягоды частым дождем сыпались на дворовый асфальт.

Раньше других высунулась во двор из окна второго этажа жена Агамухтара — Анаханум; она сидела у себя на кухне и скатывала кюфту для обеда, и, услышав треск, Анаханум взглянула в удивлении на лопнувший ствол черного тута, потом увидела растерявшегося Гюльагу и торопливо вытирая тряпкой облепленные жирным фаршем руки, окликнула его:

— Эй, Гюльага, беги скажи старику: тут раскололся!..

И Гюльага, уже сообразивший, что произошло, стрелой помчался в комнату деда, но Алиаббаса-киши не надо было звать, — Гюльага успел пробежать лишь половину пути, когда старик, спешно натягивая поверх белого исподнего брюки, сам появился из дверей и быстрыми шагами, как давно уже не ходил, направился к хар-туту.

— Скорее! Скорее! — говорил он. — Ни одна ягода не должна остаться на земле! Все собирайте. Если хоть одна останется, будет грех! Все собирайте! Все должно быть съедено! — возбужденно поторапливал старик. Потом нагнулся сам: поднял из-под дерева одну ягоду, положил в рот, и ему в самом деле показалось, что в жизни не пробовал он такого вкусного тута. — Это столетний тут, столетний! — Алиаббас-киши приложил руки к раздвоенному стволу дерева, посмотрел на раскол — обе поверхности трещины были так сухи, будто их долго выдерживали на солнцепеке; от старости это было, весь сок из него испарился, да-а, вот и перевалил за сотню этот хар-тут.

¹ Рассказ получил премию журнала «Смена» (Москва) «За лучший рассказ года» в 1977 году.

Подняв голову ко второму этажу и поймав взглядом лицо своей старшей невестки Анаханум, Алиаббас-киши распорядился:

— Плов приготовить сегодня.

Привыкшая ни в чем не перечить свекру, Анаханум и на этот раз, конечно, не заставила ни повторить себе дважды, ни возразить: мол, я кюфту-бозбаш готовлю. Старику плова захотелось? Что ж, к вечеру она и плов сготовит... Анаханум с каждым днем становилось все яснее, что состарится — это, по существу, снова ребенком стать.

Разумеется, Алиаббас-киши был сейчас в полном неведении насчет мыслей своей старшей невестки, и он сказал теперь уже Гюльаге:

— Видал! Ну, видал?! Ты все хотел знать, правду я говорю или нет?! Видал?!

И точно: здорово этот хар-гут треснул, ничего не скажешь, верно говорил старик, — оказывается, когда тут достигает ста лет, он раскалывается, и, значит, правильно он говорил, что тут у них во дворе сто лет.

— Ой, хорош тут! — восклицала жена Фатуллы Месме, причмокивая, словно никогда не ела ягод с этого дерева.

— Надо собрать и соседям дать, чтобы и они попробовали, — добавила известная своим добрым сердцем младшая невестка Фарида.

«Тебе-то что, любимица, ты и соседям пошлешь, и еще больше готова сделать, ведь не твоя же собственность», — отметила про себя Месме, но вслух ничего не сказала.

Четвертый внук Алиаббас-киши — Агасалим окликнул свою жену Зибейду:

— Тарелку носи! Кастрюлю! Сегодня день тут!

— Да, да! Ни одна тутовина не должна остаться на земле. Это грех! — все повторял Алиаббас-киши.

Все дети, внуки, правнуки, невестки Алиаббас-киши вышли во двор в этот жаркий июльский день, когда их тутовому дереву, знаменитому на всю округу, исполнилось сто лет, теперь они старательно собирали рассыпавшиеся по двору ягоды.

Ну, про грех-то Алиаббас-киши, скорее всего, придумал на ходу; никто никогда не говорил, что, когда тутовому дереву исполнится сто лет и ствол его треснет надвое, необходимо собрать все упавшие на землю ягоды до единой — такого правила не было, как не было и такого обычая — готовить плов, когда туту сравняется сто лет, но поскольку это тутовое дерево прожило на свете так долго и его столетия Алиаббас-киши так ждал, значит, сегодня был праздник и плоды этого столетнего черного туту были как бы благодатью —

оставлять их под ногами, конечно, грешно.

Алиаббас-киши стоял под деревом, и в это время ему на левую сторону груди упала ягодка туту; на белой сорочке старика тотчас появилось алое пятно, и увидевший это Агамухтар вздрогнул.

Старший сын Алиаббас-киши — Агамухтар четыре года сражался на фронте, с боями прошел от Моздока до Берлина, и все мальчишки квартала хорошо знали, что у дяди Агамухтара есть орден и тринадцать медалей. Агамухтару вдруг представилось, что отцу прямо в сердце попала пуля и алое пятно — кровь; потом Агамухтар отвел рукой назад свои густо покрытые сединой волосы и уже не впервой за последнее время подумал, что старик порядком сдал.

Вообще Агамухтар был не слишком вправе так думать, потому что и сам он не очень-то отстал от отца в этом отношении; даже однажды Баладжаханум, жена соседа — мясника Аганаджафа, шелкая семечки в окружении молодых квартальских девушек, сказала:

— Видите, девчата, не очень разберешь, то ли Али-аббас-киши — отец Агамухтара-киши, то ли Агамухтар-киши — отец Алиаббас-киши...

Понятное дело, когда эти слова дошли до Анаханум, то Баладжаханум получила причитающиеся ей, однако Агамухтар и в самом деле за последние годы сильно постарел.

Алиаббас-киши тоже бросил взгляд на старшего сына, увидел копну его иссиня-белых волос, и праздничное настроение старика упало. В памяти всплыло детство Агамухтара, припомнилось, как он мальчуганом взбирался на это дерево и лакомился тутовыми ягодами, весь перемазываясь до черноты. «Во что годы превращают человека! — досадливо пронеслось в голове Алиаббас-киши. — Тот маленький мальчик теперь уже почти старик, смотри только, на что стал похож! Воистину «Мы приходим и уходим, ты живи — мир!», как сказал поэт», — и Алиаббас-киши покачал головой, мягко улыбнувшись вдруг в свои белые усы, словно успокоился, подумав еще, правда, что вот он замечает старость Агамухтара, а свою собственную не видит...

Младший сын Алиаббас-киши Фатулла подозвал Гюльагу:

— Сбегай принеси еще ведро из дому.

Вскоре тарелки, кастрюли наполнились крупной, с большой палец, тутовой ягодой, и квартальские ребята, прослышав о том, что туту Алиаббас-киши стукнуло сто лет и он раскололся, набились во двор, каждый напробовавшись туту вдоль, и все пришли к единому мнению, что вкус у этого черного туту — особенный и никто в жизни не едал такого вкусного, и всем соседям было отправлено по тарелочке ягод, как будто в доме Алиаббас-киши было обручение и по этому случаю

раздавали сладости.

Жена мясника Аганаджафа — Баладжакханум, беря ягоды своими темно-коричневыми от хны, которой она недавно красила волосы, пальцами за черешки, отправляла их в рот и, смакуя, говорила:

— Везет же людям!.. Такой тут у них уродился — наслаждение, а не ягоды! — Потом подмигнула своей соседке Лумие, которой было за тридцать, хотя она все еще не вышла замуж. — Это витамин, э, агыз¹.. Возбуждающая штука...

Лумия краснела и смущалась, но больше для виду — против таких разговоров она ничего не имела, и Баладжакханум, прекрасно это зная, звонко хохотала.

В тот субботний день все жители квартала, от мала до велика, узнали о том, что столетний хар-тут во дворе Алиаббаса-киши расщепился. Узнал об этом и Молла Фарзали, жадность и скупость которого вошли в поговорку, и, стуча оземь палкой, он подошел к воротам Алиаббаса-киши и вызвал мастера на улицу. Заведя степенный разговор о том о сем, об Иране-Туране, Молла Фарзали добрался наконец до цели и поделился с Алиаббасом-киши советами доктора, который наставлял Моллу выжимать черный тут и пить сок, да где же взять на это денег, и вот если Алиаббас-киши будет так добр и даст небольшую кастрюльку ягод, то их Молле хватит с лихвой.

Ювелир Алашраф, сидевший в тени на противоположном тротуаре, играя в нарды с учителем русского языка Алхасбеком, взглянул на Моллу Фарзали и не удержался:

— Вечно так вот плачется, а поискать, так у него небось только свиньи и недостает... — Ювелир Алашраф сказал это и выкинул жирный шеш-гоша, вконец испортив настроение Алхасбеку.

Разумеется, Молла Фарзали получил свою кастрюльку тута и ушел восвояси.

Плов, который сварила в тот вечер Анаханум, удался, и столько она его наготовила, что хватило всему двору—всем детям, внукам и правнукам Алиаббаса-киши. (Свадьбы в квартале чаще всего бывали у Алиаббаса-киши.)

Ясное дело, не всегда этот двор был таким шумным и многолюдным. Когда-то отец Алиаббаса-киши — уста Хазратгулу — купил лишь маленький одноэтажный домик на две комнаты. Давным-давно это было, когда и черный тут во дворе был еще совсем молодым деревцем, а Алиаббас — маленьким ребенком; ствол тутового дерева

был тогда тоньше, чем его нынешние ветки.

Женившись на Тубуханум, Алиаббас-киши построил себе две новые комнаты — и это было еще до революции,— теперь в тех двух комнатах живет внук Алиаббаса-киши — Агасалим с семьей; подрастали дети — уменьшался двор, вместо четырех в доме стало шесть комнат, потом восемь, потом и одноэтажное здание стало двухэтажным. Женились сыновья, внуки, и всем нашлось в этом дворе, где теперь раскололся хар-тут, по кусочку места.

У Тубуханум с Алиаббасом-киши было двое сыновей, четверо дочерей. Странный этот мир: и Агамухтар, и Фатулла вернулись с войны целыми-невредимыми, хотя хлебнули много горя и испытали множество бедствий, но по-прежнему, слава аллаху, здоровы оба и оба уже дедушки; а вот девочки все ушли, все четыре: Салимназ еще до войны умерла от менингита, никого не осталось от Салимназ, одинокой пришла, одинокой ушла, и, что за напасть, в последнее время чаще всех из четырех дочерей вставала перед глазами Алиаббаса-киши Салимназ; Фатъма ушла во время войны, никто так и не узнал, отчего ушла; правда, поговаривали, что тоска по Мурсалу разорвала ей сердце,— Мурсал был мужем Фатъмы, он находился на фронте, и одно время от него не было никаких вестей; и теперь жив Мурсал — здоров, весел, живет с четвертой женой (Однажды Мурсал, встретив Алиаббаса-киши на улице, обнял его, заплакал: «После Фатъмы ни с одной женой жить не могу, горькая штука, дядя Алиаббас, любовь!» — «Ну, если это и любовь,— сказал ему Алиаббас-киши,— то для тебя она ведь не должна быть горькой...»). От Фатъмы один сын остался, в отца не пошел, материнское взяло верх; дом у него, семья, трое ребятишек, в Сумгаите живут. И вообще от дочерей в этом дворе нет никого, все — от Агамухтара и Фатуллы.

Сафура и Кямали тоже ушли, после войны уже. Такая вот жизнь. От Сафуры и Кямали у Алиаббаса семеро внучат, и у всех семерых сейчас дома, дети, семьи, но вот ведь в чем беда: как ни велико семейство Алиаббаса-киши, а все же он в общем-то одинок. Дело в том, что свою Тубуханум Алиаббас-киши похоронил ровно три года назад, и ночью этого субботнего дня, когда хар-туту исполнилось сто лет, лег он в постель, закрыл глаза, и Тубуханум пришла и встала перед ним как живая, не та, уже старая и седая, нет — перед ним была юная Тубуханум, какой она вошла когда-то в этот дом.

Припомнились Алиаббасу четыре строчки, которые прежде произносил он иногда в шутку и в которых теперь от шутки и следа не осталось:

¹ Агыз — обращение к девушке.

Лежу — недужится телу,
 Встаю — тоскует душа.
 Когда ты ушла, для меня
 Не стало ни ночи, ни дня.

Старик понял, что и в эту ночь он не сумеет заснуть, будет вспоминать то, что было совсем-совсем давно, и сам будет удивляться — как это получается, что помнятся ему события, когда ему было пять-шесть лет, а то, о чем говорилось два дня назад, забывается начисто.

В пять-шесть лет он был дитя гор; вспоминались ему леса, вспоминались отвесные скалы, купание с деревенскими ребятишками в пенящейся горной речке; вспоминалось, как он взбирался на неоседланного ишака и скакал, и еще вспоминался ему его «чапиш», козленок, которого он кормил из рук зеленой листвой и который увязывался за ним, куда бы Алиаббас ни шел... Он сказал «чапиш», а вспомнился Джабиш — друг у него был, сосед, — кажется, Джабиш его звали. Жив ли он, интересно? Жив, наверно, тамошние люди долго живут — это от воздуха, от воды.

А ты мало жил, а, Алиаббас-киши?

Все спали: мужчинам было постелено на раскладушках под тутом, и в лунном свете пространство под столетним деревом походило на общежитие; женщины и девушки спали на веранде первого этажа, на застекленном балконе второго этажа; а подростки, дети спали на крыше и видели теперь седьмой сон. Так будет до середины сентября, потом постепенно женщины переберутся в дом, мужчины — на веранду, на балкон, потом и они — в дом, каждый — к своей жене, и в самую последнюю очередь — дети; день за днем откладывая, оттягивая, все же каждый перейдет спать к себе домой.

Все это будет потом, когда кончится лето, наступит осень. А пока что Алиаббас-киши, прислушиваясь к громким храпам из-под тутового дерева, снова думал, что вот ему не спится, и не потому, что во дворе громко храпят — он был привычен к таким звукам в летнее время, и это храпение было для него почти как колыбельная, в том смысле, что при нем он не чувствовал себя таким одиноким, а потому что... да нет, просто так — сон сбегал, и все.

Алиаббас-киши и летом, и зимой спал в доме, даже под одеялом и в белье, порой и в самый летний зной его донимала по ночам дрожь.

Алиаббасу-киши пришло в голову, что и сам он вроде того столетнего тутового дерева во дворе; подумал это, и ему показалось, что и все жилы у него в теле — ветки тута, и сейчас осень, и ветки совсем сухие.

Его дети, внуки, невестки — все в его огромной семье были чисто городскими жителями, они и понятия не имели о селе, о том селе у подножия гор; о том селе, которое в последнее время все вспоминалось Алиаббасу-киши, и частенько ночами он явственно чувствовал аромат чабреца, что растет на тех горах, и клубы тумана, когда-то окутывавшего их, через расстояние долгих лет навевали тягостную тоску.

Одного спросили, откуда ты родом, он ответил: я еще не женат. Тубуханум была девчонкой из Ичери-Шехер¹; Алиаббас, в сущности, был теперь сам тоже городским человеком — и по разговору, и по мышлению. От села остались лишь померкшие воспоминания нескольких лет да это вот пробивающееся через пелену годов одиночество...

2

Отец Алиаббаса-киши, переехав из села в Баку, устроился на Сабунчинских нефтяных промыслах — сначала рабочим, потом буровым мастером; теперь промыслы в тех местах разрослись, простираются от Сабунчей до Раманов. Здесь-то и провел почти все детство и юность Алиаббас-киши, но в нефтяники его не тянуло он стал плотником. В те годы вышки строили деревянные, а у Алиаббаса с раннего детства было особое пристрастие к забиванию гвоздей, строганию, и среди сверстников ему в этом деле не было равных. Со временем Алиаббас и вовсе отошел от промыслов, — где бы ни жили люди, нужда в плотничьем ремесле у них всегда есть.

Теперь это были события далеких лет — страшно и представить, как давно все было, и старик размышлял об этом по ночам, ворочаясь в своей постели. Его давил ужас такой дали, иногда и не верилось, что это в самом деле он столько прожил и пережил.

Несколько лет назад Алиаббас-киши вышел наконец на пенсию и как-то вдруг сразу после этого ощутил, что силы совсем не стало в его руках, да и ноги почти отказывались служить. Для уста вдруг открылось и то, что его старая (но все еще такая острая!) пила, и топор, и рубанок отныне тоже ни для чего не нужны — попусту место занимают, недаром говорится: у того, кто идет рубить дрова, топор бывает острым; ну, а если ты уже не ходок по дрова, стало быть, и топор твой тебе уже не надобен, хоть бы и острый. Или вот еще говорят, топор тешет — рука тешится, а тут какая уж потеха, когда все из рук валится.

¹ Ичери-Шехер — Старая крепость, теперь в центре Баку.

Дня два назад Алиаббас вынес свою пилу, топор, молоток, рубанок, принялся мастерить скамеечку у входа во двор. Гвозди пошли вкривь и вкось, удар молотка пришелся по пальцу, а в довершение всего еще и топором попал по руке, и жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум, привычно страдавшая от безделья, сидя у окна своего дома, подняла такой невообразимый крик, что вмиг вокруг Алиаббаса-киши собралось добрых полквартала зевак.

— Вахсей!.. Старик отрубил топором руку!..

Агамухтар сказал:

— Послушай, отец, брось ты это дело! Ну на что тебе случась эта скамья?!

Алхасбек, сосед Алиаббаса-киши из дома напротив, через улицу, поддакнул:

— Слушай, киши, иди сиди, лежи, спи, отдыхай, да?!

А сын продавца на бензоколонке Мейрангулу, Алигулу, который писал стихи и который был первым человеком в истории квартала, чье имя появлялось в газетах, журналах, изумленно сказал:

— Какой трудолюбивый старик, а! Вот герой поэзии, герой искусства! Эта доблесть создана не поэтическим воображением, она — плод жизни!

Восторженных словоизлияний Алигулу многие в квартале толком не понимали, никто не обратил внимания на его слова и в этот раз.

Какое-то время Алиаббас в усталом недоумении смотрел на окровавленное лезвие топора, потом молча повернулся, прошел сквозь толпу обступивших его людей и скрылся во дворе. Было горько не оттого, что он осрамился на глазах у всех — то само собой разумелось, — куда больнее было это непредвиденное коварство рук... Уста и без того знал, что скамья эта — может быть, последняя его плотницкая работа (Алиаббас-киши в действительности так и думал, хотя, как позднее оказалось, думать так было преждевременно); что ж, теперь он убедился в этом окончательно: если после шести-семи десятков лет безукоризненной службы его молоток разбивает палец, а старый топор ранит руку, значит, все кончено, надо забыть строгание досок и забивание гвоздей.

Утром того дня, когда черному туту сравнялось сто лет, Алиаббас-киши, поднявшись по обыкновению рано утром, побродил без видимой надобности по двору, потом тщательно умылся тут же, под краном, позавтракал, выпил чаю, крепко заваренного старшей невесткой Ана-ханум, и, достав ключ, отпер дверь своей «инструменталки» — сарайчика, который сам и соорудил в незапамятные времена из досок,

оштукатурив и побелив стены и накрыв красной черепицей.

Алиаббас-киши не был человеком настолько чувствительным, чтобы со слезами рассматривать и разглядывать свои инструменты, с каждым из которых у него немало было связано в прошлом. Не хотел он, чтобы они стали теперь лишь памятью об этом прошлом — для него самого ли, для других...

Верно, очень верно говорил ювелир Алашраф, что настоящую цену золота знает только ювелир; вот почему эта пила, этот рубанок, молоток, пробойник должны принадлежать тому мастеру, который сможет пользоваться ими в работе, когда будет ставить оконные рамы, либо навешивать двери, строгать дерево, забивать гвозди, причем забивать их ровно, а не кровеня себе при этом руки, из-за чего жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум будет истошно кричать, надсаживая себе горло.

Утром того дня, когда хар-туту исполнилось сто лет, Алиаббас решил отобрать самые лучшие из инструментов и продать их. Дело здесь было совсем не в деньгах — жил Алиаббас-киши в достатке, да и запрашивать за все эти инструменты он не собирался много. Другое было для старика важно: чтобы достались его инструменты хорошему мастеру, они должны работать, не ржаветь от бездействия. Вообще-то говоря, Алиаббас мог бы раздарить инструменты и по соседям, однако подобная унижительная щедрость не соответствовала бы славным инструментам мастера; они всегда производили вещи: красивые двери и окна, кушетки и сундуки — короче, они заслужили более завидную участь, чем если бы теперь ими лишь время от времени забивали мешающую шляпку гвоздя.

Месме первой увидела, что старик снова возится в своем сарайчике, и решив, что свекор хочет доделать незаконченную скамейку у ворот, она окликнула Фатуллу, — сидя на балконе и потягивая чай, муж смотрел по телевизору дневную передачу (по вечерам на балконе у Фатуллы, если не показывали футбол, собиралась смотреть телевизор женская часть семейства, и мужчинам ничего иного не оставалось, как отправиться на улицу и играть в нарды).

Фатулла оторвался от телевизора и спустился во двор, за ним вышел из дома и Агамухтар, из окна выставились невестки Алиаббаса-киши...

Затея старика с продажей инструментов всех очень расстроила.

Агамухтар высказался первым:

— У нас есть друзья, есть враги... Что скажут они, когда ты, киши, начнешь молотками торговать? Подумай.

Агамухтар слишком хорошо знал характер отца и понимал, что говорит впустую: если старику что-то западало на ум, переубедить его не имело смысла.

— Ты что, в самом деле устроишь торговлю молотками-пилами? — вслед за братом нетерпеливо молвил и Фатулла.

— А мне их что, бесплатно подарили, этот молоток и пилу? — Расспросы сыновей раздосадовали Алиаббаса-киши, и он заорал на них: — Ну-ка идите занимайтесь своими делами, нечего учить меня уму-разуму!

«Не веселье ишу, а любимую», — сказано у поэта... Алиаббас-киши знал, что если ему встретится хороший уста, который сможет взглядом znатока оценить инструменты, человек, у которого в руках еще есть сила, а в ногах — твердость, то такому мастеру он отдаст без всяких денег и молоток, и пилу, и рубанок — все, что у него есть.

«Старик выжил из ума, теперь сраму не оберешься, на улицу не выйдешь — поднимут на смех», — перебирала в уме все предстоящие невзгоды Месме, но все же устыдилась своих непочтительных мыслей о свекре и отошла от окна.

А Алиаббас-киши, выбрав из инструментов хороший молоток, рубанок, хорошую пилу и пробойник, завернул все это в мешок, потом произнес фразу, в которой никто не уловил какой-либо связи с только что закончившимися разговорами:

— Посмотрите, посмотрите на этот черный тут, как он раскололся в сто лет... — показал рукой на тутовое дерево посреди двора и медленными шагами вышел на улицу.

Все во дворе, обернувшись в сторону хар-тута, посмотрели на дерево недоуменным взглядом, и опять никто ничего не понял.

Собственно говоря, и сам Алиаббас-киши не сумел бы, пожалуй, объяснить, зачем он заговорил о хар-туте и какое отношение имеет этот черный тут к продаже молотка и пилы.

3

На небольшой площадке за семь-восемь кварталов от дома, где жил Алиаббас-киши, был разбит новый сквер, и в тот день, когда уста пришел туда со своими инструментами и разложил их на скамейке, а сам сел возле, степенно перебирая в руках четки, ему впервые пришло на ум, что отдых в самом деле превосходная вещь. Он рассеянно смотрел то на проходивших мимо людей, то на детей, игравших поблизости, встревожился было, что вот ребяташки сбегутся к скамье,

станут глазеть на пилу, рубанок, но время шло, а никто из пробежавших мимо, увлеченных игрой детей, казалось, даже не обратил ни малейшего внимания на старика, не задержался и на секунду, чтобы взглянуть на его инструменты. И Алиаббас-киши подумал, что многое в жизни действительно переменялось, у каждого ребенка в руках то игрушечный автомат, то разноцветные ведерочки, лопатки, десятки других игрушек, — кого и впрямь интересуют его пила, молоток! Алиаббас-киши подумал об этом, и сердце у него как будто чуть кольнуло, старику стало вдруг жаль эту пилу и молоток, он словно ощутил сиротство этих дорогих для него вещей и беспомощность их владельца — свою беспомощность...

В первый день покупателя на рубанок и пилу Али-аббаса-киши так и не нашлось.

На другой день уста опять пришел в скверик и, расположившись на одной из скамеек, разложил возле себя инструменты. Как и накануне, он одиноко сидел, поглядывая вслед прохожим, следя за сновавшими взад-вперед ребятишками, и внезапно ему вновь вспомнился Джабиш, в сознании отчетливо возникли образы детства, ожил давний аромат горных лугов, пестрый ковер цветов на склонах, и душу охватила неизбывная тоска по туману тех гор, и в голове, будто жилка, неотступно билась мысль, что никогда больше не бывать ему там, никогда не шагать вдоль горной речки, не вдохнуть полной грудью прозрачного воздуха. Сколько быстрых лет промчалось и кануло с тех пор, с горечью подумал уста, и будто как раз эту мысль он искал: она, подобно прорвавшейся запруде, высвободила новый поток воспоминаний. Перед глазами старика промелькнула несчетная вереница людей, — даже имен многих из них он не знал и не помнил, где видел их, но они все являлись перед ним и исчезали, сменяя друг друга, — лица людей, которых встречал он на долгом своем веку. И многие ли из них живы на земле...

На второй день покупателя на молотки-пробойники Алиаббаса-киши также не отыскалось.

На третий день с утра нагнало облаков, подул северный ветер: Алиаббас-киши, то и дело поглядывая на небо, в нерешительности бродил по двору, и у детей появилась надежда, что старик, быть может, передумает со своей затеей (уста, пожалуй, и сам хотел в глубине души, чтобы начался дождь), но небо мало-помалу прояснилось, и Алиаббас-киши, сунув мешок под мышку, отправился в скверик, снова расположился на старом месте, разложив инструменты: на скамейке напротив сидела молодая женщина, в одной руке у нее была раскрытая

книжка, спокойными движениями другой она покачивала коляску, в которой спал малыш. Оторвав глаза от книги, молодая мать увидела Алиаббаса-киши и с улыбкой поздоровалась. Алиаббас-киши ответил на приветствие, он узнал эту женщину: вчера и позавчера она тоже была в сквере. Сейчас, когда она улыбнулась ему, старику почудилась в кивке ее головы как бы легкая укоризна: мол, что за нужда тебе, киши, столь настойчиво искать покупателя? Само собой, никому не было дела до того, что он, уста, продает купленные им когда-то на свои трудовые деньги пилу, рубанок, и все же от такой вот улыбки молодой женщины и от ее взгляда становилось как-то не по себе. Прошло некоторое время, и небо снова нахмурилось. Почти все, кто прогуливался в скверике — матери с детьми, старухи, — понемногу разошлись, когда парень лет двадцати пяти, приблизившись к Алиаббасу, посмотрел оценивающе на инструменты, потом, так и не поприветствовав старшего, спросил:

— Почем, киши, будет этот пробойник?

Услышав обращенный к нему вопрос, Алиаббас-киши, неожиданно для себя самого, первым делом взглянул на руки парня, и тот верно понял значение этого взгляда, не пришедшегося ему по душе:

— Что, киши, на руки мои смотришь? Хочешь узнать, действительно ли я уста? Не сомневайся! Уста я, и даже неплохой, как раз на твой вкус. Ну, а на ладонях у меня и правда, погляди, ни одной мозоли нет. В перчатках работаю — с электричеством. А пробойник этот твой никому теперь не нужен, в магазинах полно электрических дрелей — тридцать рублей пятьдесят копеек за штуку.

— Ступай, сынок, ступай. Пойди купи себе электрическую дрель. Тебя кто-нибудь заставляет покупать этот пробойник? Ступай себе, — сдержанно ответил Алиаббас-киши.

Не сказав ни слова, тот махнул рукой и ушел.

Возможно, парень этот и был мастером, и вполне возможно, как раз на его, Алиаббаса, вкус, кто знает! Но только сердце у него не было сердцем мастера.

За все три дня парень оказался единственным, кто проявил интерес к инструментам Алиаббаса-киши.

Наступил четвертый день. Алиаббас-киши, выйдя поутру во двор, открыл сарай, взял, как обычно, свой мешок, и Анаханум и Месме, торчавшие каждая у своего окна, высматривая, что происходит во дворе, многозначительно переглянулись. Понимающие взгляды обеих означали, что той и другой известен слух, распущенный гнусавой Фирузой — матерью водителя трамвая Агамехти и наипервейшей сплетницей квартала, — что-де сыновья и невестки уста Алиаббаса содержат его в черном теле, вот старик и вынужден распродавать свои молотки да щипцы. Правда, слышавшие все эти пересуды гнусавой

Фирузы соседки ее по кварталу тут же затыкали ей рот, но, как ни поверни, нехорошие это были разговоры.

Конечно, если бы Анаханум и Месме могли предугадать, что произойдет сегодня, они не переглядывались бы теперь так многозначительно и не горевали.

Едва выйдя со двора, Алиаббас-киши, вместо того чтобы привычным путем двинуться в направлении сквера, опорожнил содержимое мешка и, засучив рукава, принялся мастерить начатую когда-то, да так и не законченную скамью у ворот, и, что было самым удивительным, гвозди шли в древесину ровно, топор выполнял свою работу исправно, как и в течение многих лет, а молоток, и рубанок, и щипцы вновь послушно повиновались тонким, как сухие ветки, рукам Алиаббаса-киши. Час-полтора спустя скамья была готова, и Анаханум и Месме, которые снова оторвались от своих кастрюль и восседали у окон, на мгновение показалось, что свекор их — все тот же Алиаббас, каким он был лет двадцать — тридцать тому назад.

Несколько следующих дней Алиаббас-киши посвятив осмотру дома, тщательно обследовал окна и двери, привел в порядок застекленную веранду во дворе, потом навестил и соседей. Он обновил где надо перила, поправил оконные рамы, починил деревянную лестницу, ведущую со двора на второй этаж. За этими делами незаметно прошло лето, уступив свой черед осени; мужчины по ночам спали теперь уже на женской половине, молодежь перебралась с крыши в дом, ягоды столетнего хар-тута давным-давно были съедены, листья его стали покрываться обильной желтизной, а руки Алиаббаса-киши работали проворно, как и встарь, движения их были точны и ловки. Уж не шайтан ли попробовал было сбить мастера с пути истинного, мол, брось-ка ты свою работу, сядь, успокойся и жди своего срока — попробовал, да и отступился перед крепостью старика. Весь квартал, в том числе собственные сыновья и внуки Алиаббаса-киши, диву давались, до чего внезапно произошло это перерождение мастера, и даже Алигулу был так ошеломлен приключившимся, что принялся писать во славу старика поэму. И однажды по кварталу разнеслась весть, что отрывок из поэмы Алигулу помещен в газете. Алигулу и раньше грешил рифмачеством, многим приходилось слышать отрывистые, рубленные строки, сочиненные им; и в квартале было принято смотреть на эти занятия Алигулу сквозь пальцы, но когда люди увидели его имя напечатанным в газете, а в нескольких строчках поэмы — имя Алиаббаса-киши, всеобщее уважение к молодому поэту в его родном квартале явно возросло; и Анаханум и Месме аккуратно вырезали из газеты стихи Алигулу и поместили эти вырезки в альбомах среди фотографий детей и родственников. Алиаббас-киши тоже подержал в руках газету со стихами и неопределенно покачал головой.

Жена мясника Баладжанум, пошелкивая семечки, стояла возле

ворот своего дома и подмигивала окружавшим ее молодым девушкам:

— Что ни говорите, а старик здорово ожил! Того и гляди, завтра возьмет себе молодую жену... — Баладжаханум громко хохотала, потом продолжала с тем же задором: — И каждое утро, вставая с постели, жена будет выходить с синими кругами под глазами...

Алиабасу-киши уже режет — по ночам, когда сон не шел к нему, — вспоминались те четыре строчки:

Лежу — недужится телу.
Встаю — тоскует Душа.
Когда ты ушла, дядя меня
Не стало ни ночи, ни дня.

Конечно, он по-прежнему часто думал о Тубуханум, но теперь если у него поламывало руки-ноги, то не от старческой хвори, а оттого, что натрудил их за день.

Всеобщее мнение было таково, что Алиабас-киши, как и туговое дерево у них во дворе, перешагнет, пожалуй, за добрую сотню лет.

Баладжаханум приходила иногда к дому Алиабаса-киши и усаживалась у ворот на сделанную им скамью, как всегда, в окружении девушек со всех концов квартала, которые, урвав от дел хотя бы пять-десять минут, с удовольствием слушали ее веселую болтовню, и Баладжаханум, громко похохатывая, о чем-нибудь балагурия, изгрызала столько семечек, что вся мостовая вокруг сплошь покрывалась шелухой. А как-то раз, перехватив сердитый взгляд Алиабаса, Баладжаханум успокоила старика:

— Подмету, подмету, дядя Алиабас. Все подмету. Что поделать, если ты не догадываешься соорудить скамейку и перед нашим домом!..

И Баладжаханум засмеялась, щедро выставив золото, которое сверкало у нее во рту. Баладжаханум на все свои совершенно здоровые зубы надела золотые коронки, и гнусавая Фируза просто выходила из себя от зависти к этим золотым зубам.

Сама Баладжаханум не придавала значения своим последним словам и уж тем более не ожидала услышать в ответ от Алиабаса:

— А что ж, сколочу тебе скамью и перед твоим домом.

— Правда? Большое спасибо, дядя Алиабас! — Баладжаханум как будто никогда в жизни не радовалась так искренне. — Но только такую сделай, чтоб в целом квартале не было ни одной похожей! И маленький навес пусть будет, ладно, дядя Алиабас? Чтобы летом было куда от солнца спрятаться... — стрекотала без умолку Баладжаханум.

В летнее время с утра до самого вечера, пока мясник Аганаджаф не возвращался с работы, Баладжаханум только и делала, что, стоя у ворот, чесала язык то с одной, то с другой соседкой, и никому

неведомо было, кто и когда готовит еду на пятерых ее, мал мала меньше, ребятишек. Впрочем, гнусавая Фируза утверждала, будто мясник Аганаджаф — вот бедолага! — днем на колхозном рынке мясо продает, а вечерами, потаенно от соседей, стряпает обед на завтра; по этому поводу нам трудно что бы ни было сказать, но уж что правда, то правда — все в округе почитали за благо попасться пореже суровому мяснику на глаза, а вот сам Аганаджаф определенно побаивался Баладжаханум.

— Не велика мудрость, — сказал Алиабас-киши, — сделало и навес. — Суть была, конечно, не в том, что Баладжаханум было удобно просиживать юбки на этой скамье под навесом и болтать без умолку, а в том, что еще одно изделие выйдет из его рук. — Досок нужно немного...

— А-а, чего там доски! — воскликнула Баладжаханум. — Аганаджафу скажу — целый вагон досок и раздобудет тебе.

И дня не прошло, а Алиабас уже приступил к работе: сколотил перед домом Аганаджафа скамью, обтесал опоры для небольшого навеса, и работы ему оставалось еще на день — собрать навес. И тогда Баладжаханум назло таким, как гнусавая Фируза, усядется, вырядившись словно на свадьбу, на этой отменной, с навесом, скамье. Все в квартале решили, что новая скамья — вершина мастерства Алиабаса-киши.

В то октябрьское утро как будто снова вернулось лето, и эта ненароком наступившая теплынь никак не вязалась с рассыпавшимся по двору палыми листьями столетнего хар-тута. Чиркнув спичкой над газовой горелкой и поставив чайник на огонь, Анаханум привычными движениями колола на лотке сахар и посматривала в окно. Взгляд ее задержался на закрытом сарайчике свекра, потом на двери комнаты, где старик спал, и сердце Анаханум охватило смутное беспокойство. Обычно Алиабас-киши в этот час уже крутился во дворе.

Прошло какое-то время: проснулись мужчины, дети торопливо, чтоб не опоздать в школу, принялись за завтрак. Алиабас-киши все еще не выходил во двор.

Анаханум робко спросила о свекре у собравшегося на работу Агамухтара. Агамухтар посмотрел в глаза жены, ни слова не сказал и, спустившись во двор, вошел в комнату, где спал отец.

Алиабас-киши умер ночью, во сне.

В тот день весь квартал до глубокой темноты шел во двор Алиабаса-киши; люди тихо присаживались на стульях, табуретках, поставленных под столетним тутом, каждый выпивал стакан чаю и выражал соболезнование Агамухтару, Фатулле.

Многолюдный, обжитой двор как-то сразу осиротел, когда старика не стало. И столетнее дерево хар-тута в тот жаркий осенний день еще больше подчеркивало эту сиротливость.

А наутро жители квартала оказались свидетелями необычного зрелища: над скамьей перед домом Баладжаханум красовался ладно сбитый навес.

Весь квартал, и мясник Аганаджаф, и Баладжаханум с покрасневшими от слез глазами, и все родные Алиаббаса-киши были крайне изумлены этим происшествием.

Малые ребятишки и старые женщины — те поверили слуху, который распространился по всему кварталу: что молоток, пила, рубанок и щипцы Алиаббаса-киши сами собой пришли ночью и довели до конца дело, которое не успел завершить уста.

1976, сентябрь

СМОКОВНИЦА

1

«Так-так... Ну, смелее! Вот это да! Вах! Девчонка-то ведь еще школьница! Ах, чтоб тебе! Да и парень вроде еще ребенок! Ничего себе ребенок! Когда же целоваться-то научились? Ай, молодцы!»

Длинный гудок электрички прервал на некоторое время мысленные возгласы Зубейды, под гудок электрички Агагюль в первый раз в жизни поцеловал девушку, и под этот самый гудок Ниса, прислонив свой портфель к толстому стволу смоковницы, тоже в первый раз в жизни поцеловала парня.

И с этого началась вся история.

Гудок электрички оборвался, и Зубейда, спрятавшаяся от луны в тени гранатовых деревьев и наблюдавшая, как целуются Ниса с Агагюлем, снова прошептала про себя: «Ай, молодцы. Вах! Ну а дальше что будете делать?!» И как раз в этот момент Ниса, очнувшись после первого в своей жизни поцелуя, внезапно увидела в просвете между гранатовыми ветвями знакомое одутловатое лицо и большие черные глаза, смотрящие на них с любопытством, удивлением и отчасти даже завистью.

— Ой, Зубейда!

И столько ужаса было в этом выдохе Нисы, что, казалось, вздрогнули застывшие в духоте знойного летнего вечера инжировые и гранатовые деревья, айва, миндаль, маслины, а также виноградные лозы, карабкавшиеся на привокзальный каменный забор, и даже огромное тутовое дерево, у которого до того не шевелился ни один листик, и то вздрогнуло. Да, столько ужаса было в голосе девушки, что Зубейда, совсем не чувствующая себя виноватой, пришла в ярость и, отводя в сторону ветки гранатовых деревьев, вышла на свет.

— Да, Зубейда, ну и что, детка? Ведьму, что ли, твои глаза увидели? Или чего?! У Нисы руки-ноги похолодели, Агагюль, как ребенок, кривил губы от злости.

— Раз ты ведьмы так боишься, — продолжала Зубейда, — почему же ты, родная моя, тут в темноте прячешься, почему не идешь по прямой светлой дороге, где честные люди ходят? А?

И тут Агагюль, как ребенок, крививший губы от злости, сказал:

— Если ты честный человек, что ты тут делаешь?

Зубейда была оскорблена.

— Вах! Вот, значит, как! Значит, я, выходит, нечестная! Ну и ну! Не выйдет, милый, не выйдет! Они тут, а темноте... под деревом... ночью... — Зубейда задыхалась, подыскивая слова, — темной ночью...

Что вытворяют! То же мне, Лейла и Меджун! — Зубейде не понравилось такое сравнение, и она прибавила: — Э, да что там Меджун со всеми своими родственниками, а тем более Лейла! Они в привокзальный сад не придут!

У Нисы на лице слезы градом катились, в промежутках между всхлипываниями она еле проговорила:

— Никому не рассказывай. Никому не рассказывай, мы нехорошо поступили, Зубейда... тетя Зубейда...

Зубейда сначала будто не поняла, не услышала, а потом ушам своим не поверила, но девушка еще раз повторила: мы нехорошо поступили, тетя Зубейда, не говори никому в селе, опозоримся мы, тетя Зубейда, и Зубейда, напрягшаяся, как сильно натянутая струна тара, вдруг сразу как-то обмякла, вся злоба куда-то исчезла, женщина явно смягчилась, а может быть, даже и растрогалась.

Дело было в том, что односельчане — и дети и взрослые — все называли Зубейду просто Зубейдой...

— Объясни уж ты ему, дочка, — сказала тихо Зубейда, — а то начал тут: честный человек, нечестный человек, то да се...

Ниса больше ничего не сказала, наклонилась, взяла свой портфель и, все еще всхлипывая, прошла мимо Зубейды. Чуть помедлив, Агагюль двинулся вслед за девушкой, при этом он посмотрел на Зубейду взглядом, в котором смешались ненависть и брезгливость; под этим взглядом Зубейда стала прежней Зубейдой, мигом взлетела она на своего бешеного коня и прошипела в спину Агагюлю:

— Ах, чтоб ты провалился, недоносок!

Посмотришь еще у меня! Это вам даром не пройдет!

2

Почтальон Наджафгулу показывал то место в газете, где было написано, что после войны тридцать лет на Абшероне не было такой жары. Конечно, Зубейда хорошо знала, что не всему написанному можно верить, но она и в самом деле не помнила такой жары в этих местах, даже и до войны, чтоб было так жарко, что-то не могла припомнить. Все это было очень похоже на то злосчастное лето, когда Зубейда села па пароход и, переплыв Каспийское море, попала в конце концов в самое пекло — в Ашхабад; она ездила купить там по дешевке каракуль с тем, чтобы продать его в Баку (шапочник Алигусейн надоумил, чтоб он теперь в гробу перевернулся, сукин сын!), но не знала Зубейда, что следом за ней черный камень катится: когда продавала она привезенный из Баку нухинский крепдешин (а ведь не зря сказано: кто откусывает чересчур большой кусок, может подавиться), поймали ее на ашхабадском базаре, и, если бы не амнистия, она просидела бы в тюрьме не один год, два месяца и

четыренадцать дней, а полных шесть лет. В течение всего этого года, двух месяцев и четырнадцати дней не было такого дня, чтобы Зубейда не проклинала покойного отца шапочника Алигусейна и не зарекалась спекулировать по-крупному. С тех пор что за дела у Зубейды, так, всякая мелочь, но и эта мелочь — будь она проклята! Вот сегодня сколько на базаре проторчала — от самого полуденного зноя до самого вечера, — а продала всего три венника. Эти несчастные венники Абдулла-киши вязал от безделья, а Зубейда докупала их у него задешево и носила на базар продавать.

Да и вчера не лучше было, и сегодня, как вчера, и, задевая корзиной, полной веников, ветви гранатовых деревьев, Зубейда наконец выбралась из чащи и ступила на тропинку; нет, вы только посмотрите на него: едва из яйца вылупился, а туда же — целоваться, да еще отгрызается, на человека смотрит, будто гюрза перед ним, ужалила я тебя, что ли? Я в чем виновата? Отец твой с утра до вечера автобус водит отсюда в Баку, из Баку обратно, покупает, набирает, тащит все домой, мать твоя ест и жиреет, а ты, достойный сын достойных родителей, заморочил девочке голову, а потом еще на людей бросаешься... Я-то тут при чем? Проклятье! Только этого еще не хватало! Зубейда издали заметила идущего ей навстречу высокого человека и сразу узнала милиционера Сафара, так что проклятье было послано по его адресу, и вот, чтобы милиционер Сафар, увидев ее корзину, полную веников, снова не пристал к ней как смола, Зубейда свернула на тропинку, огибающую вокзал, и, пройдя мимо закрытого сейчас овощного ларька Месмеханум, направилась к своему дому. Дорога ее сильно удлинилась, и это никак не могло обрадовать Зубейду.

Зубейда решила, что милиционер Сафар ее не приметил, но у милиционера Сафара глаза были зоркие, он узнал ее и увидел, что она с корзиной, поэтому он совсем не удивился, когда женщина поспешила перейти на другую тропинку. «Шайтан ее заberi, горбатого могила исправит». Это суждение по поводу тунейки Зубейды в последнее время утвердилось в голове милиционера Сафара — после того, как он отчаялся, то есть исчерпал все доводы, призывая Зубейду к общественно-полезному труду.

Конечно, Зубейда не знала, что милиционер Сафар, помянув в эту минуту шайтана, счел ее горбатой, которую может исправить только могила (если бы знала, то снова под каким-нибудь предлогом поцапалась бы с женой милиционера Сафара Зубейдой — у этого мямли, сына мямли, жену тоже звали Зубейдой, — в общей бане затеяла бы такой скандал с жуткими воплями и рукоприкладством, что женщины только с большим трудом растащили бы их!), но она уже и без того была раздражена, и раздражение ее не уменьшилось после того, как она пришла к себе домой.

Вот такие дела.

Да и кто такой этот милиционер Сафар, чтобы из-за него делать такой крюк? Вот уж кто горемыка-то, сын горемыки, шесть взрослых дочерей, и все шесть дома, на шее у него сидят, как только жилы не лопаются, а когда шапку снимает, на плешивого соловья похож — ни одного волоска на голове, ну, да ладно, хватит, есть у него жена стерва, пусть она и думает о своем муже.

Правда, однажды, прямо вот этой весной, милиционер Сафар подошел к ней на базаре и сказал такие немногие слова, что уже три месяца, как они частенько ей вспоминаются, а все слова, которые милиционер Сафар говорил ей, по меньшей мере, уже тридцать лет, — совершенное ничто перед этими немногими словами.

В тот день Зубейда взяла у своей старой подруги шафран, сарыкек, джире, зенджефил¹, разные порошки для окраски яиц и подалась на базар; заметив милиционера Сафара, собрала свои вещички, пошла на другой конец базара, но через малое время милиционер Сафар опять оказался тут как тут, подошел совсем близко к Зубейде, и Зубейда подумала, что милиционер Сафар снова, как и несколько лет назад, отведет ее в отделение милиции, но милиционер Сафар не повел ее в отделение, он посмотрел на ярко-красные, выкрашенные хной волосы женщины, на морщины вокруг черных, в молодости удивительно красивых, а теперь уменьшившихся, слезящихся глаз, посмотрел на ее отечное лицо, рыхлый подбородок — вот что делает с людьми время (как ни странно, под этим взглядом и Зубейда тоже вдруг вспомнила свою молодость).

— Ты сожгла себя под тем казаном, в котором ничего не варится...

Милиционер Сафар произнес эти слова и ушел.

В тот день Зубейда сильно расстроилась. Пожалуй, больше, чем в этот.

Пропади они все пропадом — и этот несчастный, и его жена, и Абдулла-киши со своими венниками, и эта противная Агабаджи, и ее сын Агагюль, недоносок из недоносков!

В общем, пришла она к себе домой.

Этот дом, этот двор, в который люди заходили только в том случае, если нужно что-нибудь купить, продать, найти, поменять, находился на краю села рядом с невысокой скальной грядой, и от этих скал до моря было по песку всего метров сто пятьдесят — двести; и летом и зимой слушала Зубейда голос моря; когда она уезжала в Баку или еще куда-нибудь, конечно, она скучала и по этому песку, и по этим скалам, и по этим лозам во дворе, и по своим абрикосовым, айвовым, гранатовым, инжировым деревьям, скучала, но прежде всего, больше всего она скучала по голосу моря.

¹ Восточные пряности.

У Зубейды был каменный дом из двух комнат, кухня, рядом с кухней баня, и рядом с баней уборная, стены которой до середины были облицованы изнутри чешским кафелем, во дворе у нее был маленький бассейн, а деревья вокруг стояли такие красивые да крепкие, и в таком порядке и чистоте содержала Зубейда свой двор, что по этому поводу ни у кого в селе, даже у первой ее врагини Агабаджи, слов хулы не находилось.

Зубейда поставила корзину с венниками под алычу у ворот и, помянув недобрым словом Абдуллу-киши, подошла к колодцу. Вытащила ведро воды, зачерпнула ковшом прохладной влаги и одним духом выпила ее. После этого горестно несколько раз брызнула себе в лицо и как будто немного успокоилась. Оставшуюся в ведре воду, размахнувшись, выплеснула на цементный пол веранды, чтобы стало прохладнее.

Здесь, возле колодца, комаров было побольше, и Зубейда, поставив ведро на землю и шлепая себя мокрой ладонью по мясистым щекам и груди, поднялась на открытую с трех сторон веранду. Там, на краю, под марлевым пологом разложен был на паласе тоненький летний матрас, опустившись на него, Зубейда откинулась головой на мягкую длинную подушку, развела в стороны руки и, глубоко вздохнув, произнесла: — Оххай!..

Голос моря скорее угадывался, чем слышался. Ветерка не ощущалось вовсе, и на море, наверно, не было ни одной рябинки. Мокрый цементный пол веранды подсох очень быстро, не дав никакой прохлады. Чуть слышно потрескивали от этого ночного зноя шишки на елях, посаженных вдоль забора, будто костер во дворе горел; еловые шишки время от времени падали на землю.

Высунув из-под полога руку, Зубейда оторвала ягоду от виноградной кисти из полного таза, положила ее в рот, потом закинула руки за голову. Виноградина была теплая и как будто без всякого вкуса и аромата. Вообще фрукты и овощи постепенно становились для Зубейды все безвкуснее, и Зубейда, искренне сожалела об этом, подумала: где теперь лук Гоусанов, дыня Джората, морковь из Зирия, черный виноград — шаны Пачанских садов в Нардаране, белый шаны из Новханов, янтарный инжир Бильгя?

Зубейда ощутила во рту вкус этих фруктов, овощей и вдруг сама себе показалась очень старой и даже древней.

Зубейда и сама в точности не знала, сколько ей лет, в свое время она столько темнила со своим возрастом, так путала, что в конце концов и сама запуталась, во всяком случае, ей было между пятьюдесятью шестью и пятьюдесятью восьмью — не больше, но и не меньше.

Странно было и то, что Зубейда впервые так серьезно задумалась о своем возрасте, то есть не о том, чтобы для чего-то уменьшить его, не

о том, чтобы зачем-то его увеличить, а просто так, без всяких видимых причин.

В общем, как сказал ашуг или кто другой, во всяком случае, кто-то сказал: день прошел, год прошел, молодым снова не стану я. Подумав и об этом, Зубейда вспомнила одну из историй Моллы Насреддина; говорят, однажды молла хотел сесть на коня, сунул ногу в стремя, раз поднатужился, два поднатужился, но так и не смог сесть на коня, говорит, эх, где ты, молодость, потом огляделся по сторонам, видит, никого нет, и говорит: «Впрочем, ты и в молодости никуда не годился!»

Ну, да ладно уж, пусть молла идет своей дорогой, ашуг тоже, а мы, слава аллаху, лежим себе на месте и лежим, дайте отдохнуть, но... вот ведь какое дело, когда Зубейда, к примеру, попала в ту ашхабадскую жару, Агагюля на этом свете даже не предполагалось, а вот теперь он так на человека смотрит, будто гюрзу увидел или удава какого.

3

Агагюль, сорвав с головы кепку-аэродром, швырнул ее на старый диван и, какие есть слова, такие слова и произнес в душе насчет всех скверных людей на земле и главным образом насчет Зубейды. Агабаджи, сидевшая на паласе и переключившая с большого подноса в баллоны виноград для уксуса, подивилась мрачному виду своего сына, который только что вошел и даже не поздоровался. В последние дни Агагюль летал, как на крыльях, что говорила ему, все делал, делал быстро и старательно и Агабаджи объясняла такую сговорчивость только тем, что скоро сын пойдет в армию, причем далеко уедет, в Прибалтику, и вот поэтому перед двухлетней разлукой он и стал такой шелковый.

Конечно, Агабаджи не знала, что дело не только в этом, есть еще вторая причина, и вторая причина состояла в том, что каменное сердце Нисы, по которой он уже два года сходил с ума, наконец смягчилось, и она ответила на последнее письмо Агагюля, и после этого ответа, вот уже девять дней каждый вечер они встречались тайком. Ниса говорила, как она вообще понимает жизнь, людей, измену и верность, рассказывала Агагюлю индийские кинофильмы, которые смотрела по несколько раз, Агагюль же, выкуривая папиросу за папиросой, вышагивал рядом с Нисой и часто даже не находил слов для ответа.

— Это что такое, слушай, почему шапку бросаешь? — удивилась Агабаджи.

— Так, — сказал Агагюль, не глядя на мать.

Агабаджи удивилась, потому что в другое время Агагюль в этой кепке чуть ли не спать ложился, эта кепка полтора года назад принадлежала Балададашу, старшему брату Агагюля, и, когда полтора

года назад Балададаш уходил в армию, он дал эту кепку Агагюлю, чтобы тот носил ее как мужчина, не ронял, как говорится, честь этой папахи, то есть кепки; Балададаш теперь был уже сержантом в Амурской области и через пять-шесть месяцев должен был вернуться, и Агагюль как мужчина носил кепку Балададаша, и вот надо же, он сорвал кепку с головы и швырнул ее на старый диван.

Агабаджи поднялась с места, вытерла руки полотенцем и принесла миску, из которой Агагюль в полдень выпил бульон, а мясо и картошку оставил на вечер. Агагюль уселся за стол, накрытый белой скатертью с мелкими цветочками по краям, Агабаджи принесла еще лук, зелень, маринованные баклажаны, хлеб, и Агагюль, так и не взглянув ни на мать, ни на зелень, машинально начал есть.

Агагюль окончил среднюю школу в прошлом году и теперь учился в Баку на шоферских курсах, через две недели он заканчивал эти курсы и примерно через месяц отправлялся в армию, причем даже знал, куда: военком Мурсалов сказал, мол, пошлю тебя в Прибалтику, красивые места, дороги там отличные, потрудишься по специальности и Родине послужишь.

Ниса училась в вечерней школе, в десятом классе, днем работала в детском саду, рядом с матерью, учила детей петь; а раньше Ниса окончила семилетнюю музыкальную школу, на аккордеоне играла,

И вот уже девять дней Агагюль по вечерам тайком подкидал Нису позади школы, и они, выбирая безлюдные места, через вокзальный сквер шли домой, то есть Ниса шла к себе домой и Агагюль приходил к себе домой. Агагюль хотел обручиться с Нисой, потом уйти в армию, но Ниса говорила — нет, давай потом, когда вернешься. Ниса хотела узнать, на самом ли деле она любит Агагюля, хотела испытать себя за эти два года.

В этот вечер Агагюль впервые в жизни поцеловал Нису и Ниса тоже впервые в жизни позволила, чтобы парень ее поцеловал, и Агагюлю очень трудно было поверить, что он не во сне, а наяву поцелует Нису, и, конечно же, ему никак не могло прийти в голову, что в такой момент их увидит такая ведьма, как Зубейда.

Ниса по дороге домой плакала, убивалась: опозорюсь я на все село, Зубейда опозорит меня. А потом сказала, Агагюль, да буду я твоей жертвой, Агагюль, не допускай, чтобы опозорила меня Зубейда, пойдя умоли ее, Агагюль, что она хочет, дай, Агагюль, не допускай, чтобы она опозорила меня, Агагюль, я не смогу смотреть в глаза брату, никому не смогу на глаза показаться. И Агагюль сказал, не бойся, не допущу, но сказать это легко, а заткнуть глотку такой ведьме, как Зубейда, — дело нелегкое, к тому, что видела, добавит еще сорок раз по столько, с самого утра начнет, опозорит Нису на весь мир, а Ниса — это такой человек, бог знает что сделает Ниса, все, что угодно, может сделать Ниса, даже руки на себя наложить, только бы не осрамиться

перед братом Атабалой, только бы мать не была опозорена.

Зубейда — не из тех, кого проймешь просьбами да мольбами, она и это утром разукрасит, разнесет на весь свет, что, мол, Агагюль приходил, плакал, на коленях стоял.

У Зубейды должна быть, как говорил милиционер Сафар, материальная заинтересованность.

4

Зубейда, выбравшись из-под полога, вошла в комнату и, сняв промокшее от пота платье, надела свежее, торопливо надела, чтобы не увидеть случайно в большом овальном зеркале на дверце шкафа свое расплывшееся тело, потом, спустившись во двор, включила мотор насоса и, взяв в руки шланг, начала поливать деревья, кусты роз (она очень любила розы, не срезала и не продавала их в Баку на базаре, лепестки так и увядали на кусте, осыпались), грядки с помидорами, баклажанами, перцем, луком, укропом. Вообще за садом и огородом Зубейда ухаживала сама, все здесь было выращено ее руками, и только ели вдоль забора посадил бедный Абдул, чтоб они сад от ветра защищали.

Правда, в селе говорили, что Зубейда сто раз замуж выходила, но на самом деле Зубейда всего один, то есть официально всего один раз выходила замуж — за Абдула. Абдул до войны был фэзтонщиком, или, попросту, извозчиком, возле общественной бани стоял у него домишко, там он и жил одиноко (потом, уже после войны, Зубейда, слегка подкрасив, обновив избушку, продала ее втридорога), так вот, Абдул, как подкова в кузнеца, влюбился в Зубейду. Сельчане называли его Гейсабдул¹, а самое главное — Абдул не обижался на такое прозвище, наоборот, гордился им, и это в то время, когда Зубейда не обращала на него никакого внимания (где фэзтонщик Гейсабдул и где красавица Зубейда с большими насурмленными черными глазами, стройная, как кипарис, с осиной талией, с журавлиной походкой!), издевалась над Абдулом, так что порой он плакал, как подросток, из-за несчастной любви. В конце концов Абдул дошел до того, что решил продать своего единственного коня, только бы купить Зубейде подарки — коверкотовое демисезонное пальто, габардиновую юбку, шерстяной жакет и тому подобные вещи, но конь был очень старый, и продать его никак не удавалось. Покупатели столько раз осматривали коня Гейсабдула, да еще каждый зубы у него норовил проверить, что несчастное животное, кто бы к нему ни подходил, тотчас безмолвно ощеривалось — смотрите, мол, только руками не трогайте.

И конь этот несчастный, да и сам Абдул несчастный, теперь и того коня кости сгнили, и его хозяина: уже больше двадцати лет прошло со

¹ Гейс — так порой звали Меджнуна.

смерти Абдула.

Зубейда вышла за Абдула в последний год войны, то есть оформила их брак, привела Абдула к себе в дом — и все. Абдул сразу стал собственностью Зубейды, как бы ее имуществом. Она часто оставалась у своих подруг в Баку, иногда ездила погулять в Тифлис, Кисловодск, Сочи, порой месяцами пропадала неизвестно где, и Гейсабдул исправно исполнял обязанности сторожа, он очень хорошо понимал, для чего Зубейда вышла за него замуж, потому что был человеком, знающим свое место, этот Гейсабдул; может быть, поэтому односельчане не трогали его и не издевались над ним.

Конечно, поначалу удивлялись, мол, смотрите, кого он взял, эта бесстыжая в городе себе развлекается, ей море по колено, а этот бедолага что здесь делает; среди молодых были и такие, что в душе ругали его — блаженный, сын блаженного, — но понемногу всем снова становилось его жаль, и через некоторое время, как будто Гейсабдул не имел никакого отношения к Зубейде, при нем стали ругать его жену; кому что в голову приходило, тот говорил при Гейсабдуле, не стеснялся, а Гейсабдул молчал; самым же странным было, что он опять же не обижался, как будто и не хотел возражать: ну, что тут поделаешь, разве он виноват, если все земные блага не стоят одного ноготка Зубейды. И женщины хорошо это понимали и в душе даже завидовали, потому что немногих из них так сильно и верно любили; может быть, поэтому, когда Зубейды не было в селе, некоторые как будто случайно заходили во двор Гейсабдула, спрашивали его, как дела, иной раз даже поесть ему приносили, посылали тендырного хлеба, и, по слухам, две женщины будто бы просто-напросто влюбились в Гейсабдула.

Да, Абдул явно был из тех, кто знал свое место. Однажды он зачем-то позвонил из села в Баку, к тогдашней близкой подруге Зубейды Розе, спросил про Зубейду, где она, больше месяца никаких вестей не подает, а Роза спросила его: «А кто это спрашивает?» Гейсабдул ответил: «Абдул». Роза громко рассмеялась и сказала: «Еще неизвестно, кто кого абдул!»

А потом не было такой вечеринки, чтобы Роза не рассказывала об этом телефонном разговоре и чтобы вся компания не хохотала; когда у Зубейды бывало хорошее настроение, она и сама смеялась, а когда плохое, кричала на Розу, мол, это ты от зависти сгораешь, что у меня муж есть, а тебя никто не берет, ты, как лисица виноград, достать не можешь! Роза краснела, бледнела, я же шучу, говорила.

Конечно, Роза говорила правду. Роза шутила, но, кроме таких вот шуток, ничего веселого вроде и не было, а проходили дни, месяцы, годы, и по временам только такие вот шутки приходили человеку на помощь.

Сам Абдул очень скучный был мужчина и пошутил, кажется,

только один раз: как-то году в пятидесятом из Баку в село один невропатолог приехал, снял комнату в доме продавца Фатуллы, немного ниже бани, и все лето отдыхал тут, Мартиросян была его фамилия, и все говорили, что очень хороший врач этот Мартиросян; Алекпера, что четыре года назад помешался, за две недели превратил в нормального человека; да, так вот. Зубейде тоже захотелось показаться этому врачу, часто раздражалась она в последнее время (как будто понемногу стала понимать, что конец ее — вот такой: продавать на базаре венки, сплетенные стариком соседом от безделья), и Зубейда, выходя из дому, сказала Абдулу: «Из Баку нервный доктор приехал сюда, иду к нему». Абдул спросил: зачем тебе? Зубейда сказала: как это зачем? Пойду, говорит, пусть мои нервы поправит. Гейсабдул раскрыл рот. «Ба-а-а!.. — сказал он. — Зубейда, как же это ты без нервов?! Если ты на меня кричать не будешь, я с тобой разведусь».

Бедняга Абдул, царство ему небесное... Зубейда, разнервничавшись, порой, как говорится, у него на голове орехи колола.

— Зубейда!

Зубейда положила на землю шланг, прислушалась, из-за ворот еще раз позвали:

— Зубейда!

— Кто это? — спросила Зубейда — Кто там?

— Это я!

— Кто? Аллаха племянник, что ли? О господи... Имя назови!..

— Это я, Агагюль!

Вообще-то Зубейда сразу узнала, чей это голос, она как будто чувствовала, что скоро его услышит, потому что, когда поливала она из шланга деревья, цветы, грядки, до нее время от времени откуда-то очень издалека словно бы доносились чьи-то всхлипывания и в глубине души она знала, что это всхлипывает Ниса там, на своей постели, в доме, который находился на другом краю мира.

— Что такое, что случилось, детка, ты ведь плевать на меня хотел, а теперь без меня уснуть не можешь? Любимым ребенком для тебя стала?

Агагюль ничего не ответил Зубейде, не произнес ни звука, постоял, помолчал за воротами — ну и слова вылетают изо рта этой женщины, а утром еще не то будет...

Зубейда выключила мотор, отнесла, не торопясь, шланг к колодцу, потом, отвернув кран на стенке бассейна, сполоснула руки, плеснула воды на лицо, потом вытерлась чистым белым полотенцем, висевшим на сучке миндального дерева около бассейна, после всего этого наконец подошла к воротам, открыла калитку и, прекрасно понимая, чего Агагюль хочет и зачем пришел, спросила:

— Чего тебе? Что ты хочешь мне сказать в такое позднее время?

— Дело есть к тебе, — проговорил Агагюль и вошел во двор.

— Какое дело, детка, кто ты и кто я? Какие у нас могут быть дела?

В свете двухсотпятидесятисвечевой лампы, горящей над воротами и собравшей вокруг множество комаров, Агагюль, снова посмотрев на одутловатое лицо этой женщины, ярко-красные от хны волосы, все еще насурмленные черные брови, решил, чтобы поскорей покончить с этим делом, сразу перейти к главному.

— Слушай меня, Зубейда, никому не говори, что видела нас недавно, не ради меня, э, клянусь Балададашем, мне что, я все равно в армию ухожу, ради Нисы говорю, не рассказывая никому... И потом... и потом мы не просто так с Нисой, потому что поженимся мы, когда я вернусь, женюсь я на ней.

— Да-а-а... — протянула Зубейда. — Дай вам аллах счастья, женишься на дочери Фирузы, хорошо сделаешь, поздравляю, поженитесь, сыновей-детей народите, а мне-то что, детка? А? Чего ты передо мной отчитываешься, я тебе милиционер Сафар, что ли? Мало ли кто что делает у вокзала под смоковницей, да еще ночью! Зачем мне совать нос в чужие дела? Сплетни разносит — это не по мне, детка, все знают, что я сплетничать не люблю... — Зубейда глядела Агагюлю прямо в глаза, ни разу не моргнула. — Иди спать, детка, уже поздно, утром встать не сможешь.

Агагюль знал, что все слова Зубейды надо было понимать как раз наоборот...

То, что парень разглядывал ее лицо в свете двухсотпятидесяти-свечевой лампы, выводило Зубейду из себя, и она, протянув руку, пошире распахнула калитку, чтобы закрыть ее за Агагюлем.

— Иди спать, пора, ступай...

В этот момент в этой знойной Абшеронской ночи внезапно где-то совсем рядом раскудахталась курица и совершенно заглушила тонкий комариный писк и скорее угадываемый, чем слышимый голос моря. Зубейда очень удивилась, заглянула за спину Агагюля и увидела, что парень держит в руке торбу.

— Это что такое, слушай?

— Курица, — сказал Агагюль, — для тебя принес, — и протянул торбу Зубейде. — Бери.

— А-а-а, — сказала Зубейда, губы ее раздвинулись в улыбке, и золотые коронки засверкали в свете двухсотпятидесятисвечевой лампы; у этой женщины была особая страсть к подаркам и к любому дармовому товару; Зубейда на глазах изменилась, стала другим человеком. — А-а-а... Агагюль, зачем так утруждаешь себя?

— На... возьми... — повторил Агагюль, мечтавший поскорее избавиться от торбы.

— Мне неудобно...

Зубейда взяла у Агагюля торбу и, запустив руку внутрь, вытащила большую пеструю курицу, которая на свету опять закудахтала.

захлопала крыльями, пытаясь вырваться из рук женщины, и Зубейда поспешила засунуть курицу в торбу.

— Смотри, как расшумелась, — сказала Зубейда и прибавила: — А мать знает?

Агагюль промолчал, Зубейда же не стала настаивать на ответе.

— Ну входи, чего ты здесь стоишь? — любезно пригласила она.

— Нет, большое спасибо, — сказал Агагюль, решивший было, что все уже устроилось, однако все же ощутивший в душе какое-то смутное беспокойство. — Пошел я...

А-а-а... Куда же ты? Подожди, у меня к тебе дело... — И вот, в одной руке торба, в другой — рука Агагюля, Зубейда поволокла свою жертву во двор, и Агагюль с испуганно заколотившимся сердцем — кто знает, что пришло в голову Зубейде, — потащился за ней; от этой женщины всего можно было ожидать, недаром он слышал несколько историй про старух, которым нравятся молодые парни; но, как только они дошли до колодца, Зубейда сказала: — Агагюль, дорогой, устала я очень, ты мне как брат, возьми этот шланг, полей немного грядки за домом, вся зелень сторает, ведь жалко, Агагюль, возьми шланг, дорогой, возьми, я не смогла полить хорошенько... Эх, силы уходят, что от меня осталось...

Зубейда прежде о себе таких слов не говорила.

Агагюль в эту знойную летнюю ночь ждал уже чего угодно, но только не этого; скрипнув зубами, он посмотрел на женщину, на толстый черный шланг, свернувшийся на земле, как змея, потом сдвинул на затылок свою кепку-азродром — «Балададаш, а что бы ты сделал на моем месте?» — поднял с земли шланг, пошел за дом, и Зубейда тотчас запустила насос.

— Хорошенько полей, Агагюль, дорогой, да не топчи грядки!.. — услышал он ее голос.

Зубейда вытащила веревочку из корзины под лестницей, пошла на тот конец двора, вынула из торбы пеструю курицу и привязала ее за лапу к тонкому стволу молодой айвы; пеструшка на этот раз не так уж громко кудахтала и не так уж сильно вырывалась, как будто поняла, в чьи руки попала, и уже примирилась со своей участью.

Конечно, Агагюль был вне себя от злости; поливая из шланга все эти помидоры, баклажаны, кресс-салат, перец, огурцы, он и не пытался утешить себя тем, что эти прекрасные овощи, эта роскошная зелень не виноваты в том, что растут в огороде у такой ведьмы, как Зубейда.

— Агагюль, милый, напор воды слишком сильный, укроп, кресс-салат помягче поливай!..

Огород Зубейды был не так уж невелик, то есть он был для одной семьи, состоящей из четырех-пяти человек, и, конечно, свои излишки Зубейда выносила в Баку на колхозный рынок.

Да, хорошие были овощи у Зубейды, к тому же она отлично

мариновать умела, даже соседки это признавали, ее маринованные баклажаны, зеленый перец, чеснок, огурцы, помидоры были выше всяких похвал; иногда она посылала своим старым, военных лет подругам по три-четыре банки в подарок, посылала — это значит, сама отвозила Розе, Алуш, Ширинханум, Назлыханум, Дурдане...

Все эти подруги теперь состарились, одна жила с сыном, другая с племянницей, Ануш была замужем за управдомом, и теперь они очень дружно жили, приятно было посмотреть; Роза переехала в Ереван, и Зубейда давно уже не имела о ней никаких вестей.

Поговаривали, что у Ширинханум, по возрасту она была еще старше Зубейды, есть любовник-кеманчист по имени Ибрагим — грех на душу говорившим...

Конечно, такая молодость копеечки не стоит, прошли те времена, когда бей, чтобы разбилось, играй, чтобы танцевалось, прошли и больше никогда не вернутся; хорошо это, что не вернется, или плохо, Зубейда сказать не могла, потому что все же хорошего тогда было, наверное, больше, вполне насладились они жизнью в этом мире, в таком коротком — пятидневном мире, — плясали, смеялись, когда люди куска черного хлеба не могли найти; по Кисловодску и Сочи гуляли, попадались такие мужчины, что умирали по ним, что готовы были по единому их слову ради одного ласкового взгляда навсегда бросить жену, детей и даже потерять работу, но Зубейда с подругами любила свободу, и они действительно были вольны и свободны; но было и очень много плохого в тех днях, и это плохое не забывалось, а с годами, как мутная волна, захлестывало душу, порой до бешенства доводило... Да, всякое бывало...

— Агагюль!.. Не кончил там, дорогой? Не слишком там заливай! — Зубейда выключила мотор и зашлепала руками по щекам, по груди, отгоняя комаров. — Ну иди, там уже хватит, — сказала она. — Иди полей немного, милый, деревья у забора... Шланг тяжелый, я туда не донесу...

Агагюль ни слова не сказал, то есть вслух ни слова не сказал, а что он сказал в душе, он сам знал; волоча шланг, побрел к елям, посаженным вдоль забора Гейсабдулом, и Зубейда, снова нажав на кнопку, пустила насос...

Абдул хороший был человек, правда, дурак, но человек хороший, ты смотри, как вытянулись эти ели, смотри, сколько же лет, аллах, как умер Абдул... Когда он умер, этого сына Агабаджи, наверно, еще на свете не было, а теперь он у вокзала под смоквицей с девушкой светелется и к тому же плут из плутов, курицу тайком от матери притащил, где он только жить научился?..

А медленно бредущий вдоль забора со шлангом в руке Агагюль все прикидывал: интересно, после этого елок что надо будет еще делать? Вода пенилась у основания ствола в свете двухсотпяти-

десятисвечевой лампы, а Агаюль в это время думал, вдруг Ниса больше не захочет с ним видиться, из-за этой ведьмы сердце его перед самой армией разорвется, и в этот момент Зубейда, посмотрев па парня в голубых брюках, тонкой желтой рубашке и огромной кепке, подумала: что нашла хорошенькая дочка Фирузы в долговязом, редкоусом, худом сыне Агабаджи? Парень должен быть красивым, парень должен быть сильным, парень должен быть мужчиной, и у мужчины должно быть полно денег, и мужчина, наконец, должен поцеловать девушку так, чтобы никто не видел; но вдруг Зубейде подумалось, что никто ничего не увидит, а Зубейда все равно увидит.

Недаром соседи говорили, что вещь, о которой Зубейда не знает, гниет, черви в ней заводятся. Наверно, это так, раз люди говорят, да... Но почему это так? Почему? Зубейда прямо-таки изводилась вопросом: ну, почему это так?

От старости все, валлах, биллах¹, от старости. В молодости она и внимания не обращала на такие разговоры, ведь в молодости кто была она и кто эти деревенские клушки?

Где теперь та красота, мраморная грудь, осиная талия, журавлиная походка?

Тогда, в те времена, где была Зубейда и где остальные? Она плов не ела, боялась свои губы-бутоны маслом запачкать.

Потихоньку ушли те дни...

Все разбрелись кто куда, одна Ширинханум молодцом, в тридцать лет в институт поступила, выучилась, врачом стала.

— Конец?

— Что ты говоришь?

— Говорю, хватит или я еще нужен? — Агаюль стоял со шлангом в руке, он кончил поливать последнюю ель.

— Вот спасибо, Агаюль, милый! — сказала Зубейда и выключила мотор. Агаюль, сворачивая на ходу шланг, принес его к колодцу и бросил на землю, вытер ладонями пот с лица и спросил:

— Я пойду?..

— А? — Зубейда огляделась по сторонам, увидела черневшие в лунном свете гроздь винограда, свисавшие с высокого решетчатого навеса, и сказала: — Только вот эти гроздья остались, Агаюль, дорогой, проклятые, так высоко висят, боюсь, упаду, когда буду срывать... — И в этот момент произошло самое странное на этом свете — Зубейде вдруг стало жалко этого стоявшего перед ней молодого парня, пот заливал ему лицо. — Ладно, не нужно, — сказала она, — иди, иди домой, детка, спасибо, ступай...

Агаюль посмотрел на виноградные гроздья, висящие так высоко, перевел взгляд на Зубейду, и тут произошло нечто еще более странное

— ему тоже стало жалко эту стоявшую перед ним старуху, шлепками убивающую комаров на своей морщинистой груди, такую одинокую в этом дворе, в этом мире; Агаюль очень удивился, очень удивился, что ему стало жалко такую злодейку, шайтана в юбке.

— Ничего, дай мне лестницу, соберу...

— А-а-а... — пришел черед удивляться и Зубейде, но она почему-то не захотела принять его жертву. — Ладно, сынок, уходи, не бойся, никому ничего не скажу, спасибо, не нужно.

Да, в эту знойную ночь Зубейда, стоявшая в лунном свете, внезапно превратилась в какое-то чуть ли не ласковое существо; Агаюлю вдруг показалось, что на свете существуют две Зубейды; одна — ведьма, а другая — вот эта несчастная старая женщина...

Разумеется, Зубейда понятия не имела о том, что она раздвоилась в голове у Агаюля; парень все еще не уходил, стоял, озираясь, и Зубейда объяснила это тем, что он ей не верит.

— Да не скажу, — сказала она, — никому не скажу. Ступай. Не бойся.

Так как Агаюль пошел за лестницей, он не расслышал хорошенько этих слов, притащил лестницу, прислонил ее к навесу, а Зубейда принесла с веранды большой эмалированный поднос и встала рядом с лестницей.

Агаюль, срывая гроздь за гроздью и укладывая их на поднятом Зубейдой подносе, проговорил:

— Воробьи поклевали виноград.

— Ну что ж?.. — ответила Зубейда. — И воробей угоден аллаху...

Агаюль не ждал от этой женщины такой щедрости по отношению к воробьям и, протирая глаза от пыли и песка, сыпавшихся с гроздьев, посмотрел вниз, на Зубейду; Зубейда держала поднос над головой, ее поза напоминала позу диковинных статуй, стоящих посреди пустых бассейнов в старых заброшенных бакинских садах; Агаюль подумал, что у них в селе больше нет таких старух, как Зубейда.

— Ты когда в армию идешь, Агаюль?

— В сентябре ухожу.

— Балададаш письма пишет?

— Да... Приветов шлет...

— Да будь здоров тот, кто приветов шлет... Дай, аллах, ему здоровья, чтобы он здоровым вернулся. Далеко он, бедняжка. Тебе хорошо бы в Сальянские казармы¹ попасть, мог бы в село наезжать.

— В Прибалтику еду.

— Да ну-у-у? Хорошо, если в сторону Риги попадешь. Когда будешь по Юрмале гулять, меня вспомнишь, Агаюль... Как Абшерон, место это — Юрмала, берег моря, курорт, одним словом...

¹ Ей-богу, клянусь.

¹ Старое название одной из окраин Баку.

Зубейда была там два года назад зимой; Ширинханум устроила ей путевку. Зубейде хотелось в санаторий поехать, но она нигде не работала, и Ширинханум, как ни старалась, ничего не могла придумать, санаторий не получилась, Ширинханум достала «горящую» путевку в пансионат в Юрмалу, вернее, в Майори, и односельчане просто обалдели, это надо, куда едет Зубейда, были и сгорающие от зависти (жена бригадира Гасангулу рыжая Анаханум, качая головой, ворчала: «С утра до ночи работаю, а отдохнуть едет Зубейда, чтоб ей пусто было!»), но тамошняя зима и в самом деле оказалась очень мягкой, и пансионат был очень чистый, аккуратный, и, самое главное, никто ее не знал, все на «вы» ее называли; была там такая Изабелла Львовна, очень приветливая женщина, за семьдесят ей было, но от пудры-краски не отказывалась, после пансионата она три-четыре раза написала Зубейде, а Зубейда не ответила, один только раз испекла шакембуру с пахлавой¹ и послала ей в Одессу, но Изабелла Львовна до сих пор на каждый праздник присылает ей открытки.

Когда Зубейда жила в пансионате, она сказала Изабелле Львовне, мол, путевку мне сын сюда купил, послал меня сюда, чтобы я от криков внучат немного отдохнула...

— Слезай, Агагюль, детка, слезай. Я уже устала, сил не хватает, не могу больше держать поднос...

Зубейда поставила на землю поднос, полный винограда, и Агагюль, спустившись с лестницы, отнес ее на место, снял свою кепку-аэродром, несколько раз потряхнул ею, снова надел на голову и произнес:

— Я пошел.

Зубейда отнесла поднос на веранду, поставила его на цементный пол, с трудом разогнулась, уперев руки в бока, и сказала:

— Большое спасибо, милый. Дай аллах тебе здоровья. — И вдруг ей захотелось вернуть Агагюлю курицу, привязанную к молодой айве в дальнем конце двора, однако эта мысль как внезапно пришла ей в голову, так же внезапно и ушла. — На свадьбе твоей рассчитаемся, — закончила Зубейда. — Иллах амин².

Агагюль еще раз хотел предупредить Зубейду, чтобы она молчала о том, что видела, но только провел рукой по лицу, вышел и закрыл за собой калитку.

Тихонько, еле уловимо задул с моря ветерок, в беседке этот ветерок сильнее чувствовался, здесь и комаров было поменьше. Зубейда села на палас, расстеленный на полу. Есть ей не хотелось, жара отбила аппетит, и телевизор не хотела смотреть, охоты не было, так просто сидела в беседке и смотрела на море.

Луна проложила на море дорожку, и сейчас эта дорожка только

чуть-чуть, легонечко колыхалась, в последнее время море плохо действовало на Зубейду, если бывало таким спокойным; собственно говоря, и в молодости так было, только в молодости она не обращала на это внимания, но вот теперь Зубейда смотрела на спокойную лунную дорожку и словно хотела что-то вспомнить, что-то хорошее вспомнить хотела — и не могла.

Поверхность моря была совершенно гладкой, в лунном свете не вспыхало ни клочка пены, и было бы даже слишком, чересчур тихо, если бы комары не попискивали да не шелестели бы еле слышно листья туты перед беседкой.

И тут в ночи опять раскудахталась курица.

Зубейда поднялась с места, сняла крышку со стоявшего на круглом столе медного казана, оторвала два кусочка от чурека, который она в казане хранила, заворачивая в тряпочку, чтобы не засыхал, и, подойдя к айве, раскрошила хлеб перед курицей.

Пеструшка, уперев клюв в землю, созерцала некоторое время крошки хлеба, потом отвернулась, и Зубейда сказала:

— О-о-о... Обнаглела! Но это хорошо... Товар должен быть похож на хозяина...

Надо же, у этой проклятой Агабаджи, похожей на черного жука Агабаджи вырос такой большой сын, да ведь он еще и самый младший, Агагюль, старше его еще три дочери, все три замужем, старший сын в армии, да, дела...

И у Зубейды могли быть теперь замужние дочери, и у Зубейды мог быть такой сын, и этот парень мог бы целоваться под смоковницей у вокзала с хорошенькой девушкой, посылать из армии письма домой, а Зубейда могла бы пойти засватать, привести в дом невестку... Ладно, хватит из-за этого долговязого Агагюля изводить себя, иди спать, а то Агабаджи небось уже четвертый сон теперь видит, ей и невдомек, что на свете еще живет Зубейда... Это уж точно, что невдомек...

5

Агагюль, улегшись под навесом, натянул одеяло на голову — от комаров, закрыл глаза, но уснуть не мог, как ни старался. А что, если напрасно он отнес Зубейде эту курицу, привези в дом невестку, обглодав косточки, запьет куриное мясо водой, а потом разнесет по всему свету то, что видела, и то, что не видела; вот и сейчас, наверное, если не спит, то сидит у колодца, повторяет: «У Искендера есть рога, есть рога!» Нет, не сможет она удержаться...

Получилось так, что та, вторая Зубейда, несчастная старая женщина, исчезла куда-то и Агагюль о ней не вспоминал, сейчас перед его глазами возникла ведьма, самая настоящая ведьма, шайтан в юбке. Зубейда, только волосы у нее были изломачены, губы отвисли, а

¹ Восточные сладости (пирожное с миндальной или ореховой начинкой).

² Дай бог.

ногти на руках были почему-то похожи на длинные и острые коготки пеструшки.

Жалко курицу.

Дело, конечно, было не только в курице; вон их сколько в курятнике, они не обеднели бы, потеряв пеструшку, Агагюль сказал бы матери, что отнес курицу в подарок какому-нибудь своему товарищу из Баку, дело было даже не в том, что Агагюль сказал бы неправду, а говорить неправду нехорошо, недостойно мужчины; раз неправда была сказана, чтобы сохранить в чистоте имя такой девушки, как Ниса, эта неправда — не позор; дело было в том, что Зубейда вполне могла и курицу съесть, и Нису на все село ославить.

6

Зубейда, надев длинную ночную рубашку, лежала под пологом на веранде и думала, что если и есть плохое у этого прекрасного Абшерона, то это комары, причем их особенно много здесь, в этом селе, а немного выше, в Бильгя, или в той стороне, в Нардаране, ни одного нет.

Что ж, теперь перебраться в Бильгя или Нардаран?

Спи, верно отцы говорили: нет красавицы без изъяна...

А как быть, если у красавицы сто изъянов?

Да никак! Спи, и дело с концом.

Только почему она все никак не может вспомнить... Что это было? Какой-то очень слабый свет через долгие годы пробивался, что-то очень чистое, вроде поцелуя Нисы под смоковницей, что это было? В этом не было ничего от хлопанья пробок шампанского, не было запаха духов, пудры, не было вкусных блюд, полупьяных тостов, влюбленных взглядов, это было что-то очень простое, похожее на школьную тетрадь в клеточку...

Внутри полога залетел комар и напомнил Зубейде тонкий, противный голос Агабаджи; Зубейда внезапно подумала, что будет, если Агабаджи, поднявшись утром, не найдет в своем курятнике пеструшку, и что будет, если к ней кто-нибудь придет рано утром и увидит пеструшку в ее дворе...

Надо сейчас же встать, зарезать эту курицу, ощипать, выпотрошить и хорошенько осмолить, а то и без того что-то гнетет в эту ночь, что-то все вспоминается, не уснуть никак, будто все грехи этого мира придется искупить этой ночью.

Зубейда поднялась, выбралась из-под полога, вошла в комнату, взяла со стола острый нож, прямо в белой ночной рубашке спустилась во двор и с некоторой тревогой, возникшей в сердце, двинулась к айвовому деревцу, к пеструшке.

Пеструшка, услышав шорох, открыла глаза, посмотрела на свою

новую хозяйку, переступила с ноги на ногу, и снова глаза ее затянулись мутной пленкой.

Зубейда с нарастающей в сердце тревогой смотрела то на нож в руке, на его острое лезвие, сверкающее в лунном свете, то на пеструшку, не ведающую о том, что с ней будет через минуту; так что же, неужели она сама зарежет эту курицу? Надо вытянуть ее голову в сторону Мекки, прижать одной ногой крылья, другой — лапы, вытащить язычок из клюва и отрезать голову... Разве женское это дело, о аллах?! Может разве женщина зарезать курицу? Люди спят, все село сладко спит теперь, до чего же ты дошла, до чего же ты еще можешь дойти?!

Конечно, Зубейда в жизни не резала кур, мужское это дело, изначала так повелось. Но что же ей теперь делать, к какому сукину сыну пойти и сказать: мол, сын Агабаджи Агагюль мне курицу принес, что удивляешься, не может он мне курицу подарить, что ли? Не надо было ей парня отпускать, заставить бы его зарезать курицу, сразу же и ощипать, и осмолить. Ну, ты и штука... Это Зубейда сама про себя сказала: «Ну, ты и штука...»

А село будто вымерло, светились только электрические лампочки на уличных столбах, да время от времени проблескивал в море одинокий маяк; тусклым был этот блеск в знойной безлунной ночи и напоминал прежде всего об одиночестве, о человеческом одиночестве, и Зубейде стало ясно, как дважды два, что она не сможет зарезать эту пеструшку, и, самое главное, вдруг жутко расстроилась Зубейда, так расстроилась, что дальше некуда.

Просто спятить можно, ну, что она тут делает в одной ночной рубашке, с ножом в руке?

Все это так не вязалось с тем, что ей хотелось вспомнить, она с самого утра тосковала по какому-то воспоминанию — далекому воспоминанию; и как раз в этот момент, удивительно, из глубины ее памяти, как из клубящегося тумана, постепенно выплыло давно забытое лицо, а еще через мгновение на лице проступила улыбка, причем какая-то суровая улыбка.

Зубейда, наклонившись, подняла упавший на землю нож, спотыкаясь, пошла к дому, включила свет на веранде, села на стул и положила руки на колени.

Где же те письма? Куда она их спрятала?

Два письма было, всего два, и оба она получила на главпочтамте в Баку, они были «до востребования», два треугольника, два солдатских треугольника... И Зубейда вспомнила, что одно из этих двух писем, то, что побольше, еще во время войны взяла у нее Дурдана, оставила на память. «Такие хорошие, умные письма разве без ответа оставляют, слушай? — сказала она. — Не променяю, — сказала она, — сотню твоих золотозубых Адилей на одно это письмо». Да, так сказала Дурдана

и с тех самых пор стала понемногу уметь.

Зубейда поднялась, вошла в комнату, зажгла свет и остановилась перед высоким, широким и тяжелым, орехового дерева шкафом (этот шкаф еще во время войны золотозубый Адил купил для Зубейды), подставила табуретку, взобралась на нее и в самом верхнем ящике шкафа нашарила ключ; спустившись, открыла этим ключом самый нижний ящик и, с трудом вытащив его, достала сверток, где были старые фотографии киноартистов и старая открытка — в красной рамке формы сердца улыбаются парень с девушкой; внизу соловей держит в клювике венки, а на венке написано:

Люблю вас, и вы поверьте,
Когда мне сердце говорит.
Любить буду до самой смерти,
Пока огонь в груди горит, —

после этих слов опять же нарисовано маленькое сердце, пронзенное стрелой.

От свертка, завернутого в сильно пожелтевшую старую газету, пахло гнилью, и Зубейде почему-то вспомнились опавшие листья, пролежавшие всю зиму под снегом, долежавшие там до весны, и внезапно Зубейда почувствовала какой-то очень неприятный привкус во рту, будто она съела гнилую винную ягоду.

Этот запах, этот привкус вконец расстроил женщину, и вообще крайне редко плакавшая Зубейда прослезилась.

Треугольное солдатское письмо было здесь, в этом свертке.

Зубейда развернула пожелтевшее за долгие годы, торпливо написанное химическим карандашом короткое письмо и впиалась в него глазами.

«Зубейда!

Это письмо пишу тебе с передовой. Сейчас тихо, не стреляют. По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо, но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины, я понял, что должен тебе написать. Находясь под обстрелом, человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохо, остается в памяти только хорошее. Меня ты можешь любить или не любить, но люби себя. Я не учитель, а ты не ученица шестого класса. Я не буду тебя воспитывать, но не ходи в тот дом. Поступай на работу. Не жалея себя. Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины. Прощай.

Если останусь жив, напишу тебе еще. Напиши и ты что-нибудь.

Закир. 12 января 1942 года».

Закир написал еще одно письмо, оба вместе получила Зубейда; ответа не написала и больше не заходила на главпочтамт. Может, еще много писем написал Закир, и эти письма, не дождавшись Зубейды, в

конце концов вернулись к Закиру. В сорок третьем похоронка на него пришла... Или в сорок четвертом?... Нет, в сорок третьем... Интересно, писал еще письма Закир? Да зачем ему было писать, зачем писать, если в тот весенний день обманула она Закира, мол, приду на свидание, и не пришла; если Закир, день и ночь работая на обувной фабрике, еле зарабатывал сестрам на хлеб, а Зубейда купалась в грязных деньгах золотозубого Адилы, пила вино с этим золотозубым, спала с этим золотозубым и с другими, такими же, как золотозубый...

«Зубейда! («И тебе еще нравилось мое имя!..»)

Это письмо пишу тебе с передовой. («Если бы я тебя полюбила, ты бы все равно туда убежал!..») Сейчас тихо, не стреляют. («Чтоб провалился тот, кто затеял эту стрельбу, как он и провалился, чтоб его зарыли в сырую землю, как и зарыли...») По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо («И не надо было писать... Зачем ты писал такой стерве, как я? Разве я тебе пара? Ты самый добрый, самый красивый, самый смелый, а я... я... в грязи... по горло... Не надо было писать...»), но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины («Лучше бы эти мины посыпались на мою голову...»), я понял, что должен тебе написать. («Ничего ты мне не должен, это я тебе должна...») Находясь под обстрелом («Джан-джан...»), человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохого («Потому что сам ты был чистым, был добрым...»), остается в памяти только хорошее. Ты можешь меня любить или не любить («Чтоб ты, которая тебя не любила, света не взвидела, как и не взвидела...»), но люби себя («За что мне любить себя, за что?»). Я не учитель («Ты больше, чем учитель...»), и ты не ученица шестого класса. («Ученица шестого класса была профессором передо мной...»). Я не буду тебя воспитывать («Да разве можно было меня воспитать? Это у человека должно быть в крови...»), но не ходи в тот дом («При чем тут дом, виноват сам человек, дом что может сделать?...»). Поступай на работу («Так я и поработала, а!..»). Не жалея себя («Жалела, Закир. дорогой, да буду я твоей жертвой... две копейки была мне цена, пепел на мою голову... Погубила я себя... Пропала я совсем, Закир...»). Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины («Втоптала в грязь папаху покойного, Закир, втоптала в самую жижу. Убил бы отец меня, если бы он был жив, своими руками убил бы...»)...

Зубейда больше не могла читать, пожелтевшие буквы расплылись у нее перед глазами, а потом застлало ей глаза чем-то черным, будто черную стену перед нею поставили; Зубейда задыхалась; а за этой черной стеной тоже было душно, жарко, пекло солнце, и семнадцатилетняя девушка, красивая девушка вместе с односельчанами шла следом за носилками, на которых лежало тело ее отца; вдали море с небом сливалось, а солнечные волны набегали на берег, и эта семнадцатилетняя девушка вместо того, чтобы рыдать от горя, радовалась

вместе с солнечными волнами, потому что не понимала, что такое смерть, и не хотела понимать...

Зубейда запаковала сверток, положила его в нижний ящик, закрыла на ключ, потом, вытирая слезы подолом ночной рубашки, вышла из дома, направилась к беседке и там, усевшись на перилах, стала смотреть на море.

Давным-давно, в незапамятные времена, она играла на берегу этого моря, играла и после смерти матери от воспаления легких, а потом Зубейде пришлось латать сети своего отца-рыбака, а потом и отец умер, и море накатывало свои солнечные волны на берег.

В сущности говоря, Зубейда была виновата и перед этим морем, потому что в те далекие годы, когда осталась она вдвоём с бабушкой, именно море было свидетелем начала ее взрослой жизни, ее взрослой жадной жизни; тогда это море было ей по колено, а ее несчастная бабушка была уже такая старая, что перед смертью (когда она умерла, шел второй год войны) считала Зубейду своим сыном-рыбаком, то есть путала Зубейду с отцом Зубейды...

Ветерок опять перестал, иссяк. Листья не шелестели, комары нахлынули в беседку и самым теперешним своим существованием доказывали, что прошлое никогда не вернется. Голос моря доносился уже как будто из другого мира, но зато явно из этого мира были вылетевшие на ночную охоту летучие мыши; обалдев от духоты, они металась по двору, задевали за ветви деревьев, натыкались на опорные столбы беседки. Время от времени знойный стрекот цикады тоже предупреждал об удушающей завтрашней жаре.

А дом, о котором писал Закир, чтобы она туда не ходила, старый дом Ширинханум находился рядом с двойными воротами Крепости. И этот дом, и соседний дом Закира давно уже снесли, на их месте площадь.

Много молодых дней Зубейды, что теперь мучили ее, прошли в том доме Ширинханум.

Ширинханум в их компании была, пожалуй, самой умной и рассудительной; она жила с матерью, мать ее продавала пирожки на Сабунчинском вокзале и от самого утра до поздней ночи не бывала дома, а когда и бывала, не путалась в ногах у подруг. «Хорошо делаете, развлекаетесь, так и надо, жизнь коротка», — слышали они от нее, а когда дочка дарила ей что-нибудь, кофту или платок, женщине крыльев только недоставало, чтобы взлететь от счастья, и она совершенно искренне считала счастливой и себя, и дочку. «Вот и хорошо, что не работаете, пусть лают, гавкают сколько хотят, все это от зависти, я вон с раннего утра на вокзале пирожки продаю, а что у меня есть, что я зарабатываю, нет, я не хочу для вас такой жизни».

Ширинханум превосходно умела шить, красивые платья у нее получались, и некоторые известные в то время в Баку жены больших начальников захаживали в двухэтажный дом у двойных ворот Кре-

пости, заказывали Ширинханум платья. Зубейда и ее подруги многие часы просиживали в этом доме, шутили, ссорились, мучились, здесь отмечались и самые торжественные события в их жизни, бесконечные дни рождения — каждая в год по четыре-пять раз рождалась. И все эти дни рождения праздновались в этом доме. Много вина там было выпито, много рюмок разбито. Однажды, когда погас свет, золотозубый Адил зажег сторублевку и осветил стол, и тогда все хором говорили: вот счастливая Зубейда, то есть Зубейда счастливая потому, что у нее такой любовник.

Так-то, Закир... Вот такие дела...

Молодящиеся женщины, приходившие к Ширинханум шить платья, свысока смотрели на компанию Зубейды, знали, что это за птицы, что это за компания, но некоторые в душе завидовали подругам Зубейды, завидовали их молодости, красоте и даже бесстыдству, и Зубейда с подругами думали, что так оно и будет всегда.

Постепенно компания распалась, дым рассеялся, золотозубого Адилу арестовали, Асадагу убили кастетом, рябой Наджафгулу ударил кого-то ножом и угодил в тюрьму; Керим умным оказался, гитару забросил, поступил в институт, выучился, теперь, говорят, директор какого-то завода; Дибирова сняли, и он пропал куда-то, и те дни потихоньку превратились в далекие-далекие воспоминания, и теперь, в эту знойную летнюю ночь, в этой беседке, память о тех далеких-далеких годах сопровождала мелодия тара, на этом таре играл Закир, и под его сильными пальцами струны рассказывали о пустоте, никчемности и ничтожности воспоминаний, которым предавалась Зубейда.

Закир иногда играл на этом таре, причем играл по вечерам, и Зубейда, по пути к дому Ширинханум или возвращаясь от Ширинханум, слышала игру Закира, хорошо знала она и то что этот парень-тарист ее любит; еще до того, как Закир ей признался, она об этом знала — по взглядам Закира, по тому, как Закир, выходя из своего дома, поджидал ее на улице.

Однажды после затянувшегося в доме Ширинханум торжества, уже под утро, Ширинханум выпила до дна оставшийся на столе фужер шампанского и сказала, что из-за тариста Закира ей опротивели все мужчины на этом свете, из-за него она обижена на жизнь, потому что Закир не взглянул в лицо Ширинханум, не ответил на любовь Ширинханум — уж так получилось. «Умираю я по этому парню, играющему на таре! — сказала Ширинханум и потом обратилась к Зубейде: — Не видишь, — сказала Ширинханум, — не видишь, он в тебя влюблен, слепая ты, почему ты себя не жалеешь? Думаешь, нас не настигнет проклятие тех, кто ждет своих мужей, кто ждет своих братьев, отцов, женихов? Думаешь, не отольются нам стоны тех, кто не может сегодня найти куска хлеба? Ты думаешь, мы никогда не будем

раскаиваться?» Конечно, Зубейда удивилась, что это за слова говорит Ширинханум, потому что эти слова не подошли Ширинханум и никому в голову бы не пришло, что от Ширинханум можно услышать такие слова, а оказывается, вот какая была Ширинханум. Дурдана сказала: «Таким, — то есть таким, как Закир, — мы уже не нужны. С нами погуляют, натешатся, а потом женятся на скромных девочках. Матери, сестры таких девочек ненавидят нас!..» Роза сказала: «Пусть они себя ненавидят, нас за что? Что мы им сделали? Что мы кому сделали, э? У кого мужа отняли? Если муж обманывает свою жену, уходит к другой, пусть падет пепел на голову этой жены!»

И внезапно Зубейда вспомнила, кто была та женщина в шубе, купившая у нее прошлой зимой в Баку на колхозном базаре маринованные баклажаны... Это был первый день, когда вынесла на базар свои маринованные баклажаны Зубейда, и женщина в шубе купила у нее много баклажанов, и показалось она Зубейде очень знакомой, но, как она ни напрягала память, ничего не получалось, женщина была не из прежних ее подружек, не из тех знакомых-приятельниц, но кто же она такая, никак не могла сообразить Зубейда. Заплатив за маринованные баклажаны, женщина в шубе спросила:

— Ты меня не узнала?

— Нет... — сказала Зубейда.

— А я тебя узнала, — сказала женщина в шубе и ушла.

Теперь, в эту жаркую летнюю ночь, вспомнила ее Зубейда, узнала ее, глядя на лунную дорожку, сестрой Закира была та женщина в шубе, средняя сестра, кажется, Наргиз ее звали...

Для кого конец, для кого начало...

Три сестры было у Закира и еще мать. Всех трех сестер поставил на ноги, выучил Закир, и все эти сестры ненавидели Зубейду. Это можно было понять по их взглядам при случайных встречах на улице, а так ни слова не было сказано. Дурдана говорила: «Они брата к тебе ревнуют, не хотят, чтобы, кроме них, какую-нибудь девушку любил их брат».

Старшая была Диляра, потом шла Наргиз, а потом Халима. Вскоре после ухода Закира на фронт Халима заболела, умерла. Что было потом, Зубейда не знала, потому что однажды Ширинханум поменялась на трехкомнатную квартиру, где живет сейчас; совсем немного доплатив к своей двухкомнатной, поменялась с какой-то солдатской семьей на роскошную трехкомнатную квартиру.

И вот Наргиз узнала Зубейду на рынке.

И пройдет еще немного времени, уже совсем рассветет, пожилая женщина снимет ночную рубашку, наденет платье и, будто во сне, умоется водой из колодца, приберет слегка во дворе, потом, сунув под мышку сплетенные Абдуллой-киши от безделья веники, озираясь по сторонам, чтобы ее не увидел милиционер Сафар, пойдет на базар, попытается продать эти веники дачникам-горожанам, потом снова

придет домой, приберется слегка во дворе, день ото дня уставая все больше, полет деревьев, цветы, овощи, с трудом взобравшись по лестнице, соберет с навеса виноград, потом немного посидит в беседке, немного посмотрит на море, немного подумает о делах этого мира, потом заберется под полог на веранде, закроет глаза, чтобы заснуть...

7

Сначала Агагюлю показалось, будто куриное кудахтанье он слышит во сне, потому что всю ночь он видел путанные сны и большая пестрая курица перекочевывала из одного сна в другой, а Ниса все время плакала, и вот, когда Агагюль протер глаза и, подняв с подушки голову, выглянул из беседки во двор, у забора действительно раскудахтались не на шутку большая пестрая курица.

А рядом с курицей Агагюль увидел торбу.

Агабаджи тоже проснулась от этого кудахтанья, сначала испугалась, что во двор залезла лиса, хотела разбудить мужа Агопу, который весь день возил людей в Баку и обратно и уставал так, что добудиться было трудно, но, выглянув с веранды во двор, убедилась, что в курятнике все спокойно, а кудахчет только большая пестрая курица у забора, и женщина догадалась, что она вечером забыла загнать эту пеструшку в курятник; Агабаджи снова улеглась на свое место рядом с похрапывающим мужем и снова заснула.

1977, февраль

ШУШУ ТУМАН ОКУТАЛ

Шуша — 1800
Давос — 1560
Теберда — 1300

Дилижан — 1258
Абастуман — 1200
Кисловодск — 1000

*Доска перед Шушинским санаторием —
высота над уровнем моря горных курортов*

Шушу туман окутал,
В сердце мое надежда пришла
Все горести-беды
Из груди моей выгоняющая пришла.

*Из «Душевной тетради» местного шушинского
поэта Хусаметдина Аловлу¹*

Мелодия кеманчи, рожденная длинным смычком хромого Дадаша, звучала сегодня как-то особенно в прозрачном вечернем воздухе шушинского санатория; в этой мелодии было что-то от светлого журчания родников, от мягких прикосновений цветов и трав, отдаленного звона цикад; большая голова хромого Дадаша на длинной, как у жирафа, шее раскачивалась в такт движениям его руки, а в печальных черных глазах с длинными ресницами отражалось, как в зеркале, все то, о чем пела кеманча.

Мелодия кеманчи, разливавшаяся в этот августовский вечер по двору шушинского санатория, затронула и чувствительные струны сердца Хусаметдина Аловлу, и он впервые в своей жизни принялся сочинять стихи на русском языке, глядя при этом на голубоглазую Марусю Никифорову. Маруся смотрела куда-то мимо Хусаметдина Аловлу, а он задержал взгляд на ее плечах, покрытых белым шерстяным платком с вывязанными цветами, на ее полных, таких белых руках, которые она сложила на груди; он был поражен в самое сердце, так и родилось это четверостишие.

С последним звуком кеманчи хромого Дадаша Хусаметдин Аловлу, попросив слова у затейника Садыха-муаллима, ведущего культурно-массовую работу среди отдыхающих, вышел на середину площадки и, не сводя глаз с Маруси Никифоровой, прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

¹ Аловлу - огненный

Но Марусины глаза были устремлены все так же не туда, куда бы хотелось Хусаметдину Аловлу. Слушая кеманчу хромого Дадаша, она думала о том, что ее младшая сестра Василиса, впервые в жизни поехавшая на тамбовский базар продать урожай с приусадебного участка, не сможет сделать все как следует: вдруг Василису обманут, обедут вокруг пальца или еще что случится, сама Маруся тоже первый раз в жизни рискнула отправиться в столь далекое путешествие, вот от всех этих мыслей и были так далеко голубые глаза Маруси Никифоровой.

Конечно, Хусаметдин Аловлу, выпускник финансового училища в Агдаме, а ныне счетовод шушинского колхоза «Халфали», отдыхающий этим августом в санатории и без памяти влюбившийся в эту чистенькую, аккуратную, беленькую, как хлопок, Марусю Никифорову, не мог угадать, о чем думает девушка, и вот, испытывая большое удовольствие от собственного творения, он еще раз прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

— У этого болвана других слов будто и нет: «Очень хорошо, очень хорошо...» — передразнила сидевшая на балконе с вязаньем Гюлендам-нене; чтобы лучше увидеть, что происходит на танцплощадке, она приподняла рукой очки, потом, улыбнувшись Джаванширу, спросила: — А чего же ты, баласы¹, не идешь на танцы?

Хусаметдин Аловлу убрался наконец с середины танцплощадки, аккордеон Гюльмаммеда заиграл свое знаменитое танго, и люди начали танцевать, постепенно заполняя площадку; отдохавшие в санатории девушки танцевали друг с другом, местные парни, каждый вечер приходившие в санаторий, также образовывали пары, и вот тут-то, под множеством завистливых взглядов, Хусаметдин Аловлу приблизился к Марусе и, слегка поклонившись, пригласил ее на танец, Марусины голубые глаза наконец-то обратились на Хусаметдина Аловлу, и она приняла приглашение смуглого парня с черными усиками; он был чуть ниже ее ростом.

— Ой, не могу! — сказала Гюлендам-нене и, смеясь, покачала головой. — Комедия! — Она еще раз взглянула с балкона вниз и снова спросила у Джаваншира: — Что ж ты не идешь танцевать, э? Не дорос еще? — Гюлендам-нене любила иногда пошутить, поддеть внука: он же обычно не лез за словом в карман и отвечал ей тем же, но в этот августовский вечер в шушинском санатории Джаваншир почему-то

¹ Баласы — малыш, детка.

разозлился на бабушку.

Хватит! — сказал он. — Хватит уже... — Потом пошел в комнату и, как был, в брюках, сел на кровать, потом откинулся на подушку и заложил руки за голову. Все его такие прекрасные планы относительно лета полетели ко всем чертям; была бы его воля, Джаваншир не сидел бы сейчас с бабушкой в шушинском санатории и не пил бы простоквашу, а был бы в Москве с Акишином и Орханом; Акишна, правда, тоже не отпустили, а Орхан поехал и теперь со своим приятелем Фазилом разгуливает себе по улице Горького. Прошлым летом, закончив первый курс университета, он хотел поехать куда-нибудь один как взрослый, ему не разрешили, сказали — пока рано, в будущем году поедешь, в общем, прошел год, он перешел на третий курс, но когда, еще во время летней сессии, он снова завел речь об этом, отец с матерью опять стали его отговаривать, потом мать заплакала, отец разозлился, короче, его одного опять не пустили, И теперь, лежа на кровати в шушинском санатории и вспоминая все это, Джаваншир вдруг снова пережил тот вечер; он вспомнил, как заплакал во время разговора о поездке в Москву, когда отец и мать уперлись, как говорится, сунули ноги в один башмак и сказали «нет». Даже теперь он покраснел от стыда, снова представив себе, как он, уже третьекурсник, не сумев сдержаться, заплакал как маленький и, плача, кричал: «До каких пор я буду для вас ребенком? Что вы все меня за руку водите?» Что и говорить, хорошего мало во всей этой истории. Некоторое время после этого Джаваншир почти не разговаривал ни с отцом, ни с матерью, да и они, в свою очередь, глаза отводили, потом отец предложил: пусть Джаваншир один поедет в Шушу, в санаторий, у них на работе была путевка, а Джаваншир сначала сказал, что никуда он не поедет, что все лето пробудет на даче в Бузовнах, но, подумав день-другой, решил, что Шуша все же лучше, чем Бузовны, и согласился; после этого отец с матерью стали его упрашивать, мол, возьми с собой и бабушку, пусть поедет отдохнет в Шуше старая женщина, устала тут всех обслуживать, ты уже, машаллах¹, взрослый мужчина, повези ее с собой в Шушу. «Возьми меня с собой, Джаваншир, родной, возьми меня в Шушу, повидею те места, десять лет, я там не была, кто знает, увижу ли еще раз Шушу, будет судьба или нет...» — говорила Гюлендам-нене, но Джаваншир хорошо понимал, что, по существу, не он, везет бабушку, а бабушка везет его; бабушку специально приставляют к нему для безопасности, боятся его одного отпускать, как же, «он жизни еще не знает», не понимают еще того, что он уже познал жизнь с лица и с изнанки, ведь для того, чтобы познать жизнь, не обязательно прожить сто пятьдесят лет... Привести бы домой какую-нибудь из тех, что не промах-нахалка, и сказать: я ребенок, что же делать, но вот моя

¹ Машаллах — не сглазить.

жена, прошу любить и жаловать... Через три дня Джаванширу исполнилось девятнадцать лет.

В то время, когда Джаваншир вот так мстил своим домашним в своем воображении, раздался стук в дверь, вошла Дурдане и, увидев лежащего на кровати Джаваншира, постояла немного в растерянности, потом, запинаясь, проговорила;

— Бабушка прислала меня попросить у вас иголку с ниткой.

Дурдане тоже приехала в санаторий с бабушкой и теперь придумала маленькую хитрость: нашла какую-то оторвавшуюся пуговицу и, зная, что у бабушки иголок нет, забыла она их, сказала ей, что, наверное, у Гюлендам-нене есть, пойду, мол, попрошу...

Дурдане недавно исполнилось восемнадцать лет.

Джаваншир сел на кровати и позвал Гюлендам-нене с балкона:

— Бабушка!

Хусаметдин Аловлу, не удержавшись, снова вышел на середину танцплощадки и снова прочитал свое стихотворение.

— Биллах¹, этот парень, кажется, совсем спятил, — сказала Гюлендам-нене, — «Очень хорошо, очень хорошо»... — Потом обернулась, увидела Дурдане и, легко поднявшись, вошла в комнату: — Проходи, пожалуйста, дочка, добрый вечер, садись.

— Нет, большое спасибо, — сказала Дурдане. — Бабушка послала меня за иголкой с ниткой.

— Да? Сейчас... — Потом, пошарив взглядом по столу и тумбочке, Гюлендам-нене вдруг спросила: — Джаваншир, баласы, ты не брал нитки с иголками?

В то же мгновение лицо Джаваншира словно вспыхнуло:

— Иголки-нитки... я иголки-нитки беру в руки?

Дурдане, тоже покраснев, сказала:

— Если нет, ничего...

Гюлендам-нене взяла свою непонятно как уцелевшую со времен Ноя сумочку.

— Сейчас... сейчас, — долго рылась в ней и наконец достала иголку с ниткой и, протянув Дурдане, улыбнулась. — Возьми, милая, возьми... Этот наш Джаваншир ужасно злой!

Джаваншир хотел сказать бабушке: «Знай свое место, ей, арвад», но при Дурдане не сказал, еще и потому не сказал, что Дурдане, по-видимому, серьезно отнеслась к словам Гюлендам-нене; бросив на Джаваншира испуганный взгляд, она пробормотала:

— Извините... — и торопливо вышла из комнаты.

— А-а-а... Девочка не сказала даже, черная нитка нужна или белая... — Тут Гюлендам-нене встретилась глазами с Джаванширом:

— Ну а ты что же нос повесил, мой маленький? Во дворе люди

¹ Биллах — ей-богу.

поют-пляшут, а ты сидишь тут, нахохлился...

Джаваншир смерил бабушку взглядом.

— Да что с тобой говорить, э?! — сказал он и поднялся с кровати.

Уже три дня, как они приехали в шушинский санаторий, и все эти три дня Джаваншир думал о своей неудавшейся жизни, думал о том, что никто его не понимает и вряд ли когда поймет, о том, что все в этом мире ему уже давно известно. В общем, грустные мысли одолевали Джаваншира; в такие минуты он часто незаметно для самого себя начинал придумывать другую, воображаемую жизнь: то он был прожигателем жизни и завсегдатаем ресторанов, и никто не знал, что этот кутила — человек, постигший мир; то он видел себя таким демоном, одиноко и молча бродящим среди людей, а все люди, в том числе девушки и женщины, пытаются отгадать, какая тайна скрыта в его сердце, но никто никогда не сможет открыть эту тайну... Никто... Но все же иногда в видениях Джаваншира возникал образ одинокой прекрасной женщины, такой же мудрой, как Джаваншир, может быть, она даже немного старше его; Джаванширу казалось, что он видит ее высокую, стройную фигуру, тонкое лицо с мягкими, всепонимающими глазами; да, только такая женщина могла бы понять Джаваншира.

Кеманча хромого Дадаша опять заливалась, на этот раз было очевидно, что она говорила о любви, о тайне ее возникновения, о мучительной тоске и радости, и снова голова хромого Дадаша сопровождала движения смычка, наклоняясь то влево, то вправо, а его большие черные глаза смотрели прямо перед собой, как будто видели все, о чем пела кеманча. Люди на танцплощадке слушали кеманчу хромого Дадаша, здесь был и Хусамеддин Аловлу, и на этот раз голубые глаза Маруси Никифоровой смотрели на Хусамедтана Аловлу с симпатией и еще с каким-то другим, странным и довольно сильным чувством, которое пока еще самой Марусе испытывать не доводилось, но которое было так совместимо с прекрасными горами и чистым, прозрачным воздухом Шуши, и пока кеманча пела о любви, выражение глаз Маруси Никифоровой становилось все более определенным.

Джаваншир хмурый вышел из подъезда своего корпуса; он все еще сердился на бабушку. Прошелся по тутовой аллее, немного остыл и вдруг подумал, что вот ведь странное дело: порой при бабушке — не при отце, не при матери, не при других пожилых людях — он никогда, надо сказать, очень редко, действительно чувствовал себя ребенком, верил ее лукавым глазам: эй, ты, кого ты обманываешь? Не задавайся, не строй из себя взрослого, ты еще жизни не отведал, это еще все впереди, мой маленький.

Выходя во двор, он краешком глаза заметил, что Дурдане стоит на своем балконе и вроде бы смотрит, что делается на танцплощадке. Зная, что не этим занята ее глаза и мысли, что именно для того, чтобы увидеть его, Джаваншира, она и торчит на балконе, Джаваншир упорно

делал вид, что это ему безразлично, и попросту не замечал Дурдане, даже не здоровался; вот уж кто и в самом деле ребенок, так это, конечно, Дурдане.

Она училась в университете на курс младше Джаваншира и в прошлом году, когда только начались занятия, вдруг подошла к Джаванширу в университетском коридоре.

— Вас Джаваншир зовут? — спросила она. Джаваншир ответил:

— Да, Джаваншир, — а про себя удивился, откуда его знает эта невысокая темноголовая черноволосая девушка; потом, через несколько дней Джаваншир наконец вспомнил, что три года назад, летом, был он в Кисловодске вместе с родителями, и жили они на одной улице с этой девочкой, ну, эта девочка вроде повзрослела, но, кажется, не слишком...

Этот разговор, если его можно так назвать, и был единственным за все время их знакомства; сначала Дурдане здоровалась с Джаванширом, и Джаваншир небрежным кивком ей отвечал; потом она, наверное, обиделась, перестала здороваться, но каждый раз при встрече с Джаванширом мягкие темные глаза ее оживали и как бы ждали продолжения того единственного разговора, но Джаваншир проходил мимо.

Вчера во время завтрака Гюлендам-нене спросила у Джаваншира:

— Что это за девушка смотрит на нас?

Джаваншир поднял голову и увидел, что через столик от них сидит Дурдане рядом с пожилой женщиной; наверно, она только что приехала, подумал Джаваншир и невольно поздоровался с Дурдане, и похоже было, что это приветствие Джаваншира сделало Дурдане счастливой, так засияли вдруг ее глаза, сразу и лицо похорошело. Пожилая женщина рядом с Дурдане посмотрела сначала на девушку с некоторым удивлением, потом перевела глаза на Джаваншира и тоже поздоровалась с ним и с Гюлендам-нене.

— Кто же эта девушка, а, баласы? — спросила тогда Гюлендам-нене.

Джаваншир привычно поморщился, буркнул:

— Кто ее знает? — и склонился над тарелкой с вермишелью. А Гюлендам-нене сказала на этот раз не шутя:

— Ну, конечно, откуда тебе их знать? Дома тоже сидеть невозможно из-за этих паршивок.

В Баку действительно девушки часто звонили и просили к телефону Джаваншира, а он и правда не знал ни одну из них, то есть, может, и узнал бы в лицо, если б увидел; наверно, это были девушки из университета или десятиклассницы, живущие по соседству; Джаваншир не знал, какая из девушек звонит ему, а они со смехом говорили, что хотели бы с ним познакомиться, что он симпатичный парень, но слишком уж серьезный; Джаваншир с ними не разговаривал, просто вешал трубку, эти девушки не могли его заинтересовать. Джаваншир снова поднял глаза на Дурдане, и ему почему-то показалось, что слово

«паршивки» к этой девушке не подходит, и, что было самое странное, Гюлендам-нене, как будто прочитав его мысли, произнесла:

— Об этой девушке я не говорю...

В полдень Гюлендам-нене сообщила Джаванширу, что эту девушку зовут Дурдане. она тоже с бабушкой приехала в шушинский санаторий, отца в отпуск не пустили, мать осталась с отцом в Баку, а у бабушки Дурдане мужское имя — Бахлул. Бахлул-арвад.

Аккордеон Гюльмамеда снова заиграл свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу снова пригласил на танец Марусю Никифорову, и снова стали танцевать друг с другом девушки, приехавшие в санаторий, и друг с другом — местные парни.

Скоро этот обыкновенный, а для кого и особенный вечер в шушинском санатории подойдет к своему концу: поднимется в санаторий из шушинского дома отдыха малый оркестр Муслима-кларнетиста в составе его самого, зурначи Анушевана да Мелика, играющего на нагаре¹, и начнется последний танец под мелодию Гусейна из иранского фильма «Европейская невеста»; как всегда не удержавшись, выйдет на середину площадки местная знаменитость — Мать-героиня, толстая сверх всякой меры Сафура-арвад, отдыхающая в санатории, и этим завершится рабочий день массовика Садыха-муаллима.

Диетолог Искандер Абышов все еще в белом халате подошел к танцплощадке и очень серьезно взирал на Садыха-муаллима, стоящего в центре и, ввиду опоздания кларнетиста Муслима, развлекаявшего публику фокусами: помахав целой газетой, он затем разорвал ее на куски, собрал обрывки в горсти, достал из рукава другую газету, а обрывки первой должен был под прикрытием новой газеты незаметно спрятать в карман; этот фокус он показывал часто и, как всегда, один-два обрывка разорванной газеты не попали в карман, а упали на землю, и Садых-муаллим переминался с ноги на ногу, пытаясь наступить на них так, чтобы никто не заметил.

Диетолог Искандер Абышов не раз видел этот фокус, но каждый раз искренне удивлялся.

— Молодец, Садых-муаллим! — сказал он и взглянул на Джаваншира, стоявшего рядом.

Искандер Абышов уже год работал в шушинском санатории после окончания медицинского техникума в Баку и за этот год снискал небывалое уважение; не только медицинские сестры, фельдшеры, все — от шеф-повара Кязима-киши до официантки Парандзем — обращались к Искандеру Абышову не иначе как «доктор». Среднего роста, с аккуратной зачесанными назад курчавыми волосами и двумя родинками на щеке, он всегда был в накрахмаленном белоснежном халате и белой рубашке с черным галстуком, заколотым булавкой с маленьким стек-

лышком. Регулярно перед завтраком, обедом и ужином он устраивал проверку на кухне, пробовал все блюда и частенько бывал недоволен: морковь перепарена, гуляш недодержан, чем приводил в трепет Кязима-киши. В столовой, прохаживаясь между столиками, он смотрел на лица отдыхающих, определяя, нравятся ли им еда, некоторым давал советы. «Тыква — лекарство против воспаления желчного пузыря; ешьте больше моркови, в ней много витамина А; чрезвычайно полезен чай из шиповника, это сплошной витамин С», — говорил он. «Витамины не менее нужны человеку, чем свежий воздух» — это было его любимым высказыванием, и Гюлендам-нене говорила про Искандера Абышова: «Парень-витамин», и еще она говорила, что этот «парень-витамин» похож на парикмахера в белом халате, но это было мнение только Гюлендам-нене.

Но вот и Муслим со своим оркестром спешит — почти вбежал во двор санатория. Музыканты достали инструменты, расположились в центре площадки, и кларнет Муслима, поднявшись до самой высокой ноты и затем опустившись до самой низкой, повел за собой мелодию, окрыляемую зурной и нагарой Медика, и Сафура-арвад со всеми своими орденами и медалями, снова не удержавшись, вышла на середину и с удовольствием начала танцевать.

Солнце уже село, быстро стало темнеть, появлялись звезды; и тоже, как звезды, загорелись огоньки машин на далеких поворотах дороги Моллы Насреддина, видимой в такие ясные вечера из санатория; в хорошую погоду Шуша со всех сторон бывала окружена звездами, звездами в небе и огнями внизу — в селах Мухетер, Шише, Кешиш, в далеком Степанакерте; в теплые ясные вечера как бы исчезало расстояние между небом и горами, между человеком и небом.

Джаваншир вынул из кармана сигарету, закурил, а потом вдруг обратился ко все еще стоявшему рядом с ним Искандеру Абышову:

— Пойдем с тобой куда-нибудь, выпьем вина.

— Вина? — Искандер Абышов искренне удивился.

— Ну да. А что тут такого? Выпьем немного сухого вина. — И Джаваншир взял Искандера Абышова под руку. — Пошли...

Предложение Джаваншира было настолько неожиданным, что диетолог даже не мог решить сразу — принять его или нет, потом, подумав, сказал:

— Ну ладно, стакан сухого вина можно. Даже профессор Герасимов рекомендует выпивать стакан сухого вина на ночь. Профессор Герасимов говорит, что...

— Правильно говорит профессор Герасимов. Пошли.

— Я пойду сниму халат.

Тут только Джаваншир заметил этот халат на Искандере Абышове и сказал:

— Жду.

¹ Нагара — ударный инструмент.

Когда Сафура-арвад наконец устала танцевать, Муслим торопливо разобрал кларнет, сунул его в футляр, — сегодня вечером у базаркома Фати было обрезание сына, и Муслим со своими музыкантами торопился теперь к базарному, который устраивал по этому поводу праздник. Садах-муаллим пожелал всем спокойной ночи, затем повторил это еще раз, уже по-русски, и люди постепенно по двое, по трое начали расходиться: сегодня кинемеханик Ахверди должен был показывать индийский фильм «Бобби»; кто вышел в город, кто отправился в Эрмгельды, кто в сторону Джедырской равнины.

Хусаметдин Аловлу подошел к Марусе Никифоровой, рядом с которой стояла ее подруга Людмила, и пригласил девушек в театр. Людмила многозначительно посмотрела на Марусю, а Маруся слегка покраснела, потом улыбнулась, и приглашение Хусаметдина Аловлу было принято.

Ожидая Искандера Абышова, Джаваншир с удивлением размышлял о своем внезапном желании выпить: ведь он очень плохо воспринимал спиртное; что тут поделаешь — тошнило его; наверно, дело было в том, что эти темные кусты и деревья с электрической подсветкой, эти как будто ненастоящие звезды, этот стрекот кузнечиков в наступившей тишине стали раздражать Джаваншира; ему показалось, что Шуша — это не та Шуша, та Шуша осталась далеко-далеко, там, в детстве, когда Джаваншир двенадцатилетним мальчиком собирал здесь, на месте этого санатория, ежевику, играл в футбол с местными ребятами, ходил с ними за малиной, чуть не до самого Исабулага, на спор залезал в темный страшный подвал сгоревшей мечети, — теперь была совсем другая Шуша, а та, что была раньше, пропала, исчезла, давным-давно исчезла и больше никогда не вернется... Искандер Абышов сказал:

— Я готов. — И Джаваншир, еще не вполне очнувшийся от своих воспоминаний, даже не узнал его, да и в самом деле Искандер Абышов в костюме без халата был как будто и не Искандер Абышов, а совсем другой человек.

Когда они выходили со двора шушинского санатория, Искандер Абышов сказал:

— Ты только посмотри, как она на тебя уставилась...

— Кто?

— Вон та девушка, — Искандер Абышов кивком головы показал на балкон, где стояла Дурдане.

«Вот как, — подумал про себя Джаваншир — оказывается, этот парень интересуется не только калориями и витаминами», и вдруг, сам не понимая, как это получилось, Джаваншир снисходительно так усмехнулся: мол, кто я и кто эта девушка? Нашел, с кем меня равнять... И что удивительно — Искандер Абышов понял эту усмешку Джаваншира в том же смысле; спускаясь по дорожке, ведущей из санатория в

город, он сказал:

— Конечно, у тебя небось тысяча таких есть...

— Ты не представляешь, как они мне надоели... — Джаваншир произнес эти слова и задумался. Что его дернуло за язык, зачем он играет в эту игру с Искандером Абышовым, да пусть даже и не с Искандером Абышовым?

Заведующий шашлычной Абульфат, одновременно повар, буфетчик и официант, весивший сто двадцать восемь килограммов, принес два шампура с шашлыком из молочного барашка, зелень, овечий сыр, армянские маринованные овощи и две бутылки вина. Искандер Абышов произнес:

— Две бутылки много.

— Почему много? — спросил Джаваншир и, перевернув поставленные перед ними доньшомк стаканы из толстого стекла, наполнил их вином. — Твое здоровье, — сказал он и одним духом опорожнил свой стакан.

Искандер Абышов даже побледнел, удивляясь на такую удачу: он хотел и свой стакан так же точно опрокинуть, но поперхнулся и сумел выпить только половину.

Выпитое вино немедленно подействовало на Искандера Абышова, он порозовел и так разговорился, как будто до этого всю жизнь молчал. Сказал, что хотел бы жениться, да нет подходящей девушки, как нет и квартиры; в горсовете обещали в этом году дать, но в старом Доме он не хочет, хочет в новом доме и чтобы были все удобства; как получит квартиру, так и маму сюда поселит, переведет из Сабирабада, а потом и женится, но вот беда, ни одна девушка не приглянулась; в прошлом месяце он получил любовную записку без подписи, долго гадал, от кого бы это, думал, вдруг это от библиотекарши санатория Наргиз, но если это Наргиз написала, то очень жаль, потому что какая-то она странная, эта Наргиз, вертится все время под носом у Искандера Абышова, к чему бы это, а любить ее Искандер Абышов пока никак не может; впрочем, аллах ведает, может, и полюбит когда-нибудь Наргиз, но одно знает точно Искандер Абышов, что девушка эта будет местная, шушинская, потому что шушинские девушки славятся своим здоровьем, но нет пока еще никого на примете, и вообще Искандер Абышов просто не представляет себе, как бы он подошел к какой-нибудь девушке и познакомился с ней, то есть теоретически он, конечно, допускает такую возможность, только вот... Искандер Абышов говорил и говорил без умолку; Джаваншир как будто уже перестал его слушать, сам Джаваншир не произнес ни слова, только иной раз кивал головой да легонько так усмехался, давая понять, что все эти переживания Искандера Абышова ничто по сравнению с его, Джаваншира, жизненным опытом, при этом Джаваншир прекрасно понимал, что поступает нехорошо... Но вот ведь что: если бы Искандер

Абышов не увидел в глазах Джаваншира этого превосходства, которое он считал совершенно естественным, он не был бы таким откровенным, именно из-за этой вневременной усмешки Джаваншира Искандера Абышова и прорвало...

Между тем Абульфат, двигающийся между столиками с легкостью, неожиданной для его ста двадцати восьми килограммов, подвижный, как ртуть, Абульфат, бегающий к буфету, наливающий водку, нарезающий зелень, колдующий над мангалом, этот Абульфат возник вдруг перед столиком, где сидели Искандер Абышов с Джаванширом, и, обращаясь к Джаванширу, спросил:

— Еще по шампуру на брата, свет моих очей? Джаваншир посмотрел на Искандера Абышова, и тот сказал:

— Больше не могу. Все!

Джаваншир снова улыбнулся так понимающе, снисходительно и опять поймал себя на том, что поступает нехорошо... Взяв у Джаваншира деньги за два шампура шашлыка, две бутылки вина, зелень, сыр, маринованные овощи, Абульфат, не считая, сунул бумажки в карман и сказал:

— Дай аллах достаток! — потом прямо тут же забрал со стола вторую запечатанную бутылку вина, отнес ее в буфет.

Джаваншир с Искандером Абышовым вышли в парк, и Искандер Абышов, не в силах остановиться, все говорил и говорил о своих планах на будущее, говорил о дружбе, о любви, о том что нет у него настоящего друга, да и товарищей нет, что дни проходят тоскливо, неинтересно, один день похож на другой, а Джаваншир то ли от выпитого вина, то ли еще от чего настолько вошел в свою роль, что и впрямь стал ощущать свое превосходство перед Искандером Абышовым: вот он, Джаваншир, гуляет сейчас в шушинском парке, дышит чистым шушинским воздухом, отдыхает от городской жизни и от всяких походов, главным образом любовных...

В парке было темновато, безлюдно, в лунном свете чернели стволы деревьев, и только возле здания театра в верхней части парка горели огни. Агдамский театр, прибывший в Шушу на гастроли, сегодня показывал премьеру любовной драмы одного из агдамских драматургов «Когда танцуют втроем».

В это время Хусаметдин Аловлу, Маруся Никифорова и ее подруга Людмила сидели в зале и смотрели на сцену. Хусаметдин Аловлу, правда, часто переводил взгляд со сцены на Марусю, сидевшую рядом, он не смел даже прикоснуться плечом или нечаянно задеть локтем девушку; только время от времени он уговал Марусю и Людмилу ирисками, купленными в театральном буфете (этот буфет был филиалом шашлычной Абульфата), и тихонько переводил на русский язык речи героев. Когда же актер, изображая драму несчастной любви, заметался по сцене, Маруся Никифорова не смогла удержаться от слез

и достала платочек.

И как раз в этот момент Искандер Абышов сказал Джаванширу:

— Ты только посмотри! Вах!

Шагах в десяти на пересечении аллеи показалась высокая стройная женщина в темном костюме и шляпе с широкими полями. Походка ее была до того легкой и мягкой и в то же время неспешной, что Джаваншир сразу нашел бездну вкуса и соразмерности в каждом ее движении. Несмотря на некоторую воздушность, все у этой женщины было на месте, и она проплывала мимо них в лунном свете, делая, как показалось Джаванширу, великое одолжение шушинскому парку и вообще всей Шуше; она как бы бросала вызов дикой, неупорядоченной красоте этих мест.

— Бывают же такие женщины, о аллах! — тихонько сказал Искандер Абышов, сказал и посмотрел на Джаваншира, странно так посмотрел, будто побуждая его, такого опытного человека, к каким-то действиям.

И тогда, совершенно неожиданно для себя самого, Джаваншир ускорил шаги, приблизился к этой женщине и произнес:

— Извините...

Женщина посмотрела на Джаваншира, и только теперь он понял, что сделал, что совершил, в горле у него внезапно пересохло, и уже каким-то не своим голосом он повторил:

— Извините...

Женщина была очень красива, хотя ей, наверно, было около сорока, и удивительно было то, что возраст свой она и не стремилась скрыть, была только слегка подкрашена, аромат каких-то тонких духов был еле уловим.

И перед этой красотой и естественностью Джаваншир показался себе самым уродливым и глупым человеком на свете.

Искандер Абышов смотрел на них глазами, полными счастливого изумления и тоски. Еще бы! Этот знакомый ему парень, который всего минуту назад шел рядом с ним,пил вместе с ним вино в шашлычной Абульфата, уже, как видно, познакомился с этой прекрасной женщиной, с этим неземным существом, совершенно недостижимым для него, Искандера Абышова.

Женщина еще раз скользнула взглядом по лицу Джаваншира, и Джаваншир сразу почувствовал, что она видит его насквозь, понимает всю глупость его положения, страшную глупость. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Джаваншир все же выдавил из себя:

— Скажите, пожалуйста... Вы не знаете, где здесь театр?

На этот раз незнакомка внимательно посмотрела на Джаваншира, она будто пыталась как следует разглядеть в лунном свете лицо этого длинного молодого нахала, и Джаванширу показалось, что сейчас эта женщина надаст ему пощечин обеими руками, с грубостью, совсем ей

не подобающей, но, как ни странно, женщина плавно повела своей красивой рукой в сторону театра и произнесла:

— Вон там...

Мягкий голос ее прозвучал очень тепло и очень приветливо, и это сразу ободрило Джаваншира. Некоторое время они молча шли рядом. Сердце Джаваншира уже билось не так сильно, однако он еще не вполне пришел в себя, к тому же он усиленно искал тему для продолжения разговора, но все казалось ему банальным и глупым, и он страшно злился на самого себя — зачем он затеял все это?

А сзади шел Искандер Абышов.

Вдруг женщина сказала:

— Ваш товарищ вас ждет...

И снова слова ее прозвучали очень мягко, Джаванширу даже показалось, что ласково; он удивлялся, как это она, ни разу не оглянувшись, заметила Искандера Абышова, и сказал первое, что пришло в голову:

— Ничего... — и тут же снова залился краской.

Так они дошли до здания театра. Джаваншир от досады на свое косноязычие не мог даже смотреть на свою спутницу, он готов был просто убежать куда-нибудь, спрятаться в какую-нибудь нору от стыда, но сзади шел Искандер Абышов... На досках для афиши висели написанные от руки объявления о спектаклях, и, взглянув на них, женщина сказала:

— О-о-о, у них даже «Клеопатра» в репертуаре. При этом она слегка усмехнулась, и усмешка, не совсем, конечно, но немного походила на усмешку Джаваншира, когда он сегодня разыгрывал свою роль перед Искандером Абышовым.

— Надо будет посмотреть... — продолжала она, потом внезапно спросила у Джаваншира тоном учительницы: — А вы смотрели «Клеопатру»? — этим вопросом она застигла Джаваншира врасплох, и, торопливо застегивая в свете фонаря верхнюю пуговицу на рубашке, он ответил, как ученик, не выучивший урок:

— Нет, не смотрел.

Они отошли от афиши, и тут — странное дело — женщина стала вдруг разговаривать как бы сама с собой, теперь Джаваншир уже мог смотреть на нее, — так красиво слетали слова с ее слегка подкрашенных губ, и эти слова как будто доносились из того, другого мира, в который Джаваншир обычно уносился в своих мечтах, лежа на кровати и глядя в потолок, и постепенно ему стало казаться, что эти слова — такое естественное дополнение, даже не дополнение, а как бы просто часть этой теплой августовской ночи.

А говорила она о том, что все в мире непрочное, все уходит в никуда, и чувства, мысли человеческие, страсти — все, все это ничто, только искусство способно остановить бег времени, оно не уывает,

оно вечно, и потому вечны чувства, мысли человеческие, страсти, запечатленные мастером.

Джаваншир понимал, что он должен сейчас поддержать разговор, сказать тоже что-нибудь в этом духе, но все слова вдруг куда-то исчезли, он ощущал мучительную тоску и не мог произнести ни слова. Тем не менее выяснилось, что женщина — бакиннка, что по профессии она — архитектор, а сейчас отдыхает в шушинском доме отдыха, в Шуше она не впервые, очень любит эти места, скучает без них, буквально влюблена в шушинские ханский дворец и мечеть, а какова крепостная ограда — ведь это же само совершенство, и как расположены все здания, как хорошо вписываются в окружающий ландшафт; поистине древние архитекторы лучше нас понимали, что здание должно дополнять природу, а не противоречить ей, а теперь такую вот очевидную мысль приходится отстаивать на ученых заседаниях.

Джаваншир только кивал головой, соглашаясь со всем, что говорила эта женщина, иногда, правда, вставлял что-нибудь вроде «конечно» или «верно». Других добавлений он сделать не смог, и все это время, пока они прогуливались по темным аллеям шушинского парка, Искандер Абышов сопровождал их сзади. И что удивительно, ему совсем не было скучно, не то чтоб он слушал речи прекрасной незнакомки: он шел на таком расстоянии, что ничего разобрать не мог, а просто почему-то чувствовал и себя героем сегодняшнего вечера.

Джаванширу давно хотелось узнать имя женщины, но он никак не мог заставить себя произнести эти простые три слова, ему казалось, что эти слова так не подходят к этой фантастической, немислимой ночной прогулке. Наконец, пересилив себя, он все-таки произнес их; оказалось, что женщину зовут Медина-ханум, тогда и Джаваншир представился, а затем Медина-ханум спросила Джаваншира:

— А вы где работаете?

Этот вопрос снова привел в замешательство начавшего было успокаиваться Джаваншира: Джаваншир не предполагал, что выглядит таким взрослым, и, снова покраснев, он ответил неопределенно:

— Я филолог. В университете...

— Преподаете?

«Что это? Она издевается?» — подумал Джаваншир.

— Нет... Я — аспирант... — сказал он и посмотрел на Медину-ханум как кролик на удава; он был уверен, что сейчас она громко расхохочется, а вслед затем и Искандер Абышов просто умрет от смеха. Но, к удивлению Джаваншира, ничего этого не произошло, просто Медина-ханум длинно так произнесла:

— А-а-а... Тогда у вас все еще впереди...

— Джаваншир, потупившись, переживал эту неприятную минуту и молчал.

А Искандер Абышов по-прежнему следовал за ним в некотором отдалении и по-прежнему совсем не чувствовал себя лишним, и, как видно, напрасно, потому что между Джаванширом и Мединой-ханум произошел такой короткий разговор:

— Ну что ж, я должна возвращаться...

— Позвольте я вас провожу?

— Но ведь вас ждет товарищ?

— А он мне не товарищ...

— Тогда скажите ему, чтоб не ходил за нами. Последнюю фразу Медина-ханум произнесла с некоторым раздражением.

Джаваншир сначала не понял, почему у него вдруг вырвалось такое, почему при этой женщине он отрицал свои приятельские отношения с Искандером Абышовым, но ведь, с одной стороны, они действительно не были товарищами: ведь Джаваншир только сегодня вечером с ним познакомился; а с другой стороны, почему все-таки то, что он отрекся от Искандера Абышова, вдруг показалось Джаванширу предательством, впрочем, он вял словам Медины-ханум, отстал от нее и, подождав, когда с ним поравняется Искандер Абышов, сказал:

— Ты, пожалуй, иди... Мы еще погуляем... Искандер Абышов заморгал глазами, затем будто что-то уяснил для себя и, сказав: «Есть!» — повернулся и исчез в темноте.

Медина-ханум опять говорила о своей привязанности именно к Шуше; ей было с чем сравнивать: Теберда, Дилижан, Абастуман, Кисловодск, Сочи, Карловы Вары, Золотые Пески, Ницца; но нигде, считала Медина-ханум, нет такого воздуха, как в Шуше, только в Шуше, говорила она, чувствуешь всю полноту настоящего отдыха, забываешь обо всех заботах и печалях, снова радуешься жизни. И душа, очищается и становится восприимчивой к новым, не испытанным еще чувствам...

Джаваншир шел, слушая Медину-ханум, и уже не смущался, как прежде, хотя, конечно, это было просто уму непостижимо, что именно он, Джаваншир, не во сне, а наяву идет с такой женщиной и слушает такие ее признания...

Когда они дошли до ворот шшинского дома отдыха, было уже около одиннадцати. Медина-ханум, протянув Джаванширу руку, сказала:

— До свидания. Спокойной ночи.

При свете электрической лампочки, висящей над воротами шшинского дома отдыха, голубые глаза Медины-ханум выражали приязнь и приветливость, кажется, они еще о чем-то говорили, и теплая тонкая рука Медины-ханум подтверждала то, о чем говорили ее глаза.

Джаваншир понимал, чувствовал, что надо что-то сказать, обязательно надо сказать или сделать нечто такое, от чего исчезает запрятанная в глубине ее глаз едва различимая ирония... И вот, призвав на

помощь все свое мужество, с отчаянием в голосе он спросил:

— Завтра увидимся?

Медина-ханум улыбнулась с той же приветливостью и приязнью.

— Увидимся.

Они условились, что завтра в семь часов вечера (когда хромой Дадаш во дворе санатория начнет настраивать струны своей кеманчи) они встретятся в тутовнике (это место предложила сама Медина-ханум), и после этого Медина-ханум, вытащив руку из большой ладони Джаваншира, вошла в калитку своего дома отдыха.

Джаваншир немного постоял перед воротами, думая о собственной глупости, неловкости и в то же время продолжая ощущать своей ладонью теплоту, ласковость руки Медины-ханум. Потом закурил и, пройдя по темным, вымощенным толстыми плитами улицам Шуши, стал подниматься к своему санаторию.

И тут как раз кончилась драма «Когда танцуют втроем», и Маруся Никифорова, Людмила и Хусаметдин Аловлу вышли из театра, находясь под впечатлением этой драмы.

Джаваншир, гуляя с Мединой-ханум, не осмелился даже закурить сигарету.

Такие вот дела.

Завтра так не будет.

Когда Джаваншир вошел во двор санатория, свет горел только у Гюлендам-нене, и на балконах никого не было, не считая Дурдане; накинув на плечи шерстяной жакет, она, дрожа от холода, стояла на своем посту.

Джаваншир добрался до кровати, разделся, лег... Всю ночь он был с Мединой-ханум, всю ночь они с Мединой-ханум бродили по шшинскому парку. Находясь между сном и явью, Джаваншир видел светло-голубые глаза Медины-ханум, слышал ее мягкий голос, ощущал аромат ее духов, чувствовал пожатие ее руки, но все, кажется, чего-то не хватало, он испытывал какое-то беспокойство, и только уже под утро Джаваншир понял внезапно, чего же ему все-таки не доставало, — оказывается, раздающихся позади шагов Искандера Абышова.

— С чего бы это ты так вырядился, баласы? К добру ли? Джаваншир искоса посмотрел на Гюлендам-нене.

Надвигался вечер, скоро Садых-муаллим, выйдя на середину танцплощадки во дворе санатория, улыбнется отдыхающим, а потом заговорит, зальется кеманча хромого Дадаша, потом аккордеон Гюльмамед заиграет свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу под завистливыми взглядами местных парней пригласит Марусю Никифорову танцевать.

Этот день пролетел очень быстро.

Когда утром Гюлендам-нене с Джаванширом спустились в столо-

вую, Искандер Абышов в своем чистейшем, накрахмаленном и вытуженном халате будто только их и ждал; он уделил им особенное внимание, поздоровался с Джаванширом с особым почтением, да и потом часто поглядывал в их сторону, а когда Гюлендам-нене, сев утренний люля-кебаб, не тронула положенный рядом с люля-кебабом испеченный помидор, Искандер Абышов подошел к их столу.

— Простите, — сказал он. — Если бы вы только знали, от чего вы отказываетесь!

Гюлендам-нене поглядела сначала на печеный помидор, потом — на сдвинутые брови Искандера Абышова.

— А от чего? — спросила она. Искандер Абышов сказал:

— Вы не представляете, сколько в нем витаминов!

Гюлендам-нене снова уставилась в свою тарелку, доводы Искандера Абышова как будто подействовали на старуху, и она опять взялась за вилку.

Искандер Абышов, конечно, был этим очень доволен.

После завтрака Дурдане по просьбе своей бабушки пришла в комнату Джаваншира за ножницами, потом она принесла ножницы обратно; спускаясь днем в столовую на обед, она столкнулась с Джаванширом лицом к лицу, поздоровалась, и Джаваншир на этот раз отдал себе отчет в том, что эта девушка при встречах с ним совершенно теряется и краснеет.

— Послушай, баласы, что ты так косо на меня смотришь, а? Опять придешь в двенадцатом часу ночи? — Гюлендам-нене, сидя на кровати, глядела на Джаваншира поверх очков и улыбалась, привычно подтрунивая над внуком.

Джаваншир стоял перед зеркалом и причесывал, укладывал свои длинные волосы. Он посмотрел на Гюлендам-нене в зеркало и сказал:

— Сегодня, может, и совсем не придущу...

И тут произошло нечто вроде чуда; Гюлендам-нене не рассмеялась, не стала издеваться над его словами, она почему-то сразу ему поверила, даже всхлипнула вдруг:

— Джаваншир...

— Ну что, что — Джаваншир?

Дурдане стояла на балконе, и ее, глаза, полные скрытой тревоги, долго провожали Джаваншира.

Он подошел к условленному месту на полчаса раньше срока.

В тутовнике были не одни только тутовые деревья, здесь возвышались и шушинские дикie яблони, и дикie черешни, а на поляне, усыпанной цветами, росли кусты шиповника, ежевики; эти места хорошо запомнились Джаванширу сколько раз играл он тут в детстве, а однажды удивился, что шиповник в этих местах, может быть, единственное растение, которое сначала покрывается листьями, а уже потом зацветает.

Когда-то, кажется, очень давно, Джаваншир с матерью, отцом и бабушкой каждое лето приезжали в Шушу, жили тут все лето, и, оглябая туговые деревья, Джаваншир снова вспомнил те далекие детские годы: как они, мальчишки, набивали подошвы маек дикими яблоками, еще неспелыми синими сливами; и все эти дикie яблоки, синие сливы они ели до оскомины, до полного онемения губ, и все никак не могли остановиться, а потом еще перемазывались с ног до головы красным соком дикой черешни.

Солнце понемногу склонялось к закату; в ожидании предстоящего вечера, предстоящей ночи Джаваншир чувствовал себя свободно, но не очень спокойно, хотя уже поверил в себя: ведь больше не было необходимости притворяться ни при Искандере Абышове, ни при ком другом. Джаваншир должен быть самим собой, потому что он тот самый Джаваншир, который познакомился с Мединой-ханум и сейчас ее ждет.

Он как следует подготовился для сегодняшней встречи, он больше не будет молчать, набравши в рот воды, теперь уж он знает, что скажет Мединой-ханум, и, бродя по тутовнику, Джаваншир повторял про себя слова, которые он ей скажет. Да, прогуливаясь с Мединой-ханум под этими туговыми и грушевыми деревьями, между стволами дикой яблони, дикой черешни, сливы, среди кустов шиповника и ежевики, Джаваншир завоеует уважение и любовь этой необыкновенной женщины, кто знает, чем все это кончится, может быть, даже и поженятся они с Мединой-ханум...

Джаваншир часто поглядывал вниз, на тянущуюся от шушинского дома отдыха тропинку.

Джаваншир сначала почувствовал появление Медины-ханум, как будто по этим цветам, по этим кустам и деревьям пробежал очень легкий, очень нежный ветерок, потом Джаваншир посмотрел в сторону дома отдыха и увидел поднимающуюся по тропинке Мединой-ханум.

Медина-ханум еще издалека неспешно помахала ему рукой, сердечно приветствуя Джаваншира, а он внезапно почувствовал себя недостойным этой приветливости, этого расположения, ему опять показалось, что он — ничто перед этой женщиной, самим воплощением приветливости и в то же время радостной вольности и свободы.

Медина-ханум сегодня была в светлом широком платье, и это со вкусом шитое светлое и широкое платье тоже, казалось, говорило о радости, вольности и свободе; Медина-ханум была без шляпы, длинные золотистые волосы Медины-ханум рассыпались по ее плечам, груди, и эти золотистые волосы тоже, казалось, чуть не кричали сейчас о радости, вольности и свободе; все это вместе было предназначено Джаванширу — Джаваншир должен был, обязан был в это поверить...

В глубине души, в самой глубине он боялся: вдруг Медина-ханум не придет на свидание с ним.

Медина-ханум пожала руку Джаваншира, и пожатие это было таким сердечным, таким искренним и радостным, а потом Джаваншир с Мединой-ханум стали прогуливаться рядышком под деревьями среди цветов, и опять заготовленные, только что повторяемые про себя слова вылетели из головы Джаваншира, и он в который уже раз удивился, что нашла в нем, глуше, верзиле, эта прекрасная, умная женщина, за что такое счастье такому ничтожеству, как он? А самым странным было то, что Джаваншир внезапно почувствовал: те детские годы, которые прошли вот здесь, в Шуше, под туговыми деревьями, вовсе не были в такой уж дали, это было как будто вчера; это ощущение потрясло Джаваншира, и он некоторое время даже не слышал, о чем говорит Медина-ханум, затем, не попросив у нее разрешения, дрожащими руками достал и закурил сигарету, потом подумал, что нужно было бы предложить сигарету и Медине-ханум, и вообще сейчас надо было бы взять Медину-ханум под руку, сказать ей что-нибудь интересное или хотя бы что-нибудь особенное.

Какая прекрасная была погода, какой красивый ожидался закат, каким долгим был этот день; Медина-ханум на отдых всегда ездила одна, может быть, это эгоистично; конечно, такое наслаждение красотой, такое острое ощущение красоты не всегда сочетаются с альтруизмом, не правда ли? Ощущать, чувствовать красоту, наслаждаться красотой разве само по себе не эгоизм? Видимо, эгоизм — в природе человека, избавиться от него, совсем избавиться — невозможно, а может быть, и не надо? По существу, и чувство одиночества тоже приводит к эгоизму, вот что ужасно, что плохо, вот тут нужно обязательно думать о других, чувствовать других, не замыкаться в одиночестве, в такое время надо уметь разделять радость других; конечно одиночество порой преследует человека так, что от него невозможно убежать, этот бич двадцатого столетия редко оставляет человека в покое...

После всех этих слов, размышлений, признаний Медина-ханум как ни в чем не бывало, очень просто, очень естественно взяла Джаваншира под руку и, на мгновение прижавшись к нему, спросила:

— Куда мы пойдем?

Конечно, Джаваншир не ожидал такого вопроса и застыл в недоумении; внезапно ему вспомнился Искандер Абышов, вспомнилась стипендия в кармане, и он неожиданно для себя сказал:

— Пойдемте в парк... в шашлычную...

— Медина-ханум посмотрела на Джаваншира с некоторым недоумением.

— Вы проголодались?

Джаваншир почувствовал, что краснеет, и, чтобы Медина-ханум этого не заметила, нарочно поднес руку ко лбу; на мгновение перед его глазами появился стодвадцативосьмикилограммовый Абульфат; в нос

Джаванширу ударил запах шашлыка, запах водки в шашлычной Абульфата, и он изумился, как ему могла прийти в голову такая идиотская мысль — здесь, среди цветов, рядом с этой прекрасной женщиной.

— Нет... не проголодался... — промолвил Джаваншир. — Просто так сказал...

Медина-ханум снова взглянула на Джаваншира, потом, будто внезапно обнаружив то, что искала давно, сказала едва ли заговорщицки, тихонько, со скрытой радостью в голосе:

— Знаете что... Давайте пойдем ко мне. Я в комнате одна, никого больше нет...

Джаваншир не поверил своим ушам.

— Из моего окна и закат виден, — продолжала Медина-ханум. — Вместе полюбуемся...

Слова Медины-ханум о закате прозвучали, пожалуй, не очень естественно.

Они спускались по тропинке, ведущей в дом отдыха.

Они направлялись в комнату Медины-ханум, и, кроме Медины-ханум и его, Джаваншира, в этой комнате никого не будет.

Джаванширу очень хотелось хотя бы пять минут побыть одному, прийти в себя.

Внизу виднелись двух- и трехэтажные корпуса шушинского Дома отдыха, постепенно свет загорался в окнах.

Джаваншир сказал:

— Пойду куплю коньяк...

Медина-ханум ответила:

— Не нужно... У меня есть коньяк...

Все это прозвучало так, будто они и в самом деле были заговорщиками.

Медина-ханум держала Джаваншира за руку, тропинка круто шла вниз, и, чтобы не споткнуться о камень, не поскользнуться на траве, Медина-ханум прижималась к Джаванширу.

У Джаваншира совсем в горле пересохло, и он не мог понять, почему — от радости ли, от робости...

Медина-ханум остановилась у алычового дерева, дальше начиналась асфальтовая дорожка.

— Вместе нам заходить неудобно, — сказала она. — Все-таки Шуша — это Шуша, не Карловы Вары. — Она улыбнулась, — Видите вон то крайнее двухэтажное здание, слева самое первое окно — мое, на втором этаже... Видите?

Джаваншир ответил:

— Да, вижу...

Медина-ханум сказала:

— Давайте сначала пойду я, а потом вы — через пять-шесть ми-

нут... Дверь я оставлю открытой... — Медина-ханум опять улынулась.
— Хорошо? — спросила она.

Джаваншир ответил:

— Да...

Медина-ханум отпустила руку Джаваншира, повернулась и пошла вниз по асфальтовой дорожке.

Когда Медина-ханум убирала руку, ее горячие пальцы скользнули по голому запястью Джаваншира; это прикосновение было таким жгучим, что Джаваншир вздрогнул.

Но вот задул прохладный ветерок, охлаждая запястье Джаваншира. Задул прохладный ветерок, заходило ярко-красное солнце. Кузнечики заводили свою вечернюю стрекотню, время от времени слышалось откуда-то кваканье лягушек.

Дождь пойдет?

Внезапно Джаванширу показалось, что он давно уже тоскует по дождю; ливня жаждала его душа, чтобы страшно загреметь гром, засверкала молния, чтобы все вокруг содрогнулось; Джаваншир всем телом ощутил тугие струи сильного дождя.

Солнце закатилось, край неба постепенно бледнел.

В окне Медины-ханум загорелся свет.

Джаваншир, прислонившись к алычовому дереву, смотрел на освещенное окно и сейчас был на сто процентов уверен, что, когда он пойдет в эту комнату, Медина-ханум встретит его уже в красивом длинном халате и, когда Медина-ханум сядет на диван, в просвете между полами халата будут видны ее ноги.

Самым скверным, самым страшным было то, что ноги Медины-ханум сейчас вовсе не возвещали Джаванширу о каком-то волшебном мире, о каких-то неземных наслаждениях, — эти стройные, красивые ноги были несовместимы со страшной тоской по дождю, по ливню в сердце Джаваншира...

Конечно, он понимал, что так делать нельзя, что это — не мужски, это мальчишество, совершенное мальчишество, однако ноги, собственные ноги не слушались Джаваншира: они уносили его прочь от этой тропинки, от этого алычового дерева и, что самое главное, от этого света в окне; они уносили Джаваншира куда-то совсем в другое место.

Джаваншир, сойдя с тропинки, пошел по траве и сам не заметил, как шушинский дом отдыха остался позади, осталось позади зовущее, ждущее окно; его совсем не стало видно, когда он поднялся в полной темноте на Кругозор в нижней части Шуши.

На Кругозоре никого не было. Звезды не светили. Горели только огоньки сел, расположенных в межгорьях, словно очень далекие созвездия. Джаваншир ощутил, почувствовал близость этой дали, свет этих сел как будто приносил тепло.

Джаваншир сидел на скале лицом к лицу с горами, ему было тепло

от света далеких сел. Поворачивая голову, он следил за огоньками машин на петляющей по склонам дороге Моллы Насреддина. В какой-то момент ему показалось, что он как будто не один, кто-то дышит рядом, причем какой-то знакомый ему человек.

Здесь было очень тихо, только едва слышно журчала речка Дашалты, текущая по дну ущелья. А на той стороне возвышалась отвесная скала Хезне. Она была совсем как живая, эта скала, она дышала, слышала, видела и молчала.

Если в мире была вот эта скала Хезне, если слышалось журчание реки Дашалты, если вот так согревали огоньки далеких сел, то почему Искандер Абышов был недоволен своей жизнью и почему он говорил об однообразии дней?

Потом вдруг ударила молния, полил дождь, а через некоторое, весьма малое, время этот шушинский ливень прекратился так же внезапно, как внезапно и начался.

В глубине души, в самой сокровенной глубине Джаваншир не боялся, что вдруг Медина-ханум не придет к нему на свидание, — Джаваншир не хотел, чтобы Медина-ханум пришла. Он не отдавал себе в этом отчета, но это было так.

Потом постепенно наплыл туман, огоньки напротив сначала расплылись в этом тумане, потом совсем исчезли, исчезла и скала Хезне, и Джаванширу показалось, что наступил завтрашний день, день его рождения, и одна девушка, милая, стеснительная девушка поздравляет его: она принесла испеченный ею самой очень любимым Джаванширом яблочный пирог, она считает Джаваншира самым храбрым человеком на свете, гордится тем, что Джаваншир ничего не боится, ни перед чем не отступает, и это действительно так; эта юная девушка, эта милая стеснительная девушка больше ничего не говорит; страшно смущаясь, краснея, она заставляет себя поцеловать Джаваншира в щеку, и этот легкий поцелуй как бы приподнимает Джаваншира над землей; теперь он может смотреть всем прямо в глаза, потому что Джаваншир любим, потому что Джаваншир — опора, потому что Джаваншир — защита, и Джаваншир в этом окутавшем все вокруг тумане ясно увидел глаза, лицо, волосы Дурдане...

А музыкантам во дворе шушинского санатория играть не пришлось, — Шушу туман окутал, но, перед тем как Садых-муаллим пожелал отдыхающим спокойной ночи, Хусаметдин Аловлу попросил у него разрешения, вышел на середину танцплощадки и прочитал свое новое стихотворение, написанное сегодня:

Ты опять приедешь,
Очень хорошо!
Навсегда приедешь,
Очень хорошо!

Эти строки Хусаметдина Аловлу были по душе Марусе Никифоровой, она слушала самое прекрасное в мире стихотворение.

А в это время Искандер Абышов, стоя в белом халате в дверях библиотеки шушинского санатория, поглядывал на библиотекаршу Наргиз и думал: интересно, кто же ему отправил любовное письмо без подписи? Неужели все-таки Наргиз?

1977, апрель

СКАЗКА СОЛОВЬЯ

Солнце взошло, день настал — и вдруг отсветы хрустальных светильников, золотых подсвечников, серебряных оконных решеток, кованных тавризмскими мастерами, словно брызги желтых чернил, попавшие на промокательную бумагу, потускнели, расплылись, исчезли; пылающие краски ковров, блеск китайского шелка, индийского макура, которыми были обтянуты мутак, тюфячки, занавешены окна и двери, сверкание драгоценных камней на пальцах, запястьях, поясах, шеях, в ушах девушек и женщин, на рукоятках и ножнах кинжалов у мужчин потускнели, погасли, исчезли; стали почти не слышны струны уда звуки песен, которые с тайной печалью пели для него рабыни и служанки; все вокруг окутала какая-то серость; и эта окутавшая все вокруг серость постепенно становилась светлее, прозрачнее, и в бледном свете показалось бледное личико того малыша, того сироты.

Уж сколько дней каждой клеткой своего тела он ощущал скрытую скорбь в дыхании песен, что пели для него служанки и рабыни, в звуках уда, на котором они играли, чувствовал печаль в глубине глаз девушек и женщин, различал во взглядах парней жадные искорки и угадывал их готовность к грядущим схваткам из-за всей этой роскоши, остающейся без хозяина.

Сколько дней кто-то, не уставая, шептал ему на ухо слова Деде Коркута¹: «Уже не смеются твои дочери, невестки, не мажут руки красной хной!» В этом шепоте было откровенное злорадство, как будто те, что шептали, избавились от многолетнего груза зависти; долго они мучились жаждой сказать эти слова, и вот теперь, слава богу, души их успокаивались, они шептали и шептали: «Крупные слезы прольют твои седовласые жены, твои гордые, как лебеди, дочери, твои невестки, острые их ногти проведут борозды на белых лицах, станут они терзать свои румяные щеки, выдирать черные свои пряди; снимут белое, наденут черное; подрежут теперь хвосты у твоих белых скакунов, у серых коней; джигиты твои наденут черное; в доме твоём поднимется вопль».

По страстности, жадности, ревности шепчущих голосов он догадался, что это богатые его знакомые и приятели, которых он разорил за долгие годы; их радость говорила: наконец пришел и твой черед, наконец и с тобой покончено; он не смог представить себе их лиц, увидеть их, но узнал их всех: большинство уже умерло, а их золото, драгоценности, рабыни, служанки, подручные перешли к нему, принадлежали ему, их становилось все больше и больше.

¹ Деде Коркут — герой древнего азербайджанского народного эпоса.

Сколько дней, как он не находил никого, с кем можно было хоть словом перемолвиться, не находил силы, к которой можно хоть воплем дотянуться, не было у него больше ни убежища, ни помощи; все кончилось, была только пустота, был бездонный колодец, и он всем своим существом ощущал, что уже очень скоро он полетит на дно этого темного колодца, потому что даже хан ханов Баяндур не остался в этом мире, и Деде Коркут, который далеко смотрел, слово знал, песни сочинял. Деде Коркут так сказал: «Где те, что кричали, будто мир принадлежит им? Смерть взяла, земля сокрыла, а бренный мир и без них стоит. Преходящий мир, смертный мир! Старый Коркут, ты уже мертв, знай это! Караван ушел, ты опоздал, знай это! Сколько ни живи, конец — смерть, исход — разлука».

Уж сколько дней он умирал, это все знали, и он сам это знал, гость уходящий. Тут ни о каких таких болезнях речи не было, тут старость была, словно стал он деревом в последнюю осень, весь высох, и ствол, и ветки высохли совсем, и тело его состояло только из этого высохшего совсем дерева; ни капли влаги не осталось, и вот сейчас дерево рассыплется, превратится в мешок трухи.

И вот исчезло окружавшее со всех сторон его смертное ложе желтое золотое сияние, пестрый блеск драгоценностей, возникла какая-то прозрачность, и в ее чистоте, в ее непорочности показалось бледное личико того мальчика, сиротки.

Лежа в пуховой постели, он смежил веки и, сосредоточив все свои силы, все внимание, пристально всматривался в бледное лицо ребенка. Конечно, тот еще не знает, что пройдут годы и он станет самым богатым человеком во всем мире от Ирана до Турана, драгоценности его сокровищницы будут цениться на вес, его табунам будут завидовать принцы, его верблюды караваны, груженные хурджунами с шелком и кумачом, проходя Иран и Туран, минуют Западные пустыни, обойдут все земли до самой Андалузии, его корабли будут пересекать океаны; разумеется, ребенок еще не знает, что, не останавливаясь ни перед чем, путями праведными и неправедными, лестью и угрозами, целованием ног и отсеканием голов, поддельным смехом и поддельным плачем он всю свою жизнь будет копить состояние, превратит свою жизнь в сказку, восхищающую всех, но и отталкивающую, пугающую; конечно, этот ребенок еще не знает, что пройдут долгие годы и в последний миг он будет стоять вот так — лицом к лицу с самим собой.

С закрытыми глазами он пристально смотрел в это бледное лицо и удивлялся, откуда взялась такая сила, такая страсть у существа столь слабого, сила и страсть, что не останавливались ни перед чем и из ничего создали состояние, которое теперь не под силу подсчитать и ученым. Потом он удивился: отчего это он вдруг вспомнил того ребенка? За долгие-долгие годы этот ребенок совсем стерся из его памяти, остался далеко-далеко в недостижимом прошлом, и как это

получилось, что вдруг он появился?

Он пристально вглядывался в детское бледное лицо, и теперь уже на свете не было никого, кроме их двоих; в мире были только давно забытая чистота и непорочность, и в этой чистоте виделось бледное лицо; и вдруг ему показалось, что эта прозрачность прошлого — прозрачность воды и бледное лицо тоже смотрит на него сквозь слой воды — длинные волосы разметались в воде, глаза застыли в воде; ему показалось (и внезапно он даже задохнулся), будто, вернувшись назад через годы, через десятилетия, он снова стал милым бледнолицым мальчуганом — и теперь это был он сам с застывшими в воде глазами. Но нет, этого быть не могло; недаром Деде Коркут сказал: «Умерший не воскреснет. Отлетевшая душа обратно не вернется». И тут, будто отделившись от себя самого, как нечто воздушное, он невесомо воспарил над собственным ложем, сверху вниз посмотрел на себя и увидел старика с абсолютно белыми длинными волосами, абсолютно белой длинной бородой, с закрытыми глазами, с подрагивающими бескровными губами на исхудалом лице; и, увидев этого старика, он вздрогнул, испугался синего лица этого старика, пришел в ужас от долгих-долгих лет, прожитых этим стариком; и тут невесомость, воздушность исчезли, его куда-то втиснули, сжали, потому что все исчезло в этом мире, остались только белые волосы и синее лицо; даже собранное, накопленное за долгие-долгие годы богатство исчезло, превратилось в ничто, и во всем мире остался только этот старик.

Снова все вокруг окутала прозрачная дымка, но то бледное детское лицо растаяло в этой дымке, и он всем своим существом почувствовал, что теперь должно показаться что-то иное: это «что-то» тоже было нечто давно забытое, но что — он не знал, однако знал, что оно есть, это «что-то», и должно показаться в этой прозрачной дымке.

Потом перед его закрытыми глазами выплыла зелень изумруда, и он сначала удивился, как проникло сюда тяжелое сияние драгоценностей, но потом понял, что эта зелень не зелень изумруда, не голубизна бирюзы, а голубизна и зелень леса; солнце коснулось леса на прекрасных склонах гор...

Он вспомнил все и среди окутавшей его вокруг лесной зелени увидел давнишнего, виденного много лет назад соловья и услышал соловьиную песню, не радостную лесную, а ту, прежнюю песню, печальную, траурную песню.

Он знал, что сейчас над его головой стоят дочери и невестки, вокруг его ложа выстроились сыновья и зятья, служанки и рабыни поют для него, играют на уде; он знал это, но никого не видел и ничего не слышал, перед его глазами была только лесная зелень, и среди лесной зелени был соловей, и еще слышал он песню этого соловья, но не лесную, радостную, а прежнюю песню, печальную, траурную песню.

Тогда была весна, и его недавно посаженный садик весь расцвел, весь покрылся цветами, и никому не пришло бы в голову, что владелец этого нового садика, молодой купец — этот молодой купец, который день ото дня становился все знатнее, все богаче и ради своей славы, своего богатства забывал о времени, не отличал дня от ночи, не находил часа войти в спальню к своим четырем красавицам женам, одна из которых была из Абиссинии, другая из Китая, третья из Индии, а четвертая с берегов реки Тигр, — что этот молодой купец еще недавно был голодным босоногим сиротой и, чтобы избавиться от голода, делал мыслимое и немыслимое, а потом уж не мог остановиться, все ему было мало, он был ненасытен, ему и везло в этом мире, и ум у него был острый, смекалистый, он копил и копил, золото приносило золото, самые крупные и самые чистые в мире алмазы, изумруды, яхонты, бирюза, жемчуга заполняли фаянсовые кувшины, и страсть к умножению числа этих фаянсовых кувшинов заслонила для него все на свете.

И теперь тень фаянсовых кувшинов могла бы погасить свет лесной зелени, свет соловьиной песни перед его закрытыми глазами, но он собрал все силы и не позволил тени упасть на лесную зелень, и снова на свете ничего и никого не было — ни тех фаянсовых кувшинов, наннзанных на долгие годы, как бусины четок, ни криков и стонов обиженных и разоренных им бесчисленных людей — ничего не было, только солнце коснулось лесных вершин на прекрасных склонах гор, и еще был тот соловей, но соловей пел не радостную лесную песню, а ту прежнюю песню, заливался с прежней печалью и скорбью, и еще был седебородый старик с синесвинцовым налетом на лице.

А тогда была весна, и его новый садик был весь в цвету, весь покрылся цветами, и беломраморный бассейн в центре садика, где изо рта семи отлитых из золота рыб били фонтанчики, приносил самую нежную на свете прохладу, аромат мускуса и амбры в воде бассейна смешивался с запахами цветов, гранатовые деревья, вишневые деревья, альтовые, персиковые, сливовые деревья — все пестрело и благоухало, и в один из этих благоухающих мускусом и амброй цветных весенних дней мимо садика проходил какой-то дервиш, а на железном полумесяце алебарды, которую он держал в руке, сидел соловей — тоненькой, как нитка, железной цепочкой дервиш привязал лапку соловья к деревянной ручке алебарды, и соловей в ту минуту пел самую грустную, самую скорбную песню на свете.

Он посмотрел на соловья, на привязанную к лапке тонкую цепочку и, не говоря ни слова, накидал в дервишью чашку из скорлупы кокосового ореха один за другим десять золотых, и оборвал цепочку, и унес соловья в садик, велел изготовить большую золотую клетку, и каждый день, рано утром и под вечер, урывая минутку, приходил посмотреть на соловья в большой золотой клетке.

Соловей в большой золотой клетке, в цветущем саду, в прохладе семи фонтанов, в благоухании мускуса и амбры стал петь утром и вечером, но, как и прежде, пел очень печально; песни, что он пел утром и вечером, говорили о скорби мира, о печали земли, крохотное существо источало столько горести, столько тоски, что все цветы, не желтевшие от лесного зноя, от осенней хмари, как будто пожелтели и завяли от песни соловья.

Он велел найти второго соловья и пустить в клетку, чтобы соловью не было одиноко, но это не помогло; велел еще больше увеличить, расширить клетку — и это не помогло; наконец однажды, отбросив все дела, вскочил на лучшего в табуна серого жеребца, прискакал в сад, открыл золотую клетку, выпустил из клетки соловья и погнал своего серого жеребца вскачь следом за летящим соловьем; подросток, который служил у него и учился купеческому делу, не оставил его одного, поскакал с ним рядом.

Соловей летел через горы, через доли, купался в ручьях, пил воду из родников; долго ли, коротко ли, над долинами, холмами, равнинами — наконец долетел до леса на прекрасных склонах гор и влетел в старое гнездо в дупле старого дуба; он столько пролетел, что был совсем обессилен, но, с трудом подняв голову, взглянул на лес, и тут леса коснулось солнце, зелень лесная загорелась, свет ударил в глаза, и соловей, собрав последние силы, запел.

В этом лесу на прекрасных склонах гор соловей запел самую веселую песню на свете; эта песня говорила о самых добрых делах на свете; эта песня говорила о цветах, о прекрасных лесах, чистых родниках, прозрачных безднах; песня соловья приносила радость сердцу, приносила веселье; ее слушали прекрасные горы, слушали тенистые скалы, валуны, где жили куропатки, светлые луга, и слушал эту песню он с мальчиком-учеником.

Сидя на своем жеребце, с ног до головы покрытым пенной от скачки, он смотрел на старый дуб, смотрел на маленькое дупло в стволе дуба и слушал соловьиную песню. Он понимал, что это последняя песня соловья, понимал и то, что соловей сам тоже это чувствует, сам это ощущает, соловей сам знает, что это его последняя песня, — и поет.

И дыхание соловья оборвалось, песня кончилась.

В лесу наступила тишина.

Воцарившуюся в лесу, на прекрасных склонах гор тишину нарушил юный купец:

— Глупый соловей! — сказал он, — В золотой клетке, в цветах тебя содержали, но там тебе не жилось, ты выбрал дупло в лесу, и вот сердце твое разорвалось и ты умер.

Он отвел глаза от гнезда в дупле дуба, взглянул на юного купца и не сказал ни слова.

Серый жеребец вскоре вышел из леса.

Лес на прекрасных склонах гор остался позади.

Потом тот лес совсем забылся, и тот соловей начисто изгладился из памяти.

Прошли дни, месяцы, годы, и в течение этих долгих-долгих лет ни лес, ни соловей никогда не вспоминались ему.

И вот теперь все вокруг окутала изумрудная лесная зелень, и среди этой изумрудной зелени соловей не запел своей радостной лесной песни, он все пел и пел прежнюю, печальную, горестную песню.

С закрытыми глазами он смотрел на окутавшую все вокруг лесную зелень и очень хотел, чтобы соловей спел ему радостную песню, поведал о прекрасных лесах, чистых родниках, прозрачных безднах этого мира, о самых добрых делах на свете, но соловей все пел ту печальную песню, которую он пел в золотой клетке, и он понял, что эта песня исходит из собственного его нутра, что это его собственная последняя песня и эта последняя песня никогда не станет лесной.

Потом окутавшая все вокруг лесная зелень исчезла, и песня соловья прервалась, и снова все вокруг стало серым, и в этой серости он снова как будто посмотрел на себя сверху вниз, снова увидел белые волосы, белую бороду, сине-свинцовое худое лицо и на этот раз уже не вздрогнул, потому что не было времени вздрагивать, дно темного колодца влекло его к себе.

У него не было уже времени слушать саз, прислушиваться к словам Деде Коркута, он был поглощен делами, но в этот последний миг его позвали словами Деде Коркута: его позвал отец, которого он никогда не видел: «Сын мой, сынок мой, сынок! Вершина моей горы, сынок! Сила моих рук, сынок! Леность моих глаз, сынок!»

Он взглянул на себя сверху вниз и нашел время только удивиться: разве о таком седовласом, седобородом можно сказать «сынок»? И еще ему удалось лишь вспомнить того юного купца в лесу на прекрасных склонах гор и, собрав все силы — последние силы, — прошептать самому себе: «Глупый юнец»; а потом он полетел на дно того темного колодца, и все кончилось.

1980, май

СВАДЕБНАЯ БАНЯ БАЛАДАДАША¹

Памяти Полада Меджнунбекова

В тот осенний день на Абшероне внезапно начался сильный норд — просто ужас; он все дул и дул, вспенивая море, казалось, он никогда не перестанет, так и будет дуть; море под ветром косыми волнами набегало на берег, как река, и белые-белые вспененные волны напоминали чаек, слетевшихся сюда со всего мира и усеявших поверхность моря. На абшеронских дачах норд поднял с песка пожелтевшие виноградные лозы, и они поднялись как змеи, стоящие на хвосте перед заклинателем; листья маслиновых деревьев повернулись все в одну сторону; ветер гнал на юг купы бело-серых облаков; но странно: в тот осенний день в абшеронском небе светило солнце, и облака плыли по течению ветра, отбрасывая тени на море, на песок, на береговые скалы.

Впрочем, ближе к вечеру норд стал утихать, и у чайханщика Газанфара слегка улучшилось настроение, потому что постепенно стали прибывать посетители, и если так будет продолжаться и дальше, вскоре в чайхане Газанфара не останется ни одного свободного табурета, чайчи Газанфар, как обычно, будет заваривать чайник за чайником, носить в каждой руке по десять поставленных друг на друга грушевидных стаканчиков с чаем, и тогда о настроении чайчи Газанфара вообще нечего будет говорить, ибо тогда все увидят вновь, каков он, чайханщик Газанфар, и что не зря поместили в газете его фотоснимок — чайчи Газанфар, несущий по десять стаканов в каждой руке; одна к одной будут собираться рублевки в ящике старого письменного стола под желтым медным самоваром, рублевки сменяться трешками, трешки — пятерками, и каждый раз, беря трешку и возвращая рубли, чайчи Газанфар от всей души поздравлял бы самого себя.

...Этот старый письменный стол секретаря сельсовета Сугра списала с баланса правления, и чайчи Газанфар взял этот списанный с баланса письменный стол, сам починил его и приспособил под самовар у себя в чайхане. Раз в неделю чайчи Газанфар стелил на дно верхнего ящика письменного стола новую газету, и каждый раз ему доставляло особое удовольствие, вынимая старую газету, запачканную пятнами чая и лимонного сока, находить закатившиеся в течение недели под газету пятнадцатикопеечные и двадцатикопеечные монеты, что еще раз

¹ Рассказ получил премию Союза Писателей СССР, а так же еженедельника «Неделя» (Москва) «За лучший рассказ года» в 1982 году.

подтверждало, как благодатен этот письменный стол, служивший прежде секретарю сельсовета Сугре.

Чайхана постепенно заполнилась людьми, ветер мало-помалу прекратился совсем, но в море, на которое наплывал издали сумрак, все еще белели гребешки волн.

— Дай-дай¹, да буду я твоей жертвой, и мне стаканчик чая!

Это произнес сидевший в уголке Амиргулу.

Чайчи Газанфар посмотрел на Амиргулу и подумал про себя, что, ей-богу, жаль Хейрансу: такая приличная женщина, а вынуждена называть этого болвана своим мужем. И, поморщившись, он сказал:

— Слушай, ты же говорил, что тебя в гости позвали, в Бузовны?

Амиргулу всегда был несколько на взводе, как чайники на медном самоваре чайчи Газанфара. И он ответил:

— Ну да, вот я нарочно и опаздываю! Когда в гости опаздываешь, тебе назначают стакан водки. Ну как, дай-дай, хороший штраф?

«Пепел на твою голову!» — подумал чайчи Газанфар; конечно, он отлично знал, что Амиргулу, как всегда, привирает, что ни в какие гости его не приглашали, что отлучился он ненадолго, лишь в винный магазин, чтобы выпросить в долг стакан сладкого вина, но все же чайчи Газанфар налил чаю и поставил перед Амиргулу: кто бы ни был Амиргулу — это был клиент, а чайчи Газанфар был обязан обслужить клиента.

Вошли Алекпер и Серебряный Малик, и, в сущности, с этого момента началась история свадебной бани Балададаша.

Серебряный Малик сказал:

— А ну, Газанфар, завари-ка нам чаю со слониками. Чаем со слониками называли индийский чай.

— Есть, гадеш!²

Чайчи Газанфар торопливо направился к письменному столу и, выдвинув один из ящиков письменного стола, достал банку с индийским чаем, который он держал для особых клиентов.

Серебряный Малик с Алекпером, видно, пришли после того, как наелись вдосталь отличного шашлыка и выпили водки, потому что как только они вошли, к ароматам чайханы — запаху углей, чая, лимона, слабому запаху темно-коричневой краски, которой три дня назад выкрасили дверь, — примешался и запах спиртного; правда, и от Амиргулу тоже потягивало спиртным, но запах спиртного, идущий от Алекпера и Серебряного Малика, был совсем иным: в этом запахе ощущался и запах жирного шашлыка; и хотя чайчи Газанфар терпеть не мог, когда в чайхану приходили выпивши, на этот раз он не пробурчал себе под нос ничего обидного для столь уважаемых

¹ Дай-дай — ласковое обращение к старшему.

² Гадеш — буквально: братец.

клиентов, во всяком случае, на лице его нельзя было заметить недовольства, когда он принес и поставил перед Алекпером и Серебряным Маликом чайник индийского чаю, мгновенно заварившегося, так как он не пожелал заварки, нарезанный лимон, два стаканчика и спросил:

— Как дела, родные мои?

Серебряный Малик в эту минуту рассуждал о своем и в самом деле весьма упитанном животе, «что живот — бельмо на глазу у завистников», мол, пусть недоброжелатели корчатся от досады, что у него такое сытое и круглое пузо: выпятив живот, расстегнув ворот красной нейлоновой сорочки, упарившись от выпитого чая, Серебряный Малик напевал себе под нос куплет:

В Локбатан приехали мы дотемна,
Там торгует жвачкой красotka одна.

— Эй, горячка, почему твоя жвачка?

— Приходи, как стемнеет! — мигнула она.

— Как дела, дорогие? — повторил Газанфар.

Заслышав вопросы чайчи Газанфара, Серебряный Малик взял горячий чайник в свою большую ладонь, поднес этот чайник к самому носу чайчи и сказал:

— Смотри, Газанфар, вот чай со слониками, ты сам его заварил. А каков он, а, этот чай со слониками?

Чайчи Газанфар невольно скосил глаза на чайник перед своим носом и сказал:

— Что надо!

— Серебряный Малик сказал:

— Молодец! Вот и мы так. Что надо!

— Чайчи Газанфар сказал:

— Дай бог вам выше головы! — и направился к своему письменному столу.

Чайчи Газанфар любил денежных клиентов, но разговаривать с пьяными он не любил, а особенно с таким пьяным, как Серебряный Малик, потому что, когда Серебряный Малик напивался, даже просто был навеселе, вся дрянь, которая сидела в этом живоглоте, вылезала наружу, а трезвый он был ничего, знал, что есть старшие и младшие, помнил — кто есть кто, хотя всему селу было известно, что Серебряный Малик из тех, кто зайцу коварно говорил «беги», а волку — «держи».

Сейчас Серебряный Малик нарочно так громко хвалился: у него здесь немало недругов, и пусть они видят, корчась от бессильной злобы, что дела у Серебряного Малика идут еще лучше прежнего.

В свое время на самом берегу моря, ниже чайханы Газанфара, у Малика была шашлычная «Гвоздика». В государственных документах

она тоже значилась чайханой, но Серебряный Малик сделал ее шашлычной, знаменитой на весь Абшерон. И нашлись недоброжелатели, написали в Баку, что «Гвоздика» — не государственная чайхана, а частная шашлычная Серебряного Малика, и в конце концов по селу разнеслась весть, что шашлычную Серебряного Малика закрыли. И действительно, однажды утром подъехал бульдозер и сровнял «Гвоздику» с землей. Но очень скоро выяснилось, что утрата «Гвоздики» не подкосила против ожидания Серебряного Малика, что через какое-то время в самом Баку неподалеку от кладбища он открыл новую шашлычную и назвал ее «Прощание». Тут уже никто ничего писать не стал, потому что недруги Малика решили, что если удастся добиться, чтобы и «Прощание» закрыли, то Серебряный Малик, чего доброго, станет директором «Интуриста», и чем строчить письма и тем самым лить воду на мельницу Серебряного Малика, лучше уж оставить его в покое... Во всяком случае, именно так шутил среди своих дружков сам Серебряный Малик. Говоря о своих врагах во множественном числе, он, по правде говоря, подозревал в селе только одного писаку — библиотекаря Наджафа; правда, мог еще написать заведующий магазином «Фрукты — овощи» в Бузовнах Нерсес Варганович. Как бы то ни было, пусть народ своими глазами видит, что у Серебряного Малика все отлично и у Алекпера все отлично — еще лучше, чем прежде.

Попивая пурпурный чай из грушевидного стаканчика, Серебряный Малик напевал куплеты о локбатанской красотке, а Алекпер улыбался и качал головой: мол, ну ты и штучка., Малик, ну ты даешь. Затем Алекпер взял тонкими изящными пальцами свой стаканчик и аккуратно, намного деликатнее, чем Серебряный Малик, стал прихлебывать чай.

Насколько Серебряный Малик был толст, волосат и коряв, настолько Алекпер был тщедушен, белокож, безволос, даже голова у него была совершенно лысая, и только небольшой животик выпирал, да и то, видимо, благодаря Серебряному Малику, вернее, их бесконечным «закусонам» и «выпивонам».

Говорят, однажды вышли в дорогу семь свояков, семь суток днем и ночью шли вместе по дороге, наконец, когда дошли до цели, все семеро пожалели, что ни одного человека на дороге не встретили, чтобы парой слов перекинуться. Серебряный Малик и Алекпер тоже были свояками уже двадцать лет, но они не были похожи на тех семерых: вместе ели-пили, много раз за эти двадцать лет вместе ездили развлекаться в Тбилиси, Кисловодск, Одессу и исправно обманывали своих жен, во всяком случае, так говорили все их односельчане от маклерши Зубейды до садовника Асадуллы, и пусть это будет на их совести.

Но тем не менее Серебряный Малик и Алекпер были совершенно

разные люди; насколько Серебряный Малик был вспыльчив, настолько Алекпер был выдержан и спокоен; Серебряный Малик резал свое прямо в глаза всем без разбора, не задумываясь, а Алекпер в жизни никому ничего не сказал, как следует не подумав, и так далее. Итак, два свояка в этот осенний день сидели в чайхане Газанфара и пили индийский чай.

Чайхана постепенно заполнялась людьми, Амиргулу со стороны смотрел на Серебряного Малика и думал, что худого человека никто не уважает, а дородного — все уважают; вот ведь как уважают Серебряного Малика, а его самого, Амиргулу, ничуть не уважают, а между тем какая между ними разница?

Серебряный Малик ест только на серебре, серебряными вилками-ложками, потому что, говорят, это и для желудка, и для кишечника полезно — поэтому люди его и прозвали Серебряным Маликом. А Амиргулу в отличие от него обычно не имел за душой ни гроша, а уж если грошик и заведется — тут же отдает за стакан вина. Ну и что, все пройдет в этом мире, все пройдут — ни Серебряный Малик не останется на земле навечно, ни Амиргулу.

Хмель от двух стаканов сладкого вина, выпитого Амиргулу в полдень, понемногу проходил, и потому-то Амиргулу предался таким грустным мыслям.

В это время в чайхану вошел Балададаш.

Разумеется, Балададаш понятия не имел, что Амиргулу сейчас думает о мирской суете; отряхивая сзади брюки, здороваясь с посетителями чайханы, он прошел и сел напротив Амиргулу. Удивительно было то, что Балададаш в эту минуту и сам думал о мирской суете, о превратности людских судеб.

Некоторое время тому назад Балададаш возил из Баку камни для строящегося в верхней части села санатория и каждый раз, ведя машину мимо аэродрома в Бина, наблюдая за взлетающими и садящимися самолетами, машинами, мчавшимися по абшеронским дорогам то туда, то сюда, он думал, сколько людей на этом свете находятся не там, где хотели бы, не там, где должны быть, а всё торопятся, едут туда, едут сюда. Ясное дело, Балададаш много видел взлетающих и садящихся самолетов, и вся жизнь его прошла среди машин (его отец Агабаба тоже был шофером), но на этот раз он как будто по-новому взглянул на эти самолеты, на эти машины — и сам понял, почему так взглянул.

Балададаш большим пальцем приподнял сзади свою кепку-«аэродром» и почесал затылок. Прошел год, как Балададаш вернулся из армии. И как же он спешил сюда, вот на этот абшеронский берег спешил, вот в это село спешил; он закрывал глаза и видел себя водящим машину по дорогам Абшерона, ощущал во рту соленый привкус Каспийской воды. За два года воинской службы в Амурской

области, а потом обучения на курсах водителей, наверное, не было ночи, чтобы Балададаш во сне не купался в Каспийском море, мысленно не бродил босиком по песку, чтобы в самую лютую стужу, в разгар амурской зимы, раскаленный апшеропским солнцем песок не обжигал его голые ступни; чтобы и днем в местах своих он не ел виноград, не рвал инжир, не обминал пальцами гранат, не высасывал его; не было дня, чтобы Балададаш не оглядывал мысленным взором всех своих шестерых сестер — и Наилу, и Фирузу, и Кямало, и Амало, и Дильшад, и Бююкханум, своих младших братьев Агаюля и Нухбалу (они тоже были в армии), своего отца Агабабу и мать Агабаджи, да, в сущности, все село, даже вот этого самого Амиргулу.

И вот теперь Амиргулу сидел напротив Балададаша и пил чай, но ему и в голову не приходило, что Балададаш, будучи на военной службе в Амурской области, представлял его себе и мечтал вот так сидеть с ним лицом к лицу и пить чай.

Уже год, как Балададаш вернулся из армии домой, уже год, как Балададаш водит по дорогам Абшерона совершенно новенькую грузовую машину строительного управления № 3, но жизнь действительно странная штука: теперь Балададаш все чаще видел себя в Амурской области, в тех бескрайних, исполинских просторах, и порой Балададашу делалось как-то тесно в треугольнике Абшерона.

Отпив глоток, Балададаш поставил грушевидный стаканчик на блюдце и, большим пальцем приподняв сзади свою кепку-«аэродром», почесал затылок.

— Эй, мальй, поди-ка сюда!

Это, глядя на Балададаша, сказал Серебряный Малик.

Балададаш сперва будто не поверил своим ушам, потом лицо Балададаша потемнело, и это тотчас подметил чайчи Газанфар и подумал: черт побери, вечер, столько народу, как бы не вспыхнул скандал; обычно милиционер Сафар всегда по вечерам тут как тут, тоже пьет чай, а теперь, как назло, его нет. Балададаш был из весьма почитаемых молодых людей села, и чайчи Газанфар хорошо знал, что Балададаша нельзя вот так подзывать при всем народе и что на Балададаша нельзя смотреть вот так, сверху вниз.

— Ну что, эй, ты? Я не с тобой, что ли? — гаркнул Серебряный Малик.

— Что? — с трудом произнес Балададаш.

— У тебя машина на ходу? — спросил Серебряный Малик.

— Говори, что надо.

— Поди выведи свою машину, поезжай к нам за всякой снедью. Свезешь ее в Баку нашим детям.

Дочь Серебряного Малика в позапрошлом году окончила консерваторию по классу фортепиано. В Баку она вышла замуж. Муж ее был композитор. Серебряный Малик как мог опекал супругов. В своей

шашлычной он щедро угощал людей, полезных для дочери и зятя, разных профессоров, организующих музыкальные конкурсы, членов жюри со всеми их друзьями и приятелями, иногда навещал этих людей у них дома и, конечно, не с пустыми руками.

Серебряный Малик, тяжело приподнявшись и склоняясь на одну сторону, сунул руку в карман и, вытащив оттуда двадцатипятирублевку, объявил Балададашу:

— Гляди, вот эту двадцатипятирублевку я прилеплю тебе на лоб! Чайчи Газанфар понял, что дела плохи.

Посетители чайханы не проронили ни звука.

Амиргулу, увидев такое дело, подумал, что ни копейки не стоит этот мир, в котором один человек норовит унижить другого. Ну чего он сидит тут с утра? В Бузовны, в магазин дядюшки Нерсеса, такое вино поступило, хоть святого зови, и то напьется. Амиргулу поднялся и улизнул из чайханы.

Балададаш тоже встал, отряхнул сзади брюки, подошел, встал перед Серебряным Маликом и Алекпером и сказал:

— Эту двадцатипятирублевку ты отнеси и приклей на лоб моему своднику-зятю и стукни его с твоей дочерью головами друг о друга!

У Серебряного Малика глоток застрял в горле. Теперь он как будто очнулся и понял, с кем он говорит, как говорит и где говорит, понял, что ответить Балададашу нельзя, потому что из глаз, глядящих из-под кепки-«аэродрома», изливалась ярость, а тело этого статного парня было как натянутый лук.

Серебряный Малик, отведя от Балададаша свои заплывшие жиром глаза, оглядел по одному всех сидящих в чайхане и сказал только:

— Ну что ж, братец, у тебя тоже будет дело ко мне!

— К таким, как ты, у меня дел не будет! — отрезал Балададаш.

Сидевший все это время абсолютно молча Алекпер поставил на блюдце стакан, который держал дрожащими от волнения пальцами, смерил Балададаша взглядом с ног до головы и спросил:

— Не будет, говоришь? Никогда не будет?

— Никогда не будет.

— Ну что ж... — Внезапно на тонком лице Алекпера появилась ироническая гримаска. — Ну что... К нему дела не будет, но ко мне-то будет!..

— И к тебе не будет.

— Посмотрим!

— Посмотрим!

Балададаш так произнес это «посмотрим», что даже сдержанный Алекпер вздрогнул и испугался, что Балададаш сейчас двинется и на него, но тут же вспомнил про своего младшего брата Агакерима, в прошлом году закончившего в Баку юридический факультет и теперь работающего в Мардакянах в милиции, и потому Алекпер тотчас

успокоился.

Балададаш посмотрел на Алекпера, посмотрел на уже совершенно протрезвевшего Серебряного Малика и, чертыхнувшись, тяжело вышел из чайханы, хлопнув свежеекрасневшей скрипучей дверью.

Чайчи Газанфар с облегчением вздохнул.

Посетители чайханы хорошо понимали, почему Балададаш сдержался, почему ушел из чайханы без драки.

Дело было в том, что ровно через шесть дней у Балададаша должна была состояться свадьба. Посетители чайханы хорошо поняли и то, почему Алекпер говорил так двусмысленно и так смело. Нет, не только потому, что младший брат Алекпера Агакерим был милицейским чинов в районном центре, — это само собой, хотя все знали, что Балададаш, как и его отец Агабаба, не из тех, кого это может напугать. Нет, не поэтому, а потому — и это главное, — что Алекпер заведовал сельской баней, и все молодые люди села, вступающие в брак, традиционный обряд свадебного омовения совершали в этой единственной бане, где Алекпер был заведующим и где в любое время, если пожелает, под предлогом ремонта или еще под каким-нибудь предлогом, он вешал на двери большой замок, и за то, чтобы отомкнуть этот большой замок, требовал хорошего вознаграждения.

В этом селе главным распространителем слухов среди женщин была маклерша Зубейда, а среди мужчин — сам чайчи Газанфар, и, естественно, в тот же вечер разговор между Алекпером и Балададашем стал известен всему селу.

В сердце Бики, невесты Балададаша, работавшей медсестрой здесь же в медпункте, закралась тревога, так что она даже глаз не могла сомкнуть этой ночью: вдруг накануне свадьбы ее Балададаш что-нибудь выкинет? Мать Балададаша, Агабаджи, улучив минуту среди свадебных хлопот, умоляла сына не связываться с Серебряным и Алекпером: они опасны, они деньгами ворочают; сестры Балададаша — Наила, Фируза, Кямала, Амала, Дильшад и Беюкханум — метались в тревоге и еще чище выстирывали рубашки своего старшего брата Балададаша, еще старательнее выглаживали его брюки, пиджак, еще смиреннее подавали ему обед.

Отец Балададаша, Агабаба, ограничился лишь тем, что несколько раз многозначительно кашлянул при Балададаше.

Жена Алекпера, Анаханум, ночью, расчесывая волосы перед тем, как раздеться и лечь на супружеское ложе, долго ворчала по поводу Балададаша:

«Я тебя заклинаю, Алекпер, — говорила она, — не связывайся с этим хулиганом». Потом она улеглась в постель, прильнула к своему мелкостному мужу полным, мягким телом и, обхватив Алекпера обеими руками, сказала: «В день свадьбы отдай ключ Самедаге, а сам не ходи в баню — хочешь, вместе в кино съездим, в Баку!»

У самого же Серебряного Малика днем мысли были настолько заняты торговыми делами, что и Балададаш, и Алекпер вылетели у него из головы. Но как только он сел вечером в красные «Жигули» и поехал в село, ему вдруг вспомнилась ссора с Балададашем, и Серебряному Малику сделалось плохо.

Секретарь сельсовета Сутра вызвала ближайшего друга Балададаша — шофера Азизагу и заявила ему, что если Балададаш вздумает устроить скандал, то пусть имеет в виду, что милиционер Сафар находится при исполнении своих служебных обязанностей. Она добавила, что об этом же предупредила и Алекпера, но этому Азизага не поверила — Сутра не станет ни о чем таком предупреждать Алекпера, потому что хочет устроить своего сына на работу в милицию в Мардакянах. Все село ожидало свадебной бани Балададаша.

Шли разговоры, будто сельский аскал мясник Агакиши ходил к Алекперу: мол, в селе давно уже свадьбы проходят без поножовщин и драк, так пусть Алекпер не портит людям настроение, и будто бы Алекпер ничего не сказал, но улыбнулся. Часть сельчан истолковала молчание Алекпера в том смысле, что в день свадьбы он не станет связываться с Балададашем, не такой уж он храбрец, этот Алекпер, чтобы задевать Балададаша; но другая часть говорила, что Алекпер — это Алекпер, он должен заставить Балададаша поклониться ему, чтобы показать людям, кто есть кто, иначе уронит себя и свою родню в глаза людей, потому что люди убедятся в том, что и сам Алекпер, и Серебряный Малик просто-напросто мыльные пузыри.

Амиргулу, выпив полуденную норму вина, сидел у своих ворот под тутовым деревом и, прислонясь спиной к толстому стволу, икая, повторял:

— Да что за удовольствие, если свадьба без скандала?! Надо, да, чтобы на свадьбе была драка! Клянусь, — говорил он, позевывая и прикрывая рукой рот, — я тоже давно уже не играл ножичком. Заржал-вел мой нож, не нравится мне это, да...

Стиравшая на веранде Хейранса поглядывала на Амиргулу и шепотом, чтобы не слышали соседи, бормотала:

— Ну и нашелся храбрец! А мы, счастливые, ничего не знали...

Маклерша Зубейда, которая недавно нашла в Баку комнату для студента, приехавшего на учебу из района, как раз в день свадьбы Балададаша должна была ехать в Баку, но впервые за всю свою жизнь она пожертвовала десяткой и осталась дома, чтобы своими глазами увидеть, чем кончится эта катавасия.

Вся родня знала, что Балададаш очень любит Азизагу и поэтому избрал Азизагу шафером, и Азизага пообещал Бике, дал слово Агабаджи, что он не допустит ничего худого, пусть все будет спокойны. Он даже сказал Агабабе:

— Будь совершенно спокоен, дядя Агабаба. Агабаба посмотрел на

Азизагу, но ничего не сказал, потому что между ним и молодежью сохранялась должная дистанция и ему не пристало опускаться до того, чтобы выказывать гнев или беспокойство.

...Это был удивительный день. Словно не конец осени, а середина весны. В этот день скалы, виноградники, песчаный берег, море, вся природа вокруг сияли свежими яркими красками. Исходящий от инжирных, гранатовых, тутовых, айвовых деревьев золотистый свет окутал село, и Бикия, сидя дома перед зеркалом в окружении подружек, глядела из окна на село, словно дремлющее в золотистом свете, и с тревогой в сердце говорила:

— Да сохранит его аллах! Какой день сегодня выдался на наше счастье! Наверное, это потому, что сердце чистое у Балададаша! Хоть бы аллах не омрачил этот день, не забыл о нас...

Маклерша Зубейда, которая на свадьбах так и липла к молодым девушкам, — с одной развязно шутила, другой подмигивала, третьей делала знаки, — на сей раз тоже посмотрела в окно на село в золотистом свете и с глубоким вздохом сказала:

— Дай бог! — и этим вздохом еще больше растрожила Бикию.

Молодые раскинули в своем квартале шатер. Агабаба вызвал из Маштагов певца-ханенде, и этот певец приехал с группой музыкантов. Поговаривали даже, будто должен был приехать сам Гаджибаба Гусейнов¹, но ему не удалось отвертеться от концерта в честь Дня железнодорожника в Баку.

Для приготовления бозбаша пригласили повара детского сада Гусейнгулу, знаменитого на всю округу, и поэтому первый почитатель бозбаша в селе зубной врач Агаали с утра ни к чему не притрагивался, чтобы вкусить бозбаш Гусейнгулу во всей его прелести.

И вдруг в этот осиянный золотым светом осенний день по селу распространилась весть, что Алекпер, сидя в бане в устроенном на собственноручные деньги кабинете, щелкает на счетах и всем говорит:

— Самедага сегодня отпросился у меня, занимается цветами в своем саду. Я сказал ему, что, если понадобится, я его вызову.

Самедага был истопником в бане.

Понятное дело, это означало, что Балададаш или даже сам Агабаба должны прийти к нему на поклон или в крайнем случае послать человека с просьбой растопить баню. Не отправится же Балададаш на виду у всех на свадебное омовение в Маштаги, Бузовны или Шувеляны, а если жених не искупается перед свадьбой, то что это за свадьба? Такая свадьба не подобает ни Балададашу, ни Агабабе.

Друзья хорошо знали характер Балададаша, и поэтому, когда подошло время свадебной бани, все пришли в недоумение и не знали, что предпринять: один из друзей хотел пойти и сделать так, чтобы у

Алекпера материнское молоко через нос вытекло, но ему сказали, что это может не понравиться Балададашу; другой хотел пойти и всадить нож в брюхо Серебряному Малику, но ему заявили, что нехорошо проливать кровь в день свадьбы. В конце концов все посмотрели на Азизагу, и Азизага пошел к Балададашу.

— Ну вставай, пошли в баню! — сказал Азизага. — Да кто он, слушай, этот Алекпер, убей его бог! У человека один раз в жизни бывает свадебная баня. Пошли, ты не вмешивайся, я сам ему скажу, пусть он вызовет Самедагу и разведет огонь. Я знаю, как с ним говорить!

Балададаш отряхнув сзади свежевыглаженные черные брюки, сказал:

— Ты что, не знаешь меня?

И так он это произнес, будто и вправду усомнился, что Азизага, с которым они вместе выросли, его знает. Азизага окончательно вышел из себя:

— Клянусь жизнью единственного брата, я сейчас разыщу Серебряного Малика и, если он сам не пойдет и не заставит этого подлого истопить баню, кишки ему выпущу!

Сказав это, Азизага собрался выйти из комнаты, и тут Балададаш протянул руку, снял со стены висевшую на ковре двустовку и, прижав к плечу приклад, направил дуло на Азизагу.

— Иди вперед!

— Ты что, спятил?

— Я сказал тебе, иди вперед! — Балададаш так произнес эти слова, что у Азизаги не осталось никакого сомнения в их серьезности.

— Слушай...

— Ты же знаешь, что я не шучу! Ступай вперед!

— Да куда идти-то?

— Купаться!

— Ты кровь хочешь пролить?! Слушай, жалко Бикию...

— Ступай вперед!

Азизага про себя обложил могилы всех предков Алекпера: проклятый сукин сын Алекпер, всем нам устроил гадость, только-только мы как-то встали на ноги, только-только хлебное местечко заимели (Азизага вот уже семь месяцев водил маршрутное такси из села в Баку и из Баку в село, и получить эту машину ему была ох как нелегко)...

Когда Азизага, а следом за ним и Балададаш с ружьем в руке вышли из дому, свадебные тюки так и остались в комнате, а во дворе началось столпотворение. Повар Гусейнгулу, сидя под лохвым деревом, резал лук для свадебного бозбаша; увидев Азизагу, а за ним Балададаша с ружьем, он впервые в жизни вместо лука резанул себя по пальцу; у маштагинского ханенде, сидевшего с друзьями под навесом

¹ Известный азербайджанский исполнитель народной песни и мугамов.

за чаем, округлились глаза, хотя этот певец-ханенде обслужил немало свадеб на Абшероне и всякого навидался; женщины подняли визг, молодые ребята, детвора бросились следом за Балададашем и Азизагой; Амиргулу сидел, прислонясь спиной к толстому стволу тувового дерева перед своими воротами, и весь мир ему был ничем, но, увидев Азизагу, а следом Балададаша с ружьем в руке, увидев, как за ними идут сельские парни, подростки и детишки, он вскочил и тоже побежал за процессией; когда эта весть донеслась до Агабаджи, она разодрала ногтями лицо, закричала: «Вахсей! Пропали мы! Он пойдет и убьет этого банщика, этого сына шакала Алекпера!» — и стремглав побежала во двор.

Когда новость дошла до Агабабы, он нахмурил кустистые брови, ничего не сказал, отбросил под инжирное дерево окурочек сигареты, который держал между пальцами, пожелтевшими от табака, и зажег новую сигарету.

В мгновение ока новость донеслась и до Бики, и Бики упала в обморок, а маклерша Зубейда, с сокрушением покачав головой, сказала, что в последний раз в этом селе убили человека во время свадьбы двадцать лет тому назад...

По всему селу разнеслась весть, что Балададаш с ружьем в руках, ведя перед собой шафера Азизагу, направляется к бане, и, естественно, эта весть донеслась до Алекпера, который щелкал на счетах и якобы перебирал документы у себя в кабинете в бане, и Алекпер тотчас потерял свою неизменную выдержку — она улетучилась в золотое абшеронское небо. Он решил было побежать, позвонить из сельсовета своему младшему брату Агакериму в районный центр, но не осмелился выйти на улицу, жуткий страх обуял его, он забормotal про себя: «Чтоб ты сгорел, Малик! Чтоб ты под трамваем остался!» Он решил было позвать на помощь людей, но в такой момент на односельчан надеяться не стоило, и он крепко-накрепко запер наружную дверь бани, потом крепко-накрепко запер изнутри свой кабинет и остался в бане один-одинешенек: пока Балададаш дойдет сюда и будет по одной ломать эти двери, наверное, подоспеет милиционер Сафар.

Но Алекпер не знал, что, оказывается, Балададаш идет вовсе не в сторону бани: выйдя из села, он направился к приборным скалам. И в селе не осталось ни одного парня, подростка, ребенка, все двинулись следом за Балададашем и идущим впереди, под дулом ружья, Азизагой.

— Слушай, да опусти ты ружье! Я же и так иду!? Куда скажешь, пойду с тобой! Опусти ружье...

— Молчи!

Село осталось позади, и они, спустившись со скал, вышли на берег.

В этот осяянный золотистым светом последний осенний день на небесах, над песками, скалами, над всем этим краем застыли огромные

белоснежные облака, а между купами этих белоснежных облаков сквозила ясная голубизна, а море было серо-зеленым, а вдоль всего горизонта тянулась голубая полоса, как будто по ту сторону горизонта находилась другая часть моря, вторая половина, и та далекая вторая половина моря была еще чище, еще голубее. Едва они спустились со скал на песок, Балададаш разрядил дустволку в воздух и нарушил покой побережья в тот последний осенний день; затем Балададаш отбросил в сторону ружье, раздеваясь на бегу, кинулся в море, и, точно вдруг доняв, в чем дело, Азизага, а с ним и вся толпа молодежи с криками, воплями, раздеваясь по дороге, в чем мать родила, бросились в море, и никто не обратил внимания, что уже осень, не обратил внимания, что море — ледяное, и, наверное, рыбы в этот золотистый последний осенний день, спокойно плававшие вдоль берега, испугавшись внезапного плеска, внезапного безумного крика, внезапной радостной тревоги, бросились прочь от берега.

Вдруг Амиргулу, выпрыгнув из воды, во всю мочь закричал:

— Алекпер! Эй, Алекпер!

И тут все купальщики по одному, а потом все вместе, выпрыгивая из воды, начали выкрикивать:

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

Эти крики разносились по берегу, который с середины сентября уже столько времени пребывал в покое и слышал лишь завывание ветра, гул моря.

Чайки, кулики взмыли в воздух и, наверное, ничего не поняв, с криками полетели от купальщиков,

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

Вот так, не переставая: кричать, толпа купальщиков во главе с Балададашем и Азизагой возвратилась в село, и, уже осведомленные обо всем происходящем, сельчане такой и увидели эту толпу во главе с женихом и шафером.

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

— Алекпер! Эй, Алекпер!

Когда они проходили мимо бани, Балададаш замедлил шаг, все умолкли, и Балададаш громко закричал:

— Эй, Алекпер! Вот твоя баня, и вот ты! Я искупался в море! И мой сын... — Сначала Балададаш не мог найти слов, чтобы продолжить свою мысль, но он почувствовал, что в этом месте должен сказать что-то поистине выдающееся. — Мой сын... — Балададаш снова запнулся.

— Мой сын будет похож на море, а не на твою поганую баню!

Затем все с шумом, с криками двинулись к свадебному шатру, сооруженному в нижней части села.

Серебряный Малик тоже стоял здесь, правда в стороне от бани, потому что Серебряный Малик не хотел, чтобы в такой день люди видели его у бани этого болвана Алекпера.

Что же до чайчи Газанфара, то чайчи Газанфар, вдосталь насмотревшись на эти события, которые он видел от начала до конца, сказал стоявшему рядом с ним библиотекарю Наджафу:

— Клянусь жизнью, Наджаф, ровно неделю буду тебя... — Чайчи Газанфар не договорил, потому что заметил, что и Амиргулу стоит рядом с ними и слушает, и чайчи Газанфар, обратившись и к Амиргулу, продолжил:

— Эй, Амиргулу, и тебя тоже ровно неделю буду угощать чаем. Ни копейки не возьму у вас, клянусь жизнью! Вы — мои гости! Слушай, вот было зрелище, а! — И чайчи Газанфар схватился за живот от смеха.

Библиотекарь Наджаф был первый в селе борец за справедливость и никаких подарков не принимал, но после всей этой истории даже библиотекарь Наджаф принял неожиданный дар чайчи Газанфара. Он сказал: «Спасибо, братец!» — и рассмеялся.

1980, ноябрь

ТЕСНЫЕ ТУФЛИ

*Безумная душа, зачем
ты бродишь безрассудно?*

Хесте Касум

Свет люстры, отражаясь в зеркале, слепил глаза, блеск вилок и ножей, мерцание посуды тоже удваивались в зеркале, словно в знойную пору лета, когда, сощурив глаза, смотришь на солнце, будто на сверкающую медную тарелку; однако сейчас не было ни лета, ни солнечных дней, и не свет люстры, отражающейся в зеркале, ослеплял и веселил душу Бабира; дело заключалось в новеньком черном красивом костюме, парадно сидящем на Бабире, в белоснежной крахмальной сорочке, белоснежном, с крупными крыльями галстук-бабочке, и Бабир воочию видел, что и сам народный артист Мурсал Мамедов меркнет перед этим красующимся в массивном зеркале молодым парнем, то есть Бабиром, и эта абсолютно непредвзятая, хотя и данная себе самому, оценка еще больше подняла Бабира настроение, и он почувствовал, что сегодняшний день, вернее, сегодняшний вечер, пройдет легко, он не устанет, и ветер на улице зря так разбушеввался, ибо этот день, этот вечер еще на шаг приблизит Бабира к цели: содержимое чемодана под кроватью в общежитии пополнился еще какой-то суммой, вселение в кооперативный дом приблизится еще на один день, и кто знает, что еще будет, но, во всяком случае, что бы там ни было, это будет что-то хорошее; и, пожалуй, только одно было плохо: туфли были на номер меньше и жали.

Отведя глаза от зеркала, Бабир поглядел на купленные три дня назад по знакомству ярко поблескивающие черные югославские туфли и улыбнулся: ах если бы все неприятности на свете были размером с эту, которая сводилась к тому, что прекрасные югославские туфли немного жали; дня через два разойдутся, разносятся и перестанут жать.

Вечерняя смена только начала свою работу, ресторан понемногу заполнялся. Зиба еще раз оглядела расставленные на столиках тарелки, приборы, пепельницы, кое-что поправила: Погосов зорко вглядывался во входящих клиентов, по глазам он определял их платежеспособность, тех, кого считал нужными, он лично встречал у дверей и усаживал за один из своих столиков; Абульфат, как обычно шмыгая носом, хлопая ресницами, крутился вокруг пустых столов, метрдотель Пакиза-ханум еще сидела за своим маленьким столиком, включив настольную лампу и нацепив очки, рассматривала бумаги; Алифага поднялся на эстраду и собрал свой кларнет; Ашот давно уже пришел, сел на свое место и бархатом протирал ударные инструменты, вскоре

должны были подойти трубач Гюльмамед, тарист Мелик, гобоист Алмухтар, контрабасист Фатулла, вот-вот появится певица Нора, и на эстраде все оживет. Нора начнет петь азербайджанские, индийские, французские, армянские песни, в сопровождении гобоя Алмухтара произнесет пару фраз мугамата, но, как всегда, смысла пропетой ею газели, индийских, французских и азербайджанских песен никто не поймет; вскоре ресторан заполнится целиком, Зиба будет таскать на столики полные подносы, фальшиво улыбаться клиентам, бросать на них многозначительные взгляды, время от времени подавать игровые реплики, от которых клиенты станут щедрее; у Погосова, как обычно, клиентов будет больше, чем у кого-либо другого, и заказы у него будут веселее, чем у других, а у Абульфата, как обычно, будут самые дешевые заказчики (если в ресторане останутся десять пустых мест, то восемь из них, несомненно, придутся на долю несчастного Абульфата), и Абульфат, хлопая носом, хлопая глазами, ворча на свою несчастную судьбу, будет обслуживать самых безнадежных; Пакиза-ханум выйдет наконец из-за столика, спрячет очки и весь вечер, до самого закрытия, проведет на ногах, от ее взгляда ничто не укроется, даже сам Погосов побаивается Пакизы-ханум, потому что все знают, что, помимо зоркого глаза и острого языка, Пакиза-ханум пользуется уважением директора ресторана, даже самого директора гостиницы товарища Кардашханлы, и от того, что скажет об официантах Пакиза-ханум, зависит многое.

Но все это не имело прямого отношения к Бабиру, потому что Бабир знал, верил, был убежден, что пробудет здесь недолго, что он, Бабир, не станет, как Погосов, сорок лет жизни проводить между столиками, не станет, как несчастный Абульфат, двенадцать месяцев в году утопать в заботах, он проработает здесь год, два, пять лет в крайнем случае, а потом обязательно поднимется хоть на одну ступень, станет метрдотелем, непременно станет (говорили, что и сам товарищ Кардашханлы начинал с метрдотеля), а там и недалеко до директора ресторана; потом придет день, когда он станет директором какой-нибудь гостиницы, а может быть, кто знает, управляющим трестом или кем-нибудь еще в этом роде, на этом высоком посту состарится и, уже слегка поседевший, будет рассказывать родным и близким о своей жизни, вспомнит и об этом ресторане и скажет, что всем, чего достиг, он обязан только самому себе, сам себе он был всегда отцом, и матерью, и дядей, и опекуном. Выросший полугодным сиротой на станции Тойлу, он уехал жить в Баку, в свои двадцать девять лет пока работает в одном из престижных ресторанов столицы, сделал первый взнос на кооперативную квартиру и посылает матери двадцать пять рублей в месяц.

Конечно, Бабир, если б захотел, мог бы зарабатывать и больше, и тогда посылал бы матери не двадцать пять рублей в месяц, а скажем, сорок рублей (хотя матери и так хватает, она торгует водой с сиропом

на станции Тойлу), это было бы легко, работай он в шашлычных на окраинах Баку или в Абшеронских селениях, но дело в том, что такой культуры, как в этом ресторане, в этой гостинице, там не найти, а Бабир любил культуру, и, в сущности, все его старания, все его сбереженные по рублю деньги были во имя культуры, вернее, во имя будущей культурной жизни; Бабир не хотел, чтобы от него пахло шашлычным дымом, чтобы по ночам он, таясь от всех, как крот, считал выручку, — Бабир понимал бескультурье и бессмысленность такой жизни, и такая жизнь была Бабиру не нужна.

Бабир начал в этой гостинице с грузчика, потом товарищ Кардашханлы взял его на должность лифтера, позже он стал помощником повара, потом чайчи на четвертом этаже, без отрыва от производства окончил курсы официантов и уже второй год был кельнером в этом прекрасном ресторане.

Бабира недавно избрали заместителем председателя месткома всей гостиницы.

Бабир жил в общежитии работников бытового обслуживания, а от общежития до ресторана было пятьдесят минут езды: семь остановок на троллейбусе, да еще десять — на трамвае. Можно было снять комнату поближе, в центре, но Бабир копил деньги на двухкомнатную кооперативную квартиру, которую надеялся получить через два года. Тогда Бабир наконец поставит крест на холостяцкой жизни, он постарается, чтобы его жена была из какой-нибудь культурной: бакинской семьи, чтобы образованная была, хотя бы техникум окончила. Бабир и сам предполагал учиться: в этом году летом он поступит в техникум, уже переговорил с нужными людьми, вернее, Погосов свел Бабира с нужными людьми, а после техникума он поступит в институт, на заочное отделение, и тогда у него уже будут дети, и Бабир даст детям имена своих матери и отца; мать его была еще жива, но ей уже перевалило за семьдесят, и до той поры она, наверное, не доживет, а отец скончался, когда Бабиру было три года; после смерти отца маленький Бабир, подражая ему, долго еще говорил матери, едва она начинала плакать: «Получишь у меня!»

Появилась Нора, худощавая, изящная, она наложила на лицо столько румян, что могла окрасить ими целую сорочку, и, прислонив ко рту большой микрофон, Нора запела азербайджанскую песню, но слов этой песни нельзя было разобрать, потому что Нора, высокая армянка, не знала языка, и когда она даже просто говорила по-азербайджански, нельзя было понять, что она имеет в виду, зато каждый из исполнителей оркестра, руководимого Алифагой, на своем инструменте вытворял такое, что не было нужды понимать смысл пропетого Норой, однако вместе с музыкальными заказами от клиентов шли трешки, пятерки, а от клиентов Погосова — даже десятки.

Ветер за окном усилился, в этот мартовский вечер светилось большинство бакинских окон, а это означало, что люди из-за ветра не хотят выходить на улицу, а если кто и выходит, если есть возможность, то направляется напрямик в ресторан.

Гостиница находилась в нагорной части Баку; это место будто специально было создано для гостиницы с шикарным рестораном, и Бабир в свободную минуту любил смотреть из окна ресторана на светящиеся окна Баку — эти огоньки в окнах рождали какое-то тепло в сердце Бабира, в них было что-то доброе, Бабиру казалось, что живущие за этими светящимися окнами люди купаются в лучах счастья, каждый в своем укромном уголке проводит прекрасные часы и дни, и иногда Бабир воочию видел свет, льющийся из окна его кооперативной квартиры, которая будет готова через два года, а по ту сторону оконного стекла видел себя, и чуть ли не физически ощущал, что внизу, у дверей этого кооперативного дома, стоит и ждет его машина «Москвич-фургон» с водителем, который возит теперь товарища Кардашханлы, а немного позже будет возить Бабира, эта машина и водитель будут всегда в его распоряжении...

Товарищу Кардашханлы Бабир явно нравился, и на производственных совещаниях он из стольких людей неизменно выделял Бабира как пример воспитанности, ответственности, послушания, прилежания; и если это, с одной стороны, было заслугой Бабира, то, с другой, свидетельствовало о деловых качествах товарища Кардашханлы, потому что другие директора гостиниц вовсе не знали официантов в своих ресторанах, Бабир не заставлял дважды повторять что-либо не то что товарища Кардашханлы, но и метрдотеля, они это знали, Бабир помаленьку делал свое дело, каждый день чаевых набиралось пятнадцать-двадцать рублей, люди любили культурное обслуживание, и Бабир из кожи вон лез, чтобы все было хорошо, и все шло как надо, вот только эти туфли проклятые жали.

Алифага тоже был в прекрасном настроении, но в отличие от Бабира настроение Алифаги зависело от водки — время от времени он, спустившись с эстрады, направлялся на кухню, и все понимали, зачем Алифага крадучись идет на кухню, а вернувшись, он подмигивал Алмухтару, и тот, в свою очередь, тоже отправлялся на кухню; нос и щеки Алифаги уже были пунцовыми, наконец он отнял у Норы большой микрофон и по-русски сделал такое объявление:

— Песня из кинофильма «Бродяга». Посвящается 3. Соло на кларнете исполняет Алифага Устаджлы! — и, воздев раструб кларнета к небу, он заиграл так, что весь ресторанный люд хором произнес «браво!».

Это была одна из шуток, которые любил отпускать подвыпивший Алифага; песня посвящалась Зибе; дело было в том, что Зибя долгие-долгие годы была влюблена в Раджа Капура, и не было в ресторане

человека, кто бы не знал об этом, потому что Зибя не скрывала ни от кого эту свою единственную большую любовь; когда-то она была замужем, развелась, и больше не хотела выходить замуж, объясняя это тем, что в жизни у нее есть идеал, перед которым тускнеют другие мужчины.

Кларнет Алифаги заливался вовсю, и Бабир, улучив момент, шутиливо подмигнул Зибе, а Зибя с беспокойством взглянула на дверь ресторана — сегодня вечером, после какого-то совещания, в банкетном зале гостиницы должно было состояться торжество: говорили, будто придет кто-то сверху, и поэтому товарищ Кардашханлы лично осмотрит накрытый стол в банкетном зале, и Зибя боялась, что вдруг товарищ Кардашханлы войдет и сюда, а Бабир покачал головой: эта бедняга Зибя, видно, совсем спятила, ну войдет и войдет, что тут такого? — увидит всегдашнего Алифагу и то, как он извивается со своим кларнетом, но откуда он узнает, что Алифага Зибу подначивает? И потом, до тех пор, пока Бриллиант Агаджафар был шеф-поваром этого ресторана, никто не скажет Алифаге даже о том, что у него над глазом бровь, потому что Бриллиант Агаджафар с Алифагой когда-то учились в одном классе, и каждый раз, когда Бриллиант Агаджафар видел Алифагу, он вспоминал детство и легонько хлопывал Алифагу по плечу, и все знали, хорошо будет играть Алифага или плохо, часто он будет навешать кухню или нет, он — человек Бриллианта Агаджафара, и беда была в том, что Алифага сам это отлично знал и брал в свой оркестр любого, кто ему понравится, на чем и как бы тот ни играл, а когда у него спрашивали: ай Алифага, дорогой ты наш, может ли быть оркестр из кларнета, гобоя, трубы, тара, ударных инструментов и контрабаса? — он говорил: раз уже есть, значит, может быть, — это во-первых, а во-вторых, я укрепляю связь между Востоком и Западом, потому что музыка — общечеловеческая вещь, она — для всех людей на земле, не только для азербайджанца Мамеда или армянина Вартана, и потому там, где есть тар, должна быть и труба, и надо, чтобы подлинная музыка была по душе всем, а особенно в ресторане, потому что, в сущности, человек избрал музыку именно для еды и питья, то есть, говоря современным языком, изобрел для ресторана.

Гобоист Алмухтар, как обычно, подтверждал кивком каждое слово, слетавшее с уст Алифаги, гобоист Алмухтар был пенсионером — его взяли в оркестр благодаря магическому имени Бриллианта Агаджафара, который состоял шеф-поваром этого ресторана.

У Бриллианта Агаджафара было две машины ГАЗ-24, одна была на имя двоюродного брата тещи, работавшего где-то рабочим, другая — на имя внучатой племянницы самого Агаджафара, работавшей в цветководческом совхозе; одна машина постоянно стояла перед гостиницей, ожидая Агаджафара, другую водил его сын, и часто она

находилась во дворе гостиницы, у дверей кухни; эта дверь кухни прежде была окном, потом Бриллиант Агаджафар за свой счет разрушил это окно и сделал удобную дверь.

Но и это Бабира не касалось, Бабиру ни до кого не было дела, и до Бабира никому не было дела, и вообще он был человек трезвый и смиренный.

А ветер уже бушевал за окном в полную силу, и тут началось главное событие этого ветреного мартовского вечера.

Двери открылись и впустили троих молодых ребят, и зоркий глаз Погосова тотчас просветил этих парней как на рентгене: парни приехали из района, на бакинцев не похожи, не студенты, не торговые работники, но деньги у них есть, чтобы не уронить своего достоинства, они щедро вывернут карманы, чтобы официант не подумал, будто они нуждаются в деньгах или не разбираются в ресторанах.

Разумеется, мудрец Погосов тотчас кинулся к этим парням: правда, у него еще не было свободных мест, но пусть они немного подождут, вон тот столик, рядом с оркестром, сейчас освободится, он все для них сделает, пусть только немного подождут; но, когда один из парней, блондин, открыл рот, Погосов удивился, потому что этот блондин спросил о Бабирове, по правде говоря, Бабир и сам удивился, услышав, что клиенты спрашивают его, потому что Бабир не имел «своих» клиентов, так как не был жаден, и без того каждый вечер к деньгам, лежавшим в чемодане под кроватью в общежитии, добавлялось по десять-двадцать рублей, а ему этого вполне хватало.

Бабир сперва не узнал блондина, но, когда этот блондин при всем народе обнял Бабира и поцеловал его, он вспомнил — это Закир, в детстве на станции Тойлу они жили на одной улице, вместе копались в навозе, и Бабир ужасно расстроился, потому что за эти долгие годы между станцией Тойлу и рестораном возникло такое расстояние, которого не одолеть ни поезду, ни автомашине, и Бабир, конечно, понял, что объятия и поцелуи с блондинчиком Закиром, Сары Закиром посреди ресторана не понравились Пакизе-ханум, которая, окинув Бабира укоризненным взглядом, оглядывала других работников, чтобы понять, как они оценивают это происшествие.

Конечно, Бабир не мог прогнать из ресторана Сары Закира, которого не видел десять или двенадцать лет: ресторан не принадлежал Бабиру, и как бы Бабир ни кривился, толстокожий Сары Закир все равно ничего бы не понял, и потому у Бабира не оставалось другого выхода, как пожать руки друзьям Сары Закира, познакомиться с ними.

Друзья Сары Закира уважительно приветствовали Бабира, и было видно, что Сары Закир гордился знакомством с Бабиром: иметь в таком месте, как Баку, в таком культурном ресторане такого нарядного друга детства, как Бабир, было, конечно, не шуткой.

— Клянись твоим здоровьем, Бабир, на улице такой ветер, хватайся

за голову и беги на тот свет. Я сказал: э, идите-ка сюда, у нас в городе есть такой молодчина, как Бабир, свой как-никак! Ну как ты, а, Бабир? Нет, слава богу, ты отлично выглядишь! Да и я неплохо живу, дай бог тебе здоровья!..

Бабир усадил Закира с компанией в центре зала, за один из своих столиков, так и не поинтересовавшись, по какому поводу Закир и его компания приехали в Баку и как он узнал, что Бабир работает в этом ресторане, не спросил он и о том, как дела в Тойлу: прежде всего потому, что не хотел поощрять парней, потому что, если деревенщине дать палец, они руку отхватят. Но Сары Закир, не заметив его сдержанности, не закрывал рта, сам задавал вопросы, сам отвечал на них. Наконец Бабир перебил:

— Что будете есть?

— Что подойдет, сам неси. Что есть самое шикарное, все неси, э, Бабир! — сказал Сары Закир.

Бабиру подумалось, что от этой публики со станции Тойлу можно ждать чего угодно: вдруг они пришли поесть за счет Бабира, бесплатно? И потому сказал:

— Но блюда ведь разные. Дешевые есть, дорогие есть, очень дорогие есть...

— А самые дорогие из дорогих есть, а, Бабир? — Сары Закир рассмеялся.

— Вот эти и принеси. Денег у нас навалом! — Сары Закир посмотрел на своих товарищей: мол, хорошо я ему сказал? И товарищи, довольно улыбнувшись, кивнули: очень даже хорошо сказал.

Бабир не был жаден, но, во всяком случае, тот официант не настоящий официант, которому денежные клиенты не по душе, и Бабир несколько успокоился, давешнее радужное настроение понемногу вернулось к нему, и он начал записывать в счет Закира все, что было на кухне потяжелее ценой, полегче весом.

Нора после краткого перерыва снова поднялась на эстраду и на сей раз стала петь на индийском языке песню из фильма «Байджу Бавра», и облик Норы, ее голос и движения произвели на компанию Закира такое впечатление, что на какое-то время они просто ослепли, не зная, что им делать — хвалить Нору за ее пение, бранить или подшучивать, и в конце концов Сары Закир сказал:

— Что это такое, а, Бабир?

Бабир ничего не ответил на этот возглас и, как обычно, расставил на столе все принесенное, Пакиза-ханум не смотрела больше в сторону Бабира с укором, потому что Бабир снова стал обычным Бабиром и обслуживал как положено денежных клиентов.

Компания Закира уже не обращала внимания на Нору, потому что блюда, которые принес и поставил перед ними Бабир, произвели на них еще большее впечатление, чем Нора, и, когда Сары Закир, взяв в

руки бутылку, хотел открыть ее, Бабир не позволил, сам откупорил, а затем, обернув ее белым полотенцем, наполнил одну за другой рюмки Сары Закира и его друзей, и это настолько поразило компанию Сары Закира, что и Нора, и красивые блюда на столе как бы исчезли, и Сары Закир, с трудом подавив перехватившее горло волнение, сказал:

— Умоляю, а, Бабир, налей-ка себе тоже! Многократно слыхавший такие предложения Бабир, естественно, отказался:

— Мне нельзя, — и, удалившись от компании Закира, отправился обслуживать других клиентов.

За соседним столиком сидели трое мужчин (двое, судя по разговору, приехали из Москвы, а один был азербайджанцем; он и заказывал блюда, и расхваливал их, и естественно, рассчитывать будет тоже он); еще дальше расположилась компания юнцов (такие обычно гуляли на деньги родителей, Бабир хорошо знал этот сорт ребят и в душе терпеть их не мог, но клиент есть клиент, а за чей счет он пьет, официанта не касается); наискосок от них занимали столик трое молодых женщин и мужчин (это были близкие люди — то ли вместе работали, то ли родственники, то ли друзья, Бабиру нравились такие интимные пирушки, потому что, если в компании были женщины (родственницы или сослуживцы), встречи обычно проходили без свар, скандалов, культурно, хотя мужчины, несмотря на протесты спутниц, здорово пили и щедро рассчитывались), и, обслужив этих клиентов, Бабир почувствовал, что его давешнее настроение полностью восстановилось: все шло как положено, и все опять было прекрасно.

В это время голос Сары Закира разнесся по всему ресторану:

— Бабир, а, Бабир! Бабир, умоляю, поди-ка сюда! Как назло, именно в эту минуту оркестр Алифаги, выбившись из сил, умолк, и Бабир не мог сделать вид, что за грохотом музыки не расслышал обращенного к нему призыва. Паклиза-ханум сдвинула брови, взгляда строгих голубых глаз вонзился в запыхавшее лицо Бабира.

— Бабир, а, Бабир!

Быстрым шагом Бабир приблизился к столу Закира, чтобы оборвать его бычий рев и сказать ему что-то резкое, чтобы он больше не звал Бабира по имени, но Сары Закир не дал ему и рта раскрыть:

— Э, Бабир, ради могилы Абдулкерим-муаллима выпей с нами сто граммов! Э, задавала, всего сто граммов, и все!

Первое, что понял Бабир, это то, что в одно мгновение состояние его ухудшилось: то ли под сердцем заболело, то ли под ложечкой, то ли что, но ему стало совсем плохо, потому что в этот миг он еще и оглох. Почему так получилось, он и сам не понял; потом его прошиб холодный пот, и холод этого обильного пота Бабир почувствовал между лопатками; но почему? — неужели он так любил Абдулкерим-муаллима? — и если он так уж сильно любил Абдулкерим-муаллима.

почему вспомнил его только теперь, когда этот зануда Сары Закир упомянул его? Бабир спросил только:

— А разве Абдулкерим-муаллим умер?

— Вай... Абдулкерим-муаллим скончался, да упокоит аллах его душу, и Сары Закир всхлипнул скорее от воздействия водочных паров, чем в память Абдулкерим-муаллима, — лет семь-восемь назад приказал нам долго жить и покинул нас!

Не сказав ни слова, Бабир отошел от стола Закира и подошел к окну ресторана; все освещенные окна Баку усталились в лицо Бабиру, и Бабир подумал, сколько за этими окнами различных судеб, сколько забот и трагедий, а сам удивился, что впервые в жизни, глядя вечером на бакинские освещенные окна, задумывается о таких вещах.

Абдулкерим-муаллим преподавал Бабиру в школе физику, и теперь, если бы случилось чудо и Бабир с Абдулкерим-муаллимом встретились лицом к лицу, Бабир, возможно, не узнал бы Абдулкерим-муаллима, у Бабира не было никакого особого воспоминания, связанного с Абдулкерим-муаллимом, но, возможно, сердце Абдулкерим-муаллима было чуть мягче, чуть ласковей, и Бабир хорошо помнил, что в ту далекую детскую пору, когда они берегом арыка, протекавшего в нижней части станции Тойлу, шли играть в камыши (ребята с этой станции — и у всех этих ребят были отцы), он порой задумывался об отце, лица которого не помнил, и представлял себе лицо отца таким, как у Абдулкерим-муаллима, улыбку отца — как у Абдулкерим-муаллима; ему хотелось видеть отца иным, в другом облике, перед его мысленным взором вставляли две фотокарточки отца, что хранила дома мать, но все равно он видел отца в облике Абдулкерим-муаллима; и этот сукин сын Сары Закир прямо в большую точку попал: почему пришло ему в голову поклясться могилкой Абдулкерим-муаллима? почему так сильно подействовала эта клятва на Бабира? почему он не мог отойти от окна, не мог заняться своим делом, что случилось? Но как бы то ни было, наверное, теперь уже никто и никогда ни о чем не попросит Бабира ради Абдулкерим-муаллима, и Бабир, глядя на освещенные окна Баку, понял, что сейчас он вернется к столу, за которым сидит эта кара божья, Сары Закир, и выпьет с ним рюмку в память об Абдулкерим-муаллиме.

Сары Закир звонко хлопнул себя по груди:

— Я же сказал вам! Сказал или нет? Этот Бабир — частица моего сердца! Сказал я, что он выпьет с нами, или не сказал?! Как-никак, мы же гости тут, а Бабир — хозяин дома. Может ли быть, чтобы он нас за людей не посчитал, с нами сто граммов не выпил? Сказал я вам или не сказал?

Потом Сары Закир хотел подняться и поцеловать Бабира, но это было уже слишком, и Бабир резким движением усадил Сары Закира на место, Он выпил рюмку в память об Абдулкерим-муаллиме, отвер-

нувшись так, чтобы этого не заметили ни Пакиза-ханум, ни другие, только, кажется. Погосов видел, но это было ничего, потому что за шестьдесят три года жизни Погосова на свете было мало такого, чего бы он не видел. Бабир, чтобы заглушить сердечную тревогу, смятение чувств, стал работать еще усерднее, вертелся вблизи Пакизы-ханум, чтобы прийти немного в себя при виде метрдотеля, взять себя в руки, но сердце говорило иное, сердце говорило: уйди сейчас же из этого обволакивающего все тело липкого воздуха ресторана, пропахшего запахами горелого масла, разлитого вина, пряных сигарет, Нориной косметики, беги на ветренный воздух, на улицу, подставь себя ветру, пусть ветер унесет тебя, куда хочет, пусть унесет, мир просторен, ветер силен, пусть останется здесь ресторан, а там — и чемодан под кроватью в общежитии, и кооперативная квартира пусть достанутся другому, беги, беги, подставь себя ветру, беги, мой джигит, беги... Скинь эту тесную обувь и беги со всех ног.

Внезапно эти два года, семьсот тридцать дней, по прошествии которых будет построена кооперативная квартира, показались Бабиру бесконечным, безысходным веком, и мрак, и безнадежность этого расстояния в семьсот тридцать дней наполнили Бабира таким стоном, что он чуть ли не бегом подскочил к компании Закира и сказал:

— Налей еще одну!

Сары Закир пришел в искренний восторг от смелости Бабира и, наливая водку, сказал:

— Да будут твоей жертвой все водки мира, а, Бабир! Умоляю, дай поцелую тебя! Ну дай, дай, не то, клянусь могилой моего отца Калантара, сердце мое разорвется! — И на сей раз Сары Закир, поднявшись, у всех на глазах обнял и поцеловал Бабира.

Бабир знал, что голубые глаза Пакизы-ханум устремлены на него, что другие официанты, наверное, стоят и смотрят на Бабира, но Бабир не поставил обратно рюмку, напротив, чокнувшись с Сары Закиром и его друзьями, опрокинул себе в рот, потому что поэт верно сказал: помня мое слово, безумная душа, не тверди, что в этом мире стоит остаться; и, когда Сары Закир, снова торопливо наполнив рюмки, попросил Бабира произнести тост, грудь Бабира будто прорвало, как родник, она полилась словами поэта, полилась и заставила в этот ветренный мартовский вечер, в переполненном бакинском ресторане, среди стольких людей плакать в голос и самого Сары Закира, и его друзей: сколько героев приходило в мир, пришло время перекочевать, быстро пришло, быстро ушло; от удара богатыря Рустама задрожали горы, эхо попало в дастаны, словом стало, ушло; властвовал долгое время над всей вселенной пророк Сулейман, рухнул трон шаха Джамшида, царь Фирудин сто бед испытал, и они прошли; что с царем Кейкабусом стало, где его сын Кейкубад? кто достиг желаемого в этом мире? богами были Гог и Магог — где они? крепость Немврода с

землей сравнилась, все ушло; Александр сверг с трона Дария, стал царем над миром, а чем кончил? на полпути умер, в земле остался, как Бабир, покоритель Индии, сгорел, золой рассыпался, — и после этих произнесенных Бабиром слов, после того, как он заменил имя поэта и царя Бабура своим, он не смог сдержаться, отошел от компании Закира, снова встал перед окном ресторана и снова, отодвинув тяжелый серый занавес, посмотрел на освещенные городские окна, и свет этих окон сейчас словно доходил сквозь ледяные слои, никакого тепла в них не было.

Бабир знал, что все теперь на него смотрят — взгляды людей, а особенно косые взгляды Пакизы-ханум, жгли ему спину, но души его не задевали, и Бабир понимал, что причина этому — не водка... С какого времени он так переполнен, так возбужден, и вообще чего хотело сердце Бабира? отчего оно так стонало и плакало? откуда взялись стихи? как получилось, что они остались у него в памяти, и почему он заменил имя поэта своим именем? неужели вправду все эти слова были словами сердца? И если вправду это было, то почему же до сих пор эти слова не обнаруживались?

Нора пела французскую песню и усердно картавила, словно ворона, но Алифага говорил, что Нора правильно поет, потому что самые знаменитые французские певцы так же раскатывают «р» — это своеобразный французский мугам.

Бабир старался не встречаться глазами с Пакизой-ханум и официантами и торопливо обслуживал других клиентов, но руки у него дрожали, ноги его не слушались, и клиенты удивленно смотрели на покрасневшие мокрые глаза Бабира.

Бабиру сначала хотелось все бросить и бежать из ресторана, схватить такси, поехать в общежитие, броситься ничком на кровать и выплакаться всласть, а потом уснуть; и Бабир знал, что если он сейчас так поступит — выбежит на улицу, сядет в такси, — все утрясется и снова встанет на свои места: Зибса с Погосовым под руководством Пакизы-ханум кое-как рассчитаются с клиентами Бабира, успокоят их, потом на собрании слегка пожурят Бабира, самое большое — выговор дадут, и все, а Бабир что-нибудь придумает, вроде того, что от мамы дурную весть привезли или что блондин, приходивший в ресторан, — дружок моей покойной сестры, и прочее такое, а потом попросит прощения, и все наладится, но все это говорил разум, говорил расчет, а сердце, погляди-ка, то ли говорило? Сердце говорило иное...

Стол, где сидела компания Закира, был уставлен ополовиненными и совсем пустыми бутылками, и компания Закира после тоста Бабира, произнесенного словами поэта, заплакав, пришла в себя, Сары Закир встал, схватил за руку проходившего мимо Бабира и сказал друзьям:

— Ах, Бабир, дорогой мой, раз уж ты, несмотря на то, что ты такой нарядный, что ты — зеница ока такого ресторана, так сердечно

встретил нас, не посчитал для себя зазорным сесть с нами и выпить, раз ты, сказав такие слова, заставил нас... — Сары Закир опять растрогался, — нас... заплакать, тысячу лет тебе жить!

Закир с друзьями выпили водку, а Бабир выпил вина и увидел, что Пакиза-ханум сильно побледнела и ее голубые глаза, горящие небывалым гневом, смотрят на Бабира. Тогда Бабир вдруг вышел из себя и назвал этой змееглазой Пакизе-ханум сел на свободный стул рядом с компанией Закира и сказал:

— Налей еще одну!

— Э, быстрее, налейте еще одну! — Сары Закир положил перед Бабиром свою тарелку, нож с вилкой, как будто хотел отплатить за то, что Бабир весь вечер их обслуживал.

— Ворона эта, сукина дочь, не перестает каркать! — Бабир с ненавистью посмотрел на Нору, хотя Нора, естественно, понятия не имела об этих словах Бабира: раскатывая «р», она опять пела французскую песню.

Сары Закир не знал, как реагировать на брань Бабира в адрес этой певицы: присоединиться к Бабиру и тоже выругать ее, или что?

С горящими от гнева глазами, с побелевшим от бешенства лицом Пакиза-ханум делала какие-то знаки Бабиру, и Бабир понимал, что это означает, но Бабиру было уже все равно, потому что ашуг хорошо сказал, что душа не жадна до благ мира... и если в этом мире были в окнах такие ледяные огни, и эти ледяные огни замораживали сердце, тогда чемодан под кроватью в общежитии следовало пожалеть: это был самый душистый из всех чемоданов, самый безобразный, самый убогий, и владельца чемодана тоже следовало пожалеть.

У одного из друзей Сары Закира Бабир лохматая голова, прыщавое лицо, он был одет в голубой костюм, слишком просторный для него, и красную нейлоновую рубашку, и на шее его был повязан зеленый галстук, и когда взгляд Бабира упал на этот галстук, внезапно зелень этого галстука стала таять и разливаться и превратилась в давно забытую зелень горы; тогда Бабир был совсем мал и не знал, что сохранит эту зелень в памяти, в сердце своем; станция Тойлу была абсолютно серой равниной, и, кроме болотных камышей, там другой зелени не было, но в ту далекую пору однажды мать, посадив с собой в машину Бабира, повезла его куда-то, они долго ехали, дорога серпантинном поднималась в гору, и на горе, по краям дороги, между домами была зелень, какой Бабир никогда не видел и не мог себе представить, и зеленые травы, зеленые деревья, зеленые кусты, улыбающиеся среди этой зелени красные, фиолетовые, оранжевые, голубые, коричневатые цветочки ввели маленького Бабира в такой изумительный и радостный мир, что и после возвращения на станцию Тойлу он несколько месяцев не покидал того прекрасного мира, по ночам, перед сном, прикрыв глаза, он видел зелень, и среди зелени —

красное, фиолетовое, оранжевое, голубое, белое, коричневатое, и сиротство Бабира отступало перед этим видением.

Но растаявшая и разлившаяся зелень снова отвердела, сжалась и, став галстуком, повисла на шее парня с лохматой головой и прыщавым лицом, и Бабир с болью в сердце подумал, что после того детского путешествия он никогда не видел такой зелени, не видел ничего улыбающегося среди зелени, столь красного, столь фиолетового, оранжевого, голубого, белого, коричневатого, и вообще ничего не видел. Бабир сказал:

— Хорошенько ешьте и пейте. Сегодня вы — мои гости. Сары Закир совсем вышел из себя:

— Э, видали?! Видали или нет?! Не говорил ли я вам что Бабир не позволит нам полезть в карман? Говорил я вам это или не говорил?

А Пакиза-ханум все делала свои знаки.

Лохматый приятель Сары Закира смотрел на Пакизу-ханум, делающую знаки Бабиру, и вдруг, обращаясь к Бабиру, запинаясь, сказал:

— Ее...

— Что?

— Ну, ее...

— Что ее?..

— Устрой, да, мне ее...

Бабир лишь на миг удивился этой просьбе лохматого парня, потом Бабира разобрал смех, и, глядя на Пакизу-ханум, Бабир чуть не упал в обморок от смеха — Бабиру никогда не приходило в голову, что и на Пакизу-ханум можно смотреть другими глазами, и теперь, глядя на Пакизу-ханум, он представлял ее себе в интимных позах и стал хотеть еще громче.

Разумеется, ни Сары Закир, ни его друзья не поняли, отчего Бабир вдруг так развеселился, но тут клиенты за соседними столами начали ворчать:

— Где вода?

— Мы же просили лимон!

— Цыплята готовы?

— Где шампанское?

Пакиза-ханум решительным шагом приблизилась к Бабиру и, встав прямо над головой Бабира, кривя губы от злости, произнесла:

— Товарищ официант!

Один из двух парней, которых обслуживал Бабир, встал и громко крикнул:

— Сам сидишь развлекаешься, а мы с утра шампанское ждем!

Бабир посмотрел снизу вверх на этого мальчишку с едва пробивающимися усами и встал с места, отодвинул от себя Пакизу-ханум и заорал:

— Идите сами и несите! Все идите и сами несите себе, что хотите! Вот вы, вот ваша паршивая кухня, а вон жулик Агаджафар-Бриллиант!

Как будто это происшествие снимали на ленту и на этом месте дали стоп-кадр, потом лента снова задвигалась: Пакиза-ханум не знала, верить ли своим пылающим ушам, Погосов ограничился тем, что сам сказал себе: «Вах!», Зибя внезапно засветившимися тайной любовью глазами посмотрела на Бабира, как будто перед ней был Радж Капур, Абульфат, шмыгая носом и моргая, застыл на месте, а Алифаге показалось, что наступил конец света, он чуть не протрезвел, потому что если бы не наступил конец света, такой, как Бабир, не позволил бы себе при всем честном народе такое говорить Алифаге, чье сердце и без того всегда пребывало в тревоге; уж не пронюхал ли этот Бабир или как там его, что Агаджафару шьют дело, но потом перед глазами Алифаги появилось чисто выбритое, полное и гладкое лицо Агаджафара, седоватые усы, золотые зубы, и Алифага несколько успокоился, но играть больше не играл и стал ждать, чем эта история кончится.

Бабир, обернувшись к компании Закира, сказал:

— Наливайте!

По правде говоря, компания Закира не ожидала такого происшествия в этом культурном ресторане и несколько растерялась; только лохматый парень чуть ли не ел Пакизу-ханум голодными глазами.

Пакиза-ханум быстро направилась к двери, но ей не пришлось кого-то звать, кому-то жаловаться, потому что дверь открылась, и вошел сам товарищ Кардашханлы.

Товарищ Кардашханлы долгие годы работал в ресторанах, универмагах, гостиницах, и у него был большой опыт, и теперь, осматривая банкетный зал, он инстинктивно уловил воцарившуюся в ресторане тишину и скрытую тревогу в этой тишине, открыл дверь ресторана и вошел.

Пакиза-ханум всегда, как только появлялось лицо, стоящее выше ее по положению, надевала очки, и теперь, быстро надев очки, пошла к товарищу Кардашханлы и, вперив в Бабира сверкающие от ярости голубые глаза, начала шептать что-то на ухо товарищу Кардашханлы, и товарищ Кардашханлы, глядя на сидевшего вместе с Закиром и его компанией Бабира, дважды кивнул: ясно, мол, ясно и медленно подошел к Бабиру.

Абульфат, шмыгая носом, понял, что дело осложняется, Погосов ограничился тем, что сказал сам себе: «Вах!», Зибя смотрела на Бабира уже откровенно влюбленными глазами, Алифага с Алмухтаром стояли рядом, вместе с другими музыкантами, ожидая, чем кончится дело, даже Нора, опершись спиной на пианино, с интересом смотрела в сторону Бабира, а самым непостижимым было то, что в ресторане словно поставили микрофон; Бриллиант Агаджафар, находясь на кухне, знал о происшествии в ресторане, и предпринятые им меры заклю-

чались в том, что он пинком открыл дверь из кухни во двор и сказал дремавшему в машине ГАЗ-24 сыну:

— Уезжай. И больше не приезжай сегодня.

Потом кухня узнала и о том, что товарищ Кардашханлы самолично зашел в ресторан, и все, кроме Агаджафара, собравшись у дверей кухни, заглядывали в ресторан.

Товарищ Кардашханлы подошел, встал перед Бабиром, и Сары Закир с друзьями по его походке, облику, манере держаться поняли, что этот низенький толстячок — большой человек, все трое встали, но Бабир не двинулся с места.

Конечно, товарищ Кардашханлы поверил всему, что только что нащептала ему Пакиза-ханум, но такого бесстыдства от Бабира он не ожидал: встретить его, такого человека, товарища Кардашханлы, сидя, даже с места не сдвинуться... Но товарищ Кардашханлы не утратил своей обычной выдержки и тихо сказал:

— Хорошо... Значит, так... Ну что ж... Сегодня же вечером мы решим этот вопрос.

Бабир, вытянув голову, смотрел товарищу Кардашханлы прямо в глаза и не стал дожидаться, что еще скажет товарищ Кардашханлы.

— Ах-ах-ах! Испугался я его!

Потом Бабир, аккуратно снял с шеи белую бабочку, опустил эту большую шелковую бабочку с белоснежными, чистейшими крыльями в рюмку с красным вином, и белый шелк в мгновение ока стал красным, а Бабир вынул мокрую бабочку, поднялся и сунул под нос директору.

Глаза у товарища Кардашханлы выкатились, опытный, предпринимчивый компетентный человек растерялся как дитя и остолбенел посреди ресторана, при всем народе, а главное, при подчиненных, и не знал, что делать, и вообще никто не осмеливался что-либо сказать, что-либо сделать; вытаращенные глаза товарища Кардашханлы, повращавшись остановились на Зибе, и Зибя, вытирая руки передником, подошла к Бабиру, взяла Бабира под руку, тихим и действительно ласковым голосом сказала:

— Успокойся. Пойдем. Иди... — а потом прошептала Бабиру на ухо:

— Пойдем ко мне...

— Что? — крик Бабира потряс ресторан. — Вон его веди к себе! — Бабир вытянул палец и чуть не воткнул его в глаз товарищу Кардашханлы. — У него в кабинете черт знает что вытворяете! Плевал я на твоего героя! Этот крот и есть твой герой?!

Конечно, все работники ресторана хорошо знали, что днем блюда, специально приготовленные Агаджафаром, товарищу Кардашханлы относит Зибя и иногда наверное, чтобы прибрать там. — задерживается в кабинете.

Во всяком случае, опыт — большое дело. Первым пришел в себя

товарищ Кардашханлы и, обращаясь к Алифаге, закричал:

— Вы чего стоите?! Музыку!!!

В одно мгновение перемешались кларнет Алифаги, ударные Ашота, труба Гюльмамед, тар Мелика, гобой Алмухтара, контрабас Фатуллы и голос Норы; кларнет заливался вовсю, Ашот чуть не разбивал свои медные тарелки, Гюльмамед дул в трубу так, что глаза вылезли на лоб, но остановиться не мог, и Бабир как будто кричал с телевизионного экрана, а звук пропал, рот его открывался и закрывался, жилы на шее вздулись, чуть не лопались, он освобождал свое сердце, но что он говорил, было непонятно, потому что голос его не был слышен; и Зиба, и Погосов, и Абульфат снова занялись своим делом, товарищ Кардашханлы, выйдя из ресторана, поднялся в свой кабинет на четвертом этаже. Пакиза-ханум сняла очки и спрятала их в футляр, а Закир с компанией, увидев, что дело дрянь, давно уже убрались прочь, клиенты же, в том числе и бывшие клиенты Бабира, понемногу успокоившись, стали есть и пить, работники кухни, качая головами, вернулись на свои места и в страхе перед рассерженным Агаджафаром не издавали ни звука, один только Бабир, стоя посреди ресторана, говорил что-то как в беззвучной телепередаче, но теперь даже встревоженный Алифага не обращал внимания на Бабира, потому что знал, что он покричит-покричит, натрудит себе горло и в конце концов уйдет.

...В тот встрепанный мартовский вечер Бабир шел пешком от ресторана до трамвайной остановки и, когда сел в трамвай, увидел, что трамвай так же пуст, как бакинские улицы: только он один да еще сидевшая на другом конце девушка-кондуктор.

Бабир уселся в хвосте трамвая.

Трамвай тронулся.

Бабир ни о чем не думал, он устал и хотел спать, но в этой усталости не было никакого волнения, беспокойства, и вообще все было в порядке; что было нужно, то и случилось.

Только туфли у Бабира жали, и все.

Девушка-кондуктор, поглядев на Бабира с противоположного конца вагона, улыбнулась.

Бабир подумал — наверное, приняла меня за Мурсала Мамедова. И он сам улыбнулся своей шутке.

Только бабочки на шее у него не было.

Девушка-кондуктор часто взглядывала на Бабира, и, когда он уже собирался выходить, сказала:

— Я вас узнала. Свадьба моей двоюродной сестры была у вас в ресторане, — И девушка-кондуктор счастливо улыбнулась.

Для счастья не надо многого.

Сойдя с трамвая, Бабир через пустой парк шел к общежитию.

Ветер замирал, потом взвизывал снова, и мотал верхушки деревьев,

чуть ли не вырывал с корнем дерева в парке.

Бабир тоже вдруг остановился, наклонился, снял с ног тесные туфли.

Бабиру показалось, что не только ноги, все тело его вырвалось на свободу.

Потом Бабир изо всех сил зашвырнул туфли одну за другой в темнеющую гущу деревьев.

На усталую душу Бабира снизошел покой, и Бабир, идя в носках в общежитие, подумал, что нет ничего прекраснее, чем ходить босиком.

1983, март

ОТЕЛЬ БРИСТОЛЬ

Небо немного очистилось, и выглянуло солнце. Солнце миллион лет назад, наверное, выходило так же. Солнце и через миллион лет будет выходить так же.

Эти слова принадлежали не ему, они были сказаны лет десять-двенадцать назад и тогда показались ему такими же пустыми и бессмысленными, как и человек, произнесший эти слова; в душе он посмеялся над этими словами, но теперь эти слова, вернее, такое постоянство солнца и ничтожность и малость жизни человеческой перед этим постоянством, потрясли его, как юнца, только что постигшего, что есть жизнь и есть смерть.

Донеся гроб до большой грузовой машины, остановились; двое молодых ребят вскочили в кузов, гроб сняли с плеч, на руках продвинули его в машину, и бедный Алисаттар-муаллим, с которого в этот осенний холодный день лил пот, говорил молодым людям:

— Осторожнее!.. Осторожнее!..

В гробу, в ящике из сырых досок, окрашенном серебряной краской, была Отель Бристоль.

Бедняга Алисаттар-муаллим не мог устоять на месте, все суетился вокруг машины.

— Осторожнее!.. — говорил он. — Осторожнее!.. Чего боялся Алисаттар-муаллим? Боялся, что Отель Бристоль уронят, что ли? Бедный Алисаттар-муаллим, плачет ли сейчас твое сердце, как твое лицо?

или ты плачешь понарошку?

хороший ли ты человек? или плохой человек?

есть ли вообще на свете хорошие люди? или плохие люди?

И он подумал, насколько мала и ничтожна жизнь человека перед постоянством солнца, настолько же эти «хороший» и «плохой» малы и ничтожны перед человеческим (в том числе и Алисаттар-муаллима) сердцем, человеческим миром.

Молодые ребята дважды стукнули по железной кабине кулаками (мол, все готово), гроб установили посередине кузова, можно было двигаться, и люди стали садиться в автобусы, в легковые машины, чтобы ехать на кладбище; молодые люди подняли борта кузова, и гроб больше не был виден, а внутри этого невидимого гроба была Отель Бристоль.

Бедняга Алисаттар-муаллим указывал людям свободные места, метался между машинами, смотрел, чтобы никто не остался без места, проливал ручьи пота, оказывался то в одном конце, то в другом (видно, по природе он был вообще беспокойный человек), не доверял ни

друзьям, ни родственникам, чуть ли не по одному усаживал людей в машины, и, как только видел близкого человека, не мог удержаться, расстраивался; бедный Алисаттар-муаллим.

как ты будешь спать этой ночью?

часто ли будешь вспоминать Отель Бристоль?

вправду ли она была для тебя дорогим человеком?

истинно ли твое непомерное усердие или фальшиво?

будешь ли ты одинок или всегда был одинок?

Он впервые видел Алисаттар-муаллима, полнота Алисаттар-муаллима укорачивала его и без того короткую шею, ему все время казалось, что он давно знает Алисаттар-муаллима, много раз его видел, и Алисаттар-муаллим непременно должен был быть именно таким вот Алисаттар-муаллимом; иного облика, другого лица не могло у него быть.

Бедняга Алисаттар-муаллим на этот раз прошел мимо него и в ответ на соболезнующие взгляды людей уронил:

— Такова жизнь...

— ...Такова жизнь... — Тут Отель Бристоль посмотрела в окно, посмотрела на выглянувшее между облаками осеннее солнце, сощурила свои серые глаза и, как всегда многозначительно, произнесла: — Солнце миллион лет назад, наверное, выходило так же... Солнце и через миллион лет будет выходить так же... — А потом, отведя свои серые глаза от солнца, посмотрела ему прямо в глаза и на этот раз по-русски сказала: — Такова жизнь...

— Не так хороша, да и не так уж плоха, как думается.

Отель Бристоль смотрела Мураду в глаза с прошедшей испытание временем, многоопытной, многозначительной улыбкой и вдруг рассмеялась:

— Вот именно! Хорошо сказал...

Отель Бристоль не знала, что пройдет эта осень, что наступят и пройдут другие осени, и в такой же вот осенний день два молодых парня втянут ее в гробу, в ящике из сырых досок, окрашенных серебряной краской, в кузов грузовой машины.

— И я тебя отлично поняла...

Мурад тоже рассмеялся, потому что эта фраза о жизни, произнесенная Мурадом, принадлежала Мопассану, она была из какого-то его романа — кажется, этой фразой заканчивался роман «Жизнь»; Мурад тоже рассмеялся, потому что тоже не знал, что пройдет эта осень, что наступят и пройдут другие осени, и в такой же вот осенний день — такой же осенний день, какие бывали миллион лет назад и будут еще через миллион лет, — два молодых парня втянут Отель Бристоль в гробу, в ящике из сырых досок, окрашенных серебряной краской, в кузов грузовой машины.

Отель Бристоль была чистоплотна и всегда демонстрировала свою

чистоплотность: то и дело вынимая из сумочки ароматные батистовые платочки, протирала руки, шею, а сырой деревянный ящик, окрашенный серебряной краской, порядком поизносился, в нем переправилось на кладбище столько покойников, прежде чем их по мусульманскому обычаю предали земле без гроба, окутанных лишь погребальным саваном; теперь этот гроб вез к последнему пристанищу Отель Бристолю, а завтра примет кого-то другого, послезавтра — еще кого-то, и так, изнашившись вконец, совсем рассыплется, сгниет и смешается с землей, вместо него сколотят новый гроб.

Однажды, когда Мурад по дороге на работу шел через один из старых кварталов Баку, он увидел, как кровельщики, разломав старый гроб, подкладывают его доски в огонь под котлом с кипящей смолой, которой в Баку заливают крыши, и пламя, охватившее гробовые доски, пламя под котлом с кипящей смолой долгое время еще стояло перед глазами Мурада; пламя это не грело, в нем угадывался ледяной холод, и это холодное пламя как бы замораживало Мурада изнутри.

...Отель Бристолю улыбку Мурада истолковала по-иному и горячей рукой схватила Мурада за запястье:

— Как хорошо, что мы друг друга понимаем... В этом холодном мире даже простое тепло согревает сердце. Я радуюсь... — И тут Отель Бристолю, как обычно в такие мгновения, снова перешла на русский язык:

- А ты?
- Я тоже...
- Что — тоже?
- То же, что и вы...

Отель Бристолю сжала запястье Мурада и придвинулась к Мураду совсем близко, груди ее прижались к пиджаку Мурада, и Мураду стало жаль эти груди, словно они были яблоками, всю зиму продержанными дома, а весной вынесенными на базар, и когда Отель Бристолю, подняв голову, снова посмотрела своими серыми глазами Мураду прямо в глаза, Мураду стало смешно от того, что зов в этом взгляде был таким самоуверенным, и хорошо, что Отель Бристолю почему-то отвела от него глаза и посмотрела на солнце, проглянувшее сквозь осенние облака; конечно, Мурад должен был что-то сделать — либо легонько поцеловать Отель Бристолю, либо отступить в сторону, либо сделать что-то другое, но Мурад ничего не сделал; улыбаясь вполне искренне, от всей души, он спросил:

— Как Алисаттар-муаллим?

Державшая Мурада за запястье горячая рука, рука Отель Бристолю, в которой бил учащенный пульс, тотчас ослабла, потом с той же романтической улыбкой, которую она постаралась сохранить на лице, Отель Бристолю сказала:

— Спасибо, хорошо.

Мурад с тем же простодушием спросил!

— Как его радикулит?

Отель Бристолю была совершенно обескуражена, но с упорством мученицы, решившей претерпеть до конца, попыталась скрыть от Мурада, что оскорблена:

— Радикулит лучше, — сказала она и, не в силах более сдерживаться, вышла из комнаты.

Мурад знал, что имя мужа Отель Бристолю — Алисаттар-муаллим, и, как все в институте, знал и то, что Алисаттар-муаллим не знает о приключениях Отель Бристолю, у него хронический радикулит, и большую часть времени он озабочен своим радикулитом.

...Грузовая машина тронулась, другие машины тоже медленно двинулись вслед за грузовой машиной, водители и пассажиры троллейбусов, такси, других машин, путь которым был перекрыт, с нетерпением и недовольством смотрели на траурный кортеж, ждали, когда освободится дорога, и наконец все машины, следующие за грузовиком с гробом, влились в общее движение, а замыкали шествие старенькие «Жигули», где сидел Алисаттар-муаллим; бедный Алисаттар-муаллим,

как твой радикулит, очень мучает?

может быть, вся человеческая жизнь — сплошная осень и в сущности другие времена года нам только снятся?

утешает ли мысль, что, во всяком случае, радикулит — не рак?

но какое отношение имеет к этому осень жизни?

разве в осень жизни так уж важно, рак у тебя или радикулит?

...Тогда Мурад еще работал в институте, у их отдела была всего одна комната, и в этой одной комнате были четыре стола: за двумя из них сидели старшие научные сотрудники Мурад и Отель Бристолю, третий принадлежал младшему научному сотруднику Мусе, а четвертый — лаборантке Селминаз.

Имя Отель Бристолю, то есть ее настоящее имя, было Мелейка, но и Мурад, и другие, когда разговор заходил о Мелейке-ханум, звали ее Отель Бристолю, потому что Отель Бристолю когда-то ездила в туристическую поездку в одну из европейских стран и в каком-то городе этой страны жила в гостинице «Бристолю», а по возвращении привезла с собой пачку фирменных листовок этой гостиницы, на которых вверху было написано латинским шрифтом: «Отель «Бристолю», и после этого долго писала письма или записки на этих фирменных бланках; например, не смогла вдруг прийти на какое-то заседание — и присылает неофициальное письмо, мол, простите, по такой-то причине не могу принять участия в обсуждении, и вверху этого письма, присланного в отдел, — фирменный знак «Отель «Бристолю». Впрочем, молодые сотрудники придавали этому прозвищу и другой, более лукавый смысл.

На сколько лет Отель Бристоль была старше Мурада? На десять? на пятнадцать? Во всяком случае, она опекала Мурада и вела себя так, будто никто в институте не в состоянии понять внутренний мир Мурада и только Отель Бристоль разбирается в этом утонченном мире чувств и дум Мурада, и вообще Отель Бристоль умеет ценить духовные богатства, ибо сама она перенесла немало душевных потрясений, знает, какова жизнь, и потому ее внутренний мир полон тайн; она часто заговаривала с Мурадом, говорила об истории, говорила об архитектуре, живописи, об итальянском кино, о французском романе, и иногда доходило до смешного, когда, например, Отель Бристоль, уединившись с Мурадом, заводила разговор о зарубежной литературе, а Мурад перечислял Отель Бристоль как писателей одного за другим известных ему американских космонавтов.

Отель Бристоль спрашивала:

— Что новенького читаете?

Мурад говорил:

— Есть такой английский писатель Дэвид Скотт, читаю его роман.

Отель Бристоль выражала восхищение:

— О-о!.. Прекрасный писатель! Какой его роман вы читаете?

Мурад экспромтом выдумывал название романа:

— «Жизнь есть пустыня...»

Разумеется, такого романа не было; разумеется, Мурад не знал, что в осеннюю пору жизни он будет вот так ехать за грузовой машиной, и не знал того, что запах венков, цветов, сопровождающих на кладбище Отель Бристоль в ящике из сырых досок, окрашенном серебряной краской, внезапно напомнит ему ароматные батистовые платочки Отель Бристоль.

Как только Мурад называл этот роман, Отель Бристоль восклицала:

— Да, неплохой роман... Но вы заметили, как точно он двумя-тремя фразами раскрывает женскую психологию?

Конечно, если название романа — «Жизнь есть пустыня», то там должна быть хоть одна женщина, и писатель (неважно, что Дэвид Скотт — космонавт) должен был что-то сказать об этой женщине, но удовольствие от этой односторонней игры было в том, чтобы разгорелся спор, и Мурад возражал:

— Ну, я бы не сказал, что он так уж хорошо знает женщин...

Заученная улыбка в тот же миг вспархивала на уста Отель Бристоль:

— Вы знаток женской психологии? — и после этих, произнесенных с особым ударением слов воцарялось многозначительное молчание, и Отель Бристоль возвращалась к роману в целом: — Конечно, Скотт, как и все англичане, немного суховат, но иногда он подмечает такие детали, каких не встретишь ни у кого другого. Вы читали другие его произведения?

— Нет, не читал. Отель Бристоль говорила:

— У него есть одна повесть, вышла в прошлом году. Сейчас скажу, как она называется... Да, «Взгляд черного кота»! Отличная вещь! Помоему, это лучше, что написано Скоттом. Непременно найдите и прочитайте. Жаль, я кому-то отдала... Каждый раз даю себе слово, что никому не буду давать книги, но никогда не выдерживаю...

Иногда Мураду казалось, что Отель Бристоль тоже потешается над ним, но Отель Бристоль ни над кем не потешалась, просто у Отель Бристоль не было другого выхода: ведь она не могла сказать: простите, я не знаю писателя по имени Дэвид Скотт и не читала ни одного его произведения, и в беседах с Отель Бристоль Мурад представлял президента Сальвадора как испанского кинорежиссера, французского генерала — как канадского дирижера, английского артиста — как австралийского орнитолога, и Отель Бристоль знала всех этих несуществующих кинорежиссеров, композиторов, ученых, называла другие их работы, цитировала их высказывания об искусстве, науке, литературе, спорила с Мурадом об их творчестве.

Селминаз и Муса восхищенно слушали беседы Мурада с Отель Бристоль, старались запомнить впервые услышанные трудные имена великих ученых, режиссеров, писателей, чтобы употребить их где-нибудь к месту; Муса порой, стесняясь, смущаясь, делал пометки в записной книжке; Муса всегда стеснялся, всегда смущался; рассказывали, что этот работающий в институте младшим научным сотрудником долгие годы, не имеющий никаких особых претензий ни к науке, ни к жизни, Муса, несмотря на шестерых детей и милостивую здоровую жену, тайно влюблен в Отель Бристоль и даже подумывает о разводе; говорили, что и сама Отель Бристоль знает об этой тайной любви...

Грузовик остановился у ворот кладбища. Алисаттар-муаллим выбрался из своих стареньких «Жигулей», торопливо пошел к грузовику, и Мураду показалось, что Алисаттар, в сущности, торопится, как и те водители и пассажиры троллейбусов, автобусов и такси, которых было задержала похоронная процессия, торопится поскорее окончить траурный обряд, чтобы они наконец препоручили Отель Бристоль этой, впитавшей в себя осенний холод, сырой земле, но бедняга Алисаттар-муаллим, естественно, не ведал об этих чувствах Мурада и все повторял молодым ребятам, опускавшим гроб с грузовой машины:

— Осторожнее... Осторожнее...

Гроб опустили, и снова четверо взяли этот пропитанный сыростью деревянный ящик на плечи, и все зашагали вслед за гробом; кладбище было погружено в свою обычную тишину, и в этой тишине были скрытое волнение и алчность, и Мураду показалось, что кладбище уже сколько времени ждало их, то есть не в том смысле, что все умрут и кладбище будет последним пристанищем для всех людей до единого, а в том смысле, что кладбище словно ждало именно эту покойницу, и

теперь, когда эта покойница явилась, на кладбище снизошел покой, кладбище спокойно вздохнуло, и этот вздох Мурад ощутил всей душой, всем телом.

Алисаттар-муаллим накинул на гроб накидку из цветастого шелка, и мелкие белые цветочки накидки в глазах Мурада стали крупными, стали пунцовыми, и халат с этими крупными красными цветами на этот раз вызвал какую-то грусть, какое-то тепло...

Как тогда получилось, что они пошли к Отель Бристоль?

После чьей-то защиты был банкет, они здорово поели и выпили, Мурад с Отель Бристоль сидели рядом, потом в этот летний вечер, выйдя с банкета, он целовался с Отель Бристоль в каком-то безлюдном скверике, а потом они пошли к Отель Бристоль домой, и Отель Бристоль открыла дверь своим ключом, потому что дома никого не было, потом Мурада замутило, он прошел в ванную, а когда вышел оттуда, увидел, что Отель Бристоль уже надела этот знаменитый халат с крупными красными цветами.

В институте все знали, что у Отель Бристоль есть один такой халат, и об этом халате с крупными красными цветами ходили легенды, но когда Мурад увидел этот халат собственными глазами, он остолбенел от неожиданности: халат с крупными красными цветами — это было нечто вроде ковра-самолета, или лампы Аладдина, и увидеть его в действительности казалось невозможным; потом все было как в плохих романах: в приоткрывшемся поле халата показались обнаженное бедро Отель Бристоль, и свет в комнате погас будто сам собой, и Отель Бристоль села рядом с Мурадом на диване, и все окуталось туманом в опьяненном мозгу Мурада, и потом, когда он вспомнил все это, вспоминал ту первую и последнюю ночь, все это было в таком же тумане, и теперь Мураду показалось, что с течением лет и туман этот постарел, одряхлел: если и было сколько-то живого влечения в том тумане, то оно уже исчезло, и место его занял осенний покой. Когда наутро друзья спрашивали Мурада, куда это он пропал после банкета, Мурад смеялся: «Отдыхал в отеле «Бристоль»... — и вскоре слова эти стали в институте среди молодежи поговоркой:

— Отличный день для отдыха в отеле «Бристоль»...

— Почему тебя вчера не было видно? Побывал в отеле «Бристоль»?

— Точно такая история, как с отелем «Бристоль»...

...Могильщики с лопатами в руках ждали, когда тело вынут из гроба, положат в могилу и они, засыпав могилу землей, кончат свою работу, но тут Алисаттар-муаллим не смог сдержаться, опустился на колени рядом с гробом и зарыдал, бедняга Алисаттар-муаллим, когда-нибудь все забудется,

когда-нибудь ни тебя не будет на свете, ни меня,
когда-нибудь и всех этих людей не будет на свете,
но солнце так же будет всходить,

потому что и миллион лет назад оно так же всходило, и через миллион лет будет так же всходить, и тогда тоже будут такие, как вы, такие, как я, и они будут так думать, или не будут так думать, — какая разница?

Нет, Муса, оказывается, тоже не любил Отель Бристоль: с женой-то Муса развелся, но женился на Селминаз, и Мурад видел их месяца два тому назад; Мурад уже несколько лет как перешел на другую работу, и в тот день после работы наконец выбрал время, пришел проведать лежавшего в больнице тестя, и от белизны и чистоты больницы, как и от больничного запаха, у Мурада сжималось сердце; в абсолютной, без единого пятнышка чистоте накрахмаленных белых халатов была холодная безнадёжность; в коридоре третьего этажа он встретился с Мусой и Селминаз.

— Здравствуйтесь, Мурад-муаллим!.. — Селминаз откровенно обрадовалась неожиданной встрече, и Муса, все еще работавший в том же институте младшим научным сотрудником, как обычно стесняясь, смущаясь, поздоровался с Мурадом, потом влюбленными глазами посмотрел на Селминаз; Селминаз спросила: — Как вы поживаете, Мурад-муаллим? Давно мы вас не видели... Только иногда по телевизору видим... — и Муса, смущаясь, подтвердил слова Селминаз и снова посмотрел на Селминаз влюбленными глазами; Селминаз сказала: — Все лучшее в институте осталось в прошлом, Мурад-муаллим... Все переменялось! Если придете, даже не узнаете... — Селминаз оглядела поседевшие волосы Мурада и вдруг грустным голосом спросила: — Вы тоже пришли к Мелсейке-ханум?

Мурад не сразу вспомнил, о ком речь, потом понял, что Отель Бристоль лежит здесь, и выяснилось, что уже больше трех месяцев Отель Бристоль не встает с постели.

— Безнадёжна! — глаза Селминаз наполнялись слезами. — Лежит в триста восемнадцатой палате. Ее врач говорит, что больше месяца не протянет. Рак... Но сама она не знает.

Потом Муса с Селминаз ушли.

Тогда еще была ранняя осень, и листья вишневого дерева на больничном дворе, который был виден из окна коридора, еще не пожелтели и были так же зелены, как листья растущих поодаль оливковых деревьев; листья вишневого дерева скоро пожелтеют и опадут, а оливковые деревья хоть и будут оставаться одинаково зелеными летом и зимой, но придет день, и вечнозеленые оливковые деревья высохнут, и их срубят.

Медсестра в чистейшем белом халате, сидя за столом в уголке поодаль, говорила с кем-то по телефону и часто смеялась; белоснежный халат на медсестре топорщился от крахмала, и вдруг медсестра

словно исчезла, остался этот белоснежный накрахмаленный халат, и Мураду показалось, что это халат сидит в кресле, держит телефонную трубку, разговаривает и часто смеется — белоснежный накрахмаленный халат, а внутри его никого нет.

Он открыл дверь 318-й палаты, и ему почудилось, что не он, а кто-то другой вошел в эту палату, и лежащую на кровати пожилую больную одинокую женщину видит не он, а тот, другой; может быть, поэтому он не удивился, что эта женщина так изменилась, ибо вид этой безмерно изменившейся женщины потряс не его а того, другого, и Мурад стал ждать, что вот сейчас эта женщина с разметавшимися по подушке седыми, не подкрашенными хной волосами, с лицом, как будто вылепленным из воска, пожелтевшим и даже как будто потерпевшим, откроет глаза и, увидев его, не поверит своим глазам.

Отель Бристоль действительно открыла глаза и увидела его стоящим перед ней, но вовсе не удивилась, а только улыбнулась, как будто ждала его, знала, что он придет и сейчас она откроет свои серые глаза и увидит его.

Показалось дно серых глаз, как будто из колодца ведро за ведром вычерпали всю воду, и теперь, если заглянешь, увидишь поблескивающее дно.

Серые глаза мучительно улыбались.

Селминаз накануне сказала, что она ничего не знает, но эти серые глаза знали все.

Это мы не знали.

Серые глаза в эту минуту грустно смеялись над осенью жизни, серые глаза в эту минуту грустно смеялись и надо мной.

Уж сколько лет он не видел эту женщину, время от времени встречал ее фамилию в печати и тогда вспоминал о ней и тотчас же снова забывал, но теперь, глядя в эти мучительно улыбающиеся серые глаза, вспомнил прежнюю, полную призыва улыбку этих глаз и почувствовал в этой улыбке никогда ранее не ощущавшуюся искренность, какое-то тепло, от которого расцветает дерево, из яйца вылупляется птенец, или как будто твои озябшие пальцы берет в свои руки другой человек и согревает своим теплым дыханием.

Он знал, что у этой больной женщины нет детей и вообще нет никого, кроме мужа и его родни, и в эту палату; наверное, кто-либо из них заходит после работы навестить ее, но в этих мучительно улыбающихся серых глазах не было ни ужаса одиночества, ни боли сиротства, напротив, эти серые глаза грустно смеялись над одиночеством и сиротством.

Две-три минуты назад, когда эти глаза еще были закрыты, он боялся, что пожилая и больная женщина вдруг вспомнит прошлое, вдруг скажет «я тебя по-настоящему любила», или «та ночь не в счет, ты всегда мне был неприятен», — но теперь, глядя в мучительно улыбающиеся серые глаза с

поблескивающим дном, он почувствовал себя и всю свою жизнь такими малыми, ничтожными и перед этой грустью, и перед этой улыбкой, что это чувство потрясло все его существо...

...Могильщики с силой всаживали лопаты в землю, налегали на них всем телом и, поднимая полные лопаты земли, сбрасывали ее в могилу, и так заполнилась землей новая могила на кладбище, и Алисаттар-муаллим, глядя на эту заполнившуюся землей могилу, рыдал, всхлипывал; бедный Алисаттар-муаллим,

мне очень хочется, чтобы твой радикулит никогда больше не мучил тебя,

мне очень хочется, чтобы ты до конца жизни прожил без забот, чтобы никогда больше не лил с тебя пот ручьями, чтобы в пределах возможного ты был счастлив,

мне очень хочется, чтобы мрак и тишина ночи не вызывали у тебя дрожь,

мне очень хочется, чтобы оливковые деревья во дворе больницы никогда не высыхали и не превращались в сухие палки,

мне хочется, чтобы никто не встречался с кровельщиками, сжигающими гробовые доски,

мне хочется, чтобы Муса никогда не развелся с Селминаз, но... проходит зима, наступает весна, потом приходит лето, и снова начинается осень.

Небо снова нахмурилось, потом снова немного распогодилось, и вышло солнце. Наверное, миллионы лет назад солнце всходило так же. Солнце и через миллионы лет тоже будет всходить точно так же.

1983, апрель

ЧИНАРА

*Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого...*

Шекспир. Из 30-го сонета

Глаз чинары не видно, глаза у чинары неразличимы; потому что, в сущности, чинара видит всем своим стволом, ветвями, листьями, и когда чинара улыбается, то улыбаются сами ее листья, ветви, ствол, и я видел эту улыбку равно и в каждом листочке, и в тонких длинных ветках, и в высоком стволе, чувствовал в этой улыбке единое тепло, единую тайную иронию и единый тайный укор (может быть, неприязнь?).

Теперь зима, и чинара — та самая чинара, — наверно, совсем голая, мерзнет, а когда чинара бывает такой голой, когда мерзнут в холодный зимний вечер ее тонкие и длинные, как волосы, ветки, чинара издали похожа на Меджуна.

Но тогда едва отошла весна, началось лето, и высокая худощавая чинара издали походила на Дон-Кихота.

Было лето, и мы рано утром выехали из Баку, потом проехали Шемаху и, спускаясь по Ахсуинскому перевалу, направлялись к Тбилиси, собирались день или два пробыть в Тбилиси; а затем, останавливаясь на ночлег в гостиницах, проехать по берегу Черного моря к Северному Кавказу, а потом по шоссе Ростов — Баку вернуться домой; как обычно, мы выехали в свое летнее путешествие на месяц у меня был отпуск, у детей — каникулы, золотая пора, и самое большое удовольствие в этом путешествии мне доставляла радость Вугара, Севиль и Солмаз, их беззаботность, да и Гюляр получала удовольствие от того же.

Гюляр была моя жена, Вугар — наш сын, Севиль и Солмаз — наши дочери, и вот уже четвертый год мы вот так отправлялись путешествовать.

В это жаркое летнее утро я вел ГАЗ-24; как только миновал очередной поворот, увидел чинару и, не сумев сдержаться, воскликнул:

— Та самая чинара!..

Вугар спросил:

— Какая чинара?

Севиль спросила:

— Что за чинара?

Солмаз сказала:

— Ну и что, если чинара?..

Гюляр не без удивления взглянула на меня в зеркальце машины, и я ни в то летнее утро не понял, ни теперь, через столько месяцев, понять не могу, почему вдруг сильно покраснел.

Какая чинара? что за чинара? ну и что, если чинара? И правда: ну и что, если чинара? Бакинские дворы полны таких чинар, и чем эта чинара отличается от других чинар, и что это я так взволновался, так закричал?

Однако это была моя чинара.

Нет, не я посадил эту чинару, и видел я ее в четвертый раз, но эта чинара была моя чинара.

Мы ищем себе любимых не только среди людей; есть у каждого человека любимцы во всем сущем в первозданной природе, и, быть может, сами люди не ведают об этом: кто любит легкий, летучий туман, кто — дождь, кто — тенистый лес или, скажем, гранатовое дерево в ярко-красном цвету, или же горную речку, со звонким журчанием бегущую по дну ущелья; а сказав, что люди и сами не ведают об этом, я хотел сказать, что, к примеру, падает снег, и ты сам не осознаешь, как этот снег любим тобою, как тебе дорого, что все вокруг становится белым-бело, и ты сам очищаешься весь среди этой ослепительной белизны.

Когда мы с отцом, мамой и сестрами навсегда покинули свой маленький деревенский дворик и переехали в Баку, война только что окончилась и я был совсем маленьким. Прошли годы, и мое младенчество осталось в таком недосыгаемом, вечном далеке, при мысли о котором комок подступает к горлу; и я начисто забыл и дом в тесном дворике, покинутый нами, и что там было, во дворе и его окрестностях, не забыл только рослую чинару, бросившую всей своей статью как бы вызов всему белому свету: эта чинара навсегда осталась во мне и со мной.

У всех людей руки, ноги, уста, у всех чинар ствол, ветви, листья, но, как и люди, они не похожи друг на друга, они разнятся обликом, и, когда среди них, как и среди людей, ты замечаешь кого-то похожего на твоего заветного, милого друга, навсегда оставшегося в прошлом, щемящее волнение охватывает душу...

Дорога стелилась под колеса машины, повороты сменяли друг друга, но мне казалось, что не мы приближаемся к чинаре, а чинара приближается к нам, и по мере того как чинара приближалась, еще выше становилась ее донкихотская высота, понемногу начинали различаться ветки, а потом и листья, и я, как в прошлом году и как в предшествующие годы, снова слышал голос листьев этой чинары, и, разумеется, понимал, что этого не может быть, что на таком расстоянии услышать голос листьев чинары невозможно, но хоть я и понимал это, я слышал голос чинары и даже чувствовал, что это не просто шум листьев, что чинара способна говорить, как человек, — и

это чувство, как и прежде, непонятно почему пугало меня, страшило.

Страх, даже ужас охватил меня всего, но вместе со страхом, даже с ужасом в сердце моем жило и тайное чувство безопасности, и чувство безопасности говорил: не бойся этой чинары, в природе этой чинары есть и мягкость и незлобивость, она милосердна и не причинит тебе вреда.

Я знал, что, как только чинара достигнет нас, она сядет в машину, но как поместится такое высокое, такое раскидистое дерево в наш ГАЗ-24?

Сердце мое тайно желало этого: мне хотелось, чтобы чинара села в машину, но вместе с тем я надеялся, что чинара не влезет в машину, просто не сможет сесть в машину.

И в самом деле, как она могла поместиться в машину? Ведь годы шли, и эта чинара вырастала и становилась все ветвистее, но, когда она остановила машину и, открыв зеленоватыми ветками переднюю дверцу, села рядом со мной, я остолбенел: такое огромное дерево легко уместилось в машине, правда, листья и ветки заняли все пространство салона, но все равно не обломались, не оборвались и внесли с собой внутрь машины прохладу раннего летнего утра, в машину подул легкий ветерок, и хорошо, что подул этот ветерок, иначе на сей раз я задохнулся бы.

«Что это за музыка?» — Голос у нее был и молодой и старый, громкий и одновременно снижающийся до шепота.

«Кто ее знает... Вугару нравится...»

Она промолчала, ничего не сказала, но я прекрасно понимал, что она молчит не потому, что ей все равно, и не потому, что ей жаль меня, нет, наряду с незлобивостью, мягкостью, милосердием в ней была и жестокость.

«Не бойся».

«Чего мне бояться?» — И в тот же миг я увидел улыбку в ее неразличимых глазах, и эта улыбка постепенно распространилась по всему ее грубому стволу, по всем ее листьям и ветвям, и по мере того как я, отведя взгляд от дороги, все внимательнее смотрел на нее, я вначале почувствовал ее иронию, потом затаенный укор (или неприязнь).

«Но почему, за что?»

Она улыбнулась всеми своими листьями, ветвями, стволом.

«Разве другие лучше меня?» — Я сказал это, но тотчас же понял, что это бессмысленные слова, потому что, увы, наш разговор не касался никого другого на целом свете, потому что, увы, на свете сейчас вообще никого не было, был только я, и еще была она, и еще была ее прозрачная улыбка; и я понял бессмысленность произнесенных мною слов, но в тот же миг внутри меня возникла страстная злоба, ее улыбка всеми листьями, ветвями, стволом пробудила во мне безумное ожесто-

чение, и мне захотелось, глядя ей прямо в глаза, закричать; да, я потерял душу, я живу, как автомат, я вообще не живу, да, я запутался в этой жизни, в деньгах и женщинах, занят нелюбимым делом, да, да, да, все это так, но я не боюсь ничего...

Она снова улыбнулась всеми своими листьями, ветвями, стволом.

Ахсуинский серпантин окончился, и абсолютно прямое шоссе тянулось и тянулось, и сияло летнее утро. «Ты очень несчастен...» «Да, очень».

«Но в прошлом году ты так не говорил, ты еще спрашивал почему».

«С прошлого года прошло двенадцать месяцев. Двенадцать месяцев — это триста шестьдесят пять дней. И при трехстах шестидесяти пяти днях есть триста шестьдесят пять ночей...»

На этот раз и в листьях ее, и в ветвях, и в старом грубом стволе была откровенная неприязнь, и мне хотелось уязвить ее, хотелось спросить: она только меня так осуждает или всех людей на земле? Но я ничего не спросил, потому что ее холодная неприязнь жгла мне сердце, потому что я любил эту чинару, от всего сердца любил ее листья, ветви, старый грубый ствол.

«Но если я так тебя люблю, значит, я не могу быть совсем уж дурным человеком. Значит, во мне есть что-то доброе. Я тебе противен, ты брезгуешь мной, хочешь вернуться обратно на свое место, задыхаешься в этой машине, не чувствуешь себя здесь свободной, не умеешь здесь, но почему ты не понимаешь, что и у меня есть сердце, и у меня есть мысли, я не совсем бездушен, и вообще совсем уж бездушных людей нет. Тебе я противен, а вот Вугар меня любит, Севиль меня любит, Солмаз меня любит, я им нужен, необходим, а если они меня любят, если я им нужен, даже необходим, значит, и во мне есть что-то доброе...»

«Тогда чего же ты хочешь? Если все так хорошо, тогда чего же ты от меня не отстаешь? Я не человек и, может быть, ничего не понимаю в тебе...»

«Неужели уже ничего не осталось во мне?» «При трехстах шестидесяти пяти днях есть триста шестьдесят пять ночей; и сколько из этих трехсот шестидесяти пяти ночей ты можешь спать спокойно?»

«Ни одну... Днем голова занята, днем человек обо всем забывает, делает хорошее, делает плохое, а ночь — вот горе. Ничего не боюсь я: ни осуждения, ни позора не боюсь, только ночей боюсь... Избавь меня от ночей, избавь меня от того, чтобы ночами я оставался один на один с самим собой, избавь... Ведь если я так тебя люблю, значит, есть во мне что-то доброе! Избавь же меня от ночей, укажи мне путь...»

«Путь? Путь перед тобой. Прямо в Тбилиси тебя приведет. Друзья тебя там ждут, и все пройдет отлично. Потом Черное море, потом...»

«А ведь ты не должна быть такой жестокой...» — И, не знаю почему, мне вдруг вспомнилась легенда (а может, это и не легенда, а

так оно и было?), которую я слышал в детстве: когда на земле случился всемирный потоп и начал свое плавание Ноев ковчег, один человек, барахтаясь в воде, кричал: «О пророк, кинь мне веревку, возьми меня в ковчег. Помнишь: однажды у тебя не было муки, чтобы хлеб испечь, ты голодал, и я щедро помог тебе, я давал тебе муку мешками!» Ной сделал вид, что не слышит его, не видит, ибо в тот момент, когда вода залила землю, он подумал: вытаску я этого человека из воды, спасу, а потом он потребует назад муку, которую давал мне...

Почему мне вдруг пришла на ум эта легенда?

Дорога... Нет, это была не дорога Баку — Тбилиси, эта дорога была дорогой моей жизни, и я с самого рождения был путником на этой дороге, шел, шел и шел: у всех начало и конец одинаковы, однако пути, ведущие от начала до конца, неодинаковы, вернее, все идет по одной дороге, по одному шоссе, но по одной дороге каждый идет своим путем.

Тот барахтавшийся в воде человек должен был обмануть пророка, должен был сказать Ною: не я тебе, а ты мне давал муку мешками, — тогда, наверное, Ной вытаскил бы человека из воды, потому что, наверное, Ной подумал бы: спасу я этого человека, и он вернет мне свой долг.

Но эти зеленые листья, эти ветви, этот старый и грубый ствол принадлежали не пророку Ною, а дереву чинаре, а чинары издали похожи на Дон-Кихота.

«Может быть, ты мне не веришь? Может быть, ты думаешь, что я и тебе лгу? Поверь, поверь мне... Я тебя так люблю, и листья твои люблю, и ветви, и жесткий ствол. Ты права, я и Гюляр обманываю, ты права, я и друзей обманываю, и себя обманываю, но тебе я говорю правду, я очень люблю тебя, поверь мне, поверь...»

— Ой!.. Что это с тобой?! Почему ты плачешь?

Это был голос Гюляр: Гюляр со страхом и изумлением глядела на меня в зеркальце машины.

И Вугар, и Севиль, и Солмаз удивленно смотрели на меня.

Я тоже взглянул на себя в зеркальце и торопливо вытер покрасневшие мокрые глаза, хлопнул носом и немного успокоился.

Потом улыбнулся детям.

Пел Демис Русос или кто-то вроде Демиса Русоса, — я их не различал хорошенько, — и Вугар, отведя от меня взгляд, уткнулся в свой магнитофон.

Гюляр сначала разнервничалась, потом понемногу успокоилась и задремала.

Девочки смотрели на тянущиеся вдоль дороги цветы, горы, луга.

Чинара давно осталась позади, и ее не было видно.

ДВОЕ В СЕРОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Рассказ о нелюбви

Терпи, душа моя окаменелая...

Аббас Туфаргали

Весна и лето давно уже прошли, и самым грустным воспоминанием о прошедшей весне были зеленовато-желтые редкие листья. Каждый день, встав поутру с постели, он видел в окно, выходящее во двор, эти редкие листья, и каждый день поутру эти желтоватые редкие листья вешали не только об ушедшей весне, но и об ушедших жизнях, о бренности мира, вдруг напоминали о людях, о которых не вспоминалось годами и которые давно покинули этот мир; их близкие, их далекие лица, их черты, сменяя друг друга, возникали перед его мысленным взором, и глаза на этих лицах всегда были закрыты, изжелта-зеленоватая бледность редких листьев, как желтая тень, покрывала эти лица, эти черты; потом ему вспоминались больницы, а ведь больницы — самое печальное место на земле.

Он и до выхода на пенсию, и после выхода лежал в больницах, часто ходил в больницы навещать друзей-приятелей, и скольких уже нет в живых; и теперь, глядя на зеленовато-желтые редкие листья, он представлял себе то одного, то другого в их больничной печали и желтизне, и у всех у них глаза были закрыты, и он вспоминал все черточки этих лиц, вспоминал улыбку губ, но цвета глаз припомнить не мог, потому что глаза не открывались, глаза всегда были закрыты, вернее, он знал, что у такого-то глаза были голубые, а у этого, кажется, черные, но увидеть их голубизну или черноту он не мог, потому что все было одного цвета, все было окрашено печальным оттенком зеленовато-желтых редких листьев.

Шел мокрый снег, и редкие листья намокали, дрожмя дрожали, и он чуть ли не собственным телом ощущал эту дрожь и вспоминал, как плакал в детстве, потом вспоминал, как плакали другие дети, потом вспоминал, как плакали взрослые люди: сначала — как плакали девушки, женщины, потом — как плакали мужчины; а потом ему вспоминались траурные обряды, в которых он принимал участие в течение долгих-долгих лет; перед глазами его появлялись накрытые коврами траурные носилки или гробы, плывущие на плечах к кладбищу, а потом он представил себе, как плакали, вернее, как могли плакать мужчины, плача которых он не видел, как наполнялись слезами их глаза, как дрожали в горестной улыбке губы, подбородки, и самое странное было то, что не было ни единого человека (независимо от

того, хороший он, плохой ли, грубый или мягкий, даже знакомый или нет, высокопоставленный, почтенный или бог весть кто, чей портрет он случайно видел в газете, и вплоть до Алисафы), которого он не заставлял бы в своем воображении плакать, и иногда ему казалось, что в этом есть что-то низкое, как будто он тайком, исподтишка заглядывает в замочную скважину; но он не мог отвести глаз от намокших, дрожа дрожавших от мокрого снега, от холода и морозца зеленовато-желтых редких листьев, потому что, несмотря на свои семьдесят три года, он в крайнем изумлении видел, что все люди на земле в его воображении плачут одинаково; у всех людей плач был одинаков, люди одинаково всхлипывали, одинаково лили слезы, одинаково были потрясены, одинаково грустили, тосковали, и главное, эти люди не знали о своей одинаковости, не знали, что до такой степени похожи друг на друга, когда горюют, плачут, не знали, что это у них совершенно неразлично.

Зеленовато-желтые редкие листья, по сути дела, вешали о единстве человеческой породы, вешали о том, что от первого человека до последнего все проживают одну и ту же единую жизнь, вешали, что и сама эта огромная жизнь, которой не видно ни начала, ни конца, по сути своей, всего лишь миг.

...Мокрый снег переставал, потом снова шел; мокрый снег пережидал, и холодный ветер высушивал мои зеленовато-желтые редкие листья, и резал в холодных воспоминаниях на ломти, как черствый хлеб, все теплые чувства, все волнения, и металлический холод ножа проникал до мозга костей, а потом проходил день, редкие листья становились еще реже, еще один лист срывался с мокрой и голой ветки, и я отводил глаза от зеленовато-желтых редких листьев, потому что не хотел смотреть на путь, по которому оборвавшийся листок летит к последнему своему пристанищу...

...Конечно, эта последняя осень пройдет, и зимние холода пройдут, снова придет весна, ярко-зеленые листья усеют ветви, но все это не может утешить меня, ибо ярко-зеленые листья усеют эти ветки, но вот этих зеленовато-желтых листьев больше никогда не будет, они сгниют, они исчезнут; придет зима, придет весна, и многих из живущих теперь на земле людей, так же как я смотрящих в окно, так же видящих мир, уже не будет, а однажды и меня не будет, и, может быть, тогда еще кто-нибудь, в последнюю осень своего времени, глядя на зеленовато-желтые листья того времени, вспомнит меня самого, и я буду плакать в его воображении...

...или смеяться?

Какая разница...

В последнее время он иногда разговаривал сам с собой; в последнее время? а прежде как? прежде кто бывал его собеседником? Он улыбнулся, и в этой улыбке была насмешка, вернее, тайное, очень

глубоко скрытое злорадство, но кого он высмеивал, над кем злорадствовал? над собой? над женой? может быть, над этими зеленовато-желтыми редкими листьями? Нет, нет, можно злорадствовать надо всем и надо всеми (кто или что на свете не имеет вины?), но над этими зеленовато-желтыми редкими листьями злорадствовать невозможно; они не выдержат этого, они не выдержат даже недоброй улыбки: ведь на них нет никакой вины; правда, зачем же они вылезли из почек, выросли, стали ярко-зелеными, а потом так вот поредели и окрасились этой печальной желтизной?

Жена его, как обычно, сидя в мягком красном кресле, вязала варежки для кого-то из внучат, и на варежке был рисунок в виде тюльпана, но жена вышила этот тюльпан так, что он скорее походил на якорь, чем на тюльпан, и от этого сходства тюльпана с якорем у него защемило сердце, потому что якорь напоминал о застое, о неподвижности, о тяжести.

Прежде он вместе с женой хаживал на театральные постановки, но уже больше года как он в театр не ходил, потому что однажды неожиданно для себя затосковал, глядя на сцену, и подумал, что артисты в одном и том же спектакле всегда говорят одни и те же слова, в четверг, пятницу или воскресенье; в весенний день, осенний вечер или в зимнюю стужу всегда должны произноситься одни и те же слова: ветер дует? пусть дует; снег идет? пусть идет; умер кто-то? пусть умирает; родился кто-то? ну что же — разницы никакой, должны произноситься одни и те же слова; и то, что артисты не могли изменить слова, написанные, скажем, четыреста лет назад Шекспиром, сжимало ему сердце, и он больше не ходил по вечерам в театр вместе с женой, и, конечно, жена, как всегда, ничего не поняла и так же, как прежде, соглашалась ходить в театр, теперь согласилась не ходить в театр.

...Сколько лет я прожил, болел, выздоравливал, делал хорошее, но, сказать по совести, и плохое делал, обижался, обижал, волновался, ожидал, плясал на торжествах, держал траур, видел новорожденное дитя и труп старика, и все это для того, чтобы в один из желтолистных осенних дней стало ясно, что жизнь прошла; черпал воду решетом, не зная броду, совался в воду...

В его долгой жизни было все, только... только чего не было? Одна-ко хватит.

Он стал задыхаться и вспомнил, что много-много лет назад у него была тетушка, которая страдала одышкой и сама же посмеивалась над этим: «У меня есть брат: ушел — не вернулся. Что это?» Он был маленький, долго раздумывал над загадкой, заданной тетей, много слов назвал, но отгадать не сумел, а тетя смеялась: «Да это вздох,

непонятливый ты, это мой несчастный вздох, уходит — не возвращается...» — и давний тетушкин смех замер в желтизне редких листьев, стал как бы восковым; потом воск растаял и исчез в желтизне.

Стоя перед окном, он смотрел на зеленовато-желтые редкие листья, подходило время прогулки, и скоро он наденет пальто и шляпу, выйдет из дома, медленно пройдет по Приморскому бульвару, кого-то встретит или никого не встретит; потом тихонько вернется назад, жена подаст диетический ужин, он съест эту безвкусную несоленую еду; потом немного посмотрит телевизор, позвонят по телефону сын или дочь, жена поговорит с детьми и скажет, что он чувствует себя неплохо; а потом что будет? а потом он ляжет спать, уснет, чтобы, проснувшись поутру, снова смотреть на эти зеленовато-желтые редкие листья и чтобы в этой желтизне мелькали воспоминания.

У воспоминаний тоже бывает осень, они вянут, желтеют, как эти листья, и однажды исчезнут, сгниют, смешаются с землей.

До конца осени осталось мало, и этим редким листьям жить осталось совсем мало.

...На свете жило много знаменитых и мудрых мужей, и мужи эти говорили о временах года: иные из них благодетели наши, иные разорители; иные соберут-принесут, другие разобьют-сокрушат; но разбивает и сокрушает ледяное дыхание одиночества, заполняющее человека целиком, чтобы уносить жизнь, чтобы разбивать-сокрушать жизнь; о временах года еще говорили, что у человека есть четыре дома: один зеленый, один красный, один желтый и один белый; а это ты как истолкуешь, дорогой друг? истолкуй-ка по-своему: белый — это цвет савана, желтый — цвет смерти (таковы эти зеленовато-желтые редкие листья), красный — бессмысленная злоба, а зеленый — что? что зеленый? вымажь зеленый черным, да поскорее...

Но зеленый он не смог вымазать черным, потому что Зеленый внезапно стал переливаться разными красками, и в этом смеющемся, радующемся, играющем с солнечным светом Зеленом он увидел что прекрасное — щеки, как у яблока, — гладкое лицо, каждая черточка которого говорила о здоровье, желанин, тайной страсти, те черные глаза, сверкающие в Зеленом, и вначале он не узнал это видение, только почувствовал что-то родное, близкое, дорогое в этом лице, в этих глазах, а потом узнал...

Как звали ту девочку? что это было за место? кажется, они с отцом поехали в село, и Зеленое было зеленью того села; во всяком случае, ему помнится, что они с отцом сели в фазтон и ехали в фазтоне, и тот оставшийся за долгими-долгими годами фазтонный восторг, и то Зе-

леное, и те щеки-яблочки, и черные глаза следовали друг за другом...

Девочка была старше его, ей было лет тринадцать-четырнадцать, ему — десять-одиннадцать; девочка взобралась на ветвистое ореховое дерево, он смотрел снизу вверх на девочку, и были явственно видны голые бедра девочки, и девочка смеялась: женишься на мне, когда вырастешь? а потом что будешь делать? почему молчишь? что будешь делать со мной? и девочка, взобравшись на ореховое дерево, смеялась, глаза ее сверкали...

Жена внимательно посмотрела на связанную vareжку, разгладила рисунок на vareжке, осталась довольна своей работой и сама же улыбнулась своей работе; наверное, вспомнила своих внуков и снова улыбнулась, покачала головой, потом посмотрела на него, и в ее улыбающихся глазах мелькнула тревога.

Он почувствовал эту мгновенную тревогу в глазах жены, и это чувство еще больше усилило желтизну зеленовато-желтых редких листьев, как будто уже и голые черные ветки тоже окутались желтизной.

Жена совсем постарела.

Календарь и сам — дерево, дрожмя дрожащее в позднюю осеннюю пору: каждый день теряет по одному желтому листку.

Что делает теперь та девочка, которая стояла на толстой ветке орехового дерева, смотрела сверху вниз и смеялась? теперь, по прошествии стольких лет? может ли она и теперь смеяться? нет, не может она смеяться, потому что она умерла. Он забыл, кто была та девочка, не знал о ее дальнейшей жизни, о ее судьбе, больше никогда не видел ту девочку, но теперь всем существом почувствовал, что девочка умерла, и перед его глазами появилась обесилевшая старуха в гробу, и лицо старухи сквозь мертвые морщины было похоже на лицо той девочки, но от смеха ее не осталось и следа; и тут холод смерти смешался с желтизной зеленовато-желтых редких листьев, и холод, сковав эти желтые листья, сделал их скользкими, как прозрачный желтый лед.

Он не боялся смерти, может быть, напротив, где-то в глубине души тосковал по самой смерти, ибо если все равно умирать — ну, разумеется, умирать, какой тогда смысл в этой долгой жизни? но и в самом этом вопросе была какая-то ложь, было притворство, потому что в той же глубине души был страх перед исчезновением, и, в сущности, осенняя желтизна время от времени пробуждала этот страх, вызывала его на разговор об этом страхе, с этим страхом.

Когда у него был первый инфаркт, он еще работал, второй раз у него был инфаркт, когда он вышел на пенсию, когда же будет третий

инфаркт? — он мог быть и сегодня, и завтра, и через год, но лучше было бы, чтобы он случился ночью, и все было бы тихо, беззвучно, потому что он был совершенно уверен, что третий инфаркт будет его последним инфарктом.

По телевизору что-то говорили, но ему показалось, что эти разговоры он уже однажды слышал, и он отошел от окна, подошел к телевизору, переключил волну, спросил у жены: сегодня четверг? жена сказала: нет, кажется, пятница, потом вспомнила, что завтра Арастун придет к ним и останется; да, сказала она, пятница, завтра суббота, Арастун придет и останется у нас, на воскресенье; потом жена, вспомнив своего внука, снова улыбнулась.

...Почему «своего» внука, почему ты не говоришь «нашего» внука? разве это не дитя твоего родного сына? разве это не твой родной внук? она — его бабушка, а ты — его бабушка; почему же ты не говоришь «наш» внук? и почему путаешь дни?

Ах, да брось ты эти вопросы...

По телевизору девушка в ярко-синем платье что-то говорила, и все, что она говорила, опять показалось ему знакомым, как будто он все это слышал, и информацию о погоде слышал вчера или позавчера, и концерт этот давно видел, и сейчас жена ему что-то скажет, но это «что-то» он давно уже слышал; жена действительно посмотрела на него и сказала, что давно уже про семью Алисафы ничего не слышно, интересно, как они там? и действительно, ему показалось, что она задает этот вопрос второй раз, второй раз спрашивает о здоровье их старых друзей, и он второй раз отвечает, что позавчера видел на бульваре сына Алисафы Искендера, он говорит — у Алисафы грипп.

От красного якоря на маленьких варежках, связанных женой, у него снова защемило сердце, ибо якорь напоминал о застое, неподвижности, тяжести; и, поднявшись, он подошел к окну, встал лицом к лицу с дрожа дрожащими зеленовато-желтыми редкими листьями, и на этот раз бледная желтизна печали ярко засверкала, запылала, повела его куда-то эта золотая желтизна, и во всех подробностях ему вспомнился золотой осенний день: ему было лет семь-восемь, он прыгал по засыпавшим весь двор золотым опавшим листьям, и была у него старая бабушка; всегда сидя на веранде, она что-то шила, что-то штопала, и, когда кончалась нитка в иголке, умоляла: иди сюда, вдень нитку в иголку, мои глаза уже игольного ушка не различают.

Как может меняться цвет? и желтое может так смеяться, так сверкать, так радоваться, и он среди этой радостной желтизны поднялся на веранду, в мгновение ока вдел в игольное ушко кончик нитки,

который бабушка наслонила и сжимала окрашенными хной пальцами, снова сбежал во двор, а бабушка, продолжая шить, говорила что-то сама себе; что она говорила? только бы мне увидеть его свадьбу, больше забот у меня на свете не было бы.

Была ли бабушка жива во время его свадьбы? — точно вспомнить он не мог; кажется, умерла... или была жива?.. хотел спросить у жены, но не спросил, и желтый блеск понемногу угас, желтая радость понемногу исчезла, и зеленоватая желтизна редких листьев снова окутала все вокруг, но на этот раз в зеленоватой желтизне было что-то родное, мило-печальное, были едва различимые тонкие морщинки, был взгляд, улыбка, и он понял, что это — морщинки бабушкиного лица, взгляд и улыбка бабушки, а печаль — то милое и родное, что было когда-то в течение долгих-долгих лет.

Потом он огорчился за Алисафу, потому что Алисафа, несмотря на свой возраст, был подвижным как ртуть, всегда на ногах, а грипп теперь, наверное, изнурил Алисафу: не может выйти из дому, не покупает в магазине кефир, не идет рано утром в очередь в киоск за газетами, не играет на бульваре в домино с пенсионерами... а что же он делает? пьет лекарства, чтобы грипп скорей прошел, а Гюльсум, заварив бархатистый, почти пурпурный чай, вместе с кизилловым вареньем ставит его перед Алисафой; Гюльсум уже пятьдесят лет была женой Алисафы и пятьдесят лет терпела желчные выходки, придирки, вздорный нрав Алисафы; да Алисафа и сам это знал: мои штучки выносить — это подвиг, а?! и оба смеялись — и Алисафа и Гюльсум.

Прежде они время от времени собирались, и на этих сборищах Алисафа часто вставал и поднимал бокал за его здоровье и здоровье его жены: мы ни разу не видали, не слышали, чтобы ты сказал жене грубое слово, всегда вы ласковы друг с другом, кто среди нас вот уже сорок пять или пятьдесят лет зовет жену не просто по имени, а обязательно с добавлением «ханум»? кто из нас говорил жене: «Ханум, пожалуйста, дай мне чайку», — нет, никто, только ты...

И внезапно — словно желтизна редких листьев сказала это — он понял, что грипп — это отговорка, что Алисафа больше никогда не встанет с постели, что это последняя болезнь Алисафы, что скоро Алисафа умрет, и эти зеленовато-желтые редкие листья еще опасть не успеют, — и внезапно проникая в его сердце догадка потрясла его, он хотел прогнать эту мысль, прогнать это знание, но не смог, и лицо бедного Алисафы тоже стало желтым, как эти редкие листья, глаза его закрылись; как он ни старался, это видение не уходило, и он понял, что это

правда, действительно будет так, Алисафа и вправду умрет в ближайшие дни.

До начала прогулки по бульвару оставалось еще больше часа; но он уже не хотел стоять лицом к лицу с зеленовато-желтыми редкими листьями и, пройдя в другую комнату, надел свой костюм, повязал, как обычно, галстук, и жена, увидев его одетым для выхода, положила на кресло маленькие варежки, что почти уже связала, встала, чтобы поддержать ему пальто, подать шляпу, проводить до дверей.

Он встал лицом к лицу с женой, и вдруг всколыхнулось мстительное чувство: к кому? к себе или, может быть, к жене? или, может быть, к зеленовато-желтым листьям? а может быть, к прожитым из года в год, из года в год будням без ссор и неладов?

Глядя прямо в водянистые глаза жены, все больше теряющие свой цвет, он сказал:

— Ты всегда была мне чужой.

И сам остолбенел от этих слетевших с его губ невозможных слов. Потом сказал:

— И я всегда был тебе чужой...

и снова остолбенел от этих своих слов, потом устыдился, что произнес эти слова, удивилась жена этим словам или встревожилась? или в этих словах не было для его жены ничего неожиданного и все годы — полстолетия — его жена отлично знала то, что он теперь сказал?

но, может быть, жена только что это открыла? вернее, услышала, что он это открыл?

а может быть, к старости человек действительно глупеет, и жена так улыбается, подумав об этом?

Он отошел, надел свое желтое пальто, обмотал шею шарфом, нагнул шляпу на лоб, а жена, подойдя к нему, поправила шарф, поправила воротник его желтого пальто и сказала: «По мне, так не ходил бы ты гулять в такую погоду»; сказала: «Простудишься»: потом: «Нет, еще голова закружится, упадешь, чего доброго. Я тоже иду с тобой», — сказала она и торопливо оделась, и взяла его под руку, и они вместе вышли из дому.

В тот последний осенний день все вокруг окутала пустота, и в этой окутавшей все вокруг пустоте они медленно исчезали, только желтое пальто, желтизны зеленовато-желтых редких листьев, виднелось пятном среди прозрачной серости, потом и это зеленовато-желтое пятно тоже растаяло и исчезло в сером пространстве поздней осени.

1983, апрель

АВТОКАТАСТРОФА В ПАРИЖЕ

Шахрабану-ханум. Умерли, что ли, Гатамхам-аза и Шахрабану-ханум, чтобы какой-то франк обманул Шахбазу и увез в Париж!..

*Мосье Жордан. Доммаж Пари!
Кель малёр! Мон дьё! Мон дьё! Мон дьё!*

*М. Ф. Ахундов. Мосье Жордан,
ботаник, и дервиш Масталишах,
знаменитый колдун*

1

Кериму-муаллиму приснился путаный сон, в котором привиделись ему давно умершие люди, причем не отец, не мать, не родня, а старые соседи, директор школы, что был директором двадцать пять лет назад, дальние родственники жены, один из бывших мужей Нуриды; и, собравшись вместе, все они ели арбуз, и арбуз был так велик — каждый ломтик, как лодка; и давно умершие люди взобрались на эти ломти и расселись на них, и руками отламывали огромные куски арбуза, ели, обливая арбузным соком руки, ноги; арбуз был красный-красный, и Керим-муаллим, глядя во сне на его алую мякоть, словно бы услышал выстрел, потом еще один, открыл глаза, понял, что видел сон, но опять услышал выстрел, приподнялся, сел в постели и, снова явственно услышав звук выстрела, вскочил и подошел к окну.

Перед старым двухэтажным домом, где жила семья Керим-муаллима, был небольшой скверик; рано утром пенсионеры, накупив у входа в киоске газет, рассаживались на скамейки и читали; потом мамы, бабушки, няни привозили в этот сквер детишек, и детские коляски выстраивались в ряд, как клавиши пианино, однако после полудня здесь снова собирались пенсионеры, играли в нарды и домино, а потом наступала ночь, и скверик становился безлюдным, воцарялась тишина; а затем наступало утро и все повторялось с непрерываемой точностью.

Керим-муаллим выглянул в окно, которое выходило в скверик, и увидел, что один человек стоит с ружьем и целится, а рядом с ним другой — в больших рукавицах, и, по правде говоря, Керим-муаллим сначала испугался, потому что впервые в жизни перед ним стоял

¹ Как жаль Парижа! Какое несчастье! Боже мой! Боже мой! Боже мой! (фр).

человек с ружьем и человек этот, хотя еще не успело рассвети как следует, целился и стрелял; потом Кериму-муаллиму показалось, что снимают кино, потому что однажды, лет десять назад, тут снимали кино, но теперь во всем сквере и на окраинных улицах, кроме этих двух людей, никого не было, только в дальнем конце немного поодаль стояла машина-фургон. Кто же это мог быть, воры?

Тот, кто целился, снова выстрелил, и на этот раз одновременно с выстрелом Керим-муаллим услышал собачий визг и увидел, как человек в больших рукавицах побежал в сторону оливковых деревьев, схватил за уши распростертую под деревьями повизгивающую собаку, обеими руками поднял пса с земли, понес и бросил в фургон.

Керим-муаллим понял, эти люди отстреливают бездомных больных собак; наверное, они из Баксанинспекции; но при всем при том отстрел этих несчастных животных, да еще ранним утром, произвел тяжелое впечатление на Керима-муаллима; он даже хотел что-то крикнуть из окна этим людям, но потом подумал, что на свете каждый занимается своим делом и отстреливать собак — их профессия; подумал и о том, что, вероятней всего, тот, с ружьем, стреляет не свинцом, а усыпляющим средством и, усыпив собак, их уеззят.

Двое еще немного пошарили взглядом по скверу, внимательно и цепко, так что Керим-муаллим даже издали различил некую алчность в глазах того, что с ружьем, и того, что в рукавицах, и подумал, наверное, эти двое получают оплату по количеству привезенных собак; потом один снял рукавицы, а другой положил ружье в кабину фургона, и оба сели в машину и уехали.

Керим-муаллим еще немного постоял у окна, глядя на сквер, на двухэтажные и трехэтажные дома напротив; все спали, августовское утро только наступало, и еще никто не проснулся, и фруктово-овощной киоск на перекрестке пустовал, арбузы были собраны в большую железную клетку близ киоска, и на двери клетки висел большой железный замок.

Внезапно Кериму-муаллиму показалось, что арбузы как бы арестованы, заключены в тюрьму, и Кериму-муаллиму стало неприятно как от самой этой мысли, так и оттого, что она пришла ему в голову, потому что Керим-муаллим не любил попусту говорить и о пустом думать.

Позевывая, Керим-муаллим почесал волосатую грудь и подумал: как это получилось, что от звуков выстрелов никто не проснулся?

Он знал всех в окрестных домах; встречаясь с кем-либо, останавливался, спрашивал, как дела, с кем-то просто здоровался и проходил и хотя кое-кого, особенно новоселов, знал лишь в лицо, помнил всех, потому что Керим-муаллим родился в этой квартире, где жил и сейчас, никогда в жизни не обитал в другом месте, только однажды — семнадцать лет тому назад — возил семью на месяц в

Нальчик и еще раз — девять лет тому назад — ездил на двенадцать дней в Шушинский санаторий.

Отведя глаза от сквера, Керим-муаллим взглянул на стенные часы — эти стенные часы Кериму-муаллиму подарили в школе в связи с тридцатилетием его педагогической деятельности, и, в сущности, этот подарок был единственной за всю жизнь наградой, — они показывали без двадцати шесть, ложиться снова не было смысла, и Керим-муаллим тихо направился в кухню.

В квартире было две комнаты, застекленная веранда, кухня, и, когда Керим-муаллим проходил мимо одной из комнат, на миг замер: младенец, лежавший в своей маленькой деревянной кроватке рядом с кроватью Шаргии, не спал и открытыми глазами безмолвно смотрел на Керима-муаллима.

Керим-муаллим впервые видел этого малыша таким молчаливым и таким серьезным.

Шаргия была старшей дочерью Керима-муаллима, а малыш ее сыном, то есть внуком Керима-муаллима, и был он ужасным плаксив. Шесть месяцев, как ребенок появился на свет, и за эти шесть месяцев не было дня, чтобы он не плакал, если, конечно, не спал. И теперь, увидев младенца не спящим и не плачущим, да еще таким серьезным, Керим-муаллим в глубине души даже встревожился немного: что это за утро такое?

Керим-муаллим, естественно, не был суеверен и ни в судьбу, ни в приметы не верил, но все-таки эта история со стрельбой ни свет ни заря в августовское утро, странный сон об арбузах, а теперь еще то, что ребенок не спит и так внимательно на него смотрит, вызывали какое-то смутное беспокойство у Керима-муаллима.

Он зажег на кухне газ, наполнил чайник, поставил на огонь, умылся и, так же тихо вернувшись в свою комнату, начал одеваться. И жена Керима-муаллима Захра, и вторая дочь, Зулейха, и сын Гамлет еще спали; впрочем, как ни рано на этот раз встал Керим-муаллим, но и без того в доме никто не вставал раньше Керима-муаллима; без четверти семь он неизменно бывал на ногах, чистил щеткой костюм, смазывал туфли кремом; пока домочадцы еще почивали, выходил и покупал на день хлеб, кефир, сметану, газеты, возвращался, завтракал и шел в школу; вообще все заботы по обеспечению дома провизией с давних пор приходились на долю Керима-муаллима.

Керим-муаллим преподавал географию в средних классах, но теперь были каникулы, в школу идти было незачем, однако он по тридцатилетней привычке, взяв синюю сумку, все так же тихо вышел из дому, и малыш все тем же серьезным взором проводил его.

Город был совершенно пуст, только дворник подметал улицу и, завидев Керима-муаллима, почтительно поздоровался, а тот ответил на приветствие и продолжил свой путь.

Разумеется, магазины, газетные киоски были еще закрыты, и Керим-муаллим, помахивая пустой сумкой, направился к Приморскому бульвару, и, пока шел по совершенно пустым улицам, ему казалось, будто он находится в незнакомом, неизвестном городе; правда, Керим-муаллим помнил названия минимум девяноста процентов городов мира и хорошо знал к тому же все улицы, переулки, тупики и даже отдельные здания Баку (за исключением микрорайонов): но как бы то ни было, в этот августовский день — а была суббота, — когда Керим-муаллим ранним утром шагал по абсолютно пустым улицам Баку, ему показалось, будто он находится в незнакомом, неизвестном ему городе; и жители этого города состоят только из дворников, подметающих улицы.

В школе дети дали Кериму-муаллиму прозвище Сумка, потому что, когда ребяташки случайно встречали учителя в городе, у него в руках всегда была сумка: он либо в очереди стоял, либо что-то покупал. По мере перехода из класса в класс, окончания школы одними и поступления в школу других ребята заметили, что сумка всегда бывает синей, и добавили к прозвищу еще одно слово — «синяя», то есть Керим-муаллим Синяя Сумка; потом добавилось к прозвищу еще слово «старая», то есть Керим-муаллим Старая Синяя Сумка. Весть об этом прозвище достигла и самого Керима-муаллима, которого дети побаивались, но прозвище нисколько не взволновало и не рассердило Керима-муаллима, потому что он подумал: ничего, вырастут, возьмут в руки сумки и все поймут. Однако было и еще одно обстоятельство, о котором Керим-муаллим не знал: учителя тоже между собой называли его Старая Синяя Сумка.

Приморский бульвар также был абсолютно пуст: кроме Керима-муаллима там было разве что много чаек, и птицы летали вдоль берега, то и дело кидаясь вниз, погружали клювы в воду, и птичий визгливый гомон при полном безлюдье слышался так ясно, так четко, будто это не обычный гомон и щебет, а птицы о чем-то переговаривались, обсуждали что-то, однако Керим-муаллим не был склонен к образному мышлению, и в этот момент его больше занимало, будет ли в магазине сметана; потом Керим-муаллим рассердился на птиц, вернее, на санитарные службы города за то, что последние не уделяли внимания очистке побережья, и потому чайки прилетали сюда в поисках корма.

Размахивая пустой сумкой и шагая вдоль берега, Керим-муаллим решил, что сегодня же или в крайнем случае завтра напишет письмо в Бакинский городской Совет о санитарном состоянии города и начал мысленно составлять первые фразы письма, но опять ему вспомнились те давешние двое, стрелявшие в бездомных собак, а затем ребенок, молча глядевший на него раскрытыми глазами.

Муж Шаргин Салман занимался физикой, говорили, что он талантливый ученый, но талант — это не квартира, не деньги и не

машина; Салман тоже жил в семье Керима-муаллима, и если в самом деле есть нечто, именуемое невезением, то Шаргин не повезло. Правда, Салман не пил, не гулял, не брызжал, утром уходил на работу, вечером возвращался, а в субботу и в воскресные дни водил Шаргина в кино, на бульвар, однажды даже возил в цветоческий совхоз в Шувеляны, но у Салмана не было никого, кроме каких-то сельских родственников в Карабахе, откуда он после окончания школы и приехал в Баку. Шаргин два года назад — как они нашли друг друга, где познакомились, неизвестно! — вышла замуж за Салмана, потому что (тут Керим-муаллим даже два раза кашлянул)... потому что никто другой на Шаргине не женился.

Салмана сейчас не было в Баку — он находился в Париже.

Институт, где работал Салман, был связан с французскими учеными, и Салмана послали на полгода на стажировку в Париж, а затем один французский молодой ученый должен был приехать на шесть месяцев из Парижа в Баку. Керим-муаллим понимал, что, если бы зять не был толковым специалистом, его бы в Париж не послали, но Салман был таким замкнутым, таким молчаливым человеком, что даже подобная поездка не стала событием в семействе Керима-муаллима. Однако в это августовское утро, когда Керим-муаллим, размахивая пустой синей сумкой, шел вдоль берега, ему вдруг почему-то показалось странным, что Салман находится в Париже, живет в далеком огромном чужом городе, а под влиянием этого неожиданного чувства он на мгновение задержал шаг, взглянул на ярко алевший горизонт, и алость горизонта, чистота и голубизна неба, спокойствие и бескрайность моря, даже полет чаек вдоль берега, их гогот понравились Кериму-муаллиму — Керим-муаллим одобрил эту картину природы.

Поскольку он задержался на бульваре, в магазинах пришлось постоять, проходя мимо плодоовощного киоска, решил купить еще и арбуз и, основательно покопавшись в их гряде, купил хороший зырянский арбуз, потом встал в очередь в газетный киоск, купил программу радио и телевидения, свежие газеты и потому пришел домой несколько позднее обычного.

Дверь открыла Нурида-ханум, и, когда Керим-муаллим увидел так рано Нуриду-ханум у себя дома, поглядел на ее серьезное лицо, понял, что что-то произошло.

Нурида-ханум, старшая сестра Керима-муаллима, была одной из первых преподавательниц физкультуры в Азербайджане, она жила в соседнем доме, напротив дома Керима-муаллима со стороны двора.

С большим зырянским арбузом в одной руке и с синей сумкой в другой Керим-муаллим, не сводя глаз с напудренного, накрашенного, как всегда, ухоженного лица сестры, спросил:

— Что случилось?

Нурида-ханум басовитым, как у мужчины, голосом сказала:

— Ничего, Не пугайся, входи.

Керим-муаллим вошел, увидел и Захру, и Зулейху, и Гамлета на ногах; Шаргия сидела у кровати своего малыша, опустив голову, и, кажется, тихонько плакала; но, во всяком случае, увидев всех домашних живыми-здоровыми, Керим-муаллим немного успокоился и подумал: может быть, Абдулла умер? Но всегдашний самоуверенный вид Нуриды-ханум говорил о другом; Нурида-ханум не напоминала жену, у которой умер муж.

— Салман попал в автомобильную катастрофу! — сказала Нурида-ханум, а Шаргия заплакала уже в голос.

— Разве Салман приехал из Парижа? — спросил Керим-муаллим. Нурида-ханум многозначительно посмотрела брату прямо в глаза.

— А что, в Париже автомашин нет?

Нурида-ханум всегда гордилась своим братом, хоть тот и был на два года моложе ее, и всегда ставила Керима-муаллима в пример своему мужу Абдулле, но порой бывало так, что свой острый непреклонный взгляд она вонзала прямо в глаза брату, и тогда Керим-муаллим терялся, как школьник; но вот Нурида-ханум протянула брату телеграмму, что держала в руке, и Керим-муаллим, взяв телеграмму, подошел к окну, чтобы лучше падал свет, и стал читать. Действительно, в телеграмме было сказано, что Салман попал в Париже в автомобильную катастрофу, теперь в больнице, но состояние потерпевшего не опасно для жизни.

— Ну и что? — сказал Керим-муаллим, — Написано же, опасности для жизни нет. Для парижских врачей вылечить человека — что глоток воды выпить.

Странно, некоторое время назад Нурида-ханум сказала Захре те же слова. Когда Захра получила телеграмму, Керим-муаллим, гуляя по бульвару, мысленно составлял письмо в Бакинский горсовет, между тем, едва нарушалось однообразие хода вещей, привычное для Захры в течение долгих лет, едва случалось что-либо, не предусмотренное заранее, она терялась, не знала, что делать; и потому, поскольку мужа не было дома, сняла телефонную трубку и позвонила Нуриде-ханум, прочитала ей телеграмму по телефону, а Нурида-ханум, недовольная тем, что прервалась на середине ее ежедневная утренняя зарядка, произнесла: «Ну и что? Ведь пишут же, что нет ничего опасного. За парижских врачей не беспокойся. Салману такое и не снилось, починят его — лучше прежнего будет». Нурида-ханум продолжала утреннюю зарядку, но тут же, прервав это священнодействие, сама позвонила Захре. «Прочти-ка еще раз телеграмму», — сказала она, а потом, торопливо одевшись, пошла к брату. И вот теперь Керим-муаллим повторил её же слова.

Нурида-ханум села в единственное в комнате мягкое кресло и сказала:

— Читай дальше.

Керим-муаллим стал читать дальше: писали, что один из близких Салмана может приехать в Париж, а компания, которой принадлежит автомобиль, по вине коего Салман попал в катастрофу, все расходы берет на себя. Прочитав эти слова, Керим-муаллим снова посмотрел на сестру; сперва он не знал, как отнестись к этому сообщению, потом обозлился:

— Какое бесстыдство! Сначала ни за что ни про что доводят человека до больницы, а потом деньги предлагают.

Правда, когда Керим-муаллим это сказал, он сразу же почувствовал, что ни слова его, ни гнев ни на кого не произвели впечатления; потом взгляд Керима-муаллима упал на малыша в маленькой деревянной кроватке. Глаза ребенка были открыты, но он не плакал, и Керим-муаллим чуть было не спросил, что это с ним такое, почему не плачет. Но ничего не спросил и посмотрел на Шаргию, Шаргия плакала, всхлипывая, часто шмыгала носом, не издавая ни слова, и Керим-муаллим подумал: правду говорят, что муж и жена из одного теста, потому что Шаргия, как и муж ее, была недотепой.

Нурида-ханум увидела, что Керим-муаллим смотрит на Шаргию.

— Нет, Шаргия поехать не сможет, — сказала она. — У нее на руках грудной младенец.

Зулейха поспешно подхватила:

— Да, Шаргия поехать не сможет. Лучше поеду я и все, что нужно, сделаю!

Шаргия заплакала громче: не потому, что она не может ехать в Париж и что у нее грудной младенец — ужасный плакса, а потому, что все, и в том числе сама Шаргия, отлично знали, что Зулейха терпеть не может Салмана и стесняется перед подругами, что ее сестра вышла замуж за такого неуклюжего, бессловесного парня, как Салман.

Гамлета разозлили слова Зулейхи, и, подойдя к открытому окну, он повернулся спиной к домашним; по возрасту Гамлет был старше и Шаргии, и Зулейхи, но дома никто не признавал его старшинства, и протест Гамлета против такого отношения состоял в том, что он обижался и пыжился. Нурида-ханум сказала:

— Там, где есть старшие, младшие молчат. Мы, — Нурида-ханум показала рукой на Керима-муаллима, — в нашей семье звука не издавали.

Нурида-ханум имела в виду своих и Керима-муаллима давно почивших родителей и, по правде говоря, приводила столько различных примеров, рассказывала столько случаев в этой связи, что Керим-муаллим представлял себе и отца и мать уже не такими, какими они были в действительности, а такими, какими они были в примерах и воспоминаниях Нуриды-ханум.

Зулейха сердито посмотрела на тетку, потому что Зулейха считала себя самой умной и ловкой в этом доме и очень хорошо понимала, что Нурида-ханум хочет сама, воспользовавшись случаем, поехать в Париж.

Гамлет отошел от окна, вышел на середину комнаты, посмотрел на тетку, посмотрел на отца, на мать, посмотрел на Зулейху, на Шаргию, посмотрел даже на лежавшего в своей маленькой деревянной кровати младенца, который вертел ручонками, внимательно глядя на них, не издавая ни звука, и горестно проговорил:

— Везде меня уважают, кроме этого дома! — слегка всхлипнул, быстро подошел к двери, открыл ее и захлопнул за собой.

Керим-муаллим смолоду ходил в театр, видел там «Гамлета» и под впечатлением незабываемой постановки назвал своего единственного сына Гамлетом, а теперь Нурида-ханум с откровенной иронией посмотрела вслед племяннику, потому что Гамлету было уже больше тридцати лет, а он до сих пор не имел никакой специальности, до сих пор, как мальчишка, строил планы на будущее: то писал сценарий и жил день и ночь этим сценарием, то устраивался на работу в аэропорт и начинал жить идеей стать знаменитым таможенником, а то с утра до вечера, сидя в библиотеке, читал произведения философов, особенно Канта и Гегеля, и, заполняя выписками толстые-претолстые тетради, доказывал превосходство Гегеля над Кантом и мечтал стать филологом.

— Сядем и посоветуемся, — сказала Нурида-ханум. — Когда шьешь по доброму совету, платье жать не будет.

2

Керим-муаллим был из тех читателей газет, что изучают все статьи и заметки от первой до последней страницы, и вот теперь он сидел на веранде и читал газеты.

Нурида-ханум все еще была здесь, на кухне, разгоряченная как от августовской жары, так и от газовой плиты — она помогала Захре готовить долму¹.

Зулейха, лежа на диване в большой комнате, читала дневник. Этот дневник ей дала подруга, с которой они работали вместе в трамвайном парке. Дневник был исписан красивым почерком, на страницах встречались цветы, соловьи, сердца, с двух сторон пронзенные стрелами (подруга Зулейхи нарисовала все это цветными карандашами). Речь шла о несчастной любви, о мужском вероломстве, но Зулейха не могла сосредоточиться и полностью углубиться в этот дневник, потому что то и дело под каким-нибудь предлогом заходила на кухню, чтобы

¹ Мясные катышки, завернутые в виноградные листья, под соусом из кислого молока.

узнать, о чем говорит Нурида-ханум. Между тем Нурида-ханум ничего не говорила по секрету, потому что всегда верила Кериму-муаллиму, верила и теперь, хотя и не уходила к себе домой, боясь, что Зулейха устроит скандал и парижская проблема решится без нее, но, как всегда, Нурида-ханум верила брату и знала, что в конце концов в Париж поедет она сама.

Абдулла сидел, подремывая, в соседней комнате и время от времени, взглянув на лежавшую на столе телеграмму, усмехался, качал головой и, зевнув, снова впадал в дрему. Абдулла был парикмахером, был четвертым мужем Нуриды-ханум, но в отличие от своих предшественников оказался однолюбом, не сбежал, и ровно шестнадцать лет они жили вместе. Нурида-ханум позвонила домой, вызвала Абдуллу, и тот сонливо ожидал второй завтрак, перебирая разнообразные предлоги, чтобы после сразу уйти отсюда, потому что в футляре от очков он припрятал пятерку и, если бы удалось улизнуть, жизнь сегодня была бы прекрасна. Всякий раз, проходя мимо Абдуллы, Зулейха старалась не дышать, потому что, как обычно, от Абдуллы пахло дешевым мужским одеколоном и этот запах после возвышенных чувств и волнений вычитанных из дневника, после нарисованных в нем прелестных картинок производил на Зулейху отталкивающее впечатление.

Абдулла был по-своему хитер, и его хитрости могла разгадать только Нурида-ханум. От Абдуллы пахло одеколоном не потому, что он работал парикмахером и пропитался запахом парикмахерской — это само собой, а потому, что он обливал лицо одеколоном, чтобы заглушить иной запах.

Шаргия, сидя в конце веранды, кормила грудью ребенка, и ребенок по-прежнему был серьезен, не плакал, чего не бывало со дня его рождения, и каждый раз, когда взгляд Керима-муаллима падал на ребенка, его это поражало.

Августовский день постепенно становился все жарче, и в полдень в Баку стояла такая жара, что невозможно было дышать, и вдруг Керим-муаллиму вспомнилась прекрасная Шуша на вершине гор, в воображении Керима-муаллима сверкнула молния, захрохотал гром и начался такой ливень, что руки его, державшие газету, опустились, глаза уставились куда-то далеко, и Керим-муаллим неожиданно подумал; интересно, а в Париже тоже бывают грозы?

Конечно, Керим-муаллим хорошо знал климатические условия Западной Европы, в том числе и Франции, но теперь почему-то Париж вдруг превратился в таинственный город, наполняющий сердце человека неизведанными чувствами.

Что в Париже дожди нередки, Керим-муаллим знал, но вот бывают ли там сильные грозы?

Нурида-ханум объявила, что все готово, Захра начала раставлять посуду и приборы; Керим-муаллим тоже проголодался, но в глубине

души ему не хотелось садиться завтракать, не хотелось, чтобы они расселись за накрытым столом, не хотелось расставаться с мечтой о грозе и ливне: Керим-муаллим понимал, что спокойствие в доме временно, знал, что все думают об одном и теперь начнется серьезный разговор.

В это время раздался звонок в дверь, торопливо вошел Гамлет, оглядел по очереди всех домочадцев, потом подошел к Абдулле и что-то спросил у того шепотом, Абдулла покачал головой — мол, нет; и Гамлет сел за стол.

Все сидели за столом и ели долму, только ребенок, лежа в своей маленькой деревянной кровати, вертел ручонками и удивленно смотрел на них, как будто, глядя на свои ручки, начинал познавать мир.

Все молчали, слышалось позвякивание вилок о тарелки, Абдулла раза два тихонько прокашлялся; Зулейха дважды отвернула лицо от Абдуллы; она ела долму и сожалела о том, что не может погрузиться в мир бурных любовных чувств, прекрасно описанных в дневнике, и выглядела точно наседка.

Нурида-ханум всегда была Нуридой-ханум, и молчание нарушила именно она:

— Жаль, что у Шаргии на руках ребенок... У кормящей матери так много забот...

Зулейха со скрытой насмешкой взглянула на тетку, потому что у Нуриды-ханум от какого-то из предшествующих мужей была дочь и эта дочь теперь жила, кажется, в Казани, но ни Нурида-ханум, ни Керим-муаллим никогда не говорили о ней, и эта дочь Нуриды-ханум никогда не писала писем, не приезжала в Баку, и вообще сама Нурида-ханум и все домочадцы Керима-муаллима вели себя так, будто на свете и не было этой дочери, все, что касалось этой дочери Нуриды-ханум, было священной тайной, но Зулейха подозревала, что она с кем-то убежала из дому.

Нурида-ханум продолжила:

— Шаргия в Париж поехать не сможет...

— В Париж поеду я! — сказала Зулейха.

У Шаргии глаза наполнились слезами, но она, как обычно, ничего не сказала.

Нурида-ханум сердито посмотрела на Зулейху, а потом на Керима-муаллима: мол, что ж ты не скажешь свое слово? Разумеется, последнее слово было за Керимом-муаллимом, и сидевшие за столом это знали; знали и то, что последнее слово Керима-муаллима, как всегда, будет в пользу Нуриды-ханум.

Правда, Керим-муаллим отложил в сторону газеты, подошел к столу, сел, принялся за долму, жевал виноградные листья, но все еще стоял под тем ливнем, под тем внезапным шушинским ливнем, и самое

странное было то (Керим-муаллим сам это чувствовал), что втайне он не хотел выходить из-под этого ливня. Никогда в жизни с Керимом-муаллимом такого не бывало. Керим-муаллим всегда воспринимал тепло как тепло, а холод как холод, и никогда не испытывал потребности в воображаемом дожде, никогда не предавался пустым мечтаньям. И лишь теперь вдруг сверкнула молния, прогремел гром, полил дождь и прохлада этого дождя наполнила его сердце новыми ощущениями, Керим-муаллим только диву давался, что это за ощущения, о чем они говорят, но чувствовал какую-то свежесть, какую-то новизну, и эта свежесть, эта новизна одновременно таили и какую-то печаль, напоминая о проходящей жизни, об однообразии бытия.

Керим-муаллим обратился к жене:

— А ты что скажешь?

Вопрос Керима-муаллима был крайне неожиданным, потому что за долгие годы в этом доме привыкли, что Захра с утра до вечера на ногах, должна готовить обед, мыть посуду, стирать, летом варить варенье, мариновать баклажаны, пересылать одежду нафталином, а зимой готовить мучные блюда, и, естественно, у Захры не было возможности принимать участие в серьезных делах; в сущности, у Захры даже и желания не было принимать участие в серьезных делах, в этом Шаргия пошла в мать; но ответ, данный Захрой, был еще неожиданнее вопроса Керима-муаллима:

— Ей-богу, Керим, может быть, мне самой и поехать.

У Керима-муаллима глаза на лоб полезли. — Что?

— Ну да! Поеду и вещей хороших вам накуплю!

Зулейха не удержалась;

— А ты разве разбираешься в модах?

— А почему бы нет?

Керим-муаллим спросил изумленно:

— Одна-одинешенька поедешь в Париж?

— Ну что ж, Керим, раз в жизни и я куда-то поеду...

Нурида-ханум только теперь пришла в себя и сердито сказала:

— Почему это раз в жизни? В Нальчик вон не ездила разве.

Керим-муаллим отвел глаза.

«В самом деле, интересно, бывают в Париже грозы?»

Пытаясь скрыть волнение, Гамлет впервые, как пришел домой, громко заговорил:

— Вы хоть знаете, что говорите? Париж — это вам в Маштаги съездить, что ли?! Париж — это Париж, э! Париж! Человек, едущий в Париж, должен иметь опыт. Должен побывать за границей!

Абдулла не обращал внимания на эти разговоры и думал только о том, как бы исхитриться и улизнуть, открыть футляр для очков, очутиться на воле, на свободе, немного промочить горло, потом пойти

и обыграть в нарды Мартироса, с которым работает вместе в парикмахерской сорок лет; но, услышав, что сказал Гамлет, не поверил своим ушам, потом увидел, что после слов Гамлета все, в том числе и Нурида-ханум, удивленно смотрят на него, и, выпятив грудь, выпрямился: его охватило волнение, внезапно потрясшее все его существо. Дело в том, что ни один из сидевших в этот жаркий августовский день в доме Керима-муаллима за столом никогда не выезжал в другую страну и не было никого, кто имел бы опыт в этом деле, и лишь Абдулла во время войны дошел до Вены, где и оставался несколько месяцев, но об этом он не вспоминал почти никогда, только Нурида-ханум — довольно часто.

Конечно, Абдулла не ожидал, чтобы с ним так считались, ценили его опыт, и был абсолютно уверен, что в Париж поедет Нурида-ханум, а все остальные разговоры — пустой звук, и, в сущности, в тайнике своего сердца Абдулла радовался, что Нурида-ханум поедет в Париж, потому что тогда он хоть на десять-пятнадцать дней останется один, десять-пятнадцать дней подышит свободно в этом бренном мире и поживет привольно пусть не в Париже, а в Баку. Абдулле и в голову не приходило, что сам он поедет в Париж, но теперь вдруг забылись и тщательно обдуманые с утра предлоги для бегства, забылась и пятерка в футляре от очков, и стремление в очередной раз обыграть в нарды уста Мартироса, неожиданно грудь Абдуллы переполнила гордость, он возвысился в собственных глазах.

Керим-муаллим после неожиданных слов жены теперь изумился и сказанному сыном, посмотрел на сына, потом на этого выпивоху Абдуллу, но не потерял выдержки и спокойно спросил:

— Что ты хочешь сказать?

Я хочу сказать... — Гамлет стал наливать рюмку. — Было бы хорошо... Было бы хорошо... Было бы хорошо, если бы поехала Фарид!..

— Кто?

— Фарид!.. У нее есть опыт в этом деле! В прошлом году... В прошлом году она ездила в туристическую поездку в Болгарию!..

Керим-муаллим ничего не понял.

— Кто такая Фарид?

Гамлет покраснел еще сильнее, а Зулейха сказала:

— Пять лет он любит Фариду, вздыхает о ней день и ночь. А Фарид его знать не хочет. Теперь, наверное, поставила ему условие: поехать в Париж!.. Он и имя хочет сменить ради Фариды!..

Керим-муаллим искренне удивился:

— А это зачем?

— Фариде не нравится его имя!..

Керим-муаллим искоса посмотрел на сына и сказал только:

— Молодец!..

Абдулла покрылся холодным потом, из груди Абдуллы вырвался беззвучный стон: ох ты дурак, столько прожил на свете, а до сих пор в голове у тебя нет вещества, называемого мозгами. Как петух, распушил хвост, выпятил грудь! Не знал ты разве, что мир тленен, жизнь обманна?

Керим-муаллим, раздраженный, сидел в своем доме за столом, оставшимся еще от отца, ел долму из мяса и виноградных листьев, возглавлял беседу, дивился услышанным словам, но в то же время Керим-муаллим все не мог выйти из-под ливня в Шуше и, в сущности, не хотел выходить, потому что в прохладе того дождя была несравненная свежесть и эта свежесть притягивала к себе, не отпускала от себя, и была в ней какая-то особая сладость.

Интересно, в Париже бывают грозы?

Дети кончают школу, расходятся кто куда, в школе появляются новые ученики, и они тоже называют Керима-муаллима Старой Синей Сумкой.

Керим-муаллим оглядел по очереди Захру, Зулейху, Гамлета, Шаргию.

Нуриду-ханум, Абдуллу и внезапно подумал, что ни одному из этих людей и в голову не пришло сказать: поезжай в Париж ты. И эта неожиданная мысль, по правде говоря, чуть не расстроила Керима-муаллима, но бог с ними. Керим-муаллим не нуждался в их совете; потом взгляд Керима-муаллима упал на ребенка, лежавшего в маленькой деревянной кровати, вертевшего ручонками и внимательно рассматривавшего их, и он снова удивился: господи, почему это ребенок с утра ни разу не заплакал?!

Интересно, в Париже бывают грозы?

Но тут Керим-муаллим обозлился сам на себя: что за дурацкий вопрос?! И Керим-муаллим, дернувшись, вырвался из-под ливня, вернулся в зной августовского бакинского дня и снова стал обычным Керимом-муаллимом.

Шаргия впервые за день раскрыла рот и начала было:

— Интересно, бедный Салман...

Керим-муаллим сердито оборвал дочь:

— Что ты заладила — Салман, Салман? При чем тут Салман? — и Керим-муаллим решительно заявил: — В Париж поеду я!

Гамлет вскочил с места:

— Но ведь я... Ведь я... Ведь я дал слово Фариде!

Керим-муаллим снизу вверх оглядел сына и ограничился лишь тем, что помахал в воздухе ладонью и уронил:

— Ах-ах!

Предыдущие мужья Нуриды-ханум, семья Керим-муаллима, просто знакомые, словом, никто никогда не видел, чтобы Нурида-ханум плакала, но теперь ее глаза вдруг наполнились слезами, и, кривя губы,

она произнесла:

— Да ведь ты и без того знаешь весь мир...

Керим-муаллим, стараясь не глядеть на сестру, отозвался:

— Одно дело знать, а другое — видеть своими глазами.

Нурида-ханум ничего больше не сказала, две слезинки скатились по ее щекам (кажется, она начала наконец стареть), и, встав, вышла из квартиры Керима-муаллима. Абдулла тоже встал, посмотрел на Керима-муаллима, пожал плечами и вышел вслед за Нуридой-ханум, Керим-муаллим понял, что Нурида-ханум больше не войдет в этот дом.

Гамлет снова оглядел поочередно отца, мать, сестер и горестно спросил:

— А я... А я... А что я скажу Фариде?

— Скажи, что ты дурак! — отрубил Зулейха и прошла в большую комнату.

Был вечер все того же августовского дня.

Керим-муаллим сидел на веранде, пил чай и думая, что завтра ему надо встать пораньше и пойти не на базар, не в магазин, а в соответствующие учреждения, чтобы решить вопросы поездки в Париж, и лица школьных преподавателей по одному вставали перед глазами Керима-муаллима, и откровенное изумление на этих лицах, честно говоря, было приятно Кериму-муаллиму.

Захра на кухне мыла посуду и думала, что надо утром встать, приготовить халву и дать мужу халву в дорогу, потому что халва — такая штука, никогда не портится, к тому же сытная, а то ведь чужая страна, как знать, что там дадут поесть, говорят, во Франции улиток едят и еще, говорят, лягушек.

Гамлет ушел злой как черт и сказал, что вечером придет, соберет чемодан и вообще уйдет из этого дома, но все хорошо знали, что скоро Гамлет вернется, сядет на кухне и поужинает, потому что он много раз так обижался и уходил и всегда, проголодавшись, возвращался.

Зулейха снова улеглась в большой комнате на диване, читала дневник и теперь уже полностью погрузилась в мир возвышенных чувств, а в том месте, где Зулейха увидела аккуратно пришитые к странице два билета в кино, она не смогла удержаться, начала всхлипывать и горько заплакала, потому что подруга с ее возлюбленным — коварным парнем — последний раз по этим билетам ходила в кино и билеты были напоминанием о несчастной любви.

Шаргия, расстелив на столе, где давеча ели долму, старую шаль, гладила детские пеленки.

Ребенок лежал в своей маленькой деревянной кроватке и по-прежнему вертел ручонками перед глазами, И тут раздался звонок в дверь, Керим-муаллим открыл.

Это был почтальон, он вручил Кериму-муаллиму телеграмму и, получив подпись на квитанции и кое-какую мелочь, за доставку, ушел.

Керим-муаллим пробежал глазами телеграмму, которую держал в руке, потом перечитал еще раз.

Телеграмма была от Салмана, Он писал: не беспокойтесь, я выхожу из больницы, и нет надобности кому бы то ни было ехать в Париж.

Зулейха, оторвавшись от дневника, встала, подошла к двери, ничего не спросила у Керима-муаллима, взяла телеграмму, сама прочла и сказала:

— Дурак Салман! Вот если б я была на его месте... Керим-муаллим, направляясь в комнату, подумал, что надо было на семейном совете предложить, чтобы в Париж поехала Нурида, но откуда было знать, что все так обернется; потом Керим-муаллим остановился у кровати внука.

Ребенок смотрел на свои ручонки, которыми вертел перед глазами, потом глянул на Керима-муаллима, снова на свои ручонки и вдруг громко заплакал.

Керим-муаллим не выдержал:

— Ну вот, опять ревет...

— Это он выражает протест! — улыбнулась Зулейха.

— Какой протест, кому протест? — нахмурил густые брови Керим-муаллим.

— Нам. Всем нам! — сказала Зулейха и засмеялась. Потом прошла в гостиную, чтобы снова заняться созерцанием билетов последней реликвии несчастной любви.

Керим-муаллим, ничего не поняв из слов дочери, подошел к окну и устремил взор на скверик, пенсионеры сидели, играли в домино и нарды и не знали, что сегодня утром, до рассвета, санитары унесли из этого сквера нескольких бездомных собак; потом Керим-муаллим вспомнил, что должен написать письмо в горсовет и сегодняшнее дело не следует откладывать на завтра, взял перо и бумагу, сел за стол, но ребенок плакал так громко, что не давал Кериму-муаллиму сосредоточиться.

Утихомирить ребенка не удалось, он плакал до самой ночи, пока не устал и не уснул.

1983, август

ПЯТЬ МИНУТ И ВСЯ ЖИЗНЬ¹

7 августа 1983 года. Воскресенье. Время 19:10.
Аэропорт Бина.

В этот воскресный день, если взглянуть сквозь стеклянные стены зала ожидания, аэродромное поле казалось частью безлюдной, безжизненной бетонной пустыни, и на этот кусок бетонной пустыни падала тень гигантского самолета: а сам самолет словно растворился и исчез в пустынном бетонном пространстве, только тень его, гигантское пятно, впиталась в бетонную поверхность, и Мардан Дадашлы с некоторым трудом отвел взгляд от тени самолета, от этого гигантского пятна на лоне бетонной пустыни.

Мардану Дадашлы было сорок семь лет, он был доктором наук, членом-корреспондентом Академии наук, директором научно-исследовательского института, и у Мардана Дадашлы была такая игра с самим собой: время от времени, случайно увидев свое отражение в зеркале или стекле, он сам себя спрашивал:

— Ну, как дела?

По существу, в этом вопросе содержался и ответ, ибо Мардан Дадашлы так задавал себе этот вопрос, что уже в мягко ироническом тоне его сквозила уверенность и спокойствие: мол, все отлично, - но на этот раз, различив свое отражение в стекле, он как-то не собрался задать этот вопрос, поиграть с самим собой, потому что его слабое отражение в стекле тотчас пропало в гигантской самолетной тени, и эта гигантская самолетная тень как бы стиснула сердце Мардана Дадашлы.

Почему так получилось? Скорей наоборот, в этот жуткий зной самолетная тень, по-видимому, должна была возвещать о прохладе; да, так должно было быть, но так не было: Мардан Дадашлы ощутил в гигантской тени что-то неестественное, неживое, Мардану Дадашлы почудилось, что в этой тени не прохлада, а ледяной холод, и не горный холод, и не зимний холод, а холод мертвецкий.

Мардан Дадашлы изумился этому ощущению, от которого мурашки по коже побежали, потому что до сих пор таких вещей не бывало. Отчего это? Стареем понемногу, что ли?

¹ Рассказ получил премию журнала «Смена» (Москва) «За лучший рассказ года» в 1984 году.

Инстинктивно вынув из кармана билет на самолет, он посмотрел: первый ряд, первое место, и обычное настроение вернулось к Мардану Дадашлы: в слове «первый» было что-то приятное, была какая-то уверенность, спокойствие.

Мардан Дадашлы, подняв свой поставленный на землю «дипломат», направился к выходу.

Посадка началась.

Потом «ТУ-154» поднялся в воздух.

Ты сидел в первом ряду, на первом месте, смотрел в иллюминатор, и по мере того, как самолет набирал высоту, земля удалялась, уменьшались люди, машины, строения, ты думал, что, в сущности, этот взлет есть взлет твоей жизни, твоей судьбы, потому что всего двадцать пять лет тому назад - а что такое двадцать пять лет? - ты был таким же маленьким, как вон те человечки внизу, только что окончил университет, был одинок и жалок, не знал, где будешь работать, что делать, а сегодня, всего через двадцать пять лет - а что такое двадцать пять лет? — ты смотришь с этой самолетной высоты на того одинокого и жалкого паренька и улыбаешься, потому что будущее, которого тот молодой парень не осмеливался даже представить себе, для тебя уже осталось позади, и в отличие от того неопытного простодушного юнца сегодня ты предвидишь будущее. Вернее, знаешь, что будущее будет таким, каким ты хочешь его видеть, ибо у тебя есть силы, есть разум и умение. Я знаю, что ты ни на собраниях, ни на банкетах, ни даже дома, в разговоре с женой, не говорил о себе, не хвалил себя, но про себя всегда гордился собой и не скрывал этого от себя самого, потому что если другие и не знают, сам-то ты хорошо знаешь, что до сегодняшнего дня, то есть до этого жаркого августовского дня 1983 года все, чего ты достиг в жизни, достигнуто тобой самим, никто тебе не помогал, на протяжении всех этих лет ты всегда стоял лицом к лицу с жизнью, и в жизненной борьбе твоим единственным помощником, единственным советчиком был ты сам.

Пропали с глаз люди, потом машины, потом исчезли здания, потом пропала земля, потом все вокруг окутали молочно-белые облака, потом и купы этих белоснежных облаков остались внизу, и ты снова улыбнулся, потому что в белоснежных облаках опять увидел одинокого молодого парня, и тревога в сердце этого парня - без работы, без дома, без семьи - как далекое и приятное воспоминание затрепетала в тебе.

Воспоминания связаны не только с событиями, не только с людьми — остаются в памяти и чувства, и теперь, вспоминая то далекое и все еще близкое прошлое, ты переживал, может быть, самое приятное,

дорогое, самое теплое из этих воспоминаний, как будто стоит зима, разгар зимы, но на тебе отличная шуба, ты не мерзнешь, даже жарко тебе, и душа твоя спокойна — вот так ты сегодня вспоминал связанные с будущим и вообще с жизнью тоскливые, тревожные чувства того одинокого парня, и те горестные чувства теперь обернулись ощущением довольства и уверенности. В сущности, сегодня, в эти минуты, когда ты летел в самолете по седьмому небу, ты любил того парня, оставшегося в далеком и все еще близком прошлом, как своего сына, и, то и дело, воскрешая его перед своим мысленным взором, как отец хвастал перед ним, испытывая чувство законной гордости. В сущности, в эти минуты у тебя было три сына: двое только что проводили тебя в аэропорту, гордые своим отцом, сильные, красивые и талантливые ребята, на которых все показывали пальцем, да еще их незримый сверстник, оставшийся навсегда в прошлом — далеком и все же близком прошлом, — тот простодушный юнец, каким ты был двадцать пять лет назад. Ты был сиротой, отец твой погиб на фронте, мать вырастила тебя полуголодным, стирая чужим людям белье, моя посуду: ты приехал из района в Баку, жил на одну стипендию, окончил университет, и, конечно, как мог ты тогда представить себе, что пройдут годы, ты станешь знаменитым ученым, твои книги будут переводиться на многие языки, у тебя будет обширный дом, красивая жена, красивые и умные сыновья и незнакомые люди, здоровая с тобой на улице, будут вслед тебе перешептываться друг с другом. «Это такой-то!» - будут говорить они.

Молочно-белые кучевые облака тоже остались внизу и стали невидимы, стекла иллюминатора усталились в бескрайнее голубое пространство, пассажиры кто задремал, кто начал читать книги, газеты, журналы, кто стал беседовать, а ты в этом голубом пространстве, в стекле иллюминатора увидел свое отражение и снова пошутил сам с собой: «Ну, как дела?» - и снова улыбнулся, а потом, отведя глаза от бескрайней голубизны, обернулся и бросил мимолетный взгляд на пассажиров между креслами; как обычно, увидел одно-два знакомых лица, ответил на их приветствие, но кто они такие, не узнал, потом взгляд твой упал на девушку лет пяти или шести, сидевшую рядом с матерью, и ты улыбнулся ребенку. Тебя всегда радовало присутствие маленьких детей в самолете; если летят такие малыши, значит, полет должен быть успешным: как спокойно поднялись, так спокойно и сядете на землю. Конечно, ты знал, что в этом чувстве есть что-то от суеверия, судьба безжалостна и не разбирает, ребенка, молодой человек или старик, но все же перед

лицом этой беспощадности тебя радовал и утешал вид детской невинности, детской чистоты. Порой ты и дома испытывал не совсем ясное чувство, похожее на тоску: тебе хотелось поиграть с маленьким ребенком, хотелось и дома видеть маленького ребенка. Иногда в своем рабочем кабинете ты, закрыв дверь, садился за письменный стол, начинал работать, но вдруг перо в твоей руке замирало, и ты чуть ли не физически ощущал, что хочешь увидеть улыбку ребенка, хочешь погреться теплом детской улыбки, порой тебя даже охватывало беспокойство, потому что тебе начинало казаться, что, в сущности, ты хочешь спрятаться за этой детской улыбкой...

Глядя на девушку, прижавшуюся к матери, ты думал: ничего, через год-два станешь дедом, появятся внучата, и перед тобой будет всегда сиять улыбка твоих внуков. Конечно, ты понимал, что несколько упрощаешь свои мысли, свои чувства: речь не идет только о ребенке в буквальном смысле слова, - речь идет о чистоте, ясности, прозрачности, безмятежности; но ты не любил, как говорится, «углубляться» и не углублялся. Ты посмотрел в иллюминатор на зиявшую вокруг голубую пустоту. Голубизна понемногу тускнела, пустота сгущалась, темнела, наступал вечер, и ты раскрыл «дипломат», взял сегодняшние газеты, начал читать при свете ночника: в Верхней Вольте произошел государственный переворот, власть взял в руки Национальный Революционный Совет, возглавляемый капитаном Томасом Санкара; назначенный вместо Ф.Хабива специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Р.Макфарлайн начал переговоры в Бейруте; в Лерикском районе, в местечке под названием Шехератук началось строительство нового винзавода, который будет принимать на переработку десять тысяч тонн винограда. Время от времени отводя глаза от газеты, ты взглядывал в иллюминатор, уже совсем стемнело, ничего не было видно, и ты снова принимался читать газеты. Вдруг внезапно, совершенно неожиданно все изменилось. В самолете воцарилась абсолютная темнота. Сначала ты ничего не понял. Сначала ты не сообразил, что случилось. Потом ты услышал ропот пассажиров и понял, что в самолете погас свет. Ты понял, что что-то произошло. Самолет терпит катастрофу? Волосы у тебя встали дыбом.

Время 20.11.

Внезапно у тебя заложило уши, как будто и нос заложило, ты стал задыхаться и с ужасом почувствовал, что больше не летишь в пространстве, а камнем, все быстрее, падаешь, как будто сорвавшись с

отвесной скалы, летишь в пропасть и вокруг абсолютная тьма. Ты не слышал ни голосов пассажиров, ни сообщения стюардессы и в кромешной темноте как бы вдруг увидел собственные глаза: твои глаза сверкали, они расширились, чуть не вылезли из орбит, и ты понял, что все уже кончено, какая-то нелепая смерть увлекла тебя на дно пропасти, потом на мгновение, всего на одно мгновение ты удивился сам себе, потому что ты не знал, что так боишься смерти, и это открытие потрясло тебя, тебе показалось, что внутри у тебя все залито кровью, заполнено алой кровью. Ты хотел встать с места, хотел закричать, но ни голос тебя не послушался, ни с места ты не сдвинулся, и вдруг перед твоими глазами появилось лицо отца. Отец твой был очень молод, был похож на твою оставшуюся в далеком прошлом молодость, и прежде тебе никогда не удавалось ясно его вспомнить, а теперь ты увидел все черточки его лица, потом увидел мать, потом увидел жену, сыновей, потом перед твоими глазами замелькали чьи-то лица, ты вспомнил сказки, песни, колыбельные, которые слышал в детстве, и в этот миг мозг твой работал с такой скоростью, которая превзошла и скорость, влекущую тебя на дно пропасти, и ты теперь полностью был во власти этой скорости, с какой работала твоя память. Внутри тебя возникла какая-то жажда молить, ты хотел умолять кого-то, что-то, ты жаждал помощи, жаждал пощады.

Однажды к пророку Соломону пришли две женщины, и одна из этих женщин сказала: «О пророк! Мы - жены одного мужчины, в одно и то же время обе мы родили по сыну. Вчера ночью эта женщина, будучи спящей, придавила собственного ребенка, потом потихоньку подложила мне мертвого ребенка, а сына моего забрала, возьми у нее мое дитя и верни мне!» Вторая женщина назвала все эти слова клеветой. Пророк Соломон, сощуриив свои голубые глаза, посмотрел на этих женщин, и ты, вспоминая древнюю притчу, словно увидел прищуренные голубые глаза пророка, и взгляд его глаз пронзил тебя. Тогда пророк велел принести ребенка и, рассерженный неурядицей, поднял над головой этого ребенка меч и сказал: «Я сейчас разрублю ребенка пополам с точностью и дам каждой из вас по половине. Останетесь ли вы довольны?» Первая женщина бросилась к ногам пророка. «Не убивай его! - воскликнула она. - Отдай той женщине, кому хочешь отдай, только не убивай!» Вторая женщина сказала: «Твое решение справедливо, о пророк!» И пророк отдал ребенка настоящей матери — первой женщине. Так вот и тебе хотелось кинуться к кому-то, молить о помощи и милосердии, кому бы тебя ни отдали, лишь бы не быть убитым. Но та женщина просила о своем ребенке, а ты о себе просишь?

Время 20.12.

Внезапно ты услышал детский крик, и вначале тебе показалось, что это тот самый ребенок, которого женщины принесли к Соломону, потом тебе показалось, что нет, этот ребенок — твой внук; внук, который родится через три года, через пять лет, но он уже плачет по тебе; потом ты понял, что нет, это другой ребенок. В пронзительном детском крике был какой-то знакомый отзвук: ты не видел ребенка, но чувствовал, что этот ребенок на кого-то похож, и ты чувствовал, что детский крик сейчас подхватит тебя и унесет в такие глубины души, где тебе станет еще страшней, и лучше бы тебе не узнавать этого ребенка, и пусть все кончится. Тебе показалось, что сейчас раздастся некий грохот, произойдет взрыв, и ты успокоишься, никого после этого не увидишь и ничего не услышишь. И скорость, мчащая тебя во мраке в пропасть, как осколок камня, уже не казалась такой страшной, как прежде, потому что теперь тебе хотелось избавиться от этого детского крика, потому что ты чувствовал, что вот сейчас узнаешь его, сейчас узнаешь, и тут ты услышал голос старухи: ребенок плакал, а старуха причитала и била себя рукой по высохшей, как доска, груди. У тебя не было времени выслушать причитание, но ты помнил его и мог бы повторить, если бы успел.

С арабским скакуном под тобою,
С черкесской плеткой в руке твоей,
С сильным отрядом за спиной у тебя,
С позолоченным ружьем на плече твоём,
С серебряным кинжалом на поясе твоём,
Загоняющий коня,
Рассекающий грудь врага,
С сердцем льва,
С десницей тигра,
С фиалковыми усами,
С гладкой как эмаль шеей,
С плечами как врата распахнутые,
С широкой грудью,
С глазами — ловцами девушек,
С речами — сватами девушек,
Сын мой, сынок мой! Горе!

Деревянная грудь старухи посинела от ударов, это был сплошной

сняк, и каждый раз, когда она, горя, ударяла сухой мозолистой рукой по своей деревянной груди, место, куда били сухие крепкие пальцы, белело среди синевы, и ты, конечно, никогда бы не предположил, что так хорошо запомнил эту старуху, что так хорошо помнишь народное причитание, которого тебе, слава богу, не приходилось повторять, как повторяла его безумная эта старуха над телом своего сына:

Уезжающий черный всадник, не уезжай,
Путь твой далек, не уезжай,
Слезы матери твоей, сестры твоей
Да будут силками для тебя:
не уезжай, сын мой! Горе!

Слова, которые выкрикивала эта старуха и которые ты вспомнил, не успев повторить, именно сейчас скривили тебе губы, наполнили глаза слезами, тебя душило рыдание, тебе показалось, что ожила твоя мать, что безумная старуха, деревянная грудь которой стала как сплошной сняком, и есть твоя мама, и она причитает по тебе, но это продолжалось всего мгновение, потому что ребенок вдруг снова громко закричал, и на этот раз ты узнал и ребенка и старуху.

Время 20.13.

Ты этого ребенка никогда ни видел, но теперь понял, что плачущий ребенок - тот самый, который родился после смерти своего отца, а отца тогда (теперь?!) и оплакивала безумная старуха - мать этого умершего парня, а старуху ты видел на его похоронах. Ты плотно сжал веки, потому что не хотел думать о старухе с деревянной грудью, ставшей сплошным сняком, но старуха, которую ты видел всего раз в жизни в течение десяти минут, не скрылась из твоих зажмуренных глаз, и тебе показалось, что она еще успеет воткнуть тебе в глаза свои сухие пальцы, раздерет тебе лицо, грудь, и уж лучше скорее упасть на дно пропасти - скорее, скорее, скорее, скорее...

Самолет задергался, и ты как будто зацепился за что-то, кто-то схватил тебя, задержал, в сердце твоём мелькнула надежда, ты решил, что спасен, что кто-то, что-то пожалели тебя, но в тот же миг ты испугался, что память будет продолжать мучить тебя. Что за бездонная, нескончаемая это была пропасть! И твои мысли снова обогнали скорость, влекущую самолет на дно пропасти, и ты снова

увидел старуху, обезумевшую от горя. Как звали ее сына? Он работал в твоём институте, но как его звали? Ты не смог вспомнить, но лицо бедного парня возникло перед твоими глазами, худое, болезненное лицо, - ты увидел его совершенно четко, ясно, как и лицо его матери, и тебя охватил ужас, перед которым все предыдущее было нестрашно: этот парень был очень похож на тебя молодого; правда, лицо у него было другое, но глаза были точно такие же, вернее, взгляд их, выражение было таким же.

Он работал у тебя в институте: кажется, лаборантом; или он в бухгалтерии работал? Нет, нет, он был лаборантом; ты даже прочел и похвалил одну его статейку; последнее время он каждый день приходил на прием, и однажды ты принял его. И теперь - через столько лет — ты вспомнил с ужасающей ясностью, что парень, не осмеливаясь сесть при тебе, стоял, и ломал пальцы, и просил чего-то, но ты не мог вспомнить, чего он просил, но как наполнились слезами его больные, печальные глаза, ты теперь увидел с ужасающей ясностью, и эти полные слез глаза смотрели теперь на тебя в кромешной темноте. Что он просил у тебя? Кажется, это был квартирный вопрос: да, да, это был квартирный вопрос; выделенная институту квартира согласно очередности должна была достаться ему, он сказал, что двенадцать лет ждет этой квартиры, сказал, что не может жить... И что же? Больной и печальный блеск его глаз, которые наполнились слезами, когда ты... но ведь ты падал в пропасть, и когда же, наконец, она спасет тебя от этих наполненных слезами глаз? Но и эти глаза падали вместе с тобой в пропасть, и вся беда, что у пропасти, казалось, не было дна. Ты уже забыл, что находишься в самолете, терпишь бедствие, ты не слышал ни обращения командира к пассажирам, не замечал нервно сновавших стюардесс, не видел и не слышал пассажиров - для тебя существовала только кромешная мгла, и ты знал, что вот сейчас все кончится, и тебе хотелось, чтобы это было скорее, чтобы все кончилось, ибо ты не мог больше выдержать.

Да, это был квартирный вопрос: мать, жена, двое детей - квартиры у них не было, и очередь была его, а ты что же — кому-то дал его квартиру? Вспомни, вспомни, кому ты ее дал? Дочери Керимли? Потому что дочь Керимли только вышла замуж? А ты подал документы в академию, и Керимли был один из тех, кто должен был голосовать за тебя и, более того, мог повлиять на других?..

Собрав все силы, ты хотел подняться с места, хотел в этой кромешной мгле броситься куда-нибудь в сторону и тут же с ужасом почувствовал, что не можешь двинуться (ах да, ремни!), и ты снова

увидел старуху, услышал хриплый плач старухи: как луна взошел, как солнце закатился; когда на коня взбирался, у врага сердце разрывалось; того, кто тебя чтил, ты примечал; кто не чтил, к тому спиной поворачивался; да будет мать жертвой арабского скакуна под тобой, ружья у тебя на плече, полного хурджина у тебя на боку, острого словца с твоих уст, дитя мое! - и только теперь, в крошечной мгле и бескрайней быстрине, мчащей тебя в бездонную пропасть, ты с нестерпимой болью осознал, что больной и печальный парень, стоявший с полными слез глазами в твоей приемной комнате, для своей матери — для старухи с деревянной грудью - был джигитом с ружьем на плече, который скакал на арабском скакуне с полным хурджином на боку. Когда секретарша пришла к тебе и сказала, что он умер, ты сначала не понял, о ком идет речь, потом не без труда вспомнил, что три или четыре месяца назад он приходил к тебе и чего-то просил, потом, выбрав десять минут, побывал на похоронах бедняги, и все смотрели на тебя с благодарностью, с восхищением, потому что ты пришел на похороны никому неизвестного лаборанта (он ведь был лаборантом?) и твой приход украсил траурную церемонию. Через два месяца секретарша сказала тебе, что у того парня, который умер от болезни сердца, родился третий ребенок, и ты опять не мог вспомнить, о ком идет речь, потом вспомнил и с искренним сожалением покачал головой. Но как же его звали? Как? Вспомнил: Закир! Вспомнил: Закир! Нет, не Закир. Закир был кто-то другой. Что же теперь делать? Как узнать его имя?

Время 20.14.

Закир был кто-то другой, и в окутавшей все вокруг темноте, как на киноленте, перед твоими глазами замелькали лица, люди, которых ты давно не видел, о которых никогда не вспоминал, никогда не думал, и, пока эти лица сменяли друг друга, твоя мысль работала четко и ясно: итак, ради кого-то, или чего-то, или без причины во время приема в аспирантуру ты поставил этому двойку, этого уволил, этому задержал работу, этого унизил, этой объявил, что влюблен, а потом сделал несчастной; и за этими лицами, быстро сменявшимися друг друга, стояли люди, стояли судьбы, у всех этих людей были семьи, были заботы, были радости, печали, и один твой жест, шаг, одно бранное слово, одна резолюция решали их судьбу. Ты увидел их матерей, жен, детей, которых не встречал никогда, и это не были отдельные матери, жены, дети, это была сплошная масса, и вместо давешнего детского крика

теперь у тебя в мозгу стоял какой-то гул, но в этом гуле выделялся голос старухи с деревянной грудью, покрытой синяками. И тут перед тобой появилась твоя мама, и ты с еще горшим ужасом подумал, что за сколько лет впервые перед твоими глазами появилась твоя мама. Ты громко закричал, ты знал, что голос твой не был слышен, но ты закричал и вдруг почувствовал, что дно пропасти достигнуто, вот сейчас произойдет взрыв, и все кончится.

Время 20.15.

Сначала отблески взрыва чуть не выжгли тебе глаза, потом воцарилась тишина, исчез гул у тебя в мозгу, и ты сначала не понял, что случилось, услышал стук собственного сердца, сердце твое рвалось из груди, и только тогда ты понял, что в самолете зажегся свет. Ты закрыл глаза, но и перед сомкнутыми веками играли блики света, ты обеими руками вытер совершенно мокрые от пота волосы, лицо, потом открыл глаза и на этот раз ясно увидел лампочки вечернего света, иллюминатор, свои руки, свои ноги и внезапно испугался, что волосы твои стали белыми. Ты с трудом повернул голову, бросил взгляд назад: пятилетняя девчушка была на руках у матери, и, кажется, глазки у нее были мокрые, покраснели, но теперь малышка сияла своими мокрыми глазками, и тебе тоже захотелось улыбнуться ей, но губы не раздвигались, ты не смог улыбнуться. Потом ты посмотрел на других пассажиров, посмотрел тайком, украдкой, ты не хотел, чтобы они тебя видели, ты боялся, что они тебя увидят.

Кто-то из пассажиров с жаром что-то говорил другому, кто-то радостно смеялся, кто-то, широко раскинув руки, глубоко дышал, а проходившая мимо хорошенькая стюардесса взглянула на тебя, улыбнулась, сказала: «Не бойтесь», - и ты хотел пожать плечами, сказать: «Чего тут бояться?» - но ни плечами не пожал, ни сказать что-либо не смог, потому что мозг затуманिला усталость, тело обмякло, ты был совершенно без сил. Хотел закрыть глаза и хоть на мгновение уснуть, забыться, но ничего не вышло, и ты с тем же жутким утомлением в мозгу так и сидел некоторое время, потом посмотрел в иллюминатор, наружу, и вдруг тебе показалось, что огромная самолетная тень, которую ты давеча видел на аэродроме, тоже летит теперь вместе с самолетом, вместе с тобой.

Время 20.18.

Отстегнув ремень, ты встал и направился к туалету. Тебе казалось,

что все на тебя смотрят, все глаза устремлены тебе в спину. Твоя промокшая от пота рубашка еще не просохла и как слой льда прилипла к спине; в этой мокрой рубашке был ледяной холод. Ты вошел в туалет, запер дверь и все еще со страхом посмотрел в зеркало, потому что тебе все еще казалось, что волосы твои побелели, но в зеркале ты снова увидел свои черные как вороново крыло волосы, увидел свое обычное, только очень усталое лицо и изумился обыденности, обыкновенности своего отражения в зеркале. Какое-то время ты не отводил глаз от этих черных-пречерных волос, от этого лица, потом, собрав все силы, захотел пошутить с собой, захотел спросить: «Ну, как дела?» - но не спросил, вынул расческу, причесался, вымыл лицо, вытерся бумажным полотенцем, вышел из туалета, снова прошел и сел на первое место в первом ряду.

ЭПИЛОГ. СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ.

22 сентября 1987 года. Поезд «Баку — Кисловодск». Купе «СВ».

Действительный член Академии наук, руководитель большого Научно-исследовательского Объединения Мардан Дадашлы и случайный пассажир.

— Я сразу же узнал вас, как увидел, Мардан-муаллим. Счастлив, что еду с вами.

— Большое спасибо.

— Честное слово!

— Большое спасибо.

— Вы, наверное, едете отдыхать?

— Да.

— Я хотел купить билет на самолет. Потом передумал. Как будто почувствовал, что стану попутчиком такого человека, как вы, что буду ехать в одном купе с таким замечательным ученым.

— Я тоже впервые еду поездом. Жена, дети, невестки настояли. Все как сговорились: впервые за столько лет выбрал время, взял отпуск, так поезжай, отдохни в поезде. Но разве сравнить с самолетом!..

Правда, однажды, пять лет назад - не помню, куда я летел, - у нас в самолете погас свет, а полет был вечерний.

— Погас свет? Вы смеетесь, Мардан-муаллим, а я представляю себе, какой это ужас. Почему погас? Что случилось, сердце может не выдержать.

— Не считайте сердце таким уж непрочным.

— А что было потом?

— А что может быть? Что-то исправили, и все. Было немного тревожно, но нет ничего лучше самолета...

1983, август

СКАЗАЛА РОЗА СОЛОВЬЮ...

Глава первая

Шел снег.

Через шесть дней наступит новый тысяча девятьсот восемьдесят пятый год; по телевизору передали, что в Колпашевском районе Томской области тридцать восемь градусов ниже нуля, в Якутии морозы перевалили за пятьдесят пять, но в Баку в эту зиму снег шел впервые, да и был он вроде какой-то ненастоящий, падая на голые ветви шелковиц, стоявших вдоль тротуара, снежинки сразу же превращались в капли воды, на асфальте снег тоже таял и лишь вдоль каменного бордюра, на земле, лежал тонким, как бумага, слоем.

У подножия ствола каждого из деревьев, стоящих вдоль тротуара, темнел небольшой квадрат земли, обложенный камнем, и Алипаша, который шагал сейчас по улице, сунув руки в карманы пальто, старался не глядеть на зажатые камнем земляные квадраты; когда он вышел из дому и взгляд его случайно упал на квадратные каменные окошки, обнажающие кусочки земли под шелковицами, они, эти каменные окошки, квадратные каменные рамки, казалось, сжали ему сердце — вид небольших аккуратных квадратов земли, со всех сторон сдавленных камнем, почему-то рождал в нем грусть, и даже не грусть, а какое-то унылое беспокойство. Причем, странное дело — ни безлюдие мокрой улицы с ее редкими прохожими, торопливо проходившими мимо, ни голые ветви шелковиц, ни воробьи, что сидели на голых ветвях, закрыв глаза и втянув головы, — ничто не угнетало Алипашу — только эти квадратные кусочки земли, заключенные в тесные каменные окошки.

Сегодня они наконец собрались покупать цветной телевизор, но то ли виной были эти квадраты земли, сжатые каменными рамками, то ли еще что-то, только радости не было, в душе стояла грусть, и даже не грусть — тоска, а что это была за тоска, откуда она взялась, Алипаша не имел понятия; подняв голову, он огляделся, словно бы смотря в цветной телевизор, только телевизор этот показывал сейчас как черно-белый: мокрый асфальт, голые (такие продрогшие!) деревья, маленькие квадраты земли — чернота, где гуще, где светлее, и белый снег, тонким слоем лежавший вдоль каменной кромки...

Вчера Зулейха сказала, что телевизор нужно купить в эту пятницу, потому что впереди суббота, потом воскресенье, Алипаша будет дома, она сготовит что-нибудь горячее, согреет чайку, и они посидят вместе с детьми, посмотрят цветной телевизор...

Характер у Зулейхи, бесспорно, был редкостный: ровно два года назад, уже ночью, когда оба они засыпали, она вдруг села в кровати: «Нужно купить цветной телевизор!» — сказала Зулейха, а Алипаша прекрасно знал, что жена его слов на ветер не бросает и что сейчас она, как обычно, семь раз отмерила, прежде чем отрезать, и уж если решила — купить цветной телевизор, значит, так тому и быть; подобным же образом они купили пианино, большой ковер, холодильник, шубу Зулейхе и вот это пальто, что на нем; семь раз отмерив, Зулейха принимала решение, копила деньги и покупала то, что задумала...

Алипаша двадцать шесть лет работал в издательстве, ровно девятнадцать из них они с Зулейхой женаты, и ровно девятнадцать лет Алипаша всю зарплату, всю, до последней копейки, приносит Зулейхе, потому что расходы по дому ведет она; если же Алипаше понадобятся деньги на какое-нибудь срочное мероприятие (ну, к примеру, умрет кто-нибудь из сотрудников, или кому-нибудь из сотрудников захочется дать в газету объявление о смерти родственника, или собирают на подарки к Восьмому марта), необходимые пять или восемь рублей он возьмет у жены; хотя Зулейха никогда не выражает неудовольствия, наоборот, тотчас же подойдет, откроет шкаф и достанет с верхней полки нужную сумму, а Алипаша в этот момент чувствует себя виноватым.

На этот раз покупка телевизора несколько затянулась; с той ночи, когда Зулейха приняла решение, минуло уже два года но дело в том, что этим летом они вместе с детьми ездили на Рижское взморье; когда удивленный Алипаша, услышав от жены о предстоящей поездке, задал ей вопрос: «Как же тогда цветной телевизор?», жена ответила, что деньги на телевизор — это само собой; но поездка в Юрмалу, видимо, повлияла на покупку цветного телевизора, и дело это несколько затянулось.

После того как Алипаша, вернувшись домой, пообедал — жена сварила довгу, пожарила картошку с луком, — Зулейха достала с верхней полки завернутые в газету шестьсот рублей и отдала Алипаше, чтоб он пошел и купил цветной телевизор.

— Только смотри, пускай проверят как следует!..

Гюльзар и Сусен, бывшие дома (Сутра и Сопа еще не пришли из школы), начали старательно прибираться в квартире, и старый «Темп-2», верой и правдой служивший им все эти девятнадцать лет, сняли со столика и перенесли в коридор (в понедельник Алипаша после работы возьмет этот «Темп-2» и отнесет его в приемный пункт, получив за него кое-какие деньги); Алипаша надел пальто и вышел из дому, чтобы отправиться за цветным телевизором.

— Смотри, пусть проверят как следует! — в последний раз напутствовала его Зулейха.

Алипаша хотел было сесть в троллейбус — до магазина всего две

остановки, — чтобы побыстрее взять этот телевизор и вернуться домой. Ни завтра — в субботу, ни послезавтра никуда не надо идти, он посидит с Зулейхой и дочерьми, посмотрит цветной телевизор, послушает радио, почитает газету «Баку». Но когда Алипаша вышел из дома и ветер хлестнул в лицо мокрым снегом, ему почему-то расхотелось влезать в троллейбус. Может, потому, что был конец рабочего дня и троллейбус набит битком? А может, потому, что в этом самом троллейбусе он каждое утро ездит на работу и каждый вечер возвращается домой. Так или иначе, но Алипаша пошел пешком.

Снегопад, похоже, усиливался; оседа я на воротнике его пальто, снег еще какое-то время оставался снегом, потом таял, и Алипаша своей кожей ощущал его хрупкость и недолговечность; порой снег проникал за шиворот, и тогда Алипаша чувствовал, какой он холодный.

Телевизор, который предстояло купить Алипаше, стоит пятьсот восемьдесят четыре рубля, и сейчас, шагая по улице, Алипаша размышлял, хватит ли оставшихся шестнадцать рублей, чтоб доставить его домой: заплатить грузчикам, которые понесут телевизор на пятый этаж (тащить такую махину надо минимум двоим), и за машину. Должно хватить. Зулейха наверняка рассчитала, во что обойдется и машина и рабочие, и дала ровно столько, чтоб хватило на все; к тому же Алипаша сообразил, что можно и не брать двух грузчиков, с одного бока за телевизор возьмется грузчик, с другого — сам Алипаша; конечно, пятый этаж, но Алипаша, слава богу, не старик, хотя на будущий год ему и стукнет пятьдесят, и когда Алипаша подумал о том, что на будущий год ему стукнет пятьдесят, взгляд его снова устремился к квадратным каменным окошкам, из которых выглядывали кусочки земли под коченеющими вдоль тротуара деревьями, и вновь его охватывала печаль, уныние... может, это была какая-то неосознанная тревога? Только что это могла быть за тревога?

Снова за шарф попал снег, холодок взбодрил Алипашу, грусть из сердца, похоже, ушла (а может быть, все-таки не грусть — тревога?), словно попав за шиворот, снег охладил не только шею и спину, но и сердце Алипаша, и сердце его обрело свое всегдашнее спокойствие, и Алипаша начал размышлять о том, что в понедельник надо пораньше уйти с работы, чтобы сдать старый телевизор и принести Зулейхе полученные за него деньги.

Алипаша никогда не жил в деревне, он родился в Баку, в Баку вырос, у него не было ни любимой коровы, ни, скажем, козы или барана, но сейчас в этот холодный, снежный вечер, направляясь в магазин за новым телевизором и размышляя о том, что в понедельник он унесет из дому старый, чтоб получить за него деньги, Алипаша чувствовал себя так, будто ему предстояло продать не «Темп-2», а любимую корову, или козу, или барана, как он читал об этом у

различных азербайджанских авторов; это, конечно, было грустовато; но зато, сдав свой старый верный «Темп-2», он получит за него деньги, и деньги эти он принесет домой.

И легкая грусть, проникая в сердце Алипаша в этот снежный холодный вечер, сменилась приятным чувством; кроме зарплаты, он принесет Зулейхе еще какие-то деньги, и это прекрасное обстоятельство уже сейчас наполнило его сердце невесомым нежным теплом.

Алипаша шесть лет проработал сначала корректором, потом младшим редактором, сейчас он уже больше десяти лет редактор и все эти годы живет только на зарплату. Другие редакторы кое-где подрабатывают, одни пишут рассказы (а некоторые даже романы писали и потом годами вели борьбу за опубликование этих романов в издательстве!), другие делают переводы, пишут информации для радио, газет, телевидения; Алипаша не писал ничего, заметно отличаясь тем от коллег, как пчелы в поисках нектара порхавших по редакциям газет и журналов. Может, он не способен был писать? А может, и был способен, но не имел к тому желаний? Может, не обладал необходимой пронырливостью и створчивостью? Алипаша не знал почему, но он никогда не стремился написать что-то, раз только, один раз занялся он литературным трудом и даже заработал неплохие деньги, но от этих его литературных занятий воспоминания остались самые неприятные...

Семь лет назад Алипаша переехал в хорошую трехкомнатную квартиру; встал в издательстве на очередь и получил квартиру в микрорайоне; до той поры все они ютились у матери Зулейхи в двух маленьких комнатухах. В новом доме их соседом по лестничной площадке оказался человек по имени Мурсал. Мурсал работал буфетчиком в ресторане «Здоровье»; это был предприимчивый, юркий человек, живой, как ртуть, никогда не сидевший на месте, у него было бесчисленное количество приятелей, знакомых, в доме часто случались гости, и раньше (до истории с писательством) он нередко приглашал и Алипашу; это уж потом, после того неудачного начинания, их отношения заметно поостыли.

Мурсал, похоже, не окончил и средней школы, за сорок лет жизни не прочел, как он сам признался однажды, ни единой книжки, и потому, увидев в толстых книгах имя редактора Алипаша, стал проявлять по отношению к соседу всяческое уважение и откровенно гордился присутствием такого гостя на своих застольях. Оказавшись соседом Алипаша, Мурсал стал даже заходить в книжные магазины и с самым серьезным видом листать вышедшие на азербайджанском языке толстые книги; обнаружив имя соседа, он ликовал, будто выиграл в лотерею, обрадованно смотрел на людей, находящихся в магазине, а однажды, не сумев сдержать себя, даже купил две книжки в красивых

переплетях: одна была «Сестра Керри» Драйзера, другая — «Птичка певчая» Ришата Нури — принес их домой и поставил в гостиной на видном месте рядом с хрустальными вазами, сахарницами и бокалами. Правда, Мурсал не читал эти книги, но иногда он с довольным видом подходил к серванту и разглядывал их, а потом некоторое время прохаживался рядом, и ощущение своей причастности к атмосфере культуры и высокой духовности, столь разительно отличающейся от той, которая царил в буфете ресторана «Здоровье», распирало ему грудь: в такие моменты Мурсалу почему-то хотелось пойти и заказать себе очки.

Среди приятелей Мурсала кого только не было: и ревизор, и известный стоматолог, и спортивный обозреватель, но так получилось, что мир книг, прессу представлял в его кругу лишь новый сосед — Алипаша; и вот однажды Мурсал, явившись к соседу, обратился к нему с просьбой, которая и но сне не могла бы тому присниться: один из приятелей Мурсала работал в министерстве здравоохранения, там надумали выпустить агитационные плакаты медико-санитарного содержания, и когда об этом зашел разговор и приятель Мурсала, работавший в здравоохранении, стал разыскивать человека, способного написать для этих плакатов короткие стихотворные подписи, Мурсал, естественно, тотчас же вспомнил Алипашу, и на этот раз выручив приятеля, и вот теперь уговаривал Алипашу, чтоб тот написал эти коротенькие стишки.

Поскольку впервые в его жизни речь шла не о сыре и колбасе, не о зелени и крепких напитках, поскольку дело было связано с миром духовности и просвещения, Мурсал испытывал подъем духа и внутреннее волнение; он принес с собой договор, составленный от имени министерства здравоохранения, принес папку с аккуратными бумагами, где были означены темы будущих стихотворений, и Алипаша, пребывая в полной растерянности от столь неожиданного предложения, машинально подписал договор (впервые в жизни он подписывал договор как автор!), с указанной в нем трехзначной цифрой.

Зулейха сперва с большим сомнением отнеслась к этой затее, потом взяла экземпляр договора, оставшийся на руках у Алипаша, прочитала его с первой до последней строки, одну за другой прочла бумажки, лежавшие в папке, и, казалось бы, Мурсал и Зулейха — что между ними общего? — внутреннее волнение, испытанное Мурсалом, постепенно передалось и Зулейхе; она тщательно прибрала на письменном столе Алипаша, унесла лежавшие на нем детские учебники и тетрадки, потом, испытывая все те же волнения и высокий душевный настрой, заточила карандаши, проверила, есть ли чернила в ручке, согрела чай, и когда Алипаша вечером уселся за письменный стол, он почувствовал неведомый ему до сих пор творческий подъем и

впервые в жизни принялся сочинять стихи.

Среди издательских работников и авторов, приходящих в редакцию прозы, принято было говорить, иной раз с улыбкой, иной раз мечтательно, что кто, мол, из нас не грешил в молодости стихами? В таких случаях Алипаша помалкивал, потому что за всю свою жизнь он не написал ни единого стихотворения.

Итак, в задачу первого плаката входила пропаганда необходимости закалки организма, внимательного отношения к вопросам питания, художнику предстояло нарисовать соответствующую картинку, а Алипаша сочинил две строки, которые должны были занять место под рисунком:

Если слишком к еде вождельте,
Постоянно будешь болеть.

Второй плакат посвящен был борьбе с сидячей жизнью, гиподинамией, и Алипаша после долгих творческих мук, поисков и обретений сочинил об этом такие две строки:

Коль машиной увлечешься,
От инфаркта не спасешься.

Алипаша сидел за письменным столом, сочинял сатирические подписи к плакатам, и ему казалось, что в творческие эти минуты он как бы мстит за что-то этим обжигающим, пьющим, не знающим троллейбусной давки людям, мстит им — только вот почему? Почему он должен испытывать к этим людям мстительное чувство? Неужели в сердце у него живет потаенная зависть? Алипаша не знал этого, но ощущение, овладевшее им, было не из приятных, и он старался освободиться от него и освободился, и текст к третьему плакату не содержал уже ни ненависти, ни издевки:

Дизентерии не минуешь,
Коль скоро руки мыть не будешь.

Вечер кончился, наступила ночь, Гюльзар, Сона, Сусен и совсем еще крошечная тогда Сугра, понимая, что отец занят серьезным и важным делом, без звука улеглись спать; Зулейха, чтобы не мешать мужу, хранила молчание, лишь время от времени приносила ему горячий чай, и таким образом Алипаша проработал до пяти утра, сочинил все подписи и, хотя проспал всего два часа (до семи утра: перед работой он должен был отвести в школу Сону, учившуюся в первую смену), еще никогда в жизни не спал таким сладким сном.

На следующий вечер, как только пришел Мурсал, на полчас

раньше сбежавший по такому случаю из своего буфета, Алипаша стал читать ему все то, что сочинил, и Мурсал, пренеполненный возвышающего душу сознания своей причастности к миру литературы, взволнованно покачивая головой, выслушал стихи, горячо поблагодарил за них автора и ушел счастливый, неся в вытянутых руках произведения Алипаша.

Два дня спустя Алипаша получил гонорар, причитающийся по договору, отдал деньги Зулейхе, но его радостное удовлетворение от трехзначной цифры, означенной в договоре, длилось недолго, потому что неделю спустя, когда он встретил на лестнице Мурсала, произошло в высшей степени неприятное.

«Слушай, — сказал вдруг Мурсал, глядя на Алипашу с откровенной злобой (даже ненавистью!), — ты же, оказывается, ни черта не умеешь! Чтоб аллах так тебя осрамил, как ты меня осрамил перед уважаемыми людьми!» И ошеломленный Алипаша узнал, что за стихотворные надписи к плакатам, которые он сочинил, друга Мурсала, достойнейшего человека, чуть было не погнали с работы и, лишь учитывая его заслуги перед здравоохранением, ограничились строгим выговором. «Стихи! Разве это стихи?! — сказал Мурсал. — «Дизентерию подхватил, что хочешь, то и делай?..» Ты, оказывается, просто-напросто безграмотный!»

После этого случая Мурсал, разумеется, больше не приглашал Алипашу на свои застолья, а встречая его на лестнице или во дворе, только кивал мельком; Алипаша не знал, естественно, и того, что Мурсал не заходит больше в книжные магазины, не листает толстые книги, а ни в чем не повинных Драйзера и Ришата Нури он давно уже убрал с серванта.

Однако как-то раз Мурсал все-таки позвонил в дверь к Алипаше и, несколько смущаясь, сделал ему еще одно предложение творческого характера: друг его — объяснил Мурсал — работает на кладбище, ему нужны хорошие стихи, чтобы писать их на памятниках, попросту говоря, продавать родственникам захороненных людей, чтоб те заказывали выбить их на надгробьях, нет, нет, Алипаша не должен сам сочинять стихи, ни в коем случае, просто строки о бренности всего земного надо отобрать в книгах великих поэтов; его друг заплатит за такую работу сколько надо.

Дело-то, конечно, было плевое, еще студентом Алипаша покупал книги Физули, Сеида Азима, Вахида, книги эти и сейчас стояли на полке в его маленькой домашней библиотеке, но Алипаша не принял предложения Мурсала, потому что маленький и круглый, похожий на яйцо Мурсал чем-то напомнил ему в этот момент разьевшегося могильного червя.

Снег шел все сильнее, и постепенно не только квадраты земли под шелковыми, но и обочины тротуара, и перила балконов, выходящих

на улицу, и крыши машин покрылись слоем снега.

Если говорить честно, у Алипаша не было, в сущности, ни малейшего желания сдавать «Темп-2» и брести, сунув руки в карманы от холода, за цветным телевизором, потому что старый и сейчас неплохо показывал; Алипаша не видел смысла в том, чтобы вдруг потратить столько накопленных денег, но так решила Зулейха, а значит, так и должно быть, ее решения обсуждению не подлежат.

Что ж, конечно, телевизор одно из самых поразительных явлений нашего времени, например танец живота, который в прежние времена смотрели лишь падишахи в своих дворцах, теперь может увидеть каждый; пупок показывают величиной во весь экран, да еще и в цвете...

Глава вторая

Поэт Селим Сурея, накинув на плечи дубленку, которую в прошлом году он привез из творческой командировки в Турцию, прохаживался перед рестораном «Здоровье»; минут пять тому назад он поднялся из-за стола, где сидел в компании, чтобы сходить в туалет, и, возвращаясь в зал, увидел сквозь широкое окно коридора, что снег валит все сильнее, а поскольку он давно уже не был на воздухе, не смог удержаться, взял на вешалке дубленку, набросил на плечи и, исходя легким парком, образовавшимся от горячей, вкусной еды и прекрасных, произнесенных в его честь тостов, вышел на улицу. Когда Селим Сурея был еще ребенком, отец оставил их с матерью, уехал в другой район и женился там; мать Сурея одна растила Селима. Начав писать стихи, он взял в качестве техаллуса — не имя отца, которого даже не знал в лицо, а имя матери. Разумеется, многие сочли забавным, что он взял псевдонимом женское имя, но Селим Сурея оказался выше насмешек, потому что истинное искусство всегда выше сплетен и мелких чувств, таким образом спустя некоторое время и читатели, и, главное, коллеги Селима Суреи привыкли к такому имени. Единственный человек, который проявил несогласие с псевдонимом Селима, оказался отец поэта; однажды к Селиму Сурее явился небольшой человек и объявил, что он его родной отец. Он долго отчитывал Селима за то, что тот не взял как положено в качестве техаллуса имя отца, а поэт смотрел на сидевшего перед ним человека, который с аппетитом закусывал, не переставая отчитывать хозяина дома, разглядывая его хлипкое тельце, костлявую шею, ручки и изумляясь: неужели этот дохлак и впрямь приходится отцом такому богатырю, как он, Селим Сурея?

Но отец приехал не один, а с рослой девицей, под стать самому Селиму, и сказал, что эта могучая девушка — его родная сестра, и отец привез ее в Баку для того, чтобы старший брат помог ей поступить в институт.

Художник должен быть выше мелких чувств, и, естественно, Селим Сурея разбился в лепешку, отыскивая нужных людей, и помог неожиданно-негаданно объявившейся сестре поступить в институт; однако вскоре он узнал, что у этого маленького щуплого человека имеется еще семь таких же огромных и могучих дочерей, и они одна за другой будут приезжать в Баку, чтобы поступить в институт...

Кое-кто из прохожих узнавал Селима Сурею, люди оборачивались, знаками показывали на него друг другу; полные любопытства взгляды незнакомых людей так же, как только что произнесенные в его честь здравицы, укрепляли в Селиме Сурее уверенность, что жизнь прожита не зря, народ знает его, и эта мысль еще более согревала Селима Сурею, и без того разгоряченного теплой атмосферой ресторана, и Селим Сурея чувствовал, что из самого его сердца вот-вот потекут вдохновенные строки о народе, о Родине, и в этот момент он увидел Алипашу, который в глубокой задумчивости шагал по улице, сунув руки в карманы намочшего пальто.

В этот вечер под этим снегом сердце Селима Суреи было преисполнено любви ко всем людям на земле; Алипаша, естественно, был одним из этих людей, кроме того, они вместе учились в университете, а его черное поношенное пальто и его озабоченное лицо как-то не вязались с этим прекрасным вечером, с этим белым снегом; в сердце Селима Суреи дрогнула тонкая струнка, будто кто-то слегка коснулся ее трепетным мизрабом¹, и поэт, выпятив грудь, широко раскинув могучие руки, быстрым шагом двинулся к Алипаше.

— Дорогой мой! Дорогой мой! — громко произнес он и замолчал, не находя больше слов, глазами, полными слез, вызванных трепетом той самой струнки, несколько мгновений не отрываясь смотрел в глаза Алипаше, потом крепко обнял его и прижал к груди.

Алипаша никак не ожидал этой бурной встречи посреди улицы и, оказавшись в объятиях Селима Суреи, совершенно не знал, что делать, но когда изнанка дубленки коснулась его лица и он вместе с прикосновением мягкого меха ощутил на себе жаркое дыхание поэта и почувствовал мощь его груди, ощущение искренней сердечности передалось Алипаше, и он тоже — сколько хватило у него сил — крепко обнял Селима Сурею и тоже едва не прослезился; конечно, горячее дыхание Селима Суреи явно отдавало рестораном, но в этот момент даже и эта ресторанный теплота зывала к сердечности, и в сердечности этой заключена была печаль и трогательность воспоминаний о чудесном времени, когда они вместе учились, о прекрасной поре студенчества, о юности — о том, что было почти тридцать лет назад.

Алипаша и без этого встречался с Селимом Суреей, который

частьенько наведывался в издательство, — правда, поговорить толком у них все никак не получалось, как-то не было времени (вероятно, со стороны Селима Суреи не было и особого желания, но Алипаша никогда не придавал этому значения); поздоровавшись и бросив на ходу: «Ну как дела?», поэт, не останавливаясь, шел дальше, он всегда куда-то спешил; а один раз Алипаша собственными глазами видел, как Селим Сурея вошел в кабинет к директору, и директор Алимухтармуаллим отодвинул в сторону бумаги, принесенные Алипашой, встал из-за стола и пошел навстречу поэту.

Селим Сурея выпустил наконец Алипашу. — Дорогой мой! — сказал он.

— Пошли! — И поэт потащил Алипашу к огромным дверям ресторана «Здоровье».

— Куда? Куда мы? — твердил Алипаша — Куда ты меня тащишь, Селим?!

Поэт не отвечал.

Войдя в ресторан, Селим Сурея остановился перед раздевалкой, снова заглянул Алипаше в глаза, не в силах сдержаться, снова крепко обнял товарища юных лет, и, повторив: «Родной ты мой!», сам начал снимать с Алипаше его мокрое от снега пальто.

Разумеется, Алипаша понял, что Селим Сурея привел его в ресторан, чтобы вместе поужинать, и в сердце его проскользнуло беспокойство по поводу цветного телевизора и ожидающей дома Зулейхи, но странное дело — поступить решительно он не смог, не мог он решительно отказаться от приглашения Селима Суреи, потому что в самой его обеспокоенности заключено было что-то потаенное; и дело вовсе не в том, что в доме Алипаше никогда не бывало гостей (хотя Зулейха прекрасно готовила), что по праздникам они обычно ходили к родителям Зулейхи (ровно через шесть дней им предстояло встретиться с тещем и с тещей новый, 1985 год), что Алипаша очень редко бывал в компаниях, два раза в год они с Зулейхой ходили к кому-нибудь из родственников — в основном со стороны Зулейхи — на свадьбу, да еще первое время после переезда на эту квартиру он бывал в гостях у Мурсала, но дело не в этом, просто где-то в самой глубине сердца у Алипаше возникло вдруг какое-то предчувствие, предвкусение, вернее, радость от этого предвкусения, жажда этого предвкусения...

Помогая Селиму Сурее снять с Алипаше его мокрое черное пальто, гардеробщик глядел на поэта глазами, полными любви и преданности, и почему-то покачивал головой и улыбался, потом взглянул на Алипашу, и Алипаша ощутил, что и ему выдана некоторая толика любви, преданности и почтения, которыми полны были глаза гардеробщика, и это не понравилось Алипаше, потому что любовь, преданность и почтение — не милостыня, чтоб ее подавать; Алипаша

¹ Мизраб — косточка для игры на смычковых музыкальных инструментах.

выпрямился, сам снял с себя шарф, черную намокшую шляпу и отдал их гардеробщику, достал из кармана расческу, причесался; Селим Сурея бросил на барьер дубленку, и они вместе направились по коридору в зал.

Странное дело, только что на улице растерянный Алипаша, будто попавший под нож цыпленок, бился в могучих руках Селима Суреи, а получив, хоть и в виде милостыни, малую толику любви, преданности и почтения, читавшегося в глазах гардеробщика, внутренне ощутил себя вроде бы совсем другим человеком; конечно, ни Алипаша, ни Зулейха никогда не нуждались в милостыне, все это так, и тем не менее, когда, отворив дверь, Алипаша вошел в ресторанный зал, колебание, нерешительность и, главное, это самое неясное беспокойство почему-то вновь овладели им.

Алипаша полагал, что они посидят вдвоем с Селимом, вспомнят далекие студенческие годы, вместе погорюют, Алипаша даже вспомнил нескольких однокурсников, за прошедшие двадцать семь лет безвременно ушедших из жизни; он считал, что уж раз они так неожиданно встретились, так неожиданно оказались в ресторане, надо добрым словом помянуть ушедших друзей; однако, едва войдя в зал, он сразу понял, что дело обстоит иначе: застолье человек на двадцать было в разгаре, и сидели за этим столом такие известные уважаемые люди, большинство из которых Алипаша видел лишь по телевизору или в президиумах. Среди сидевших за столом был и директор издательства Алимухтар-муаллим.

Обхватив Алипашу могучей рукой, Селим Сурея широким шагом прошел через зал к столу.

— Смотрите, кто к нам пожаловал! — провозгласил он, и голос его прозвучал так громко, что не только участники банкета, но и сидевшие за другими столиками умолкли, повернулись к Алипаше. Участники банкета шумно обрадовались появлению Алипаша: кто-то вскочил с места, кто-то захопал, кто-то крикнул «ура!». Селим Сурея, широко раскинув руки, снова прижал Алипашу к груди и расцеловал в обе щеки.

Мурсал за своей стойкой вытаращил глаза и вместо колбасы чуть не резанул себя по пальцу.

Вырвавшись наконец из объятий Селима Суреи, Алипаша узнал, что сегодня, в эту пятницу, Малик Хашим, с которым они когда-то вместе учились, защитил докторскую, и именно по этому поводу все и собрались здесь.

— Не мог тебя разыскать, — сказал Малик, выйдя из-за стола и обнимая Алипашу, — то есть не мог отыскать тебя, чтобы пригласить сюда.

Конечно, Малик врал, потому что ничего не было проще, чем отыскать Алипашу (и Алипаша прекрасно знал это), он бывал только

дома или в издательстве, но даже эта очевидная ложь не особенно огорчила Алипашу, потому что гораздо больше огорчила его седина на висках у Малика; сколько лет уже не видел он его вот так, вблизи, все только по телевизору или на совещаниях (на совещаниях Малик всегда сидел в президиуме), а вблизи он видел его впервые за многие годы, и эти седые виски Малика напомнили Алипаше о непостижимой быстротечности жизни, о том, что и он, Алипаша, и Малик, и Селим Сурея, как и все живущие на земле, словно бы находятся в поезде, с непостижимой скоростью мчащемся к жизненному концу (никогда прежде не думал Алипаша о подобных вещах, а вот последнее время стал иногда задумываться), а конец все ближе и ближе...

Малик после университета окончил аспирантуру, защитил кандидатскую, в печати появлялись его статьи, когда заходила речь о Малике, все высказывали мнение, что он выйдет в академики, но Малик постепенно начал отходить от литературы, занимал различные ответственные посты, так продолжалось некоторое время, сейчас Малик уже лет двенадцать занимал одну и ту же должность, его ни понижали, ни повышали, однако всякий раз, когда возникала какая-нибудь значительная вакансия, тотчас распространялся слух, что на должность поставят Малика. Но Малика никуда не ставили, и всякий раз, когда распространялся слух об очередной освободившейся должности: «Малика назначают министром», «Малика ставят председателем комитета», Алипаша гадал, оправдаются ли эти ожидания, причем испытывал странное чувство нетерпения; конечно, они вместе учились, и вообще Малик неплохой парень, и Алипаша в какой-то степени переживал за него, но тем не менее в его нетерпении было немало и простого азарта — азарта болельщика.

Для Алипаша освободили место между Маликом и Селимом Суреей, оркестр заиграл что-то бравурное, но Селим Сурея поднялся, сделал знак рукой, и, несмотря на то, что, кроме сидевших за столом с Селимом Суреей, в ресторане было еще полно людей, оркестр тотчас смолк, и поэт, негромко проговорив: «Вот если бы меня наверху так уважали, как в ресторанах...», громким и бодрым голосом, словно жемчужинки, одно к одному нанизывая великолепные слова и выражения, почерпнутые из глубин языка, произнес в честь Алипаша великолепный тост; он говорил о скромности Алипаша, о его чистом, как зеркало, сердце, о его почти детской незащищенности, о его верности в дружбе, сказал о том, как вообще высоко ценятся скромность, чистота и верность, а потом, словно бы воодушевившись собственными словами, с истинно творческим подъемом заговорил о любви Алипаша к народу, к Родине, сказал о том, что народ и Родина вечны, и все сидевшие за столом зааплодировали Алипаше, а оркестр после тоста Селима Суреи сыграл туш.

Мурсая взглянул на жену свою Зейнаб, Зейнаб поглядела на

Мурсала, и оба, пораженные, усталились на сидевших за банкетным столом, поставленным в самом лучшем месте зала.

Алипаше казалось, что тост этот, эти слова, произнесенные поэтом, относятся к какому-то совершенно другому человеку; за широкими окнами ресторана видны были неоновые фонари, и в свете фонарей хлопьями падал снег, мело так сильно, что Алипаша покачал головой; потом он поблагодарил присутствующих.

— Молодец! — невольно воскликнул Мурсал и опять изумленно вскинул на Зейнаб бегающие быстрые глазки, и Зейнаб, как человек, немало повидавший на своем веку, кивнула мужу, мол, вот такие на свете творятся чудеса...

Зейнаб почти ежедневно, ближе к вечеру, заходила к мужу в ресторан «Здоровье». Мурсал брал болгарскую брынзу, финскую колбасу, венгерские соленья, вареную курицу, жареное мясо, а иной раз даже черную или красную икру, отрезал, откладывал, одного больше, другого меньше, аккуратно завертывал продукты и складывал их в большую черную сумку, которую Зейнаб всегда приносила пустую, а уносила полную, и в этот вот снегопад, в этот вечер она тоже явилась проведать мужа со своей большой черной сумкой в руках. Работникам ресторана сумка эта давно примелькалась, так что таиться и скрывать от посторонних глаз визиты Зейнаб не было никакой необходимости; к тому факту, что Зейнаб приходит в ресторан с пустой сумкой, а уходит отсюда с полной, все привыкли так же, как и к тому, что играет оркестр, что посетители едят и произносят тосты и танцуют, а когда они уходят, со столов собирается грязная посуда и опорожняются пепельницы.

Что известнейший мастер слова поэт Селим Сурея пришел в ресторан в обнимку с Алипашой, что сидевшие за лучшим в ресторане столом почтенные люди так шумно, с таким энтузиазмом встретили Алипашу, что Селим Сурея прижимал его к груди и целовал, а потом говорил такие прекрасные, такие умные слова (Мурсалу из-за буфетной стойки было слышно все, что говорилось за тем столом), произнося тост в честь Алипашы, произвело на Мурсала и на Зейнаб в высшей степени сильное впечатление.

— Говорила тебе, — прошептала Зейнаб, большими черными глазами указывая на Алипашу, — не гляди, что он вроде такой несчастный, пройдоха он, каких мало, — а ты не верил!.. — Потом она снова посмотрела на Алипашу, и вдруг — в этот вечер, сейчас, сегодня — открыла для себя, что выдержанный, молчаливый человек, с которым она в продолжение семи лет, можно сказать, каждый день встречалась то на лестнице, то во дворе, этот самый Алипаша — видный и даже красивый мужчина...

У Алипашы было такое ощущение, будто пришла весна и у него забурлила кровь. Ощущение это появилось с того самого момента,

когда Селим Сурея обнял его на улице, и дело не в том, что горячее дыхание поэта Селима Суреи было основательно приправлено ресторанным духом, а в том, что крепкие руки Селима Суреи, жвав Алипашу в объятиях, мгновенно перенесли его в совсем иной мир, и мир этот разительно отличался от обычной его жизни, от его повседневного существования — и главное, Алипаша прекрасно чувствовал это.

Алипаша сидел за столом в ресторане «Здоровье» среди всех этих уважаемых людей, в числе которых присутствовал и директор издательства Алимухтар-муаллим, слушал тост, который на этот раз произносил Малик, и думал о том, что, когда Селим Сурея, обняв его, перенес его в другой мир, столь разительно отличающийся от повседневной жизни, он, Алипаша, сам, в сущности, устремился туда, в этот мир, потому что в сердце его с некоторых пор поселилась тоска, хотелось бежать куда-то от жизни, начинающейся дома и кончающейся в издательстве, начинающейся в издательстве и кончающейся дома, и неожиданная встреча с Селимом Суреей оказалась просто удобным случаем; но если это действительно так, если в сердце у него давно зрело такое желание, тогда это очень плохо, тогда ему должно быть стыдно... потому что, если все так, то это предательство... Что же он предал, кого?.. Алипаша не знал этого, но предательство было, было... Потом ему вспомнился взгляд гардеробщика, почтительность, как милостыня, поданная ему, Алипаше...

Что же это снег так валит?..

В те далекие годы, когда они вместе учились в университете, Алипаша, бывало, мозоли на пальцах натирал, тщательно конспектируя лекции, Малик же никогда не записывал их, но, когда подходила сессия, сдавал экзамены гораздо лучше Алипашы, потому что способности у него были лучше, ум острее, и Алипаша не находил в этом ничего удивительного,

А снег-то, а..

Пиджак на Малике всегда был застегнут на все пуговицы, галстук, темневший на белой сорочке, лежал точно посреди груди, сейчас же пиджак у Малика был расстегнут, галстук съехал на сторону, в глазах стояла умиротворенность. Малик вдохновенно заговорил вдруг о нетленности науки и искусства, подчеркнув, что все другое в мире преходяще, прочитал на память прекрасное стихотворение Гусейна Джавида, потом неожиданно вышел на Алипашу, сказал, что этот простой, скромный человек по-настоящему высок в своей скромности и простоте, потому что простота и скромность нетленны и вечны, как само искусство, и попросил всех поддержать его тост в честь Алипашы.

Алипаша чувствовал, что краснеет, потому что проявленное к нему внимание, восхваления уже перешли все границы, и, поднявшись из-за

стола, поклонился и снова поблагодарил собравшихся.

— Ну, прямо не знаю, что и сказать!.. — прошептал Мурсал, а Зейнаб своими черными заблестевшими вдруг глазами с головы до ног оглядела Алипашу.

После тоста, произнесенного Маликом, оркестр не стал играть туш, зато директор Алимухтар-муаллим потянулся к Алипаше.

— Будь здоров, — сказал он, а потом закусил соленым помидором.

Конечно, директор Алимухтар-муаллим был всего лишь человек и, как все живущие на земле существа, мог есть, смеяться, выливать и закусывать, и все-таки у Алипаше никак не укладывалась в голове, что директор Алимухтар-муаллим может вот так запросто сжевать соленый помидор — почему? Здесь было что-то непостижимое. У Алипаше не укладывалось в голове, что этот вежливый, улыбчивый и в то же время очень строгий человек, требовавший письменного объяснения от каждого, кто опаздывал хоть на минуту, и которого все со дня сотворения мира видели сидящим в директорском кресле, этот Алимухтар-муаллим так привычно закусывает соленым помидором; так или иначе в этом было что-то поразительное.

Снег-то какой, а?..

— Дорогой ты мой! — тихо, насколько позволял его мощный бас, произнес Селим Сурея. — Ты на всех не гляди, ты ешь. Мы тут с утра заседаем. Наелись. Ты на нас не гляди... — И, протянув руку к большой жареной курице, лежавшей на блюде посреди стола, поэт взял ножку и так цапнул ее зубами, что сразу забелела косточка.

— Да ты, видно, плотно поел, — смеясь, сказал Алипаша, и после этих слов скванность, сомнение и неясное беспокойство, наполнившие его душу, постепенно начали отступать, таять, словно в тесной, темной комнатке, набитой отсыревшим хламом, распахнули вдруг годами не открывавшиеся окна и свежий воздух наполнил ее; сам того не замечая, Алипаша поднялся и стал говорить тост; сперва у него колотилось сердце и дрожали руки, но потом он почувствовал, что говорит хорошо, складно, и сердце его забилось ровнее, руки уже не дрожали, и у него мелькнула мысль, что произносить тост, даже если ты произносишь его в присутствии самых уважаемых людей, не такое уж грудное дело, а ведь раньше, когда они с Зулейхой ходили на свадьбу к кому-нибудь из родни, он каждый раз мучился от мысли, что ему могут предоставить слово, а он не сумеет произнести тост и осрамится; Алипаша напомнил Малику о незабвенных годах студенчества, описал сидевшим за столом молодость Малика и Селима Сурея, упомянул известных профессоров, когда-то учивших их всех и которых теперь, увы, нет в живых, сказал о годах, прошедших с той поры, о том, что правде надо смотреть в глаза — здесь, за столом, он оказался случайно, но в самой случайности есть своя особая прелесть, потому что чувства, которые связывают его сейчас с собравшимися за

этим столом, самые чистые, самые искренние, и Алипаша предложил тост за эти самые чистые, самые искренние чувства.

Пока Алипаша говорил, Селим Сурея, давая знак оркестру, держал руку поднятой, когда же Алипаша закончил тост, Селим Сурея опустил руку, оркестранты, хорошо зная привычки Селима Сурея, тотчас же грянули туш, Малик и Селим Сурея встали, обняли Алипашу, расцеловали его, но самое впечатляющее было то, что директор Алимухтар тоже поднялся из-за стола, подошел к Алипаше, и тот, азмугленный, увидел, что в глазах у директора Алимухтара стоят слезы; Алимухтар-муаллим тоже обнял его и расцеловал.

— Спасибо! — сказал он. — Огромное спасибо! — И вытер слезы. — Ты прекрасно сказал!

Селим Сурея снова махнул рукой оркестру; оркестр заиграл «Ханчобан» — любимый поэтом танец, кларнетист вышел к микрофону, на высокой ноте повел соло; поэт поднялся и, широко раскинув руки, пританцовывая, встал перед Алипашой, и тут случилось такое, что ни в каком сне не могло бы привидеться Алипаше: он тоже поднялся из-за стола, раскинул руки, и оба они, танцую, двинулись на середину зала, к площадке для танцев.

Когда Алипаша танцевал в последний раз? Вспомнить он не мог, да и не хотел вспоминать; танцевалось ему легко, бездумно, Алипаше доставляло удовольствие и то, как слаженно играл оркестр, как забавно припрыгивал Селим Сурея, его радовало, каким уважением пользуется в ресторане поэт, и то, что Малик, с которым они когда-то вместе учились, с которым в те далекие прекрасные студенческие годы не расставались с утра до вечера, защитил теперь диссертацию, и что поздравить его собрались такие уважаемые люди, и именно поэтому так легко, так радостно, с таким удовольствием танцевал сейчас Алипаша в зале ресторана «Здоровье».

Зейнаб давно уже пора было домой, но она никак не могла заставить себя уйти; Мурсал же был настолько потрясен тостом, который произнес Алипаша, и тем, что он сейчас танцует посреди зала с поэтом Селимом Суреей, что ни слова не сказал жене; кларнетист перешел с высокого тона на низкий, у Зейнаб защемило сердце, она по привычке взялась за сумку, несколько раз приподняла ее, как бы определяя вес, потом, не взглянув на мужа, взяла сумку, прошла между танцующими, стараясь оказаться как можно ближе к Алипаше и поэту Селиму Сурею, однако Алипаша даже не заметил ее.

Не переставая танцевать. Селим Сурея достал из кармана розовую десятку, приблизился к оркестру, сунул десятку в карман кларнетиста, и Алипаше захотелось тоже достать из кармана ну если не розовую десятку, то хотя бы голубенькую пятерку и дать музыкантам, но он не достал пятерки, вспомнив про цветной телевизор, и тогда перед его глазами опять почему-то возникли обложенные камнями квадраты

земли под шелковицами, стоящими вдоль тротуара, и Алипаша почувствовал, что в комнатушке с залежавшимся отсыревшим хламом вновь пытаются захлопнуть окна, и, чтобы этого не случилось, чтоб окна не закрывались, чтоб они остались открытыми, Алипаша принялся танцевать с еще большим воодушевлением; после десятки Селима Сурен кларнетист совсем разошелся, поэт, не желая отставать от взятого темпа, весь в поту волчком вертелся по залу, Алипаша тоже не отступался, шел за поэтом по кругу.

— Есть тост!.. — вдруг выкрикнул он.

Селим Сурей поднял руку, кларнетист тотчас смолк, оркестр прекратил играть, и Алипаша с поэтом под одобрительными взглядами сидевших за столиками людей, запыхавшиеся, вернулись на место.

— Дорогие друзья! — громко произнес Алипаша и перевел дух. — Дорогие друзья! За музыку!.. — И Алипаша пожелал счастья всем присутствующим и вообще всем добрым людям на земле. Пожелал, чтобы в домах у них никогда не смолкала музыка, чтоб всегда жила с ними радость.

Потом Алипаша сел на место и одного за другим оглядел всех сидевших за столом.

С некоторыми из этих людей он был знаком (они приходили в издательство, выпускали свои книги), других видел только издала, по телевизору, читал их произведения и, разумеется, ни к кому из них не испытывал злобы, да и с чего бы ему на них злиться?.. Наоборот, люди эти вдруг стали как бы совсем близкими ему, он... несколько не чувствовал себя ниже любого из них, ей-богу, а что касается директора Алимухтара-муаллима, Алипаше даже почему-то было немного жаль его — почему это? Потому что сейчас, среди всех этих значительных лиц, директор Алимухтар казался человеком второго сорта? Алипаша этого не знал, но вдруг почему-то вспомнил Зулейху, Гюльзар, Сону, Сусен, Сугру, вспомнил, как в такие вот зимние дни они вместе сидят в своей уютной тихой квартире, едят луковую похлебку или довгу, если бывает мясо — долму из листьев, случится курица — чихиртму, вспомнил, как спит с Зулейхой на широкой удобной кровати, по несколько раз за ночь ходит в соседнюю комнату, чтобы прикрыть одеялом разметавшихся во сне девочек, а утром, пока еще никто не поднялся, встает, чтобы наполнить чайник, поставить его на плиту, и быстро бежит в булочную — принести детям к завтраку свежего теплого хлеба...

Алипаша снова поднялся из-за стола.

На улице за широкими окнами ресторана так ярко горели неоновые огни фонарей!

И так красиво падал снег...

— Дорогие друзья! — сказал Алипаша. — Дорогие друзья, сегодня, в этот прекрасный день, у меня есть одно желание! Никогда никого из

вас я не обременю ни единой просьбой! Но сейчас у меня есть просьба, огромная просьба! Малик, брат, ей-богу, ни разу в жизни не принимал я более серьезного обдуманного решения. Я прошу тебя, Малик, прошу как старого друга, разреши мне в этот прекрасный день оплатить этот стол — я хочу угостить всех присутствующих здесь прекрасных людей!

Слова Алипаша были настолько неожиданными, что сперва никто не промолвил ни слова, потом Малик взглянул на своих гостей, на Алипашу и, улыбаясь, покачал головой:

— Слушай, а я как же? Как же мне быть?

В голосе Малика чувствовалась насмешка, но Алипаша не придал этому значения, потому что и сам Малик, и все эти люди были сегодня милы ему, он считал их своими гостями, и Алипаша так ответил Малику:

— Потому, Малик, что ты очень близкий, очень дорогой мне человек, и все собравшиеся здесь очень дорогие для меня люди!.. Потому, Малик, что в этот твой счастливый день моя душа, мое сердце охвачены таким желанием, и не захочешь же ты своим отказом разбить мое сердце!

Сидевшие за столом молча ждали, чем кончится разговор, только директор Алимухтар независимо от самого себя автоматически подсчитывал, в какую сумму может обойтись застолье.

Малик, хоть и пребывал в благодушном настроении, кажется, начинал заводиться, становясь тем Маликом, который всегда сидит в президиуме.

— Послушай, дорогой... — с некоторой суровостью в голосе произнес он.

Но Алипаша прервал его на полуслове.

— Малик! — сказал он, — Если в этот прекрасный день ты разобьешь мое сердце, я больше в жизни не скажу тебе ни слова и ни на минуту не задержусь здесь!

— Послушай!.. — Малик вскочил.

На этот раз Малика прервал Селим Сурей.

— Подожди, Малик, подожди... — сказал он, касаясь его руки.

— Значит, Малик, ты решил разбить мое сердце?! — произнес Алипаша.

— Но нельзя же так! — сказал Малик Селиму Сурей, крепко сжимающему его руку. — Всею есть предел, — И он с упреком взглянул на поэта, мол, и где ты его, такого, выкопал?..

— Что ж, большое тебе спасибо, Малик. — Алипаша отодвинул стул, на котором сидел, и хотел уже удалиться, но поэт Селим Сурей обхватил его за плечи могучими руками и задержал.

— Друзья! — громко провозгласил он. — Как можно разбить это чистое сердце?! Нет! Человек, имеющий такое чистое сердце, имеет

моральное право угощать нас сегодня! Мы его гости! Дорогой ты мой!

— И поэт снова обхватил Алипашу, расцеловал его, потом громко захолопал, сидевшие за столом гости, очарованные его громовым голосом и горячими поцелуями, тоже принялись хлопать.

— Однако... — пробовал было еще возражать Малик, но поэт Селим Суря поднял руку.

— Кончено! — произнес он и опустил руку, давая знак оркестру. Оркестр заиграл туш.

И под звуки туша, исполняемого оркестром, Селим Суря подтащил Алипашу к Малику — одной рукой обхватил Малика, другой Алипашу, поставил их лицом друг к другу, и Малик с Алипашой обнялись и расцеловались.

Все существо Алипашы было исполнено какой-то необычайной легкости. Груз цветного телевизора, который ему предстояло тащить на пятый этаж, свалился вдруг с его плеч, и Алипаша был сейчас легче птички, порхающей с ветки на ветку, в груди у него словно бы и не сердце билось, а дышал, благоухая, белый нежный цветок...

Застолье вновь оживилось, только два человека долго еще не могли прийти в себя: у Мурсала колотилось сердце, рука, резавшая сыр, тряслась, потому что Мурсал ни за что не мог бы себе представить, что Алипаша, его сосед по лестничной площадке, настолько уважаемый человек, что он умеет так красиво говорить, так танцевать, и наконец, что он такой щедрый, широкий — настоящий мужчина; что же касается директора Алимухтара-муаллима, он все поглядывал то на Малика, то на Алипашу и размышлял о том, что вот есть же на свете счастливички, а вздумай он, Алимухтар, когда-нибудь устроить застолье, никому и в голову не придет взять на себя его расходы (да еще с таким энтузиазмом!..); глядя на редактора Алипашу, которого он каждый божий день видел на работе, директор Алимухтар подумал, что, в сущности, во всем их огромном издательстве нет человека более жалкого, незначительного и никому не нужного, чем он сам, Алимухтар-муаллим...

Глава третья

Балкон, крыши домов, голые ветви стоявших во дворе деревьев — все это было покрыто снегом, и белизна снега, сиявшего в свете фонарей, несла в себе тишину, успокоение; снег шел все сильнее, и ветер крепчал, и все равно казалось, что в бескрайней, сверкающей снежной белизне не может случиться ничего плохого.

Конечно, чистота и свежесть этого снежного вечера сообщала и Зулейхе ощущение бодрой радости. И все-таки сердце у нее было не на месте: больше двух часов назад Алипаша ушел за цветным телевизором, магазины давно закрылись. Гюльзар, Сусен и вернувшиеся

недавно из школы Сона и Сутра поминутно спрашивают: «Но где же папа?», ждут не дождутся цветного телевизора, а Алипашы все нет, и Зулейха то и дело, накрыв платком голову, выходит на балкон и смотрит вниз, не идет ли он.

Что-нибудь с телевизором, какие-нибудь технические осложнения, проверяют долго, меняют, а может, он в такую погоду не смог сразу взять машину, или, может, денег не хватило — за машину да еще грузчиком?.. Надо было отдать ему еще одну десятку, он зря не потратит.

В течение года, пока собиралась нужная сумма, Зулейха время от времени наведывалась в магазин, присматривала телевизор; стоил он пятьсот восемьдесят четыре рубля, она сперва хотела дать мужу шестьсот десять рублей, потом прикинула и решила дать шестьсот; шестнадцать рублей и на машину, и грузчикам хватит за глаза, и оставила десятку в сумочке, а вот теперь думала, что зря отобрала у Алипашы эту десятку.

Если Алипашу что-то задерживало, он всякий раз звонил; за последние два года, с тех пор как им поставили телефон, придя на работу и уходя с работы, он каждый день звонил домой, чтобы узнать, как дела, не нужно ли чего, и сейчас Алипаша давно должен был позвонить! Почему он не звонит? Зулейха не могла этого понять...

Тут как раз зазвонил телефон; она поспешно схватила трубку, но это был не Алипаша, а ее мать, которая интересовалась, пришел Алипаша или нет. С тех пор к им поставили телефон, мать Зулейхи была в курсе все что происходило у них в квартире.

Зулейха положила трубку, снова накинула шаль на плечи, вышла на балкон и посмотрела вниз: Алипаша и было, но к чистому запаху свежего снега примешивались еще какие-то запахи, и Зулейха невольно взглянула на соседний балкон.

Поскольку в финском холодильнике не всегда хватало места, Зейнаб частенько, особенно в зимнее время убирала продукты, принесенные из ресторана «Здоровье» в стоявший на балконе шкаф, и Зулейха, находясь у себя на балконе, по запаху могла определить, что Зейнаб кладет в шкаф: копченую осстрину, сыр, колбасу или еще какие-нибудь деликатесы. В эту пятницу Зейнаб, освободив свою битком набитую сумку, складывала продукты в стоявший на балконе шкаф, находясь под сильным впечатлением сегодняшнего вечера. Больше всего ее обидело, что сосед Алипаша не заметил ее, не обратил на Зейнаб внимания; она нарочно прошла как можно ближе, он видел ее, конечно, но притворился, будто не видит, а это уже совсем другое дело.

Зейнаб поздоровалась с Зулейхой, окинув ее цепким, наметанным взглядом, мысленно сопоставила ее фигуру со своей и отдала предпочтение себе; конечно, если говорить честно, Зулейха не дурна,

совсем не дурна, но все равно, сравнив себя с соседкой, Зейнаб на сто процентов уверилась в собственном преимуществе, и у нее даже несколько приподнялось настроение; не скрывая интереса, она снова окинула Зулейху испытующим взглядом.

— Как дела, соседка? Что это ты в такую холодную погоду все на балкон выскакиваешь?

Зулейха уловила в голосе Зейнаб какие-то непривычные нотки, но не придала этому значения, не стала задумываться, что они могли означать.

— Так, ничего... — сказала она и хотела уйти в комнату.

— А что, Алипаша-муаллим уже вернулся? — спросила Зейнаб.

Зулейха обернулась, удивленная.

— А откуда он должен вернуться?

— Как откуда? Из ресторана!

— Откуда?!

— А-а-а... — с удовольствием протянула Зейнаб, увидев, что ее всегда спокойная, уравновешенная соседка окаменела от изумления. — А ты не в курсе? Твой Алипаша так отплясывал сейчас в ресторане «Здоровье» — глядеть любо-дорого!..

Глава четвертая

Кларнетист надрывался перед микрофоном, взмывая по ступенькам нот к недостижимым высотам, но Селим Сурея и Алипаша не отставали от его убийственного темпа; все другие танцоры постепенно отступились, остался только поэт, остались Алипаша и еще одна красивая, кокетливая девица; танцует, она игриво поводила глазками; красotka эта сидела за столиком с тремя мужчинами, когда началась музыка, они было все поднялись танцевать, но скоро выдохлись, а вот девушка не сдавалась, теперь она танцевала с Селимом и Алипашой.

С красоткой Алипаша танцевал еще лучше, еще усерднее.

Выпив грудь, он прошелся перед девушкой вдоль площадки, потом высоко вскинул голову и протанцевал за ней по всему кругу.

Малик уже забыл, что совсем недавно чуть не разбил Алипаше сердце, забыл, что сердится на него, и, дымя сигаретой, которую держал во рту, вытянув вперед руки, с удовольствием хлопал им: Алипаше, Селиму Сурею и красавице.

У всех собравшихся за столом было прекрасное настроение, завтра суббота, никто не спешил, обстановка создалась самая теплая, сердечная, вот только Алимухтар-муаллим никак не мог избавиться от своих невеселых мыслей, все смотрел на редактора Алипашу, который, выпив грудь, задиристым петухом скользил по паркету, сопровождая кокетливую красавицу — по глазам можно определить, какова пройда, — и думал, что с самого своего рождения он, директор Алимухтар-

муаллим, обойден был счастьем, не везет ему, на какое бы собрание, на какое бы застолье ни попал, обязательно произойдет что-нибудь, что потрясет его до глубины души; ну, в самом деле, кто мог подумать, что редактор Алипаша в состоянии оплатить такой стол? Кто б мог сказать, что у редактора Алипаша такие приятели? Сам Алимухтар-муаллим никогда в жизни так не танцевал, в мечтах — да, в мечтах, разумеется, он повидал всяческих красоток, но никогда в жизни не доводилось ему танцевать с такой вот игривой молодницей, и Алимухтар-муаллим прекрасно понимал, что потанцевать с такой девушкой ему уже никогда не доведется... И это было очень, очень грустно...

Девушка, не переставая улыбаться, наконец-то направилась к своему столику, и Алипаша схватил Селима Сурею за руку:

— Есть тост!

Поэт сделал жест рукой, кларнетист тотчас опустил инструмент, оркестр умолк, Алипаша и Селим Сурея вернулись за стол, и Алипаша произнес прекрасный тост в честь женщин.

За столом у них было всего две женщины; одна профессор литературы, Алипаша знал ее, хотя и не был с нею знаком (это была очень строгая, серьезная женщина, она ни с кем не разговаривала и время от времени бросала укоризненные взгляды на танцующих), другую женщину, сидевшую с ними, Алипаша не знал; все мужчины с громкими возгласами поднялись из-за стола, и девушка, сидевшая за столиком с тремя мужчинами, бросила на Алипашу мимолетный обжигающий взгляд.

Но все-таки как прекрасен этот падающий за окном снег!..

Селим Сурея, разумеется, прекрасно относился к женскому полу, но после тоста Алипаша ему вспомнилась сестра, которая этим летом придет из района поступать в институт, и настроение у него упало; эта сестра была седьмая (поэт плохо знал их имена и, думая о сестрах, мысленно нумеровал их), после нее останется только одна — восьмая, но у Селима Суреи было такое ощущение, что на восьмой дело не кончится, что, когда подойдут к концу хлопоты с ее поступлением в институт, отец приведет еще восемь огромных девиц, и они тоже окажутся его сестрами...

Но институт — это еще полбеды, сейчас сестры начали выходить замуж, и свадьба каждой из них стоила ему гонорара за очередную книгу; слава богу, что девушки выросли такие огромные, и, хоть они были не кто-нибудь, а сестры Селина Сурен, подыскать им мужей было не так-то просто...

Алипаша почувствовал аппетит, какого, кажется, не ощущал никогда в жизни; он расстегнул пуговицу на воротнике, всегда застегнутую и всегда давившую на шею, пиджак у него был распахнут, и все было прекрасно, и музыка была прекрасная, и друзья у него были

прекрасные, и прекрасным было ощущение внутренней свободы, раскованности, от которой он уже давно отвык, не считал себя к этому способным; он оказался чуть ли не тамадой за этим столом, и все это ласкало ему душу, и вместе с тем... чего-то не хватало...

Чего же не хватало?

Директор Алимухтар-муаллим поднялся с места, и, несколько смущаясь, стал говорить о всеобщем уважении, которым пользуется Малик Хашим, об одном из самых близких друзей Малика — Алипаше — прекрасном работнике, аккуратном, ответственном человеке, добросовестно выполняющем свои обязанности и прекрасно справляющемся с порученным ему делом и никогда не опаздывающем на службу; но странное дело — похвала директора Алимухтара не произвела на Алипашу ни малейшего впечатления.

Оркестранты уже заметили, что поэт Селим Сурея пребывает в задумчивости, а им было известно, что, когда поэт вот так задумывается, ему доставляет особое удовольствие армянская музыка, и поэтому стали играть мелодии Саята Новы, и Селим Сурея тотчас же оценил это и, обернувшись к оркестрантам, кивнул, улыбаясь, мол, спасибо, ребята, потом поднял правую руку и показал Алипаше большой палец — то есть отлично!..

Алипаша улыбнулся поэту и кивнул в ответ, что, мол, действительно отлично.

Вообще-то Алипаша не очень разбирался в музыке, но он знал, что играют Саят Нову, наизусть его стихов он не помнил, но сейчас ему вдруг пришла на ум строка из стихотворения Саят Новы, написанного по-азербайджански:

Сказала роза соловью: «Не прилетай в мой сад...»

А все-таки чего-то не хватает...

И тут произошло нечто совершенно невероятное: в ресторанный зал вошла Зулейха, шуба и платок на ней покрыты были снегом; она вошла и тотчас же в этом огромном зале среди множества людей увидела своего мужа.

Гардеробщик, взволнованно жестикулируя, шел за Зулейхой.

— Ну, сестра, нельзя же так! Ведь сказано: в пальто входить не разрешается!

Не обращая на гардеробщика ни малейшего внимания, словно на жужжащую муху, Зулейха решительным шагом пересекла зал и подошла к столу, за которым сидел Алипаша с компанией; гардеробщик следовал за пей, размахивал руками, громко выражая негодование; само собой разумеется, что все сидевшие в ресторане удивленно смотрели на них.

Оркестр умолк.

Сперва Алипаша подумал, что ему привиделась Зулейха, но ощущение это длилось лишь мгновение; нет, это не привидение, ей-

богу, не привидение, это Зулейха, она действительно пришла сюда, в ресторан, и Алипаша с птичьей лёгкостью вспорхнул с места.

— Как хорошо, что ты пришла! Как это хорошо, если б ты знала!.. — Алипаша вышел из-за стола и остановился перед женой. — Знаешь ли ты, как прекрасно поступила?! Нет, это чудесно, что ты пришла! — повторял Алипаша. — Снимай шубу, садись! — И, не дав пораженной Зулейхе произнести ни слова, Алипаша поднял руку и радостно провозгласил: — Дорогие друзья! Это моя подруга жизни! Зулейха-ханум!

Сидевшие за столом, ничего не понимая, уже некоторое время удивленно поглядывали то на женщину в покрытой снегом шубе, то на Алипашу, порхавшего радостной пичужкой, и сейчас, когда наконец все выяснилось, когда оказалось, что это жена Алипаша, которой он уже торопливо расстегивал холодные пуговицы на шубе, все сразу оживились, мужчины вскочили...

— Добро пожаловать! — сказал Малик, приветствуя жену Алипаша. — Рады вас видеть!

Поэт Селим Сурея подошел к жене Алипаша и пожал ей руку.

— Всегда рады видеть вас! Милости просим!

— Просим!

— Просим!

Алипаша снял с жены мокрую шубу и усыпанную снегом шаль.

— Унеси это! — кивнув на шубу, сказал Селим Сурея гардеробщику, и тот, улыбаясь, уже без всякого раздражения принял у Алипаша шубу и шаль.

— Пожалуйста, проходите сюда! — пригласила Зулейху женщина-профессор, впервые за все это время открыв рот. — Садитесь со мной.

— Нет! — сказал Алипаша. — Прошу простить нас, но Зулейха-ханум будет сидеть со мной!

Никогда в жизни не видела Зулейха Алипашу таким оживленным, таким веселым, и вообще богатым стол, музыка, праздничная обстановка — все это сразу так захватило Зулейху, что она совершенно забыла, зачем пришла, и не зная, что сказать, только растерянно улыбалась, и щеки ее — то ли с мороза, то ли от того, что угодила в такую компанию, — горели огнем.

— Друзья, хочу сказать! — громко произнес поэт Селим Сурея, глядя на Алипашу и его жену.

— Нет! — прервал его Алипаша. — Нет! Я сам хочу сказать! Этот тост должен произнести я! — И, не ожидая согласия поэта, сказал: — Дорогие друзья! У меня прекраснейшая семья! Лучшая семья в мире! Я говорю это от чистого сердца! Зулейха-ханум — лучшая жена во всем мире!

Алипаша произнес все это с таким чувством, и слова его прозвучали в этот снежный холодный вечер так искренне и тепло, что

женщина-профессор, не в силах сдержаться, вынула из сумочки маленький белый платок и вытерла слезы.

— Будьте всегда счастливы! — сказала она с чувством.

Когда Зулейха вошла в зал в своей мокрой шубе и редактор Алипаша сказал, что это его жена, сердце у Алимухтара-муаллима забило, ожгло, как бы выйдя из привычного ритма, потому что Алимухтар-муаллим сперва подумай — да и разгневанный взгляд Зулейхи красноречиво говорил об этом, — что сейчас между мужем и женой начнется ссора; нет, нет, Алимухтар-муаллим вовсе не был злым недоброжелателем, но сердце в нем все же вздымало, оживилось, но потом это оживление прошло, сердце стало биться ровнее, и человеком вновь овладело уныние.

Селим Сурея поднял руку, оркестранты, на расстоянии читавшие его мысли и угадывавшие желания, заиграли «Мелодию невесты», кларнетист вышел к микрофону, и полилась мелодия столь трогательная, что, казалось, она была продолжением тоста Алипаша.

Алипаша встал, поднял руки и, притопнув ногами перед Зулейхой, пригласил ее танцевать, и все вокруг стали хлопать в ладоши, прося Зулейху потанцевать с мужем, а Зулейха поняла, что надо встать и станцевать, потому что Алипаша все равно не сядет, потому что она первый раз в жизни видела Алипашу таким радостным, таким счастливым, и Зулейха встала из-за стола, и они — впереди Зулейха, а за ней Алипаша — вышли на танцевальную площадку и стали танцевать, не отрывая глаз друг от друга.

Глядя в лицо Алипаше и видя радость, которой лучились его глаза, Зулейха постепенно приходила в себя, и искусственная разгоряченность, которой так и полыхало ее лицо, по мере того как она успокаивалась, сменялась естественным теплом, и тепло это проникало в глубь ее существа...

— А ты хорошо танцуешь... — сказала она.

— Я? — спросил Алипаша. — Я нет... Вот ты действительно прекрасно танцуешь...

— Ах, это я умела, когда была девушкой, теперь отвыкла...

— Зулейха...

— Что?

— Зулейха...

— Ну что?

— Родная моя!

— Господи! Да ты что?!

— Ничего... Без тебя мне нет жизни!..

— Да хватит, смотрят же...

— Пускай смотрят. Я тебя сейчас поцелую!

— Пойдем, — сказала Зулейха, испугавшись, что Алипаша и правда поцелует ее при всем народе.

— Нет, еще потанцуем...

Сказала роза соловью: «Не прилетай в мой сад...» — Зулейха...

— Ну что?

— Прости меня, Зулейха...

— За что простить?

— Ни за что... Вообще... Вообще, прости меня, Зулейха...

Зулейха увидела, как влажно заблестели глаза мужа, подумала, что и сама сейчас расплачется, но, как всегда, сумела взять себя в руки, улыбнулась и прошептала:

— Кому мы нужны без тебя? Дай бог тебе здоровья, родной...

И в «Мелодии невесты», исполняемой оркестром в ресторане «Здоровье», стали вдруг слышны отзвуки свадебного веселья, которым много лет тому назад полнилась маленькая двухкомнатная квартирка; парень, только что окончивший университет, полный надежд и желаний, женился на очень красивой девушке...

Шли дни, месяцы, годы; те чувства, которые владели ими тогда, в день свадьбы, справлявшейся в маленькой двухкомнатной квартирке, сменяли другие волнения а заботы, но чувства эти, спасаясь от повседневных забот и дум, затаившись в сокровенных глубинах души, не высохли, не окаменели, и сейчас, глядя в глаза друг другу, Зулейха и Алипаша взглядами своими проникали в эту глубину, выявляя тайное, сокровенное...

— Дети беспокоиться будут... — сказала Зулейха

— Давай приведем их сюда!

— Что ты! Холодно, пусть дома сидят.

— Потому что одежды хорошей нет, да?

— Почему это нет одежды? Просто холодно.

— Хорошо, Зулейха Как скажешь, так и сделаем...

Сердце у Алипаша было переполнено, он столько должен был сказать Зулейхе, но тут появилась женщина-профессор, подрагивая полным телом, она стала танцевать перед ними.

Селим Сурея тоже присоединился к ним, потом и Малик, забыв, что занимает ответственную должность, пошел танцевать, потом и все остальные, сидевшие за столом, присоединились к ним, и за длинным столом остался лишь директор Алимухтар-муаллим; уставившись на танцующих, он курил сигарету, глубокими затяжками загоняя в легкие дым.

Когда, закончив танцевать, все вернулись за стол. Селим Сурея велел принести для Зулейхи-ханум чистый прибор; в одну минуту появился шашлык, румяные, фаршированные орехами цыплята, и Алипаша, ухаживая за Зулейхой, сам, своим ножом стал нарезать ей еду.

— Ты его знаешь? — тихонько спросил он.

— Нет. А кто это?

— По телевизору не видела?
 — Да... Вроде... — Зулейха постепенно, одного за другим узнавала этих людей, она видела их по телевизору, когда было время, даже читала кое-что из их произведений.

— Зулейха...

— Что?

— Зулейха, за этот стол платить буду я...

Рука Зулейхи, которой она всадила вилку в поджаренную куриную грудку, замерла на мгновение, потом Зулейха взглянула на Алипашу, потом на сидевших за столом людей и ничего не сказала.

Сказала роза соловью: «Не прилетай в мой сад...»

— Видишь ту девушку? — прошептал Алипаша, в плотную приблизив губы к уху Зулейхи.

— Какую девушку?

— Вон за тем столом... С тремя мужчинами...

— Ага, вижу... — прошептала Зулейха.

— Я только что танцевал с ней!

— Не может быть!.. — Зулейха с интересом взглянула на девушку, красивую, одетую по последней моде, и прошептала, усмехнувшись:

— Это правда?

— Ага! — Алипаша тоже засмеялся, ему было приятно, что Зулейха улыбается, ей нравится, что ее муж танцевал с такой красавицей, она вроде бы даже гордится этим...

Волосы Зулейхи касались его лба, его виска, щеки; легкость этих каштановых волос, нежность их прикосновения Алипаша ощущал не только кожей, а всем существом, нежность потоком вливалась ему в кровь, затопляла его...

Каштановые волосы Зулейхи пахли как-то особенно, аромат этих волос словно бы доносился из их далекого прошлого; он забылся, выпал из памяти, оставшись там, за сменявшими друг друга днями, месяцами, годами, и Алипаша только сейчас вновь ощутил и узнал его; как же могло случиться, что он забыл аромат этих волос, интересно, знает ли сейчас сама Зулейха, как прекрасно пахнут ее волосы?

Поднялась женщина-профессор:

— Теперь мне слово!

Но прежде чем женщина-профессор произнесла свой тост, Алипаша произнес:

— Зулейха...

— Что?

— Деньги за этот банкет плачу я...

— И очень хорошо делаешь... — сказала Зулейха.

Глава пятая

Счет был на шестьсот три рубля.

Под взглядом Мурсала, тарашившего на него глаза из-за буфетной стойки, Алипаша выложил официанту ровно шестьсот рублей и взглянул на Зулейху.

Зулейха открыла сумочку, достала десятку и подала официанту. Тот полез было за сдачей, но Зулейха сказала:

— Не надо!

Когда, расцеловавшись со всеми присутствующими, в том числе с женщиной-профессором, Алипаша вместе с Зудейхой уже собирались выйти из ресторана, к ним подошел директор издательства Алимухтармуаллим.

— Всю мою жизнь... — проговорил он. — Всю мою жизнь... — Губы у него дрогнули, к горлу подступили слезы, и закончить он не смог.

А бедный Мурсал все еще тарашил глаза, не в силах понять происходящее.

Кларнетист отдыхал, несколько расслабившись после ухода Селима Суреи, оркестр негромко наигрывал мелодию «Любимая в гости к нам придет...»

Глава шестая и последняя

Они шли по совершенно пустой, затихшей улице, утопая в скрипевшем под ногами снегу; девочкам позвонили из автомата, чтоб не беспокоились, а сами решили прогуляться.

— Сказала роза соловью: «Не прилетай в мой сад...»

— Что это ты все про соловьев да про розы?

— Тебе не холодно, Зулейха?..

— В шубе-то? Вот тебе, должно быть, холодно, пальто тонкое.

— Мне не холодно.

— А ты знаешь, там ведь и наш директор был, забыл показать...

Посмотрела бы...

— Что мне на него смотреть?..

— А все-таки хороший парень Селим Сурея! А?

— У тебя все хорошие...

— И Мурсал?

— Ну, Мурсал, не знаю...

— А что же ты знаешь?

— Я знаю, что самый лучший человек на свете — ты!

— О-о-о! — Алипаша остановился. — Это ты вправду?

— А я когда-нибудь врала?

— Нет... Спасибо тебе, Зулейха...

— Да что с тобой?!

— Нет, ничего... Только... Только знаешь... Ничего...

Глаза у Зулейхи тоже почему-то наполнились слезами, и хотя в темноте лица видно не было, она улыбнулась, взглянув на Алипашу.

Потом Зулейха взяла себя в руки — не дети, в конце концов. Взяла себя в руки и сказала:

— Тебе нужно купить новое пальто! Было уже за полночь.

...Потом постепенно начнет светать, И станет виден пушистый, белый-пребелый снег, окутавший все вокруг...

1985, январь

ПОСЛЕДНЕЕ УТРО

Наверно, был июль, или июнь кончался, а может, и август уже начался — он не помнил, вернее, не знал, но в это летнее утро ему было все равно, это не занимало его, потому что думать об этом и вообще о чем бы то ни было у него не было охоты и возможности: в голове стоял какой-то гул, левое ухо болело где-то внутри (сколько уж времени оно так болело... неделю? месяц? или еще дольше? он не помнил и даже не думал об этом...); что-то у него было и с пальцами левой ноги — он не знал, что именно, сколько времени уж не снимал туфель, а пальцы левой ноги болели, но в это летнее утро и гул в голове, и боль в ухе, и боль в пальцах ноги, в сущности, не имели значения, потому что его сжигала нестерпимая жажда; жажда сжигала все его тело от корней волос до кончиков пальцев. Уставившись на большие замки на дверях «Красной гвоздики», он ждал, когда откроется закусовая, и это мучительное нетерпение еще больше распалало его жажду.

В кармане у него было шестьдесят копеек, и в «Красной гвоздике» он на эти деньги купил бы и выпил две бутылки пива, и потом все пришло бы в норму, как бывало каждый день; он и сегодня нашел бы кого-нибудь — неважно, знакомого или нет, главное, чтобы это был кто-то ему под стать, а может быть, их соберется несколько, и они либо пойдут к магазину «Мебель», станут таскать грузы, либо кто-то где-то найдет приятеля, у которого (а это самое трудное) можно будет добыть деньги на бутылку водки, и дрожащими (как само их тело, чувства и ощущения), вернее, трясущимися от холодной страсти руками они разольют эту бутылку водки по найденным где-то стаканам или банкам, в крайнем случае по подобранным на улицах, во дворах пустым консервным банкам и выпьют; они не станут пить водку прямо из бутылки, потому что тогда кому-то могло бы достаться больше, а кому-то — меньше; деньги они бы друг другу доверили, даже непечатую бутылку водки или сладкого вина временно доверили бы друг другу, но в момент распития водки или сладкого вина никогда, ни за что не доверяли друг другу и поэтому непременно, раздобыв что-либо, должны были разлить водку поровну у всех на глазах. Если бы во всем Баку, даже на всем Абшероне их было бы всего двое, они нашли бы друг друга: эти люди, не зная друг друга, не сговариваясь, всегда шли друг другу навстречу, находили друг друга, как два магнита, притягивали друг друга, и ни дальность расстояния, ни состояние полного опьянения или неспособность узнать кого-либо или что-либо не влияли на силу магнетизма в таких встречах; напротив, к примеру, если бы один, напившись в Баку, сел в электричку и случайно

сошел в Бузовнах, или в Шувелянах, или в Маштагах — неважно, и там был бы хоть один такой, как он, они непременно нашли бы друг друга. После этой бутылки водки, или красного вина, или какой-то другой добытой выпивки они часто друг друга теряли, каждый в одиночку отправлялся искать новую выпивку, и эти поиски в одиночку часто приводили к закусочным, пивным барам в укромных уголках города, и они допивали остатки пива из бесхозных кружек на опустевших столах, а иногда и в опустевших водочных, винных бутылках на донышке оставалась что-то, и эти остатки они допивали; порой кому-то становилось их жаль, и он угощал их ста граммами водки, или стаканом вина, или полной кружкой пива; потом снова допивались остатки, и так вот они обходили по одному столы до тех пор, пока уборщицы не выгоняли их на улицу из бара или закусочной.

Прежде, входя в рестораны, бары, закусочные, он искал знакомых, подходил к ним, просил угостить, говорил о превратностях своей судьбы, о тяжелой жизни, выдумывал и рассказывал какие-нибудь страшные случаи, якобы происшедшие с женой, дочерью, плакал; порой ему удавалось разжалобить знакомых и, выслушавшая их упреки, нотации, он выпивал сто граммов, выпрашивал еще сто граммов; но потом понемногу исчезла разница между знакомыми и незнакомыми, у знакомых и незнакомых он просил выпивки, а потом стал допивать остатки.

Где он нашел шестьдесят копеек, что были у него в кармане, он не помнил, и вообще вчерашний день не помнился ему; в сером окутавшем мозг тумане он вспомнил лишь то, что, кажется, в районе Баилова (а может быть, он в Локбатане оказался?.. бог знает...) в каком-то дворе он обнимал и целовал какого-то мертвеца в гробу, плакал; как он оказался в этом дворе, кто был этот мертвец в гробу, он не знал, но помнил, что в том самом дворе на поминках выпил полный стакан водки, дальнейшего он не помнил и, в сущности, в это летнее утро ничего вспоминать не хотел, потому что всем существом своим ожидал открытия «Красной гвоздики». Глядя на большие замки на дверях «Красной гвоздики», он вспоминал удила в пасти коня и ощущал толстые железяки этих запертых замков как удила между своими зубами и непроизвольно скалил зубы.

Внезапно все его существо охватил страх — он испугался, что вдруг потерял шестьдесят копеек, и в это летнее утро в десятый или пятнадцатый раз сунул руку в обтрепанный карман грязного пиджака и, вынув шестьдесят копеек, собрал медные, а также серебряные монеты в левую ладонь и пальцем правой руки начал внимательно пересчитывать деньги; ногти у него отросли, под ними чернела грязь, и, когда он пересчитывал деньги, мухи садились на его лицо, на руки. То и дело отгоняя мух, он наконец-то пересчитал деньги: было ровно шестьдесят копеек. Он снова ссыпал монеты в ветхий карман грязного

пиджака и уже больше не обращал внимания на мух, мухи ползали по его лбу, носу, ушам, губам; мух он отгонял, только когда считал деньги, словно боялся, что мухи разделят с ним шестьдесят копеек...

Когда он пришел и сел на углу тротуара напротив «Красной гвоздики», солнце еще не всходило, а горизонт был ярко-красным, но ему был совершенно безразличен ярко-красный горизонт: он вперил глаза в запертую дверь «Красной гвоздики» и боялся моргнуть, не то буфетчик Абдулла придет, отопрет большие замки, а он и не увидит.

Улица была абсолютно пуста, и на этой абсолютно пустой улице только он, съевшись, сидел на краю тротуара, да еще воробы на растущих вдоль улицы зеленых акациях, тутовых деревьях, чинарах подняли такой гвалт, что чирикание их наполнило всю улицу, и это воробьиное чирикание как будто хотело напомнить ему о рассветах минувших дней, об оставшейся в прошлом и теперь, пожалуй, совсем забытой жизни, но это милое воробьиное чирикание через несколько мгновений заглохло среди гула в его голове. Прошло некоторое время, изредка кто-нибудь выходил из домов, дворов, торопливо проходил мимо; никто не обращал на него внимания; люди, с раннего утра сидящие перед «Красной гвоздикой», устремив взгляд на запертые большие замки на дверях закусочной, как видно, никого не интересовали; во всяком случае, никто, проходя, не задерживал шаг, как будто он тоже был чем-то вроде камня или асфальта, а кто взглядывал на него, тот, метнув мимолетный взгляд, проходил, и в мимолетных взглядах на мгновение мелькало отвращение, брезгливость. Он привык уже к этому выражению в обращенных на него мимолетных взглядах, это не производило на него впечатления, как будто так и должно быть; он не видел в этом ничего оскорбительного, а вообще на свете не осталось для него ничего оскорбительного.

В верхнем конце улицы показалась дворничиха, надевшая поверх платья желтый жилет, как у железнодорожников, и, подметая улицу, медленно стала продвигаться вниз; потом первый троллейбус прошел по улице, машин становилось больше; было лето, и проезжавшие машины его не беспокоили, потому что улицы были сухие; зимой, осенью падал мокрый снег, лил дождь, и, когда он вот так же приходил и усаживался перед «Красной гвоздикой» или какой-нибудь другой закусочной, машины окатывали его грязью.

Он опять вздрогнул, сунул руку в карман пиджака, снова собрал в горсть мелочь и начал ее пересчитывать. Заведующий и буфетчик «Красной гвоздики» Абдулла не был особенно деликатным человеком, алкоголиков он всех знал и требовал, чтобы они показывали деньги перед выпивкой, у кого денег не оказывалось, тех выталкивал из закусочной, не разрешил и допивать остатки в стаканах и кружках других людей, на глазах у алкоголиков сливал эти остатки в раковину рядом с буфетом; а иногда — раз в месяц, порой раз в два месяца —

вручал одному из них ведро, и велел мокрой тряпкой начисто протирать закусочную, протирать все внутри буфета, в маленькой кухне сзади, в подвале, где были собраны напитки и продукты, в награду давал сто граммов водки, полкружки пива и выгонял. Буфетчик Абдулла придерживался твердого мнения, что алкоголики — существа нахальные: если быть добрее с ними, они садятся на голову.

Дворничиха, подметая улицу, мало-помалу приближалась к нему, но это его не беспокоило, потому что он знал как всех буфетчиков, так и всех дворничих на улицах, где находились закусочные, подобные «Красной гвоздике», знал уборщиц, знал, какая из них скандальная, какая сердобольная, и женщины, которая двигалась в его сторону, он не боялся.

Дворничиха, подметая улицу, добралась до него и, как всегда, не удержавшись, запричитала:

— Опять припелся, несчастный, сын несчастного? Опять явился? Ах ты сирота! Сестры твои кровью плачут! Бедолага ты, ну чего припелся? Тебя ведь тоже, наверное, кто-то любит, не бездомный же ты пес, человек ведь, тебя тоже мать родила. Несчастный ты, куда этой женщине голову приклонить, что родила тебя в черный день? Как же ты себя до такого состояния довел? Собака ты, что ли? Ведь ты же человек, не пес же ты?! — Женщина словно говорила сама с собой. — Хуже моей, что ли, была у тебя жизнь? Труднее, чем у меня? Я вот с метлой в руке хлеб себе добываю, а ты, дитя несчастной, у тебя ведь, бог знает, чего только не было, почему же ты довел себя до такого состояния, не пес же ты! — Глядя на свою пышную, как ежевичный куст, метлу, дворничиха пригорюнилась и вдруг разразилась проклятиями: — Да перевернется в гробу тот, кто выдумал эту водку!.. Да покарает аллах всех на свете, кто Абдулла зовется!.. Если ты умрешь, ей-богу, и то лучше будет, несчастный! Твоя мать, твои сестры от срама избавятся... Все равно ты и заживо мертвый... Может, и жена, и дети есть у тебя... Вот кто несчастней всех!.. Да найдет аллах черный день на таких, как Абдулла!..

Как будто буфетчик Абдулла насильно поил людей водкой...

Он не обращал внимания на слова дворничихи, собственно, он и не слышал этих слов. Как сидел, съездившись, на тротуаре, так и оставался сидеть, устремив глаза на большие замки на дверях «Красной гвоздики», и по-прежнему железяки больших замков ощущал удилами у себя в зубах.

Причитая, проклиная, вода метлой из стороны в сторону, дворничиха время от времени касалась концом метлы его замызганных, вчера еще вымоченных какой-то дрянью, а теперь высохших брюк, дырявых башмаков со сбитыми подметками, но он не обращал на это внимания, и вообще сейчас ничто не могло бы

сдвинуть его с места; только когда откроются большие замки на дверях «Красной гвоздики», его ноги тоже обретут силу, он поднимется, войдет в закусочную, вынет из кармана шестьдесят копеек, протянет буфетчику Абдулле, а буфетчик Абдулла, чтобы не дотронуться до его грязной руки, покажет на пустую тарелку на прилавке буфета, мол, деньги клади сюда, потом, выбрав из пивных бутылок самые безобразные, с пропускающим воздух горлышком или надтреснутые, словом, такие, каких не стал бы подавать приличным клиентам, не скрывая брезгливости, вернее, откровенно демонстрируя отвращение, опять же знаком укажет: бери! Его сейчас могли поднять с тротуара еще две причины: либо, увидев милиционера, он встал бы и спрятался где-нибудь, чтобы как тунеядца его не забрали и не направили насильственно на работу или на принудительное лечение (трижды его направляли на принудительное лечение, но потом он снова начинал пить); либо если бы он увидел, что идет такой же, как он сам, и тогда он встал бы и убежал, потому что могли посягнуть на его шестьдесят копеек. Когда с раннего утра с тридцатью или шестьдесятю копейками в кармане он так вот сидел и ждал открытия закусочной, он был жесток к себе подобным: прятался от них, не подпускал близко, и это было похоже на то, как оголодавший зверь находит добычу и всеми улловками, зубами, когтями оберегает эту добычу от других зверей, не подпуская никого, кто попытался бы урвать у него кусок.

Когда дворничиха, подметая мостовую, снова махнула пушистой метлой в сторону тротуара, скомканная в клубок, выброшенная на улицу газета, катясь, как легкий мячик, остановилась у его ног.

Отведя глаза от дверей «Красной гвоздики», он посмотрел на эту газету; он знал, что в таких скомканных и выброшенных газетах обычно ничего не бывает, но в это летнее утро он все же протянул руку, поднял газету с асфальта, стал медленно разворачивать этот клубок. Внутри пожелтевшей, выцветшей старой газеты ничего не было.

Он хотел отбросить к метле только что развернутую газету, в которой не нашел ничего интересного, но тут ровно на одно мгновение взгляд его коснулся мятой-перемятой фотографии в этой старой-престарой газете, он хотел отвести взгляд, но не отвел, стал смотреть, и понемногу гул в голове затих, пульс в висках забился сильнее, и все его тело покрылось холодным потом, потому что ему показалось, что школьник на мятой-перемятой фотографии — он, он сам.

На фотографии в газете трое учащихся сидели вместе в школьной библиотеке и готовились к экзаменам — одна девушка и двое парней, и сквозь серый туман ему смутно припомнилось, что, когда он учился в школе, как-то в газете вышел похожий снимок; и он посмотрел на парня на фотографии и сквозь окаменелые толстые, тяжелые слои в мозгу представил себе, что это, наверное, та самая газета и один из

этих школьников он сам.

Школьные годы, отрочество, пора юности до этого момента, когда он взглянул на снимок в мятой-перемятой газете, оставались в совершенно забытом, никогда не вспоминаемом прошлом, и это прошлое словно застыло среди толстых и тонких слоев льда, и теперь, по мере того, как оно начинало шевелиться, слои льда трескались, ломались, крушились.

Он так давно уже остыл душой и свыкся с оупляющим чувством усталости и болезни, что теперь, пробудившись в его сердце, забытое волнение внезапно вызвало озноб во всем теле, и в этом ознобе, странное дело, были и холод, и тепло, и его державшие старую газету грязные пальцы, грязные руки задрожали, словно этот холодный озноб вместе с горячей дрожью перекрыли пожирившую его, все его существо привычную жажду, и он, вздрогнув, посмотрел на стайку воробьев, усевшихся на дерево акации несколько в стороне, услышал беспокойное чириканье птиц, потом вдруг уловил легчайший запах и в этом запахе почувствовал что-то давно забытое, родное, что-то близкое; этот запах что-то напоминал ему, но что именно, он не знал, не узнавал этот запах, а сосредоточить внимание, подумать, вспомнить, откуда этот запах, что это — такое родное, близкое, — у него не было сил.

Конечно, могло быть и так, что это вовсе не та давняя, не та прекрасная газета, и этот парень — не он, а совсем другой человек, могло быть, что воспоминание его обмануло или у него опять начались галлюцинации, но он, собрав все силы, попытался прогнать хотя бы эти сомнения, потому что вдруг в душе его возникло желание отвернуться от дверей «Красной гвоздики», захотелось еще немного послушать доносившееся с акации чириканье; и в том, что он этого захотел, было что-то светлое, теплое, и это ощущение перекрывало тяжелый жар болезненно пылающего, требующего выпивки тела.

Как бы машинально он бросил мимолетный взгляд на двери «Красной гвоздики», потом снова взглянул в сторону стайки чирикающих, шумливых воробьев в ветвях акации, потом хотел снова посмотреть на этот мятый снимок в газете, но вдруг узнал тот запах, который коснулся его...

Дворничиха подошла, взяла у него из рук старую скомканную газету и бросила под свою метлу.

— Что может быть в этой старой газете, несчастный? Деньги там найдешь? А если и найдешь, что будет? Пойдешь, еще больше напьешься, несчастный, сын несчастного!.. А потом что? Однажды так и помрешь на улице... Кто узнает о тебе? Кто заплачет по тебе? Кто понесет, предаст тебя сырой земле, бедняга?..

Он уже не слышал, что говорила дворничиха, не слышал и чириканье воробьев, потому что этот запах повлек его в забытое,

оставшееся в страшном далеке прошлое, и порой в мозгу его, как фотовспышка, что-то на мгновение загоралось и гасло, и в эти мгновения он, как на фотографии, видел четкие картины прошлого...

...в развернутых пеленках дочурка его лежит на спине и колотит ножками по столу...

...Сафура гладит только что выстиранные и высушенные пеленки...

...потом, забрав у Сафуры утюг, он гладит распушонки, крохотные крохотки своей пяти- или шестимесячной дочки...

...Сафура, сидя на скамейке, кормит грудью Гюльзар, в открытое окно падают солнечные лучи, скользят светлые блики на гладкой груди Сафуры...

...он гладит маленькую ситцевую панамку Гюльзар и чувствует запах этой маленькой панамки...

...запах маленькой панамки...

...запах маленькой панамки...

И имя Сафуры, и имя Гюльзар уже сколько времени — месяц? год? — как стерлись из его памяти, вернее, он вообще ничего не знал о своей семье, потому что у него не было времени вспомнить что-либо, потому что страсть к выпивке, жажда выпивки съедали все его время, забирали силу, о чем-то вспомнить, помнить у него не было сил, и обо всем этом, то есть о времени, о памяти, думать у него тоже не было ни сил, ни охоты. И Сафура, и Гюльзар, как и его белоснежные хирургический халат и шапочка, остались в далеком и уже совершенно чужом прошлом. Правда, прежде, когда он ушел из дому, когда его выгнали с работы, но он еще не болтался по улицам, не допивал остатки на донышках чужих стаканов, кружек, работал где-то охранником и у него была маленькая сторожевая будочка, и все деньги, что попадали в руки, он отдавал за водку и выпивал ее в этой будке и там же валился и засыпал, в те времена недосыгаемое, недостижимое прошлое порой не давало ему покоя, трезвый он мучился, давал себе слово, что пойдет лечиться, не будет больше пить, даже, как в годы отрочества, юности, строил планы на будущее, в мыслях снова водил Гюльзар гулять, они ходили в кино, в театры; в мыслях он снова спал на одной кровати с Сафурой, но потом откуда-то снова находилась водка, и планы, мечты о новом будущем бледнели, блекли.

Дворничиха подмела улицу, ушла, и желтый ситцевый жилет на ее удаляющейся спине как будто вещал об осеннем листопаде, который скоро засыплет весь мир.

Он опять искоса взглянул на двери «Красной гвоздики», потом уставился взглядом на свои руки, словно газета все еще была у него в руках, и опять сердце его сжалось от страха, что он потеряет шестьдесят копеек, что они исчезли из кармана, но на сей раз он не вынул из кармана и не пересчитал деньги: оставил себя в этой тревоге,

как бы мстя самому себе.

С чего это все началось? Он никогда не мог этого вспомнить, даже когда работал хирургом и скрывал от других, что выпивает, и опрыскивал себя духами, чтобы от него не пахло спиртным, а потом он уже не мог скрывать, что пьет; а потом и скрывать не хотел, стал жаловаться на судьбу, жаловаться на жизнь, многословно, со слезами рассказывать знакомым и незнакомым, что он не виноват, так сложилась жизнь, и знакомые, приятели уже пытались поскорее найти какой-нибудь предлог, чтобы отделаться от него; завидев его, сворачивали с дороги, прятались; потом у него уже не оставалось ни времени, ни охоты подолгу разговаривать, он стал просить у знакомых, у приятелей в долг сначала пять рублей, потом три рубля, потом рубль, полтинник, двадцать копеек, потом уже не говорил, что это «в долг», а просто просил денег; на работе сначала был отстранен от должности хирурга, в конце концов работал фельдшером, потом был совсем уволен и нашел какую-то сторожевую будку; давал зарок, снова пил, лечился, снова пил, ушел из дому... Сафура, несмотря на упреки близких, родни («Ну что ты нянчишься с алкоголиком? Разве это муж? Разве это отец вашему ребенку? Разбил вам жизнь, на что он тебе? Оставь его, он сам выбрал эту долю, пусть сдохнет на улице как собака!...»), разыскала его, нашла., он снова ушел, где-то пропадал, и Сафура опять его нашла, вернула домой, он опять ушел, и больше Сафура его не искала и не возвращала.

Он так и сидел на тротуаре, глядя на свою почерневшую от загара и грязи руку, и голова его снова начинала гудеть, воробьиное чириканье снова отдалилось и заглохло, и пронизавшая все его тело жажда снова ожгла его, и ему смутно захотелось хоть как-то собрать силы, постараться, чтобы воробьиное чириканье не прекращалось, не смотреть в сторону дверей «Красной гвоздики», не бояться потерять шестьдесят копеек, но он не сумел сдержаться, посмотрел на все еще закрытые двери «Красной гвоздики», два раза судорожно глотнул слюну, которая то и дело выступала в уголках губ: его гортань, рот, как и все нутро, как мозг, томилась и требовали пива.

Когда дворничиха кончила работу и ушла, на асфальте мостовой, на тротуаре остался след пушистой метлы: метла прорисовала в мелкой пыли на асфальте узкие и частые линии, и в этих линиях на чистой улице было что-то похожее на чириканье воробьиных стаяк.

Он снова взглянул на большие замки, потом на следы метлы на тротуаре и вдруг вспомнил одну встречу. Прежде это часто приходило ему на ум, но уже давно совершенно забылось, и, несмотря на гул в голове, на жар в теле, на боль в ухе и пальцах ноги, он ясно вспомнил эту случайную встречу, женский взгляд и даже ощутил то давнее чувство, возникшее от этого взгляда. Он учился в седьмом или восьмом классе, было лето, отец поехал в командировку в Нахичевань

и его взял с собой, и он увидел Илан-даг — Змеиную гору; потом они возвратились в Баку, но короткая поездка что-то в нем переменяла: он как будто по-новому смотрел и на улицы Баку, где родился и вырос, и на хорошо знакомых людей, и на своих товарищей, и ему все казалось, что он накануне чего-то прекрасного; чего именно, он не знал, но чувство кануна согревало его сердце, словно внутри его дул весенний ветерок, ласкающий свеженькие ивовые листочки; и в один из таких дней, когда он шел к товарищу, жившему в нагорной части Баку, он впервые в жизни почувствовал на себе вороватый взгляд проходившей по улице молодой девушки; девушка была года на два, на три старше его, белоснежная кофта без рукавов плотно облегла ее полное и здоровое тело, как будто тело девушки, ее высокая грудь стремились разорвать белоснежную безрукавку и показать себя; у девушки было смуглое лицо и совершенно черные глаза, и эти сверкающие скрытой страстью и любопытством черные глаза бросили на него вороватый взгляд, потом девушка опустила глаза, даже, кажется, слегка покраснела, прошла мимо, и он больше никогда не видел эту девушку, но блеск тайной страсти и любопытства в ее вороватом взгляде, который он впервые почувствовал на себе, врезался ему в память; даже после окончания института он вспоминал эту девушку, снова видел ее взгляд, и всегда это вызывало особое настроение, жизнерадостное возбуждение.

Глядя на следы метлы на асфальте, он внезапно вспомнил этот далекий взгляд и снова почувствовал все тот же родной, близкий запах, и его руки, тело снова задрожали, но это не была дрожь нестерпимой жажды — это была дрожь, которую вызвали воспоминания.

По улице стали часто проноситься машины, увеличилось число прохожих, следы метлы на асфальте затаптывались, терялись, и тут появился буфетчик Абдулла; играя связкой ключей в руке, бросил на него мимолетный взгляд, начал по одному отпирать большие замки.

Он не заметил прихода Абдуллы, но слышал лягз открываемых замков и понимал, что Абдулла пришел и открывает двери «Красной гвоздики». Все его тело, все существо его рвалось в «Красную гвоздику», но он не смотрел в сторону Абдуллы, не вставал и не шел к «Красной гвоздикке» и терпел гул в голове, жар в теле, словно опять мстил этим себе самому, и эта тайная месть как будто умножала его силы, давала ему поддержку (а тело пылало, пылало...).

Абдулла, наконец, кончил отпирать замки и перед тем, как войти внутрь, снова бросил в его сторону мимолетный взгляд, сначала решив, что он уснул, даже на мгновение подумал, может, умер, но потом почувствовал, что он и не уснул, и не умер. Абдулла уже двадцать лет как был буфетчиком, видал много таких, как он, имен их не знал, но знал в лицо. За двадцать лет большинство их исчезло, пропало, вместо них пришли новые, они тоже пропали, и снова

пришли новые. Это были существа с продолжительностью жизни в несколько лет, они уходили, на их место приходило новое поколение подобных существ разного возраста. Этот вот алкоголик, что теперь с раннего утра торчит у «Красной гвоздики», появился два-три года назад, прежде он время от времени исчезал, но в последнее время с утра до вечера болтается по окрестностям; говорили, будто раньше он был хорошим хирургом, но буфетчик Абдулла немало повидал бывших хирургов, бывших учителей, бывших спортсменов, бывших бог знает кого, но теперь-то все они были не хирурги, не учителя, не спортсмены, не следователи, а существа одинаковые, одноликие. Буфетчик Абдулла порой с удивлением и не без тайной гордости думал, что среди них есть в прошлом кто угодно, но вот буфетчика нет; бедняга буфетчик с утра до вечера разливает водку по стаканам, так почему же сам он не становится алкоголиком? Это была тайна providения... И вообще то, что у людей столько злобы на буфетчиков, что они смотрели на буфетчиков сверху вниз, Абдулла считал одной из самых больших несправедливостей на свете.

...А тело пылало, пылало... Среди этого пламени, среди раскаляющего голову гула он все же ощущал и тот запах, и родственность, стойкость этого запаха как будто несла в себе какую-то младенческую улыбку, как Гюльзар, когда была малюткой...

Сколько теперь лет Гюльзар? Четырнадцать... нет, пятнадцать... он не мог точно вспомнить, но когда он подумал об этом, то есть подумал о возрасте Гюльзар, родной, близкой, тающей младенческую улыбку запах вдруг пропал, и сердце его сжало чувство стыда, от которого он давно отвык. Чувство стыда на какое-то время перекрыло и жар в теле, и гул в голове, и боль в ухе, и нытье в пальцах ноги: он вспомнил, как последний раз видел Гюльзар.

Воробы стайками, все вместе, вспорхнув, улетели с деревьев, и неожиданность их отлета была схожа с неожиданностью того, как скомканная газета давеча выкатилась из-под метлы и нашла его.

Подняв глаза, он посмотрел вслед стайкам воробьев, воробы исчезли за крышами домов, и вдруг он снова испугался, инстинктивно потянулся рукой к надорванному карману грязного пиджака, но в ту же минуту понял, что нет, это не страх потерять шестьдесят копеек: это страх, что Гюльзар вдруг выйдет ему навстречу, увидит его сидящим вот так на тротуаре, вот так, против «Красной гвоздики».

Впервые за долгое время он испытывал такое сильное чувство стыда.

Последний раз он видел Гюльзар неделю назад. Или месяц назад? Может быть, два месяца назад? Точно вспомнить он не мог, потому что жажда была уже совершенно невыносима, гул в голове окутал серым туманом все воспоминания, пытающиеся воскреснуть, ожить. Во всяком случае, когда он последний раз видел Гюльзар, начиналась весна, деревья были зелены, а может быть, нет, весна еще не началась? Да, да,

кажется, еще была зима, Гюльзар была в пальто, красном пальто.

Нет, это было не пальто; на Гюльзар, кажется, была кофта, красная кофта... он не мог вспомнить точно, но лицо Гюльзар со всеми черточками сейчас явственно встало у него перед глазами, и, несмотря на серый туман в мозгу, он совершенно ясно увидел ужас в глазах Гюльзар.

В тот день, когда он увидел Гюльзар, в полдень он подошел к магазину «Мебель», дождался шофера машины, развозящей мебель, Агаджафара, потом вместе с двумя такими же, как он, перенес четыре пианино — одно они подняли на шестой этаж, еще одно — на четвертый этаж, другие — в каких-то квартирах города на какие-то этажи, а потом Агаджафар заплатил всем троим десятку, а сколько сам он получил с владельцев новых пианино, бог знает, во всяком случае, не меньше двадцати пяти — тридцати рублей с каждого. Это еще было ничего, иногда Агаджафар чувствовал, что ждущие его перед магазином «Мебель» алкоголики совсем плохи, и тогда он им давал не больше пятидесяти копеек на человека; они тащили пианино на десятый этаж, а он с клиента получал за доставку пятьдесят — шестьдесят рублей. Словом, за счет алкоголиков Агаджафар стал весьма состоятельным человеком, летом отправлял семью на отдых в Кислородск, а зимой, сам уйдя в отпуск, ездил к любовнице в Одессу, и ровно месяц они развлекались в прекрасных одесских ресторанах. Работавший кассиром в магазине «Мебель» Абульфат, опустив голову, оглядывал, поднимая очки на лоб, алкоголиков, прислушивался к разговору Агаджафара с ними и говорил:

— Ты настоящий рабовладелец, Агаджафар!

— Что? — говорил Агаджафар и, протянув руку, показывал на стоящих в ожидании его приказа алкоголиков. — Слушай, какие из них рабы? Алкаши они, э, алкаши!..

В тот день на выданные Агаджафаром десять рублей они купили и выпили две бутылки водки, деньги кончились, а тело горело, тело требовало водки, вина, пива. Они расстались, и он шагал, не думая, куда идет — ноги у него были как верные псы, сами привели бы его к какому-нибудь пивному бару, к какой-нибудь закуской, и вдруг он, заворачивая за угол дома, встретился с Гюльзар, столкнулся лицом к лицу с Гюльзар.

Гюльзар была с подругой.

Увидев его, Гюльзар замерла на месте, и подруга тоже; не в силах скрыть любопытство, она смотрела то на него, то на Гюльзар.

Сначала ему хотелось заплакать, какой-то комок застрял у него в горле, хотелось обнять, поцеловать Гюльзар, хотелось хорошенько рассмотреть свою дочку, которую не встречал примерно год, но когда он увидел страх в глазах Гюльзар и любопытство в глазах ее подруги, комок в горле растаял, к жажде выпивки примешалась безумная злоба,

хриплым голосом, дрожащим от жажды и злобы, он, не найдя других слов, спросил:

- Куда ты идешь?
- Гюльзар не ответила.
- Куда ты идешь?
- Отойди, — сказала Гюльзар.
- Не отойду!
- Отойди.

Все его тело пылало жаждой водки, вина, дива, и вдруг он сказал:

— Денег дай, отойду.

Вот тогда в глазах Гюльзар появился ужас и на лице подруги любопытство словно застыло.

— Рубль дай, отойду... Пятьдесят копеек дай!..

С громким рыданием Гюльзар оттолкнула его и убежала, а подруга побежала следом за Гюльзар. Взмахнув рукой, он хотел удержать Гюльзар за край одежды, но не смог ухватить и, потеряв равновесие, упал на тротуар, ударился об асфальт, рассек себе лоб, ощутил текущую со лба кровь на носу, на губах и инстинктивно удивился: если в теле такая жажда, если все тело дрожа дрожит от невыносимого желания выпить, как получается, что кровь у него такая обычная?

Какое-то время он лежал ничком, на тротуаре, кровь, текущая со лба, запеклась, кто-то хотел поднять его за руку, а кто-то хотел оттолкнуть его с дороги, но он на все это не реагировал и ни о чем не думал, и о Гюльзар забыл, даже как будто о водке, вине, пиве забыл, но кто-то из прохожих сказал, что надо бы позвонить в «Скорую помощь», и сквозь окутавший его мозг туман он услышал эти слова, шевельнулся, поднялся и на заплетавшихся ногах пошел прочь...

Буфетчик Абдулла время от времени удивленно выглядывал из «Красной гвоздики», пристально смотрел в его сторону и снова принимался за свое дело: вымыл пивные кружки, аккуратно выстроил их перед собой, из большого холодильника, стоявшего у стены, достал помидоры, огурцы, длинным, острым ножом нарезал и уложил в тарелку, поставил на прилавок оставшиеся со вчерашнего дня холодную отварную курицу, яйца, колбасу и опять невольно взглянул на противоположную сторону тротуара. Буфетчик Абдулла удивился, почему этот выпивоха, с раннего утра слонявшийся у дверей «Красной гвоздики», не встает, не входит и не просит пива? Буфетчик Абдулла был опытный человек и знал, что дело не в деньгах — у них частенько не бывает денег, и тогда, как нищие, они приходят и выклянчивают пиво; причина была в чем-то другом, и буфетчик Абдулла в конце концов пришел к выводу, что, наверно, у этого несчастного колки, он не может двинуться с места; Абдулла несколько раз видел, как такие умирали от внезапных колки.

...Он снова испугался, что Гюльзар случайно забредет сюда или

Сафура появится здесь, и хотел шевельнуться, подняться, но у него не осталось никаких сил, он не смог подняться; несмотря на гул в голове, он понимал, что скоро опять обо всем забудет, снова войдет в «Красную гвоздику», заплатит шестьдесят копеек, выпьет пива, и все придет в свой обычный порядок — подумал об этом и снова со всей ясностью увидел ужас в глазах Гюльзар.

Буфетчик Абдулла, выйдя к дверям «Красной гвоздики», позвал его:

— Эй!

Буфетчик Абдулла не знал их имен, всех он звал «эй».

— Эй, я тебе говорю, иди сюда!..

Он с трудом повернул голову, посмотрел на «Красную гвоздику», и в это летнее утро буфетчик Абдулла увидел в его глазах странное выражение; в чем была странность этого выражения? — сознание буфетчика Абдуллы не вмещало таких тонкостей, но, во всяком случае, это было такое выражение, что буфетчик Абдулла больше его не звал и снова вошел к себе.

Он некоторое время смотрел на открытые двери «Красной гвоздики»: наверно, надо было что-то притащить из подвала или подмести в «Красной гвоздик», но он не двинулся с места и даже хотел, сунув руки в карман, вытащить шестьдесят копеек и швырнуть в двери «Красной гвоздики», как собаке, и среди жара в теле, гула в голове, боли в ухе, боли в ноге, среди окутавшего мозг серого тумана он сам удивился своему желанию, потом, подняв голову, поглядел на солнце; все его ощущения давно притупились, и, глядя на солнце, он не сощурил глаз, смотрел на него открытыми глазами, потом, когда отвел глаза от солнца, какое-то время ничего не видел: среди окутавшей все вокруг темноты большое и круглое солнце белело и желтело перед его глазами, перемежаясь с черными кругами.

В это летнее утро проносившаяся в его сознании воспоминания были разрозненными, не порождались определенной мыслью, событием, обстоятельством, приходили сами собой, и он испытывал тупое чувство изумления по поводу неожиданности этих воспоминаний, и вот внезапно в его памяти ожила Змеиная гора, которую он видел в детстве: закрыл глаза, и состоящая из отвесных скал высокая, голая Змеиная гора предстала перед его глазами. Ему показалось, что он поднялся на самую вершину Змеиной горы и оттуда — с высоты, от которой темнело в глазах, смотрит вниз, видит стоящих внизу себя и отца, и это видение наполнило всего его мучительной, безнадежной тоской, и ему показалось, что эта тоска сейчас схватит и швырнет его вниз с той высоты, от которой темнело в глазах, тело его, ударяясь о крутые скалы Змеиной горы, разобьется, но, странно, он не испугался этого видения, напротив, ощутил какое-то облегчение.

А тело пылало, и он с усилием старался сохранить перед глазами

Зменную гору, пересилить жар в теле и почувствовал, что это внутреннее напряжение отбирает у него все оставшиеся силы, почувствовал, что сейчас заплачет, и на этот раз, тоже совершенно внезапно, вспомнил, как плакал в Книжном пассаже примерно год назад в полдень. Правда, правда, он давно уже не испытывал чувства стыда, это чувство тоже притушилось, умерло, забылось, но, когда в это летнее утро, сидя на тротуаре перед «Красной гвоздикой», он вспомнил, как примерно полтора-два года назад плакал в Книжном пассаже, он испытал какое-то очень тревожное чувство и, возможно, даже сам не понял, что это — чувство стыда.

Тогда он еще жил в маленькой сторожевой будке, но лицо его уже отекло, покраснело, изменилось, и кое-кто из знакомых, встречаясь с ним, не узнавал его, но он, когда бывал трезв, увидев знакомых, узнавал их; когда бывал совсем трезв, прятался, чтобы знакомые его не увидели, а когда бывал немного навеселе, сам подходил к знакомым, к приятелям и просил денег. Снова выпивал, снова хотел выпить, глаза его искали на улицах знакомых, чтобы попросить денег, и вот так, шагая по улицам, он вошел в Книжный пассаж и в одном из киосков внезапно увидел свою книжку. Эта книга по хирургии была первой и последней написанной им книгой, и он подошел, и взял в руки эту книгу, и стал показывать людям, толпящимся у киоска, проходящим по пассажиру, и начал плакать: «Это моя книга! Эту книгу я написал!..» Люди взглядывали то на него, то на книгу, которую он держал в руке, и, вероятно, никто не верил, что он в самом деле написал эту книгу, и от этого он еще горше заплакал, и тут кто-то протянул ему двадцать копеек, и он взял эти двадцать копеек, а потом вот так, плача и показывая книгу другим, просил милостыню, стал плакать уже не от души, а нарочно, чтобы собрать деньги, набрал полный карман мелочи и пошел и все пропил.

Он посмотрел на открытые двери «Красной гвоздики», потом сунул руку в драный карман грязного пиджака, извлек из кармана шестьдесят копеек, подержал на ладони. Монеты заблестели под лучами солнца; на далекой Зменной горе так блестели под солнцем гравий, камни, скалы. Зменная гора когда-то была действующим вулканом, на ней ничего не росло; отвесные скалы, огромные камни, бесчисленные маленькие камушки — и все разноцветное: красное, фиолетовое, кофейное, желтое, переливчатое... И когда все эти цвета переливались под раскаленным солнцем, казалось, что сама голая, лишенная растительности гора — некое доисторическое чудовище, холодное, скользкое, страшное... Он снова увидел себя на вершине Зменной горы; всего раз в жизни — в детстве вместе с отцом он был у подножия этой горы, он наблюдал ее только со стороны, а теперь закрыл глаза — и очутился на вершине Зменной горы, на высоте, от которой темнело в глазах, как посмотришь вниз.

В «Красную гвоздику» начали входить еще редкие посетители, и буфетчик Абдулла, приветливо обслуживая клиентов, время от времени взглядывал на противоположный тротуар; буфетчик Абдулла пришел к окончательному выводу, что этот сидящий на тротуаре алкоголик чересчур возгордился, и когда он зайдет (рано или поздно зайдет!) и попросит пива, то Абдулла не даст ему пива и прогонит вон.

...Он снова ссыпал мелочь в карман и, собрав все силы, поднялся на ноги.

Все тело его рвалось в «Красную гвоздику», и ноги влекли его в «Красную гвоздику», но он заставил себя, петляя и пошатываясь, пройти мимо «Красной гвоздики», не вошел внутрь и уже твердым шагом зашагал вверх по улице.

Все тело его пылало, требовало выпивки, тянуло его назад — в сторону «Красной гвоздики», но он не повернул назад, и из-за того, что он так мучил себя, сил у него как будто прибавлялось.

Его тело пылало, требовало выпивки, но гул в голове прекратился, боли в ухе, в ноге он тоже не чувствовал, и в мозгу появилась странная ясность, вернее, какая-то легкость; шагая по улице, размахивая руками, он говорил сам с собой. Что говорил, он и сам толком не понимал, но знал, с кем он так серьезно говорил: с Сафурой говорил, с Гользаром говорил, произносил какие-то задушевные слова; ничего назидательного, но все же серьезное и важное; беседовал с бывшими коллегами-хирургами, потом начал разговаривать с отцом, скончавшимся десять лет назад...

Ноги несли его как верные псы, и он и сам не знал, как оказался перед девятиэтажной гостиницей. На последнем этаже этой гостиницы находился бар, но этот бар был не для таких, как он, и, когда они появлялись, их не пускали в гостиницу, но на этот раз его никто не увидел, он спокойно миновал вход в гостиницу, прошел вестибюль, где кондиционеры создали дивную прохладу, вошел в ожидающий пассажиров открытый лифт и поднялся на девятый этаж.

Когда он вошел в бар, бармен Абдулла (этого человека, как и буфетчика «Красной гвоздики», звали Абдулла) удивленно поглядел на него; бармену Абдулле достаточно было взглянуть в лицо человеку, чтобы понять, пьющий он или нет, а уж алкоголиков он узнавал за сто метров и теперь очень удивился; кто с раннего утра пустил сюда этого пройдоцу?

В баре выстроились разнообразные напитки: водка, коньяк, виски, джин, вино, пиво, и все его тело рвалось к этим напиткам, он даже на мгновение заколебался: захотелось в последний раз выпить бутылку пива или пятьдесят граммов водки, но его совершенно прояснившийся в эти последние минуты мозг отметил, что, если он сейчас выпьет бутылку пива или пятьдесят граммов водки, все начнется сначала.

Он не хотел, чтобы все началось сначала. Даже от мысли, что все мо-

жет начаться сначала, тело его покрылось холодным потом, и он решительным и четким шагом приблизился к выходящему на улицу окну.

Бармен Абдулла еще не включал кондиционер и до прихода клиентов настежь открыл большие окна, чтобы проветрить помещение.

Он подошел, остановился перед открытым настежь окном и посмотрел вниз — по улице проезжали автобусы, троллейбусы, а мраморные ступени, спускающиеся на тротуар, и сам тротуар были совершенно пусты.

На миг, всего лишь на миг ему показалось, что он стоит не на девятом этаже девятиэтажной гостиницы, а на вершине Змеиной горы...

Потом он выбросился в окно.

Все то время, что он летел с девятого этажа на землю, он был в сознании и до самого падения на землю ни разу не вскрикнул.

Тупой стук ударившегося о землю тела разнесся по улице, по которой он недавно шагал.

...И снова было раннее утро, и дворничиха, снова своей похожей на ежевичный куст пушистой метлой подметая улицу, дошла до «Красной гвоздики», вспомнила того несчастного пьяницу, который вчера таким же ранним утром, сидя на тротуаре, ждал буфетчика Абдуллу, и подумала, что этот человек теперь, наверное, сидит перед другой закуской...

1985, июль

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ НА СВЕТЕ

1

...И сейчас, ранним предсубботным утром, старику опять показалось, что голос поющего в клетке кенаря затиснут в малюсенькие клеточки. Кенарь сидел в клетке, поэтому и голос его, как арестант, тоже в клетках — крохотных-крохотных, и эти звучащие клеточки, вроде мыльных пузырьков, легонько порхают в воздухе. Старик порой вздрагивал, боясь, что вот-вот они лопнут и звуки разобьются, как стекло, и смолкнут.

Слушая кенаря, представляя себе и его голос в воздушных пузырьках, старик хотел высказать свое беспокойство людям, сидевшим за столом, но не мог вспомнить, кто эти люди, как найти слова, чтобы поняли. Может быть, не ему, а кому-то другому причудилось, что голос птицы загнали во множество маленьких клеточек?

Желтый кенарь в углу тесной комнаты, на старом платяном шкафу, в эту пятницу с самого утра заливался, и пришедшая из кухни невестка с чайником в одной руке, с заварным в другой, сладко, до слез, зевая спросонья, сказала:

— Слушай, что это с ним сегодня?

И принялась разливать чай в большие стаканы — дочерям, сыну, мужу и свекру, сидящим за круглым столом, оставшимся от покойных родителей.

— А ему что! — ответил муж, хмурый, словно бы раз и навсегда обиженный на мир и людей человек. Поднеся руку к глазам, оттого что видел все хуже, взглянул на часы. Когда окончил школу (бог знает сколько лет тому назад!), часы ему подарил отец — вот этот сидящий теперь за столом старик.

Сын пододвинул к себе стакан, положил сахару и, помешивая ложечкой, откусил от бутерброда с сыром.

— Кенарю-то что! — буркнул он.

— Хорошо быть кенарем, но не в клетке...

Слова старика прозвучали так неожиданно в тесной комнате, что даже девочки, перестав жевать сухой хлеб с сыром, остолбенело уставились на деда. Старику тоже показалось, что эту прекрасную фразу произнес не он. А кто?.. За столом он сам и незнакомые люди. Старик каждого внимательно оглядел.

Заклученные в малосенькие клеточки трели желтого кенаря летали по комнате, как мыльные пузырьки, и старик, забыв про людей за столом, какое-то время прислушивался к рассыпавшимся трелям. Потом спросил:

— Я сегодня в уборную ходил?

Сын, обжигаясь, отхлебнул из стакана, наморщил лоб. У него сморщилась и кожа на совершенно лысой голове, словно тоже обижалась на мир. Бросив на отца косой взгляд, сын сказал:

— Откуда я знаю? Хочешь если, сходи еще. Недалеко же, во дворе.

— Знаю, что я, дороги не знаю?

Как обычно, старик приготовился спорить, но забыл, куда он знает дорогу, вообще забыл, о чем говорили, и снова прислушался к поющим, порхающим клеточкам; голос кенаря уносил старика куда-то очень далеко, в давние времена, старик чувствовал, даже ощущал их доброе, теплое дыхание... Но что это были за времена такие? Он осмотрел свой стакан с чаем, хлеб и сыр, потом очень внимательно хлеб и сыр, лежавшие перед людьми. У всех было то же, что у него, — тот же хлеб, тот же сыр, тот же чай. И старик скривился.

— Опять хлеб с сыром? Сегодня хлеб с сыром, вчера хлеб с сыром, всегда хлеб с сыром!.. Почему хлеб с сыром? Всегда хлеб с сыром... Сын поднес часы к самым глазам и отодвинул пустой стакан. — А мы говорим, у него памяти не осталось! Еще как осталось! Как он знает, что и вчера и позавчера был хлеб с сыром? Невестка сказала:

— Ну ладно! Не заводись с утра пораньше!

В этой тесной комнате за круглым столом (стол был приданным невестки, мать принесла из дому) сидели все члены семьи — старик, его сын и дети сына: парень, недавно вернувшийся из армии и работавший курьером в Институте истории, ученица швейного техникума, старшая дочь, средняя, шестиклассница, и младшая, ходившая в третий класс. Все молча ели хлеб с сыром, и то, что сказал старик — кроме неожиданных слов о кенаре, — расслышал только его лысый сын; а желтый кенарь на старом платяном шкафу в это осеннее утро все пел и пел.

Старик сказал:

— И масла нет!

Сын заворочался на стуле, хотел что-то возразить, но невестка надавила мужу на плечо; не связывайся, помолчи.

— И вчера масла не было! Не дасте мне масла! Невестка ответила, улыбувшись:

— А-а! Кому это я масло даю, а тебе не даю? Печально глядя на

хлеб с сыром, старик повторил;

— И масла нет...

— Кончилось масло! — как ребенку в детском саду, объяснила невестка, зевнула, и две крупных слезы скатились по ее щекам. — Талоны упрямдом не дает, говорит, не поступили пока. А когда поступят? Через три дня месяц кончается... Фокусы все это! Из-под полы продают талоны. В районе, говорят, кило масла с рук — пятнадцать рублей! — Она собралась еще раз зевнуть от души, взглянула на сына, и зевок затрепетал на ее маленьком, не потерявшем прелести носике. Только бы вот его дело устроилось!

Затеяв разговор о масле, старик больше не слушал, что говорила невестка, разглядывал на себе серый пиджак, приобретенный тридцать лет назад, когда старик работал кассиром в издательстве. Времена, начисто выпавшие из его памяти... Пиджак был такой древний, но такой, однако, ухоженный — прямо музейный экспонат! С той же давней поры были и полосатая сорочка, и широкий коричневый галстук. Каждое утро, проснувшись, старик надевал эту полосатую сорочку, серый пиджак, повязывал на шею широкий коричневый галстук, словно отправлялся на службу, как в прежние времена, и поскольку никуда, конечно, не ходил, а только сидел неподвижно либо дома, либо на деревянной скамейке у дворовых ворот, серый пиджак был как новый. Когда старик спал, невестка чистила и отглаживала костюм. Нечасто — раз или два в месяц.

Старик провел рукой по бортам пиджака, ощупал под брюками худые ноги — кожа да кости, — будто проверял, на месте ли. И спросил:

— Кто я?

Сын покраснел. Это не укрылось от невестки. С болью в сердце женщина поняла, что муж стыдится за старика. Старик уставился на сына:

— А... ты кто?

— Собака я! Кошка! Идиот! Разве я знаю, кто я? — заорал сын, со злостью поставил на блюдце стакан, встал и, выйдя в маленькую переднюю, снял с вешалки свое старое пальто, шапку, не надев, выбежал из дому. И, обогнув мусорный бак во дворе, выскочил за ворота. Уже двадцать лет он работал завхозом в Статистическом управлении.

Невестка сказала:

— Бедняга, прямо кипит чуть что! Если бы я, несчастная, хотьнибудь умела — зарплату бы получала... Меня на базар не пускает, сам

ходит. Знаешь, почему? — Она обращалась к старику, но тот не понимал, о чем говорит эта женщина. Кто она, думал он, зачем столько говорит?

— Считает, я ничего не знаю? Почему это я не знаю? Сам ходит на базар, скандалит из-за каждой копейки, подешевле хочет купить... Ты понимаешь? — спросила она свекра; старик молчал. Невестка сказала: — Честь ему, видишь, не позволяет, чтоб я ходила. Не желает, чтоб жена была ниже других, ругалась бы из-за гроша!.. Сам ходит. Почему никто не скажет ему: ах ты, бедняга, сын бедняги! Большая шишка, что ли? Все люди как люди, — она показала на двор за окном, — а я что? А скажешь ему — обидишь...—Тут она прикрикнула на сына, торчавшего за столом: — А ты будь пошустрее немного!

Парень повел длинным носом. В своего носатого деда пошел, в старика, который все размышлял, глядя на невестку: кто же эта женщина? Он изводился от ее долгих разговоров.

— А что я должен? — пробормотал парень.

Невестка передразнила:

— «Что я должен!» Не быть мямлей.

Как раз сегодня решался вопрос о его переходе на новую работу. Вернувшись из армии, он служил курьером, бегал туда-сюда с разными письмами до упаду, а мать хотела, изо всех сил стала, чтобы стал милиционером, и не простым, а у дверей Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана сидел. О том, что такое место есть и ищут молодого человека, сказал живущий во дворе милиционер Алаббас, вернее, милиционер Алаббас сказал это своей жене Фирузе, а Фируза ровно пять дней тому назад, моя во дворе посуду под краном, сказала женщинам: «Вон, место милиционера свободно в цэка, человека ищут! В цэка магазин, и в буфете там сколько хочешь свежего мяса, слушай, и апельсины всегда, по своей цене, два рубля кило... Клянусь Этага, Алаббас говорит, и масло без всяких талонов! Другие милиционеры с утра до вечера на улицах, бедняги, а в цэка милиционер сидит в тепле, документы смотрит: ты проходи, а тебе нельзя. Не пустит и все! Сам что хочет покупает в буфете, жена, дети, как бекские детки, живут! Еще и обедает там. Ай, нет справедливости в этом заразном мире!.. Алаббаса кто туда возьмет? Что от него осталось? Туда прямо так не возьмут. Надо, чтоб у тебя кто-то был, поручился. Где такого найти?»

Все это невестка услышала от Фирузы пять дней назад и пять дней не знала покоя. Как запали в душу слова милиционеровой Фирузы, так и сидели как заноза — не вытащить (она и не хотела вытаскивать!).

Все пять дней только и говорила о месте в цэка. И строго наказывала мужу, сыну, дочерям: «Смотрите, никому ни словечка!» Лишь свекра не предупредила, потому что все равно ничего не помнит, никого не узнает. Сначала она с сыном пошла к новому громадному зданию Центрального Комитета Коммунистической партии, бегала-металась, расспрашивала людей, пока не узнала, через какие двери куда входить, кто милицейскими делами занимается. Сама осталась на улице, сына послала (вместе с аттестатом зрелости, похвальным листом, полуженным в армии, и другими бумагами). Сын вернулся не солоно хлебавши. Не получилось, к начальнику не пустили, сказали: иди, ищи себе работу в другом месте. Наутро сама отправилась, оставив свекра одного, — а когда оставляла старика в одиночестве, то ела себя поедом: вдруг воду или газ откроет и не закроет, упадет и не сможет подняться... И на этот раз взяла сына с собой (пусть на работе думают, что ездит по адресам, по полчаса ждет троллейбусы-автобусы, они, известно, как ходят). Аттестат зрелости, похвальный лист, подписанный майором Ивановым, и остальные документы положила к себе в сумку. Сын ждал на улице за углом. И опять ничего не вышло, не пропустили к начальнику: «Ай, баджи, куда идешь, тут цэка!» Сын насобирав на остановках использованные автобусные, троллейбусные, трамвайные билеты и отнес на работу — вот, мол, сколько кружил по городу! И, как всегда, получив в кассе деньги за эти билеты, купил себе сигарет.

Невестка наконец поняла, что взялась за трудное дело. Но слова жены милиционера Алаббаса о хорошем месте в цэка не выходили из головы. Не выходили, и все тут! Хотела было послать мужа с сыном, да раздумала. Поскандалит, наговорит бог знает чего про государство и коммунистическую партию! Тогда сыну ни за что не устроиться.

Целый день она пекла шоргогалы (последнее масло ушло на эти шоргогалы), двери-окна позакрывала, чтобы запах до соседей не донесся и те не подумали: интересно, с чего это она печет шоргогалы, если их пекут раз в году на Новруз-байрам? Нарядилась в красное платье, которое вчера, после ухода мужа на работу, а дочерей в школу, достала из шкафа. Красное платье она надевала только летом и то нечасто. Вот когда вместе с мужем и детьми ходила в расположенный тремя кварталами ниже летний кинотеатр «Красный Октябрь» посмотреть новый фильм. (Собраться и пойти в кино было чем-то вроде Новруз-байрама, и если показывали индийскую картину, невестка и девочки плакали, муж хоть и не плакал, но тоже переживал в душе. Ах, те слезы были поистине праздничны!)

Сейчас она оставила старика наедине с самой собой и направилась к Фирузе. Эта Фируза была не та Фируза, жена милиционера Алаббаса, а другая Фируза, с которой вместе учились. Эта Фируза после школы вышла замуж за бедного студента-квартиранта и ей очень повезло, среди подруг и знакомых не было второй такой счастливицы: муж, то есть тот бывший бедный студент, стал большим человеком — замминистра. (Когда женщины мылись в махаллинской бане и речь заходила об этой Фирузе, зная ее говорили: «Счастливица, как сыр в масле катается!») У мужа Фирузы была персональная черная «Волга», и эта черная «Волга» вместе с шофером до самого вечера находилась в распоряжении Фирузы. Что там Фируза, жена милиционера Алаббаса! Той, бедняге, подобное и присниться не могло...

Фируза искренне обрадовалась, увидев на пороге школьную подругу. И эта радость как будто уменьшила беспокойство об оставленном на произвол судьбы старике: не зашибся ли, не разбил ли чего, не побрел ли куда глаза глядят (все это случалось, однако, слава аллаху, не доходило до беды).

Солнце, заливавшее трехкомнатную квартиру на восьмом этаже, простор, чистота, порядок ошеломили невестку, разом вылетели из памяти жалкий двор с общей водоразборной колонкой и общей уборной, даже оставленный без присмотра старик. Все унеслось куда-то! Стало так тепло, так свободно на душе. Десять лет она не видела Фирузы, но Фируза нисколько не изменилась. Даже еще больше помолодела, похорошела. Грудь белая, высокая, руки гладкие, как рыбки, очищенные от чешуи, на лице ни морщинки. Детей у Фирузы не было, только муж и она. Вечерами, когда невестка сидя дома, перемывала рис или чистила картошку и ей вдруг вспоминалась Фируза, то она думала: интересно, как это ее муж, замминистра, не разведется и не женится на другой, чтобы завести детей? Но теперь, в светлой просторной комнате на восьмом этаже, беседуя с приветливой Фирузой, любуясь ее полной грудью, руками, красивыми ножками, сомневалась, чтобы он оставил такое сокровище. Куда пойдет? Будь он самим министром, да хоть кем, где найдет такой дом, такой свет, такой праздник!

Фируза догадывалась, что если школьная подруга вздумала навестить ее спустя десять лет, то, конечно, по важному делу. За чаем она говорила о школьных годах, об учителях, об одноклассниках и не могла наговориться. Для невестки же все это давно как бы не существовало, минуло столько лет. Точно забором отгородило от нее

взгляды и улыбки парней, с которыми училась и которых совсем не вспоминала (когда было вспоминать?). А сейчас ушедшие годы казались необыкновенно прекрасными, она растрогалась... Но дома был брошенный старик, скоро девочки вернутся из школы, потом муж с работы, а никакой еды не приготовила. Фируза все говорила и говорила... Видно, когда мужа нет, ей словечком перекинуться не с кем. Она не умолкала. Дождем сыпались слова с красивых губ Фирузы, и невестка чувствовала, что этот дождь ей приятен.

Она все же сказала, зачем пришла. И Фируза тотчас переговорила с мужем по телефону. Ласково, настойчиво звучал ее голос. Невестка совершенно уверилась: поможет.

Они договорились, когда муж, заместитель министра, придет с работы, невестка позвонит Фирузе.

Она позвонила. Сбегала к телефону-автомату, который висел в стеклянной будке около летнего кинотеатра «Красный Октябрь». И Фируза сказала, что завтра (то есть уже сегодня, в пятницу!) в десять утра мальчика примет начальник в Центральном Комитете Коммунистической партии, а вечером (сегодня вечером!) невестка снова пусть позвонит и сообщит ответ. Невестка передразнила сына:

— «Что я должен!» Как это — что? Пошустрее быть. Покажи свои документы. Такой человек за тебя просил! Сам заместитель министра! У них тоже бывают к нему дела. И канализация к нему относится, говорят, и трамваи, и все! Не вешай носа, будь побойчей!

Девочки, поев хлеба с сыром, выпив чаю, ушли в школу. Ушел и парень в свой Институт истории — получить задание и взять письма, а к десяти часам успеть к зданию цэка.

В это осеннее утро, провожая сына, мать повторила про себя обет, который всю ночь шептала в постели: если дело устроится, она найдет хорошую муку, найдет масло, приготовит халву, сядет в электричку, поедет в Мардакян, на могиле святого Этага раздаст халву нищим и вдобавок три рубля деньгами.

Убирая посуду с круглого стола, невестка говорила, обращаясь к старику (поскольку большую часть дня оставались вдвоем, привыкла разговаривать со стариком, а в сущности, сама с собой):

— Устроится, э-э, бог даст, устроится! Почему бы не устроиться? Прекрасный парень! И характеристика из армии замечательная. Не азербайджанец подписывал. Не скажут, это — так, наш, свой. Русский подписал. Майор Иванов. И такой человек попросил, в целом министерстве только один главнее него! И канализация на его руках, и все прочее...

Старик поел хлеба с сыром, выпил чаю и теперь, сидя на своем стуле, внимательно рассматривал женщину. Из множества слов лишь «канализация» на миг задержалась в памяти, и старик спросил:

— В уборную я ходил?

Новестка вытерла мокрой тряпкой коричневую клеенку на столе и вздохнула:

— Ходил, э-э, ходил! Успокойся. Сама тебя водила, только при твоём сыне не стала говорить, неудобно... И вечером напоминаю, чтобы сходил в уборную. Если не сходишь, опять постель намочишь. А твой сын сердится. Знаешь, почему сердится? Ты на него не обращай... Из-за меня. Стесняется меня... Скажи, чего он меня стесняется, бедняга, сын бедняги?

Желтый кеарь на старом шкафу заливался время от времени, и его трели, заключенные в малюсенькие клеточки, летали по комнате, точно прозрачные мыльные пузырьки.

2

В эту пятницу, как изо дня в день, старик после завтрака, надев свое старое черное пальто, надвинув на голову старую серую шляпу, вышел во двор и уселся на деревянной скамейке у ворот. Как старое тутовое дерево, как уборная в углу двора, сложенная из камней, как водоразборная колонка и выстроенные в ряд возле ворот мусорные баки, старик тоже был достопримечательностью маленького двора. Деревянную скамейку специально для старика сколотил милиционер Алаббас. Правда, милиционер Алаббас терпеть не мог его сына (и все в махалле это знали), потому что вечно устраивал скандалы из ничего, но скамейку для старика мастерил с удовольствием, считая богоугодным делом все, что на пользу этому безответному и совершенно беспомощному человеку. Каждый день, усевшись на скамью, старик с любопытством оглядывал выходящие во двор окна, двери, тутовое дерево посреди двора, мусорные баки, будто видел впервые. Конечно, ему и в голову не приходило, что этот двор — двор его отца и деда, и отец его родился в этом дворе, и сам он родился в этом дворе, и сын, и внуки выросли здесь, в нагорной махалле города Баку, и дочери здесь выросли. Повыходили замуж и живут где-то своими семьями, скинув старика на невестку...

Желтый кеарь давно смолк, но старику еще казалось, что заключенные в едва различимые крохотные клеточки трели все кружат и кружат... со двора он, правда, не слышал их, зато ощущал, как нежно

касаются лица, садятся на кончик носа, на губы, на пальцы рук, лежавших на коленях. В пожелтевших и осыпавшихся на асфальт листьях тувовника была такая же легкость; сидевшему на скамейке старику вдруг захотелось переворочить листья, подбросить в воздух, пусть бы тоже летали, кружились над двором. Он собрался было подняться, но тот час забыл о желании, поудобней уселся и повернул голову в сторону застекленной веранды милиционера Алаббаса. В примыкавших друг к другу одноэтажных домах жили четыре или пять семей, жили здесь всегда, испокон веку. Кто-то переселился либо, уехав на работу в далекие города России, там и застрял, но оставшиеся навещали родной двор по праздникам, порой и в обычные выходные дни, приводили детей и по возможности участвовали в добрых или печальных событиях не только двора, а и всей махаллы. Они здоровались со стариком, интересовались, как он себя чувствует... Когда это новое молодое поколение с шумом-гамом, распахнув уличные ворота, вваливалось во двор, старик отвечал на приветствия, кивал, только никого не узнавал. Интересно, зачем эти люди приходят-уходят, даже в самые холодные зимние дни? Приветливые, о чем-то спрашивают... Впрочем, старику это нравилось.

Полная женщина на застекленной веранде милиционера Алаббаса что-то жарила в большой сковороде. Старик, разумеется, не помнил, что имя этой толстой женщины Фируза, что она жена милиционера Алаббаса, не помнил, что с давно умершим отцом Фирузы он часто играл в нарды в этом дворе под тутовым деревом, беседовал и ровно тридцать лет тому назад на свадьбе Фирузы крепко выпил; не помнил, когда милиционер Алаббас, человек не из здешних мест, пришел в дом с застекленной верандой, не помнил, что теперь он отец семерых детей и, чтобы набить животы этим семерым, лезет из кожи вон, порой потихоньку берет рублевые взятки; ничего этого старик не помнил, не знал, как и прочих дел грешного мира. Но открытые полные руки женщины, видневшейся на застекленной веранде, в этот осенний день показались знакомыми, они манили куда-то далеко-далеко... где, наверное, тепло, нет осыпавшихся на асфальт желтых листьев, двора со слепыми окнами, крашенных голубой, зеленой, коричневой выцветшей краской дверей, облезлых стен... Старик сделал мысленное усилие, чтобы встать и пойти. Но даже оно утомило его, он отвел глаза от веранды милиционера Алаббаса и с тихим изумлением посмотрел на раскидистое тутовое дерево. Садились воробьи на голые ветки, воробьиное щебетанье было свободно, не затиснуто в клетки. Арестованным был голос желтого кеаря. Хотя птички трели, казалось,

все еще летали над двором, слышались только воробьи, беспечно перепархивавшие с ветки на ветку. Старик не смог осознать причину своего изумления и снова повернулся к застекленной веранде, где что-то жарила женщина на большой сковороде. Вкусный запах доносился с веранды, однако не вызывал аппетита. Пахло не хлебом, не сыром — тот запах запечатлелся в мозгу старика как нечто постоянное и дурное, но, как бы то ни было, идущий от застекленной веранды запах еды не притягивал.

Сколько просидел старик на скамейке в маленьком асфальтированном дворике — час? два? три часа? Он не знал, потому что уже давно пугал время; дверь его дома отворилась, позвала невестка, и старик, забыв о воробьях на тутовом дереве, молча поднялся. Невестка, снимая со свекра старое черное пальто, сказала:

— С прошлой недели я немного мяса оставила в холодильнике... Садись, кюфту тебе приготовила. Ешь поскорее, пока дети не пришли. Для них я картошку пожарю на подсолнечном масле. И маринованные баклажаны положу, хорошо будет. Из мяса одна кюфта получилась... Ты при детях не проговорись, что кюфту ел. Запомнишь?

Старик не обращал внимания на то, что ему говорила эта незнакомая женщина. Да и обрати внимание, все равно бы не понял. Лишь слово «кюфта» он уловил среди множества других, и вспомнил, что кюфта это мясо. Надеюсь, что сейчас произойдет нечто приятное, вошел в комнату, сел за круглый стол и устремил на кухню полные нетерпения слезящиеся глаза. Невестка поставила перед свекром сковородку с кюфтой и села напротив.

— Только бы ребенка дело устроилось! Ей-богу, ничего больше не хочу на свете. Вот как перед богом, только бы устроилось! В цэка бы работал... О, предок Этага, сделай, чтобы сбылась моя мечта! Я что говорю, а? Я говорю...

Сидящая напротив чужая женщина все говорила и говорила, будто чирикала стайка воробьев на тутовом дереве. С удовольствием, откусывая хлеб, старик ел дивную кюфту. Не слышалось лишь желтого кенаря в клетке на шкафу в углу комнаты. Съежился и уставил маленькие глазки в невидимую точку...

3

Вернувшись из школы, девочки поели жареной картошки с маринованными баклажанами, разбрелись до своим углам и принялись за уроки. Невестка снова начистила и нажарила картошки — придет

муж, у нее все готово.

Муж ел прямо со сковородки. Старик подсел к жующему сыну и тоже поел.

Невестка ждала своего сына: как у него дела? И косилась на старика — вдруг заговорит о кюфте, девочки обидятся. Она зря беспокоилась, старик забыл, что днем лакомился кюфтой. Правда, вкус мяса еще чувствовался во рту, но откуда он — тоже забыл. Поедая жареную картошку, глаз не спускал с сидевшего за столом лысого мужчины, который, говорили, был его сыном.

Невестка сказала:

— Ай, где застрял этот ребенок? Муж поморщился.

— Придет...

И в этом одном-единственном слове было столько усталости, столько обиды на себя (что я за отец, не могу помочь сыну, брату трех девочек!), столько недовольства миром! Хорошо зная мужа, невестка промолчала: в таком настроении он из пустяка мог учинить скандал.

Желтый кенарь заволновался, забил крыльями. Беспокойство птицы передалось старику. Он громко воскликнул:

— Да здравствует товарищ Багиров! Мирджафар Аббасович!

— Багирова кости давно сгнили в могиле... Как ему здравствовать? — сказала невестка.

Старик пристально посмотрел на женщину.

— Да здравствует товарищ Сталин! Иосиф Виссарионович!

— Смотри, как хорошо запомнил имена! — Сын сморщил лоб, кожа на голове пошла вялыми морщинами. Они словно разделяли усталость и раздражение этого человека.

Старик удивленно оглядел незнакомых людей — мужчину, евшего жареную картошку, нарезавшую хлеб женщину — и охватившее его волнение усилилось. Отчетливо произносилось каждое слово, он выпалил:

— Да здравствует товарищ Сталин!

Невестка всплеснула руками:

— Ну и ну! Сталин уже сорок лет как умер! Сперва в мавзольей положили, рядом с Лениным, а потом, как совы, ночью, тайком зашли, выгасили и закопали в землю. Прокляли! Кто с женой тогда развелся, теперь говорят, что из-за Сталина! Ленин пока в мавзолее... Пока... Старик все понял, но, чтобы проверить, правда ли, спросил:

— Микоян тоже умер? Анастас Иванович?

Невестка кивнула:

— Давно.

Старик поразился:

— Не может быть!

— А-а!.. Почему это? Сталин может умереть? Багиров может умереть, а Микоян умереть не может? — Невестка и впрямь удивилась. Она запомняла, что не следует удивляться выходкам свекра. Потом услышала во дворе шаги сына — Ребенок пришел! — сказала она. — Дай-то бог!

На этот раз парня пропустили к начальнику. Тот посмотрел документы и сказал: «Иди, завтра приходи». Мать спросила:

— Больше ничего не сказал?

— Нет.

— Сказал, завтра приходи?

— Да.

— Просто так зачем бы он сказал «приходи завтра»? Устроится, бог даст!

— Я откуда знаю? — Парень понаблюдал, как отец поедает жареную картошку, пожал плечами и сглотнул слюну.

— Как это «я откуда знаю»? Зачем он сказал — завтра приходи?

Не дав сыну поест, невестка торопливо накинула пальто и побежала к телефону-автомату позвонить Фирузе. За три квартала, к летнему кинотеатру «Красный Октябрь»...

Желтый кенарь угомонился, изведаясь от метаний в клетке, будто осознал их бессмысленность. И запел. Старик снова почудилось: полетели, закружились бесчисленные крохотные клеточки. Они садились на серый пиджак, на руки, на шею, лицо; старик чувствовал в этом что-то родное... когда-то вот так же кружились над ним ярко-желтые листья, легкие-легкие, и было хорошо и покойно. Но когда это было? Утром, днем? Слабое сомнение прошло в душе старика: не сдует ли ветром, не унесет ли прочь?..

Вернулась невестка. Настроение у нее было явно лучше прежнего. Потому что Фируза, не жена милиционера Алаббаса, другая Фируза, заявила очень уверенно, что парень, считай, устроен. А, было бы так! Слепой чего хочет? Два глаза — один зрячий, другой хоть кривой.

Парень сказал:

— У тамошних милиционеров пистолеты.

Мать согласилась:

— А как же! Цэка, да!

Не только во дворе, во всей махалле знали, что в кобуре на поясе у милиционера Алаббаса никогда не было пистолета. Когда милиционер Алаббас утром идет на работу, в кобуру засовывает хлеб с сыром, завернутые в газету.

Пел, заливался кенарь, сидели в комнате чужие люди, был вечер, горела под потолком электрическая лампочка, старику же хотелось, чтоб было утро и светило солнце. Он сказал недовольно:

— Что за день такой!

Невестка, находившаяся под впечатлением телефонного разговора с Фирузой, впервые улыбнулась за этот осенний день.

И тут же сомкнула губы: когда улыбалась, обнажались металлические зубы, невестка стеснялась их.

— Ах, бедняга! Ты хоть знаешь, в каком ты состоянии? Тебе-то что, ты как ребенок!

Странное дело, из всего сказанного только «Ах, бедняга!» запомнилось старику. Когда через некоторое время по настоянию невестки он сходил в уборную и отправился спать на застекленную веранду (его место было на застекленной веранде), то обнаружил, что двор, который видел изо дня в день долгие годы, стал совсем другим. Это заинтересовало, но, поторапливаемый невесткой, стаскивая с себя серый пиджак, что-то забормотал невнятно — похоже, ворчал на вертевшихся вокруг, говоривших разные слова чужих людей:

— «Ах, бедняга!» Почему я — бедняга? Никакой я не бедняга! Отчего мне быть несчастным? Самый счастливый на свете — это я! «Ах, бедняга!» Кто это сказал? — И, сощутив глаза, задумался. — Кто сказал мне «ах, бедняга»? Пойду-ка спрошу... Да у кого я спрошу? Кто они такие? Откуда взялись? Чего хотят от меня? Аллах знает... «Ах, бедняга!» Почему? Почему я должен быть несчастным? Я, самый счастливый на свете?

1990, март

СМЕРТЬ СТАЛИНА

Холодное утро 4 марта 1953 года выдалось солнечным. Но появление солнца над городскими улицами никак не вязалось с черной вестью, перевернувшей вверх дном жизнь всей махалли, весть ошеломила, и даже в том, что взошло солнце, чудился вражеский умысел: суровые взгляды вездесущего вагонного проводника Абдулкерима словно старались пригасить солнечный блеск утра. Мощенная бульжником улица была пуста. Казалось, и камень продрог под ледяными зрачками Абдулкерима; только воробьи, садившиеся на голые ветки раздвоенного тутового дерева на площади перед Желтой баней, не обращали внимания на воцарившуюся в махалле тишину. Их суматошное чириканье заглушало случайные звуки. Крашенные зеленым, коричневым, синим ворота дворов да выходившие на улицу окна лепившихся друг к другу домов были плотно закрыты; а облупившиеся от дождей и снега стены Желтой бани придавали махалле еще большую сиротливость.

Горькая потерянности людей, притаившихся во дворах за глухими воротами, в домах за темными окнами, проникла на улицу, и она вместе с этими воротами, окнами, с торчащими по тротуарам старыми электрическими фонарями на столбах как бы спрашивала настороженную тишину: что за беда пришла?

В среду рано утром люди столпились на площади перед Желтой баней. Не верили в жуткую весть, но и не верить было нельзя, потому что это касалось человека, по поводу которого шутки шутить – опасн аллах! Ждали, когда почтальон Музаффар достанет из сумки газету, наденет очки с отломанными дужками – едва держались на резинке, натянутой на затылок. Музаффар развернул газету, нацепил очки. За толстыми стеклами глаза казались очень большими и страшными. Часто глотая воздух от волнения, дергая кадыком, Музаффар прочитал в газете «Коммунист», еще пахнувшей типографской краской:

— Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Центральный Комитет... Совет Министров... сообщают о постигшем партию и наш народ несчастье – тяжелой болезни товарища И.В.Сталина... В ночь на 2 марта, - читал дальше почтальон Музаффар, - произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ

Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

Далее сообщалось, что для лечения Сталина привлечены лучшие медицинские силы. Среди них профессор-терапевт П.Е.Лукомский, действительные члены Академии медицинских наук профессор-невропатолог Н.В.Коновалов, профессор-терапевт А.Л.Мясников...

В этом месте проводник Абдулкерим, прервав почтальона, спросил с угрозой:

— Как там, говоришь, первая фамилия? Первого врача?

Даже в такой момент никто не посмел прикрикнуть на проводника, почему, мол, перебиваешь? Лишь покосились недовольно и снова вперились в почтальона.

— Профессор-терапевт П.Е.Лукомский, - сказал Музаффар.

Абдулкерим с сомнением покачал головой:

— Слушай, а вдруг это еврей, а?

Сомнение проводника смутило махаллинцев. Откуда было знать простому почтальону – еврей или нет терапевт П.Е.Лукомский? В газете было написано, что Лукомский – профессор. И больше ничего. Но раз такой человек, как Абдулкерим, известный своей бдительностью, о чем-то подозревает, значит, есть что-то такое, о чем жители махалли пока не знают.

Проводник сам ответил на свой вопрос:

— Нет! Евреем не может быть. Лукомский... Лукомский... Да нет же, нет! Не поставят!

И разрешил Музаффару читать дальше.

— Ввиду тяжелого состояния здоровья товарища Сталина, - продолжал Музаффар, - Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР признали необходимым установить с сего дня публикацию медицинских бюллетеней... Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР, как и вся наша партия, весь советский народ, сознают все значение того факта, что тяжелая болезнь товарища Сталина повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности...

Теперь не выдержал и перебил почтальона сапожник Агаюль. Тот самый Агаюль, который был учеником у Баланияза, сына старухи Фатьмы, а после того как Баланияза арестовали, сел в сапожной будке на его место. Сапожник с уверенностью сказал:

— Слушай, Сталин знает семьдесят два языка! Болезнь ничего ему не сможет сделать. Пусть хоть тяжелая, хоть легкая, любая!

Люди одобрительно вздохнули, и почтальон Музаффар вновь уткнулся в газету:

— Центральный Комитет и Совет Министров... со всей серьезностью учитывают все обстоятельства, связанные с временным...

Сапожник Агагюль опять не удержался:

— Видали? Временным! В солидной газете написали, что «временным»!

— ...Временным уходом товарища Сталина, - читал почтальон Музаффар, - от государственной и партийной деятельности... Центральный Комитет и Совет Министров выражают уверенность в том, что наша партия и весь советский народ в эти трудные дни проявят величайшее единство и сплоченность, твердость духа и бдительность...

Проводник Абдулкерим как будто чуть-чуть утешился:

— Вот в этом все дело!

— ...твердость духа и бдительность, - подтвердил почтальон Музаффар, - удвоят свою энергию по строительству социализма в нашей стране, еще теснее сплотятся вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии и Правительства Советского Союза.

Почтальон Музаффар умолк, и перед Желтой баней повисла такая тишина, какой не было даже в далекий летний день сорок первого, когда тот же почтальон в той же газете читал о начале войны. Из собравшихся тогда на площади мужчин и парней больше половины уже не было на свете: кто погиб, кто пропал без вести. В это утро никому не грозила новая война, и все же нынешняя тишина была во много раз тяжелее, чем двенадцать лет назад. Речь шла не только о собственной жизни, но и о жизни детей: что с ними будет?

Стали расходиться, площадь перед Желтой баней постепенно пустела. Мужчины сгорблились так, словно к ногам привязали пудовые гири.

Сапожник Агагюль, дотащившись до хлебной лавки, купил для старухи Фатьмы полкило белого хлеба, вошел в маленький асфальтированный дворик напротив керосиновой лавки, по деревянной лестнице поднялся на второй этаж, постучал в дверь и передал хлеб старухе Фатьме и потом закрылся в своей сапожной будке.

Старуха Фатьма ничего уже не ждала на этом свете. Беды, свалившиеся на нее, она снесла безропотно. Стало быть, выносливая и

даже более, чем выносливая, - глупая, глупая! Во всяком случае, старуха Фатьма сама так о себе думала. И то, что еще жила, дышала, испытывала голод, жажду, ей не нравилось - она стеснялась так жить. Но когда от сапожника Агагюля услышала, что Сталин заболел, слова не смогла вымолвить. Агагюль закрыл за собой дверь и ушел. Старуха некоторое время безмолвно смотрела вслед, сердце вдруг так сжало, так сделалось страшно, что показалось - дверь не откроется больше никогда и пора умирать.

Муж Фатьмы Ашраф был шапочником. Весенней ночью тридцать девятого года пришли и забрали шапочника Ашрафа. С тех пор не видели его ни во дворе, ни в шапочной будке у двойных крепостных ворот Ичеришехер. Обвинили шапочника в том, что кто-то, сидя у него в будке, высказывался против товарища Сталина. Кто был этот «кто-то», кто донес в НКВД - неизвестно (проводник Абдулкерим тогда еще не жил в махалле). Поговаривали, что расстреляли Ашрафа на острове Булла, а некоторые утверждали, что умер от тифа в поселке Колпашево Томской области, о которой Фатьма (наверное, и сам покойный) в жизни не слышала... Фатьма осталась с двумя сыновьями - старший Аганияз, младший Баланияз. Потом началась война, Аганияза взяли на фронт (Баланиязу возраст не вышел), и в один из февральских дней сорок третьего почтальон Музаффар с похоронкой в руках постучался в дверь Фатьмы. В похоронке было написано, что под Сталинградом, возле какой-то Бекетовки, о которой Фатьма тоже никогда не слыхала, Аганияз во время наступления героически погиб за Сталина. После войны начальник жилищно-эксплуатационной конторы Габарли установил перед конторой большую Доску почета (она называлась «За Сталина») и, несмотря на то, что Аганияз был сыном врага народа, поместил и его фотографию. Ее сняли два года назад - в сентябре пятьдесят первого, потому что тогда же среди бела дня забрали Баланияза прямо из сапожной будки: словно бы кто-то из его клиентов порочил Вождя. И по махалле разнесся слух, мол, донес не кто иной, как проводник Абдулкерим. Сын врага народа отправился по стопам отца. И уже ровно два года о нем никаких вестей. Кто говорил, что Баланияз в Сибири, кто - в Казахстане, а кто как страшную тайну, чтобы не дошло до ушей старухи Фатьмы, сообщал: расстреляли Баланияза. Старая Фатьма не знала, в какие двери стучаться, у кого спросить о сыне. Поручив Баланияза аллаху, часами сидела на деревянной лестнице во дворе, уже ни плакать не могла, ни проклинать судьбу (а из людей кого проклинать?). Управдом Габарли после такого происшествия, даже если бы Аганияз был светом его очей, не мог,

конечно, оставить портрет на Доске почета.

Закрылась дверь за сапожником Агагюлем – для старухи Фатьмы словно бы навсегда...

Этим холодным утром почтальон Музаффар, с полной сумкой шагая по улицам нагорной части Баку, отворяя знакомые двери, раздавая газеты, журналы, письма, каждый раз встречал во взглядах людей – мужчин, женщин, молодых и старых – выражение великого горя. Шагая по асфальтированным тротуарам, по мощеным булыжником улицам, почтальон Музаффар удивлялся, что жизнь продолжается, хотя все погружено в печаль, она впиталась в стены и камни, а жизнь – она сама по себе. Как прежде, он разносит газеты, письма, журналы, по улицам ездят машины, кто-то что-то покупает, кто-то куда-то идет...

В газете «Коммунист» опубликовали «Бюллетень о состоянии здоровья И.В.Сталина». В бюллетене говорилось, что «к двум часам четвертого марта у И.В.Сталина наблюдалось значительное расстройство дыхания, участился пульс, степень нарушения функций головного мозга несколько увеличилась...». Внизу были напечатаны фамилии врачей и фамилия министра.

Почтальон Музаффар не понимал многие слова и выражения в этом бюллетене, но такие, как «участился пульс, нарушения увеличились» напомнили ему о болезнях жены, детей, его самого, других жителей махали, с которыми делился заботами, выпивал по скорбным и радостным датам. Но не понимал, как это Сталин мог заболеть. В самом слове «больной» звучало бессилие. В той же газете «Коммунист» были статьи и о подарке Болгарской Академии наук Московскому университету, о том, что члены колхоза имени Л.М.Кагановича Имишлинского района обязались выполнить план заготовок животноводческой продукции к празднику 1 Мая, о награждении орденами и медалями работников азербайджанской нефтяной промышленности, о нападении правительственных войск на бандитские отряды Чан Кайши в Бирме... Только все это происходило точно не на земном шаре, а в каком-то другом мире, на Луне или Марсе, потому что заболел Сталин, а если заболел Сталин, что могло быть более важным? Всему, что было на свете, болезнь Сталина ставила предел. Иначе и быть не должно! Вдруг почтальону Музаффару пришло в голову, что может появиться и что-то хорошее, например амнистия, и немного повезет несчастным,

которые глаза выплакали по своим сыновьям и братьям. Почтальон Музаффар растерялся. Такие мысли означали, что болезнь Сталина... Дальше Музаффар не думал, только пожелал, пусть аллах заберет от его жизни, что осталось, и добавит Сталину, удлинит жизнь этого великого человека.

Почтальон Музаффар поудобнее приладил сумку на боку и ускорил шаг.

Когда в сентябре пятьдесят первого года забрали Баланияза, его ученик Агагюль не дал двери сапожной будки наглухо закрыться. Сел на место Баланияза, надел его синий фартук, взял в руки молоток и нож и стал с утра до вечера подбивать подметки. Каждый день он навещал тетю Фатьму, покупал ей съестного, а из заработанного половину откладывал – отдать Баланиязу, если вернется. Налог же, назначенный государством на будку и способный перебить человеку хребет, выплачивал из своей доли. Возвращение Баланияза было делом очень неясным, а в махалле не нашлось такого образованного, чтоб знал законы. Пошел бы, разузнал, что с несчастным, но Агагюля кто в НКВД за человека считал, близко бы подпустил! Однажды, когда забрали Баланияза, пошел к Большому дому, что около бульвара, там его спросили: ты ему кто? друг? может, один из тех, кто болтал? После этого Агагюль сторонился Большого дома – столько страху на него нагнали. Конечно, стыдился собственной трусости, но не было другого выхода, кроме как, опустив голову, латать старые башмаки, потому что в доме рядом с Желтой баней, где раздвоенное тутовое дерево, каждый вечер ожидали Агагюля шесть сестер, мал мала меньше... Агагюль был уверен, что Баланияза оклеветали. При нем никто не посмел бы говорить против Сталина. Баланияз еще во время войны вытатуировал портрет Сталина у себя на груди, над сердцем; и такие, сделанные тушью портреты Вождя, имя Вождя, сердечные слова о нем были на руках, на груди всех махаллинских парней, ибо считалось, на свете нет человека боле великого. Баланияза продали те, кому он не нравился. Простые люди уважали его за доброту и деликатность, в жизни он не пробовал анаши, никого не обидел... И Агагюль, как и другие жители махалли, подозревал, что в аресте Баланияза виноват проводник Абдулкерим.

Абдулкерим был в махалле пришлым человеком, после войны получил здесь квартиру, женился на молодой русской; жили вдвоем, детей не было. Хотя в махалле поговаривали, что у Абдулкерима в

российских городах много детей (молодую жену из России привез), он совершенно не походил на человека, у которого могут быть дети. Никто не представлял себе проводника Абдулкерима в роли отца. И Агаюль хотел взять сапожный нож, ночью на улице преградить дорогу этому негодяю, спросить о Баланиязе, но не отважился. Проводник Абдулкерим был непростой человек, всегда восхвалял правительство и всюду искал врагов – встать ему поперек пути было все равно, что Советской власти. Если бы с сапожником Агаюлем что-нибудь произошло, сестры его с голоду бы померли (и отец, и мать были в лучшем из миров). Да и бедняга Фатма оказалась бы одна на всем белом свете без Агаюля. Старуха Фатма очень сдала: с утра до вечера безмолвно сидела на деревянных ступеньках во дворе, и ни слезинки не было в ее глазах. Сколько можно плакать? Выплакала она свои слезы за долгие годы... А что же будет теперь? Не только со старухой, не только с Агаюлем и его сестрами – со всей махаллей? Как жить, что их ждет? Сталин заболел... Сталин! Агаюль, по правде говоря, был уверен, что Сталин выздоровеет, но на сердце было тревожно: не надежен мир... И дела в мире, и люди не надежны... У Агаюля в горле вставал комок, слезы щипали глаза. На фанерных стенах его маленькой сапожной мастерской, как и на стенах керосиновой и хлебной лавок и в каморке кассира в Желтой бане, были развешаны портреты Сталина. Баланияз вырезал из газет, журналов, особенно из журнала «Огонек», и приклеивал на стены. И на базаре у фотографов покупал и приклеивал: Сталин в форме генералиссимуса, Коба с черной бородой и шарфом, закинутым за спину, Сталин и его сын генерал Василий Сталин, Сталин с маленькой девочкой на руках, Сталин с Мао Цзэдуном, Сталин с Берней, Микояном и Кагановичем, Сталин и Горький, Сталин со своей матерью... И Агаюль, приколочивая к мужским туфлям резиновые набойки, хоть и верил свято в выздоровление Сталина, но с беспokoйством в душе поглядывал на портреты на стенах будки: это были портреты самого дорогого, самого доброго человека, но этот родной, добрый, дорогой человек находился на недосягаемой высоте величия, и какой бы ни была болезнь, ее силы не могло хватить, чтобы добраться до этой высоты. Болезнь могла сделать что угодно махалле, городу Баку, даже всему миру, но Сталину ничего не могла сделать.

Открыв для себя эту истину, Агаюль с особым усердием вбивал гвоздики в подметки...

* * *

И еще день прошел в тревоге. В пятницу, шестого марта, жители махалли снова собрались перед Желтой баней под раздвоенным тутовым деревом. На лицах была такая печаль, что могло показаться, опечалились и поникли стены домов, тутовник и не желтой, а серой стала баня. Почтальон Музаффар сквозь толстые очки водил глазами по газете «Коммунист», голос дрожал и срывался:

— «Дорогие товарищи и друзья! Центральный Комитет... Совет Министров... Президиум Верховного... с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался... Иосиф Виссарионович Сталин...».

Из груди собравшихся на площади вырвался общий вздох. Как невидимый смерч, он пролетел над площадью, качнул Желтую баню, уличные фонари. Почтальон Музаффар, дергая кадыком, глотал сырой воздух:

— «...Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя Коммунистической партии и советского народа...».

Громко заплакали дети, мужчины вытирали глаза. Даже на похоронах отцов, братьев, близких скрывали слезы, а сейчас плакали. Проводник Абдулкерим тоже был на площади, и когда на кого-нибудь падал его взгляд, то на всякий случай всхлипывали еще громче. Плакали, конечно, искренне, но раз и проводник Абдулкерим здесь, пусть видит... Сам проводник Абдулкерим не плакал, а зорко следил за людьми, и чувствовалось, хочет выяснить: кто как плачет.

Почтальона Музаффара душили рыдания, буквы, напечатанные в газете «Коммунист», расплывались перед глазами, колени дрожали. Долгие годы круживший с почтовой сумкой по улочкам Баку, взбиравшийся в гору, не знающий усталости, этот человек вдруг обессилел. Однако взгляд проводника Абдулкерима заставил Музаффара взять себя в руки.

— «Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ Сталин привел советский народ... товарищ Сталин вооружил партию великой и ясной целью построения... - читал Музаффар. – Смерть товарища Сталина является тяжелой утратой для всего...».

Над площадью снова прокатилась волна рыданий, и сапожник Агаюль, из покрасневших глаз которого лились слезы, дал себе клятву, что обязательно женится, родит сына и обязательно назовет его

Коба – обязательно, обязательно. Да будет так! Сапожнику Агагюлю было двадцать четыре года, молодость проходила, он столько работал, заботясь о сестрах, что не находил времени подумать о женитьбе. Но в это мартовское утро твердо решил жениться, не откладывая. Родит сына, которого назовет Коба. Те, у кого есть совесть и честь, должны поступить так же: сыновьям давать имя Коба, в каждой семье был бы свой Коба... Правда, на свете никогда больше не будет такого великого человека, как Сталин, никто не может до него дотянуться, зато все дети будут носить великое имя.

Проводник Абдулкерим, вернувшись в то мартовское утро с площади перед Желтой баней, брился на кухне и не без удовольствия рассматривал в зеркале свое намыленное лицо. Зеркало, прибитое к стене над умывальником, было, конечно, очень грязное, и Абдулкериму пришлось встать на цыпочки, чтобы получше себя разглядеть. Мясистый кончик носа уперся в стекло. Жена терпеть не могла домашние дела, где что бросит, там и оставит. Кроме картофельного супа, ничего варить не умела. Тряпку не возьмет в руки – зеркало протереть. Проводник Абдулкерим злился, но, как и всегда по утрам, в это утро перед его мысленным взором возникла белая пышная грудь жены, такая белая, что Абдулкерим зажмурился. Наташа еще нежилась в постели, лежа на спине, полные руки закинула за голову. Она спала, утомившись от ночных утех. Проводнику Абдулкериму почудился запах рыжих волосков у нее под мышками, и по всему телу прошла приятная волна. Захотелось снова залезть в постель, но не надо спешить, еще целых три дня впереди... Наташа была намного моложе – ему тридцать, ей всего двадцать. Проводник Абдулкерим привез эту пышущую здоровьем девушку из Ростова и, чтобы она, безусловно, как говорится, на все сто принадлежала только ему, официально с ней расписался. На бесчисленных станциях России проводнику Абдулкериму еще не встречалась такая красotka (а бесчисленные станции России были для проводника Абдулкерима чем-то вроде гарема). Неряшливость Наташи, правда, иногда раздражала, но этот недостаток забывался в объятиях молодой супруги. Абдулкерим сам брался за тряпку, протирал зеркало, смахивал пыль с окон и мебели, подметал пол, плотно завесив шалью окно кухни, выходящее во двор, стирал в тазу белье – свое и Наташи. К столу всегда было свежее мясо, свежая рыба, икра, прекрасная домашняя колбаса, купленные или обмененные на разные вещи на станциях России. Баловал Наташу. И сам,

чтобы достойно ее обслужить, беспрерывно жевал курагу, зелень, орехи, лакомился яичницей на курдючном сале – в ход шло все, что покалорийнее. Отправляясь в рейс, не оставлял жену одну в доме, а отвозил к своей сестре в Баладжары. Наташа и там только спала и ела. В семье сестры не смели и словом ее попрекнуть.

Проводник Абдулкерим за годы службы сплел, как паук, собственную паутину между Баку и станциями России вдоль следования поезда Баку-Москва и, скользя по нитям этой паутины от станции к станции, с выгодой менял яйца на картошку, картошку на птицу, птицу на рыбу, рыбу на керосин, керосин на сорочки, сорочки на икру... У проводника Абдулкерима всегда был хороший доход, и все, даже самые большие начальники, закрывали глаза на его делишки: боялись...

Разоблачая среди работников Азербайджанской железной дороги замаскировавшихся врагов народа, проводник Абдулкерим в тридцать седьмом году вступил в ВКП(б), на всех партийных собраниях призывал к бдительности, а если сомневался в чьей-либо политической благонадежности, немедленно писал в НКВД, в ЦК КП (б) Азербайджана, в Москву. В праздники – 7 ноября, 1 Мая, а потом 9 Мая, нацепив на грудь алый бант, с лозунгом в руках проходил перед трибуной в первых рядах железнодорожников; каждый год посылал телеграммы: 21 декабря – Сталину, 19 ноября – Калининну, после смерти Калининна – 19 мая Швернику, от души поздравляя с днем рождения; и его межстанционная торговля была на хорошей смазке. Как колеса вагона, в котором он развезжал по стране. И если во всем Баку набиралось с десяток человек, довольных жизнью, то одним из них был проводник Абдулкерим. Всю войну он просидел в тылу – дали бронь, чтобы не связываться.

Бритва же, которой в это мартовское утро брился на кухне проводник Абдулкерим, была трофейная, немецкая (привез из Грозного, обменяв на что-то) и такая острая, что в мгновение ока перережет горло кому угодно.

Бреясь, проводник Абдулкерим вспомнил, что умер Сталин. И Сталин, оказывается, может умереть... Небось, считал: он – Сталин, целый мир под ним, а не подумал, что и Александр Македонский умер, а мир как был, так и есть... Сидел на троне в своем картузе, будто это корона, а не картуз, усы пушил и худа не чуял... Теперь вот сунут в сырую яму, тогда узнает! Но как не вовремя загнулся старый черт! Кто знает, как теперь будет, кто придет, кто станет новым Сталиным? Нет, совсем не время было помирать... Проводник Абдулкерим, когда злился или нервничал, ругался по-русски: «Сволуш!» И сейчас выругал покойного: «Сволуш! Нашел время подыхать!»

Его взгляд скользнул по двору и уперся в деревянную лестницу дома шапочника Ашрафа: там когда-то жил человек по имени Баланияз, сапожником был, как кошка на молоко, исподтишка паялся на Наташу (такие вещи, естественно, не укрылись от проводника Абдулкерима). Что ж кинули ему десятку, пошел, сукин сын!.. А как, если амнистию объявят? Те, вернувшись, что скажут? Проводник Абдулкерим был вне себя: «Сволуш! Нашел время подышать, старый хрыч!»

Сквозь кухонное окно он в изумлении увидел на деревянной лестнице старуху Фатьму. Сидела наверху и горько плакала. Эта женщина, которая долгое время не раскрывала рта и никто от нее не слышал ни слова, сидела на лестнице и рыдала в голос!

Когда сапожник Агагюль с исплаканными глазами вошел в комнату и положил на стол полкило белого хлеба, у старухи Фатьмы упало сердце – так гроздь винограда, срезанная ножницами, падает на землю: старуха поняла, что умер Сталин. Всю ночь она не спала; вчера молила аллаха, чтобы пришла какая-нибудь весточка от Баланияза, чтобы вернулся невредимым, а в эту ночь молила и за Сталина, чтобы не умирал, потому что, если Сталин умрет, не останется и малюсенькой, с кончик иголки, надежды. Пропадет мир, еще хуже будет, чем с Ашхабадом после землетрясения... Старуха Фатьма не дотронулась до хлеба, не заварила чаю. Показалось ей, будто комната это не комната, а могила. С трудом поднявшись с паласа, на котором сидела, скрестив ноги, она вышла, спотыкаясь, из дому. Ее обступила темная душная теснота, словно чем-то заслонили все вокруг, и это неведомое «что-то» и двор превратило в могилу. Старуха Фатьма примостилась наверху деревянной лестницы и зашептала, плача:

— Что же будет? Аллах, что за несчастье? Как ты такого человека не пожалел, о аллах! Что с нами будет?..

А на голые ветки раздвоенного тутовника перед Желтой баней с шумом сажались воробьи, улетали и возвращались – в это холодное мартовское утро только они ни о чем не жалели.

1990, апрель

НОЧИ ЯСНЫЕ, НОЧИ ЛУННЫЕ

Анару

В ту прохладную летнюю лунную ночь небо усеяло столько звезд, столь несметные мириады звезд, со всех сторон нависших над седо-главым старцем, что ему, Шейху Мустафе, почтительно прозванному народом Шарафбахшем, собственная жизнь пред этим несметным множеством, беспредельностью, недостижимостью показалась очень краткой, мгновением ока, и действительно, что значили девяносто лет, прожитых достославным Шейхом на этом свете по сравнению со столь огромной, столь недостижимой вселенной, перед этой бездонной вечностью, представавшей в мерцании звезд в ту летнюю лунную ночь?.. Ничто, миг, жизнь бабочки...

В ту летнюю ночь под древней грушей во дворе был расстелен сперва войлок – чтоб уберечь старого Шейха от сырости, исходящей от земли, поверху – старинный тебризский ковер, всю жизнь служивший владельцу, ничуть не поблекший, не выцветший, без единого расплзшегося узла, а на ковре – тюфячок, а по бокам и у комля дерева – валики-мутаки, чтоб облокотиться и прислониться, и Шейх Мустафа Шарафбахш сидел на этом тюфячке, скрестив ноги под собой, перебирая бусинки янтарных четок, каждая – с кизиловую ягоду, созерцал это звездное сево и улыбался в усы, а спроси у него, чему улыбается, он бы не смог объяснить, – сквозило в этой улыбке детское, чуть ли не младенческое изумление, не вяжущееся с седой бородой.

...Но бабочке хватает и опущенной ей однодневной жизни...

И когда Шейх в летние ночи, или в погожие весенние, осенние вечера сживал под грушевым деревом, созерцая звездные небеса, или погрузившись в думы с четками в руке, казалось, замирала и домашняя живность на подворье, и переставали шелестеть листвою дерева, и в такие поры домочадцы, невестки не решались нарушать эту тишину, не смели вторгаться в это безмолвие, – подать чаю, поднести фрукты или что еще...

...Но бабочке хватает и одного дня жизни...

Со стороны двухэтажного особняка донесся голос, на который, казалось, первым отозвалось всполошившим шелестом старое грушевое дерево, и Шейх оторвал взор от далеких звезд, глянул в

сторону дома и голосом, сохранившим зычную силу вопреки бремени прожитых лет, сказал:

— Кто это? Пусть войдет.

И, посетитель впервые преступивший порог этого очага, быстрыми и резкими шагами подошел к Шейху, но, как только вблизи увидел старца в млечном свечении луны, ощутил глубину его чуть мерцающих голубых глаз, проникся трепетом при виде внушительных седин девяностолетнего аксакала, пришельца враз покинула решительность, он осекся и попенял на себя, как же он на ночь глядя посмел беспокоить Шарафбахша, но самое странное, что его привели в чувство и ободрили этот пристальный взор, эта глубина, эти степенные белые седины, и пришелец выплеснул с прежним возбуждением, побудившим его явиться к Шейху.

— О, Шарафбахш! Я еле сдержался, чтоб не взять на душу грех! Чуть было не пролил кровь... но я отшвырнул кинжал и кинулся к твоему порогу за советом... Я соседу своему не причинял никакого зла, только добро делал. А он платит мне лихом. Как же быть мне, Шарафбахш? Как поступить мне с лиходеем?

Шейх пристально всмотрелся в глаза пришельца, и тому показалось, что старик видит его насквозь, что взор достопочтенного Шейха проникает в его существо, и, должно быть, это ощущение придавало словам старца силу зримого, материального письма, врезающегося в мозг.

Шейх молвил:

— Ступай с миром и соверши добро этому соседу.

И пришелец уразумел, что вот сейчас он покинет двор, и впредь, следуя совету старца, будет делать добро своему ненавистнику и лиходею.

И та лунная летняя ночь завершилась, и завершилось лето, и дни сменяли друг друга, и осенняя желтизна тронула листву, и золотой листопад окутал двор; каждый раз, когда угасал закат и густела ночная темень, палые листья под старой грушей возвещали не только о минувшей весне, лете, о том, что и долгие годы, прожитые на брэнной земле, остались далеко – далеко как эти звезды, – они возвещали о том, что дорога жизни, начавшейся девяносто лет тому назад, близится к исходу, туда, откуда нет возврата.

И по мере приближения Исхода, отдалялось Начало, но удивительно, что в ту погожую осеннюю ночь, сидя под старой грушей в теплой одежде, во дворе, где осенняя желтизна растворилась в полумгле, сквозь которую струился лунный свет через редкие листья,

установившись на красные тлеющие угли мангала, Шейх ясно прозрел это далекое, давнее начало, все видения этого далекого (и увековеченного!) былого, даже годы младенчества, но эти родные, заветные видения не согревали старое сердце, напротив, от этих картин, отторженных пространством долгих-долгих лет (отторженных навеки!), исходил осенний холодок, остуда, осенняя желтизна, ибо они виделись теперь, при приближении Конца, как за студеным стеклом, все больше утолщающимся по мере продолжения длинной дороги жизни.

И снова, похоже, первым всполошилось на нарушение осенней тишины старое грушевое дерево, вернее, от легкого дуновения заворошилась и перепорхнула верхушка палых сушающихся листьев с тихим шуршанием, и Шейх, оторвав взор от тлеющих углей, глядел на эти перепорхнувшие сухие листья, – и эти листья, конечно, означали Конец, но то, что Конец столь легок, вновь напомнило старику бабочку-однодневку...

...Но бабочке хватает и одного дня жизни...

...Потом он посмотрел в сторону дома и, догадываясь, кто пожаловал, все же сказал:

— Кто это? Пусть войдет.

То, что давний пришелец за время, минувшее после той встречи в летнюю лунную ночь, переборол, превозмог, победил себя, – было очевидно, как эти палые листья и это старое дерево, – об этом говорили глаза, походка, вид пришельца; представ пред очи старца, он обратил взор на руки Шейха: обе руки покоились на коленях, на левом запястье повисли янтарные четки; при отсвете мангала проступали морщины на жилистых руках, и пятерни с длинными сухими пальцами, пожухшая кожа в пигментных каплях и усеявшие весь двор палые листья словно дополняли друг друга, но это было на первый взгляд, и пришелец почувствовал собственное тепло этих старческих рук, согреваемых жаром мангала, и именно это живое тепло было магнетической силой, повлекшей его к очагу старика в этот стылый осенний вечер.

— О, Шарафбахш! – сказал человек. – Я внял наказу твоему, и делал добро злополучному соседу при случае, по поводу и без повода. Но он продолжает причинять мне зло. Боюсь, доведет меня до греха... Порода такая злокозненная. Помоги мне, укажи выход, как же мне быть.

Шейх взял щипцы и поворошил угли в мангале (от этого внезапного движения пришелец вздрогнул, будто полагал, что эти руки так и будут покоиться на коленях), воцарилось молчание, эта пауза

показалась вечностью; наконец Шейх произнес, не сводя взора с мангала:

— Ступай с миром. И продолжай делать добро.

Если Шарафбахш говорит так, значит, так и надо поступать, это ясно, как божий день, — как бы ни было тягостно, мучительно такое поведение, но если он, этот человек, искал правды, справедливости, опасался взять на душу грех, то ему надлежало следовать совету Шейха, ибо он ни на йоту не сомневался в том, что устами Шейха глаголет истина.

И минула осень, и настала снежная, студеная зима, и палые листья во дворе остались под снегом; в томительно долгие зимние дни погода ни разу не позволила Шарафбахшу выйти во двор на привычное место под старой грушей; пришлось ему всю зиму просидеть дома и созерцать внешний мир сквозь оконное стекло; нагие ветви грушевого дерева, нахолодавшись, наконеченшись от снегопадов и метелей, наконец, дождались весны, и, как сотню лет назад, ожили, набухли почками, расцвели, облиствели, завязались плоды, настало лето, и в один из летних вечеров Шейх Мустафа Шарафбахш вновь восседал под старой грушей, прислонившись к стволу дерева и возложив руки на валики-мутаки, и вновь с детским любопытством, которому не мог стать помехой девяносто один прожитый год, погрузился в созерцание неба, и вновь безоблачное небо вызвездило, и улыбка тронула губы старца, улыбка, выражающая и изумление, и в то же время некое воодушевление и даже благодарение. Чему был он благодарен — луне ли, звездам ли? Или летней ясной ночи? Деревьям, цветам, травам? Чему? Кому? За что?

...Но бабочке хватает и одного дня жизни...

На сей раз впервые сам, без оклика, повернул голову к дому (почувствовав, что кто-то явился) и, не спрашивая о личности визитера, сказал:

— Впустите.

В медленной поступи явившегося к нему человека ощущалась свинцовая тяжесть, по изнуренному, измученному виду можно было понять, что эта свинцовая тяжесть проникла все его существо; жесткую волнистую копну волос, усы, бороду, прошлым летом едва тронутые проселью, теперь густо убелила седина; и хотя грубые, крепкожилые руки сообщали о решительности, силе, хватке, эта седина, этот потухший взгляд говорили о бессилии и отчаянии.

Шейх, как и раньше, всмотрелся в глаза представшего ему человека, и последнему вновь показалось, что взор старика проник его

насквозь, но на сей раз он не смешался, напротив, как будто после всепроникающего пронзительного взора старика в нем внезапно всколыхнулись, выплеснулись, взорвались с дикой силой все возмущение, гнев и ярость на произвол и безбожные непотребства мира сего, то, что он мучительно обуздывал в себе все это время, и человек с опаленным под солнцем, задубевшим лицом, с вздувшимися жилами на медной шее, пытаясь подавить прорвавшееся извержение, задыхаясь, сказал:

— Я больше не могу, Шарафбахш! Невмоготу! Я устал! Я больше не могу терпеть... Сдерживаться... Я столько... добра сделал... этому неблагодарному... соседу... А он платит той же монетой... Пакость за пакостью! Я извелся! Все! Basta! Кончено!

Воцарилась такая тишина, что казалось, в этой тишине даже старое грушевое дерево замерло, оцепенело, не смея шевельнуть ни единым листочком. А у этого человека в душе бушевала буря, клокотал вихрь необузданных чувств, равнился на свободу, наружу, и оттого бешено колотилось сердце. И эта колотыба сердца стала явственно слышаться в нависшей тишине, как предвестие несчастья.

Шейх оторвал взор своих голубых глаз от глаз пришельца; сперва, как бы не зная, на чем остановить взгляд, обвел взором деревья вдоль забора, аккуратно выложенного гладкой речной галькой, потом снова всмотрелся в глаза собеседника и произнес теплым и мягким тоном, таким же, как и год тому назад:

— Как же получается, что твой сосед не устает причинять зло, а ты устаешь творить добро?

Старое грушевое дерево сбросило с себя оцепенелость, и дуновение всколыхнуло листья, и листья зашелестели.

И человек, обреченный творить добро (всю жизнь! До самого Конца!) покинул двор тяжелыми шагами.

А небо, казалось, постепенно становилось еще чище, еще прозрачнее, как и год тому назад, и звезд становилось больше, мерцающих звезд, и Шейх Мустафа Шарафбахш, созерцая далекие небесные светила, вновь вспомнил о бабочке, перепархивающей с цветка на цветок, с колоска на колосок, о бабочке, которой отпущен всего один день жизни на земле...

КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ В ОТЕЛЕ «ПЕРА-ПАЛАС»

В «Цветочном пассаже» Тамара, прижав к груди аккордеон и жадно, глубоко затянувшись сигаретой, будто сто лет не курила, урезала мажор, пронзавший до кишок, и заблелала.

Юсиф, возьми меня,
Обними своими руками.
Иди поспи со мной.
А потом — бросай меня!

Без сомнения, ночные посетители «Цветочного пассажа» впервые слышали эти прекрасные слова, положенные на не менее прекрасную музыку, потому что снова наступил чудесный и неожиданный день презентации плодов творчества Тамары, но эта презентация отличалась от всех остальных тем, что автор, то есть выдавшая виды Тамара, певшая неопределенным, потерявшим пол от настоящего столетнего спирта мира искусства (великолепного спирта!) и дыма сигарет голосом, и сама впервые слышала то, что пела, так как только что наспех сымпровизировала, эту песню в честь Юсифа Борша, который вместе со мной сейчас вошел в «Цветочный пассаж», и Тамара, глянув на него с той же столетней выдержки страстью, ярким пламенем горевшей в голубых ее глазах, и истошно проорав этот куплет на весь «Цветочный пассаж», подмигнула бедному Юсифу Боршу, внезапно ставшему похожим на съжившегося, тощего, шутивого, с дрожащими ушами зайца, и опять — неизвестно — мужским ли, женским ли — голосом протянула:

А потом — бросай меня-а-а-а!

А я, словно этих страданий Юсиф-беку было мало, прибавил:

— Юсиф-бек, борщ — украинский суп из капусты и бурака.

— Конечно, уважаемый, конечно — ответил он, естественно, не будучи специалистом в области украинской кулинарии, и становилось ясно, что экспромт Тамары полностью уничтожил этого беднягу.

Час назад (всего через полчаса после того, как ты покинула мой номер! Запах твоих духов, смешавшись со свежестью красных гвоздик, еще царил в этой, комнате...) по поручению объединенных турецких писателей пришел ко мне в отель «Пера-Палас» Юсиф-бек и, куря сигареты без фильтра, одну за другой, которые держал меж пожелтевших от табака, длинных худых пальцев, пригласил меня на вечернюю прогулку по городу.

Таким образом, выяснилось, что Объединение турецких писателей поручило этому милому человеку занять меня в этот вечер, чтобы мне одному не было скучно в незнакомом городе (Стамбуле?!), и, конечно, да здравствует Объединение турецких писателей, но был для меня во всем этом один интересный и странный момент: между твоей красотой, твоими нарядами, твоим вкусом, духами, здоровьем, смелостью, страстью, самонадеянностью, ленью, острым умом, впечатлительностью, небольшим снобизмом и «небольшим эгоизмом, откровенностью (что же еще?)... взглядом, шутками, тем, что ты любила, богата, горда и властна, твоим кинопочтением (видишь, я и это не забыл!), любовью к приключениям, тем, что ты ни в чем себе не отказываешь... потом... хорошей памятью... скрытой холодностью (может, скрываемой даже от себя самой, но не плотской...), часто меняющимися настроениями, злопамятством, информированностью, рискованностью, бескомпромиссностью (достаточно?) и между внешним видом и сущностью уважаемого Юсиф-бека была такая пропасть, такой контраст, что этот контраст (говорил же тебе, что я еще тот тип, но если честно, то я и сам не знаю, что за тип) пробудил во мне давно не испытанный подъем духа и желание выйти вместе с Юсиф-беком на вечернюю прогулку по Стамбулу.

(Впоследствии, когда номер в «Пера-Палас» и красные гвоздики в этом номере превратились в воспоминание, во время нашего разговора по телефону в Баку, ты сказала: «Стамбул — город романов. — И тут же прибавила: — Шучу». «В каждой шутке есть доля правды», — сказал я. Ты рассмеялась: «В каждой шутке есть доля шутки».)

И вот теперь, по приглашению Юсиф-бека, мы сидим с ним друг против друга в «Цветочном пассаже», он пьет раки рюмку за рюмкой, я — пиво, кружку за кружкой (свою норму водки я уже принял заранее, позже еще врежу, и вообще, это я только так говорю — норма, моя норма похожа на безразмерный носок — и на маленькую ногу налезит, и на большую), он курит сигарету за сигаретой, я... я же не курю, ибо ровно десять лет назад сделал большую глупость: дал себе слово бросить курить и бросил. (Порой тревожная мысль приходит в голову: а вдруг я повторю ту же глупость с выпивкой, что же мне потом делать?)

По «Цветочному пассажу», задрав хвосты, прогуливались сытые, все как на подбор — упитанные, избалованные судьбой коты. Тамара же, завидев Юсиф-бека с каким-то дьявольским огнем в душе, под аккомпанемент аккордеона, не переставая пела неповторимую любовную песнь, посвященную этому старейшему труженнику пера:

Юсиф, возьми меня,
Сыграй на мне.
Как на этой гармонии.

Сыграй, если сможешь,
Возьми, если сможешь.
Если смо-о-о-жешь!

Она посмотрела своими большими, черными, как ночь, глазами на гвоздики в цветочной вазе в номере отеля «Пера-Палас» и спросила:

— Вы в самом деле привезли эти цветы из Баку?

— Конечно, — сказал я.

Снова «вы», и это «вы» по сравнению с моими к ней то есть, к тебе! чувствами так отчужденно звучало, столько в этом «вы» было стеклянного холода, что мне страстно захотелось первым, что подвернется под руку, запустить в это стекло, разбить его на мелкие осколки.

Она снова глянула на красные гвоздики, потом перевела взгляд своих больших, черных, как ночь, глаз и посмотрела мне прямо в глаза.

— Правда?

Мне вдруг показалось, что эти большие, черные глаза не мне не верят, а красным гвоздикам в цветочной вазе, но, конечно же, эта мысль, ясная как солнечный день(!) была обманчива, и я поклялся (и в самом деле так было):

— Спекулянты в бакинском пассаже божьи свидетели, что по дороге в аэропорт я завернул к ним и купил цветы, а уж потом прилетел в великолепный Стамбул (к тебе!).

Взгляд больших, черных глаз с учительской строгостью уставился на меня.

— Это для меня очень важно, — сказала она.

Почему же это для тебя было так важно?

И вообще, зачем я купил и привез тебе из Баку эти красные гвоздики? Разве в начале третьего тысячелетия в Стамбуле перевелись гвоздики?

В тот период моей жизни, связанный с Москвой, в очередной мой приезд туда я как-то сидел в ресторане Центрального Дома литераторов (этот прекрасный ресторан всей своей атмосферой дышал вызовом социалистическому строю, но впоследствии, когда столь бесславно окончил дни свои Советский Союз, ресторан тоже утратил свою былую славу...) со старым своим знакомым драматургом (тогда ему было чуть больше лет, чем мне сейчас), вечно нахмуренным, неулыбчивым, вечно чем-то недовольным и озабоченным комму-

нистом со стажем, лауреатом Ленинской премии; мы пили водку, когда вдруг я заметил непривычную для него улыбку в его подвижных мелких и круглых глазах, напоминавших сейчас пробудившиеся первые весенние цветы.

Этот известный драматург вернулся на миг в свою юность, или же — и это будет точнее — юность, вернувшись, вцепилась ему в горло.

Позже, когда мы все еще сидели в том же ресторане и выпивали, я, не сдержавшись, спросил его о причине столь неожиданной метаморфозы, и драматург — будто давно ждал этого вопроса, с большим душевным подъемом, вдохновенно стал рассказывать о своей любимой.

— Знаешь, мой молодой друг, — начал он, естественно, по-русски, — я не помню другого такого случая в своей жизни, или почти не помню... Мне все время хочется говорить о ней... Все время думаю о ней... Она искушенная в любви, немного испорченная, немного порочная, но любимая мной (очень!) и любящая меня маленькая фея...

Эти слова потому, видимо, застряли в моей памяти, что я впоследствии увидел ту девушку, и была та похожа на самого невинного ангела во всей Вселенной, на вид очень далекая от порочности и многозначности юной Лолиты, маленькая, нежная...

но почему я это сейчас вспоминаю?
не знаю...
может, знать не хочу?...

Я не должен был говорить тебе это и не должен был писать об этом, но сказал, вернее, отчасти! сказал, а то, что не высказал, отчасти пишу сейчас, потому что между нами возникло нечто странное (что? сейчас скажу), и я, недолго думая, и была, не ломая голову, понял, что это нечто — есть истина, (Просто истина, и если это нечто — не фальшь, не обман, а на самом деле истина, так почему же я должен периодически, раз за разом отдалять ее от себя (тем более, что это и невозможно!) и скрывать от тебя(!)? — и когда мы сидели напротив друг друга в номере отеля «Пера-Палас» (в считанные минуты, остававшиеся уже до постели, уже готовые к постели), ты вдруг, неожиданно для меня, на миг напомнила мне свою мать, и я вспомнил до мельчайших подробностей тот день, когда узнал о ее смерти, и так же внезапно я понял, что мы с тобой можем полюбить друг друга, пусть даже эта любовь превратится в запоздалую любовь Лейли и Меджнуна, но в постели я не смогу любить тебя так, как хотел бы я (и ты!), испытать тебя до дна, потому что эта мгновенная похожесть

заставила меня уйти в себя, мне почудилось, что мы с тобой совершаем предательство, что я совершаю предательство (!)... нет... между нами ничего не было... может, и могло бы быть... можно сказать, ничего не было... наверное, могло бы быть... но не было... и у меня такое чувство (и долгие годы нашего знакомства жило чувство), что я тому причиною, что не было из-за меня, то есть, если бы я очень захотел, страстно возжелал, то наверняка было бы...

...посмотри только, что я тебе пишу...

...однако, пишу, что думаю и чувствую, и, естественно, эти мысли и чувства только мои, но не наши (не мои и ее)...

...Промеж нас царили — никогда мне не забыть их (ее нет, но все это ни за что не сотрется из моей памяти, после меня же ничего не останется от тех ощущений и чувств в нашем вечном и изменчивом мире, и, несмотря на то, что я дожид до пятидесяти двух лет, однако никак не могу смириться с подобными истинами прописными, истинами отвергаю их...) — особые чувства, и в то же время мне тогда казалось, что это не мешало ей жить идиллией юной семьи, может, и ошибаюсь, не знаю, но в те годы мне казалось, что никому, даже (!) мне не дано право нарушить эту ее семейную идиллию... я не позволял ничего по отношению к ней... себе, или ей?..

Позже, как-то во время очередной попойки, после нескольких бокалов коктейля, который в нашем (прекрасном мире никто, кроме меня — автора этого коктейля — не отваживался пить, мои непослушные пальцы под воздействием этого поила набрали в ту ночь номер ее телефона. Тебе тогда, наверное, было лет четыре-пять, она же была молодой красивой матерью. Я был на два года младше нее и старательно скрывал от нее (и от других!) свой возраст.

— Это ты? — спросила она, и в этом коротком «ты» мне почудились тревога и беспокойство, которые и сейчас помню, и, словно стоявшая за этим коротким словом, фраза: «Представляю, в каком ты состоянии, раз звонишь среди ночи», а наутро, после состоявшегося всего из десяти-пятнадцати вопросов-ответов и частых пауз телефонного, разговора, я подумал — и до сих пор не могу понять, с чем были связана тревога в ее голосе — с моим тогдашним опьянением, -или вообще—с моей жизнью?

Видимо, со вторым...

Во всяком случае, мне так кажется...

Может, я драматизирую простые отношения и предаюсь наивным чувствам, прячу голову в тех ощущениях, подобно страусу, не ведающему о теле своем?, нет... и второй раз я звонил ей после дикой попойки, после ударивших мне в голову пресловутых моих коктейлей, и сколько же тебе тогда — лет восемь-девять — было? А лет через пять или шесть, когда я звонил ей опять же среди ночи в третий, последний раз, я был абсолютно трезв, никаких коктейлей! (но в

сердце моем царила атмосфера тех коктейлей, сильное желание, а тебе в то время уже лет двенадцать-тринадцать, наверное... странно, почему я все это подсчитываю с такой бухгалтерской точностью?).

— Ты опять пил коктейли?

— Да, — соврал я. — Знаешь, этот мой коктейль похож на бальзам рыцаря из Ламанчи, от которого он выздоравливал, а бедный Санчо — напротив — испытывал страшные муки, помнишь?

— Нет, — сказала она.

Тот эпизод из достойной жизни рыцаря, из Ламанчи я тогда же, среди ночи, со своими дополнениями и экспромтами пересказал ей и, пародируя наших общих, ее (то есть, твоей матери) и моих знакомых, в особенности моих университетских преподавателей, заставил ее долго, весело смеяться. Мои пародии имели успех; потом, немного помолчав, она вдруг спросила:

— Кто ты?

— Ты до сих пор еще не поняла? — сказал я.

— Нет, — сказала она после небольшой паузы и повторила свой вопрос: — Кто ты?

— Кутила!

— Нет, — произнесла она с интонациями, которые до сих пор живут в моем сердце.

Это ее «нет» мгновенно перевернуло что-то во мне; я, растерявшись, положил трубку и какое-то время смотрел на эту неподвижно лежавшую трубку, и мне показалось (и сейчас так кажется), что все то время, что я, оставившись, смотрел на свой телефон, она держала трубку у уха, держала, прижав к уху трубку и вслушивалась в короткие отбойные гудки.

Эти мои сентиментальные признания, наверное, могут звучать примитивно, однако, что есть — то есть, и это еще цветочки; ее, такую, с прижатой к уху трубкой, слушающую короткие гудки, я сейчас вижу, как живую, до мельчайших подробностей, и не могу обманывать меня мои чувства — я уверен на сто процентов — это не плод большого воображения, принуждающего сердце сострадать и верить ему.

Да, некоторое время я смотрел на телефонный аппарат с покоящейся на нем трубкой, уважаемый алкаш Юсиф-бек, а ты даже не знаешь и естественно, никогда не узнаешь о чудесном эпизоде из моей жизни, достойном пера Флобера.

Тамара же, прижав к груди аккордеон, как бесценное сокровище, своим уродливым (и прекрасным!) голосом орала на весь «Цветочный пассаж», и жирные коты, белые, серые, черные, что-то общее имевшие с этим ее аккордеоном, будто новорожденными они вышли не из чрева кошки-матери, а из этого аккордеона и разбрелись по пассажиру, лениво внимали, глядя в сторону музыки, этому дикому (и прекрасному!) голосу:

Юсиф, бери меня!
 Буду тебе верна!
 Не возьмешь меня —
 Увяну, как цветок...
 Юсиф, возьми меня-а-а-а!..

Недавно, когда «Пера-Палас» остался уже в далеком прошлом (кричи — не докричишься, зови — не дозовешься!), я сидел на одном из очаровательных заседаний, где докладчик во все корки крыл Ленина за допущенные ошибки в оценке Толстого (в гнусное и отвратное советское время он читал в университете курс по ленинской эстетике), и, слушая эту ахинею, разговаривал с тобой:

«Я знаю, который я по счету в твоей жизни».

Ты смотришь мне прямо в глаза своими большими, черными, как ночь, глазами, немного растеряна, немного напряжена.

«И который?»

«Четвертый».

«Почему именно четвертый?»

«Не знаю...»

И в самом деле, почему четвертый?

А ты и не подозреваешь об этих наших разговорах...

Покрасневший, квк бурак, но не от выпитого раки, а от бурных и пламенных проявлений любви со стороны Тамары с ее аккордеоном, уважаемый Юсиф-бек всем своим маленьким, съжившимся существом старался не смотреть в сторону Тамары, потому что стоило голубым глазам Тамары встретить выцветший от многочисленных жизненных невзгод, проблем и переживаний, бесполезных дел к частых возлияний взгляд Юсифа Борша, как она приходила в неистовство, в творческий и любовный экстаз, и, прижав к груди аккордеон, становясь в позу монументальных памятников сталинской эпохи, напрягая жилы на жирной своей шее, что есть мочи орала:

Юсиф, возьми меня-а-а-а!..

В трех моих ночных звонках, с периодичностью раз в четыре-пять лет, для меня было еще и то удивительным, что каждый раз она сама брала трубку и разговаривала свободно, следовательно, все три раза была дома одна. Что это? Переключка чувств, или что?.. Мало того, она, кажется, в те минуты даже ждала телефонного звонка... А в долгие

годы (годы, когда ты росла!) между этими тремя телефонными звонками мы от случая к случаю встречались.

— Как поживаешь? — спрашивает она.

— Отлично, — говорю я.

— А ты как? — спрашиваю я.

— Лучше быть не может, — отвечает она по-русски.

Вследствие того, что Тамара, оседлав свою) музу, таким образом выдавала дастан «Юсифнам», у многих завсегдаев «Цветочного пассажира» — писателей, артистов, художников, одним словом, известных и неизвестных, настоящих и фальшивых деятелей искусства, не желавших оставаться в стороне от потехи, — рождалась настоятельная потребность с рюмкой раки или кружкой пива в руке — кто покачиваясь, кто пока еще твердыми шагами, но все, как один, улыбаясь до углей — подходить к Юсиф-беку в надежде дополнить своим словотворчеством этот ночной дастан и выпить за его здоровье, но дальновидный Юсиф-бек, не давая им и рта раскрыть, торопливо представлял меня:

— Наш гость, известный писатель из Азербайджана.

Рюмки и кружки, нацеленные на Юсиф-бека, поворачивались ко мне, и я про себя обращался с мудрыми словами к этому незаменимому человеку: «Дорогой Юсиф-бек, мы все гости на этой чудесной земле, и ты, и я, и эти люди, что пришли подшутить над тобой, и эта толстая неотесанная, похожая на раскоряченный платан, старая и внушительная Тамара, и эти жирные коты, и, как ни жаль, жак ни прискорбно, но и красные гвоздики в отеле «Пера-Палас»...

Выказав про себя столь глубокие мысли, я усмехнулся, я — старый двуличник, я знаю это уже более тридцати лет, и порой, особенно по ночам, прежде, чем отойти ко сну, остро переживаю по этому поводу, хорошо, что утром все забывается... до следующей ночи... и этот человек, перевешивший через весь зал к нашему столику с явной целью поиздеваться над Юсиф-беком, то есть, моим собутыльником, естественно, немного огорчился, что это ему не удалось, но ради любимого Азербайджана не выказал своего огорчения и, глянув на меня, произнес:

— В самом деле? Это прекрасно! (Ах, мошенник, ведь, в сущности, ты обижен, что не удалось подшутить над вкусным этим борщем). Как дела в родном Азербайджане? Держитесь? Очень мы утомились... возненавидели армян... Мы с вами!..

Откуда этому человеку было знать, что я, постоянно сам с собой говорящий тип, и на этот раз подумал про себя: «Ну да, немногого стоит быть с нами здесь, в «Цветочном пассажере», а вслух прибавил:

— Благодарю вас.

— Не стоит, дорогой... У этой старой бляди крыша поехала, сама не знает, что поет. Уважаемый Юсиф-бек — очень достойный человек.

— Господи, помилуй!.. — произнес Юсиф-бек и отпил из рюмки в трясущихся пальцах.

— Да, да! Юсиф-бек — наш аксакал! Не обращайте внимания на ту старую блядь... Это ведь.

— Естественно, — сказал я, и на самом деле, сейчас я не обращаю никакого внимания на Тамару, потому что все мое внимание и все мои мысли были обращены в прошлое.

— Брат, в честь родного Азербайджана, эфендим!

Таким образом, тост, предназначенный для издевательств над Юсиф-беком был выпит в честь нашей любимой родины.

— Благодарю, — сказал я, и тут вспомнил одну из встреч последних лет с ней, то есть, твоей матерью, и это видение было на столько реальным, я так точно и живо видел черты ее лица, выражение его, лучезарный взгляд ее черных глаз, что вздрогнул, мне показалось, что дух ее встает здесь, в «Цветочном пассаже», среди запахов пива, раки, что лук ее внезапно возник среди упитанных, ленивых кошек пассажа, и тут же пропал; а Юсиф-бек внимательно глянул на меня пронзительным, понимающим взглядом, нет, кажется, а этом алкаше и в самом деле что-то есть, он, как настоящий писатель, тотчас почувствовал, что произошло во мне нечто невыразимое словами...

Ты помнишь ту встречу? Я случайно встретил вас с матерью на бульваре (тогда я видел тебя впервые, нет, погоди, когда я впервые увидел тебя, ты была совсем маленькая, пришла с мамой в театр, ты была юным, прекрасным комсомольским лидером разваливающегося Союза (и конечно, кто бы тогда мог подумать, что пройдут годы, и мы с тобой, чтобы встречаться, вынуждены будем летать в Стамбул., так как в Баку нас каждая собака знала и не было никакой возможности... не знаю... и теперь думаю, что, может быть, в то время нечто похожее приходило тебе в голову... потому что, есть ли на свете хоть что-то, что не приходило бы в голову?!), и в то время мы, то есть, она и я, при тебе обращались друг к другу на «вы»...

Это далекое «вы», холодное, как лезвие ножа, сейчас вонзается в меня, в мое нутро, почему же в таком случае нет крови? Значит, это не заправдашний нож, о самое большое — художественный образ, и следовательно, все эти мысли, гражданин Юсиф Борш, выеденного яйца не стоят, никчемные и смешные, как гребень для бороды...

Пропавшая в Лондоне в 1926 году Агата Кристи преспокойно сидела себе в 411 номере отеля «Пера-Палас» и писала роман «Убийство в восточном экспрессе»; в этом отеле останавливался Рза шах Пехлеви, жила Мата Хари, и сейчас, когда я входил в «Пера-Палас», швейцар, похожий на благородных, осанистых царских

генералов (однако, не сумевших защитить императора), но независимо от какой бы то ни было похоти, обладавший чутьем, присущим всем талантливым швейцарам в мире, моментально сообразив, откуда я прибыл, открыл мне самый важный секрет для бывшего в моем лице советского гражданина:

— Здесь жил Троцкий!

И в те минуты, что я пребывал в «Цветочном пассаже» среди людей искусства, среди потребителей искусства, среди утаенных, крупных котлов, мне порой казалось, что души этих покойников, прежних постояльцев отеля, собравшись вместе, любят красными гвоздиками в моем номере и находят утешение в том, что эти цветы постепенно завянут и вскоре окончательно умрут... и в этом утешении мне видны были причины бесконечных горестей и несчастий человека — венца всего сущего на земле.

— Бедный Рудольф Нуриев! — сказал я.

— Он писатель? — спросил Юсиф Борш.

— Нет. Покинувший Союз тюркский танцор.

— Не понял, эфенди?

Мне стало смешно: порой на меня нападает такой дурацкий, беспричинный смех, сбивающий с толку многих (да и меня самого!).

— Это тюркский балетный танцор. Он тоже жил в «Пера-Палас».

— Как интересно!

— Умер от СПИДа.

— Как жаль!

Конечно, в этот момент живому и дорогому Юсиф-беку было абсолютно безразлично, кто такой Рудольф Нуриев, где он жил и отчего умер, да, в сущности, и мне было безразлично, как и когда умер несчастный Рудольф Нуриев; как и миллиарды людей, он пришел в этот мир, выполнил свою, неизвестную нам, миссию (не как танцор, как создание Божье) и ушел в лучший мир.

Все, кто меня знает, кто читал мои книги и кто не читал, но выдает себя за моего читателя, думают, что я прозаик, но никому не известно...

...почему же, в таком случае, ты это должна знать? странно... вообще, по мере того, как пишу все это, все больше удивляюсь самому себе...

...на самом деле я равнодушный и бесславный поэт, часто пишу трескучие, как трещотка, глупые стишки, и не только пишу, зачастую это фармазонское рифмоплетство застревает, в памяти и порой не к месту и времени приходит на ум, всплывает, и четкие, ровные, яркие строки проходят у меня перед глазами. Вот и сейчас, когда я смотрю на

своего уважаемого друга Юсиф-бека, одно из тех бесподобных, неповторимых произведений стихотворного искусства пронесится у меня в мозгу:

В моем доме нарушив ночную тишину
зарыдал автомобильный гудок
будто вселенское горе оплакивая
с потолка как тьма ночная
сочились черные капли крови
черная кровь растекалась
по всей земле
густая как мазут кровь
поднялась до моей постели
до моего тела
на глазах густея
превращаясь в желе,
и застыла вконец
и я в ней бездыханный

Ты — женщина на высокой должности (красивая женщина на высокой должности! Да здравствует юная и независимая, любимая наша Азербайджанская Республика!).

А я — просто писатель, без всякой должности. Но есть одна должность — рожденная моей фантазией — и я очень бы желал ее для этой юной и независимой, любимой республики. Я очень хотел бы, чтобы меня назначили на должность «Приговоренный к любви», и чтоб до того это было бы серьезное и важное назначение, что у меня не нашлось бы никакой возможности улизнуть от него, убежать, улететь, унести ноги.

Но кто меня назначит на такую должность?!

А в однокомнатном номере «Пера-Палас» с двуспальной кроватью меня ждали красные гвоздики, и странное чувство охватывало меня: будто этот букет нежных, хрупких, красных гвоздик со дня моего появления в этом идиотском мире привык ко мне, как маленький, преданный щенок, как любящее меня существо, ждал моего возвращения, торопил мое возвращение и, пребывая в тишине и непостоянстве отельного номера, думал, что как только я вернусь, все сразу станет хорошо (и не понимает, что никакой разницы все равно букет завянет, пожухнет, засохнет, и отельная уборщица выбросит его в

конце концов в мусорный ящик...).

...Тамара, спой о тех красных гвоздиках...

Правда, между теми нежными, чудесными красными гвоздиками и твоим уродливым (однако, прекрасным, клянусь Аллахом, прекрасным!) голосом такая огромная дистанция и несоответствие, что напоминает мне несоответствие между моим детством, далекой, невозвратимой (кричи — (не докричишься, зови — не дозовешься) порой, когда все меня любили, все носились со мной, и этими минутами, когда сижу я с алкоголиком (смотри, как у него руки трясутся, когда поднимает рюмку с раки) Юсифом Боршем в «Цветочном пассаже», смотрю на жирных, лениво прогуливающих, сытых котов и слушаю твой, Тамара, жуткий (и прекрасный, ей-богу, прекрасный!) голос.

Да что верно, то верно, но ты, Тамара, не бери в голову, спой о тех красных гвоздиках, может, споешь, и твой голос станет нормальным, вполне соответствующим твоему полу, женским голосом... однако нет... наверное, ты, Тамара, уже не хочешь этого (да и я, кажется, не хочу...).

И, несомненно, не хотят этого обосновавшиеся в «Цветочном пассаже» все эти писатели, художники, кто там еще, артисты, киношники и туристы, занявшие пустующие места (после Айя Софии, эта кошачья галерея!).

Тамара же, ясное дело, и представления не имела о моих философских рассуждениях, и без устали, как и полагается большому профессионалу, драла горло, вытряхивая из старого, на ладан дышавшего аккордеона оставшуюся душу его, самозабвенно занимаясь уничтожением Юсиф-бека.

Юсиф, возьми меня!
Буду верна тебе!
Все равно-о-о-о
Никому я не нужна.

Те красные гвоздики в опустевшем номере, в вазе на телевизоре, в темноте и одиночестве, и представления не имели об Агате Кристи, убежавшей 75 лет назад из Лондона и писавшей (есть ли в мире что-либо глупее и бессмысленнее этого занятия? Обманываешь сам себя и будто этого недостаточно, обманываешь людей... вот тебе и вывод, к которому я пришел после стольких лет — примерно, сколько тебе сейчас — тяжкого писательского труда (истина, которую я окончательно осмыслил в самое последнее, время!) в 411 номере этого отеля роман «Убийство в восточном экспрессе», естественно, и о вас, о тебе, Юсиф-бек, о тебе, красавица Тамара, о вас, сытые, ленивые коты, — красные гвоздики представления не имели...

...и потом...

...Эти мысли (осмысленная) сами показались мне до того мелкими и бессмысленными, что я спросил себя: эфендим, свет очей моих, ты над кем издеваешься: над собой, или над цветами этого прекрасного мира?

Странно, я никак не могу представить тебя плачущей...

В самом деле, если после нас во Вселенной пройдут миллиарды и миллиарды лет, то есть ли что-либо более бессмысленное, чем писание романов?

Романы надо не писать, а проживать — я себе говорю эти слова, или ты их мне говоришь?

И правда, Стамбул — город романов (и Баку тоже!)...

Порой перед моими глазами встает страшное видение.

Во времена СССР, бесславно почившего в бозе, 7-го ноября, или же 1-го мая на бывшей площади Ленина, под огромным памятником вождю пролетариата проходили демонстрации мимо каменной массивной трибуны, с которой принимали парад руководители Азербайджанской коммунистической партии и правительства; и чудится мне в моем фантастическом видении: точно так, как они в свое время принимали парад труженников, принимают многолюдный парад влюбленных известные персонажи, легендарные герои бессмертных произведений, принесшие себя, свою жизнь в жертву во имя любви — Лейли и Меджнун, Ромео и Джульетта, Фархад и Ширин, Асли и Керем, Анна Каренина, Эмма Бовери, даже Кармен и Хосе, вместо громадного памятника Ленину стоит памятник Амуру, натянувшему тетиву лука, ищущему свою жертву.

Массы простых влюбленных и любовников и те, кто стремился стать влюбленными и любовниками, проходя мимо трибуны, радостно и бурно приветствовали видных, заслуженных деятелей любви, махавших им сверху.

Мой знакомый драматург, бывший коммунист со стажем (теперь он слыл известным демократом) и лауреат Ленинской премии, тоже был среди толпы. Большая группа ярко, аляповато одетых проституток с

букетами цветов в руках хотела пройти мимо трибуны, но недремлющая охрана, стражи любви не пропустили их на площадь, потому что демократия — это, конечно, не значит — анархия...

В этой общей атмосфере радости и ликования один только человек вышагивал грустно, насупившись, и этот человек был я, и в руках я держал плакат протеста, и хорошо, что эта демонстрация была так охвачена всеобщей радостью, так бурно аплодировала, что никому и в голову не приходило читать надписи на плакатах, не то несдобровать бы мне, как говорится, без суда и следствия, но я не боялся этого и, мужественно вышагивая, несмотря на крайнюю удрученность, высоко поднимал над головой, будто флаг бывшего СССР, свой плакат, на котором было начертано:

**«ДОЛОЙ ЛЮБОВЬ!
ЛЮБОВЬ НЕНАВИСТНА! МНЕ ЛЮБОВЬ — ЗАБОТЫ,
НЕУДОБСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Я ХОЧУ ЖИТЬ
БЕЗЗАБОТНО!»**

И тем самым, я напоминал белого жука среди волнующейся, как море, армии муравьев, но... да здравствует демократия!

Среди стражей любви еще раз прошла судорога волнения, когда мой знакомый драматург, бывший коммунист и лауреат Ленинской премии, проходя с толпой мимо трибуны, возжелал вскарабкаться на нее, чтобы вместе с руководителями, заслуженными деятелями любви приветствовать простых демонстрантов, но сколько он ни кричал, ни драл горло, ни вопил, что у него есть на это право, сколько ни требовал, стражи любви этого ему не позволили, так как в Азербайджане драматург не был популярен, и ни одна его пьеса не ставилась здесь ни в одном театре.

Недалеко от меня среди толпы медленно передвигался грузовик с походной кухней в кузове, и там же, в кузове, стоял огромный, похожий на бочку немецкого пива, толстенный повар в белом халате и поварском высоком колпаке; он жарил на электрической сковородке омлет из спермы на шпильщем оливковым маслом; и повар, одной рукой подбрасывая тот внушительных размеров омлет на сковородке с деревянной ручкой, другой приветственно махал лидерам, заслуженным деятелям любви...

что это было за видение? не знаю... а ты?..

Еще учась в университете, в пору, когда я был увлечен Шекспиром и читал и перечитывал его произведения, мне на ум пришла мысль (и через 30 лет я вновь — зачем? — ее вспомнил): любовь — убийца, если б Яго не любил так пламенно-безрассудно, Отелло не убил бы Дездемону...

зачем я это сейчас пишу и, вообще, что со мной?

и, с другой стороны, это глупое видение... толстый повар...

Как-то ты призналась мне, что очень любишь балконы.

И вот — подумать только — вместо того, чтобы быть с тобой, любить тебя, чтобы держать тебя в объятиях на самых красивых балконах мира, я сижу в бакинской жаре и пишу для тебя эти строки.

Идиотизм.

Знаю, ты будешь читать это, потому и не пишу всего, что просится «а бумагу, сжигая мое нутро (парадокс — писатель, всю свою творческую жизнь выступавший против советской цензуры, претерпевший от нее, борющийся против нее, теперь создает цензуру в самом себе, в своей душе!), но одну вещь я должен написать, не могу, не написать: я знал, что она — твоя мать — смертельно больна; в те дни, просыпаясь по утрам, я часто вспоминал ее, и каждый раз при этом мне становилось скверно на душе. Мне говорили, что она — твоя мать — не хотела, что бы ее проведывали, не хотела, чтобы навещавшие видели, во что превратила ее болезнь, и в те дни я часто, поднимаясь по утрам с постели, имени такой ее и представлял — изменившейся до неузнаваемости, до жути. Я не видел ее такой ни разу, но эта болезненная ее внешность была у меня перед глазами. И в тот день, тогда я узнал о ее смерти, именно в тот день — как сейчас помню — я с моим другом, переводчиком из Загреба, приехавшим по приглашению Союза писателей, и еще с несколькими приятелями поехали в Бузовны, на скалы — будто ничего в мире не произошло, — как договаривались накануне, и там, на капоте машины — мы называли это «капотная сервировка», — разложив закуску, водку, вино, в том числе и черную икру, до которой со дня приезда в Баку так оказался охот наш загребский друг, пилой и ели, и с каждым новым тостом поднимали нашу дружбу на все более недостижимую высоту.

...нет, я не ужасное существо, однако... что есть, то есть,

и я такой, какой есть... и хочу, любимый мой человек, чтобы и ты знала это.

Когда умирают люди, их души остаются, а как цветы?

«Наш бакинский товарищ» — это, кстати, твои слова, и товарищ тот был главой одной из процветавших фирм в Баку в переходный от неоправданного себя социализма к рыночной экономике период; сейчас он пребывал в Баку представления не имел о том, что ты делаешь в Стамбуле, во всяком случае, уж точно, на все сто процентов, не знал об этом несчастном номере в «Пера-Палас», о красных гвоздиках в этом номере, и я прежде раза три-четыре видел его, но никак не мог вспомнить его лицо, и теперь, сидя в «Цветочном пассаже» с Юсифом Боршем и потягивая пиво, я, сколько ни старался, все никак не мог восстановить в памяти лицо «нашего бакинского товарища», и сколько ни напрягал зрительную память, ни призывал ее помочь мне, вместо «нашего бакинского товарища» перед моим

мысленным взором проходили лишь серые туфли, серые предметы одежды, будто собранные со всего мира, и я не испытывал перед ним никаких угрызений совести.

Для меня не может быть большего оправдания, чем эта серость.

Но если он когда-нибудь уйдет меня, наверняка его оправдание будет сильнее и существеннее моего...

В молодости был у меня приятель — нас объединяла любовь к пиву — так вот, после второй кружки, им овладевали романтические (и недоступные для него) мечты, и эти романтические грезы он выражал короткими, лаконичными и в то же время мелодичными фразами:

— Ночь... Торшер... Красотка...

Иногда прибавлял:

— И еще — кофе...

Впоследствии, когда романтические (и недостижимые для него) грезы моего друга по пиву обратились в обычную (но, во всяком случае, любимую и «незабываемую» часть моей реальной жизни, я порой вспоминал его, своего друга по пиву, и его слова, в душе моей рождалась веселая игривость, кипел смех, и со своими дополнениями и экспромтами я рассказывал это собеседнику, мы смеялись; и в номере «Пера-Палас», под светом торшера, глядя на тебя, я вспоминал те слова, но странно, впервые это воспоминание навяло мне грусть, мгновенную, как выстрел, грусть... Почему? По какой причине? До сих пор не могу понять. Я часто вспоминаю ту мгновенную грусть, но не могу разгадать причины ее. Инстинктивно чувствую — что-то связанное с теми красными гвоздиками, но не могу свести концы с концами...

Сдержанный запах гвоздик ощущался в комнате, и что же? Почему это воспоминание (испытанно веселое) должно было навевать грусть? Я не мог найти ответа этому, ставшему, для меня теоремой Ферма, явлению. И это мой вклад в ряд неразрешенных теорем... А может, интуиция меня обманула, и грусть не имеет никакого отношения к красным гвоздикам? Может, эта грусть - связана с возрастом — приближается конец торшерам в моей жизни, чувствую итог, и потому?.. Нет, все это незамысловатые ответы на причину грусти... Надо копнуть глубже, но я всегда боялся копаться в дебрях... Сейчас, когда пишу эти строки, явилось такое ощущение (из тех дебрей?): может, ты для меня в те моменты, (нет, не сейчас, сейчас я так не думаю, в то время, в те моменты) была лучше, чем я думал, чем чувствовал, и грусть эта рождена ощущением, что слишком уж запоздало те гвоздики? Не знаю...

Ночь... Торшер... Красотка...

И еще — коктейль моего изготовления.

Коктейль моего изготовления, который в этом распрекрасном мире никто, кроме меня, не отважится выпить, и ты его не пила, не пробовала, но любила.

В моем воображении ты любила тот коктейль.

Во всяком случае, должна была любить.

И для меня было большим утешением, что ты всем сердцем любишь коктейль, который не пила, который даже не знаешь на вкус...

Когда-то я читал книгу, герой которой повторял: я не человек, я — игрок...

И я не человек — писатель?

Часто воспоминания уносят меня на десять, двадцать, тридцать лет назад, и я этими бесконечными воспоминаниями, невзирая на то, интересно тебе, или неинтересно (во всяком случае, надеюсь, что были и интересные) делился с тобой, говорил, не мог наговориться, но сейчас грезы унесли меня даже не на тридцать — невозможно насытиться этим идиотским миром — а ни много, ни мало ровно на сорок восемь лет (ну, раз пришла на ум эта цифра, пусть так и будет) в будущее...

Баку 2049-го года, 3 марта (сорок восьмая «наша годовщина, но в том, будущем мире никто не имеет представления об этой годовщине, и об этом уже не знаем ни ты, ни я...).

Вот моя могила — в мире, где нет нас, ни тебя, ни меня, — могила, выцветшая от дождей, облупившаяся от ветров, зноя, снега, — вот моя могила.

Скоро, ровно через сто тринадцать дней, 25 июня, мне исполнилось бы сто лет. Наверное, эта могила украсится цветами (может, после стольких лет усердной работы за пишущей машинкой, за компьютером, намозолившими пальцы и душу, после стольких лет, потраченных на это бессмысленное занятие — писательство, я всплыву в памяти потомков в каком-нибудь институте, факультете, однако... какое это имеет значение для меня, сегодняшнего?..), но сейчас 3 марта, и могила та среди других могил выглядит одиноко, неприкаянно, потому что в каком бы тесном соседстве с себе подобными не находилась могила, она все равно одинока, на то она и могила...

В другом конце кладбища (а может, и на другом кладбище или же вовсе в другом городе?.. Может, в Стамбуле? На одном кладбище с

Юсифом Боршем? Может, и Тамара — если к тому времени она умерла — находится там?) есть другая могила, твоя могила... и это тоже заброшенная, позабытая, сиротливая могила, дети давно не могут найти возможность навестить эту могилу, разъехались, разбрелись, у каждого свои дела и проблемы, свои заботы... но, может, среди близких людей кто-то и вспомнит и, купив букет свежих красных гвоздик (неважно, где купит, в бакинском пассаже, или Гапалы Чаршы,..) принесет и положит их на ту могилу, и та могила на некоторое время будто засветится, преобразится, потом эти свежие, нежные красные гвоздики завянут, застонут, пожелтеют от солнца, пропадут... и когда еще кто-то вспомнит и принесет сюда красные гвоздики?..

И эти две далекие друг от друга могилы (до тех пор, пока окончательно не исчезнут с лица земли) будут пребывать в кладбищенской тиши, и даже ветры, дыханием своим прикасавшиеся к могильным камням на них, не смогут их объединить, сблизить, потому что и ветры эти будут дуть в разных направлениях...

2000, декабрь

ЗВЕЗДНАЯ ПОРА НЕБЕС

Алигулу был философом; не в том смысле, что сам себя считал философом, нет, в сущности, он и сам не подозревал, что он философ, потому что философствование было частью жизни, частью существования Алигулу, как, скажем, ежедневная еда, как зарабатывание денег, как общение с людьми, и для Алигулу не имело никакого значения, что его открытия в этой области уже кто-то до него открыл, что его мысли до него кому-то уже приходили в голову, не имело никакого значения еще и потому, что Алигулу, весь потный, измочаленный, возвращаясь домой в нагорный квартал, представления не имел о прошлых открытиях и научных трудах.

Еле волоча ноги от усталости в эту жаркую июльскую ночь, Алигулу размышлял о том, что не он первый, не он последний на этой земле, кто в поте лица, тяжким трудом зарабатывает на хлеб; жизнь имеет свои законы, и эти законы не признают ни коммунизма — режим, при котором Алигулу прожил большую часть своей жизни, ни капитализма — время, в котором ему предстояло прожить оставшиеся годы, и сколько ни ворчи, ни ругай неустроенность мира — все бесполезно. Скажем, к примеру, кто видел, какой великий ученый был свидетелем тому, что посадили абрикосовое дерево, а вместо него выросло грушевое, или же, на выросшем абрикосовом дереве, на одной из веток созрела груша, или яблоко, или какой-то неизвестный нам фрукт? Конечно, никто этого не видел и не увидит, «наверное, чтобы утвердительно ответить на вопрос Алигулу: «Да, я видел!», а, впрочем, не было никакой необходимости в таком ответе, потому что Алигулу задавал этот вопрос не кому-то, а самому себе, и ответ, ясный, как день в этой ночной тьме, получал от себя же.

И в эту душную июльскую ночь, когда Алигулу вернулся домой, когда выложил на стол свежий хлеб и чуть ли не кило сыра, когда вспомнил, что в кармане у него есть еще четыре тысячи, то поблагодарил Аллаха в сердце своем, потому что завтра спозаранку, когда Алигулу выйдет из дома, жена его пойдет на базар и купит она на эти деньги сырые семечки, поджарит их и, усевшись, как обычно, на свою табуретку у ворот, будет продавать эти жареные пахучие семечки из стограммового граненого стаканчика своим всегдашним клиентам — соседским мальчишкам, проходящим мимо их ворот молодым девушкам, и сердце Алигулу радостно забилось, а когда жена сообщила, что с этой ночи будет стелить им постель на крыше, настроение Алигулу поднялось до небес, будто и усталость прошла, и ноги почти перестали зудеть после долгой ходьбы, а жена к тому же принесла и поставила перед ним глубокую тарелку-кюсу горячего

лукового супа, и Алигулу, оторвав большой ломоть от хлеба, стал его крошить в кюсу и подумал, что еще неизвестно, у кого на этом свете больше проблем: у какого-нибудь властительного падишаха или у него, Алигулу?

* * *

Одноэтажный, из двух комнаток домик Алигулу построил его прадед, отец его деда Алинаджаф (или Наджафали?), и оставил этот дом в наследство своим детям, а порой Алигулу думал; да упокоит Аллах его душу, подумать только, за столько лет с николаевских времен до Ленина, Сталина и до сих пор, до наших дней, за столько лет из их рода не вышло ни одного путного мужчины, кто бы построил себе нормальный дом, или же получил бы от советского государства квартиру и жил бы себе в ней. А этот дом на ладан дышал, и в особенности это ощущалось осенью и зимой, когда шли проливные дожди, шел мокрый снег, тонкое мировое покрытие крыши не выдерживало потоков воды, обрушивавшихся с неба, давало течь, и Алигулу каждый раз, поднявшись на крышу, стелил куски целлофана, на продырявленные места крыши, укрепляя целлофан камнями по краям, чтобы ветер не унес эту зыбкую защиту от непогоды, но пользы от этого было мало, и жена в обеих комнатках, то посреди комнаты, то по углам, то у стены расставляла ведра и тазы. Алигулу как-то стал прицениваться, желая покрыть крышу кирпичом, но кирпичики заломили такую цену, что на эти деньги запросто можно было купить билет до Барнаула.

Это были, скажем так, ежегодные зимние страдания, летом же, особенно в полдень, в комнатах царил такая жара и духота, будто посреди дома разожгли адский костер, но начиная с середины июля, жена, как только приходило время спать, стелила им на крыше, и для Алигулу не было большей радости в этой заполненной заботами, тревогами, тяжким трудом жизни, как разлечься, вольно раскинув руки и ноги на крыше, посреди простора, где нет ни стен, ни тесноты, ни давящего на тебя потолка, и засыпать, глядя на небо, седьмое небо, даже несмотря на солнечные лучи, уже спозаранку горячие, и на частые атаки распоясавшихся ночных комаров.

* * *

Все небо из конца в конец было усеяно звездами, большими, маленькими, совсем крохотными, и все яркое, будто горели на небосводе, и столько их высыпало, что невозможно было сосчитать, и даже большие ученые не могли бы их сосчитать, и огромные приборы в Москве, нет, даже в Америке не могли бы пересчитать их до конца.

но если б и сосчитали, что с того? какой смысл? Не это было главным, то есть главное — не количество звезд, а то, что эти звезды точно так же видели и изумлялись им и сто лет назад, видел их и прадед Алигулу Алинаджаф, нет, не Алинаджаф. Наджафали, так же на ночном небе, и тысячу лет назад видели их люди, в том числе и предки Алигулу, точно так смотрели на них, как он сейчас смотрит...

Ну и ладно... Видели и видели, упокой Аллах их души, но почему это так важно? какая тому причина, что это так важно? Алигулу не находил ответа на эти вопросы, но совершенно точно было то, что эта мысль, то есть древность его предков (их кости давно сгнили и смешались с землей) и то, что он путает имя своего прадеда Наджафали (Наджафали, или Алинаджаф, ну, бог с ним...), все это, смешавшись с духовой ясной ночи, полной звезд, с сияющей луной на небе, смешавшись с противным звоном комаров в окутавшей все вокруг мертвой тишине, вносило в сердце Алигулу печаль и беспокойство.

Может, это чувство было больше, чем беспокойство, было сожаление, но не верится, чтобы Алигулу знал значение этого слова, и потому он сейчас, в ясную летнюю ночь, душную, полную звезд, даже не вспоминал это слово, как бы там ни было — беспокойство ли, сожаление, или как оно там ни называлось, это чувство словно бы делало Алигулу невесомым, совершенно пустым, и сердце его в телесной невесомости и пустоте стучало тихо-тихо, запоздало, и запоздало эта еще больше увеличивала беспокойство (сожаление?), еще чернее делала печаль его, будто утаскивая его все глубже на дно колодца.

Была та же ночь, то же звездное небо, и потерявший сон Мусеиб, поднявшись с постели, подошел к окну с видом на море и, несмотря на включенный кондиционер, распахнул окно; после прохлады, царившей в комнате, духота с улицы мгновенно обволокла его лицо, и будто бы эта духота еще больше усилила печаль, засевшую в сердце Мусеиба, но стоило Мусеибу поднять голову и глянуть на звездное небо, как ему немного полегчало, как будто блеск этих звезд разрубил, развеял духоту и принес некоторое облегчение...

Именно в тот миг Мусеиб вдруг вспомнил то, что не вспоминал лет пятьдесят, а то и больше, перед глазами его прошло видение: они тогда жили в нагорном квартале города, было ему лет четырнадцать-пятнадцать, вот такой же звездной летней ночью мать постелила ему на крыше их одноэтажного дома, и он лежал на своей постели навзничь, глядя в звездное небо той душной летней ночи, и уже засыпал, когда увидел, как одна яркая звезда, сорвавшись с неба, полетела вниз...

Исчезла...

Куда улетела та звезда?..
А другим звездам на небе было абсолютно безразлично, куда она улетела, они все так же продолжали сверкать на ночном небе...

В роду Алигулу была интересная особенность: рождался один сын, остальные — девочки; девочки вырастали, выходили замуж, разлетались в разные стороны, мальчик же оставался здесь, получив по наследству этот одноэтажный домик из двух комнат, здесь жил, здесь старился, отсюда, то есть из этого дома, отправлялся в лучший мир; и дочери Алигулу были замужем и жили все в разных местах: одна жила в Сумгаите, другая — в Физули, третья — Мингечауре; мужья — тех, что жили в Сумгаите и Мингечауре, были простыми рабочими, жили так себе, сводили концы с концами и слава богу, а та, что жила в Физули, была замужем за мясником; жили они припеваючи, дом — полная чаша, держали баранов, овец, другую домашнюю живность, правда, постепенно выяснилось, что мясник был несомненно прижимист, однако, по праздникам Новруз-байрам не забывал присылать семье Алигулу два-три кило мяса, но на том и кончалась его гуманитарная помощь, в общем-то, и его винить нельзя, потому что, уже ни мало, ни много — семь или восемь детей наплодили, и, естественно, мясник хотел дать им образование, поставить на ноги, но судьба распорядилась иначе: армяне, сговорившись с русскими, захватили Физули, а наши ротозои проворонили свои земли, и армяне обосновались в Физули, и вот они, семья дочери, то есть, мясника, сделались беженцами и, можно сказать, в одну минуту потеряли то, что копили всю жизнь, и теперь живут в палаточном городке среди выжженных степей Мугани, а барашки и овцы, ясное дело, достались армянам.

А единственный сын Алигулу еще в советское время отслужил в армии в российском городе Барнауле там он и остался, женился на русской и вот уже лет двадцать, как он живет, и работает там, и теперь у него один сын и три или четыре дочери, и на протяжении двадцати с лишним лет Алигулу ни разу не видел ни сына, ни невестку, ни своих барнаульских внуков, потому что лететь туда надо на самолете, а билет стоит очень дорого, а сын с тех пор тоже ни разу не приезжал домой, видно, и ему билет был не по карману, и Алигулу с женой только и знали, что внук их носит русское имя — Святослав, и жена Алигулу никак не могла запомнить это имя, всякий раз спрашивала: «Как, ты говоришь, зовут мальчика?»

Самые прекрасные звуки на земле — нет, не чирикание воробьев, налетевших ни свет, ни заря, беспокойной стаей на две шелковицы

возле ворот, ни звуки кларнета соседа Фатуллы, и никакие другие звуки — они были хороши сами по себе, эти звуки, те самые прекрасные звуки на земле — перестук колес электрички, и Алигулу под этот перестук колес электропоезда глядел в окно, и по всему телу разливались благодать и истома, и в такие моменты вспоминалось только хорошее из шестидесятишестилетней жизни, только светлое, и было совершенно безразлично, какие виды пробегали мимо окна вагона, какие пейзажи сменяли один другой, в те минуты, иные картины вставали перед мысленным взором Алигулу, к примеру, он вспоминал, как пошел в первый класс, правда, он с трудом окончил семилетку, потому что не было у него ни охоты, ни возможности учиться, и отправился работать на вокзал носильщиком угля, но теперь он вспоминал только ту незабываемую чистоту первого дня школы, в честь которого мать маленького Алигулу, будто бы приводя в порядок, как могла откромсала лохмы на его голове, вспомнил мешочек для чернильницы, что связала мать из хлопка, картинку из букваря — будто вчера это было — вставляли чередой перед глазами, и Алигулу жадно впитывал все эти воспоминания, как промокашка впитывает чернила, не мог наглядеться на свои воспоминания под стук колес поезда, и тогда, под этот прекрасный перестук, Алигулу начисто забывал, что едет на пригородную свалку, копаться в мусоре, что в эту летнюю жару на той свалке ожидают его невероятная вонь и жуткий смрад.

В советское время жители, в особенности жительницы, то есть хозяйки квартир многоэтажных домов в центре Баку хорошо знали этого худого коротышку с мешком за плечами — Алигулу, потому что с раннего утра и до полудня он обходил дворы этих высотных домов и задрал голову, кричал нараспев свое обычное: «Бутылки покупаю-у-у! Бутылки покупаю-у-у-у!»), и как только большой мешок за плечами Алигулу до отказа заполнялся бутылками, из-под вина, воды, водки, кефира, купленными у этих домохозяек за восемь, десять, одиннадцать копеек, он отправлялся в пункт приема стеклотары и сбывал там свой товар соответственно за десять, двенадцать, четырнадцать копеек государству, получая, таким образом, навар, и неплохо зарабатывал. Потом Советский Союз распался, и за небольшой промежуток времени часть жителей Баку разбогатела и уже не держала дома пустые бутылки и выбрасывала их в мусорные баки, оставшаяся же часть населения — то есть подавляющее большинство — так вконец обеднела, что если в их доме опустошалась какая-нибудь бутылка они сами относили и сдавали ее в пункт приема стеклотары, и эти пункты приема стеклотары уже принадлежали не государству, а были частные и потому каждую бутылку, принимая, там рассматривали чуть ли не через микроскоп, отвергая бракованные.

Теперь не имело смысла ходить по дворам многоэтажных зданий с

криками: «Бутылки покупаю!», и Алигулу, зная это, со своим мешком за спиной и палкой в руках копался в мусорных баках в тех дворах и, извлекая из мусора бутылки, вытирал их, клал в мешок, взваливал мешок на плечи и относил в пункт приема стеклотары.

И то сказать, сейчас появились сотен разных напитков и продавали их в сотнях разных бутылок, но навар, по сравнению с советским временем, был меньше, и таким образом выяснилось, что советская власть и в самом деле была властью рабочих и крестьян, или, точнее — для рабочих и крестьян, да, в сущности, дело даже не во власти: кто в советское время жил плохо, тот и сейчас продолжал бедствовать, хуже собаки, а кто тогда жил в довольстве, сейчас жил еще лучше.

Дойдя до этой мысли, Алигулу говорил про себя:

«И дай им бог!..»

Жизнь имеет свои законы...

Нет числа звездам на небе, как нет числа людям, жившим на земле.

И выясняется, что на Земном шаре если и есть что по-настоящему родное, так это в первую очередь — земля, потому что столько людей жили на земле и ушли в землю, никто не помнит их имен, кто чей предок? — и то позабылось; и если и остались какие-то следы, какие-то намеки на пребывание в этой жизни, — то эти следы находятся в земле, растворились в земле, смешались, а значит, и для Алигулу, и для кого бы то ни было самое родное — земля.

Больше всего бутылок можно было добыть в мусорных баках во дворах многоэтажных домов, но машины по уборке мусора в первую очередь заезжали именно в те дворы и аккуратно опоражнивали эти баки в свое чрево и уезжали. Алигулу же в большинстве случаев доходил до центра города, когда мусорные баки были опустошены, и таким образом, мешок за его спиной оставался пустым. И тогда с пустым мешком за плечами он вынужден бывал отправляться на электричке на свалку, а в дальнейшем, выходя из дома, он даже уже не шел в центр города к высотным зданиям, а напрямик направлялся к вокзалу, чтобы ехать на свалку, и на свалке копался в мусоре своей длинной палкой, предназначенной — именно для этой цели, складывал найденные целые бутылки в мешок и, возвратясь, сдавал их в пункт приема стеклотары.

И вот завтра утром ему предстояло ехать на свалку.

следования, не садился в самолет или на пароход, потому что ни разу он не выезжал за пределы своего города, так же как никогда в жизни он не ночевал вне дома, этого одноэтажного, из двух комнат, домика, оставшегося в наследство от покойного Наджафали (или Алинаджафа?).

Таким образом, эта электричка, проходившая Абшеронскими степями со своим перестуком колес, была единственным для Алигулу, что напоминало о каких-то несбыточных дальних путешествиях...

единственным — чем?

единственным... знаком, что ли? — и он увозил Алигулу на свалку, и в это жаркое июльское утро Алигулу вдруг почувствовалось, что электропоезд с его перестуком колес, в сущности, везет его к последнему пристанищу, в могилу, и хоть это чувство и было печальным, но ничего удивительного для Алигулу в том не было, потому что вся жизнь его была подобием вонючей свалки.

Алигулу, глядя на столбы электропередач, мелькавшие, за окном, подумал:

«Ну и пусть!»

Сядишься в Баку на Сабунчинском вокзале на электричку, проезжаешь четыре станции, выходишь, пересекаешь шоссе перед станцией и по пескам, мимо бесхозных, дикорастущих маслиновых деревьев идешь в сторону заката, и тут вдруг свежий морской воздух начинает меняться, уступает место вони, вонь царит повсюду, и даже слепой, ориентируясь на эту вонь, может легко добраться до свалки.

Машины для уборки мусора, собрав мусор из ближних к свалке районов и поселков Баку, привозят и сваливают его сюда, а в советское время здесь работали специальные бригады мусорщиков, отделявших бумагу, металл, пластмассу и прочее, и потом все это отвозилось на переработку, а оставшееся ненужное прямо здесь, на месте сжигалось, но как только Советский Союз рухнул, будто умер хозяин свалки, и разрастающаяся на глазах свалка осталась на попечение одичавших собак и кошек, мух и насекомых, и свалка стала терять свою величественность, которой обладала, будучи в составе Союза, машины не убрали вовремя мусор, нарушилась периодичность, мусор не опоражнивался вовремя на свалку, а железный лом или еще что, более-менее стоящее, даже не доходило до мусорных баков, их заранее собирали и сдавали в утильсырье, и бумаги в мусоре стало гораздо меньше, вместо бумаги появились целлофановые пакеты, и когда начинали дуть знаменитые Абшеронские ветры, они поднимали со свалки тысячи целлофановых пакетов, и эти пакеты цеплялись за ветки деревьев, застревали в окнах ближних домов, украшали дымоходы на

крышах.

Алигулу, проходя мимо старого инжирного дерева, с веток которого свисало множество целлофановых пакетов, подумал, что, верно, и в самом деле мир изменился, раз вместо птиц на деревья налетают целлофановые пакеты.

Руки Мусеиба были золотыми не только в переносном смысле, эти руки и в самом деле творили. Производили, умножали золото, то есть, благодаря способностям и таланту своих рук, Мусеиб еще во времена Советского Союза был в Баку одним из самых влиятельных подпольных золотых...

как бы это сказать?..

подпольных золотых...

одним из самых влиятельных подпольных золотых дел специалистов, а в общем-то, первым из этих специалистов, и большая часть золотых николаевских десятков, империалов и просто золотых ювелирных изделий, вращавшихся на «черном» рынке Баку, проходила через его золотые руки, и ясное дело, речь тут шла не только о зубных коронках, но и о подпольной торговле золотом; но позже, когда развалился Советский Союз, сеть, которую с такой любовью и истинно творческим вдохновением, с паучьей терпеливостью и аккуратностью плел Мусеиб на протяжении многих лет, чтобы огородить любимое дело от посягательств со стороны закона, стала ненужной, и любимое дело из подпольного превратилось в легальный бизнес.

Все шло прекрасно, росло уважение, росло богатство, и оба сына были здоровые и сильные ребята, увеличивалось число внуков, но все будто потеряло истинный вкус, стало пресным, невозможно было вернуть радостное волнение подпольного прошлого советского периода (времени атеизма!), но почему? Все дело в том, что и ответить на этот вопрос было невозможно... Видимо, запретный плод (советский запретный плод!) и в самом деле сладок, а когда все открыто, когда нет запрета, делай, что хочешь, тогда все упрощается, и теперь даже орехового дерева кресло Екатерины II с серебряной инкрустацией, вперив глаза в которое сидел Мусеиб, тоже превращалось в нечто вполне обычное.

Мусеиб обожал антиквариат, и его пятикомнатная квартира с видом на море на восьмом этаже престижного дома напоминала антикварную лавку, и покойная жена — человек не без странностей — иногда говорила: «Клянусь Аллахом, стыдно перед гостями бывает...» Видимо, жена его стыдилась, подобно девочке, надевшей обновку и вышедшей к гостям, робеющей и гордящейся одновременно, видимо, жена его такой стыд имела ввиду...

Это кресло Екатерины II было приобретено Мусеибом после развала Союза в Ленинграде (теперь этот город опять Санкт-Петербург) вследствие заключения тайной и бурной сделки у одного известного демократа, а из какого музея достал это чудо демократ — не наше дело, и это кресло Екатерины сделалось воистину предметом радости и гордости для Мусеиба, но теперь, в этот душный июльский вечер, и этот предмет, как и все вокруг, стал вполне обычным, обыденным.

Сейчас придут сыновья и, конечно же, будет раскупорена бутылка коньяка, мальчики расставят на столе деликатесы из холодильника, и они, трое мужчин, сядут за стол и будут вести приятные разговоры, начнут вспоминать радостные события, а потом сыновья уйдут. После смерти жены Мусеиб остался один в этих пяти комнатах, старая прислуга — еврейка после шести вечера тоже уходила, и тогда все эти дорогие финтифлюшки вокруг него теряли свою привлекательность, становясь обычными, обыденными предметами обихода, и эта обыденность приносила с собой грусть, тоску...

Сыновья давно жили своими семьями, имели квартиры, но сердца их постоянно находились здесь, с отцом, и когда мальчики узнали о болях Мусеиба, оба — чуть не до драки доходило — настоятельно советовали и требовали, чтобы он обратился к врачу, однако, несмотря на то, что Мусеиб сам был врачом, он очень не любил обращаться докторам и можно сказать, ни разу не обращался.

И теперь, с одной стороны, эти удручающие постоянные боли, с другой, — давление на него сыновей заставила его (проклятие шайтану!), предварительно договорившись, ехать этим жарким утром на обследование в Диагностический центр. Он отключил мобильный и, возвращаясь домой, еще только выходя из лифта на своей площадке, услышал, как надывается в пустой квартире телефон.

Звонил старший сын.

— Слушай, зачем ты отключаешь мобильный?! С утра места себе не нахожу! Ну как? Что случилось?!

— А что должно было случиться?

— Обследовали? Что сказали?

— Сказали, что все отлично.

— Хорошо обследовали? УЗИ сделали?

— И УЗИ сделали, и все анализы проверили.

— Так и сказали — отлично?

— Да!

— Ничего... нет?

— Ну да, сказали — ничего нет. Легкая простуда, пройдет. Сказали — все чисто! — Мусеиб рассмеялся. — А что должно было быть? Я так и знал — пустое!..

— Вечером приеду.

И Мусеиб живо представил себе, как его старший прослезился от радости и, представив это, Мусеиб сам прослезился.

Не успел он положить трубку, как телефон зазвонил снова.

Звонил младший сын. И почти слово в слово повторился первый разговор, и Мусеиб опять будто вочно видел, как глаза младшего наполняются слезами радости, как беспокойство покидает сердце сына, проясняется озабоченное выражение на лице его.

Оба сына работали в полиции. Старший был майором, но исполнял должность полковника, и со дня на день его должны были вне очереди представить к этому чину — Мусеиб уже уладил этот вопрос.

Младший еще был капитаном.

Порой на свалке (как и во дворах многоэтажных домов) появлялись конкуренты Алигулу, но это были не профессиональные «бутылочники», потому что у профессионалов, как у лесных зверей, у каждого была своя территория, и они старались не нарушать границ чужого участка, не лезть в чужие дела, а случайно возникавшие конкуренты, как правило, были алкоголики, торопливо, воровато рассовывающие бутылки по карманам, стараясь поскорее сбить их в какой-нибудь винной лавке в обмен на пиво, а если повезет и найденных бутылок будет достаточное количество, то и портвейн, и в отдельности эти алкоголики были самыми беспомощными и несчастными существами на свете, но стоило им оказаться вдвоем или втроем, как они становились по настоящему опасными. И даже могли бы убить из-за пустой бутылки; и Алигулу в то жаркое июльское утро, сойдя с поезда под палящим, будто выжигавшим дырку на темени солнцем, направляясь к свалке, еще издали заметил две черневшие на ней фигурки, и настроение у него резко испортилось, а приблизившись, он ясно разглядел, что эти две фигурки принадлежали двум русским женщинам-алкоголичкам, у каждой в руках было по длинной палке, которыми они ковырялись в мусорных кучах свалки.

Одна из этих женщин-алкоголичек, подняв голову, прищурившись под яркими лучами солнца поглядела своими бесцветными глазами под опухшими веками на этого заморыша — Алигулу и произнесла таким тоном, будто давно его поджидала здесь:

— А-а-а! Пришел — да?! Ограш¹, — и смачно матерно выругалась.

И вторая тоже поглядела на Алигулу, но казалось, у нее не было столько энергии, как у первой, по краям высохшего, с растрескавшимися, почерневшими губами, рта застыла пена, и она

¹ Ограш — доел, сутенер; улюдоок.

довольствовалась только одним словом:

— Сволочь!

На большее ее не хватило.

Конечно, для этих двух женщин сейчас дороже всех ценностей дурацкого, непостижимого мира было найти на свалке пяток пустых бутылок и на вырученные на них деньги купить холодного хырдаланского пива и выпить по стакану-другому, и главное — Алигулу было искренне, от души жаль этих женообразных существ, что под пальцами июльским солнцем Абшерона еле стояли на ногах и изнывали, сгорали, умирали от желания выпить пива, и если б сейчас, покопавшись в мусоре свалки, он нашел бы бутылки, ей-богу, может, даже вполне добровольно отдал бы этим несчастным.

Но две русские женщины-алкоголички, естественно, и не подозревали об этих прекрасных мыслях Алигулу, и сейчас он был для них только конкурентом, претендующим на их добычу, и потому от них можно было всего ожидать, и Алигулу не стал приближаться к ним, а пошел по периферии свалки, и кто знает, может, Аллах нарочно послал туда двух русских женщин-алкоголичек, чтобы Алигулу прошел по окраине свалки?

Алигулу прошел за свалку, и только хотел ткнуть своей палкой в мусорную кучу, как заметил кусок желтого металла, ярко горевший на солнце.

Сейчас выпускали разнообразные напитки в разнообразных бутылках, и на тех разнообразных бутылках были разнообразные крышки, в том числе и из желтого мягкого металла, и эти крышки порой вот точно так искрились и сверкали под солнечными лучами, но в этот раз, заметив блеск, Алигулу с замершим сердцем вдруг почувал, что это не бутылочная крышка, и в волнении отбросил палку, даже не притронувшись ею к мусорной куче, шагнул, протянул дрожащую руку и взял этот кусок желтого металла.

Он и раньше что-то находил в мусорных баках и даже на этой свалке: то мелкие деньги, то позолоченное колечко или сережку и другую подобную мелочь, а как-то, в последние дни уходящей советской власти он нашел зеленую пятидесятирублевую купюру; больше всего сбивали с толку лотерейные билеты, их выбрасывали в мусор целыми, и нельзя было понять, проверили их или выбросили по ошибке, и потому, найдя в мусоре лотерейные билеты, Алигулу отправлялся к сберкассе возле кинотеатра «Араз», и у входа в сберкассе сверял свои билеты с вывешенным списком выигрышных номеров, но до сих пор он еще ни разу ничего не выиграл, видимо, хозяева этих лотерейных билетов прежде, чем выбросить, все же сверяли их и выбрасывали только убедившись, что на билет не пал выигрыш.

Но в этот раз было совсем другое: в ладони, Алигулу...

сколько их там?.

один... два... три...шестнадцать...

..был протез, состоявший ни много, ни мало из шестнадцати золотых коронок.

Алигулу, словно на веря глазам своим, сжал кулак и одновременно, зажмурился, потом раскрыл ладонь и глаза — протез из шестнадцати коронок был по-прежнему у него на ладони.

Сначала Алигулу показалось, что он совершает что-то вроде воровства, но очень скоро это чувство прошло, потому что даже если б он захотел вернуть, где можно было отыскать хозяина этого протеза на такой огромной территории Абшерона, включая Баку? — безнадежное дело; потом на смену этому чувству пришло беспокойство — интересно, кто был хозяин этих, зубов? Может, его убили, а зубы вытащили и выбросили сюда? Может, злой рок таится в этих зубах? Потом беспокойство сменилось смятением...

...однако., напрасно...

хозяин этих зубов человек небедный — это первое...

...во-вторых, это человек пожилой, потому что сейчас молодые люди не вставляют себе столько золотых коронок...

...и, в-третьих, это — его судьба, везение, счастье, и отказываться от этой судьбы, везения, счастья было бы, конечно, неправильно.

Алигулу, поднявшись на цыпочки, с опаской посмотрел поверх мусорных куч в ту сторону свалки, где водились две русские женщины, словно они могли сейчас, с воплями, кулаками, отмять выпавший на его долю подарок судьбы, но куча была так высока, что тех женщин было не видеть, да и вообще, зачем: они нужны?..

Надо было поскорее уходить отсюда.

Алигулу спрятал золотой протез в боковой карман пиджака, но для надежности руку из кармана не вынимал, а протез держал в крепко сжатом кулаке, как будто стоило ему выпустить из рук свое сокровище, как оно тотчас выпадет из кармана и затеряется.

Во рту у Алигулу оставалось всего семь зубов, а у жены его — пять или шесть, а Алигулу и думать не смел вставлять себе или жене зубы, потому что как-то раз, когда сосед их кларнетист Фатулла играл в нарды под тувовыми деревьями показывая на новую золотую коронку во рту, похвастал: «Ала, знаете, почем это мне обошлось? Двести тридцать тысяч манатов! Ала, ровно пятьдесят долларов, не шутка! А что делать? Я — музыкант, артист, нельзя мне с дырявым ртом! Вот и оторвал, отнял кусок от детей своих, говорю, где наша не пропадала — давай-э!» Цифра в пятьдесят долларов так потрясла Алигулу, что он после этого разговора даже не вспоминал ни о своих, ни о женских зубах, и жена его, сидя у ворот на своей табуретке, продавая жареные семечки, время от времени отправляла семечку-другую в беззубый рот, но, не умея разгрызть их, предварительно очищала кожуру ногтями, а

потом уже старательно перемалывала деснами и, таким образом, насышалась.

Десять помножить на пятьдесят, получим пятьсот. Пятьсот!.. И еще шесть помножить на пятьдесят, это сколько же будет? Триста! Триста и там пятьсот, всего выходит восемьсот. Восемьсот! Восемьсот долларов!

Алигулу сжал в кулаке в кармане протез из шестнадцати золотых коронок и, может, впервые в ладони своей ощутил такое тепло, какое еще никогда не испытывал, и это чувство походило на свежее прохладное дуновение среди зноя и духоты невозможное делало возможным, далекое — близким, и внезапно перед глазами Алигулу встало лицо Святослава, которого от никогда не видел, и хоть черты лица мальчика были неясны и размыты, однако волосы точно были русые и глаза — ярко-синие.

Алигулу еще раз сжал кулак в кармане, да так сильно, что золотые коронки впилась в его огрубевшую, растрескавшуюся, мозолистую от постоянного таскания мешка с бутылками ладонь, причинив боль, создалось впечатление, что зубы укусили ладонь Алигулу, и между этим впечатлением, то есть тем, что зубы впилась в ладонь его (укусили!), и чудом восьмиста долларов была такая несовместимость, и эта несовместимость до того не имела ничего общего с красивыми русыми волосами и ярко-синими глазами Святослава, что Алигулу все существом своим осознал: надо как можно скорее кончать с этим делом.

Но как?

И в эту минуту он вспомнил «Золотого Мусеиба».

В то время «Золотой Мусеиб», конечно, не был ни «золотым», ни даже Мусеибом, ребята запросто называли его Мусу, он вырос в одном квартале с Алигулу, ему было лет четырнадцать-пятнадцать, когда они переехали, и Алигулу случайно встретил его только лет через сорок: он ходил по квартирам красивого многоэтажного дома в центре Баку, спрашивая бутылки у жильцов, когда из двери одной из квартир вышел Мусу, и Алигулу сразу признал его, однако, когда он заговорил, стал объяснять, напоминать об их детстве, улице, квартале, о двух шелковицах у ворот, Мусу так и не смог вспомнить Алигулу, но несмотря на это, отдал ему все пустые бутылки, которые нашлись в его квартире, причем, совершенно бесплатно. Позднее, когда Алигулу периодически заходил во двор этого престижного дома, он порой становился свидетелем того, с каким уважением относились соседи к Мусеибу (например, когда Мусеиб выходил во двор, все, кто сидел здесь на скамейке, поднимались и почтительно с ним здоровались, или же, когда Мусеиб заводил по утрам свою машину, ребята, околачивавшиеся во дворе, со всех ног кидались открывать железные ворота и т. п.). Потом он узнал, что Мусеиб — зубной врач и прозвище

его «Золотой Мусеиб», и время от времени, завидев Алигулу во дворе, Мусеиб сам предлагал ему: «Давай-ка, поднимемся, я тебе собрал отличные бутылки», и каждый раз эти пустые бутылки он давал Алигулу бесплатно.

Алигулу никогда не пользовался, лифтами, что-то не было у него никакого доверия к лифтам, а всегда поднимался пешком даже на самые верхние этажи в высотных зданиях; и в тот июльский вечер, выйдя из электрички на Сабунчинском вокзале и направившись в сторону знакомого дома, и сейчас поднимаясь по ступеням подъезда, где жил Мусеиб, он чувствовал тревогу в сердце: Алигулу хорошо знал, что не может врать, да в общем-то, в его жизни, вроде бы, и не было повода для лжи, но что он сейчас должен сказать Мусеибу, показав ему этот протез из шестнадцати коронок? откуда он взял? кто дал? может, сказать — свое? или жены? чье же? И под каким видом, под каким соусом он должен преподнести, продать Мусеибу этот подарок судьбы, этот прекрасный, неожиданный дар, что впервые за всю жизнь выпал на его долю?

По мере того, как он поднимался все выше по лестнице, беспокойство нарастало, и когда Алигулу очутился перед кофейного цвета орехового дерева дверью, стараясь отдышаться, беспокойство переросло в панику, мелькнула трусливая мысль — не убежать ли? Но, учитывая, что речь шла о божьем подарке, этого нельзя было делать, и Алигулу пребывая в растерянности и тревоге, пересилив себя, поднял руку с пустым мешком и нажал на кнопку звонка ореховой, кофейного цвета двери..

Он услышал звонок внутри квартиры, и тогда беспокойство с новой силой охватило его, он запаниковал, и на этот раз не в силах совладать с собой, Алигулу и в самом деле собирался улизнуть, но внутри, в квартире младший сын Мусеиба уже поставил пустой бокал, из которого только что выпил коньяк за здоровье отца, на стол, поднялся из-за этого роскошно сервированного стола, уже вышел в прихожую, уже открыл дверь кофейного цвета и посмотрел на Алигулу, стоящего ни жив, ни мертв, засунув руку в карман старого серого пиджака, а в другой державшего такой же серый затасканный пустой мешок.

— Что надо?

— Добрый день.

— Что надо?

— Мусу можно?

— Что?

— Говорю — Мусу...

— Мусу кто такой?

— Му... Мусеиб... Доктора Мусеиба надо...

Мусеиб, услышав свое имя, тоже поднялся из-за роскошного стола и вышел в прихожую.

— Кто это там?

И, увидев Алигулу, стоявшего на пороге, усмехнулся, головой покачал.

— Ты же всего три дня назад приходил. Я все бутылки отдал тебе.

Ты что же думаешь, здесь бутылочный завод?

Вслед за Мусеибом вышел в прихожую и старший сын и молча уставился на Алигулу.

— Нет, — промямлил Алигулу и дальше продолжал что-то мямлить и бубнить, но никто из его бормотания ничего не понял.

— Что? — спросил младший сын.

На этот раз Алигулу, обливаясь потом, догадался вытащить руку из кармана и, судорожно сглатывая, с пересохшим горлом, проговорил:

— Я по другому делу...

Мусеиб подошел поближе к двери.

— Что за дело?

Алигулу хотел раскрыть ладонь, но пальцы никак не желали выпрямляться, будто срослись с этими золотыми коронкам и не хотели с ними расставаться, наконец, Алигулу с трудом разжал кулак, и голубые глаза Мусеиба тотчас воззрились на коронки, и совершенно неожиданно и непредвиденно для Алигулу, Мусеиб, усмехнувшись, опросил:

— На мусорке нашел?

Он взял у Алигулу коронки, прошел под светильник в прихожей, внимательно оглядев протез под светом, сказал младшему сыну:

— Дай ему немного денег и выпроводи. А сам прошел обратно в комнату.

Младший сын достал из кармана горсть бумажных купюр, извлек из нее одну зеленую пятидесяти тысячную, протянул Алигулу к захлопнул кофейного цвета дверь прямо перед его носом.

Алигулу, замерев, некоторое время смотрел на деньги в руках у себя, и в этот момент на лестничной площадке восьмого этажа, рядом с Алигулу остановился лифт — то ли он испортился, то ли кто по ошибке послал его снизу — и шумно распахнул двери, показывая Алигулу свое пустое чрево, и Алигулу, приняв его за приглашение, перепугавшись, что придется залезать в эту ненадежную коробку, невольно, бессознательно, еще раз нажал на кнопку звонка ореховой двери.

На этот раз открыл старший сын, и как раз в этот момент дверцы лифта с грохотом захлопнулись. Старший сын с высоты своего чуть ли не двухметрового роста посмотрел на маленького Алигулу, потом перевел взгляд на захлебнувшиеся дверцы лифта и, опять глянув на

этого сморчка Алигулу, спросил:

— Теперь чего надо?

Алигулу снова пробормотал что-то нечленораздельное, и на этот раз старший сын тоже ничего не понял, но точно так же, как и его младший брат, вынул из кармана пригоршню денег, отделил из этой пригоршни три бумажки по десять тысяч манатов и протянул их Алигулу. Тут в прихожую вышел Мусеиб и, завидев Алигулу, на этот раз с явным недовольством покачал головой и сказал:

— Опять он? Пусть подождет.

Мусеиб прошел в комнату, ваял со стола пустую бутылку коньяка, которую только что опорожнил с сыновьями, и, вернувшись в прихожую, протянул бутылку старшему сыну.

— На, это тоже дай ему, — сказал он и покинул прихожую. Старший сын Мусеиба приблизился к Алигулу с пустой бутылкой в руке, и тому вдруг показалось, что этот верзила сейчас ударит его по голове бутылкой, и он даже зажмурился в ожидании удара, но ничего подобного не случилось, верзила сунул пустую бутылку под мышку Алигулу, потом протянул палец и чуть не тыча им в глаз Алигулу, сказал:

— Клянусь твоей жизнью, если еще раз побеспокоишь моего отца, я тебе глаза вырву!

И старший сын Мусеиба сердито захлопнул дверь, и на этот раз кофейного цвета ореховая дверь все-таки стукнула Алигулу по носу.

У Аллаха для людей две разные доли.

У богатых — своя доля, у бедных — своя.

И негоже вмешиваться в дела Аллаха, не следует быть неблагодарным.

Пять ширванов¹ и еще три ширвана, итого — восемь ширванов. Сколько дней ты должен был копать в мусоре, чтобы заработать восемь ширванов?

Да еще в придачу эта дорогая бутылка...

Куда у летела та звезда?

Эта ночь была повторением вчерашней: небо полно звезд.

Была повторением вчерашней ночи, и той, что была пятьдесят лет назад.

Ночь перевалила за полночь, и духота теперь не очень досаждала

¹ Ширваном называют купюру в 10 тысяч манатов.

жителям Баку, они спали.

Мусеиб же опять стоял у широко распахнутого окна и смотрел на звезды.

Та падающая звезда пятьдесят лет назад скатилась а неба, исчезла.

Сколько разного произошло за эти пятьдесят лет...

Мусеибу вдруг захотелось курить, но сигарет не было, потому что три года назад Мусеиб, уступив уговорам и требованиям сыновей, бросил курить (не надо было бросать!), и они повыкидывали все сигареты, что нашлись в доме, или, может, кому-то отдали, и Мусеиб уже привык обходиться без курева, и все эти три года даже не вспоминал о нем.

Но сейчас ему внезапно захотелось курить. Дело в том, что Мусеиб обманул сыновей.

После того, как в Диагностическом центре, перекинувшись шутками со знакомыми врачами, Мусеиб дал себя обследовать, он заметил, что через некоторое время на лицах этих врачей и следа не осталось от давешнего веселья, и обостренным чутьем своим догадался, что дело неладно. Как только закончилось обследование, врачей будто подменили — они стали отводить глаза, заикались, не отвечали на вопросы: «Как мои дела?» «Ну... надо посоветоваться...» «С кем посоветоваться? Посмотрим...» «С кем?» «Надо все взвесить, обсудить...» «С кем?» «С Фараджевым...»

Фараджев был самым известным онкологом в Баку. Мусеиб, выйдя из Диагностического центра, не теряя времени, погнал «мерседес» напрямик в Институт онкологии и, войдя в кабинет Фараджева, старого своего знакомого, попросил обследовать себя. «Ну, старый друг, признавайся, что мы носим в себе?» «Ты пойдй, отдохни пока, а я обстоятельно все проверю, обдумаю, завтра поговорим». «Послушай меня внимательно, мой друг! Я так понимаю, что дело — дрянь. И если ты думаешь, что я сейчас уйду, а ты вызовешь моих мальчиков и все им выложишь — то откажись от этой мысли. Говори мне, что должен сказать!» «Иди отдохни, завтра поговорим». «Рак?» И Мусеиб вперил свой голубоглазый взгляд прямо в глаза Фараджева, в самую их глубину, словно стараясь выведать, что у того на уме. Фараджев не выдержал этот взгляд, отвел глаза и стал бесцельно копаться в карманах, будто искал что-то. «Я тебя спрашиваю — рак?» «Кажется», — через силу ответил Фараджев. «Время упущено?» «Ты поздно обратился...» В кабинете Фараджева повисла гнетущая тишина. Мусеиб поднялся с кресла и пошел к двери. «Я пошел». «Анализы...» Но Мусеиб, не слушая Фараджева, вышел из кабинета.

...Куда она полетела, та звезда?

...В какое-то неизвестное, незнакомое пространство...

Кто-то утром, выйдя из дома, отправляется на рыбалку, и что тут необычного?

А кто-то, выйдя из дома, идет собирать бутылки, и это... это...

и это тоже в порядке вещей...

И эта «ночь была повторением прошлой, была полна звезд, ни малейших туч на небе, ни малейшего дуновения — стоячий воздух, и будто между этими двумя ночами — прошлой и этой — ничего не произошло, будто не было такого большого, тяжелого дня, и еще вот что: если эти звезды так непостижимо далеки и бесчисленны, если этот мир так таинственно-загадочен, то есть ли разница между вчерашней ночью и сегодняшней по сравнению с этой далью, бесчисленностью, таинственностью? — если подумать, все становилось совершенно бессмысленным.

Долгие годы в сердце Алигулу царилло желание, о котором он никому не говорил, и это желание поднимало голову, трепетало и оживало в нем особенно в такое летнее время, ночью, когда он спал на крыше, когда стояла такая безветренная пора, когда небосвод сверкал миллионами звезд, желание это, трепеща, превращалось в жгучую мечту, и это напоминало, как если бы завянувшую, пожелтевшую от безводья рассаду — скажем, помидора или перца, или какую другую рассаду — польешь водой, и почти на глазах она воскресала, наливалась силой и свежестью листьев, рассада распрямлялась, и к ней возвращался ее естественный зеленый цвет.

И сейчас это желание внезапно напомнило о себе, расцвело в душе Алигулу. Алигулу слышал, что с дальних звезд на Землю прилетают какие-то странные, загадочные существа, а летают они в тарелках, как наши на самолетах, и будто бы эти существа крадут людей с этой планеты и увозят с собой, и там, у себя обследуют и изучают, что за такие люди на Земле и как они, значит, устроены; и Алигулу очень хотел, желал, мечтал, чтобы в один прекрасный день эти загадочные инопланетяне украли бы его, увезли бы в те дальние дали, к звездам, увезли бы навсегда, так, чтобы он, Алигулу, уже никогда больше не возвращался бы на земной шар.

Видимо, это звездное пространство вблизи было не таким уж привлекательным, как представлялось отсюда, потому что, обычно, что издали кажется прекрасным, вблизи оказывается чем-то вроде содержимого мусорных баков, но Алигулу был готов даже к этому, и главным для него было то, что там находился совершенно другой мир.

и Алигулу хотел, желал, мечтал быть жителем этого другого мира и больше никогда не возвращаться на Землю.

В жизни Алигулу — и до женитьбы, и после — была одна только женщина, и эта женщина — его жена, и теперь его жена, накрывшись застиранной истончившейся простыней, спала на боку на тонком матрасе, мирно похрапывая, и представления не имела о приключениях Алигулу с шестнадцатью золотыми коронками, и если бы на самом деле произошло чудо, то есть Алигулу украли бы те загадочные, таинственные инопланетяне и увезли бы его в свой далекий мир звезд, то что бы стало с этой несчастной?

Тогда бы этой несчастной не оставалось бы ничего больше, как усесться у ворот мечети и просить именем Аллаха подаяние. Нет, не надо, как бы ни было печально, следовало выбросить из сердца эту прекрасную мечту о дальних звездах, потому что кому суждено жить в мире звезд — те там и жили, а Алигулу суждено жить на этой планете, на Земном шаре, в нагорном квартале Баку, умереть здесь, и здесь же потерять всякий след своего пребывания на земле и костям его суждено было сгнить в земле этой планеты и смешаться с останками миллионов и миллионов людей.

Что было бы, если бы мусорные баки во всем мире издавали не вонь, а источали ароматы духов? Тогда был бы другой мир.

Все нутро его представляло собой сплошную рану, раковые метастазы уже въедались в кости, и врачи определили ему срок в несколько — по пальцам пересчитать — дней.

В сознании этого человека, находившегося между кошмарами, забытьем и явно, неожиданно возникло видение горы, высокой горы со снеговой шапкой, и сознание его, трепещущее между кошмарами, забытьем и явно, вконец задыхающееся, будто сжигаемое на жарком огне очага, словно ощутило прохладу, повеявшую с той горы, эта прохлада окутала все тело его и даже ноги, которых он уже не ощущал, будто немного даже замерзли от той прохлады и горной свежести, и случилось вдруг странное: прохлада, окутавшая тело, заставившая зябнуть ноги его, как будто стала прогонять засевшие в сознание кошмары, вторгаться в забытьем и разрушать его, принося с собой ясность и легкость, и больной впервые за много дней зашевелил губами и произнес:

— Отвезите меня в горы...

И желание его было свято исполнено, как завещание, его отвезли к

подножию высокой горы и стали поднимать по склону все выше и выше, и сознание этого человека, словно превратившись в маленькую птицу, полетело от склона, над скалистыми оврагами, и он увидел восход ярко-красного солнца перед горой, увидел солнце в небе, спокойно поливающее землю светом, увидел солнце, склоняющееся к закату, чтобы завтра вновь подняться из-за горы; снежная вершина горы, пробив облака, сияла в вышине и звала эту маленькую птицу взлететь выше облаков, в те дали, где кроме чистоты и ясности ничего нет, и больной, впервые за несколько месяцев поднялся, стал на ноги, стал сам шаг за шагом подниматься на ту гору; родные и близкие поначалу бережно поддерживали его под руки, но вскоре шаги больного окрепли, а потом родные и близкие уже не поспевали за ним, и больной, поднявшись один на гору, миновал, оставил внизу облака, и в ясности и чистоте, что царили выше облаков, он достиг самой высокой вершины, а когда он вернулся обратно, родные и близкие вместо смертельно больного человека увидели здорового, цветущего мужчину.

Это выздоровление все восприняли как чудо.

Но никакого чуда здесь не было.

Просто чистота в сердце того человека слилась с чистотой и ясностью горной вершины.

И случилась эта история давным-давно, в далекой стране...

2001, август

САРЫ ГЯЛИН¹*

...потом полил сильный дождь, ливень и мгновенно очистил от песка и пыли утесы этой горы, ярко-зеленые лужайки и такие же ярко-зеленые кроны там и сям растущих на этих лужайках деревьев, листья кустарников, овраги с крутыми скалистыми краями, внизу которых бело-пенно кипит бежала река, все очистил, обновил ливень, все заставил сверкать и светиться чистотой благодатный дождь, и в это мгновение и горы, и зелень, и крутые скалы, тянущиеся вдоль оврагов, - все напоминало, все говорило о широте и бесконечности мира, этого без начала и без конца, вечного мира...

...потом всю эту широту и бесконечность объяли удивительные звуки, и под эти звуки словно заговорила река, катившая свои белопенные воды, заговорили горы и ярко-зеленые лужайки.

- Не заплетают концы волос.
Не отдадут тебя за меня.
Чтобы мне дожить до дня,
Когда увижу лик моей возлюбленной...
Что мне делать, горе мне, горе.
Что мне делать, горе мне, горы!
Златовласая невеста...

...потом прекратился проливной дождь, наступил вечер, и все вокруг покрыла тьма, но те звуки и та песня будут звучать вновь и вновь, неотделимые от этих мест.

Глубоко ущелье это...
Верни, чабан, ягненка...
Чтобы мне дожить до дня,
Когда увижу лик моей возлюбленной.
Что мне делать, горе мне, горе.
Что мне делать, горе мне, горы!
Златовласая невеста...

¹ Сары гялин – букв. златовласая невеста. Старинная азербайджанская народная песня.

* Рассказ получил премию «525-ой газеты» (Баку) «За лучший рассказ года» в 2001 году.

Во внешнем виде шашлычной "Осенний дождь" не было ничего привлекательного, кроме вывески с названием. Во времена Советского Союза во дворе восьмизэтажного жилого дома в третьем микрорайоне Баку располагалась маленькая авторемонтная мастерская, принадлежавшая какому-то учреждению, но как только Союз развалился, эта мастерская моментально была приватизирована и переоборудована в шашлычную.

Правда, как утверждают, шашлыки тут готовили отменные, но жильцы восьмизэтажки были очень недовольны тем, что постоянно у них во дворе царили запахи дыма и шашлыка, кроме того, подвыпившие посетители шашлычной поднимали порой шум-гам, и это тоже не вызывало особой радости у жильцов. И единственный положительный момент заключался в том, что по вечерам из "Осеннего дождя" слышались звуки кларнета, и тут же все затихало кругом, звуки кларнета рождали в душах жильцов такие удивительные чувства, что они на время забывали обо всех неудобствах: и о постоянном дыме во дворе их дома, и о раздражающе-аппетитных запахах шашлыка, и о криках и ругани невоспитанных завсегдатаев шашлычной...

В тот прекрасный осенний день кларнетист Фатулла, как обычно, проснулся спозаранку, поднялся с постели и направился умываться, когда жена его, Фируза, будто только и ждала его пробуждения, просунув голову в дверь, окликнула его:

— Ты встал, Фатулла?.. Я что сказать хотела... Ладно, поди умойся, потом...

И таким голосом она произнесла это, что сердце Фатуллы защемило, заныло в недобром предчувствии, как самая тонкая, предназначенная для печальных звуков, струна тара¹, но в то же время весьма ощутимая тревога впиалась в сердце его: в тоне Фирузы слышались до того униженные и беспомощные нотки, что такой основательный мужичище, как Фатулла, умываясь, еле сдержал подступавший к горлу ком и смачно выругался про себя в адрес всех печалей, горестей и неустroенностей этого мира, потому что в последнее время - он и сам не понимал причины! - он часто вспоминал жену молодой, те времена, когда и в помине не было у нее седых волос, ставших сейчас красными от наложенной хны, а были две иссиня-черные косы, каждая толщиной с запястье, достававшие чуть не до пят, и была она будто стройный детеныш джейрана, затмевала солнце, затмевала луну своей красотой, солнцу говорила: не выходи, я взойду, луне говорила: не выходи, я взойду, и все молодые парни их квартала глаз не сводили с этой длинноносой красавицы, а красавица эта среди стольких молодых выбрала именно его, то есть Фатуллу, который сейчас умывался с

¹ Тар - азербайджанский народный струнный муз.инструмент.

ноющим от нехорошего предчувствия сердцем...

Выбрала Фатуллу... Но разве для того она его выбирала, чтобы через тридцать шесть лет девушка, затмевавшая своей красотой солнце и луну, сейчас говорила бы таким униженным и беспомощным тоном, разве для того выбирала, чтобы в одном и том же платье ходить на пять свадеб, что подра в одну весну были сыграны в их квартале, разве для того выбирала, чтобы и Фатулла еле сдержался, чтобы не швырнуть мыло, что бессмысленно вертел в руках, в свое отражение в зеркале...

ладно...

хватит...

есть и похуже тебя живут...

и Фатулла в те годы был молод и дерзок, имел густую черную шевелюру, с гордой осанкой сидел он под парной шелковицей напротив дворовых ворот, под быстрыми взглядами проходивших мимо соседских девушек, под девичьими взглядами, украдкой бросаемыми на него из окон, играл в нарды и побеждал всех молодых соседских парней, и то, что чернокося красавица среди стольких молодых выбрала именно его, было вовсе не удивительно, а напротив - так же естественно, как и то, что в жаркий летний день мужчины их квартала собирались в прохладной тени этой ветвистой парной шелковицы, Фатулла и внешностью, и поведением своим был вполне достоин этой длиннокося красавицы, но именно тогда шапочник Джафар, отец длиннокося красавицы, уперся, как баран: я, мол, не отдам дочь за зурначи¹.

Дело в том, что в роду Фатуллы все были музыканты, и прадед его, и дед, и отец были известными в Баку исполнителями на балабане², и Фатулла тоже с самого детства играл на балабане, и балабан для него был, как воздух, как вода, Фатулла не мог представить себя в этой раскрепасной жизни без балабана, но когда шапочник Джафар уперся, как баран, не желая отдавать за него дочь, Фатулла ради длиннокося красавицы отрекся от балабана, который считал смыслом всей своей жизни, и перешел на кларнет.

Видимо, шапочник Джафар считал кларнет более достойным уважения инструментом, чем балабан, и потому дал согласие на свадьбу.

С тех пор прошло тридцать шесть лет.

Все эти тридцать шесть лет кларнет Фатуллы усердно трудился, справил немало торжеств и свадеб, кормил большую семью: их самих и пятерых их дочерей, благодаря этому кларнету они вырастили детей, дали им образование, выдали их замуж.

В советское время не было столько музыкантов, но как только распался Союз, тут же как из-под земли возникло столько певцов и

¹ Зурначи - музыкант, играющий на зурне, духовом инструменте.

² Балабан - азербайджанский народный духовой музыкальный инструмент, род свирели.

исполнителей, что просто диву даешься - где же они раньше были? - независимость будто была тяжела ими и разродилась вконец таким невероятным их количеством. И все они, видимо, в первую очередь, были хорошими монтерами, а уж потом музыкантами, в том смысле, что все музыкальные инструменты подкочивали к электричеству и такой поднимали хай, такое при этом отплясывали, такое на себя напяливали, что, наконец, вытеснили кларнет Фатуллы в эту маленькую шашлычную, и кларнет, что некогда приносил хороший заработок, теперь сиротливо рыдал для нескольких подвыпивших посетителей, в надежде выплакать на хлеб насущный.

И Фатулла, смывая мыло с лица, не поднимал глаз на зеркало, он не хотел видеть этого седого, с побелевшими как снег усами, толстого мужчину, но именно в эту минуту зеркало будто превратилось в магнит, а глаза Фатуллы словно стали железными, и зеркало притягивало глаза Фатуллы, притягивало...

посмотри на меня!..

посмотри на меня!..

Норвежец Мартиниус Асбъеренсен вот уже семь лет, как работал в Баку в одной из зарубежных нефтяных компаний на должности помощника главного бухгалтера, и хоть и очень любил Ибсена, но бакинских дельцов, спекулирующих антиквариатом, знал гораздо лучше, чем героев Ибсена, и когда он рассматривал антикварные изделия и чуял предстоящую прибыль, он получал гораздо больше удовольствия, чем от музыки своего любимого композитора Грига.

Правда, сейчас и местные жители, и маклеры уже были не те, что лет пять-шесть назад, умнее стали; а когда развалился Советский Союз и открылись границы, приезжавшие в Баку иностранцы буквально за гроши скупали антикварные изделия старинные азербайджанские ковры, ювелирные украшения, чеканку, работы современных художников - увозили за границу и там продавали вдесятеро, а то и в сто раз дороже, или за смехотворные деньги собирали себе богатые личные коллекции; так было лет пять-шесть назад, потом появились новые маклеры, маклеры новой формации, так сказать, цены выросли, но как бы цены ни росли, как бы местные жители ни поумнели, как бы ни пробудились, цены скупаемых азербайджанских и восточных антикварных изделий были все еще очень низки по сравнению с ценами на них в Европе и США.

Конечно, долго так продолжаться не могло, надо было использовать момент, ловить удачу. Верно и то, что если бы и дальше так шло, в Азербайджане ничего по-настоящему ценного не осталось бы, но это были проблемы будущего и пусть этими проблемами занимаются будущие поколения и сами азербайджанцы.

Ловкий, хитрый, деловой по природе Мартиниус Асбъеренсен держал руку на пульсе, для начала он собрал себе прекрасную личную

коллекцию из азербайджанских ковров и ковровых изделий, потом понял, что нельзя сейчас довольствоваться только лишь личной коллекцией, надо поставить дело на широкую ногу, организовать настоящий бизнес, понял и рьяно принялся за работу, и в результате за те годы, что он был в Баку, он хорошенько изучил тайные и явные, легальные и официальные пути этого бизнеса, и таким образом заработал большие деньги.

Друзья и знакомые Мартиниуса Асбъернсена в Норвегии (да и сам он) прежде и помыслить не могли, что когда-то Советский Союз рухнет, и развал этого устрашающего монстра ослабит Мартиниуса, и в неведомом до вчерашнего дня Азербайджане так сказочно повезет этому маленькому, лысому, пузатому человечку.

Когда Фируза внесла на подносе свежесваренный чай, хлеб, масло, сыр и положила перед мужем на стол, Фатулла почувствовал, что на этот раз Фируза сообщит что-то неожиданное, и спросил:

— Ты, вроде, что-то сказать хотела?

— Пей чай, потом скажу, - ответила она, и Фатулла окончательно уверился, что Фируза скажет что-то новое, но какое новое? Хорошее? Плохое? Этого он не знал.

Фируза, было заметно, спешила сообщить новую весть, но в то же время, как бы, не решалась, и Фатулла подумал, что, может, эта весть об одной из дочерей? Но что там могло быть нового? Если новый внук, то нечего было тут осторожничать - шестого внука ждали - и ничего другого больше не приходило ему в голову.

И кончив завтракать, он спросил: Ы-ы?... Что случилось?

— Ничего, - сказала Фируза, - Что может случиться, слава Аллаху, все нормально...

— Ты же говорила, что-то сказать хотела... Фируза подошла к нему, взяла за запястье.

— Ну-ка, пошли, - и повела его к двери, выходящей во двор.

Вот уже тридцать шесть лет, как они женаты, но каждый раз за эти тридцать шесть лет, когда рука Фирузы прикасается к его руке, Фатулла чувствует, будто ток пропускают через его тело, будто... будто... рука эта была рукой длинноносой красавицы, и он чувствовал тепло той руки, знакомые ощущения от той руки...

Перед дворовыми воротами Фатуллы рос старый с толстым стволом виноградник, и лет ему было больше, чем Фатулле, ветви виноградника были подняты на крышу одноэтажного дома Фатуллы, и на крыше из тех ветвей был сделан отличнейший тенистый навес, и как только наступала весна, появлялись листья на ветвях виноградника, и очень скоро этот навес превращался в райский уголок для жителей

квартала, и даже в самый жаркий летний день яркие лучи солнца не могли пробиться сквозь густую листву навеса, и самое удивительное заключалось в том, что листья старого виноградника каждый раз были так свежи, будто он обновлялся и расцветал не в семидесятый или восьмидесятый раз, а впервые, и словно новорожденный открывал глаза в этот мир, и столько он давал урожая, янтарно-желтого винограда - шаны¹, что Фирузе хватало, чтобы на всю зиму приготовить абгору², уккус, дошаб³ да еще ведрами отправлять сладкий, как мед, шаны всем своим дочерям, а листья виноградника засаливала, и осенью и зимой из тех листьев готовила долму, да такую, что Фатулла был уверен никто в мире не мог бы приготовить вкуснее.

Фируза, потянув за собой Фатуллу, вывела его во двор, подвела к винограднику и показала на ярко-зеленые, уже выросшие в ладонь величиной, листья.

— Видишь, Фатулла? - спросила она.

Фатулла как-никак был человек творческий, тонко чувствующий, и, правду сказать, его по-настоящему взволновало, что в это прекрасное весеннее утро Фируза вывела его во двор и показывает ему на пробуждающуюся ярко-зеленую листву, будто улыбающуюся ему приветливо, и как в той далекой молодости ему вдруг захотелось тут же, посреди двора обнять Фирузу, прижать ее к груди, но тут он услышал ее голос.

Знаешь, Фатулла, хочу тебе кое-что сказать... но только не сердись...

Сердце Фатуллы будто провалилось в пустоту, полетело в пропасть, и теперь Фатулла отчетливо, на все сто процентов понял, что услышит что-то нехорошее.

Фатулла, - сказала Фируза, - знаешь... что я надумала... хочу собрать эти листья и продать их на базаре...

Поначалу Фатулле показалось, что он ослышался или неправильно понял слова жены, но через мгновение, когда в мозгу, как пощечина, прозвенели ее слова, он вдруг так изменился в лице, что Фируза не на шутку перепугалась и побледнела, как полотно.

— Что? - прохрипел Фатулла.

— Не сердись, Фатулла, ради Аллаха не сердись! - торопливо проговорила Фируза.

— Чтобы моя жена продавала на базаре виноградные листья?! - таким же страшным, хрипящим голосом произнес Фатулла, и этот вопрос был обращен явно не к Фирузе, и даже не к самому себе, а будто он спрашивал кого-то невидимо присутствующего тут...

Может, он спрашивал судьбу?..

Может, обращался к Аллаху?..

¹ Шаны - один из лучших сортов винограда на Абшероне.

² Абгора - сок незрелого винограда.

³ Дошаб - выварная патока из винограда.

К кому он обращался?..

Он и сам не знал, но одно он знал точно - лучше бы он умер, чем дожить до этого дня, когда через тридцать шесть лет он довел ту длиннокошую красавицу до такой нужды, что она... в тысячу раз было бы лучше, если б он умер.

Фируза, увидев сердито вытаращенные глаза Фатуллы, его багрово-покрасневшее лицо, испытала настоящий страх: в последнее время у мужа и без того сильно подскочило давление (порой доходило до 170 х 110), и Фируза стала от всего сердца просить и умолять его:

Фатулла, да буду твоей жертвой, не обращай внимания на мои глупые слова... сказала - да... не подумала... Не принимай к сердцу, если сболтнула лишнее... Да буду твоей жертвой... Клянусь Аллахом, больше ни слова ни скажу такого...

И Фируза снова взяла его за запястье, и впервые за тридцать шесть лет Фатулла резко выдернул руку.

— Убери руки от меня!.. - сказал он.

Мисс Мерилин Джонсон уже исполнилось пятьдесят один год, но до сих пор еще она не вышла замуж, эта негрятенка была чересчур уж толстая. В США часто встречались такие толстяки, и, конечно же, причиной их непомерной толщины являлись искусственные компоненты в составе пищевых продуктов, коими они, толстяки, питались. Жратва представляла собой основную проблему в жизни Мерилин Джонсон и уже превратилась в основную цель, и в этом смысле мисс Мерилин Джонсон повезло с работой - она была очень довольна своим последним местом работы.

Мисс Мерилин Джонсон работала прислугой в доме мистера Исаака Блюменталь, солидного и известного банкира, квартира которого располагалась на двадцать третьем этаже здания, что напротив отеля "Регал Дж. Н. Плаза", что рядом со зданием ООН, что в Манхэттене, что в Нью-Йорке, и поскользку.

Постольку сам мистер Блюменталь и жена его миссис Блюменталь уделяли своему здоровью исключительное внимание и если мало, все высококачественные натуральные продукты, доставляемые из дорогих магазинов, большей частью оставались бы нетронутыми, если б не завидный аппетит мисс М.Джонсон, и, прибираясь в квартире, мисс М.Дж. перемальвала с утра до вечера, будто мельничные жернова - зерно, своими мощными челюстями эти экологически чистые и потому дорогие продукты.

Чета Блюменталь была бездетной, неразговорчивой, спокойной, любила беззаботную, комфортную жизнь.

У миссис Блюменталь имелся белоснежный пудель, и она с ним разговаривала больше, чем с мистером Блюменталем, или же с мисс

Джонсон, часто выгуливала пуделя, сама чистила, мыла, холила, таскала к специальному парикмахеру, дабы постричь его по последней моде, расчесывала его густую шерсть и, естественно, сама кормила, и, таким, образом, у мисс Джонсон не было никаких проблем, связанных с этой собакой.

Наряду с тем, что мистер Блюменталь был известным авторитетным в финансовых кругах банкиром, он был к тому же заядлым коллекционером музыкальных инструментов и каждый вечер после легкого ужина до полуночи проводил среди экспонатов своей коллекции, в идеальном порядке расположенных в отведенных для них трех комнатах, усаживался в удобное кресло с одним из редких экспонатов в руках и внимательно, сантиметр за сантиметром изучал и обследовал инструмент через лупу, сверяясь при этом с различными каталогами и справочниками.

Мистер Блюменталь сам лично вытирал пыль с образцов своей коллекции, в том числе с одной скрипки Г. де Салло, с одной - А. и Н. Амати и с двух скрипок (!) Страдивари, и в этом отношении тоже у мисс Джонсон не болела голова, что вдруг она что-то там уронит, или что-то такое сломает, или повредит...

В чем Фируза-то провинилась? А? В чем она провинилась? Никакой ее вины не было... посмотри только, до чего ты довел свою семью, свой дом, эту бедную Фирузу, что она задумала продавать виноградные листья, торговать на базаре виноградными листьями! Твоему покойному отцу, когда он сажал во дворе этот виноградник, и в голову не могло прийти, что когда-то, через много лет семья его сына будет так бедствовать и нуждаться, что его невестка задастся мыслью продавать на базаре листья с этого виноградника. Как же тут не переворачиваться в гробу покойному шапочнику Джафару, что не желал выдавать свою длинноволосую красавицу-дочь за зурначи (и правильно делал, что не желал!), но выдал за кларнетиста (и неправильно сделал!), зная о бедственном положении родной дочери?! Глупец, сын глупца, вместо того, чтобы отталкивать руку Фирузы, поди лучше бейся головой о стену, Фируза тут при чем?..

... и, сидя за столом, молча с треском ломая пальцы, Фатулла видел, как в комнату со двора вошла Фируза, и глаза Фирузы покраснели от слез, и он еле сдержался, чтобы не подойти и обнять ее, сказать ласково: "Ты тут ни при чем, это я - язва проклятая!", но сдержался, боясь, что может при Фирузе прослезиться, и потому, не отрывая глаз от своих рук, продолжая нервно ломать пальцы, решил только произнести:

— Ну, что такое?..

И Фируза не посмотрела на него, убирая со стола остатки завтрака, а только дрожащим голосом сказала:

— У мальчика скоро ведь маленькая свадьба ...

... теперь ты понял, тупица, сын тупицы, понял или нет? Хочет

подарок внуку сделать, а на какие шиши?.. Что ей делать?.. Треснуть бы по тулой твоей башке твоим кларнетом!.. Что ты приносишь в дом? Что зарабатываешь? Все, что приносишь, тут же сам и проедаешь!..

Дело в том, что через пять дней, в ближайшее воскресенье пятилетнему внуку Фатуллы должны сделать обрезание, и Фируза после долгих размышлений - что купить и на что купить, в конце концов, остановилась на мысли в виде источника доходов использовать виноградник...

... понял теперь, глупец, сын глупца?! ...

Конечно, Фатулла знал, что заработков в "Осеннем дожде" не хватает на все нужды семьи, но знать не знал, ведать не ведал, что дела обстоят настолько плохо, потому что все заработанные деньги он добросовестно и аккуратно вручал жене, а уж она вела дом, и все хозяйство было на ней, и Фируза выворачивалась, как умела, ни разу не пожаловавшись мужу, чтобы не расстраивать его, и без того ведь он делает все, что в его силах, в свои солидные лета играет на кларнете в шашлычной по заказу клиентов, которые почасту в сыновья ему годятся (и каких клиентов! Одни пьяные, другие драчливы, как петухи, третьи - Аллах их ведаст, что за подозрительные субъекты...), что же еще должен делать несчастный Фатулла?

Но если б даже мир перевернулся, Фатулла не мог бы согласиться на то, чтобы жена его ради подарка внуку на его маленькую свадьбу¹, задумала продавать виноградные листья на базаре.

И, поднявшись из-за стола, Фатулла подошел к буфету, что Фируза убрала с особым старанием, и задумчиво воззрился на верхнюю полку, где за стеклом красовался старинный инкрустированный перламутром балабан.

Украшенный серебряной и перламутровой инкрустацией и бирюзой, этот балабан достался Фатулле от отца, от деда, прадеда... и в доме Фатуллы он по праву считался дорогой реликвией. В свое время об этом балабане писали газеты, приходили даже из музея, чтобы приобрести его, но Фатулла продавать отказался, потому что был убежден, что если продаст, или отдаст кому-то, то перед памятью своих предков совершит недостойный мужчины поступок.

Временами Фатулле казалось, что с того дня, как он променял этот балабан на кларнет, балабан обиделся, и не только на Фатуллу, на весь белый свет обиделся.

Но раз или два в году Фатулла снимал балабан с верхней полки буфета, выходил с ним во двор, садился на аккуратно побеленный край маленького бассейна напротив виноградника и с упоением играл шемящую душу мелодию "Сары гялин". И по мере того, как пальцы Фатуллы перебирали клапаны балабана, он чувствовал, как балабан, казалось бы, мирится с ним, и еще он чувствовал, что с того дня, как в

последний раз балабан был водружен на свое почетное место на верхней полке буфета, он все это время терпеливо ждал своего маленького тихого праздника, что назывался "Сары гялин".

Сотрудники музея прочитали надпись, начертанную на балабане перламутровыми арабскими иероглифами, и Фатулла, попросив их переписать эту надпись на кириллице, положил бумажку с надписью, как обычно это делают в музеях, перед балабаном;

"Год - 923

Джамадиул - эввэл - 6

Тебриз

Мастер Мухаммед ибн Юсиф ибн Муталлиб"

Это были дата появления на свет инструмента и имя мастера, сотворившего в Тебризе сей балабан, дата давалась по мусульманскому календарю Хиджры, что по подсчетам музейных работников, приравнивалось к году 1516 по христианскому летосчислению, а еще точнее - 30 июня 1516 года.

В советское время музеи не испытывали недостатка в деньгах, и сотрудники музея долго уговаривали, обещали золотые горы, но так и не уговорили Фатуллу, он наотрез отказался продать балабан музею, разрешил, правда, сфотографировать инструмент и посылать эти фото, куда угодно, писать, что угодно, но перламутровый балабан остался на своем прежнем месте в верхнем ярусе буфета за стеклом, и уважение к нему еще больше возросло.

Вниз по улице - отсчитайте четыре двери от дома Фатуллы, и вот вам будет дом семейства Алекпера. Алекпер был медником и прежде имел маленькую мастерскую на улице Басина, возле остановки трамвая номер 11, потом, когда улицу расширили,несли мастерскую, и Алекпер тогда был вынужден лудить медную посуду, чтобы прокормить семью, но как только рухнул Советский Союз, произошло странное событие: медные, гроша ломаного не стоившие кастрюли, подносы, самовары и прочая покрытая пылью посуда, сваленная в подвале дома Алекпера, внезапно фантастически подскочила в цене, и как мухи на мед, стали слетаться в дом Алекпера сначала иностранцы, потом внезапно возникшие бакинские маклеры и предлагать Алекперу за эти бросовые вещи большие деньги, и когда Алекпер распродал всю медную утварь, что у него имелась, он сам сделался маклером, и медник Алекпер, буквально на глазах у окружающих обратившись в богача Алекпера, стал одним из самых видных и уважаемых людей в квартале, даже купил себе "мерседес", правда, не новый, 86 года выпуска, но как бы там ни было, "мерседес" — это "мерседес".

Как кошка, учуявшая мясо, маклер Алекпер трижды приходил к Фатулле и трижды заводил разговор о балабане с целью купить его, и

¹ Маленькая свадьба - так в народе называется обряд обрезания.

каждый раз предлагал сумму несколько больше прежней, но Фатулла сломить не удавалось, и в последний его приход Фатулла категорически сказал ему: "Алекпер, двери моего дома всегда открыты для тебя, но с этим предложением больше сюда не приходи!" И после этого разговора Алекпер, хорошо знавший характер Фатуллы, больше не заговаривал с ним о балабане.

Все, кто знал Фатуллу - соседи в квартале, друзья и знакомые, даже Фируза - думали, что кларнет для Фатуллы - все, смысл жизни, самый близкий, самый сердечный друг, с которым одним только Фатулла делится сердечными тайнами, и соседи, друзья и знакомые, и Фируза правильно полагали, и в самом деле было так, но так было несколько поверхностно, так было то, что на виду, а в душе Фатуллы очень глубоко проходила черта, и до той черты все было так, правильно было, но дальше той черты жили в душе Фатуллы другие, невыразимые чувства, и никто на свете, даже Фируза, не знал, что кларнет для Фатуллы - пустяк, ерунда (!), потому что дальше той черты, что залегла глубоко в душе Фатуллы, начинались голоса природы: шум моря, вой ветра, щебет птиц, шорох листьев...

В один прекрасный и удивительный день, под вечер, когда Фатулла сидел под парной шелковицей напротив своих ворот и, как обычно, готовился играть в нарды с соседями, он вдруг услышал тихий шорох листьев от легкого дуновения ветерка в ветвях шелковицы, шепот листьев, и этот шорох-шепот листьев будто впечатался ему в мозг, в память и там и остался, и как новорожденный открывает для себя мир начиная со вкусовых ощущений, Фатулла внезапно открыл, что его кларнет никогда не сможет передать этот непостижимый язык природы: шорохи и шепоты, говор и плеск... Что нащепывали листья той парной шелковицы - Фатулла никому не смог бы это объяснить, потому что и сам не знал, но понимал, что тайну, что заключалась в шелесте этих листьев, не мог бы передать ни один музыкальный инструмент в мире...

Кроме этого балабана и таящейся в нем песни "Сары гялин".

Однако Фатулла понимал и то, что это являлось истиной для него одного, для Фатуллы, а скажем, какой-нибудь пианист мог бы утверждать, что только пианино способно передать те звуки природы и таящуюся в них тайну, а, к примеру, скрипач мог бы поспорить, что только скрипка способна... как бы там ни было, после такого открытия Фатулла долго пребывал в удрученном состоянии, и ему показался бессмысленным не только его кларнет, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, но и сама жизнь показалась лишенной смысла, и в тот вечер Фатулла очень рассеянно играл в нарды, без настроения, без охоты и, надо ли говорить, что проиграл, но о своем открытии он никогда никому не говорил ни слова.

Если б Фатулла, к примеру, был бы пианистом, тогда его дети - неважно, мальчики или девочки - могли бы продолжить его путь в профессии, но весь род Фатуллы, все музыканты в роду были не пианистами и даже не кяманчистами¹ - кем девушки тоже могли бы стать — а все в их роду были исполнителями на балабане, а девушкам - ясное дело — не пристало играть на балабане.

Может, это божья кара за то, что он бросил балабан, променял его на кларнет? Может, Аллах наказал его и не дал ему в наследники ни одного мальчика, чтобы тот мог продолжить дело своих отцов и дедов?

Даже если так, да будет все оно жертвой длинноносой красавице, и пусть Аллах не посыл им сына, ничего, но взамен пускай делает долгой и безгорестной жизнь этой длинноносой красавицы, чтобы ни бед, ни печалей не знала она.

— Да буду твоей жертвой, Фатулла, умру у ног твоих, ради Аллаха не продавай балабан, Фатулла, знаю, из-за меня продаешь, прости меня, глупость сказала, черт попутал, этот разговор о листьях - недостойный тебя разговор... прошу тебя, умоляю, не продавай балабан, каждый день тосковать по нему будешь, не продавай, Фатулла...

Но сколько ни просила, ни умоляла Фируза, сколько ни проливала слез — не могла разубедить Фатуллу.

Все совершилось очень просто: Фатулла зазвал к себе Алекпера и продал ему перламутровый балабан за 1750 долларов США, а Алекпер в свою очередь продал тот балабан за 2250 долларов своему старому клиенту Мартиниусу Асбьёренсену (имя этого человека Алекпер никак не мог запомнить, и потому, записав на бумажке имя маленького, лысого, пузатого человека, всякий раз, когда говорил с ним, украдкой заглядывал в эту свою шпаргалку), а Мартиниус Асбьёренсен продал инкрустированный балабан своему клиенту, жившему в Нью-Йорке, за 7000 долларов, и таким образом, наконец, старинный перламутровый балабан очутился на столе мистера Блюментала.

¹ Кяманча - азербайджанский народный струнный инструмент, род виолончели.

Мистер Блюменталь с первого взгляда влюбился в этот инкрустированный серебром и перламутром балабан, очень внимательно осмотрел его, проверил, из справочников узнал, что в средние века на Востоке мастер духовых музыкальных инструментов Мухаммед ибн Юсиф ибн Муталлиб был таким же несравненным, искусным и знаменитым мастером, каким был Страдивари в Европе, и, тщательно и досконально обследовав балабан, купил его, ни много, ни мало, за 66.500 долларов и поставил на почетное место в разделе восточных музыкальных инструментов своей коллекции.

В то время в Нью-Йорке начиналась осень...

* * *

Прошла осень, зима выдалась в Нью-Йорке холодная, но и она прошла, наступила весна, но небоскрегам Нью-Йорка, воздвигнутым из бетона, стали и стекла, были безразличны и осень, и сменившая ее холодная зима, и ранняя весна.

В квартире мистера Блюмента жизнь шла своим чередом, без изменений, прошла осень, прошла зима, и теперь проходила весна... потом должно было настать лето, а после опять по порядку: осень, зима, весна... и жизнь все продолжалась бы так в небоскребе из бетона, стали и стекла, в квартире мистера Блюментала, где ни на миллиметр ничего не менялось...

Миссис Блюменталь, как всегда, выгуливала своего пуделя, купала его, возила стричь.

Мистер Блюменталь приходил с работы и после легкого ужина уединялся в комнатах своей коллекции, и в эти часы для него ничего на свете не существовало, кроме этой коллекции.

Мисс Джонсон по-прежнему беспрерывно жевала, возилась на кухне, и так как в огромной этой квартире она часто оставалась одна, то, продолжая жевать, она лениво слонялась по комнатам в поисках какого-нибудь дела, но все в квартире было на своих местах, все было аккуратно убрано и таким аккуратно убранным и оставалось, потому что здесь никто ничего не трогал, а если и трогал, то возвращал тронутое на его прежнее место, и таким образом, мисс Джонсон не могла найти себе дела, и если б не постоянная потребность без устали работать челюстями, жизнь для мисс Джонсон могла бы потерять всякий смысл.

И вот в один из дождливых весенних дней, в полдень в квартире мистера Блюментала произошло невиданное еще на свете (во всяком случае, на этом свете), необычайное событие.

В тот дождливый весенний день мисс Джонсон, как обычно, была одна в квартире, и, как обычно, что-то жуя, ходила по квартире, прикидывая, что бы такое сделать, когда услышала странные звуки:

это, несомненно, была музыка, но очень уж какая-то странная... непонятная, непостижимая... в то же время щемяще-печальная... да... да... очень печальная мелодия, и доносилась она со стороны комнат, где размещалась коллекция мистера Блюментала.

Поначалу мисс Джонсон подумала, что это телевизор или радио, но вовремя вспомнила, что хозяин запретил ставить в комнате коллекций телевизор или радио, чтобы они не отвлекали его, не мешали сосредотачиваться, и мисс Джонсон со все возраставшим удивлением направилась в сторону комнат для коллекций.

Теперь стало совершенно ясно, что звуки шли из этих комнат. Мисс Джонсон отворила дверь, и в ту же минуту глядя этой и без того лупоглазой негритянки чуть не вылезли из орбит.

Некий музыкальный инструмент из коллекции мистера Блюментала, похожий на флейту, повиснув в воздухе возле окна и словно по-человечески глядя в окно, глядя из окна на улицу, глядя на весенний дождь, исполнял...

непонятную, непостижимую...

полную печали...

очень грустную...

мелодию, и под ритм той мелодии этот духовой инструмент тихо шевелился и трепетал в воздухе, будто в пальцах невидимого музыканта.

Очередной прожеванный кусок, что мисс Джонсон собиралась проглотить, застрял у нее в горле, и в ужасе от увиденного, родившего черный страх в душе ее, бедная женщина почувствовала, как зашевелились на голове густые волосы.

Сердце так бешено колотилось в груди мисс Джонсон, будто вот-вот найдет себе лазейку и выскочит промеж огромных, похожих на туго набитые мешки с мукой, грудей. А флейтообразный инструмент все так же висел возле окна и играл удивительную и непостижимую мелодию, и очень уж печальна была мелодия, до того печальна, что наполнила неведомой скорбью широкую грудь мисс Джонсон, и самое непонятное заключалось в том, что подобная печаль, подобная грусть, подобная скорбь до той минуты были совершенно чужды душе мисс Джонсон, находящейся в ее широкой груди.

И в тот дождливый весенний день мисс Джонсон, пребывая все еще в страхе, интуитивно ощутила, что эти скорбь, печаль и грусть превращаются для нее во что-то родное, близкое, понятное, и плачут, и рассказывают они о пустоте и ничемности ее жизни.

Мисс Джонсон, тем не менее, не могла оторвать свои вытаращенные глаза от флейтообразного инструмента, и в эту минуту сам музыкальный инструмент, казалось, превратился в сплошную печаль, грусть и скорбь...

И когда миссис Блюменталь со своим пуделем вернулись домой, мисс Мерилин Джонсон все еще пребывала под впечатлением пережитого потрясения, страшного события, свидетелем которого она стала, и торопливо, заикаясь от волнения, она рассказала о случившемся миссис Блюменталь.

Миссис Блюменталь внимательно выслушала мисс Джонсон, потом вместе с ней прошла в комнату коллекций, глянула на музыкальный инструмент, на который указывал дрожащий палец охваченной чуть ли не животным ужасом мисс Джонсон: этот восточный духовой инструмент лежал на своем обычном месте, и миссис Блюменталь, больше ничего не спрашивая, внимательно посмотрела на мисс Джонсон.

Вечером вернулся с работы мистер Блюменталь и после легкого ужина только собрался, как обычно, пройти к своей коллекции, когда миссис Блюменталь задержала его и рассказала о случившемся с мисс Джонсон, и так как у мистера Блюменталья после напряженного дня на работе, выполненного банковскими операциями, не было никакой охоты выслушивать подобную фантастическую ахинею, то он, с разрешения жены, в тот же вечер рассчитал мисс Мерилин Джонсон.

Спускаясь на лифте с двадцать третьего этажа, мисс Мерилин Джонсон вытирая заплаканные глаза, горестно размышляла, что, может, и вправду она сходит с ума, и то, что она видела и слышала днем, как флейтообразный музыкальный инструмент, повиснув возле окна, наигрывал ту непостижимую, потрясавшую душу, мелодию - это не явь, не правда, а какая-то галлюцинация?

А как же в таком случае та печаль? та грусть? та скорбь?..

Кроме пережитого страха и сильного огорчения из-за потерянной работы, еще одно чувство - чуть ли не животный ужас засел внутри мисс Джонсон:

несчастная негритянка опасалась, что те печаль, грусть и скорбь так глубоко вошли, ввелись в ее душу, что теперь навсегда, до конца жизни не покинут ее.

И, конечно же, мистеру и миссис Блюменталь и в голову не могло прийти, что мисс Джонсон рассказала им чистую правду, а несчастной мисс Мерилин Джонсон и в голову не могло прийти, что есть далекая страна Азербайджан, и в той далекой стране флейтообразный духовой инструмент называется "балабан", и мелодия, исполненная тем балабаном, грустная, печальная, непостижимая мелодия в той далекой стране называется "Сары гялин".

2001, октябрь

АРБА

(рассказ о смерти поэта)

недостижимо...

чрезмерно...

у-у-у-уй-й...

очень...

очень...

очень далекие дали, но далекие не в географическом понятии пространства, а далекие по времени, далекие годы, ужасающая недостижимость, безвозвратность далеких полных здоровья и сил минут, полных здоровья часов, дней, месяцев, лет, и недостижимость эту в пространственном, географическом смысле можно было сравнить с (разве что) удаленностью звезд на небе, и так же, как нельзя было дотянуться до тех звезд, невозможно было и вернуться /снова вернуться/ в те далекие дали, очень, очень, далекие дали, таящиеся на самом дне памяти, в глубине воспоминаний, и теперь чудилось, что за стенами льет проливной дождь /бесшумный дождь/, и то, далекое неясно проступало сквозь стекло окна, по которому /с внешней стороны/ извилисто пробегали струйки дождя...

... по ту сторону окна со страшными змейками воды на нем, в тех далеких далах в закатную пору, окрасившую все небо. всю вселенную в ярко-красные цвета, по дороге, утопающей в грязи, тащилась из лесу запряженная ослом арба, скрипя и ворча всеми колесами, и в арбе той аккуратно были сложены дрова, а на тех дровах восседал босой, с непокрытой головой мальчишка лет шести-семи...

...порой то одно, то другое колесо арбы попадало в невидимую яму, коварно притаившуюся под толстым слоем грязи, тогда, как бы ни распинался мужчина, шедший перед арбой - отец мальчишка - и тянувший за узду осла, как бы ни грозился, ни проклинал, изо всех сил натягивая веревочную узду, животное не в силах было вытащить перегруженную арбу из ямы, и мальчик бывал вынужден, покинув свое место среди свежесрубленных, чудесно пахнущих, только что наколотых поленьев, покинув свой мир прекрасных запахов и чистоты, прыгивать вниз с арбы, и, оперевшись плечом в задний борт телеги, то и дело одной рукой подтягивая сползающие с худого, впалого живота, штаны, другой толкать полную дров арбу, кряхтя и напрягаясь изо всех своих силенок, и, наконец, вместе с ослом вытаскивать застрявшую колесами в яме телегу...

... потом он вновь вскарабкался на свое место среди дров и вновь возвращался в свой прекрасный мир чистых и свежих запахов, и миром том не было пока и помину о последующих долгих годах, череле

огромных временных периодов, казалось, цельных и единых, как скала нерушимых...

Амине-ханум категорически не нравилось графическое изображение 2002-го года — два нуля посередине /00/, а в начале и в конце по двойке /2/, и, казалось, в этом изображении притаился некий обман, ложь, будто за видимым порядком и красотой выстроенности цифр прячутся все беды, все зло мира, а радующее глаз графическое изображение служит для того лишь, чтобы вводить людей в заблуждение.

По ночам, когда она бодрствовала в кресле возле постели поэта и временами впадала в краткий, чуткий сон, перед глазами Амины-ханум вставали эти цифры в различных вариациях:

2-002
2-00-2
20-02
200-2
2-0-0-2

И, таким образом, в какой бы последовательности ни представляли цифры этого 2002-го года перед Аминой-ханум, они приносили ей только огорчение, тревогу, предчувствие беды; эти двойки /2/ по краям числа напоминали наемных телохранителей, нанятых некими злыми силами, оберегавшими горе и беду внутри числа 2002, и, казалось, не оставляли просвета даже с булавочную головку, чтобы в эту плотную эмкость - 2002 - проникло хоть чуть-чуть свежее дуновение.

Конечно, Амина-ханум понимала, что в их семью пришла беда, и до конца осталось уже недолго, сейчас начало 2002-го года, первые числа января, и несчастье, обрушившееся на них, завершится смертью /врачи тоже этого скрывали/, и потом жизнь без поэта будет совершенно другой — Амина-ханум хорошо сознавала все это.

И изображение, написание числа 2002, то есть 2002-го года не оставляло никакой надежды, но мало того, что не оставляло надежды, а напротив — цифры этого нового года повсюду словно рассыпали, протягивали свои черные лучи, источавшие печаль и безнадежность.

В середине сентября они вернулись после последнего обследования в Стамбуле и месячного пребывания на лечении в больнице в Германии, и немного спустя поэт уже не мог стоять на ногах, стремительно терял силы и слег окончательно, и таким образом, в страдании и горе прошел октябрь, и так же, не лучше прополз ноябрь, и вот наступил декабрь, и со второй половины декабря страх и некое тревожное предчувствие, что поэт покинет их в ночь под Новой год, стало грызть сердце Амины-ханум, как волк вгрызаться в душу

Амины-ханум.

Поэт уходил от них, и это нельзя было остановить, предотвратить, ясное дело, но горе, горечь волнений и тревог, беспокойства декабря прошлого 2001 года навсегда останутся в памяти Амины-ханум будут жить в душе ее: в те дни Амина-ханум с утра до ночи молила Аллаха, чтобы это случилось не в ночь под Новый год, и чтобы дети ее до конца дней своих не встречали бы новогодние праздники, которые не были омрачены тяжким грузом беды, случившейся в самый светлый праздник; и произошло то, о чем молила Амина-ханум /Аллах услышал ее молитвы?! - в ночь под Новый год поэт почувствовал себя относительно лучше.

В новогоднюю ночь ни сын, ни младшая дочь не покинули их, остались встречать праздник с родителями, пришли к ним в гости и старшая дочь с мужем и Аминашкой, пока что единственной внучкой поэта /родился бы внук - дал бы мое имя, говорил он/, и как в прошлые предновогодние вечера, такие прекрасные, веселые, незабываемые, все собрались дома, и сын шумно откупорил бутылку шампанского и провозгласил тост.

— Папа! - сказал он, - мы все пьем за твое здоровье! Мы все очень хотим, чтобы ты выздоровел, поднялся на ноги, был бы таким, как прежде! Вот видишь, мы сегодня никуда не ушли, остались дома, вместе с тобой!

— Да, - сказал муж старшей дочери, то есть зять поэта и Амины-ханум. — Мой папа тоже советовал этот Новый год встретить у вас.

"Мой папа", - то есть Мамед-муаллим, сват поэта и Амины-ханум.

Амина-ханум внимательным из-за толстых стекол очков взглядом следила за поэтом полулежавшим, полусидевшим на двух белоснежных больших подушках, в то время как сын и зять приносили эти слова - поэт слабо улыбнулся истончившимися за время болезни бескровными губами и покачал головой, словно подтверждая сказанное сыном, и какое-то новое, особенное выражение во взгляде поэта в новогоднюю ту ночь наполнило все существо Амины-ханум сдерживаемыми рыданиями: во взгляде поэта было сколько признательности, будто он хотел поблагодарить их всех - сына, дочерей, зятя, может, даже Амину-ханум за то, что в новогоднюю ночь они не покинули его, не оставили одного и будут встречать Новый год вместе с ним... Даже и Мамед-муаллиму... и Мамед-муаллиму он был благодарен за то, что разрешил в эту ночь его старшей дочери и зятю прийти с Аминашкой сюда, к нему, а не к Мамед-муаллиму, великодушно лишившему себя приятной компании родных и близких в пользу поэта...

Боли скрутили, лишили воли, сломали такую большую, сильную личность, как поэт.

Мучения поэта временно утешали лишь инъекции морфия.

Амина-ханум, боясь, что не сможет сдержаться и зарыдает при всех, спешно прошла на кухню, где в микроволновке жарился гусь, и буквально через минуту за ней сын.

— Папа спрашивает, как там гусь? - радостно сияя, сообщил он. Амина-ханум заглянула в микроволновую печь, где вовсю с шипением жарился гусь. Она тут же позабыла прозвучавшие давеча в словах сына нотки одолжения (ну, в самом деле, ничего же предосудительного не было в том, и незачем было из мухи слона делать, и, кроме нее, никто, кажется, и не обратил внимания на те нотки); и то, что поэт, как раньше, как в прошлые предновогодние вечера интересуется жарившимся гусем, немного подняло настроение Амины-ханум, и она, глядя на подурянившегося, почти уже готового гуся, ответила:

— Отлично!

Потом случилось еще одно маленькое чудо: слабым голосом, но чуть ли не с давних пор подавляемым желанием поэт попросил:

— Я тоже выпью водки.

Сын налил в рюмки водку, поэт похудевшими, словно вытянувшимися пожелтевшими пальцами взял рюмку сам, выпил впервые за много месяцев, правда, немного расплескав водку, потекшую по исхудалому его подбородку, но одно то, что он выпил водки, было похоже, будто в наглухо запертой комнате со спертым, тяжелым воздухом вдруг распахнули настежь все окна и двери, впустив ворвавшийся ветер, и вся комната наполнилась свежим дыханием весны.

И в ту ночь в сердце Амины-ханум закралась сумасшедшая надежда, может, и правда, произойдет чудо? Может, муж и в самом деле выздоровеет, поднимется на ноги, будет таким, как прежде? Но как только утром у уснувшего раньше наступления Нового 2002-го года поэта возобновились страшные, ужасающие боли, вновь поднявшие в нем головы, как потревоженный клубок змей, и опять вызвали медсестру, чтобы сделать ему укол морфия, сумасшедшая надежда в сердце Амины-ханум погасла и уже навсегда.

Словно что-то вытягивалось, изо всех сил стремилось вытнаться, выпростаться из тела поэта, и не могло, кромсало и разрывало внутренности поэта, будто выскивая хотя бы с муравьиный лаз, чтобы просочиться сквозь него, но и просочиться не могло, и, может, впрямь это изо всех сил борющееся на свободу было его вдохновением?

Но почему же вдохновение хотело оставить его и бежать?

Что бы оно делало без него?

Стало бы пустотой, превратилось бы в воздух, во что, во что бы оно превратилось, чем бы стало?

Все осталось в прошлом... на дне колодца... на дне черного, как ночь, колодца...

и никто не поднимался, не возвращался еще со дна этого колодца, и никто не возвратится...

края этого колодца, его начало было здесь, на этом свете, а конец его, дно - совсем в другом мире...

Никто не подозревал, что у него двойное творчество, как двойная — у иных бывает жизнь:

а) написанные стихи (поэмы, пьесы в стихах, переводы из Пушкина, Некрасова, Маяковского, Назыма Хикмета, Егора Исаева, Эдуардаса Межелайтиса /в то время, когда этот литовский поэт был удостоен Ленинской премии/, Пабло Неруды, тунисского поэта и большого друга СССР Мустафы аль-фарси / переводы с переводов на русский/, а после развала Советского Союза - из Мандельштама, Цветаевой, Иосифа Бродского, Махмета Акифа и. т.д.)

б) и еще - вот этого никто не знал! - ненаписанные стихи.

Ненаписанные стихи поэта так и не были написаны и уже никогда не будут.

И появятся на свете стихи гораздо лучшие, чем те, ненаписанные, и, наверное, появятся и гораздо худшие, но его ненаписанные стихи уже никогда не будут написаны.

Пять лет назад, когда поэту исполнилось шестьдесят лет, руководство Республики официально поздравило его, и это поздравление было опубликовано в газетах, демонстрировалось по телевидению передачи о поэте, он был награжден орденом "Славы" независимой Азербайджанской Республики, с ним провели встречи в университетах, научно-исследовательских институтах, городские и районные исполнительные комитеты организовали его творческие вечера /по подсчетам его младшей дочери, число этих вечеров дошло до 23-х/, но от проведения юбилейных торжеств в главном дворце страны — Дворце "Республика" — поэт отказался.

— Пока не решена карабахская проблема, - заявил он, - никаких торжеств, никакого юбилея мне не надо!

И это заявление поэта было опубликовано во многих газетах.

— Мы одни, что ли, должны страдать за Карабах?! - возмутилась тогда Амина-ханум.

— Что ж... — вздохнула с сожалением младшая дочь, - Такой у нас папа...

— Молодые, здоровенные, как быки, парни на базаре помидорами торгуют, а только у нас душа болит за Карабах, мы страдаем — продолжила возмущаться такой вопиющей несправедливостью Амина-ханум.

Из ненаписанных стихов:

Воспоминания
в эти дождливые дни
ломаются
зеркальными осколками
в осколках рассыпанных по земле
луч солнца
пламя очага
кусочек уха
половина глаза
темнота ночи
сосок груди
половинчатый пупок
слеза упавшая
на осколок зеркала
уголок улыбающихся губ
в осколке зеркала
след поцелуя
на зеркальном осколке
ложь
верность
предательство
блеск черных глаз
последний вздох
крик новорожденного
едва пробивающиеся усы юноши
поседевшие волосы
дождь не прекращается
рассыпаются зеркала
осколками
ложатся на землю воспоминания
пройдет дождь
настанет рассвет
покажется солнце
старая дворничиха
шмыгая вечно простуженным носом

подметает осколки зеркала
и выбросит их
в мусорное ведро.

Будто миллиарды и миллиарды, триллионы микробов, малая, ничтожная часть которых вела себя лояльно и спокойно, а подавляющее большинство отравляло мозг поэта, толкаясь и пихаясь, давя и тесня друг друга, старались укрепиться на своем отвоеванном в мозгу поэта месте, и это столпотворение микробов, эта невидимая возня, драка, бесшумная война сопровождалась дикими болями и физическими страданиями. В то время Амина-ханум была тоненькой, легкой, как бабочка, девушкой, казалось, не принадлежавшей к миру, в котором жила /живем/, была словно не от мира сего, будто прилетела с другой планеты, и на утро после свадьбы на рассвете - навсегда канул в прошлое тот рассвет - в белоснежном шелковом пеньюаре /под прозрачным пеньюаром проглядывало ее голое тело, гладкое, как мрамор, гибкое, как угорь/ она стояла у окна и смотрела на еще не проснувшийся город, следила взглядом в непроясневшем, предутреннем небе за полетом двух птиц, летевших в сторону моря - что за птицы были? Кто знает?.. Кости этих птиц давно сгнили, и помню от них не осталось... - поглядев на эту пару птиц, она вдруг, будто вспомнив нечто важное, спросила:

— Интересно, у птиц тоже есть душа?

Ты лежал на кровати навзничь, закинув руки за голову.

— Наверно, - сказал ты.

Тоненькая девушка в белом пеньюаре /тело гладкое, гибкое, как угорь/ спросила:

— У всех живых существ на земле есть душа?

— Наверно, есть... - усмехнулся ты.

— И микробы живые, правда? И у них душа есть, да?

Ты пожал плечами /тогда у тебя ничего не болело/ и повторил:

Наверно...

— За миллионы лет на свете умерло огромное количество живых существ от микробов до динозавров, - задумчиво проговорила она, - еще сколько умрет - 0-0-0! — и же столько душ умещается на том свете?

Ты поглядел на тоненькую девушку в белом пеньюаре, словно напуганную собственной мыслью, и рассмеялся.

— Не знаю, - сказал ты. Не знаю...

Ты тогда ответил:

— Не знаю...

Но почему бы и не уместиться?

Ведь если с тех пор, как Аллах создал человека, и по сей день в этом видимом мире могут умещаться просьбы и мольбы людские, их молитвы и призывы о помощи, почему бы точно так же не уместиться душам в невидимом мире? Как может вмещать маленький человеческий мозг столько мыслей, столько печалей и горестей, столько забот и проблем, размышлений, идей, радостей, чувств, переживаний? Как?

Но тогда ты просто сказал:

— Не знаю... не знаю... никто не знает...

никто ничего не знает в этом мире...

и в свете такой вопиющей неосведомленности все эти чувства, переживания, тревоги, волнения, страхи, горечь и боли этого мира, мира видимого, в сущности, являли собой нечто абсолютно невразумительное, идиотское...

А теперь и микробы, заполнившие мозг поэта вместе с самим поэтом отправятся на тот свет, в невидимый мир, плотно заселенный душами...

А если нет того света, что же тогда?

Однако арба что, поскрипывая, тащилась из лесу, утопая колесами в грязи, была - совершенно точно - не на той дороге, что вела в мир, населенный душами, дорога арбы вела в совершенно иной мир, о котором никто не знал, никто не слышал, непохожий на эти два мира - реальный и потусторонний, - но этот мир, мир реальный и видимый тащил мальчика с телеги, увлек его вниз с поленницы свежеепахнувших дров и оставил себе, не пустив в тот, куда тащилась далекая теперь арба.

Поэт не запоминал своих стихов, не помнил их наизусть, на поэтических вечерах, читательских конференциях, выступлениях на телевидении он обычно читал свои из книг, или по рукописи, если они еще не были опубликованы, и теперь он тоже не мог вспомнить ни одно свое стихотворение от начала до конца; написанные за долгие годы бесчисленные поэтические строчки перемешались в голове у поэта, и в последнее время в памяти поэта, в его мозгу царил хаос тех перемешанных строчек, и тем более было странно, что среди такого невообразимого хаоса вдруг возникли и легли аккуратными строчками в памяти стихи, написанные - ни много, ни мало - сорок девять лет назад. Когда ему было шестнадцать, в ту траурную, горестную мартовскую ночь 1953 года, стихи, написанные на смерть Сталина и, казалось, давным-давно заслуженно позабытые; это была его первая публикация в прессе, он съездил в районный центр и отослал стихи в газету по почте, и в газете "Азербайджан гянджляри" / "Молодежь

Азербайджана"/ среди тысяч и тысяч присылаемых отовсюду скорбных писем и стихов отобрали и напечатали именно его стихи; в те холодные мартовские дни стихотворение также прозвучало по Азербайджанскому радио в траурной передаче в исполнении известного диктора Солтана Наджафова; и вот отрывок из того стихотворения, аккуратно, будто только что выпедший из-под пера, строчка за строчкой возродился в памяти:

Ты в вечность отошел,

Но мы..,

Как мы будем жить без тебя?

Неужели мы опять

Как прежде, будем хохотать?

Будем любить, как прежде?

Есть, пить, как прежде?

И как прежде, - будем дышать?

Поэт усмехнулся - как мы будем жить без тебя?

И младшая дочь, находившаяся в ту минуту в комнате, заметив усмешку отца, радостно закричала:

— Ой, папа улыбается!

Амина-ханум на кухне выжимала яблочно-морковный сок для больного и, услышав крик дочери, бросив соковыжималку, торопливо вошла в комнату и уставилась на поэта сквозь толстые стекла очков.

Строчки, возникшие из огромного, невообразимого хаоса в памяти поэта, так четко, ровно, незыблемо выстроились слово за словом, так крепко держались и не стирались из памяти, так услужливо, дисциплинированно, не шелохнувшись, стояли, будто и теперь, после стольких лет, прошедших со смерти Сталина, страх перед вождем народов жил и трепетал в них.

Поэт вновь усмехнулся.

— Видишь, мама! - восторженно воскликнула дочь.

После долгих, тяжелых недель страданий и боли впервые на лице поэта появилось подобие улыбки, но слабая улыбка эта вовсе не обманула Амину-ханум, не понравилась ей - почему? - она не могла бы точно ответить... но...будто...ей показалось, что улыбка эта словно выплыла из другого мира, далекого мира, будто тень неведомого мира лежала на слабой той улыбке...

Арба тащилась по рытвинам и ухабам тянувшейся между лесом и селом дороги... Люди прозвали ту иву "Святой ивой"...

Змеившийся здесь со времен Ноя арык пересекал дорогу между

лесом и селом, и потому сельчане возвели над арыком нечто вроде моста из разнообразных стволов нарубленных в лесу деревьев, и как раз возле этого моста, на краю арыка и выросла огромная, разлапистая редкая для здешних гористых мест ива - "Святая ива", и так эта святая ива разрослась, так раскинула свои мощные ветви, что нависла и почти заслоняла небо над мостом, метая движению по мосту, и в конце весны, летом и в начале осени для того, чтобы проехать по мосту на телеге, надо было чуть ли не врукопашную схватиться со Святой ивой, то и дело отводить мохнатые, гибкие ветви, освобождая место.

Обломать или обрезать загородившие мост ветви Святой ивы считалось грехом, и никто бы на это не отважился, да и вообще, никому бы и в голову не пришла такая кощунственная мысль...

И в тот весенний вечер ветви и листья Святой ивы были свежи и благоухали, и отец, грудью оттеснив в сторону нижние ветви ивы, прижав их к краю моста и, таким образом, освободив место для арбы, потянул осла за узду.

— Тош!.. Тош!.. - кричал он, но осел, несмотря на то, что только недавно вволю попасся в лесу, тянулся сорвать губами сочные листья с веток ивы.

— А, чтоб тебя разорвало! - вскричал в испуге отец. - Ведь только нажрался!.. Болячек тебе в живот!..

И когда телега проезжала под ивой, по лицу мальчика, сидевшего на дровах, по лбу его, по горлу мягко скользнули пахучие листья гибких и тонких верхних ветвей дерева...

И после стольких лет поэт вновь ощутил то далекое нежное прикосновение ветвей ивы, свежесть ее листьев на своем лице, на лбу, на горле, но та, совсем почти позабытая ива, как ни странно, представала перед глазами поэта не цветущей, вся в пышной зелени листьев, а голой, поникшей, постаревшей: прошла осень, наступила зима, листья ивы облетели, и ветви ее были тяжелы от холодной влаги, оставленной на них только что переставшим идти мокрым снегом, продрогли, дрожали...

Природа не боялась Святой ивы, вот так она обходилась с ней.

А арба уже миновала мост и, поскрипывая колесами, приближалась к селу, мужчина, шагая впереди, держал в руке веревочную узду осла, а мальчик сидел на своем обычном месте, на дровах, сложенных в телегу...

Поэт предрекал: вот увидите, Аминашка станет известным художником, и все рисунки Аминашки, вышедшие из-под ее карандаша, ручки, фломастера, просматривал с особым удовольствием и вниманием. И кажется, малышка и в самом деле подавала надежды - как

только завидит бумагу, карандаши, тут же, завладев ими, принималась за свои каракули, и по мере того, как проходили недели и месяцы, каракули эти принимали все более осмысленное выражение, наполнялись содержанием; правда, другой дедушка Аминашки, Мамед-муаллим, глядя на рисунки внучки, не произносил ни слова, только лишь улыбался значительно, и молодая мама Аминашки, старшая дочь поэта, не зная, как отнестись к этим многозначительным улыбкам свекра, как - со знаком голос, или со знаком минус, - бесясь от непонятности такого пожилого человека и затаив в сердце на него обиду, еще с большим рвением и воодушевлением демонстрировала и поясняла посторонним рисунки своей дочери.

Старшая дочь, забрав днем Аминашку из садика, не заходя дамой, отправилась вместе с ней проведать отца, и Аминашка у дедушки тут же начала что-то рисовать желтым фломастером на приготовленной специально для нее белой бумаге, и ее мать на этот раз высмотрела в ее рисунке нечто вполне похожее на солнце.

— Ой, Аминашка! - воскликнула она в восторге. - Как красиво! - и показала листок матери, - мама, посмотри...

Амина-ханум глянула усталым от постоянного недосыпания взглядом из-за толстых стекол очков на рисунок, тихо улыбнулась.

— Да... - сказала она.

— Что это ты нарисовала? - спросила старшая дочь у Аминашки. - Что это, а?..

— Нари... рисовала, - пролепетала Аминашка.

— Да, конечно, ты нарисовала, - сказала старшая дочь. - А что это?

— Я нарисовала, - повторила Аминашка.

— Да, да, ты нарисовала, - сказала дочь. - Ты солнце нарисовала, да?

Аминашка посмотрела на мать, потом перевела взгляд на желтые каракули на листе бумаги.

— Солнце... нарисовала, - сказала она.

— Правильно, - обрадовалась старшая дочь и бросила взгляд на лежащего на кровати и уставившегося в потолок поэта. - А кому ты это нарисовала?

Аминашка проследила взгляд матери и сказала:

— Дедушке.

— Умница! - в сердцах сказала старшая дочь, ликуя. - Молодчина!

Видишь, мама, она нарисовала солнце для папы. Амина-ханум улыбнулась одними глазами, уставшими от бессонных ночей.

— Да, - сказала она. - Сладкая чертовка...

Молодая мать порывисто расцеловала Аминашку, ей было крайне приятно, что Аминашка без всякой подсказки со стороны взрослых сама нарисовала желтое солнце, и вдвойне приятно ей было что

малышка угадывала желания матери, что Аминашка, как прорицательница Ванга, будто читала в сердце матери.

— Ну, тогда подойди и сама покажи рисунок дедушке, - с удивольствием произнесла старшая дочь.

И вместе с малышкой она подошла к постели поэта

— Папа, посмотри, что для тебя Аминашка нарисовала! Аминашка протянула листок дедушке:

— На...

Поэт медленно перевел глаза с потолка на листок, посмотрел отстраненным, неземным взглядом на кривые желтые линии, потом посмотрел на внучку - отчужденно, как на чужое, не имеющее никакого отношения к нему, существо, потом - на дочь: чужие... чужие... чужие... люди... он находился в окружении совершенно чужих людей, то есть он знал, понимал и видел, что вот это - Амина-ханум, это старшая дочь, - маленькая Аминашка, его внучка, он вспомнил также и младшую дочь, и сына, но все они... все они были чужие...

чужие-чужие...

чужие...

все они были чужими, как Мамед-муаллим...

И поэт вновь, отведя от них взгляд, воззрился в одну точку на потолке: правда воспаленным своим мозгом, обостренными чувствами своими он ощутил, что такая отчужденность может больно ранить самолюбие молодой мамы, и даже заметил, что глаза опешившей от реакции отца старшей дочери наполнились слезами обиды, но не мог себя пересилить, ему вообще не хотелось говорить...

чужие...

все и все вокруг чужие...

и всегда так было...

В один из скорбных мартовских вечеров 1953 года сельчане, собравшись возле сельсовета, вокруг столба, на которое было водружено радио, слушали траурную передачу, посвященную смерти вождя, и в это время передали стихи "юного поэта" в исполнении известного диктора Солтана Наджафова, и отец, услышав из аппарата имя сына, выдаваемого за юного поэта, не поверил своим ушам, ему сначала показалось, что смерть вождя так оглушительно подействовала на него, что ему слышится непонятное, невозможное, но когда он оглянулся на односельчан и заметил, что все они, подобно ему, были поражены услышанным, сердце его радостно подскочило, забилося, он совершенно растерялся: не знал, что же теперь - печалиться ли смерти вождя, или же радоваться тому, что по радио услышал имя своего сына, который - во-он он - что есть духу бежит от

здания школы сюда, к сельсовету, и вот его уже завидели и сельчане, и переводили изумленные свои взгляды то на отца, то на бежавшего, сломя голову, к нему сына.

Из ненаписанных стихов:

Стихотворение первое (незаписанная рукопись?)

Разрываются серые
тучи осени
виднеется солнце
раздвоенный язык
змеи ползущей
под кустом
стынет на воздухе
сохнет и падает
на землю
смешивается с листвою
проходит осень
кончается зима
наступает весна
поднимает с земли свою
раздвоенную головку
красный цветок
вянет
в лучах солнца
расцветает
в ночной тьме

Стихотворение второе

Черная роса
пала
на черный платок
расцветшего мака
рассветало на черном горизонте
кругом царили дым и грохот
из последних сил
карабкающегося
на черную гору
на ладан дышащего
с поломанным карбюратором
автобуса

ошиблась природа
 перемешала краски
 перепутала чувства
 черный луч
 пробился на горизонте
 черной пеной пенясь
 падал черный водопад
 протекая по оврагу.

Стихотворение третье

В одно серое осеннее утро
 с еще не наступившим рассветом
 подул серый ветер на улицах Баку
 подул серый ветер на улицах Баку
 вымел и унес опавшие листья
 выброшенные на улицы
 пустые банки
 из-под кока-колы
 использованные каномы
 клочки бумаги
 обрывки газет
 грязные полиэтиленовые пакеты
 и прожитые мной годы
 полиэтиленовые пакеты
 как птицы
 налетали на деревья
 издали доносился стук
 ударявшихся друг о друга
 данг-данг
 пустых банок.

В то время - начало семидесятых годов - в Америке объявилась некая Анджела Девис, ведущая борьбу с американским империализмом, это была худая, высокая, в крупных очках молодая негритянка с густой копной черных, напоминавших подстриженный чайный куст, волос, и поэт посвятил стихи этой юной, в то время похожей на грациозного жирафа девушке-негритянке, и это большое, длинное стихотворение стало в тот период очень популярным, его декламировали известные артисты по различным поводам - на торжественных, официальных праздничных вечерах на Седьмое ноября, годовщину установления Советской власти, на Первое мая,

праздник всех трудящихся, на концертах, где присутствовали руководители партии и правительства, по телевидению; стихотворение это было переведено на русский язык и опубликовано в главной газете СССР /начальник над всеми газетами/ "Правда", было оно включено даже в школьные учебники, и, вероятно, теперь ученики, зубрившие в далеком прошлом это стихотворение, давно уже позабыли Анджелу Девис, а может, какие-то строки из стиха запали в чью-то память, остались в ней, но интересно, помнят ли они автора? Кто может теперь спросить у них: помните ли вы тридцать лет назад боровшуюся с американским империализмом Анджелу Девис, юную негритянку, похожую на грациозного жирафа? Ей еще были посвящены стихи, они в учебниках у вас были, ну, как, стихи эти помните?..

Абсолютно не помнят, на все сто процентов!

А еще говорят - написанное пером не вырubiшь топором.

Всего лишь слова, пустые, как все слова.

Будто в начале было слово. Ну и что из того?

И потом - помнят ли теперь то стихотворение и его автора, или не помнят - какое это имеет значение?

Никакого.

А если та девушка, похожая на баскетболистку /тогда она была похожа на тоненького жирафа, а сейчас, если только она еще жива, кто знает, на кого она похожа? Может, на слона?/, узнала бы, что есть на свете далекая страна Азербайджан, и в той стране тридцать лет назад были посвящены ей стихи, ученики в школах зубрили те стихи и читали их наизусть, отвечая урок, и за это получали - кто двойку, кто пятерку, - что бы она подумала? Какие бы чувства пережила?

Каким бы стало ее настроение?

Но что бы ни подумала, что бы ни почувствовала та негритянская девушка из далекого прошлого, и это все тоже не имело никакого значения, выеденного яйца не стоило.

— Тош!.. Тош!.. - отец тянул за веревку осла.

В тот день - поэт хорошо это помнил - все было окутано туманом, густой туман покрывал и дорогу, по которой ехала арба, и все окрестности, накрапывал мелкий дождик, и арба в очередной раз застряла; шестилетний мальчик, спрыгнув на мокрую землю, покинув свое место на дровах, кряхтя, изо всех сил толкал арбу, то подставляя плечо, то спину, подтягивая одной рукой сползающие с тонкой талии штаны, упершись ногами в мокрую, рыхлую землю, и вот, наконец-то, телега подалась, качнулась раз-другой и тронулась, вылезла из ямы колесами, и мальчик, пройдя несколько шагов за арбой, снова полез на свое насиженное место среди чудесно пахнувших дров. И какое-то

время они молча двигались сквозь густой туман и сеявший холодный дождик, пока отец случайно не заметил, оглянувшись, свесившуюся с дров босу ногу сына. А твоя калоша где?

Мальчик глянул на свои ноги: одна была в калоше, другая босая, верно, когда он толкал арбу, калоша выскользнула с ноги и осталась в грязи, и мальчик огорченно поглядел назад, будто мог разглядеть сквозь дождь и туман маленькую калошу, утонувшую в грязи.

Отец, намучившийся с застревавшей то тут, то там арбой, раздраженный упрямством осла, сорвал злость на сыне:

— Ишак, сын ишака! Спускайся, беги назад, сдохни, но как потерял, так найди!

И мальчик, утопая по шиколотки в холодной грязи, внимательно глядя под ноги, одна из которых была обута, а другая босая, пошел обратно по дороге, то и дело подтягивая спадавшие с бедер штаны, и вскоре, оглянувшись, обнаружил, что и отец, и телега, и осел пропали, скрытые густым туманом, во всем мире не было ничего, кроме тумана и дождя, и в этом тумане шестилетний мальчик, шагая по грязи, искал калошу, глядя себе под ноги напряженным взглядом; порой он испуганный поднимал глаза и тревожно смотрел в сторону арбы, стараясь хоть что-то разглядеть, но ничего не видел и внезапно ощутил, словно туман, обратившись в ужас, в панику, просачивался в его маленькое тело, заполнил все существо сердце его забилось сильно и часто, будто намереваясь расколоть, сокрушить панику в душе мальчика.

Конечно, мальчику хорошо, до мельчайших подробностей была знакома дорога, по которой часто приходилось ездить и шагать - дорога из села к лесу, и ему не составило бы труда самому пройти путь до дома, и он знал это, но туман, окутавший все вокруг, создавал некую атмосферу страшных сказок, колдовских злых чар, и его невольно пробирала дрожь.

Отец купил ему калоши несколько месяцев назад в районном центре, привез в подарок, и мальчик тогда очень обрадовался обновке и поначалу не носил их, чтобы не запачкать в грязи, только любовался ими, но стоило ему надеть эти новенькие, блестящие калоши, на которые он не мог наглядеться, как они тут же превратились в нечто вполне обычное, обыденное, как их дом, их двор, как их село, как осел, запряженный в арбу, как сама эта арба.

Мальчик неожиданно для себя заплакал и, шмыгая носом, медленно шагая по колее, оставленной в рыхлой мокрой земле колесами телеги, набрел, наконец, на наполовину утонувшую в грязи калошу, вытащил ее и, сняв с ноги и вторую, босиком, крепко держа по калоше в каждой руке, побежал обратно, к арбе. Брюки спадали с него, и каждый раз, остановившись на миг, мальчик подтягивал их локтями, так как руки были заняты, и снова бежал к арбе.

Туман все больше густел, и потому арба совершенно неожиданно, как из-под земли, возникла и предстала перед мальчиком, и он, запыхавшись от долгого бега по вязкой земле, взяв обе калоши в одну руку, другой уцепился за край телеги, и только тогда, немного успокоившись, перевел дух и, чувствуя себя виноватым, не осмелился занять полюбившееся место на дровах в арбе, а вцепившись в край телеги, поплелся следом.

Некоторое время шли так, но вдруг отец, натянув веревку, остановил осла, обернулся назад к шмыгавшему носом мальчику.

— Поднимись наверх!

Тепло этого окрика "Поднимись наверх!", прозвучавшего в тумане, под дождем 58-59 лет назад будто разлилось по всему существу поэта; этот окрик принес в кипящий перемешанными хаотическими мыслями и чувствами, видениями на грани сна и яви, но, тем не менее, холодный, иссохший мозг поэта легкое, свежее дуновение...

... подул теплый, чудный ветерок...

девушка в пеньюаре, нежная и воздушная, как бабочка, стоявшая у окна в то утро, мысленно пребывала в мире улетевших душ...

Вышедший на пенсию /отправленный!/ полковник КГБ Мамед-муаллим смахивал на лепешку: маленького роста, толстый, круглолицый, с гладкими, румяными щеками, с лысьем яйцеобразным черепом - словом, внешность у него была несколько забавной, но характер Мамед-муаллима был отнюдь не таким забавным, как внешность, и стоило заглянуть в кошачьи зеленые, сверкающие глаза Мамед-муаллима, как заглянувшего невольно охватывал страх: и еще была у Мамед-муаллима такая интересная черта: при разговоре он не смотрел в лицо собеседнику, а, выбрав по неизвестным причинам какую-то точку над его головой, все внимание свое будто сосредотачивал на ней, этой точке.

Не было человека в Баку, которого не знал бы Мамед-муаллим, самого же его мало кто знал, и в различных компаниях - будь то свадьба, или поминки - о ком бы ни заговорили, сидевший тихонько и незаметно в углу Мамед-муаллим молчал, весьма значительно усмехался и внимательно слушал беседу, и порой одним словом исправлял чью-то ошибку /техническую ошибку /; к примеру, о ком-то говорили, что ему минуло шестьдесят, Мамед-муаллим, значительно усмехнувшись, поправлял: "Ему 57 лет", или же, скажем, заходил разговор о ком-то, и отмечали, что он уроженец Сальян, Мамед-

муаллим тут же с неизменной своей ухмылкой уточнял: "Его отец из Ирана, а мать из Шемахи", и важно умолкал и т.д.

Пока Мамед-муаллим с поэтом не породнились, они не были знакомы, вернее, поэт не знал Мамед-муаллима, но впоследствии, когда порой поэт что-то рассказывал из своей жизни или вспоминал эпизоды, связанные с творчеством, Мамед-муаллим и тут поправлял и уточнял факты, вставлял такую информацию, бросал такую реплику, что поэт только диву давался и разводил руками в изумлении, "Ну и ну, - говорил он, - ты, оказывается, знаешь меня лучше меня самого!".

Поэт был человеком общительным, любил компании, застолья, его повсюду и часто приглашали, и, породнившись с Мамед-муаллимом, он бывал вынужден время от времени и того брать с собой в гости, и Мамед-муаллим, сидя, как сыч, на протяжении всего застолья, молча, внимательно слушал разговоры и порой прерывал их своими замечаниями, многозначительно усмехнувшись, исправлял технические ошибки, допущенные кем-то по адресу кого-то.

В узком кругу домашних младшая дочь, желая разозлить старшую, называла ее, свекра, Мамед-муаллима, "сантехником".

— Ну, как твой сантехник поживает? - спрашивала она по-русски.

— Сама ты сантехник! - еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть, отвечала старшая тоже по русски, будто разговор о бывшем КГБ-эшнике было удобнее вести на государственном языке бывшего СССР.

— Хватит! - одергивала их Амина-ханум, тоже машинально перейдя на русский, и продолжала, понизив голос, уже на азербайджанском. - Хватит. Дойдет до его ушей – обидится, нехорошо...

И порой это выражение Амины-ханум "Дойдет до его ушей" вспоминалось поэту и очень его забавляло, поэт представлял, как слово "сантехник", катясь подобно мячу в мультипликационном фильме, достигает уха Мамед-муаллима и вкатывается в него - это видение поднимало ему настроение, он смеялся, как ребенок.

Но однажды Мамед-муаллим сказал кое-что поэту, и это кое-что совсем не было похоже на слова сантехника и испортило поэту всю прелесть и удовольствие от слова "сантехник". Перед очередным застольем (кажется, отмечали годовщину свадьбы поэта и Амины-ханум), беседа вдвоем в кабинете поэта (Мамед-муаллим взял за правило приходить в гости раньше назначенного часа), Мамед-муаллим, усмехнувшись и глядя в намеченную точку над головой поэта, обычным своим тихим вкрадчивым голосом произнес:

— В последнее время слишком увлекаешься националистическими стихами... будь осторожен... Я понимаю, сейчас конъюнктура такая, но, тем не менее... - он значительно похихикал. - Не забывай об осторожности... И мой тебе совет: не очень-то тяготей к Турции... Да? - ухмылка Мамед-муаллима на этот раз расплзлась по всему лицу, глаза его заблестели ярче обычного. - Думаешь, Советская власть уже

не возродится?.. Да?..

Эти вопросительные "Да? " Мамед-муаллима некоторое время не выходили из головы поэта, и, даже не видя никаких перспектив в его глупых, пустых вопросах, зная, что за ним ничего не стоит, поэт, тем не менее, был несколько обеспокоен и временно выбит из колен.

Время проходило так, будто годы были тоже чем-то вроде дров, вывезенных из леса, и эти дрова, этот груз лет ташил осел, впряженный в арбу; месяцы сменяли дни, складывались в годы, как дрова, сложенные в поленицу, и странная атмосфера ощущалась в том, что годы проходили со скоростью напряженной ослом скрипучей арбы, нельзя было выразить словом эту атмосферу, и поэт порой, видел словно воочию краски той загадочной атмосферы - но что были за краски? Красная? Зеленая? Желтая? - невозможно определить, временами те краски /неизвестные краски!/ словно бы обращались в нечто напоминающее тихий ветерок, ветерок, прилетевший из далекого прошлого, но и ветерок, подув /?/, вскоре улетал.

И вот годы, сменявшие друг друга с неторопливостью напряженной ослом арбы, сделали из мальчишка, сидевшего на свежесрубленных дровах на телеге, поэта, потом скорость лет сравнялась уже со скоростью поезда, привезшего молодого поэта в Баку, а затем - скоростью самолетов, на которых поэт летал в Москву, Киев, Джакарту, Ташкент, Гавану, Карачи, Анкару и еще многие города и страны., да, годы пролетали...

пролетали...

пролетали...

пролетали...

Поэт понимал, что это не реальность, но это было и сном, это было видение между явью и сном /происшествие? случай?/, и как только он увидел эту старую негрятанку с торчащими во все стороны густыми, поседшими волосами, морщинистым лицом, выпавшими зубами, отчего рот ее провалился, а челюсть резко вперед и *чуть* не касалась нависшего над ней носа, как только он увидел эту старую негрятанскую каргу, так тотчас узнал ее: конечно же, это была Анджела Девис.

Поэт ошарашенный, в недоумении смотрел на столь неузнаваемо изменившуюся, постаревшую негрятанку.

И старуха своими большими, очень живыми, никак не соответ-

ствующими ее внешнему облику, глазами смотрела прямо в глаза поэту, будто с первой же этой встречи хотела проникнуть в существо поэта, и удивительно то, что он каждой клеточкой тела чувствовал, что ей это удастся, что она проникает в него, рыщет в нем, в его душе, поднимает один за другим, застывшие, как лава, пласты в его мозгу, стремясь заглянуть под них, и это тоже ей удастся - заглядывает.

Страшным было это ощущение, и поэт не хотел, чтобы оно продолжалось, чтобы те взгляды проникали так глубоко в него, в его сознание, но ничего не мог поделать, чтобы предотвратить это, равным счетом - ничего, никак не мог изгнать из себя все-проницающие взгляды старухи.

Но тут случилось неожиданное - старуха моргнула своими огромными, не по летам живыми глазами, и ее взгляды в тот же миг покинули существо, тело, душу, мозг поэта, выскочили из него (поэт физически почувствовал это), и прежде чем удалиться и навсегда исчезнуть, старая карга (отчего-то по-русски) сказала поэту:

— Дурак!

Из ненаписанных стихов:

Молоко стекающее
с уголков губ
сосущего материнскую грудь
младенца
капля за каплей
капало на пол
мухи налетали
на эти капли
люди прошли по
эти каплям
стали они
словно черный клей
испачкали пятнами пол
грязные пятна
покрыли глаза младенца
грязные пятна покрыли
улыбку нежных губ
стало грязным молоко
из переполненной груди
грязью запахло
от дыхания младенца
грязью запахло от
его красивой шапочки

с красными, голубыми
цветами
грязью покрылись
белоснежные пеленки
грязный младенец
сосал грязное молоко
из переполненной груди
в мир новый человек пришел.

В ту зимнюю ночь, поближе к утру вдруг поднялась моряна, становясь все сильнее, порывистее, задрезжали окна, захлопала балконная дверь, стуки смешались с воем взбесившегося ветра, и Амина-ханум, время от времени впадавшей в забытие, сидя в кресле возле постели поэта, каждый раз, как только сон смеживал ей веки, казалось, что звуки - дребезжание окна, хлопанье двери, вой ветра - перемешавшись, уносили ее в неизвестную пустоту, и в этой пустоте Амина-ханум будто бы вдруг спотыкалась, вздрагивала, открывала через силу глаза, и вот так Амина-ханум встретила то зимнее бакинское утро.

Поэт порой шурился на потолок, временами тихо стонал, и Амина-ханум сейчас впервые за долгие тяжелые недели его болезни заметила во взгляде поэта столько сосредоточенности, столько напряженного внимания, будто он смотрел не на выбеленный прошлым летом потолок, а на что-то совсем другое, даже словно читал что-то невидимое постороннему глазу, но Амина-ханум почувствовала и то, что эта сосредоточенность, это внимание во взгляде поэта хочет как бы потянуть, увлечь, утащить его за собой в неведомое, пугающее, и тихие стоны поэта свидетельствовали о слабом сопротивлении его иссохшего, обессиленного тела, ставшего маленьким и легким, как тело ребенка, о его нежелании отправляться в это неведомое.

Амина-ханум тихонько окликнула поэта, потом провела ладонью по холодному, пожелтевшему - кожа да кости - лицу, погладила костистый лоб, но поэт никак не отреагировал, и лоб его показался Амине-ханум необычно холодным и она, откинувшись в кресле, прикрыла глаза и некоторое время слушала вой ветра за окном, дребезжание стекол, скрип дверей, казалось, с трудом выдерживавших напор ветра, тяжело вздохнула, потом поднялась и пошла будить сына и младшую дочь, спавших в соседних комнатах.

— Вставайте, кажется, папа очень плох.

В этом доме все уже давно были готовы к такой минуте /в сущности, все в этом доме ждали, что такая минута наступит/, но сын и дочь обычно поздно просыпались, потому что и ложились за полночь,

и в этот раз они еле проснулись, Амина-ханум позвонила и старшей дочери и попросила сообщить Мамед-муаллиму тоже, чтобы он пришел / в подобной ситуации в доме непременно должен быть кто-то опытный, уравновешенный, и первый, кто пришел на ум Аминне-ханум, был Мамед-муаллим /, и в то ветренное, зимнее утро, когда Мамед-муаллим переступил порог их квартиры, все уже собрались в комнате поэта.

Мамед-муаллим молча, кивком поздоровался с собравшимися, потом, приблизившись к кровати, на которой, обессиленный, то тихо стонал, то открывал глаза и смотрел в потолок, поэт, поглядел на него, горько, а точнее, значительно усмехнулся и обратился к Аминне-ханум:

— Завещание сделал?

Амина-ханум вытаращила утомленные от недосыпания глаза.

— Что? - не поняла она.

Мамед-муаллим повторил вопрос.

— Завещание... Оставил завещание?

— Нет, - несколько растерянно ответила Амина-ханум.

Младшая дочь с беспокойством посмотрела на поэта, потом на Аминну-ханум, потом на старшую сестру и на ее свекра, то есть Мамед-муаллима, и прошептала:

— Папа же может услышать...

Мамед-муаллим, осуждающе усмехнувшись, посмотрел почему-то на сына, а не на младшую дочь поэта и произнес:

— Должны же вы знать его последнее желание...

Моряна так же, как под утро неожиданно поднялась, внезапно спала, и негромкий вой ветра сейчас, казалось, доносится откуда-то издалека, будто и ветер, и переставшие дребезжать и стучать окна, и двери, затаив дыхание, прислушивались к мудрым словам Мамед-муаллима.

Мамед-муаллим, склонившись к изголовью поэта, выбрав своими зелеными глазами невидимую точку над его головой, тихим вкрадчивым голосом спросил:

— Что-нибудь хочешь сказать? Что-то нужно?

Младшая дочь отвернулась и закрыла глаза. Старшая дочь, на мгновение отвлекшись от происходящего в комнате, подумала вдруг, что не следовало сегодня отводить Аминашку в садик, надо было сюда привести, правда, в садике проходили английский, и нельзя было пропускать урок, но, даже несмотря на это, она должна была сегодня привести ребенка сюда, потому что поэт мог захотеть повидать Аминашку, и старшая дочь, в сердцах ругая себя, почувствовала, что так оно и будет.

Мамед-муаллим, по-прежнему возмущенный в выбранную точку над головой поэта, приблизил губы к уху поэта и несколько громче повторил свой вопрос:

— Что-нибудь хочешь?

По худому, бескровному лицу поэта скользнуло слабое подобие улыбки, и он, не отрывая глаз от потолка, тихо, еле слышно прошептал:

— Арбу...

— Что? - спросил Мамед-муаллим, думая, что ослышался. - Арбу?

Поэт, глядя в потолок, еще раз произнес с усилием:

— Да... Арбу... Хочу арбу...

Мамед-муаллим поднял голову, оглядел собравшихся в комнате, с многозначительной усмешкой покачал головой и сообщил:

— Бредит... Арбу хочет...

Старшая дочь, не сдержавшись, всхлипнула.

— Мама!.. - младшая дочь в страхе обняла Аминну-ханум.

— Хочу Арбу... - повторил сын слова отца, и рыдания сдавили ему горло.

В тот миг даже Мамед-муаллим прослезился, что происходило с ним нечасто: в последний раз такое явление наблюдалось ровно семнадцать лет назад по поводу глазной болезни - конъюнктивита, и вот сейчас, когда в свои последние минуты знаменитый поэт, готовясь перейти в мир иной, просил арбу, слезы навернулись на глаза Мамед-муаллима.

2002, февраля

"КАРАБАХСКОЕ ШИКЕСТЕ"

*Рассказ о французском парфюме и поисках бека
Золотым петухом Агадаша и Баладжа-ханум.*

Из цикла "Беженцы"

1

...а потом издалека донесся перестук колес электрички...

Электричка, следующая из Баку, проходила через Бузовны, Мардакяны, Шувеляны, а оттуда, доехав до поселка ГРЭС-Северная, тем же маршрутом возвращалась в Баку; и каждый раз, когда перестук колес издалека доносился до рабочего общежития в Бузовнах, Джуму вспоминался первый приезд в Баку, и, если он находился в подпитии, у него комок подкатывал к горлу, а в случае трезвости ему хотелось сбегать за бутылкой и налимониться.

В те времена - в те добрые старые времена, канувшие в Лету, - окончив десятилетку в Шуше, Джуму взял чемоданчик, снаряженный мамой, и впервые в жизни отправился в дальний путь; сел в автобус, съехал с шушинских гор и, замороженный магией первого путешествия, миновал Ханкенди, проехал Агдаш, Барду, прибыл в Евлах, жарившийся в июльском пекле. А там, сев в поезд, в общий вагон, под забываемый стук-постук колес, покатыл в Баку - сдавать экзамены в университет.

Тогда Джуму чудилось, что перестук железных колес сопровождает и преследует доносившаяся с шушинского крутогорья родная мелодия "Карабахское шикесте", и этот мерный перестук, сопровождаемый мелодией "шикесте", уносил Джуму не просто в манящие университетские пенаты, а в другой мир, мир, который находился не на географических картах, а в воображении, грезах; тот неведомый мир был лучезарным, теплым, таинственным и блаженным будущим, и, конечно, где было знать юному Джуму, что это будущее окажется столь неприглядным и смрадным, как тухлое яйцо...

2

Как только Изабель Ханукофф узнала, что ей предстоит отправиться в Азербайджан, перед ее взором ожил образ мамы, и в тот же миг будто все ее существо пронзила тихая, бесшумная, щадящая молния, рассыпавшая по всему телу незримые токи и отозвавшаяся глухой

болью в сердце.

Минуло четырнадцать лет, как Зиба - мать Изабель - умерла от рака легких, в том 1989 году Изабель было восемнадцать лет, и все эти четырнадцать лет в душе у нее гнездилась очень печальная, щемящая ностальгия, ностальгия по маме, порой вырывавшаяся наружу, а порой уходящая в глубь души, оседавшая, как горький осадок вина на дне сосуда, а никогда не покидавшая ее.

В отличие от своих старших братьев и сестер Изабель никогда не видела Азербайджан; родилась в Израиле, в небольшом городке Эриха, что на приграничье Иерусалима с Иорданией; но слово "Азербайджан" было внутри той ностальгии по маме, ностальгии по Зибе, которая жила в ее сердце, хотя и Зиба более двадцати лет своей жизни, с 1968 года, прожила в Израиле и чтла Израиль, как родину своих предков, даже успела прикипеть сердцем и полюбить, но никак не могла вписаться в эту страну с миром своих помыслов, воспоминаний, чувствований и уносилась мыслями, памятью за тысячи километров, за тридевять земель, в Азербайджан, в горное приволье города Кубы, поселок Красный, где родилась, выросла, окончила школу, вышла замуж.

Конечно, некогда пионерке с красным галстуком Зибе Хануковой, проходившей урок географии в азербайджанской школе в прекрасном поселке прекрасной Кубы, впервые услышавшей и увидевшей на карте название "Иордания", и в голову не могло прийти, что пройдут годы, и она продолжит дарованную Аллахом жизнь у границ Иордании и там же завершит ее...

По приглашению родичей и по настоянию мужа Зиба всей семьей перекочевала в Израиль, все, что имели в поселковом доме, продали, раздарили родне, знакомым, и муж Зибы посчитал, что больше у них в поселке Красный ничего не осталось, но впоследствии уразумел, что в Кубе, в поселке Красный осталось сердце Зибы (да и его собственное!), а жизнь текла, как воды Гудийал-чая, и эти воды нельзя было вернуть вспять.

Изабель знала, что поселок Красный - местность, где обосновались горские евреи, проживающие в Азербайджане, - на берегу живописной реки, в распадке на солнечной стороне лесистых гор; Изабель не раз бывала свидетелем, как огорчалась мама, когда оказывалось, что в Израиле евреи, даже те, кто перебрался сюда из других советских республик: России, Украины, Белоруссии, и знать не знали о Кубе, а репатрианты с Запада порой впервые слышали название "Азербайджан". Бывало, когда Зиба Ханукова представлялась, мол, приехала из Кубы, а несведущие и невнимательные собеседники воспринимали ее слова как "с Кубы" и дивились: "И на Кубе, выходит, есть евреи?" Будто там, где Фидель Кастро, евреев никак не может быть; но задевало за живое не это, а то, что люди пребывают в неведении о таком благодатном крае, как Куба, и в такие минуты она словно

испытывала обиду за Гудйял-чай, за леса, урочище Гачреш, за горное приволье, где джигиты-удальцы горячили норовистых коней, и, даваясь слезой, говорила Изабель:

— Родится сын у тебя - Айдыном нареку...

Дело в том, что Зибя еще десятиклассницей, году в 1959-м (в середине минувшего века!): в поселковом драмкружке исполняла роль Гюльтекин в пьесе знаменитого азербайджанского драматурга, и Айдын был возлюбленным ее героини.

Все эти рассказы матери запечатлелись сызмала в памяти Изабель, и однажды, когда ей вспомнилось это имя - Айдын, - она заглянула в Интернет и выудила только ту информацию, что есть в Турции поэт по имени Айдын Хатибоглу, но Зибя об этом Айдыне. конечно, не ведала; Изабель порой чуть ли не физически предчувствовала: родись у нее сын и назови она его Айдыном, душа матери возрадуется.

Но пока у нее и в мыслях не было выходить замуж.

Правда, еще не было в мире беженцев, а работа Изабель была связана с беженцами. И мытарства их, каждая встреча с ними вызывала лишь отрицательные эмоции; правда, в сердце этой молодой девушки жила ностальгия по матери, но ведь жизнь состоит не только из беженцев и не только из ностальгии...

3

На Каспийском взморье, между поселками Бузовны и Загульба, есть скалистая гряда, И в тихую погоду, особенно под утро, когда повеет легкий ветерок, и море гулко и глухо рокошет, и скалы отзываются ответным гулом, Агададаш, чей дом был расположен в полутора-двух километрах от берега, еще во сне слышал этот глухой гул, это было подсознательное чувство, и в самые напряженные, самые хлопотные, самые надсадные дни жизни этот предутренний слышимый (ощущаемый?), резонирующий в скалах гул умиротворяюще проникал во все существо Агададаша, ему даже казалось, что море ждет трубного эха от скал - ответа на свой гулкий зов, чтобы на Абшероне, на бузовнинском побережье для моря настало утро.

Иногда Агададашу думалось: этот двуединый гул моря и скал вот так же слышали его отец, его предки полвека, век, два столетия тому назад, и эта мысль как будто еще больше связывала, роднила его с этим древним гулом; покой и вдохновение разливались в летние предутренние часы по всему телу и дарили бодрящую свежесть. В то сентябрьское утро Агададаш, всегда спавший в постели на дощатой веранде, открывавшейся к морю, как все сорок лет возле своей благоверной, едва окунувшись в блаженную предутреннюю негу, как досрочное кукареканье Золотого петуха огласило подворье.

Агададаш всполошенно проснулся и, присев в постели, почесывая

сквозь выцветшую майку тощую грудь с седеющей растительностью, зарычал хриплым прокуренным голосом:

— Да что же за дурацкое отродье этот петух, а?

Баладжа-ханум заколыхалась породным телом, выглядывавшим из-под одеяла, пробормотала спросонок:

— Не обращай внимания... Спи...

Агададаш нашарил сигареты возле подушки, взял одну.

— Как не обращать внимания? Разве уснешь при таком горлопане?

Как бы в подтверждение его слов Золотой петух вновь заорал во все горло.

— Чтоб ты подавился своим криком! - заворчала Баладжа-ханум, не размыкая глаз.

Агададаш уже лет сорок с гаком шоферил на маршрутке Баку - аэропорт Бина - Бузовны - Загульба - Билья - Маштаги - Забрат - Баку. (Потому в селе его все звали "Автобус-Агададаш"). Два дня от рассвета до полуночи - за рулем, в полночь - домой, третий день - выходной; в тот сентябрьский день он как раз отдыхал, и отдых пришлось на воскресенье, и Баладжа-ханум от души желала, чтобы муж отоспался вдосталь, потому, не довольствуясь только что высказанным проклятьем возмутительно спокойствия, добавила, ворочаясь под одеялом:

— Чтоб ты сдох!

Агададаш, закурив сигарету, встал с постели и, хрипло покашливая, направился к курятнику в углу двора и открыл дверку:

— Ну, выходи, сукин ты сын! - Затею он отпер калитку, и стайка кудахчущих клуш, предводительствуемых Золотым петухом, ни свет ни заря покинула двор.

4

В тот приезд Джуму срезался на вступительных экзаменах; сперва схватил тройку, а после - "пару" и тем же поездом вернулся из Баку в Евлах; перестук колес, запомнившийся ему, был таким же, как и на пути из Евлаха в Баку, и так будет всегда.

Эту россыпь звуков что-то могло лишь напоминать, но не повторять: перестук колес электрички, проходившей в полукилометре от бузовнинского рабочего общежития, только напоминал железную дробь поезда Евлах - Баку, и тоска, глевшая в этом воспоминании, затаилась в недостижимой, непостижимой глубине сердца Джуму. Почему это было так? - Джуму не знал причин; но эта невнятная тоска прежде была легкой, как бабочка, и улетучивалась с одной улыбки Соны, иногда украдкой выглядывавшей с балкона, ходившей в одиннадцатый класс школы в квартале "Агадели"; теперь же эта тоска отяжелела и давила наковальной.

После провала с университетом в жизни Джуму произошли и светлые события: женился, стал отцом, стал таксистом первой руки в Шуше, обустроил себе приличный дом с подворьем. И такая груша росла во дворе — сорвешь плод, надкусишь — пальчики обличишь, соком всю рубашку обрызгаешь; а теперь, должно быть, в том дворе армяне его груши уминают и предков Джуму поминают. Да и не будь у него ни кола, ни двора, ни прочего добра, — ведь Шуша-то была, разве мало этого! При этой мысли у него перед глазами оживали не только старинные кварталы, дома, сады, окрестные поляны, кручи и скалы Шуши, перед взором его чередой всплывали лесное урочище Топхана, раздолье Джидыр-дюзю, скала "Эрим-гяльди"¹, родники Иса-булагы, целебный Турш-су, Секили-булагы; вспоминалась ему не только родная махалла² Агаделели, где родился и прожил всю жизнь, перебирал в памяти чуть ли не каждое дерево, валун, даже заросли ежевики, карабавшиеся по стремнинам, старых знакомцев, родные подробности. И порой сам диву давался, каким образом эти камни, эти деревья, эти кусты запечатлелись в его памяти с такой обстоятельной точностью?

Да, Джуму прожил всю жизнь в шушинской махалле Агаделели. Потому десять лет, минувших после захвата Шуши армянами, бегства, исхода, обретения пристанища в бузовнинском рабочем общежитии, — эти десять лет не были жизнью Джуму. Это было нечто другое. Что именно? Что бы то ни было, его настоящая жизнь осталась там, в Шуше, в махалле Агаделели, и Джуму всем своим ледащим существом чувствовал, что впредь ему не вернуться в Шушу и не возобновить ту прерванную жизнь, — не потому, что армян хоть когда-нибудь не выдворят из Шуши, а потому, что Джуму не доживет до того дня, и его бранные останки поднимут со двора рабочего общежития, понесут на сельское кладбище, где найдут уголок и предадут земле, и окрестные собаки будут там справлять естественные надобности.

5

Когда болезнь, поразившая Зибу, хватала ее за горло, стесняла дыхание, чуть ли не душила, из уст ее исторгался тоскливый стон, идущий от истрадавшегося сердца:

— Мне бы глотнуть воздуха Гачреша... Он бы меня исцелил...

6

Все в Шуше, в том числе и Джуму, с тех пор, как помнили себя, видели Мамеда-киши в чайхане у базара, и нетерпеливый посетитель

чайханы в ответ на вопрос: "Мамед-даи¹, где же наш чай?" — слышал неизменное: "Г'ёзле, гялирам!"²

И, действительно, через минуту-другую, пока Мамед-киши не расставит чайные стаканы на блюдцах перед другими клиентами, — на столе появлялся прекрасный душистый чай. Неважно, на сколько персон, пусть двое, пусть хоть десяток, Мамед-киши исхитрялся доставлять все заказы разом, причем без подноса, да еще в одной правой руке, нагромоздив две "пятитазжки", и никто никогда в Шуше не видел, чтобы Мамед-киши хоть однажды уронил и разбил посуду; но вот уже десять лет, как Мамед-даи ютился в бузовнинском рабочем общежитии, и все навсегда кануло в прошлое: и чайхана у базара, и веселое снование с чайными "этажерками" в руке, как и воздух, пропахший благоуханием чабреца, мяты, холодящей, кардамона, гвоздики, и прозвище "Г'ёзле-гялирам" понемногу позабылось, истаяло, как аура чайханы; и сейчас Мамед-даи вдруг так постарел, так сдал, что едва мог держать в руке один грушевидный стаканчик, попивая чай.

Во дворе общежития доживала свой век древняя маслина, а под ней колченогая скамейка с советских времен, и Мамед-даи каждое утро чуть свет покидал восемнадцатиметровую на семерых комнату и усаживался на эту реликтовую скамейку и только в сумерки возвращался к себе; он и ел на скамейке, и пил чай, когда подносил кто-то из своих.

И однажды под вечер — тому назад года два, когда Джуму остановил свой драндулет во дворе и собрался было подняться к себе на пятый этаж, Мамед-киши, сидевший под той же маслиной, на той же скамье, при том же антураже — три пшатовых дерева поодаль, большой водопроводный кран и на отшибе два допотопных жестяных мусорных ящика, — Мамед-киши, сам превратившийся в неотъемлемую часть этого двора, как здешняя ржавая качалка над иссохшей скважиной, остановил Джуму:

— Послушай, — сказал он, — когда у человека едет крыша, знает ли он сам об этом? А? — Наконец, вспомнив имя Джуму, он повторил: — Так или не так, Джуму?

Джуму сперва было подумал, что Мамед-киши решил поерничать, разыгрывает его, но, заглянув в выцветшие, устремленные куда-то в пустоту пространства глаза, он понял, что старик всерьез обеспокоен собой...

7

С того дня минуло уже больше одиннадцати лет и, вспоминая иногда тот день, Джуму ловил себя на горькой мысли: разве тот день

¹ Скала у въезда в Шушу; название означает: "Мой муж вернулся".

² Махалла — старинный квартал.

¹ Даи — дядя.

² "Жди, иду!"

можно называть днем? День - это не только, когда солнце взошло, настало утро, потом наступил полдень, потом свечерело, солнце закатилось; день - это когда ты живешь, когда что-то делаешь по доброй воле, но тот день - восьмое мая девяносто второго года, день, когда армяне захватили Шушу, поубивали, перестреляли, позгнояли людей, - никак не вязался со словом "день". Тот день, когда люди бежали, куда глаза глядят, тот день не был Божьим днем, тот майский весенний день был днем Сатаны, был "даром" Сатаны шушинцам. Но в чем они провинились перед Всевышним, что он напустил на них Сатану? - Как ни ломал голову Джуму, он не мог найти ответа, особенно мучил его этот вопрос после пропущенных трехсот граммов.

Уцелевшие, выжившие беженцы из Шуши собрались в Агдаме, а потом двинулись, кто куда, рассыпались по городам и весям, часть устремилась в Баку, и с ними Джуму с родней; вот уже десять с лишним лет они валандались здесь, в бузовнинском рабочем общежитии. Общежитие было полностью предоставлено беженцам. И семейство Джуму, шесть человек - мать Гюллю, Сона, Джамиля, Талиб и старшая сестра Соны Солмаз - ютились в комнате на пятом этаже, на шестнадцати квадратных метрах. Дверь этой комнаты, как и других, открывалась в длинный коридор, где хоть не дыши от едкого запаха хлора, исходящего из туалетов по обоим концам; женщины с этажа днем и ночью поливали их хлоркой, чтобы смрад и вонь не заполнили все обиталище. Уж, во всяком случае, запах хлорки был сноснее, и ладно еще, что хлор в этих краях был задешево.

8

Изабель Ханукофф уже седьмой год работала в верховном комиссариате ООН по делам беженцев и знала цену жалованью, которое получала за трудную работу, полную печальных впечатлений; но на сей раз, то есть за пять дней до памятного сентябрьского дня, получив командировочные документы и деньги для поездки в Азербайджан, она вышла из женевского офиса Комиссариата, и ностальгия мамы, ностальгия Зибы, таившаяся в ее сердце, привела ее в ближайший супермаркет, и, несмотря на "кусачие" цены, с мыслью сделать презент от себя лично какой-нибудь азербайджанке-беженке, Изабель купила флакон французских духов - "EMPREINTE" - в подобающем красивом оформлении.

Конечно, их будущая обладательница-беженка не узнает, что эти духи, по существу, подарок от женщины по имени Зибя Ханукова, некогда жившей в Азербайджане и унесшей вместе с собой любовь к Азербайджану в далеком, за тысячу километров, краю - в могилу... Но какое это имело значение? Главное - душа Зибы возрадуется...

9

Накануне стало известно, что ожидается очередной приезд иностранных представителей с целью ознакомления с жизнью беженцев и вынужденных переселенцев. Несколько женщин, живших в рабочем общежитии, кучковались у большого крана во дворе; насос не справлялся с перекачкой на верхние этажи, потому приходилось таскать воду снизу в ведрах, а иные и посуду предпочитали мыть тут же, во дворе; ведра наполнены, посуда вымыта, а расхотится женщины не спешат. Кран был местом сходки, где беженки обменивались новостями, делились ежедневными заботами, печалью, кому-то перемывали косточки, кого-то честили, словом, отводили душу.

За краном высились три старых пшатовых дерева, и бузовнинцы говорили, что некогда здесь был роскошный сад - пшат, иннаб, миндаль, фисташка, - принадлежавший нефтяному магнату Мешади Агарагиму Мир-Абдулла-оглу, а позднее, в двадцатые годы, в советские, значит, времена, сад пришел в запустение и сгнил на корню, а хозяина расстреляли большевики; эти три пшата - все, что осталось от его прекрасного сада.

Незадолго до того сентябрьского дня, в несносную духоту, от которой, как говорится, и собаки задыхались, женщины, подавшись в тень пшатовых деревьев, завели разговор.

Хадиджа, вдова Колхоз-киши (были встарь и такие имена), сказала: — Послушай, говорят, опять комиссия из-за границы пожелует...

— Да провались они со своей комиссией! Какой прок от них? Что они до сих пор сделали, чтобы ждать от них чего-то еще? - так отвечала жена Мамеда-киши, Сурайя-хала.

И другие беженки подключились:

Пусть они поживут денечек в наших условиях, тогда поглядим!

— Да они все армянские шпионы!

Тут Джуму с Соной вышли из единственного блока - подъезда общежития. Джуму завел свою тархателку-мотороллер с кузовом. Сона примостилась на лысом запасном колесе, брошенном в кузов.

— Куда это Джуму свою половину везет?

— Куда! В театр! А ты не знаешь?

— Эх... у него хоть этот драндулет, опять же транспорт, куда жене надо, туда и покатил. А что нашим-то мужчинам делать? Нас восемь человек в одной халупе! А ты мне - комиссия! Насмотрелись на них за одиннадцать лет!

— Верно говоришь. Вон, Мамед был гора горой, а теперь каков, сидит сиднем на колченогой скамье и сам с собой разговаривает! Вот тебе и твоя комиссия! - Эти последние слова тоже выпалила Сурайя-хала.

Несвоевременное кукареканье Золотого петуха в ту сентябрьскую рань испортило Агадашу кайф ото сна, мало того, после завтрака с чаем он еще умудрился с треском продуть соседу буфетчику Ибадулле подряд три партии в нарды; на этом неприятности не закончились - в полдень, ставя перед мужем миску с отменным, особо приготовленным бозбашем в сопровождении помидоров, огурцов, уксуса, маринированных баклажанов, перца, соли, Баладжа-ханум огорошила новостью:

— Наш горлодер-петух пропал, не вернулся...

Кроша в бульон горячий чурек, только что выпеченный в тендире у лучшего хлебопека в селе Гаджи Алиага, Агадаш сухо осведомился:

— А куры?

— Двух не досчиталась... остальные вернулись. В курятнике...

Агадаш, как бы назло судьбе, подкидывавшей ему сегодня мелкие пакости в виде несвоевременного кукареканья петуха и разгромного поражения в нарды, плотоядно отправил в рот первую ложку бульона и небрежно бросил:

— Куда они денутся?.. Не сядут же в автобус... Вернутся...

11

В Шуше Джуму был Джуму только для своих, в домашнем кругу, а для остальных он был Джумшудом, если точнее, Золотозубым Джумшудом.

Когда, срезавшись на вступительных, Джуму вернулся в Шушу, он навсегда выкинул из головы мысль об университете, устроился помощником моториста в автопрофилакторий, потом окончил шоферские курсы в Ханкенди, тогда именовавшемся Степанакертом, и стал шоферить в автобусе по маршруту Шуша - Степанакерт - Шуша; тогда же он и обзавелся золотой короной во рту, для шика, а по сути, чтобы произвести впечатление на Сону.

Когда он влюбился в Сону, она училась в одиннадцатом классе; а Сона хорошела с каждым днем, расцветала на глазах и словно превращалась в неземную, недосыгаемую звезду, сиявшую над головами парней из махаллы Агадедели.

Потом Джуму перешел на работу в такси и куда только не ездил, исколесил весь Азербайджан, особенно в летний сезон, когда отдохавшие, лечившиеся в Шуше состоятельные клиенты возвращались восвояси в разные уголки республики; случалось, в неделю дважды, а то и трижды катил в Баку и обратно. Даже в Тбилиси не раз возил пассажиров. А однажды маханул аж до Ростова, и тогда-то Сона избрала Джуму, Золотозубого Джуму; то ли девушку заигнотизировало торжественное проезжание надраенной до блеска черной "Волги"

Джуму под ее балконом на втором этаже, то ли ослепило сверканье золотозубой улыбки, - как бы то ни было, их свадьба в махалле Агадедели стала одной из запоминающихся, знатных свадеб, и на той свадьбе старый певец из Маябейли Искендер, по прозвищу Кёхна-Гавал¹, приложив к уху допотопный бубен, выдал такое "Карабахское шикесте", так распелся, что заткнул рот привередам, твердившим: "Искендер уже одряхлел". И доказал, что золото с годами дорожает.

— Искендер-киши, как там, что нового в тамошних краях? - Эти слова спяна прокричал вечером Джуму, одиноко примостившийся на прибрежных скалах, до того поддавший в буфете Больельчика Ибадуллы; как будто Искендер из Маябейли, по прозвищу Кёхна-Гавал, мог отозваться, рассказать о потустороннем житье-бытье.

Когда бежали из Шуши, очередь, пущенная из "Калашникова" русским солдатом, помогавшим армянам, прошла Искендера из Малбейли, и оказавшийся вблизи при бегстве Мамед-киши впоследствии рассказывал, что тело Искендера было рассечено на две части, верх и низ лежали врозь, а мертвая рука все еще сжимала бубен в голубом чехле.

У Джуму вошло в привычку: время от времени, приняв на грудь в буфете Ибадуллы, он отправлялся к морю и сиживал на прибрежной скале, и никто, кроме Джуму, не ведал об этом, кроме Джуму и еще тарихтелки, потому как Джуму казалось, что и тарихтелка нечто одушевленное, вроде бродячих собак, бездомных кошек в этих плешивых и скудных Абшеронских степях.

— Слушай, клянусь, я тебя когда-нибудь возьму и зафиндирую в море! - бывало, и такое говорил накачавшийся в буфете Ибадуллы Джуму во время своих одиноких посиделок в скалах, будто это тарихтелка в чем-то провинилась перед ним.

Напротив, Джуму бы молиться на свою колымагу целовать бы ржавую прокопченную выхлопную трубу, ведь этот мотороллер с кузовом, можно сказать, кормил шесть ртов, все семейство, кроме самого Джуму, и Гюллю-арвад, и Сону, и Джамилу, и Галиба, и Солмаз.

Когда они добрались до Баку, приютились в этом рабочем общежитии, когда Джуму так и не подыскал себе работы в такси, когда проваландался в профилактории, а после на бензозаправке, а проку не вышло, тогда на 115 баксов, занятых в долг у буфетчика Ибадуллы, он купил этот мотороллер с кузовом, отремонтировал, и с тех пор обитателей общежития, и старых, и малых, спозаранку будило тарихтенье мотороллера, который, прежде чем завестись окончательно, добрых полчаса кряхтел, чихал, захлебывался и снова громыхал.

Обычно Джуму ездил в Маштаги, закупая сено, сухой хлеб, всякие корма - для тех, кто в окрестных селах держал во дворе животину, а

¹ Старый бубен.

для тех, кто разводил кур, цыплят, - пшенку, ячмень, крупу. Грузил в кузов и, объезжая дом за домом, продавал. Покупал, скажем, сухой хлебец за двести манатов, сбывал за четвертак, так и с прочими кормами, а в летний сезон, когда состоятельные люди перебирались на дачи и затевали там косметический ремонт, Джуму грузил в кузов тарихтели мешки с цементом, краски, гвозди, известь и короткой дорогой катил из Маштагов в Нардаран, оттуда вдоль берега - в Билья, дальше - в Загульбу, оттуда - в Бузовны, если в кузове оставались непроданные материалы, он направлялся в Шаганы, Мардакяны, Шувеляны и, вновь вернувшись в Бузовны, покупал на тамошнем базаре то, се для семьи.

Так прошел год, минул второй, годы, когда мнилось: "Даст Бог, завтра вернемся в Шушу, послезавтра вернемся в Шушу!..." Годы, когда у Джуму родился сын, и он нарек его Галибом¹ в честь будущей победы в Шуше и вообще в Карабахе, но впоследствии постепенно он стал все чаще навещать в буфет Ибадуллы, а оттуда шел к себе домой (в каморку в общежитии), и золотозубый Джумшуд стал для всех Джуму - только и всего.

12

В последнее время Джуму просыпался чуть свет на какой-то звук, голос, точнее, это был не голос, а нечто, напоминающее напев, и он не мог взять в толк, что же это за голос, что за напев, - уж, во всяком случае, это не был отдаленный гул моря, шум прибоя, не было это и шумом хазри² или моряны, какой-то невнятный, сумбурный напев; и однажды спозаранку, вновь разбуженный этой смутной мелодией, Джуму встал, вышел из комнаты и направился в туалет в конце коридора и, глядя в старое зеркало в металлической оправе над умывальником, вдруг понял, что мелодия, будившая его ни свет ни заря, - это "Карабахское шикесте", что пел Искендер из Малбейли - "Кёхна-Гавал" на его свадьбе, но голос Искендера доносился не из этого брэнного мира, а из потустороннего, и, казалось, "Карабахское шикесте" затерялось в груди обветшавшей одежды в старом сундуке, потраченной молью, пропахшей уже истаявшим нафталином.

И вдруг на поверхности зеркала в ржавой железной оправе проступила пышная фигура Соны, такой, какая она была в день свадьбы. И она уставилась на Джуму - на секунду, другую, а может, полчаса? - потом Джуму постепенно различил вновь свое отражение, и отражение смачно плюнуло ему в лицо и сказало:

— Зачем ты тогда женился на ней, зараза? Загубил и ее жизнь?

¹ Галиб - победа.

² Хазри - каспийский ветер, норд-ост.

13

В тот сентябрьский день у буфетчика Ибадуллы-Болезьщика настроение было в ажуре, потому что накануне "Нефтчи" у себя дома обыграл финскую команду со счетом 3:1, и сегодняшний день был продолжением вчерашнего футбольного триумфа, в нардах ему везло, и так как день был воскресный, с утра он грошил за доской всех мужчин махаллы и даже несколько раз кряду обыграл слышшего лучшим нардистом махаллы Автобус-Агададаша, который, если случалось проигрывать раз или два в году, звинчивался, как бойцовый петух, готовый заклевывать своего обидчика.

Вот уже сорок лет, как жители махаллы и люди села, и постоянные, и непостоянные посетители зимой-летом открытого буфета у развилки дорог на Бузовны, Загульбу и Вишневку, именовали хозяина - Ибадуллу-Болезьщика попросту "Буфетом"; весивший свыше 160 килограммов, с необъятным брюхом, Ибадулла и впрямь производил впечатление грандиозного шкафа или буфета. Был он заядлым болельщиком, и когда предстоял матч "Нефтчи" или сборной республики, он бросал все дела, пусть даже реvisor навещался в буфет, и отправлялся в Баку, на стадион, и стоило нашим забить гол, он вскакивал, подпрыгивал с такой резвостью, будто и нет в нем этих 160 килограммов.

В тот сентябрьский день Ибадулла в буфет свой, приватизированный после распада Союза, не отправился, потому как там шли предзимние ремонтные работы, которыми рьяно руководил его сын Агаселим, сбывший в Москве вагон арбузов с поселка Зыря и только что вернувшийся; хозяин буфета, сидевший у ворот дома в тени старого тутового дерева, коротал время за нардами; когда и до него дошла новость о пропаже Золотого петуха Агададаша, он с особым азартом метнул на игральную доску перламутровые зары из толстенных, как сардельки, пальцев.

— А на хрена Агададашу петух? - Зары выдали шеш-гоша¹, и он со смехом добавил: - Сколько петухов может быть в одном доме? Двум петушиным головам в одной кастрюле не ужиться.

14

Как-то осенним вечером, когда дул шальной гилавар², Мамедкиши, невзирая на эту погодную дурь, сидел себе под старой маслиной на колченогой скамейке, - то были времена, когда он разговаривал не только сам с собой, но и с другими, - так вот, в тот вечер, увидев

¹ Шеш-гаша - две шестерки.

² Гилавар - южный ветер, дующий с Каспийского моря.

тормознувший во дворе мотороллер и уже направлявшегося к блоку Джуму, Мамед-киши задал ему вопрос "на засыпку":

— Послушай, Джуму, как думаешь, будь армяне мусульманами, опять русские с Америкой стали бы заступаться за них?

15

Поселившись в рабочем общежитии, Джуму долгое время не мог спать по ночам, и дело было не только в летней Абшеронской духоте и горячем влажном воздухе, и не в гуле близкого моря, - все это само собой, но главное было то, что стоило ему ненадолго забыться, как перед взором возникали шушинские улицы, сады, махаллы Агадедели, сон не сон, и галлюцинацией не назовешь, но в такие моменты дышать становилось еще труднее, давило удуше.

Со временем эти цветные, с преобладающим изумрудно-зеленым листовым колоритом, видения Шуши постепенно сошли на нет, и долгое время ему вообще ничего не снилось, но в последнюю пору ему стала сниться тарихтелка. В эту ночь - тоже. Снилось ему, что он хочет оторваться, убежать, а тарихтелка не отстает от него, Джуму бежит, а тарихтелка сама по себе катится вдогонку, преследует его, и, проснувшись в холодном поту, еще засветло, он спустился во двор и сел на пустующую пока скамейку Мамеда-киши под маслиной, выкурил сигарету, потом направился к тарихтелке, включил зажигание, и мотороллер, полчаса потрещав, прогромыхав на весь двор, наконец завелся, и Джуму выехал со двора и уже поздним вечером, в девять-полвине десятого прикатил на скалистое взморье.

Море было спокойно, над скалами нависла духота. Как всегда, поставив тарихтелку в сторонке, он взобрался на скалистую грядку с банкой водки в руке, открыл ее и, запрокинув, отпил несколько глотков. Эти банки стали выпускать недавно, и цена им "бери-не хочю", вместо двухсот граммов в буфете Ибадуллы за ту же цену можно было купить три таких баночки по 175 граммов; правда, говорили, что эта водка - одна отравка.

На сей раз Джуму осушил всю баночку.

— Отравка? - сказал он. - Что ж тебя не угробит никак, сукин ты сын!

16

Салман, бывший физрук шушинской школы-интерната, теперь устроился сторожем в больницу и по ночам тащил отсюда спирт, попивал на пару с Джуму, и, дойдя до кондиции, поморщившись после очередного стакана, Джуму говорил:

— Да я с горя пью, брат, с горя! - Потом, рассердившись на самого

себя, сам же себя песочил: - Эх, плевать мне на тебя и на твое горе!

Салман пытался утешить:

Ну, не надо так, что ты себя ругаешь? Горе-то у нас велико, а как же, с горя мы пьем, конечно, с горя!

Джуму, даваясь пьяной слезой, беденился: Да заткнись ты.., спиртовой воршка!

Позднее Салман стал торговать ворованным медицинским спиртом и перестал угощать задарма.

17

Однажды, в конце мая, еще до начала купального сезона на Абшероне, когда скалистое взморье между Бузовны и Загульбой было совершенно пустынно и безлюдно, Джуму, усадив Сону в кузов мотороллера, снова повез ее к скалам у моря и там, расстегивая пуговики на ее выцветшем до неопределенной окраски платье, осыпая поцелуями, снова стал клясться-божиться, что все образуется, все будет хорошо, что он бросит пить, что больше никогда не будет привозить ее сюда, в эту пустошь, и тут, откуда ни возьмись, то ли с неба свалился, то ли из-под земли вырос перед ними пожилой мужчина, местный житель; напоровшись на них, сперва опешил, потом пришел в себя.

- Послушайте! - сказал он, — Вы же не собаки! Не кошки! Вы же люди! Человеки!.. Сона, захихывая груди под платье, вскочила и кинулась к мотороллеру, бухнулась в кузов, зашлась плачем, взывала:

- Мы не люди! Не люди мы! Мы беженцы!.. Беженцы!.. Беженцы!..

Джуму, вдруг побагровевший и почерневший лицом, как головешка в тендире, потянулся рукой и подхватил сколок скалы с кулак величиной, поглядел вслед пожилому мужчине, который удалялся прочь от них, занес камень, - ему страшно хотелось размозжить себе голову, - но вдруг обмяк, обессиленной рукой отбросил сколок в сторону и поплелся к мотороллеру.

Мужчина, уже скрывшийся из виду в сумерках, был из местных сельчан, кажется, водителем автобуса работал, и звали его то ли Агаргим, то ли Агададаш, что-то вроде этого...

18

Старшая сестра Соны Солмаз от рождения была слепой; когда армяне напали на Шушу, и началась паника, покидали город на любом доступном транспорте, в вертолете, грузовиках, прочих машинах мест не осталось, тогда отчаявшиеся люди бросились враспынную, кто куда, одни подались в леса близ Турш-су и оттуда добирались в Лачин, другие, спустившись с гор, смогли дотачиться до Агдама; часть погибла под пулями захватчиков, другие попали в заложники, часть

тех, кому удалось избежать пули и плена, перемерзли в горах, в лесах... Мать не знала об участи сына, брат не ведал о сестре, сестра - об отце; тогда пропала и Солмаз; когда с великими мучениями Джуму со своими добрался до Агдама, никто из спасшихся ничего обнадёживающего не мог сказать о ней; ни слуху, ни духу, как в воду канула...

Мало было всех мытарств и терзаний, теперь денно-нощно перед глазами Соны неотступно стояло беспомощное лицо злостастной сестры, и в одну из таких отчаянных минут Гюллю-арвад, пытаясь утешить невестку, произнесла слова, которым и сама не верила:

— Не казись, милая... В мире такие, знаешь, чудеса случаются!.. Аллах милостив!..

Сона выдавила из себя:

— Аллах отвернулся от нас! Разве ты не видишь, ай, нэнэ?¹

Гюллю-арвад всполошилась:

— Что ты, милая! Скажи: астахфуруллах!²

— Не буду говорить! - взъелась Сона.

Гюллю-арвад, уstraшившись, что Всевышний найдет еще горшние беды на их головы, поспешила сама загладить оплошность снохи и истово взмолилась:

— Астахфуруллах!..

То ли Всевышний внял Гюллю-арвад, то ли действительно случилось чудо, в которое она сама не верила, - но ровно через тринадцать дней после их бегства из Шуши Солмаз обнаружили ниже Аскерана, на окраине села Гасымлы, - она лежала на земле под дикой вишней, без сознания, вся в отряпках, кожа да кости, тело посинело, босые ноги в кровоподтеках... но - жива!

Люди не знали об участи здоровых мужей, сыновей, дочерей, а она вот, слепая Солмаз, тащиась пешком через шушинские кручи, распадки, умудрившись не попасться на глаза армянам, и добралась до Агдама, и через несколько дней, обретя дар речи, сказала:

— Аллах взял меня за руку и стал поводырем моим...

Эти слова слепой сестры запали в душу Соны, проникли все ее существо, и Сона подумала: нет, Аллах еще не отвратил лицо от них, у лихой поры короткий век, они еще вернутся в Шушу и заживут в своем доме в махалле Агадедели, и черная "Волга" Джуму, Золотозубого Джумшуда снова подкатит к воротам их двора; но шли дни, минули месяцы, они приютились в рабочем общежитии бакинского поселка, и радужные надежды постепенно поблекли, иссохли, искрошились в труху, но не исчезли совсем, ибо если надежда исчезает совсем и умирает, то умирает сама жизнь.

¹ Нэнэ - бабушка; здесь - обращение.

² Астахфуруллах (арабск.) - "Помилуй Аллах".

В Азербайджане ютилось свыше миллиона обездоленных людей, изгнанных из захваченных Арменией земель, из исконных очагов, из родных краев, где испокон веков рождались, жили, умирали и обретали вечный упокой их отцы, деды, прадеды. Население республики составляло восемь миллионов человек, и это означало, что каждый восьмой житель был беженцем, - такой печальный расклад не имел аналогов на всем свете.

Изабелла Ханукофф уже третий день находилась в Азербайджане; хотя она насмотрелась на этих бедолаг по всему свету - от Сомали до Балкан, но от этого тяжесть очередной встречи с человеческим горем ничуть не убывала. За три дня командировки в Азербайджан она успела побывать в нескольких регионах, в палаточных лагерях беженцев, отдельных населенных пунктах, и всякий раз при виде убогого быта, скудного существования матерей-беженок, детей, стариков Изабель невольно соотносила эти впечатления с тихой, безмятежной жизнью на берегу Женевского озера, напоминавшей нечто вроде фильмов Джорджа Лукаса, - жизнь на другой планете, иной цивилизации.

В тот сентябрьский воскресный день Изабель, как и планировала, отправилась на последнюю встречу с беженцами в село Бузовны, в 35 километрах от Баку, и прежде чем сесть в машину, она спросила у сопровождавшего официального госчиновника (была еще переводчица):

— Сегодня - день воскресный. Мы не побеспокоим их?

Чиновник, низкорослый, худой, загорелый, наверно, от частых летних поездок по лагерям и городкам, недоуменно уставился на гостью и ничего не ответил; Изабель почувствовала, что он просто не нашелся, что сказать; она почувствовала и то, что щеки ее заливаются краской стыда за идиотскую бестактность вопроса.

Наутро ей предстояло отправиться обратно в Женеву; потому она хотела поскорее провести эту встречу с тем, чтобы хотя бы к вечеру успеть махнуть в Кубу, непременно побывать в поселке Красный; она почти физически чувствовала, что если не посетит те края, не посмотрит на родину матери, ну, хотя бы часочек, маминими глазами, то душа Зибы обидится, даже рассорится с ней; потому встреча в бузовнинском рабочем общежитии не заняла много времени.

По существу, у самих беженцев особой охоты к подобным встречам не осталось, да и сказать, в общем-то, было нечего, потому что за эти десять-одиннадцать лет все слова были сказаны-говорены, но что толку? - приезжали из-за границы, смотрели, видели все воочию, качали головами, сокрушались, у иных, как вот у этой долговязой рыжей барышни, глаза наливались слезами, и как вот эта барышня, все

шелкали фотоаппаратами, черкали что-то в блокнотах, а потом уезжали, - и что менялось?

Жена Мамеда-киши Сурайя-хала, наплевав на наказания иных столоначальников "будьте учтивы с иностранными гостями", - в коридоре второго этажа преградила путь высокой рыжеволосой барышне - Изабель Ханукофф.

Послушай, - сказала она, - ничего нам не нужно! И гуманитарной помощи не надо! Везите ее и отдайте армянам! Ничего мы не хотим! Только верните нам Шушу! - Затем она повернулась к переводчице. - Ты переведи ей, дочка, как говорю, так и переведи! - И когда переводчица стала озвучивать ультиматум Сурайи-халы, та вытащила за руку Талиба, сынишку Джуму, из стайки ребят, прибежавших поглазеть на очередную заграничную гостью. - Вот он не видел Шушу, здесь родился! Его родина - вот это общежитие! А какая родина может быть из общежития? Общежитие - разве родная земля? - Потом, протянув руку в открытое окно и указывая на Мамеда-киши, сидевшего на скамейке под маслиной, сорвалась на крик, будо Шушу захватили не армяне, а эта долговязая рыжая барышня. - Во-он, гляди, мой муженек вот уже десять лет день-деньской сидит там, сам с собой разговаривает. Был мужчина как скала! Пушкой не свалить было! - И вскричала еще истощнее: - Верни нам Шушу?.. Шушу!.. Шушу!.. Мамед-киши, услышав вопли жены, поднял голову:

— А что с Шушой случилось?

— Ничего... - отозвалась Сурайя-хала. - Ни...че...го... - И, зарывав, отпрянула от гостей и кинулась в свою каморку.

Изабель приберегла купленные в Женеве французские духи для этой последней встречи и собиралась преподнести свой личный презент этой измученной старой женщине, но не решилась после всех услышанных горестных излияний последовать за ней в ее комнату; и когда они добрались до пятого этажа, случилось неожиданное, нет, не происшествие, а мгновенное ощущение, импрессия, быть может, некое наитие на уровне генетической памяти, биотоков, связующих Изабель с покинувшей земной мир матерью, - когда Изабель увидела молодую женщину, молча стоявшую в сторонке, с печалью в огромных бирюзовых глазах, ей почудилось, что эту женщину Зибя знает, вернее, относительно от того, знает или не знает, она, эта женщина, пригласила бы по душе ее матери, как родной человек. Очаровательное лицо молодой женщины никак не уживалось, не мирилось с печалью, заставшей в огромных распахнутых глазах, и это несоответствие еще больше подчеркивало немой, беззвучный плач души, сквозящий во взоре, проникающий существо этой прекрасной и элегантной женщины.

Изабель Ханукофф подарила купленный в Женеве презент Соне - этой молодой женщине.

Маленькая коробочка была так изящно упакована и таким красивым бантом украшена, что никак не увязывалась с убогим укладом приютившего беженцев общежития, и если Талиб и Джамиля глазели с любопытством на эту красивую штучку, то Гюллю-арвад едва удержалась, чтобы не рассмеяться от горечи и досады. Когда ушла эта заграничная долговязая рыжая барышня, вернувшаяся в комнату Гюллю-арвад сказала снохе:

— Ну-ка, разверни, поглядим, что там внутри.

Соне, задержавшей взгляд на алой ленте, увенчавшей коробку, вспомнились далекие дни, когда перед вечерней прогулкой по Джидыр-дюю шли к скале "Эрим-гяльди" или в парк Дома отдыха, и мама вплетала в длинные косы красные бантики; Сона произвольно протянула было коробку Солмаз, но тут же отвела руку, будто только сейчас увидела, что Солмаз слепая, и подала презент Джамиле:

— На, развяжи...

Джамиле шел пятнадцатый год; когда покидали Шушу, ей не было и пяти; и Джамиля никогда еще не держала в руках такую нарядную вещичку.

— Ну, давай, развяжи, - сказала Гюллю-арвад внучке, и так как за эти десять лет беженского мыкания уже ничего не чаяла, ничего не ждала от иностранных гостей, наведывавшихся к ним, добавила: - Наверно, какая-нибудь ерунда.

Джамиля предупредительно глянула на брата:

— Чур, бантик мой!

Галиб на сей раз не стал перечить сестре, потому что этот красивый бант не имел ровно никакого отношения к мальчикам. Гюллю-арвад поторопила:

— Ладно, детка, открывай.

Джамиля медленно и бережно стала развязывать бант, разворачивать упаковку и, наконец, выпростав коробку, стада вертеть ее так и сяк, разглядывая.

— Открой коробку, - сказала бабушка.

— Что ж тут еще открывать? - отозвалась Сона. - Это же духи... - И, улыбаясь, взяла чайник и вышла из комнаты - за водой во двор отправилась.

Сона улыбалась так, что, похоже, она улыбалась не столько от нечаянной радости, не подаренным духам, а мысленно окидывая взором эти десять лет обитания в рабочем общежитии...

Джамиля настолько была растеряна от неожиданности этого подарка, что передала бабушке вместе с коробкой и приглянувшийся ей бант, и Гюллю-арвад с минуту смотрела то на коробку, то на бант.

Джуму застыл у окна, глядя на Сону, набиравшую в чайник воду из

крана, и недавняя улыбка Соны такой волной окатила его душу, что он сперва и не понял, о чем говорит Гюллию-арвад, протягивавшая ему коробку с духами.

— С тобой же говорят! - повторила Гюллию-арвад. - Возьми эту штучку. Сходи, продай на ярмарке и купи ей, - она показала жестом в окно, на невестку, - приличное платье.

Джуму молча взял духи и направился к двери.

— Заклинаю могилой твоего отца, не вздумай деньги пропить! - крикнула вдогонку мать.

— Могила отца давно разверзлась! - бросил на ходу Джуму и сиганул вниз по лестнице, перескакивая ступени, будто хотел выбежать вон не только из этого общежития, а вообще из этого постылого мира.

21

Напротив аэропорта Бина, за автострадой из Баку выросла постсоветская ярмарка, где уже несколько лет шла бойкая торговля, и здесь можно было купить всякую всячину, от обувных гвоздей до сборных финских домиков, и цены были куда дешевле, чем в Баку и во всей абшеронской округе.

Конечно, там нашелся бы покупатель и на французский парфюм, и на вырученные деньги можно было купить и обнову Соны, и при этой мысли перед глазами Джуму неожиданно всплыло ее лицо в туалетном замызганном зеркале в ржавой оправе, и мотороллер, на котором он катил на ярмарку в Бина, вильнув за осевую линию, чуть было не врезался во встречный битком набитый микроавтобус.

Водитель микроавтобуса, в последний миг успевший увернуться от столкновения, погрозил пальцем и что-то яростно выкрикнул вслед, Аллах знает, какой непотребной бранью разразился, но Джуму это было безразлично, его тощее существо проник и пронзил крик души - "почему?" — крик, заслонивший все и вся вокруг, загнавший его в вакуум, в пустоту, в отрешенную невесомость; почему Соны, его любовь и боль должна взирать на него из того ржавого паршивого зеркала, и что за невидаль, что за дрянь эти французские духи, чтобы Соны нельзя было потешиться ими, надушиться, почему, почему, ну почему какой-то хахаль может это покупать и дарить своей бляди, а Джуму приходится на эти деньги купить платье Соны, чтобы ей не ходить в рваном тряпье?

Почему?

Почему?

Ну, почему?

... И словно тарыхтелка сама по себе развернулась и покатила вновь к прибрежным скалам между поселками Бузовны и Загульба.

И был сентябрьский вечер, и дул легкий хазри, и волны хлестали о

скалы и пенились, откатывались, и монотонный ритм волн, казалось, подчеркивал нависшее над взморьем удушливое безмолвие. Впервые Джуму явился к этим прибрежным скалам совершенно трезвый, и море, и эти скалы казались намного чужее, одичалее, чем прежде, и примостившийся на скалистом уступе Джуму неожиданно услышал свои рыдания, и, плача, ему вдруг захотелось развязать бантик на французских духах, открыть коробку, вынуть флакон и шархнуть о скалы к чертовой матери, и, злясь на себя, на свои слезы, он ругнулся:

— Чего нюни распустил, сукин ты сын!

По-видимому, недавно по этим местам прогоняли скотину, судя по запаху навоза, примешавшемуся к запаху моря. Шмыгая носом, он взирал на коробку духов, что держал в руках, и в этот сентябрьский вечер произошло нечто удивительное: вдруг, показалось, к запахам моря, навоза примешался и тонкий аромат французских духов (будто Джуму и впрямь разбил флакончик о скалы), и он уловил носом некий смешанный и противный запах, который никто, наверно, со дня сотворения мира не слышал на Абшероне...

В этот момент, среди монотонных гулких ударов волн, бьющихся о скалы, взвилось зычное и сердитое гоготанье, - вспрыгнувший на гребень скалы петух (тот самый Золотой петух!) в сопровождении двух квочек, видно, истосковавшийся на безлюдном побережье по человеку, шагал прямо к Джуму. Джуму, поднявшись, пихнул духи в карман пиджака, высморкался, хлопбыстнул с пальцев сопли о скалы и направился вниз к своей тарыхтелке.

Тот противный смешанный запах все еще преследовал его, и Джуму показалось, что французские духи в кармане пиджака тоже нечто смрадное, вроде какой-нибудь дохлой лягушки.

Мотор был разогрет, потому, взревев раз-другой, завелся, и этот рев не отпугнул петуха с квочками, напротив, они заготовили-закудахтали еще громче и протестующе, такой гвалт подняли, будто зывали: ну что ж ты, человече, на кого ты нас оставляешь тут, хочешь, чтоб нас загрызло зверье, что ли?

Откуда эти заблудшие пернатые бродяги приперлись сюда?

Разыскать их хозяина в Бузовнах, среди несметного населения было мудрено. В последние времена на Абшероне крыс расплодилось-развелось уйма, потому в кустарниковых сухих пустошах, в прибрежных камышовых зарослях повадились охотиться лисы, порой ночами с этих мест доносился и шакалий вой, и эти шустрые хищники, случалось, пересекали ночью дорогу мотороллеру Джуму, возвращавшемуся домой.

Вне сомнения, к утру от этого самодовольного петуха и его послушных подруг остались бы только пух да перья. Держа в зубах сигарету, Джуму пытался взмахом руки отогнать заблудшую живность, но Золотой петух, словно только этого и ждал, вспрыгнул и

помахивая крыльями, аккуратно опустился в кузов с остатками сенасоломы, куры последовали его примеру и, закудахтав, стали "ждать отправления" тарактелки, как пассажиры такси.

Джуму снова высморкался, на сей раз стряхнув слезы на асфальт.

- Ладно, - сказал он. - Чем оставлять вас шакалам на поживу, лучше уж наши поедят, - И добавил, как бы в свое оправдание: - Шакалы найдут себе пропитание! - И, газанув, укатил от скалистого побережья, одного из самых тоскливых мест на свете.

22

Золотой петух с курами, выходя со двора, обычно шастали и кружили возле ворот, выклеывая себе поживу под комлем старого тутового дерева, там и сям взрывая, вороша землю, а как солнце начинало припекать, куры под предводительством петуха возвращались в тенечек, в курятник. Но на сей раз вышла незадача, о Золотом петухе с парой клушек - ни слуху, ни духу. Баладжа-ханум обошла всю махаллу, даже близлежащие улицы, бывший парк пионеров, старый стадион за парком, но сколько ни искала, кого ни расспрашивала, никто нигде их не видел.

Когда настала ночь, Агададаш прошелся по адресу Золотого бестолкового петуха:

— Дурья башка! Я знал, что он плохо кончит!

Баладжа-ханум, уже потерявшая всякую надежду, жалобно вздохнула:

— Хотя бы Аллах сподобил ими бедных-сирых людей...

— Насколько я знаю эту горластую тварь, он никаких бедных-сирых не признает! - возразил Агададаш и впервые за этот осенний день рассмеялся. - Нас не признал, ему беков подавай!

23

Изабель Ханукофф с присущей ей прилежностью привела в порядок материалы, связанные с Азербайджаном, сделала заметки, - для будущего доклада Верховному комиссариату, словом, завершила программу командировки и попросила представительство своего ведомства в республике помочь ей с поездкой в Кубинский район.

Работник представительства, молодой симпатичный (и высокий!) азербайджанец охотно пошел ей навстречу. И в его же машине, в приятном общении, с шутками-прибаутками они махнули за сто пятьдесят километров, в Кубу, а оттуда в поселок Красный. Времени было в обрез, потому Изабель не стала встречаться ни с кем, минут сорок походила по поселку, по окрестностям, сошла к пойме Гудиял-чая и, разувшись, пробежала по мелкой холодной воде туда-сюда, и

всем существом почувствовала, как мамина, материнская ностальгия, передавшаяся ей и жившая в ее сердце, потеплела, оттаяла, почувствовала, что по мере хождения по этому невеликому населенному пункту, созерцания обступавших его со всех сторон гор, темнеющих в вечерних сумерках склонов, по мере прикосновения к прохладным струящимся водам Гудиял-чая где-то в неземных, запредельных мирах радуется мамина душа.

Потом тот симпатичный (и высокий!) молодой человек пригласил ее поужинать в шашлычной, что в лесном урочище Гачреш. Несмотря на то, что Изабель уже шел тридцать второй год, до сих пор у нее не было никаких таких лирических знакомств, романов ни с каким азербайджанцем, да и вообще кавказцем; а Куба, действительно, была чарующим уголком земли, до отбытия в Женеву еще оставалась целая ночь, вольная, свободная ночь, и потому Изабель Ханукофф с признательностью приняла приглашение молодого любезного коллеги.

24

...много-много лет тому назад поезд, следовавший из Евлаха в Баку, вез семнадцатилетнего мечтательного парня в светлое и таинственное, радостное и радужное Будущее...

...и монотонный перестук стальных колес сопровождало доносящаяся из дальних далей мелодия - "Карабахское шинкесте"...

2003, август

БАЙРАГДАР¹

*Печальная повесть о трагической смерти
человека по прозвищу "Эусебио"*

Из цикла "БЕЖЕНЦЫ"

— Когда у человека крыша поехала,
он сам-то не знает об этом?

(Вопрос, заданный Малка-киши по прозвищу
Счас-приду Золотозубому Джумиуду).

— Что мне сказать тебе, дорогой?
Паду жертвой за наш трехцветный байраг!
Что еще могу сказать, а? Сказки - скажу, да!
(Ответ Байрагдара на вопрос
корреспондента Би-Би-Си:
"Что значит для вас это знамя?").

— С советским зубилом шутки плохи!
(Реплика Золотозубого Джумиуды (Джуму)).

...а потом во дворе словно повеяло, нет, не хазри², не гилаваром³, а ветром радости.

— Эусебио явился!

— Эусебио!

— Эусебио!

...и разыгралась во дворе жаркая футбольная баталия.

...и человеку, впервые увидевшему этот двор, наверно, подумалось: какие счастливые люди живут здесь.

1

Накануне 28 мая 2003 года - 85-й годовщины Азербайджанской Республики, под вечер, у Сурхая, прозванного всеми шущинцами от мала до велика Байрагдаром, не хватило терпения дожидаться завтрашнего дня, - он извлек из-под кровати - иного места не нашлось - аккуратно завернутый в белое полотно, а поверху - в целлофан

¹ Байрагдар (азерб.) - знаменосец.

² Хазри - северо-восточный ветер на Ашпероне.

³ Гилавар - ветер с Каспия; моряна.

триколор - стяг независимого Азербайджана, с особым удовольствием развернул и полотно, и целлофан, и, взяв знамя, спустился во двор бузовнинского рабочего общежития; прищурившись, воззрился на одноэтажную котельную по ту сторону двора. Дальше двор кончался, и тянулось шоссе на Баку. За эти десять лет, как Сурхай поселился в общежитии, он всегда водружал знамя у себя на третьем этаже из окна своей квартиры (то есть комнатухи), но знамя не выдерживало натиска здешних ветров, хазри накренил его в одну сторону, гилавар - в другую, и Сурхаю приходилось выправлять знамя по несколько раз на дню. Некоторое время тому назад ему пришло на ум: на сей раз стяг вывесить не у себя из окна, а на крыше котельной, с угла. Знамя будет видно и с шоссе, и со двора, и к тому же можно там закрепить так, чтоб оно "не кланялось" всяким порывам ветра. Сурхай прикинул встать пораньше 28-го числа и водрузить стяг над котельной, но по мере приближения майской даты знамя, хранившееся под койкой, стало как бы магнетически притягивать - звать его, - он запасся терпением, день, другой, но вчера вечером не выдержал и, взяв триколор, спустился во двор.

Обочина шоссе, примыкающая ко двору, была обсажена вдоль тротуара туловыми деревьями тридцати-тридцатипятилетнего возраста, - их было семь-восемь деревьев, с интервалами в четыре-пять шагов; одно, крайнее, разделяло от стены котельной всего полшага, даже меньше, туда и направился Байрагдар со своим байрагом.

Было время, когда только он появлялся со знаменем в руках, так сразу сбегалась и обступала ребятня: а теперь во дворе ни души, и вообще, казалось, с годами шло на убыль и притяжение знамени, и когда он задумывался об этом, особенно по ночам, прежде чем забыться сном, Сурхаю казалось, что в его сердце обозначается еще одна рваная отметина, кроме шущинской раны (может, еще и похлеще!).

Он взглянул на знамя, что держал в руке, и вдруг защемило сердце: это знамя, это прекрасное, трехцветное знамя... постарело... И голубой, и зеленый, и красный, все цвета поплыли, помпончики расплозились, никелированный наконечник покрылся ржавыми накрапами, лак с древка там и сям отколупался... и этот стяг откровенно взывал: Сурхай, братец, я уже устал, выбился из сил, замени меня. И в этот миг все существо Байрагдара оторопело пробрало, глаза налились слезой, потому как Сурхай Байрагдар был не из тех, кто привык менять знамена, как перчатки...

Сперва донеслось громыханье тарахтелки (то бишь мотороллера) с прицепом Золотозубого Джумиуды, потом показался и сам он на своем драндулете, свернул с шоссе во двор и при виде Сурхая со знаменем у котельной, тормознул.

— Что, Байрагдар? Разве байрам - сегодня?

В этот вечер было безветренно, так, слабенькое дуновение, но и того оказалось достаточно, чтобы исходивший от Джуму-Джумшуда запах перегара заполнил округу.

— Куда водрузишь? - Джуму слез с тарактелки, подошел.

— Хочу вон туда, - Сурхай показал на крышу котельной.

— А как закрепишь?

— Во-он, - Сурхай показал валявшийся под тутовым деревом увесистый сколок камня кубика. - Положу на древко. Но этого мало будет. Надо бы еще пару камней найти.

Джуму, похоже, искал предлога, чтоб не идти к себе на пятый этаж общежития. И вызвался помочь:

— Дай-ка сперва я вскарабкаюсь. - И, обхватив ствол тутового дерева, как друга после долгой разлуки, стал пыхтя взбираться наверх, и с его пыхтением перегар от пропущенных у буфетчика Ибадуллы двухсот граммов насыщал окружающую среду. Байрагдар ощущал совершенный диссонанс между предназначенным действием и этим противным водочным духом.

Джуму взобрался наверх, ступил на крышу котельной, и Сурхай протянул ему триколор, затем закинул сколок камня и поискал глазами вокруг, высматривая еще что-нибудь увесистое.

Но Джуму крикнул:

— Тут железяка, вроде зубила. Поднимись, им же вколотим древко. От камня проку не будет.

Байрагдар тем же способом взобрался на крышу; Джуму, действительно, обнаружил Аллах знает сколько времени пролежавшую здесь заостренную ржавую железяку. Сурхай оглядел ее так и сяк.

— А не расщепит древко?

— Как знать, - отозвался Джуму. - Но с ветром управится только эта штуковина. Камушками не закрепишь.

Сурхая осенило: если это остроконечное подобие зубила приладить к древку, может, и никелировать, то можно будет каждый раз водружать знамя где угодно, и после принятия такого решения Джуму положил древко на плоскую крышу, выставив конец, и Сурхай стал вбивать железку в низ древка, орудуя камнем.

— Ты поосторожнее, - предупредил он напарника. - Чего доброго, загремишь. Крыша на честном слове держится.

— Ну и черт с ним, если загремлю, - в сердцах сказал Джуму. - Ты знаешь, брат, тебе надо бы подремонтировать этот байраг. Обновишь помпончики, кисточки прочее...

Что с того, что этот бедолага Джуму "пияниска"¹ (ведь не от хорошей жизни пьет!) - человек он хороший, и Байрагдару понравились слова насчет ремонта. Ведь не сказал же "сдай в утиль", и,

кажется в этот предпраздничный вечер, 27 мая 2003 года на крыше котельной во дворе общежития возникло вдруг некое треугольное родство; Сурхай - знамя - Джуму.

— Да, - кивнул Сурхай. - Займусь.

— Ты потише колоти, пальчики поранишь. С советским зубилом шутить нельзя!

— Зубило-долбило, а байраг - не слабак! - отозвался с веселым азартом Сурхай, и так называемое зубило, вроде вняв его словам, невзирая на поколачивание, врезалось в древко потихоньку, полегоньку, не расщепляя; но вот само строение, выдавшее виды под дождями и ветрами, подрагивало, посыпалась штукатурка. Кладка держалась еле-еле, развалюха, одним словом. - Не приведи Аллах, эти камни когда-нибудь рухнут кому-то на голову.

— Вели им: пусть на мою башку и падут, - невесело рассмеялся Джуму.

— Будь моя воля, я бы велел вернуть тебе твое такси! - отозвался Сурхай и спохватился; а вдруг эти слова разбередят душу Джуму, но нет, обошлось, не расчувствовался, напротив, залюбовался знаменем:

— Клянусь Аллахом, смотрится классно!

— Спасибо, - сказал Сурхай, будто тот хвалил не знамя, а его самого.

Но "зубило" и впрямь накрепко вгвоздило древко в крышу, и Сурхай возликовал. - Это зубило так и оставлю в древке.

Загустели сумерки.

Хотя воздействие двухсот граммов еще не улетучилось, Джуму уловил при лунном свете, как радостно загорелись глаза у Байрагдара, ни тени печалей-забот, и эта детская радость, сквозившая в его глазах, словно передалась и Джуму, и он, Джуму, ощутил вдохновение на крыше котельной во дворе рабочего общежития, дыша в полную грудь, власть...

Давно уже, очень давно так легко не дышалось Золотозубому Джумшуду...

2

Тому назад много лет - тогда еще в Азербайджане не установилась советская власть, - вся эта местность - от верхней черты двора рабочего общежития дальше вниз, включая и участок здания самого общежития, была садом, владением нефтепромышленника Мешади Агарагима Мир Абдулла оглу, - инжир, пшат, иннаб, мушмула, миндаль, фишашка, - благодать... Колхоз-киши, разумеется, знать не зная об этом; в те стародавние времена восьмидесятилетний Мешади Агарагим собственноручно перед весной поливал из афтавы¹ деревья в огромных кушах, а затем до грядущей весны за уход брались

¹ Искаженное "пияница".

садовники, нанятые Мешади; и вот в один прекрасный предвесенний день, спозаранку, Мешади, надевший пиджак поверх белоснежного исподнего, с неизменной тубетейкой на голове и афталы¹ в руке, совершал первый традиционный полив деревьев в саду, и это действо с годами превратилось в некий обряд, казалось, продлевавший жизнь хозяину.

И, конечно, ясное дело, Колхоз-киши не знал и того, что, когда на Абшероне устанавливали советскую власть, трое-четверо бывших рабочих, вдруг сделавшихся большевиками (бюст одного из них до развала Союза красовался в бузовнинском парке, именем другого назвали школу, позднее заменив именем шехида - питомца этой школы), явились с двумя русскими красноармейцами к Мешади Агарагиму, подняли с постели в том же белоснежном исподнем, увели и расстреляли. В конце двадцатых - начале тридцатых годов сад Мешади Агарагима Мир Абдулла оглу пришел в полное запустение и разор, и остали от него три пшатовых дерева и древняя маслина.

Впоследствии, после войны, в конце сороковых, здесь отгрохали рабочее общежитие, и когда распался Союз, остановились предприятия, обитавшие в общежитии работяги разбрелись кто куда; потом армяне оккупировали Карабах, и в ту пору, жарким летом девяносто второго года часть беженцев из Шуши была временно размещена в этом общежитии; временно-то временно, а вышло, что навсегда.

Колхоз-киши, бывало, стоял во дворе и, протягивая руку, показывал на жалкое строение с обвалившейся штукатуркой, выцветшей допотопной побелкой, бельем, развешанным на веревках между балконами:

— Вот вам и наше поселение-население...

3

Впервые триколор независимого Азербайджана Сурхай поднял в году восемьдесят восьмом - когда армяне, воспользовавшись "перестроечным" бардаком и горбачевским головоутипством, вознамерились урвать Карабах у Азербайджана, - на митинге протеста в Шуше, у Базар-баши², и этот триколор долгое время развевался над головой долговогого - в отца - Сурхая, Узун Сурхая, но по прошествии месяца, когда поутихли страсти, Сурхая за "крамольное" прапорничество укупили в каталажку, продержали двое суток и выпустили не без заступничества шушинских сорви-голов, столпившихся у Базар-баши и громко скандировавших:

— Бай-раг-дар!

— Бай-раг-дар!

— Бай-раг-дар!

И в полдень, по указанию прибывшего из Баку инструктора ЦК, дабы вновь не распалились страсти, Сурхая, поднявшего среди бела дня триколор мусаватского правительства в центре Шуши (то были дни, приходившиеся на дату смерти Сталина), выпустили на волю, и с тех пор Сурхай, Узун Сурхай, по фамилии Мамедов, продавец газетного киоска возле телефонной станции, стал Сурхаем Байрагдаром, точнее, шушинцы окрестили его Байрагдаром Сурхаем, но ему больше нравилось "Сурхай-Байрагдар", он так и подписывался под всеми петициями, письмами протеста, телеграммами в Москву, Политбюро, с требованиями об освобождении арестованных на митингах, о желании Азербайджана выйти из состава СССР; и его сокровенным желанием (пока никому не сообщаемым) было передать эту новую нисбу¹ и сыну вместо фамилии "Мамедов" - Абульфат Сурхай оглу Байрагдар.

Народ в Шуше с самых давних пор привык видеть в киоске "Союзпечати" папашу его, Узун Мети, дядюшку Мети, а когда случилось Мети-дайи захворать и слечь в постель, его сменил Сурхай, учившийся в десятом классе, да так и забросил учебу, просяживая на папашинем месте, и два десятка лет продавал газеты и журналы в том самом благолепном шушинском киоске.

Не подался в Баку, как его ровесники, поступать в вуз. Он и десятого класса не закончил. Сменил отца в киоске, время от времени ходил на уроки, но однажды завуч школьный Малейка-муаллима, проходя мимо киоска, задержала шаг:

— Почему ты не ходишь на занятия, детка? - спросила.

— Я же заменяю отца, - пробормотал он.

— Что ж, папаша тебя в престолонаследники записал, что ли? - взъелась завуч. И не довольствуясь этим, ткнула пальцем в киоск. - Ах-ах! И это твой престол?!

После этого "ах-ах!" Сурхай совсем разохотился ходить в школу; не пошел за наукой, а вот, поди же, мало в Шуше нашлось бы людей, столь же осведомленных в политическом пейзаже (от имени президента Сьерра-Леоне до отчества Суслова), первым человеком, который в разгар перестройки выискал портрет Мамед-Эмина Расулзаде и выставил за стеклом киоска, был опять же Сурхай, и лидера Мусавата, мягко и приветно улыбавшегося сквозь стекло киоска, казалось, оттого, что наконец вернулся на родину после долгой разлуки, многие видели впервые и спрашивали друг у друга, кто это такой.

Сурхай женился, родился сын Абульфат-Абили, и тогда отец не думал — не гадал, что когда-то Абульфат блеснет на футбольном поле и весь Баку станет звать его "Эусебио". Сурхай в те времена знал, кто

¹ Кувшин для туалетных нужд.

² Базар-баши - участок у входа в базар, пятачок.

¹ Нисба - прозвище.

такой Салазар, когда родился, чем дышит, а вот слухом не слышал о существовании на свете некой персоны по имени Эусебио, не знал он и того, что Аллах отпустил "Эусебио", то есть Абульфату, очень короткий век на этой земле...

Со временем тот киоск в центре Шуши, ворох газет-журналов в том киоске и поток политических новостей на тех газетно-журнальных страницах превратились в смысл жизни для Сурхая, - все свидетельствовало об этом, но, по сути, оказалось не так, ибо действительным смыслом жизни Сурхая, превратившим его в Байрагдара, стал трехцветный байраг.

Сурхай сам вывел на свет этот триколор, усадив за швейную машинку Гюльзар-арвад и вися у нее над душой, пока она шивала знамя из шелка - синего, алого, зеленого; полумесяц, звезду собственноручно выверил, начертил на бумаге, вырезал и затем, бдитительно контролируя Гюльзар-арвад, перевоплотил в белую шелковую эмблему; древко сперва сработал из сосновой древесины, полегче чтоб было, потом решил, что легковесное древко не подobaет государственному атрибуту, вытесал из дуба, опять не то, и сработал третье - из крепкой ладной ветви орехового дерева, посаженного некогда покойным отцом - Мети-киши во дворе; сходил в лавку медника Алигусейна у базара, тот смастерил наконецник железный, никелировал; затем привлек к делу тещу - мать Сейяры, слышную мастерицей по рукоделию на всю Шушу, вышитые ею шелковые кисточки привесил к наконецнику; и когда в восемьдесят восьмом году Сурхай Байрагдар предстал митингующим с вознесенным над головой трехцветным стягом, многие, привыкшие круглый год созерцать серпастый-молоткастый флаг советской республики, впервые увидели триколор независимого Азербайджана.

И с тех пор в Шуше не было митинга, где бы не участвовало знамя Сурхая, не было похорон шехида, сраженного армянской пулей, над которым бы не склонилось знамя, которое держал в руках Сурхай...

И безоглядная любовь к этому знамени оттеснила и скомкала в сердце Сурхая все прочие пристрастия - и к "союзпечатьскому" киоску возле АТС, и к газетно-журнальному калейдоскопу, и к потоку политических новостей в этом калейдоскопе, - отныне в сердце его угнездилось трехцветное знамя...

4

Дочь Василия Кузьмича вышла замуж за еврея, и теперь она с мужем жила в США, куда они перекочевали; сын Иван еще в советскую пору отбарабанил армейскую службу в Тамбове, там же женился и обосновался. Жена Кузьмича уже шестой год, как покоилась в земле сырой, а сам Кузьмич больше пяти лет обретался в поселке

Билья, на даче у прокурора Ахмеда Агаевича.

В советские времена Василий Кузьмич трудился слесарем на бакинском ламповом заводе, и благодаря тому, что был человеком работающим, жалованья хватало и на себя, и на содержание семьи. А после того, как Ваня отбыл и остался в тамбовском крае, а дочь уехала в Штаты, житье стало и вовсе малина, - в самом деле, на неделе хотя бы пару раз свежей свининой пробавлялись, и в такие дни, вернувшись с работы домой, Кузьмич садился за стол с Верой Архиповной вкушать отменную поджаренную румяную свинину с картофелем дымящимся или гречкой, или вермишелью, и под нее оба-два поллитровку осушали, правда, жена выпивала сотню-полтораста граммов, остальное пропускал Кузьмич. Потом предавались лирике, прокручивая старые пластинки с частушками, Шульженко или Утесовым на патефоне, купленном еще в пятидесятые годы; или же Кузьмич, у которого чесались руки до дела, брался за свои молотки, кусачки, прочее и принимался что-то мастерить, чинить, ремонтировать. А бывало, на диване могли тряхнуть стариной, вспомнив молодые годы.

Если добавить сюда и то, что Вера Архиповна на зиму засаливала сало, припасала соленые огурчики, капусту квашеную, то тогда, конечно же, житухе Василия Кузьмича в советскую эпоху можно было и позавидовать; теперь первым человеком, завидующим этой жизни, был сам Кузьмич.

Кузьмичу, иногда сживавшему на даче у Ахмеда Агаевича под кряжистым инжировым деревом и дымившему сигаретой без фильтра, не верилось, что некогда ему действительно жилось припеваючи; но в душе у него не возникало особой такой ностальгии, ибо он был человеком умудренным и понимал, что та жизнь прожита, прошлого не вернуть, было и быльем заросло; вот только когда вспоминал Веру Архиповну, царствие ей небесное, зайдет душа, и сигарета одна сменяла другую.

В советские праздники - в Первомай, Девятого мая, Седьмого ноября - Василий Кузьмич облачался в аккуратно выглаженный женой синий костюм, навешивал на грудь ордена и медали, полученные за трудовые успехи за годы работы на ламповом заводе, обувал накануне надрасные до блеска туфли, ходил на демонстрации, затем собирались за столом - либо у него, либо у друзей-приятелей, допоздна пили-гуляли, плясали под гармошку, и теперь те прекрасные дни казались ему сном, и находила печаль на душу, но опять же особой тоски он не испытывал, потому что жизнь была жизнью, и у нее были свои законы.

Дети разъехались кто куда, потом началось "перестроечное" краснобайство двурушника Горбачева (у Кузьмича не было сомнений в том, что его прибрала к рукам разведслужба США), заварилась каша, пошла вакханалия, затем распался Союз, ламповый завод стал, потом умерла Вера Архиповна, и остался Кузьмич один-одинешенек в трех-

комнатной своей квартире куковать-вековать, стал понемногу сбывать свои инструменты - молотки, ключи, клещи, напильники, лобзик, пилу, рубанок... - а потом принялся продавать и домашнюю утварь, одеяла, пофяки... и таким образом, в доме не осталось почти ничегошеньки.

Шофер Ахмеда Агаевича татарин Шовкет, живший с Кузьмичом в одном блоке, предложил ему перебраться на прокурорскую дачу в качестве сторожа и садовника.

Квартиру в третьем бакинском микрорайоне Кузьмичу предоставили на ламповом заводе; сел он на кухне опустевшего жилища с бутылкой водки, пораскинул умом, судил-рядил сам с собой, и наутро черкнул телеграмму Ване, мол, приезжай в Баку. Когда умерла Вера Архиповна, сын так и не удосужился приехать, потому, поразмыслив, для вящей убедительности, Кузьмич дописал: "Продаю квартиру. Жду. Отец".

Через три дня Ваня был в Баку; Кузьмич успел уже продать квартиру, и, принеся девять "кусков" баксов, выложил перед сыном на кухонный стол:

— Бери, сколько хочешь.

Ваня, поперхнувшись, возрился на столешничные купюры - столько денег он видел только в кино, потом, словно не веря своим глазам, не глядя, вытащил из пачки толику и вскинул глаза на отца; погода, протянув невольно затрясшуюся руку, сгрел все деньги и вновь устоялся на отца:

— Может... и тебе нужно?

Василий Кузьмич провел пальцем по усам:

— Нет...

И с тех пор стал обитать на даче у Ахмеда Агаевича.

В тот жаркий июньский день Василий Кузьмич, примостившись под инжировым деревом, вновь, натошак, дымил сигаретой и, затягиваясь табачным дымом, вспомнил ту пачку долларов, то, как у Вани заходил кадык при виде иностранной денги, и ему подумалось, что за те паршинвые бумажки Ваня мог бы и убить его. Подумать-то подумал Кузьмич, верно, но зла на Ваню не держал, потому что жизнь была жизнью, и у нее были свои законы...

Еще раз глубоко затянувшись, он выдохнул едкий дым - изо рта и ноздрей разом - и с дымом выдохнул:

— Аллах ему в помощь... Кузьмич произнес именно "Аллах".

Дело в том, что Василий Кузьмич с некоторых пор обратился в мусульманство, во всяком случае, сам говорил, что он отныне мусульманин.

5

Десять лет тому назад, когда часть шушинских жителей стала селиться в рабочем общежитии, - каждой семье, независимо от

численности, по комнате, - каждый занялся обустройством своего пристанища: кто крепил подгнившую оконную раму, кто заново оштукатурил облезшую стену, кто залатал изодранный линолеум, покрывавший цементный пол, словом, каждый стал приводить в божекий вид свое временное (тогда думали: временное) гнездо, и когда семейство Сурхая, разместилось (вернее, набилось) в комнате на третьем этаже, он где-то раздобыл синюю, красную, зеленую краску и покрасил внешнюю сторону двери под триколор.

Сейара, взирая на малярское усердие Байрагдара, не удержавшись, всплакнула и выдавила сквозь слезы:

— Вот до какой жизни дошла...

6

Сейара, мывшая посуду под краном во дворе общежития, с нескрываемой гордостью говорила вдове Колхоз-киши - Хадиджа-хале:

Абили (то есть Абульфат) даже не ползал на четвереньках... Не успела я опомниться, как, гляжу, уже затопал, вышел на улицу и начал гонять мяч с ребятами в три раза постарше... на улице в футбол играет, а прибежит домой, проголодавшись, карабкается мне на грудь, молочко сосать...

Впоследствии Хадиджа-хала с болью вздыхала, что, мол, несчастного кроху, Абили, сама же Сейара и сглазила...

7

Шоссе из Баку на развилке сворачивало к поселку Бузовны (а дальше - к Загульбе, Бильгя, на взморье), прямая ветвь вела в Шаганы, Мардакяны, Шувеланы, Северную ГРЭС - эту развилку называли Бузовнинским кругом.

Танрыверди по прозвищу Кяманча, сойдя с автобуса, стал в тени мушмулы и возрился на Байрагдара, который с охапкой газет и журналов, в поте лица, под немилосердно пекущим солнцем подбегал к проезжавшим машинам.

Он так прижимал к себе эту газетно-журнальную охапку, будто держал не бумаги, привядшие под пеклом, впитавшие дорожную пыль, взвизывающую из-под шин проезжавших машин, а букет свеженьких цветов.

Худошавый Сурхай, загоревший дочерна под абшеронским солнцем, временами, остановившись и одышливо, по-собачьи пыхтя, переводил дух, и Кяманча Танрыверди, глядя на этого долгового человека, по-мальчишески подбегавшего к машине, вспоминал

Байрагдара, стоявшего на митингах в Шуше с колышающимся знаменем, шествовавшего впереди манифестаций с гордо поднятой головой, как подобает знаменосцу: грудь колесом, поступь чеканная, - и Танрыверди никак не мог смириться с этой метаморфозой гордого знаменосца в заурядного продавца газет на Бузовнинском кругу, ему было больно не только за Сурхая, но и за себя, как очевидца всех пережитых событий, и в душе он ругал бранный мир самой последней уличной непотребной бранью.

Эта унижительная участь Байрагдара, по сути, была сродни участи Танрыверди, и ругая мир уличными словами, он давал выход накопившей горечи не только за Сурхая, но и за себя самого, за всех людей, которых позапихнули в бузовнинское рабочее общежитие.

Танрыверди-муаллим по прозвищу Кяманча Танрыверди, потомственный музыкант-кяманчист, преподавал в шушинской мушколе класс игры на кяманче. В летние месяцы он услаждал слух любителей музыки во дворе местного Дома отдыха, исполняя популярные мелодии народов мира; были такие поклонники его искусства в Карабахских краях, - в Физули, Барде, Агдаме, что могли прямо с торжественных застолий махнуть в Шушу, вспомнив о виртуозе, чтобы послушать чарующую игру Танрыверди-муаллима и, как водится, щедро вознаградить его.

Порой, когда жара на Абшероне достигала сорокаградусного пика или налегали неистовые ветры, готовые снести, в частности, крышу рабочего общежития в Бузовнях (где приютился и Танрыверди с семьей), Танрыверди начинали чудиться мелодии, которые он играл прохладными вечерами в шушинском Доме отдыха, и ему казалось тогда, что эти мелодии играл не он сам, а они исходили от шушинских гор, родников, от горного приволья, цветов, разнотравья, многоцветных бабочек; потому теперь кяманча незабвенного устада Мешади Музаффара Ага уже не могла исторгать те дивные звуки. Эту кяманчу - память об устате-деде, только и успел прихватить с собой Танрыверди, когда начался исход; теперь он подрабатывал игрой на кяманче в абшеронских шашлычных. Танрыверди-муаллим теперь был всего лишь Танрыверди-Кяманчей, "муаллим" ушел в далекое прошлое.

Уже минут десять как он наблюдал за мечущимся от машины к машине земляком, и за все это время никто не купил у того ни одной газеты. В очередной раз, когда пыхтящий и взмыленный Байрагдар пробегал мимо, он наконец-таки заметил Танрыверди и, тяжело дыша, подошел.

— А-а, братец! Как ты?

Кяманча-Танрыверди выдержал паузу и вдруг - он и сам не понял, отчего, - ему захотелось то ли подначить Байрагдара, то ли выплеснуть свою боль:

— Говоришь, значит, это твое зная... вернется в Шушу? - в тоне,

которым были произнесены эти слова, сквозила ирония.

Сурхай поперхнулся от угара, газа, которым надыхался с утра, закашлялся, отчего вздулись жилы на тощей шее, и еще эта вздутость не сошла, как он совершенно серьезно и торжественно-категорически, не оставляя места для сомнений, прохрипел:

— Конечно!

Это "конечно!" никак не вязалось с хрипотцой и пыхтеньем, но тем не менее убежденность его тона отбила у Танрыверди всякую охоту (не от хорошей жизни) поизгаляться.

Дело в том, что когда началась паника, и люди покидали Шушу - восьмого мая девяносто второго года, - Сурхай, в одной руке несший триколор, а другой прижимавший к груди маленького Абили, при всем ужасе повального бегства, вдруг обернулся, окинув взором древние стены крепости, и будто по внушению слыше, крикнул что было сил:

— Вот этот вот байраг, что реял над Шушой... вновь вернется в Шушу! Конечно, эти слова были далеким эхом пророческих и гордых слов Мамед Эмина Расулзаде: "Стяг, однажды взнесенный, вовек не падет!" Но в те страшные минуты неожиданно для самого Байрагдара вырвавшиеся слова произвели впечатление гласа Божьего. И Байрагдар еще крепче стиснул древко знамени, еще нежнее прижал к груди кроху сынишку, и шаги его стали тверже, будто прибавилось сил, и эта твердая поступь, казалось, не удаляла его от Шуши, а уже сейчас предвещала и начинала возвращение в Шушу...

...Впоследствии те прощально выкрикнутые слова Байрагдара стали переходить из уст в уста среди шушинцев. Они звучали и на свадьбах, и на поминках, но понемногу стали забываться, удаляться, как и гордые горы Шуши...

8

Получилось так, что при расселении беженцев в рабочем общежитии Малейка-муаллима оказалась по соседству с семьей Сурхая - через стенку, и пожилая учительница, потерявшая и школу, и учащихся, перебивавшаяся пособием и гуманитарной помощью, конечно, забыла о том, как когда-то, задержав шаг у газетно-журнального киоска, бросила Сурхаю обидные слова: "Ах-ах! Это ли твой престол?!" - и однажды рано утром, выходя из своего жилища (комнатушки), он застал Малейка-муаллиму с полузаполненной бутылкой хлорки в руке напротив своей двери - созерцающей совершенно поблекшую трехцветную "геральдику" на створке. Ему показалось, что Малейка-муаллима хочет что-то попросить, но не решается.

— Доброе утро, муаллима. Вам чего-нибудь нужно?

— Какая будка была у тебя красивая, Сурхай... - неожиданно вздохнула она. — Я про газетную... какая... нарядная...

В обоих концах коридора на каждом этаже располагался общий туалет, и хлоркой пользовались все время, чтоб заглушить вонь и дезинфицировать заразу.

Малейка-муаллима, обронив эту печальную реплику, поплелась с бутылкой хлорки в конец коридора.

И в тот день с утра до поздней ночи Сурхая грызла и точила душу мрачная дума: уцелела ли та "будка"? Не уселся ли в ней армянин, продающий свои газеты? Подумалось ему такое, но воображению виделся пустой киоск с выбитыми стеклами, со скрипящей и болтающейся дверью. И улица кругом пустым-пуста, и ни звука на ней, кроме поскрипывания двери киоска... и вдруг на мостовой показались бредущие по одиночке тощие ослы, у которых проступали ребра. Но и их не было слышно: ни стука копыт, ни пофыркивания, ни одиночного истожного рева какого-нибудь из длинноухих.

Когда Хрушев обложил увесистым налогом домашних животных, включая ослов (размеры налога превосходили, пожалуй, и стоимость, и прок от них), шущинцы, содержавшие ослов, будучи не в состоянии платить налоги еще и за них, отпустили их на все четыре стороны, и бесхозные ишаки разбрелись по окрестностям и одичали. Сурхай смекнул, что эти отошавшие и совершенно неслышные ишаки, бредущие по пустынной улице мимо киоска, - изгой хрущевских времен, но вот с какой стати они припомнились Сурхаю (на самом деле те "хрущевские" ишаки давно откинули копыта), и почему целый день они мерещились ему, проходя мимо сиротливого пустого киоска по пустынной улице?..

Второй ли, третьей ли смертью в общежитии с шущинскими беженцами оказалась кончина бедной Малейка-муаллимы, и в ту пору ее овдовевший муж Кязим - Железный Кязим! - кого ни повстречает, с кем ни сойдется - не мог сдержать слез и плакал навзрыд, как ребенок.

Демир Кязим - Железный Кязим вел физкультуру в той же шущинской школе, и впрямь выделялся крепким железным здоровьем, в отличие от физрука школы-интерната Салмана, по сравнению с ним, хилого и шуплого существа. Салман после вселения в общежитие долгое время не мог найти работу, потому устроился охранником в больницу, но был оттуда уволен за то, что по ночам воровал спирт и продавал, и теперь в нем ничего не оставалось от бывшего физрука. А Демир-Кязим сумел сохранить форму, ежеутренне делал зарядку, совершал пробежки по двору, от ранней весны до поздней осени ездил на пляж купаться; и когда умерла Малейка-муаллима, все сочувственно заговорили, мол, если и что-то свалит Железного Кязима, то только это горе; детей у них не было, как не было никого на белом свете, кроме самих; Железный Кязим не умер, только ушел в себя, стал молчаливым и замкнутым, уже и зарядку не делал, пробежки прекра-

тил и на море ездить перестал; сдал, исхудал, ослаб, и со здоровьем заодно ушло и прозвище железное, но вот все же не умер; Кязим мало показывался в общежитии у себя и вообще в округе; он стал пасти чужую баранту. Жители пятиэтажной "хрущобы", располагавшейся за общежитием, державшие овец, вверили их ему, и чуть свет Кязим гнал сборную отару между дачами по песчаным тропам через бильяхское взморье и доходил до Нардарана, а овцы попутно шипали пыльную траву под дачными заборами, чахлый бурьян на дюнах, в летнюю пору им доставались в поживу арбузные и дынные корки на пляжах, куски зачерствевшего хлеба.

Кязим говорил:

— Здешние овцы как дворняги - копаются в пляжном мусоре, вынюхивают поживу в целлофановых пакетах...

9

Мать Джуму (Золотозубого Джумшуда) Гюллю-арвад поступалась в поблекшую трехцветную дверь Сурхая и в приоткрывшуюся ее скрипом дверь сказала Гюльзар-арвад:

— Спускайся, милая, гуманитарку привезли.

В последнее время до Гюльзар-арвад, похоже, туго доходили слова, и она переспросила: -А? Это "а?" рассердило Гюллю, и она повторила громче:

— Гуманитарную помощь, говорю, привезли!

Гюльзар-арвад неожиданно вспыхнула:

— Провались они со своей гуманитарной помощью! Пусть мне вернут мою Шушу!

Гюллю-арвад опешила. Потом отозвалась не без ехидства:

— Жди! Они тебе Шушу положат в торбу и преподнесут! - И, повернувшись, устремилась к лестнице.

Спроси у них десять лет тому назад, что такое "гуманитарная", они бы пожали плечами, но теперь это слово так пристало к языку, будто его слышали с пеленок, ну, как "ата" и "ана"¹.

Гюльзар-арвад в сердцах захлопнула дверь, заскрипевшую еще громче, подошла к раскрытому окну, завешенному марлей против комаров, а марлю, сколько ни стирай, все равно абшеронский ветер в два счета набьет пылью и доведет до убогой серости, - глянула во двор, а там та же серятина.

Джуму с утра смотался на своей тарахтелке, Джамиля в школе, в этом году переходила в десятый, Сейара ушла на базар за зеленью (днем ее продают по дешевке), - словом, Гюльзар-арвад была одна в комнате, и вдруг губы ее скривила усмешка:

¹ Ата - отец, ана - мать.

— Ну-ну, беги, сукина дочь, беги за гуманитарной своей подачкой! Отошла от окна, челюсти дрожат, подхватила торбу, валяющуюся в углу, возле книжек и тетрадей внучки, рванула дверь, кляня себя:

— Иди, иди, поошивайся там, как собака, хватай свою вермишель...

Дверь, скрежеща, закрылась сама.

10

Дачу Ахмеда Агаевича можно было считать одной из заметных на Абшероне, правда, дачный особняк не имел той помпезности, которой отличаются абшеронские виллы, возводимые в последние годы, но был капитальным двухэтажным зданием (ванная на каждом этаже, восемь комнат, кухня, сауна); поодаль - однокомнатная сторожка, где и обитал Василий Кузьмич.

Кузьмич прилепил к стенке сторожки когда-то вырезанный из журнала цветной портрет Сталина в форме генералиссимуса; он был решительного мнения, что Сталин - настоящий вождь и настоящий мужик (а Горбачев - Иуда). Юность Кузьмича совпала со сталинской эпохой, и он доньше сохранил в душе пietet перед вождем.

Василий Кузьмич прикипел сердцем к даче, вернее, к дачной природе - инжиру, тутовым, персиковым, кизиловым, грушевым деревьям, виноградной лозе, мушмуле... словом, вся эта благодать со временем для него стала живым родным существом, каждое дерево, ветка, лоза... Он знал каждое дерево чуть ли не до количества ветвей, и, главное, ему казалось, что и деревья узнают его, даже томятся без него, и такое ощущение этой воображаемой ответной приязни трогало его до слез, особенно после пропущенной стопки другой; шмыгал носом, давась слезой, закуривал, добрел.

Порой, обходя дачные кущи, произвольно остановится возле какого-нибудь плодоносного приятеля, погладит по стволу:

— Ну, как живется-можется?

И почти физически ощущал, что дереву приятно его участливое внимание.

Насчет пропитания он был непритязателен, мог бы обойтись буханкой хлеба, ну и, для сугреву, бутылкой водки, и больше ничего, и ладненько, нам пироги и пышки не нужны - жизнь есть жизнь, и у нее свои законы. Денег, что ему платил Ахмед Агаевич, было не густо, маловато, но Кузьмич ни разу не заикался об этом, и дело было в том, что Кузьмич ухаживал за садом не ради прокурорских денег, а из любви к этим деревьям, от чистого сердца, -окапывал, поливал, подрезал ветви, белил известью стволы, опрыскивал ко времени химикатом, унавоживал почву у комлей и все такое... Как пекся о Вере Архиповне, когда она занедужила и слегла, так и истово обхаживал

деревья на даче Ахмеда Агаевича, с той разницей, что роковая болезнь Веры печалила сердце его, а теперь вот, напротив, уход за садом доставлял душевную отраду.

Еще одним существом, с которым он общался кроме садовых деревьев, было уже не дерево, а человек - садовник Аламдар, присматривавший за дачей напротив; Аламдар, бывало, конспиративно, из-за опаски перед женой, навещался к Кузьмичу в сторожку и собутыльничал с ним. Аламдар с семьей был беженцем из Армении и обитал вместе с женой и четырьмя детьми в сарайчике на соседней даче; оплата за труд не позволяла ему баловаться водкой. А если и выпадала возможность, жена была начеку и выгоняла его в очередной раз из сарайчика.

Как-то вечером Аламдар вновь тайком от жены пробрался к Василию Кузьмичу и, усевшись под айвовым деревом на двух покрытых лаком колодах, привезенных Ахмедом Агаевичем из Ленкорани, они разлили по стаканам купленную Кузьмичом в полдень, початую бутылку.

— На закуску ничево нету? - спросил Аламдар.

— Нет, - ответил Кузьмич. - Запить есть - вода колодезная.

— Это не гадится... - пробормотал Аламдар, осушил стакан, запил из кувшина колодезной водой.

Той же водой прополоскал и рот: порой жена, заподозрив его, принохивалась. Выплюнул воду.

— Завтра, сказал он, - поведу тебя в гости в интересное место...

Под мухой Аламдар мог наговорить всякое, но наутро все забывал, а тут в самом деле на другой день окликнул Кузьмича:

— Адевайся, пайдем!

— Куда пайдем? - подлаживаясь под его произношение, отозвался сосед.

— Э, вчера не сказал тебе? Гогаг возьму тебя. Адевайся.

Кузьмич не стал больше допытываться, вошел в сторожку, снял с гвоздя свой единственный, с советских времен, нарядный костюм (о шкафе, гардеробе не могло идти и речи), одел, впервые за свою "дачную" жизнь, и с непривычки ему костюм показался скафандром; когда он вышел, Аламдар вылупил глаза, глядя на ордена-медали у Кузьмича на груди.

— Это все - твой?

— А как же... - с гордостью отозвался орденоносец.

— Нет. Это все надо снимать.

У Кузьмича в душе всколыхнулась волна протеста, но он подавил эту волну, не стоило артачиться, мир переменялся, и жизнь была жизнью, и у нее были свои законы.

Впервые с того дня четвертьвековой давности, как Кузьмич надел этот костюм и нацепил на него заслуженные награды, - он снял их.

- Так харашо, - сказал Аламдар. — Пошли.
- Куда пошли?
- В Маштага! Эхсан¹ там.
- Чего-чего?
- Эхсан! Не знаешь, что такое эхсан?
- Н-нет.

И Аламдар растолковал Кузьмичу, что такое эхсан, и с того дня эхсан стал одной из светлых страниц в жизни Василия Кузьмича.

Дело в том, что Аламдар в последние три года повадился ходить на поминальные обеды, независимо от причастности к родственникам умершего, в большинстве случаев, к незнакомым людям, - сперва узнавал об этом из разговоров, в чайхане ли, на базаре ли, в мечети ли, выяснял адрес и отправлялся туда - не только в Бильгя, но и в окрестные села, входил, садился чинно-благородно, и вкушал поминальный обед, обычно плов, и возносил молитвы Аллаху за упокой души незнакомого усопшего человека. Разумеется, хозяева не знали Аламдара, но это не имело значения, полагали, что Аламдар был знакомцем покойного или какого-нибудь его родственника; к тому же, эхсан у мусульман считался делом благим, и никто не был вправе прогнать Аламдара с поминального застолья, дескать, кто ты такой и откуда взялся.

Кузьмич, вместе с Аламдаром отправившийся в Маштаги, впервые в жизни вкушивший настоящий плов, халву, шербет с шафраном и пришедший от всех этих халывных даров в благодное состояние, впоследствии некоторое время посещал разведенные Аламдаром траурные меджлисы и вкушал эхсан. Бывало порой, участники меджлиса с удивлением и любопытством взирали на Василия Кузьмича; и однажды Аламдар сказал ему:

— Знаешь что? Ты - атдельно, я - атдельно. А то, вместе, потом плохо будет!

И Василий Кузьмич впредь ходил на поминальные обеды в одиночку, бывало, по два, по три, а то и пять раз в неделю. Об одном только жалел, что вот на этих эхсаных столах не подают водку. Именно в те поры началось причащение Кузьмича к мусульманству; правда, в мечеть не ходил, к моллам не обращался; просто однажды ночью, примостившись на лакированном пенечке под тутовым деревом, дымя сигаретой и думая думу свою, он пришел к мысли, что поступает неправильно, и дело это не угодное Аллаху, - будучи православным, ходить на траурные обряды мусульман, и с той самой ночи он решил сам для себя, что стал мусульманином.

Но Аламдар корил:

— Какой же ты мусульманин, если водку пьешь?

¹ Эхсан (здесь) - поминальный обед.

А Кузьмич не спрашивал его, почему ты, мусульманин, пьешь, это была жизнь, у которой, как известно, свои законы. Потому он ответил:

— Когда я стал мусульманином, сделал оговорку, - единственную - это не касается водки.

- Ладно. А суннет¹ тебе сделали?
- Суннет сделай-не сделай, а инструмент тот уже вышел из строя.
- Тогда какой же ты мусульманин?
- Какой есть. Сказал, что мусульманин, и точка. Я уже не тот Василий Кузьмич, что раньше.

— Ну, тогда хоть имя смени... - не унимался Аламдар. - Какой же мусульманин из Василия да еще Кузьмича!

— Аллах урекдеди², а не в имени. Я - Василий Кузьмич, и все!

11

Был в верхней части Шуши, на крутогорье от махаллы Агадедели, четырехэтажный особняк, числившийся за литературной братией, - шушинцы называли его Домом писателей, - и с началом лета из Баку сюда с семьями наезжали писатели, и отдыхали, и, как говорится, творили.

Долгие годы и комендантом, и охранником этого здания был армянин Арсен Аллахвердан; жил он здесь же на первом этаже, кормился и содержал семью за счет зарплаты от писательского союза Азербайджана и выручки за картошку, выращиваемую тут же, на участке двора Дома писателей.

Амбал Аскер из именитого бекского рода, дошедший до жизни такой в этом бренном мире после установления советской власти, как-то, перетавив очередной груз, переводя дух у Базар-баши, спросил у Арсена, продававшего замороженную картошку:

— Слушай, Арсен, как так получается, разве "Аллахвердян" - армянская фамилия? И "Аллах" - наш, и "верди"³ - наше слово.

— Ара, Аскер-бек, - отозвался Арсен, - почему бы и нет? Аллах - один на всех аллах.

Жена Арсена Ева была русская, и, по слухам, старший его сын Вова на самом деле был произведен на свет русским отцом, неизвестно каким; она с Вовой и пришла к Арсену в дом; и действительно, в облике Вовы не было ничего армянского, чистокровный русский блондин, славянин, а вот второй сын Арсена, Аркадий был настоящий армянин. Будто чихнул Арсен - и вывалился у него из носа второй Арсен.

¹ Суннет - обрезание.

² Ürəkədə - в сердце.

³ Verdi (азерб.) - дал.

И - бывают же удивительные дела на свете! - в тот день, когда Малейка-муаллима с бутылкой хлорки в руке шла по коридору бузовнинского рабочего общежития и, задержав шаг у трехцветной двери Сурхай, вдруг вспомнила газетный киоск в Шуше, так вот, вечером того же дня Арсен Аллахвердян возвращался по темной (в Шуше не было электричества) улице домой. Улица обезлюдела как, по сути, сама Шуша, правда, здесь проживали армяне из разных краев, обосновавшиеся в покинутых домах беженцев-азербайджанцев, но Арсен не знал их, знал только шушинских армян, но многие из них разбегались по белу свету: кто валандался в Ереване, кто обретался в Москве и других российских краях, а кто имел хватку, возможности, родню "за бугром", подались в Европу, в Америку.

Арсен шел с опаской, потому что сюда повадились армяне из Армении, в особенности, из Гориса, - разбирали и увозили камни из тротуаров, вытаскивали фонарные столбы, вырезали провода, таскали трубы, словом, что попадется; часть этого добра продавали в Иране, часть шла на собственные нужды; короче говоря, в тот кромешный вечер Арсен задержал шаг у того самого "союзпечатьского" киоска.

Сам он был не охотник читать газеты, но в летнюю пору, когда наезжали писатели из Баку в Дом творчества, они ежедневно давали ему деньги с просьбой закупить свежих газет, и Арсен, спустившись с крутогорья, приходил к Сурхаю исполнять просьбу.

Почему Арсен остановился у киоска, от которого оставался только железный заржавевший скелет, почему ему вспомнился именно Сурхай (сколько ведь людей осталось на памяти!) - он и сам не знал, и глядя на железный остов киоска, проговорил про себя по-азербайджански:

— Ара, Сурхай, хардасан инди? Ара, сахсан хеч олмаса?..¹

Осторожно ступая, чтоб не угодить в колдобину или яму, Арсен двинулся дальше своей дорогой, и прежде чем истаять по тьме, еще раз остановился и выругался по-азербайджански:

— Кёпайоглу, Вова!..²

Вова в Шуше не было, он жил в Ереване и сделался большим человеком, первым замом министра МВД. Учили, наверно, рвение: когда Вова с пеной у рта толкал пламенные речи с требованием пристегнуть Карабах к Армении, ему не было удержу.

12

Поначалу, на первых порах общежитейского "новоселья", когда Абили, еще дошкольник, бегал во двор гонять мяч с ребятней, все диву давались

¹ Где ты теперь, Сурхай? Хоть жив ли ты?

² Сукин сын. Вова!

ловкости и верткости этого кудрявого, смуглого голубоглазого чертенка; со временем молва об игре этого футбольного вундеркинда пошла по всей бузовнинской округе. Бузовнинская молодежь, вообще болельщики собирались во дворе общежития, чтобы полюбоваться его игрой.

Двор общежития одним краем упирался в забор международного пансионата "Гянджлик", и отдыхавшие там иностранцы иногда наведывались сюда на дворовые баталии с участием Абульфата-Абили, и прочили, что этот мальчик, повзрослев, будет нарасхват в западных футбольных клубах, за него будут давать бешеные деньги, и он сам станет, глядишь, миллионером; и когда разговоры насчет миллионерства дошли до Сейары, она так возгордилась, будто к ним уже сейчас, в бузовнинском общежитии, привалили миллионы, и в разгар этих пророчеств футетчик Ибадулла, лицезревший игру шушинского карапуза, назвал его "Эусебио", и с тех пор пошла гулять молва об "Эусебио" из беженской семьи, добежала до Баку, и повезли Абульфата в столицу учиться в школе-интернате с футбольным уклоном; прошло немного времени, и его включили в сборную юниоров Азербайджана.

У Абульфата были выющиеся черные блестящие, как воронье крыло, волосы, и Абшеронское солнце, как бы желая поддержать прозвище, данное чернявому мальчугану, подчеркнуло его и без того смуглую кожу (а глаза-то голубые), и игра Абульфата, действительно, казалась чудодейством: какой бы ни шел мяч, он как бы узнавал ноги Абульфата, как дитя мать родную, прилепится - не оторвешь, а Абульфат вытворял с мячом любые фортели, и задавал жару соперничающей стороне.

Гюлло-арвад, стиравшая белье во дворе общежития, говорила Сейаре:

— Ну тебе-то что... твой Абили ("Эусебио" она не могла выговорить), Аллах даст, миллионером станет... А вот нам-то мыкать горе... И похоронят нас на кладбище, кишасем змеями...

Сейара, конечно, испытывала чувство гордости за сына, но к этому чувству всегда примешивалась неотвязная печаль...

— Не говори так, Гюлло-хала... - вздыхала она. - Аллах нам в помощь, вернемся в свои края и умрем на земле предков своих и упокоимся рядом с отцами и матерями...

— Да ну? - отвечала Гюлло-хала и умолкала.

Не могла заставить себя поверить, что когда-нибудь они вернуться в Шушу.

13

Митинги в Шуше, многолюдные митинги, куда стекались и жители окрестных селений - Малбейли, Зарыслы, и то, что Байрагдар, стоявший в первых рядах, взметал над собой трехцветное знамя, и то, что

это знамя становилось источником утешения и надежды для митингующих людей, потрясенных, негодующих, растревоженных, - все это осталось в прошлом, и Байрагдару это прошлое казалось очень-очень далеким, старым, древним прошлым, и ему самому представлялось странным, что человек, поднимавший знамя в том недостижимом прошлом, - он сам, Сурхай.

Уже сколько лет кряду это знамя развевалось в День Республики у окна комнаты на пятом этаже рабочего общежития в Бузовнах, да еще в день, когда турецкая сборная на чемпионате мира по футболу вышла на третье место, и еще когда, ведомые "Звездами Турции", реактивные истребители выписывали фигуры высшего пилотажа в абшеронском небе, еще - когда Намик Абдуллаев вззошел на пьедестал олимпийского чемпионата в Сиднее и прозвучал гимн Азербайджана и взмыл флаг нашей республики, - в этих знаменательных случаях Сурхай уже выбегал с триколором во двор общежития, и в окружении молодежи, ребяташек ликующе раскачивал его над головой.

Бывали и скорбные поводы - когда хоронили шехидов, павших на прифронтовой полосе от армянской пули или подорвавшихся на mine, в Баку или абшеронских селениях (это были парни, ушедшие на службу из этих мест), - Байрагдар в такие дни оставлял газетно-торговые дела и считал своим долгом отправиться на похороны шехидов и склонить трехцветное знамя над ними, как было в Шуше.

14

Приезды Абульфата из Баку и участие в футбольных баталиях не только с детьми беженцев, но и подростками из окрестных сел становились событием в жизни всех обитателей общежития, праздником на пару-другую часов, и серый двор, пребывавший в тягучей монотонной дреме, в трясине гнетущих забот, нужды, безверия, наполнялся теплом, движением, азартом настоящей жизни.

— Эусебио приехал!

— Эусебио играет!

Все, стар и млад, бузовницы и дачники, интуристы из "Гянджлика", торговцы и покупатели с ближнего базара - все, кому охота, устремлялись во двор, обступали площадку толпой и глазели на игру местной легенды.

Джуму, с утра наведавшийся на своей тарахтелке к буфетчику Ибадулле и принявший на грудь положенные сто пятьдесят-двести (и запиивший компотом), а затем во дворе общежития наблюдающий сольный дриблинг и финты Абульфата, ахал-охал:

— Слушай, клянись, играй он в Шуше - быть бы ему сейчас чемпионом эСэСэСэР!

Будто СССР и не приказал долго жить. Обычно Джуму после

"заправки" у Ибадуллы катил, как известно, в Маштаги на своем драндулете за кормами - травой, черствым хлебом, ячменем, грузил в прицеп и сбывал в Нардаране, Бильгя, Загульбе - тем, кто держал скотину и кур, стараясь "наварить" побольше, но стоило ему услышать про предстоящую игру прибывшего Эусебио, тут уж не до заготовки и сбыта кормов, - тарахтелка напрямик от буфета катила обратно, во двор общежития.

Конечно, Джуму было невдомек (как и всем на свете, кроме самого Абульфата-Эусебио и Джамили), что футбольный талант приезжает из Баку сюда на дворовое ристалище только ради Дульцинеи, украдкой поглядывающей вниз из окна на пятом этаже, - ради дочери Джуму Джамили...

Бразилец Карлос Альберто Торрес - новый главный тренер взрослой сборной республики, наблюдавший за игрой Абульфата в команде юниоров, считал дни, когда Абульфату исполнится хотя бы семнадцать лет, чтобы взять его в сборную.

Господин Торрес говорил по-португальски, и переводчик с удовольствием переводил его слова журналистам:

— Этот парень станет королем футбола...

— А Пеле? Разве король - не Пеле? - спрашивали у бразильского мэтра.

— Нет, - Торрес не ронял имидж своего соотечественника и друга. - Пеле не король, а Бог футбола... - и улыбался, как бы смущаясь за свой откровенный патриотизм. Потом протягивал длинный темнокожий перст в сторону игрового или тренировавшегося на площадке Абульфата. — Он станет очень большим маэстро! Запомните! Это говорит вам Карлос Альберто Торрес!

Абульфат давно уже перестал быть дворовым бомбардиром. Он уже защищал спортивную честь республики на зарубежной арене, в составе сборной юниоров забил по одному мячу в Пакистане и Эстонии, а в Венгрии дважды заставлял соперников начинать с центра поля, так что, последний год во двор бузовнинского общежития его влекла только лирическая причина: Джамили, и узнай тренеры, что их подопечный гоняет мяч в бузовнинском дворе, на плешивом асфальте, изрытом колдобинами, то, конечно же, запретили бы ему эти вылазки, мало ли что, может повредить ногу, травмировать, слопотать, чего доброго, перелом; тренеры полагали, что их юниор отлучается просто чтобы проведать родных.

Давно, год тому назад - тоже в конце мая, в канун праздника¹, когда Байрагдар вновь водрузил трехцветное знамя перед окном на пятом этаже, - и когда Абульфат, попрощавшись со своими, вышел в коридор общежития и направился к лестнице, на лестничном марше его

¹ 28 мая - День независимости Азербайджана.

перехватила Джамиля (поджидала что ли?) и, поспешно передав конверт, бегом взбежала наверх.

Абульфат там же, на лестнице, (в нос бил едкий запах хлорки), распечатал конверт, пробежал глазами сбивчивые слова: "Свет очей моих Абульфат!.. Пишу тебе письмо... но не могу всего написать, такое творится в душе... Абульфат! Как подумаю, что вот, мы все вернемся в Шушу, а ты будешь играть в футбол в чужих странах и не вернешься в Шушу... тогда, поверь, я чуть с ума не схожу... Потому что, иншаллах, мы все вернемся, а тебя я не смогу увидеть. Ну, ничего... пусть весь мир заговорит о тебе... Абульфат!.. Абульфат!.. Абульфат!.. Я этого хочу, Абульфат, ты слышишь, хочу! Может, и вправду я схожу с ума? По ночам не сплю, ночи наполнет шепчу твоё имя... Когда ты играешь в футбол у нас во дворе, все становится таким праздничным... кажется, весь мир улыбается... Не сердись на меня, перейму печали твои. И, ради Аллаха, пусть никто не знает, что я тебе письмо написала.

Джамиля"

Все письмо написано синими чернилами, а имя "Абульфат" - красным карандашом. Глядя на письмо, на этих красноцветных "Абульфатов", адресат не знал, как быть, порвать ли письмо, спрятать ли, - но было в этих краснописанных "Абульфатах" и еще - в "хочу, чтоб весь мир заговорил о тебе" нечто такое, что вдруг нахлынуло воспоминаниями, перенесло его в далекую Шушу, в детство, когда он гонял мяч с шушинскими малышами.

Шуша ему помнилась смутно, туманно, Шуша была для него, по сути, чем-то таким... таящимся в душе, невыразимым, незримым, но незаменимым, родным, живым... Чем была мать, Сейара, в сердце, в душе Абульфата, тем же, изначально дорогим, была Шуша... с той разницей, что при воспоминании матери сразу в глазах возникло родное мамино лицо, но образ Шуши, облик, картину - не мог представить, потому что, когда покидали Шушу, Сурхай нес его на руках, и ему было четыре годика; и позже при запоминании "Шуши" ему виделся мячик, черный резиновый мячик, то, как он день-деньской гонял его с ребятишками у ворот, напротив каменной стены городской бани - вот все, что зацепилось и запечатлелось в памяти. И еще запомнился большой футбольный мяч, которым играли в конце улицы, в школьном дворе, ребята постарше из "махаллы", играли с опаской, а вдруг узнает завуч Малейка-муаллима и разгонит их; и в те поры для Абульфата было захватывающим зрелищем наблюдать, как велосипедным насосом Ирана накачивали натуго большой футбольный мяч.

Или же, бывало, большие ребята из их махаллы сражались в футбол с мальчиками из других кварталов на лужайке за Домом писателей, и Абульфат вместе с соседской малышней глазел на игру больших, усердно болели за свою команду, особенно за вратаря Ирана, птицей

взлетавшего и хватавшего мячи на лету; столько лет прошло, двенадцать уже, считай, Абульфат посмотрелся на классные матчи по телеку, и чемпионаты мира, и европейские (а после наслушался их тренерских разборов перед видяшником), но такого футбола, как на шушинской лужайке, не выдавал и такого упительного восторга не испытывал; и он знал, что до конца жизни это впечатление останется несравненным ни с таким другим, будь то созерцание игры "Милана" или "Галатасарая"... нет разницы, тот дворовой футбол в Шуше останетса недостижимым.

Иран, как сказано, был вратарем команды махаллы, жил в смежном дворе, через забор, его вратарство было легендой среди мальчишек: кто откуда, с какой точки ни нанес удар - сиганет птицей и хват! Потому и прозвали его "гыргы" - "Коршун". Когда армяне брали Шушу, и началось бегство, Ирана убило пулей, и его тело так и осталось лежать в скалах под урочищем "Эримгяльди", и позднее ребята говорили, будто коршуны выклевали ему глаза.

А глаза у Ирана были лучистые и зеленые, и, оказывается, Абульфат крепко запомнил эти светящиеся зеленые глаза, и когда он застыл на лестнице общежития с письмом Джамили в руке, зеленое наваждение выкатившихся, выклеванных коршуном Ирановых очей будто смешалось с расплывшимися красными пятнами имени "Абульфат", покрывая страничку ученической тетрадки мутной пленой...

Он сложил письмо и спрятал в карман брюк.

Действительно, было странно, что это письмо, эти красные "Абульфаты", старательно выведенные карандашом, вдруг выудили из туманной памяти детства зеленые лучистые глаза Ирана.

Отчего? В какой связи?

То была неизъяснимая тайна.

Ночью, уже в Баку, на тренировочной базе, он долго ворочался в постели, сон не шел в глаза, ну никак, наконец он поднялся и, повинувся безотчетному побуждению, вынул письмо из кармана брюк и уж не помнит, как вышел из коттеджа, присел на деревянном крыльчке и при тусклом свете лампочки над дверью развернул и перечитал эту неожиданную сбивчивую исповедь.

До этого письма Джамиля - усни он - и во сне не приснилась бы ему. Он знал, что эта девушка, дочь Джуму, как и все шушинцы, жившие в общежитии, - беженка. И она была для него только таковой: но потом, под тусклым светом лампочки, при перечитывании письма, он начал догадываться, что, видно, при каждом приезде его в Бузовны эта девчонка не сводила с него глаз, когда он входил-выходил, когда играл в футбол, может, даже по скрипу трехцветной их двери на третьем этаже усекла, что он вот-вот выйдет...

Уже в третий раз его взгляд пробежал по тетрадному листку.

До того дня Абульфату никто из девушек не писали никаких писем, и вообще, он и близко не знался ни с какой девушкой. Когда они тренировались на площадке базы, сюда собирались болельщики, спортивные комментаторы, случайные зеваки, случалось, среди зрителей были и русские девушки с Баилово. Они приходили не столько смотреть на футбольные тонкости, сколько "кадриться", и футболисты, случалось, заводили с ними нелегальные связи, но Абульфат сторонился их, не из-за плохого знания русского языка, и не потому, что тренеры строго-настрого запретили гулять с этими нахальными девчонками, а потому, что Абульфат никак не мог чувствовать себя с теми девчонками так же свободно и раскрепощенно, как в обращении с мячом, и в их обществе ему казалось, вроде он "мазила", над которым смеются.

Но письмо, которое он держал в руках при тусклом свете лампочки, вдруг превратилось в нечто, придавшее ему уверенность и силу, так же, как послушный футбольный мяч, в нечто теплое и родное, и после этой ночи тренеры диву давались, каким образом их подопечный подросток так круто прибавил в игре, играл не просто прилежно, а вдохновенно, вытворяя на поле чудеса.

Карлос Альберто Торрес, вновь наблюдавший за его игрой, на сей раз всплеснул руками:

— Йезус-Мария! Сам Пеле в его годы такого не откалывал!

И, как ноги Абульфата магнитом притягивали мяч к себе, так и его самого, как магнитом, тянуло во двор бузовнинского общежития. Как только выпадет случай, садился в электричку и мчался в Бузовны и, затеяв новый футбольный аншлаг; то и дело поглядывал наверх, на окно на пятом этаже, за стеклом которого, в уголке, различал лицо своей "обожательницы", и встреча с ней взглядами для него стала таким же упоительно счастливым ощущением, как восторг от блестящего удавшегося удара в ворота... Но за весь этот год они ни разу так и не свиделись, не поговорили по душам, только дважды обменялись письмами.

Второе письмо она передала ему опять же на лестнице общежития, куда доходил едкий запах хлорки, и Абульфат там же и прочел: *"Абульфат! Пишу тебе второе письмо, перейду печали твои... Знаешь, я все время беседую с тобой... мысленно, в сердце своем... Мысленно, взявшись за руки с тобой, гуляю по берегу моря... Я мечтаю, чтобы вот так же мы гуляли в Шуше, но мне невозможно вспомнить наш милый родной город. Так бы хотелось там погулять с тобой рука об руку... не кори меня за эти слова... Я очень благодарна тебе, Абульфат, что никому не проговорился о первом моем письме... У меня к тебе вопрос, только ответь честно: не ради меня ли ты приезжаешь и играешь в футбол во дворе? Или я ошибаюсь? Ответь мне, прошу тебя, а то места себе не нахожу, сердце заходится, Абульфат..."*

Джамия

Так же, как первое, письмо было написано синими чернилами, а "Абульфат" каждый раз - красным карандашом. Абульфат не был охотник письма писать, но на сей раз захотелось отозваться, ответить, высказать все, что на сердце; снова ночью присев на крылечко коттеджа под жидким свечением лампочки и уставившись на белую страничку раскрытого на коленях блокнота, думая о том, что и как написать, битый час мучился, ломал голову, да так ничего и не написал, в конце концов вывел большими буквами посредине листочка: "ДА".

И это было первым и последним письмом, написанным им за всю жизнь.

И он знал, что Джамия сделает так, что снова повстречается с ним на лестничном пролете в общежитии, так оно и случилось, и Абульфат передал ей письмо, состоявшее из одного-единственного слова.

15

Мамед-киши по прозвищу "Гёзля-Гялирям" ("Счас-приду") выйдя рано утром из своего жилища в общежитии, примостился, как обычно, на коленной скамейке под реликтовой маслиной, оставшейся от роскошного сада Мешади Агарагим Мир Абдулла оглу в память потомкам (неужто беженцам? Из Шуши?), поглядел-поглядел на небо и, как всегда, начал разговор с самим собой. Сперва пробарматывая слова, а затем все громче. Мамед-киши произносил свой монолог-диалог скороговоркой, так быстро, что нельзя было разобрать, о чем он говорит; и его нечленораздельная скороговорка время от времени совпадала с перестуком колес электрички, курсировавшей от Баку через Бузовны до Мардакян и оттуда, в зоне Шаганы, поворачивавшей обратно, и казалось, между его невразумительной речью и стукотней колес возникал какой-то родственный ритм и унисон.

Погодя устремились в школу ребята, учившиеся в первую смену, потом те, кто учился во вторую смену, третью; спустились во двор играть в футбол (по мнению Эусебио-Абульфата, в этой округе не было мальчишки, который бы не играл в футбол), и вдруг, в разгар очередной баталии кто-то из ребят, наверное, из самых чутких и приметливых, почувствовал, что в этом футбольном гвалте не хватает какого-то звука, аккомпанемента, и, глянув в сторону маслинового дерева, заметил застывшего в странной позе Мамед-киши, скособочившегося и уронившего голову на спинку скамейки.

"Гёзля-Гялирям" - Мамед-киши был шестнадцатым шушинцем, который умер здесь, со времени вселения беженцев в бузовнинское районное общежитие.

На траурном обряде золовка Джуму, слепая Солмаз голосила причтала:

— Ай Аллах! Почему наши люди мрут здесь, как мухи?!

Кричит и плачет.

И тогда Джуму мрачно подумалось: чей же теперь черед? Кто будет семнадцатым из наших, которому суждено отправиться к Аллаху?... Эх... пусть бы мне...

16

Буфетчик Ибадулла, весивший больше десяти пудов, слыл заядлым футбольным фанатом среди бузовницев и к тому же был из авторитетных жителей села. Но никто, ни сельчане, ни завсегдатаи его забегаловки, кроме Джуму, не знали-не ведали, что бывают моменты, когда солидному Ибадулле становится стыдно за свое буфетное хозяйство.

В первый день июня буфет пустовал, Ибадулла, отирая полотенцем всегда, и зимой и летом, потную шею и разгоняя нахальных мух, постоянно вьющихся в буфете, обозревал закуски за прилавком: союتما из "ножек Буша", французские яйца, иранская картошка, турецкий сыр, репчатый лук, привозимый корейцами из Казахстана и сбываемый по сносной цене, тунисская маслина. Арбуз с подозрительно желтой мякотью неизвестного происхождения (как байстрик!)... Местным продуктом был только компот, сваренный уборщицей Марусей.

Вот этими благами и закусывали клиенты буфетчика Ибадуллы; так вот, в тот первый день июня, казалось, чьи-то простертые потусторонние руки вьнули из заплывшего жиром черепа Ибадуллы мозги и перенесли в далекие и прозрачные, как морская вода на песчаной кромке берега в тихую безветренную погоду, прекрасные годы детства, и напомнила ему абшеронскую благодать — бузовнинский салат, нардаранский "гара-шаны", новханинский, сарайнский "аг-шаны", "сары-гиля"¹ виноградных садов в Хаджихуна, истекающий медовым соком инжир в Бильгя, говсанинский зеленый лук, редьку и морковь с огородов Зыря, не говоря уж о ядреных сочных арбузах... И простертые из потустороннего мира руки покойного отца буфетчика Ибадуллы Гамидулла-киши посыпали пеплом заплывшую жиром голову сына, как будто бы он, Ибадулла, и был повинен во всем этом оскудении и захирении виноградно-инжирно-овощного роскошества Абшера, и буфетчик Ибадулла, испытывавший одышку от внезапно налившейся летней немилосердной духоты, ощутил не только головой, но и чуть ли не всем взорпевшим гигантским телом тяжесть проклятия, обрушившегося на него из потустороннего мира.

¹ Речь идет о сортах винограда.

17

Сара училась в шестом классе, во вторую смену; и когда Сейара глядела на обношенную юбку, стиранную-перестиранную белую кофту дочери, у которой уже понемногу наливались груди, — у нее комок подступал к горлу, и она принималась тогда бережно-ласково расчесывать гребешком волосы дочери, будто опрятность и краса волос могла затушевать обветшалость юбки и кое-где уже расплывающейся кофточки.

На сей раз, причесывая пышные пряди Сары, мать ворковала:

— Вот погоди... Вот пусть наш Абили прославится... поедет играть за границей... во Франции начнет играть... Тогда чего нам тут чахнуть, что мы тут потеряли?... Уедем жить во Францию... И там я тебе накуплю таких платьев — глаз не оторвешь!..

Конечно, Сурхаю явно доставляла удовольствие мысль о том, что когда-нибудь Абили будет блистать на французских стадионах, даже казалось, что уже доносится легкое дуновение тех прекрасных будущих дней, и Сурхай явственно ощущал благоухание светлого будущего на третьем этаже рабочего общежития, пропахшего хлоркой, но вопреки радужной перспективе упрямо возражал:

— Никогда я со своей родины не уеду!

— Ну и сиди! — отгрызалась Сейара. — Оставайся тут. Со своим байрагом!

18

Кладбище шушинцев, заложенное на заросшей бурьяном и чертополохом Абшеронской пустоши, было пока что не столь уж велико, здесь было всего двадцать три могилы, в шестнадцать из них покоились бывшие обитатели бузовнинского рабочего общежития, а в остальных нашли последний приют шушинцы (может, не только шушинцы, а вообще беженцы из Карабаха) из других окрестных пристанищ.

Ясное дело, кладбище — одно из самых скорбных мест на свете, но это кладбище, появившееся по правую сторону от пути следования электрички из Баку за незавершенным "долгостроем" — реликтом советских времен (то ли предназначавшееся стать школой, то ли еще чем), — это кладбище было, наверно, и самым бедным и непритязательным в мире.

Надгробья представляли собой камни-кубики, натасканные с того самого "долгостроя", несущие на себе отметки старой штукатурки, и эти обшарпанные камни-кубики привнесли в невеликое кладбище некую ауру неприкаянности и сироты. Будто и сами эти могилы были беженцами невесть откуда.

"Гёзля-Гялирам" - Мамед-киши тоже похоронили здесь; шестнадцатому шушинцу, привезенному сюда из бузовнинского рабочего общежития, родившемуся в Шуше, выросшему на шушинском горном приволье, не видевшему никаких городов, кроме Шуши, до нашествия армян и исхода, знаменитому чайчи "Гёзля-Гялирам" Мамед-киши, конечно, никогда не могло прийти в голову, что суждено ему испустить дух на колченогой скамейке, где он громко разговаривал с самим собой, и быть преданным Абшеронской земле, заросшей чахлым бурьяном.

19

...по ночам в тех местах очень ясно разносился перестук колес электрички, и кажется, легкая вибрация, вызванная движением поезда, ощущалась в спящем рабочем общежитии, и так же явственно донесся этот перестук в час ночи, когда электричка, возвращавшаяся из Мардакян, промчалась в направлении к Баку.

...и в ту ночь, как все в общежитии, спала и семья Байрагдара. и все спали на своем всегдашнем месте: - Гюллю-хала - на столе посередине комнатухи, Сара - под этим же столом, Сурхай - у дверей, а Сейара - на узкой железной койке у стены; Сейара не хотела такого предпочтения для себя, но как ни уговаривала, ни мать, ни дочь не соглашались спать на койке; Сурхаю же такого предпочтения "не поступало"; впрочем, он был вполне доволен таким раскладом. Ведь раньше всех вставал он и не беспокоя никого, мог выйти в коридор, правда, по ночам, когда Гюллю-хала слезала со стола, собираясь сходить в туалет, ей приходилось перешагивать через Сурхай, но он за десять лет привык к этому и не испытывал каких-то таких неудобств...

...и в ту ночь, когда перестук колес электрички еще не истаял вдали, Сейара громко вскричала:

— Не увози! Не увози! - проснулась, и тут же присела в койке.

— Что с тобой? - сонно заворочалась на столе Гюллю-хала. — Приснилось что?

— Да... - прошептала Сейара. - Вижу; вагон с силой отгаскивает Абили от меня, тащит с собой в темень... Тьма тьмушая, как на дне колодца. - Помогала. - Боюсь...

— Успокойся, - сонно пробормотала Гюллю-хала, - не бери в голову...

— Сердцу не прикажешь... - не унималась Сейара - ладно еще, он в Баку. А вдруг, глядишь, увезут в Америку... или еще куда... А вдруг, не приведи Аллах, с ним что-нибудь стрясется... что будешь делать?..

Гюллю-хала, зевнув, пожурила:

— Да спи ты... Взбредут же такие страхи...

...и это слово "Америка", и этот удаляющийся перестук колес увели Байрагдара, то ли спавшего, то ли дремавшего, в радужной мир грез...

...огромный стадион, колыхающееся море людей, вскочивших на ноги и орущих, ревуших, скандирующих...

...Абили забил гол...

...весь стадион - все в шляпах, с галстуками, ревел:

— Э-у-се-би-о!

— Э-у-се-би-о!

— Э-у-се-би-о!

...И Сурхай, благодаря Абили, пропустили на трибуну, и он раскачивал в руках трехцветное знамя независимого Азербайджана...

...потом гулкий перестук колес электрички истаял и стал совершенно неслышным...

20

В тот вечер Джуму еще не вернулся домой; прежде чем он появился в дверях своей комнаты (пристанища), двор оглашался громыханием тарактелки, которое, взвившись в последний раз до надсадной высокой ноты, умолкало; погода Джуму поднимался по лестнице на пятый этаж и, прежде чем открывалась дверь, в комнату вторгался запах перегара; но от этого запаха уже Сону не мучило, не передергивало, потому что с тех пор, как Джуму, первый таксист в Шуше, Золотозубый Джуму, который даже плова не ел, чтобы усы не засалились, на торжествах разве что чуток тутовки отведаст, а теперь отводит душу что ни день похожим на нефть денатуратом, колесит на своей тарактелке по Абшеронским селам продавать корма для домашней скотины, Джуму, дошедший до жизни такой, которую не дай Аллах никому, кроме армян, - думала Сона, - что тут попишешь, пусть пьет, правда, на те водочные деньги граммов триста мяса можно купить, да кому они нужны, эти триста граммов мяса...

В тот вечер Сона, подойдя к окну, всматривалась в густеющие сумерки; Гюллю-хала, высыпав "гуманитарный" рис на пластмассовый поднос (красивый, медный остался в Шуше), поручила Джамиле перебрать и очистить; и внучка, устроившись на койке с подносом на коленях, перебирала рис, с нетерпением, когда же этот рис кончится, наконец, рис вышел весь. Джамиля вручила поднос бабушке и извлекла из кипы книг и тетрадей, сложенных в углу, нужные для завтрашних уроков, и тут из тетрадки выскользнула какая-то фотография и упала на линолеум. Это был снимок какого-то белокубоулыбающегося темнокожего парня.

— Кто этот негр, ай гыз? - уставилась мать на фотографию. Благо, при тусклом свете единственной лампочки не заметила, как дочка залилась краской.

¹ Гыз - девочка, девушка; здесь - обращение

— А... ничего... - пробормотала Джамия и торопливо вложила снимок в тетрадку.

Конечно, никто в квартире на пятом этаже рабочего общежития не ведал, что молодой темнокожий парень, так весело улыбающийся на снимке, - португальский футболист Эусебио.

А снимок Джамия вырезала из старого "Огонька" и никто не знал и того, что Джамия часто украдкой любит и целует его фото.

21

Ни Ахмед Агаевич, ни его семья ни одного дня не прожили на своей даче в Бильгя, хотя шестой год как выстроенный им особняк был готов. Более того, хозяин позаботился и о том, чтобы разбить сад, - тут прижились и груша отборная из Кубинского района, и ордубадский абрикос, и геокчайский гранат, хар-тут, и инжир, и пшат абшеронский, и мушмула, и иннаб; каждый раз на исходе лета глава семьи и жена обещали себе, что в следующий сезон обязательно переберутся в Бильгя, но проходило лето, и заверения забывались; если Ахмеду Агаевичу удавалось выбраться в отпуск, он отдыхал в иных краях. А нет - оставался в Баку; семья же предпочитала Анталья, Карловы Вары или другие модные курорты, - после советских времен настала свобода, и каждый отправлялся куда хотел, вот так вот и проходили годы.

Дача Ахмеда Агаевича превратилась в классическую недвижимость, и надежным охранником ее был Василий Кузьмич.

Тот день на службе выдался трудный, напряженный (а когда обходилось без этого?), и Ахмед Агаевич для "разрядки" и для того, чтобы послушать кларнетиста Джаваншира, отправился с компанией в ресторан "Сладкая жизнь"; и Джаваншир по его заказу так чувственно сыграл "Сейгях", что Ахмед Агаевич, хоть и был не любитель выпить, а не заметил, как пропустил несколько рюмок коньяка.

Джаваншир самозабвенно играл "Сейгях", вскинув кларнет к потолку, и этот томительно-щемящий "Сейгях" оторвал Ахмеда Агаевича от ресторанной реальности и унес... в неведомый, безмятный, далекий край, и там было очень печально и сиротливо, там Ахмед Агаевич с отчетливостью, от которой холодела кровь в жилах, ощутил истечение жизни и приближение конца; в том пространстве царил некая безысходность, все там было проникнуто духом бессмысленности прожитой жизни и вообще бытия, брэнного мира, и этот дух стеснил ему дыхание, перехватил горло...

Все знали Ахмеда Агаевича как человека жесткого, даже твердокаменного и грозного, но никто не ведал, что в последнее время, перед сном ли грядущим, на собрании ли, на официальном концерте ли, вдруг воображение уносило этого "жесткого, твердокаменного и

грозного" человека в то самое неизвестное мистическое пространство, будто наполненное не воздухом, а сакральной горькой пустотой, где Ахмед Агаевич чувствовал себя в беспомощной невесомости, и его приводила в ужас мысль о том, что жизнь неудержимо, неумолимо мчится к закату, что может быть, лет через пять, может, десять, пятнадцать, разменяв седьмой, восьмой десяток, он обратится в ничто, в прах; и все теряло смысл, все нажитое добро, деньги, драгоценные украшения жены, даже золотая школьная медаль сына, даже песни, сочиненные дочерью и облетевшие за пару лет весь Азербайджан, и как хорошо, что эти страшные мысли, выворачивающие душу, проходили, рассеивались, но на сей раз, в этот вечер, в ресторане "Сладкая жизнь" мысли и чувства Ахмеда Агаевича не могли оторваться, открепиться от того зияющего и скорбного пространства и витали там, как обреченные... Мало было этого, - после очередной рюмки коньяка ему, непривыкшему принимать такие дозы спиртного, стало нехорошо, дурно, его прошиб холодный пот и, сделав вид, что направляется в туалет, он вышел на свежий воздух.

Ресторан "Сладкая жизнь" располагался на берегу моря, в Пиршагах, и Ахмед Агаевич, подойдя к береговой кромке, наклонился и, черпнув горсть воды, обрызгал лицо; но теплая вода не принесла облегчения, напротив, теплые капли, стекая за воротник, под сорочку, казалось, только усугубили его состояние: сердце защемило, зашлось, будто эти капли сочлились с того самого далекого, печального пространства (пустоты!).

Казалось, вздернутый кларнет был направлен не к потолку, а нацелен в него из той зияющей пустоты, в его лицо, сердце, и выпевал, выговаривал: о ты, глупый человек, нет, еще откровеннее, адреснее, о ты, незадачливый Ахмед Агаевич, все-то у тебя есть, тридцать лет ты - на коне, в солидных должностях, дети хорошие у тебя, и внучек растет, и денег куры не клюют, и дом полная чаша, но что с того? Какой в этом смысл? Все у тебя есть, но внутри себя, в душе твоей нет хоть маленького, крохотного островка, чтобы ты мог выкарабкаться, не утонуть, спастись, и Ахмед Агаевич почувствовал, что вот-вот расплачется, как баба, в эту лунную ночь на пустынном берегу, и, резко повернувшись, зашагал обратно к ресторану "Сладкая жизнь".

Кларнетист Джаваншир уже выводил какую-то игривую народную мелодию, и его приятели за столом заслушались, но Ахмеду Агаевичу было теперь не до музыки, и он покинул компанию под предлогом: "Надо навеститься на дачу..." Но удивительное в том, что выйдя из ресторана и садясь в машину, он и впрямь буркнул шоферу:

— Едем в Бильгя!

— Есть! - сказал шофер, татарин Шовкет и подумал, что нет занятия паршивее на свете, чем возить хозяина.

В тот жаркий июньский день дочери Шовкета исполнилось десять

лет, и надежды отца (ждавшего Ахмеда Агаевича у ресторана столько времени) застать именинницу до того, как она ляжет спать, рухнули.

По мере того, как машина удалялась от ресторана по взбурившейся, размякшей от дневной жары асфальтовой дороге, кажется, рассеивались, и звуки "Сейгяха", все еще чудившиеся Ахмеду Агаевичу, и он даже усмехнулся при мысли о том, что если в былые времена колхозам давали названия вроде "Светлый путь" и прочее, теперь этот опыт перенесли на рестораны - "Сладкая жизнь"; потом подумал, а что ему, собственно, приспичило на ночь глядя ехать на дачу в Бильгя? Может, вернуться в Баку? Но тут перед взором его возникло лицо Василия Кузьмича, и он увидел, почувствовал на лице этого русского человека никогда не замечавшуюся муку и страдание. И похоже, вновь из далека начали доноситься звуки "Сейгяха", и Ахмед Агаевич с искренней, идущей от сердца укоризной самому себе подумал, что вот уже шестой год он платит этому русскому бедолаге еженедельно не больше четырех-пяти тысяч. На эти деньги можно было купить разве что килограмма три мяса, только и всего. Ладно, положим, этот горемыка откажется от мясного, будет перебиваться чем попало, пусть какой-то бурдой, похлебкой, но как на все остальное жить, одеваться, на курево тратить? Ведь человек же этот несчастный Кузьмич, не кошка, не собака. Сколько на день приходится? Около тысячи. Можно ли так обращаться с человеком? У него же, бедолага, нет никаких приработков, кроме твоей подачи. Ты думаешь, Аллах тебе простит то, что ты держишь его впроголодь, на нищенских харчах? Думаешь, сойдет и так?

Ахмед Агаевич купил участок на новом кладбище (за старым кладбищем, по ту сторону нагорья), посадил там деревья, оградил, обнес облицованным мрамором, и теперь, в эти минуты, когда он ехал в Бильгя, перед глазами возник этот кладбищенский участок, и словно незримая рука схватила его за горло, стала душить: эх ты, глупый человек, сколько марафета ни наводи там, как ни разукрашивай, все равно сам уйдешь в сырую землю, и что туда унесешь с собой? Деньги, золото-серебро?..

И тут, почувдилось, что-то само по себе зашебурилось в левом кармане за пазуху, постучалось в грудь, как бы в дверь: "Открой..."

А была в том левом кармане пиджака завернутая в бумажку пачка - десять тысяч долларов. Сегодня принесли и положили ему на стол. Он еще не успел естественно принести их домой и присовокупить к сбережениям. По сути, Ахмед Агаевич нисколько не нуждался в этих десяти тысячах... а что если вот в эту же ночь выгаташишь бы эту пачку и подарить Василию Кузьмичу? Что бы тогда? Тот, бедняга, не сошел бы с ума? или решил бы, что он сам, Ахмед Агаевич, рехнулся?.. Во всяком случае, эти деньги перевернули бы жизнь бедолаге, хватило бы на долгие годы, может, на всю жизнь, чтобы зажить по-человечески,

по-людски...

Что это промелькнуло? - спросил Ахмед Агаевич.

Шофер проследил взглядом за зверем, перебежавшим дорогу и сиганувшим в темень.

— Шакал...

У Ахмеда Агаевича чуть было не вырвалось: "Шакалий мир!.." - тем самым он как бы и себя отхлестал бы, но - одумался: знаешь, что, возьми себя в руки. Нечего раскисать, ты не ребенок... да, Кузьмич - бобыль, сирий, неприкаянный человек, но куда, допустим, ему давать такие деньжищи, ведь не женится же опять, не жаждет машину купить и шоферить не умеет. Скорее всего к нему сбегутся все дачные сторожа Бильгя, на халыву, глядишь, за месяц-другой пропьют, "оприходуют" и разойдутся... Кто знает, может, и бед натворят из-за этих денег... А так... конечно... десяти нет, и тыщи ему, Кузьмичу, с предками хватило бы, купил бы себе обнову, обувь... ведь Аллах знает, в чем ходит, запаса бы продуктами и всю зиму жил бы припеваючи.

Ахмед Агаевич, как всегда, сидевший на заднем сиденье, извлек из кармана пачку с долларами и, чуть наклонившись, в полутьме потихоньку, бесшумно отсчитал десять стодолларовых бумажек и запихнул в левый карман брюк, чтобы не смешивать с национальными манатами в правом кармане, завернул чуть похудевшую пачку и снова сунул за пазуху, в карман пиджака.

Предвкушение скорой радости Кузьмича (минут через десять-пятнадцать), который вылупит глаза («не было ни гроша, да вдруг алтын!») окатило душу, и Ахмед Агаевич, впервые за этот вечер после «Сейгяха», воспрянул, раскрепостился и вздохнул с облегчением. По сути, если он всю жизнь стремился делать людям добро, но не получалось, не удавалось, в том нет его вины, так уже устроен мир...

Часам к одиннадцати ночи машина свернула от береговой черты и по крутизне въехала в селение; жители уже спали; дачники еще не перебрались сюда из города; горели несчастные придорожные фонари и редкие лампочки сторожек; и глядя на эти огоньки, светившие из-за каменных заборов, Ахмед Агаевич подумал, что Василий Кузьмич, скорее всего, не купит себе ни костюма, ни обуви, ни припасов на зиму, а в компании с корешами под гармошку «оприходует» этот «кусочек» дармовых баксов; и когда машина затормозила перед воротами дачи, он извлек из своего брючного кармана стодолларовую купюру и переложил в боковой карман.

— Шут с ним.

— Что вы сказали, Ахмед Агаевич? - водитель услышал бормотанье шефа.

— Да нет, ничего. Выйди, отопрй ворота.

И едва хозяин дачи вступил в свои владения, как в ноздри ударил

неприятный запах, и он вскоре пожалел, что приехал сюда: Кузьмич поджаривал какие-то объедки на электрической печке у входа; из старого котла исходил такой тяжелый смрад, что Ахмеду Агаевичу, еще не оправившемуся от коньячного перебора, чуть не стало дурно.

— Слушай, - взъелся он, - что это за вонь?

Василий Кузьмич, поспешно затягивая ремень только что напеленных штанов, смущенно отозвался:

— Здрасте, хозяин! Я вот загода готовлю псу нашему завтрак...

Смрад от шварок был невыносим, и Ахмед Агаевич решил не терять времени, сунул руку в правый карман брюк, достал купюру в пятьдесят тысяч манатов и протянул Кузьмичу;

— На тебе, бери!

Тот сперва провел рукой по усам, обрадовавшись неожиданной и смотревшейся при лунном свете очень красиво пяти "ширванной" денюшке, взял.

— Спасибо, хозяин!

Так же поспешно Ахмед Агаевич сел в машину, и машина, развернувшись у ворот, укатила.

Избавившись от отвратительного запаха, Ахмед Агаевич понемногу пришел в себя, устроился поудобнее на заднем сиденье и пробормотал:

— Хватит ему... Я-то хорошо знаю эту породу сторожей... Покажи палец - руку откусят.

Шофер Шовкет, напевавший под нос грустную татарскую песню, повернул голову:

— Вы со мной, Ахмед Агаевич?

— Да нет, нет. Езжай.

И, достав "стольник" из бокового кармана пиджака и девять сотен - из левого брючного, Ахмед Агаевич воссоединил их с девятидесятичной пачкой за пазухой, с тем, чтобы дома присовокупить к общему капиталу.

...а в это время кларнетист Джаваншир, разобрав кларнет, клал в футляр, собираясь наконец отправиться домой из "Сладкой жизни"...

...и завтра ему снова играть здесь допоздна...

22

Когда Эусебио (Абульфат!.. Абульфат!.. Абульфат!..), приехавший вновь из Баку, играл в футбол во дворе рабочего общежития, Джамиле казалось, что и три красивых пшатовых дерева на той стороне двора любят Эусебио (Абульфатом!.. Абульфатом!.. Абульфатом!..), нет, не просто любят, они тоже любят его...

23

Возвращаясь с кладбища после похорон чайчи Мамед-киши, Сурхай задержал шаг у могилы Колхоз-киши и, глядя на надгробье из камня-кубика участливо спросил:

— Как ты тут, аксакал?

И словно почувствовал, что обращение "аксакал" пришлось по душе Колхоз-киши - там, в могильном одиночестве.

24

Гюльзар-хала, глядя вдаль через раскрытое окно, постанывала-выстанывала слова, как бы спрашивая саму себя:

— Где-то теперь тот профессор?..

Сейара спрашивала:

— Какой-такой профессор, ай нэнэ?

— Ну тот, что у нас дома оставался...

— У нас?

— Ну да... Тогда ты еще не перешла в наш дом... А тот приезжал с семьей летом к нам из Баку, мы ему дали второй этаж на постой... Он все ахал-охал: Шуша — это же Исвечра!... вы должны знать цену Шуше...

— Ну ты даешь, ай нэнэ. Сдался тебе этот профессор. Зачем тебе он?

— Как зачем? Я его схвачу за грудки, скажу, ладно, мы не оценили, не уберегли. Шушу, а ты-то где был, куда смотрел, сукин сын?

Сейара привыкла уже к таким воображаемым роптаниям свекрови перед памятью своей - глаза слезятся, болят, как и душа исходит болью. — Эх, ай нэнэ... Теперь всяк о своей шкуре печется... - Вот пусть Абили раскрутится, развернется (глаза у Сейары засветились, как всегда при мысли о футбольной славе сына). - Пусть Абили только разыграется... Тогда я тебя возьму и аж в "Исвечру" повезу!..

Слова Сейары произвели на старуху обратное воздействие, - она чуть было не накинулась на сноху вместо того профессора-квартиранта:

— Да на кой черт мне Исвечра?! - Сорвалась на крик: - Ты мне Шушу покажи. Верни мне Шушу!..

Можно было подумать, что Шушу захватили не армяне, а Сейара взяла и никого не пускает туда...

25

То страшное, немислимое, невероятное событие произошло первого июня, вдруг, внезапно, и невозможно было поверить, что такое

¹ Т.е. Швейцария.

может случиться.

Семнадцатым шушинцем, чье тело подняли со двора бузовнинского общежития, оказался не Джуму, Золотозубый Джумшуд, желавший себе смерти всей пострадавшей душой, а "Эусебио"... Абульфат...

Это страшное событие потрясло не только обитателей общежития, не только обосновавшихся в других пристанищах и слышавших душераздирающую весть шушинцев, не только бузовнинцев, живших возле общежития, футбольных соотарищей, тренеров Эусебио. - казалось, весть потрясла и все это пятиэтажное здание, и этот двор, и старую маслину, и железный кран, и котельную, казалось, весь двор содрогался от непрерывающихся толчков землетрясения, двор ходил ходуном, сотрясался, цепенел, рушился...

Прошел праздничный день 28 мая, миновало 29-е, 30-е, 31-е мая, и трехцветное знамя Сурхая Байрагдара продолжало реять на крыше котельной; первого июня в десять утра Сурхай вскарабкался на крышу, снял знамя и спустился вниз; хотел было снести домой, потом решил не откладывая взяться за починку знамени; снял железный наконечник с древка, а полотнище завернул в газету, затем в целлофан и оставил у стенки котельной; взяв наконечник с собой, сел в автобус и покати в Мардакяны, к лудильщику.

И та страшная беда разразилась первого же июня, около полудня.

В этот день, после утренней тренировки на базе, Абульфат сел в электричку, приехал в Бузовны, и сразу обступившая ребятня не дала ему даже подняться к себе в комнату (позднее Кяманча Танрьверди скажет: "К бедняге уже примеривался Азраил..."), и во дворе закипела азартная, захватывающая игра.

Джамия смотрела во двор с окна на пятом этаже.

Абульфату казалось, что некий беспроволочный телеграф сразу оповещает Джамиллю о его приезде - стоило ему войти во двор, еще до начала футбольного шума-гама (и восторгов) он замечал, что Джамия уже смотрит в окно и, вне всякого сомнения, ждет его появления заранее.

То, что она ждала его приезда, для него значило куда больше, чем футбол, тренировки, занятия, видеопросмотры, игры, голы, - эти ожидания вызывали в душе у него такое чувство, которое, казалось, и одушевляло его игру, побуждало играть, бороться, заколачивать классные голы.

В тот день - первого июня 2003 года - был обычный (и необычный), в общем, прекрасный день; во дворе закипела игра, понемногу собралась толпа зрителей, и после одного из ударов мяч залетел на крышу котельной. Абульфат сам устремился за мячом, в мгновение ока взобрался по тутовому дереву наверх, - похоже, чувствуя на себе взор с пятого этажа, - соскочил на крышу котельной и, когда потянулся за мячом, скатившимся к углу, из-под его ноги сорвался камень, и Абульфат вместе с камнем слетел вниз...

Он упал плашмя на знамя, прислоненное к стенке. Зубило, вколоченное вниз древка, угодило в грудь и, врезавшись, пронзило сердце...

26

Когда весть о гибели Эусебио дошла до буфетчика-больельщика Ибадуллы, этот громадный мужчина готов был разреветься, как дитя. Отирая полотенцем испарину со лба и шеи, выдавил из себя в отчаянии:

— Алэ, Аллах как будто метит и отнимает лучших! Да ты знаешь, каким футболистом стал бы этот парень! - Потом, расстегнув пуговку на заднем кармане брюк, достал оттуда помятый и влажный конверт, вынул из него пятидесятидолларовую купюру, протянул сыну Агаселиму. - На, возьми, сбегай, купи барашка и свежи им, для эксана по Эусебио...

Агаселим, облачившийся в белый халат, подсоблявший отцу в буфетных делах, чуть помешкал, - в такую жару переодеться, ехать на базар между Забратом и Маштаги, где продают баранину, купить круторогого, везти в Бузовны, в рабочее общежитие...

От внимания буфетчика Ибадуллы не ускользнуло его минутное колебание.

— Поезжай, сынок, поезжай. Пусть и на твою долю выпадет благое дело. И крикнул вдогонку уже выходящему из буфета сыну:

— Алэ, ты поторгуйся, чтоб покрупнее барашек был!

Агаселим зыркнул на отца, мол, разве я когда-нибудь могу предешвить?

27

Абульфата хоронили второго июня.

Когда тело выносили во двор. Сейара, исцарапавшая себе лицо, грудь с вислыми, как торбочки с песком на доньшке, комочками, вырывалась из рук удерживавших ее женщин к Сурхаю, и истошно вопила охрипшим голосом:

— Ты должен был вместе со своим байрагом сойти могилу, ты, ты!

Ее удерживали с трудом.

— Чтоб ты провалился сквозь землю со своим байрагом! Чтоб рухнул камень на мою голову, когда я выходила за тебя замуж! Уж лучше сдох бы ты вместе со своим байрагом!

28

Молла Фарзали (Фарзали-муаллим) прочел во дворе заупокойную молитву-"фатиху", и обитатели рабочего общежития, другие шушин-

ские беженцы, которых привела сюда черная весть, товарищи Абульфата по команде, тренеры, подняв тело, направились медленной толпой в сторону кладбища шушинцев.

Джамиля, ни жива-ни мертва, застыла у окна, не сводя взгляда со двора, и шептала:

— Абульфат... Абульфат... Абульфат...

На кладбище шли только мужчины. Сона и Гюлюлю-хала, с раннего утра не оставлявшие Сейару одну, наконец вошли в комнату, и Сона, застав дочь прикованной к окну и выщепывающей дрожащим голосом имя бедного Абульфата, остолбенела, вытаращив заплаканные, налившися краснотцей глаза:

— Аз¹, Джамиля-я?..

Но Джамиля как будто и не замечала матери и бабушки, вошедших в комнату, даже и не слышала, только выщепывала-выстанывала, как заведенная:

— Абульфат... Абульфат...

Конечно, смерть Абульфата больно отозвалась в сердце Соны, как и у всех, но вид почти невменяемой от горя дочери привел молодую мать в смятение.

— Что с тобой? Что ты вытворяешь?

Джамиля обернулась, устремив на нее безумный взгляд, — глаза готовы выскочить из орбит. Вскрикнула:

— Абульфат!

Пошатнулась и упала без чувств. Гюлюлю-арвад всполошилась, крикнула Соне:

— Закрой-ка дверь. А то люди узнают...

29

Когда четверо товарищей по команде, давась слезами, подняли малафу² с телом Абульфата, и мужчины последовали за ними, при выходе процессии со двора Гюльзар-арвад, стоявшая у входа в подъезд, заколотила обеими руками себя по тощим бедрам, заголосила вдогонку внуку:

— Детка моя, соколик мой, девушки не видевший-не ведавший!

30

Вечером того же дня, завершив чтение молитвы-"фатиха", Молла Фарзали почувствовал, как все его хилое существо сквозь поношенный

¹ "Аз" - просторечное обращение к девушке или женщине.

² Носилки с длинными поручнями, на которых, по мусульманскому обычаю, несут покойника.

выцветший пиджак, две рубашки прохватила ошудра, и Молла подумал, что и в здешних ветрах есть могильный холод.

В бузовнинской стороне иногда между хазри и гилаваром дул ветер, называемый даг-йели, и этот ветер, налетающий с шемахинских гор, прерывался так же внезапно, как начинался, и теперь со второй половины дня вдруг налетел этот даг-йели.

Во дворе общежития, под старыми пшатовыми деревьями собрался местный и пришлый люд на поминальный меджлис.

Занятия в школе закончились, и Кяманча Танрыверди, уважаемый учитель музыки в старые (и добрые!) времена, попросил у директора школы выдать им на время столы, и спасибо директору, уважил просьбу! - прислал шесть длинных столов - из учительской, из отдельных классов. За этими расставленными во дворе столами устроили поминальный ужин - "эхсан"; Кяманча Танрыверди с Джуму сидели рядом с одним из этих столов.

Абульфат стал семнадцатым шушинцем из обитателей общежития, покинувших этот мир, и по крайней мере десятком из них отпевал Молла Фарзали, и если лет пятнадцать тому назад ему, тогда еще "муаллиму", сказали бы, что в недалеком будущем ты станешь моллой и будешь провожать в последний путь шушинцев, мрущих, как мухи, в Абшеронском селении Бузовны, у него, преподававшего больше сорока лет историю в школе, волосы бы дыбом встали, Молла Фарзали перебирал в памяти покойников, которых отпевал здесь, во дворе рабочего общежития, и перевел взгляд на Суррах, всмотрелся в его пожелтевшее, сморщенное, как иссохшая айва, лицо, и вдруг будто кто-то внятно шепнул ему на ухо: "Молла-Фарзали, вот тот мужчина, кто будет очередным покойником, вот этот несчастный Байрагдар".

От этого внезапного наития Моллу Фарзали опять пробрал холодок, и чтобы отмахнуться от этого навязчивого и недоброго ощущения, он обратился к молодым людям:

— Подавайте еду. Пусть люди произнесут "Бисмиллах".

Обслуживали участников поминального стола товарищи Абульфата по команде, и эти ребята выполняли свое дело так истово, так усердно, что если душа покойного их могла видеть, то, безусловно, возрадовалась бы.

Джуму, с утра хранивший молчание, вдруг обронил:

— Он-то, горемыка, не должен был так задешево погибнуть...

— Эх, братец, - отозвался Танрыверди. - разве смерть бывает дорогая-дешевая?

— Кто знает, - буркнул Джуму, проведя желтыми прокуренными пальцами по обросшему щетиной лицу.

Подали блюда с дымящимся пловом, потом - приправу, разложили по столам, и когда перед Танрыверди и Джуму появилась тарелка с вареными каштанами, урюком, черносливом, кусками мяса, среди

которых им на глаза попала голяшка с несломанной костью, им обоим при виде этой голяшки, как это ни удивительно, вспомнились былые шушинские деньки. Почему, с какой стати, - это не знал ни Джуму, ни Танрыверди, но достоверным было то, что и у того, и у другого всколыхнулась в душе память о недосягаемых, невозвратимых мгновениях, об атмосфере давних вылазок на природу, к родникам Иса-булагы, Туршусу, Секили-булаг. где устраивались шумные и веселые застоля.

Кяманча Танрыверди кивком головы показал на тарелку с правой и, явно подразумеваемая сочную голяшку, сказал Джуму:

— Бери.

— Нет, сперва ты, - отозвался тот, подразумеваемая ту же голяшку. - Я то постарше тебя, так что бери.

Надо же так случиться, в этот момент сидевший напротив, но чуть с краю, в углу, похожий на русского человек (догадались, Василий Кузьмич), протянув ложку, подхватил эту самую голяшку и чинно водрузил на тарелку с пловом.

— Кто это такой? - несколько смущенно вполголоса спросил Танрыверди.

— Кто бы ни был, - отозвался Джуму, - да будет впрок ему.

А Василий Кузьмич, со смаком уминая плов с мясом, вновь убеждался, что нет народа, который бы готовил такие вкусные яства, как азербайджанцы, и в эти мгновения Василий Кузьмич гордился, что и он, в известном смысле, мусульманин, как эти славные азербайджанцы.

И тут произошло никем не предвиденное событие.

Байрагдар Сурхай вдруг вскочил с места и стремительными шагами пройдя мимо собравшихся, вышел.

Часть народа проводила его недоуменными взглядами: Байрагдар направился не к туалету в нижнем углу двора, и не к подъезду общежития, а в сторону котельной, и прошло немного времени, как он вернулся со знаменем в руке и простер его между ветвей пшатового дерева.

Затем прошел к Молле Фарзали (Фарзали-муалиму) и сел рядом на свое недавнее место, и в эти минуты Сурхай напоминал бессловесное существо, неслышную невесомую тень, явившуюся из других миров.

Ветер с гор - "даг-йели" колебал полотнище знамени, производя легкий шум.

У собравшихся за поминальным столом кусок не лез в горло.

Тут Кяманче Танрыверди, взиравшему то на Сурхай, то на знамя, которое колыхал ветер, будто сердце иглой пронзили, и Кяманча Танрыверди почувствовалось, что вот сейчас вот лопнули струны - все четыре струны кяманчи устада Мешади Музаффар-Аги, и гриф кяманчи уже никогда не сможет держать струны.

Джуму будто сам себе прошептал:

— Это я... подобрал зубило на крыше и передал... и он, горемычный забил... в древко...

— Не он... - сказал Кяманча Танрыверди, - не он, а Азраил...

Один лишь Василий Кузьмич с видом довольного своей судьбой человека со смаком доглядывал-дожевывал голяшку, и его голубые глаза, выдавшие виды на свете, сейчас примеривались к новому куску в тарелке с приправами.

2004, июнь

ВОЛКИ

*«Средь всего сущего на свете
самое слабое – человек...»*

Ильяс Эфендиев

...затем Серый, опустив голову, вновь продолжил свой путь; сучья иссохших кустарников терлись о его потрескавшиеся от безводья губы; нос – впереди, волчица – позади, и, хотя она время от времени поглядывала на трусящих меж ней и Серым щенков, подмечая даже слабый трепет их ушей и хвостов, все ее внимание было нацелено на Серого. Когда Серый останавливался, она тоже замирала, едва заметная дрожь его хвоста, шерсти на загривке, на спине что-то говорила ей, подавала какой-то знак и то, что она понимала звериной своей душой, отражалось в выражении её глаз.

Серый почуял запах мочи, видно, когда-то пробежавшего здесь молодого волка, сунув нос в корень высохшего куста, обнюхал землю, постепенно и в нем самом инстинктивно родилось желание оставить в этом месте свою метку, повернувшись задом к кусту, он приподнял лапу, но, сколько ни тужился, ни капли не пролилось на землю, пустой мочевого пузырь отозвался резью, а может, иное беспокойство болью пронзило его тело. Как бы там ни было, Серый сердито огрызнулся, поднял голову, втянул воздух, затем, опустив морду, продолжил путь на Восток.

Волчица остановилась в отдалении одновременно с Серым, следя за каждым его движением ввалившимися за эти дни глазами, затем снова устремилась за ним; минуя сухой куст, она тоже почувствовала запах метки, оставленной молодым волком, но это не отвлекло ее – все ее внимание по-прежнему покоилось только на Сером.

В те времена, когда Серый из щенка превратился в молодого и сильного зверя, и этот молодой, сильный зверь навсегда оставил родную стаю и логовище, где родился и вырос, ушел, чтобы обустроить собственное логово и создать семью, в те времена, когда природа соединила его с волчицей, так вот, в те самые времена найденное им пространство земли, теперь постоянно находившееся под его надзором, быть может, было самым лучшим в мире местом обитания волков, для его только-только сложившейся семьи, для

новых поколений волчат, что рождались, росли и в свое время покидали стаю. Плодородная почва, частые живительные дожди, леса, реки, сбегающие с заснеженных круглый год гор, превратили эту землю в любимое пристанище разного рода зверья, начиная с джейранов и кончая зайцами, и Серый, удачливый охотник, грозный и властный хозяин этой территории, уже который год вместе со своей волчихой растил подобных себе здоровых и сильных волков и выпускал их в бескрайний мир природы.

Ничто не предвещало здесь страшную засуху, вероятно, и Серый, и волчица (и все прижившееся тут зверье) прежде вообще ничего не ведали о засухе. Волчата позапрошлогоднего помета уже стали самостоятельными, им пришла пора уходить, но они остались в логове, присматривая вместе с матерью за только что родившимися щенками, и как только те чуть подросли – как раз наступило начало осени – позапрошлогодние детеныши, молодые волки, навсегда покинули родное логово.

Именно в это время разразилась сушь; шли дни, а жара не спадала, зной погубил траву, кусты и деревья на всей территории Серого, ушла вода из рек, потрескалась земля, голод погнал стада копытных на Восток, навстречу воде, но покинувшие вслед им места своего обитания Серый и волчица припозднились из-за щенков, стада ушли далеко вперед, даже их запах не ощущался.

Уже который день Серый вместе со своей изнывающей от голода и жажды семьей – волчицей и двумя детенышами – пробирался меж голых деревьев и кустарников на Восток. Жажду они еще кое-как подавляли, слизывая оставшийся в руслах высохших рек протухший ил, но еды не было совсем, и голод терзал, медленно убивал их.

Иногда Серый останавливался, клыками выгрызал из земли корневища кустов и, если они еще не высохли совсем, бросал их в сторону волчицы и щенят. Волчата поначалу жадно устремлялись к этой непривычной добыче отца, однако, обнюхав, как будто даже с брезгливостью отходили в сторону, тогда волчиха старательно обглаживала корневище, сглатывая сок, а кашницу выплевывала на землю. Волчата бросались и к этой жиже, но, обнюхав и ее, опять отходили в сторону. Порой Серый и сам глодал вырванные из земли корни, при этом поворачиваясь спиной к волчице и волчатам, опустив хвост меж задних лап, будто не желая, чтобы они видели, как он жует эту позорную для матерого волка пищу.

Щенки устроились между Серым и волчицей, прикрыв глаза, тонкая шкурка на их пустых животах поднималась и опускалась в такт дыханию, их одолевал голод, детеныши слабо поскуливали во сне, и, вздрагивая, просыпались. Волчица лежала на боку, не сводя с Серого отчаянных от этого изнурительного бегства на Восток глаз. А тот напряженно и с тревогой всматривался вдаль, в пространство сухих зарослей. Там, в их шуршащей глубине, таилось нечто подобное еле видимой тени, и Серый знал: это «нечто», эта тень – оголодавший одинокий шакал, который все это время бредет за ними, упорно тянется по их следам. Инстинктивно Серый, наверное, знал и то, что тот голодный и одинокий шакал поджидает смерти, гибели одного из членов его семьи в надежде набить себе брюхо, нажраться падали, когда оставшиеся в живых уйдут.

Но мир волков имеет свои законы.

И законы эти не могли нарушить ни страшная засуха, ни подгонявший их вперед голод...

У Серого не осталось сил, чтобы с прежней ловкостью сделать стремительный бросок к зарослям, впиться в горло затаившегося в них шакала, притащить и накормить этим свежим мясом волчицу и волчат, наверное, оттого он отвел глаза от маячившей в зарослях тени, глянул на волчицу. Выражение до сих пор равнодушных ее глаз изменилось, и то, что сказал тот мгновенный взгляд, вероятно, понимал только Серый.

И снова продолжился упорный бег на Восток...

Поднималось и заходило солнце, а одержимому голодом и жадной мучительному движению, казалось, не было конца...

Идущий впереди Серый вдруг остановился, чутко насторожил уши, волчице и детенышам передалась его тревога, они тоже застыли, придержали шаг. Через мгновение издали слабо донеслись человеческие голоса.

Серый лег на землю, волчица опустилась на задние лапы, осторожно подтолкнув хвостом к себе щенят. Человеческие голоса раздавались теперь все более отчетливо, наконец, меж высохших зарослей кустарника мелькнули фигуры нескольких людей.

Они шли в ином направлении – на Север.

Это были геологи; естественно, и Серый, и волчица не знали этого, но и для него, и для нее яснее-ясного было: от этих людей не пахло порохом.

И Серый, и волчица улавливали запах пороха сразу, мгновенно,

этот тревожный запах сопутствовал крови, и Серый, и выходявшая с ним поохотиться волчица, затаившись, отслеживали людей, от которых пахло порохом. Всякий раз, услышав выстрелы, и Серый, и волчица напряженно замирали, выжидая, и вскоре чуяли доносящийся издали, будто принесенный внезапным и легким дуновением ветра тот возбуждающий запах, жадно ловили далекий голос и шорохи.

Дело в том, что среди охотников всегда попадалось немало людей неопытных, любителей, и зачастую их выстрелы только ранили зверя. Такие оплошки, порой, случались и с егерями – профессиональными охотниками. Серый и волчица всякий раз чувствовали, знали, что раненый зверь бежит, истекая кровью, разнося весть о близкой и легкой ноживе, тогда и Серый, и волчица забывали про охотников, и бросались преследовать обессиленную, ослабевшую от раны жертву – джейрана, козулю или кабана, набрасывались на них, перегрызали им горло. Подобная участь ожидала и горных козлов, вспугнутых выстрелами и часто от страха срывававшихся с горных круч, ломая при этом ноги и позвонки, и опять Серому, волчице и их волчатам даром доставалось сочащееся свежей кровью мясо.

Но на сей раз от людей, идущих на Север, не пахло порохом, но даже если бы пахло, Серому не хватило бы сил выследить их, догнать подстреленную ими, пытающуюся оторваться от преследователей добычу. Видно, Серый и сам сознавал это, так как в его глазах, устремленных в сторону людей, что шли на Север, сквозило полное безразличие, и волчица, конечно же, чувствовала это.

А изнурительному движению на Восток все не было конца...

Серый внезапно остановился, уткнулся носом в землю, затем принялся торопливо разгребать ее передними лапами. Остановилась и волчица со щенятами, это торопливое рытье земли наверняка было как-то связано с пищей, и потому в их глазах еще сильнее заблестел голод, они с надеждой смотрели на Серого – большого, но исхудавшего так, что выступали ребра – волка. Наконец, Серый вырвал из земли жука-бомбардира (и это было чудом той страшной засухи) и резким движением головы швырнул его в сторону волчат, нетерпеливо ожидавших хоть какой-то поживы. Упавший с жужжанием жук был еще способен двигаться, он хотел спастись – отползти, сохранить жизнь, но голод тотчас привел в чувство волчат, поначалу растерявшихся от такой малой добычи, один из них метнулся вперед,

схватил зубами всеми силами пытавшегося в смятении и ужасе, издавая при этом зловонный запах, вырваться жука, и в тот же миг с хрустом раздавил и проглотил его. Второй щенок налетел на брата и запоздало хотел вырвать из его пасти жука, но, сообразив, что рвение его бессмысленно, заскулил слабым, тонким голосом и прижался к ногам матери.

И они снова продолжили свой мучительный бег...

Самым тяжким временем этого долгого пути на Восток был полдень, и, как только он наступал, Серый ложился на землю в тени какого-нибудь чахлого деревца; волчица и щенята тоже хотели бы отдохнуть, но чувство голода было многократно сильнее, голод не давал им уснуть, и это было самое трудное испытание - время между голодной полудремой и голодной реальностью - в их стремлении к добыче, к жизни.

И на сей раз, опустившись на землю под скудную тень орешника, Серый привычно посмотрел в ту сторону, откуда они пришли; тени выслеживающего их шакала заметно не было, но главное - Серый не чувствовал шакальского запаха, и это как будто принесло ему некоторый покой, его глаза заблестели, это был мгновенный блеск, но мать-волчица, лежавшая рядом со щенятами, уловила свет в его глазах, внутри ее, видимо, родилась инстинктивная надежда, она приподняла морду, но надежда тотчас погасла, как погас и блеск в глазах Серого. Волчица издала нечто подобное слабому урчанию, у нее не было сил зарычать, оскалиться, как прежде, а волчата, ощутив в урчании матери беспомощность, безысходность, испуганно прижались к ее высохшим соскам.

Серый взглянул на волчат, казалось, его испытующий взгляд проверял, насколько ослабли, обессилели от голода щенки, и, кто знает, быть может, обдумывая что-то про себя... В свою очередь, волчица также испытующе глядела в глаза Серого, и было яснее ясного, что она обеспокоена, мелкая дрожь пронзала ее тело.

Серый отвел глаза от щенков.

* * *

Медленно опускалось солнце, скоро стемнеет и наступит ночь. Лежа на боку, Серый, сузив глаза, ловил меркнущий солнечный свет. И волчица-мать тоже легла, прижав голову к животу, будто хотела согреть в этот удушливый тихий вечер прильнувших к ней щенков.

После появления очередного помета, когда солнце скрывалось за

горизонт, у ночного охотника Серого, как правило, пробуждался особый инстинкт, он кружил по логову, выходил наружу, наострив уши и виляя хвостом, осматривал окрестности, какое-то время стоял неподвижно, не издавая ни звука, потом, бесшумно ступая, исчезал в лесной глуши; исчезал, чтобы в полночь, а, может, и в рассветную рань, притащить ждущим его в логове волчихе и щенкам, уже издали чувствующим его приближение и даже запах добычи - свежего мяса, убитых им, еще не остывших джейранов, молодых кабанов или зайцев - все зависело от шедрот той ночи.

Часто после сытого и спокойного полуденного сна и волчица, и волчата начинали снова ощущать голод, тогда щенята, рыча, отталкивая друг друга, припадали к соскам матери, но им, растущим день ото дня, уже не хватало материнского молока, в них пробуждалась хищная жажда свежатины, и как только Серый скрывался в ночи, волчата и волчица, поводя ушами и нюхая воздух, с нетерпением ждали его возвращения.

И в те времена, случалось, что облюбованная им территория вдруг словно бы оскудевала, а, порой, добыча, которую часами выслеживал Серый, умудрялась ускользнуть, и тогда волк возвращался ни с чем, угрюмый и злой. Но отсутствие пищи в логове длилось недолго, нередко уже следующей ночью Серый умудрялся приволоочь тушу очередного убитого им зверя.

До появления щенят волчица выходила на охоту вместе с Серым. многолетняя совместная жизнь породила меж ними такую согласованность, что они чувствовали, понимали друг друга по мгновенному взгляду, по малейшему движению. Эта слаженность особенно проявлялось во время охоты: они оба хорошо знали, что и как надо делать, но как только волчица оценилась, Серый стал уходить на охоту один, а волчица оставалась с детенышами в логове.

Так было прежде.

А голодный путь на Восток никак не кончался...

И в тот вечер, накануне очередной ночи, Серый лежал на боку, устремив полузакрытые глаза в тускнеющие небеса, внутри волка, похоже, не рождалось уже ничего, кроме безнадежного равнодушия. Каждая клетка его тела была пронизана чувством голода, он отвел взгляд от угасающего солнца и снова посмотрел на волчат.

В последнее время он нередко подобным образом смотрел на своих детенышей...

Эти щенки, на чью долю выпала страшная засуха, бредущие, чтобы выжить, вместе с Серым и волчицей на Восток, видимо, были

последним пометом, который произвела на свет и желала вырастить вместе с Серым волчица, прежде чем волчата начнут самостоятельную жизнь, ибо и Серый, и волчица прожили большую часть дарованного им природой волчьего века.

Наконец, Серый отвел глаза от щенков и посмотрел на волчицу.

Та тотчас ощутила на себе его взгляд, открыла глаза и вытянула морду в сторону Серого, какое-то время волки неотрывно глядели друг на друга.

Серый приподнялся, присел на задние лапы, не спуская глаз с волчицы.

Словно почуяв опасность, она стремительно вскочила, и это внезапное, необъяснимое волнение матери напугало щенят, они тоже сели на задние лапки, дрожа и прижимаясь друг к другу.

Уши волчицы напряженно встали, хвост бил по исхудавшим, так что выступали ребра, бокам, приоткрыв пасть, она с растущим беспокойством и волнением зарычала, в свете закатного солнца ее оскалившиеся зубы, особенно клыки, казались еще белее.

Серый будто и не чувствовал настроения волчицы, не слышал ее предостерегающего рыка, только по-прежнему не отводил от нее своих усталых полузакрытых глаз, и вдруг, быть может, собрав последние силы, с живостью прежних лет вскочил, поднял морду в сторону заката и громко завыл; затем отвернулся от уходящего за горизонт солнца и, все так же протяжно завывая, стал медленно поводить головой то вправо, то влево, теперь в наступающих сумерках его вой разносился на всю округу.

А волчица-мать, будто заключенная в тесную клетку, металась позади Серого, не находя себе места на всем бескрайнем просторе безжизненной земли. Неожиданный вой Серого, то, как совершенно забыв о них, кружила, металась вокруг волка мать, настолько напугало волчат, что они, не зная, что предпринять, только теснее прижимались друг к другу, затравленно поглядывая в сторону родителей. Голод истерзал щенков, лишил сил и усилил страх, который они испытывали в это мгновение, заставляя трепетать их маленькие тельца.

Серый, возможно, за всю свою долгую жизнь не был так - всем своим существом, эти его протяжные завывания в опустившейся на выжженный зноем простор тишине были не просто воем волка-одиночки, а доступным ему выражением ужаса от потерь, смертей и наступившей его безнадежности.

Шерсть на спине и загривке Серого вздыбилась, мышцы на морде напряжены, хвост задран вверх, вдруг волк, так же внезапно, как и

начал, умолк, резво и решительно ступая, направился к волчице и бросился ей под ноги.

А волчица с еще большей досадой и злобой продолжала кружить вокруг Серого, но как будто не замечая его, ее округлившиеся глаза едва не вылезали из орбит, сверкая в темноте, из горла шел гневный рык; щенки, не отрываясь, смотрели на мать.

Так продолжалось вечно или миг... Вдруг Серый широко раскрыл глаза, вскинул голову и с неведомой внутренней силой устремил пылающий огнем взгляд на волчицу, широко раскрыл пасть и люто зарычал на нее. В это мгновение Серый снова был молодым, сильным и властным самцом и его яростное рычание, несомненно, звучало приказом - Серый призывал: рвите меня на куски, ешьте! - и этому страшному приказу невозможно было не подчиниться.

Волчий мир имеет свои законы...

Мать-волчица, вероятно, по мере того, как угасало солнце, почувствовала, угадала в полуприкрытых глазах Серого, что такой приказ будет отдан, но она, преодолевая голод, лишивший сил ее тело, лязгая зубами и гневно рыча, всем существом своим протестовала, отвергала то, на что обрекал себя Серый, но одновременно в этом ее протесте таилась безысходность и столетиями возвращенная в генах покорность.

И волчица, не медля, сделала бросок...

Одним махом она впилась клыками в горло Серого, с ловкостью опытного охотника вытянула из разорванной шеи гортань, и, разжав измазанные в крови зубы, рыкнула в сторону волчат. Урчание матери, запах свежей крови встряхнули дрожащих от страха, а теперь еще и от непонимания происходящего щенят, в мгновение ока они тоже набросились на упавшего Серого и принялись жадно лизать вытекавшую из его горла кровь.

Серый дергался и хрипел, но волчица, не обращая на это внимания (а может, чтобы положить этому конец), выплюнула из пасти гортань и все так же, одним рывком, разорвала клыками истончившуюся шкуру его живота. Из пустого брюха на потрескавшуюся землю вывалились кишки, и, пока волчица не сунула морду глубже, в его внутренности, не вырвала сердце, Серый был еще жив и дышал разорванным горлом.

Затем все кончилось...

Волчица уронила из пасти на землю вырванное сердце, и, быть может, впервые, с не присущей ей в отношении детенышей злобой, грозно зыркнула на волчат. С визгом отталкивающие друг друга, продолжающие вылизывать кровь Серого, щенята испуганно замерли

под взглядом матери, но тут же, уловив в нем какой-то иной знак, бросились рвать на части лежавший на земле теплый кусок мяса – сердце, затем, проглотив эту поживу, сунули мордочки в брюхо убитого волка.

Волчица как будто расслабилась, гнев ее прошел, она посмотрела на нетерпеливо чавкающих, раздирая волчьи внутренности, щенят, лениво отвела от них взгляд, глянула на мертвую голову Серого, затем с той же ленцией отвернулась и от щенят, и от останков волка и, опустившись на задние лапы, подняла морду к ночному небу и завывала с постепенно нарастающей силой.

Оба волчонка выпростали из брюха Серого измазанные в крови мордочки, они впервые в жизни слышали подобный вой матери, жутковатые интонации ее голоса перебороли в них алчность, рожденную голодом, какое-то время они стояли, как вкопанные и, если им все-таки посчастливилось спастись, выжить после долгого, отчаянного бега на Восток, ее вой останется, наверное, в их памяти на всю последующую жизнь.

Вскоре, однако, голод взял верх, и волчата снова сунули головы в еще теплую, пахнущую кровью утробу Серого.

Рассветало.

Щенята насытились, и, быть может, в первый раз за время пути заснули спокойно. Мать-волчица лежала, опустив морду на передние лапы, спиной к останкам волка, и ее слегка прикрытые глаза были устремлены куда-то вдаль. По мере того, как светало, взгляд волчицы, ее тело с провисшей шкурой и выступающими ребрами, омертвевшая шерсть на шее, спине и хвосте все сильнее выдавали смертельную усталость зверя.

Волчица приподнялась, миновала спящих волчат и приблизилась к растерзанной туше волка, но не посмотрела на нее, остановилась. Щенята съели все самое лакомое во внутренностях Серого – легкие, селезенку, порвали исхудавшие ляжки, кое-где добрались и до костей; при свете занявшегося утра бедренные кости волка белели, словно крупные клыки. Волчица, все еще не глядя на обглоданные останки, сделала несколько кругов, снова остановилась перед ними, и, будто после долгой погони, как в те дни, когда они вместе с Серым преследовали, целясь в глотку, очередную жертву, часто задыхалась. И как бы в такт ее дыханию – меж клыков волчицы стекала клейкой массой слюна.

Это продолжалось недолго, наконец, осторожно ступая, она приблизилась к туше, стала там и сям облизывать кости, затем, не

спеша, съела мясо в тех местах, куда не смогли добраться мелкие зубки волчат, дочиста обглодала бедренные кости, разгрызла позвоночник и на том остановилась. Зад волка был съеден полностью, но, хотя ясно было, что волчица не наелась, она лишь обгрызла шкуру на ляжках, затем, отделив клыками верхнюю часть тела, подтащила ее к изголовью спящих щенят, вернулась назад и с усилием принялась разгрызать кости ног, высасывая костный мозг.

* * *

Волчица шла впереди, неся в зубах то, что оставалось от Серого, а волчата двигались за ней на Восток; вдоволь наевшись мяса, они были бодрей, как и прежде, в благополучное время, за три дня они заметно подросли, и это бросалось в глаза не только потому, что они пополнили, у них появилась оживленность во взгляде, изменились повадки, движения ушей и хвостов.

То, что они так заметно возмужали, казалось, уменьшило ласку и заботу о них волчицы.

За эти три дня после гибели Серого она стала суровой и решительней с ними, часто раздраженно рычала, лягая зубами, била их лапой, отталкивала головой в сторону, но самой большой неожиданностью этих дней стало то, что набравшиеся сил волчата начали также, скаля зубы, рычать на мать.

А дорога, ведущая на Восток, все не кончалась...

Они шли по ночам, а утром волчица позволяла щенкам съесть немного оставшегося мяса, и волчата с обычной алчностью, по-прежнему грызая между собой, поедали уже слегка протухшее и оттого подмякшее мясо. Волчица, стоя поодаль, внимательно наблюдала за ними и, когда считала нужным, отгоняла их от еды.

Ненасытившиеся волчата, злобно рыча, как ни пытались, не могли прорваться к остаткам еды сквозь материнские лапы, устав, засыпали, и только после этого волчица ложилась рядом, прижав лапами щенят к животу, дремала. Вечером они снова пускались в путь, но мать-волчица так и не ощущала запаха влаги.

Влага означала добычу, то есть жизнь.

Сама волчица, можно сказать, ничего не ела, только с хрустом ломала, разгрызала кости, которые были не по зубам волчатам, высасывала костный мозг.

Теперь щенята, казалось, забыли, даже не пытались тыкаться мордами в покрывшиеся ранами от недавнего сосания впустую соски матери.

В останках Серого не было головы, меж клыками матери-волчицы свисала лишь шкура с его передних лап, щенята съели все мясо меж ребер, но его еще оставалось немного на лапах и шее, хотя и оно протухло; а засуха на пути, ведущем на Восток, словно выжгла все, что называлось жизнью — на запахах гниения не слеталось ни воронье, ни ястребы, казалось, вокруг не было ни одной мухи, ни одного насекомого.

Волчица остановилась, и щенята тотчас поняли, что пришло время еды, стоя напротив матери, исходя слюной, они с явным нетерпением ждали этого момента. На сей раз волчица не спешила, наконец, бросив щенятам последнее, что оставалось от Серого, отошла в сторону. Волчата рванулись к еде, торопливо рвали куски, ели, почти не прожевывая их.

Опустившись на землю, волчица некоторое время смотрела на детенышей. В усталом ее взгляде сквозила печаль: мясо кончилось, нынешняя кормежка была последней, волчица понимала это.

Она подняла голову, чутко приносясь сухим черным носом к воздуху, видно, надеялась, наконец, уловить живительный запах.

Щенятам все это было безразлично, рыча друг на друга, они с жадностью уплетали остатки пищи.

Затем волчица опустила голову, посмотрела вдаль, на Восток — туда, откуда ожидала спасения, прикрыла глаза.

Что чувствовала в этот миг, о чем думала мать-волчица?

От Серого остались лишь кости и обглоданная шкура. Не насытившиеся щенята никак не отходили от оголенных костей и шкуры, наконец, сообразив, что есть больше нечего, с еще большей злобой зарычали друг на друга. Это рычание, похоже, было началом пробуждающейся, вырывающейся наружу из их естества волчьей жестокости, а затем полуголодные звереныши остервенело набросились друг на друга, стремясь покусать, исцарапать когтями.

Волчица вскочила, приблизилась к детенышам, отбросила лапой их в разные стороны, гневно зарычала. Теперь она не смотрела на них, устала взгляд на землю, ее рычание адресовалось не столько волчатам, сколько всему тому, что окружало их.

Она подошла к останкам Серого и опять раздраженно заворчала, принялась вылизывать внутреннюю часть шкуры, затем села и захрустела костями, которые была в силах одолеть. Волчата тут же подбежали к матери и, приподнявшись на задние лапы, толкая друг друга, почти засовывали мордочки в ее пасть.

Отвернувшись от них, волчица выплонула на землю разжеванные кости, и щенки глотали смешанные с материнской слюной и костным мозгом крошки, а то, что не могли проглотить, жадно облизывали.

Мать-волчица — впереди, а щенята — следом продолжали путь. Для них уже стерлась разница между ночью и днем, когда могли — шли, а когда выбивались из сил — ложились на землю, впадая в странное состояние полудремы.

Шкура Серого, кости, которые не смогла разгрызть волчица, остались далеко позади.

А запах влаги не ощущался...

После того, как доели Серого, аппетит у волчат как будто усилился, но еды вообще никакой не было, они вновь отощали. Необходимость брести за матерью превратилась для них в сплошную муку. Да и сама волчица изнемогла, шла медленно, но даже при такой ходьбе щенки не поспевали за ней, и тогда волчица возвращалась, лапами и головой подталкивала их вперед, в такие мгновения волчата скулили, повизгивали ослабевшими голосами. В их голосах звучало столько жалобы, столько мольбы, и это злило вконец обессилевшую, потерявшую надежду волчицу, оскалившись, стиснув клыки, она порывалась на щенят, но никого воздействия это на них не оказывало: щенки продолжали скулить жалобно и опять тянулись ртами к высохшим, покрытым коростой от ран материнским соскам.

Наконец, настал день, когда волчата больше идти не могли.

Волчица оглянулась: детеныши стояли в нескольких шагах от нее, и на сей раз то, что мать недовольно ворчала, призывая их, не дало результата, волчата даже не двинулись с места. Волчица вернулась, попыталась подтолкнуть их вперед лапой и головой, но вместо того, чтобы продолжить путь, щенки упали на землю, а потом, с трудом поднявшись на дрожащих лапах, тоненько заскулили.

Мать-волчица, видимо, поняла, что это конец, не стала больше подталкивать щенят вперед, закружила вокруг, и в этот миг легкий порыв ветра как будто принес запах долгожданной влаги; волчица застыла, подняла голову, глянула на Восток и, видимо, через несколько мгновений еще более явственно почуяла запах воды. Она насторожила уши, шерсть на ее спине и загривке встала дыбом, напрягив хвост, волчица некоторое время стояла неподвижно, затем, подойдя к щенкам, стала облизывать им глаза и мордочки.

Щенки, вывалив языки, в свою очередь, облизывали те места.

которые вылизывала мать, будто надеялись насытиться ее слюной, но рот волчицы был сух.

Щенки перестали даже слабо скулить, и волчица решила осторожно, головой и лапами, подтолкнуть их вперед, щенки взвизгнули, а когда мать попыталась действовать суровой – снова упали на землю.

Все усилия волчицы ни к чему не привели.

Голод почти добил щенят.

Мать не стала больше подталкивать их вперед, отойдя в сторону, села. Влажный запах с Востока теперь ощущался сильнее, сообщая волчице, что приходит конец их мучительному походу, какое-то время она неотрывно смотрела в ту сторону, затем, заворчав, оглянулась на волчат. Щенки, словно почувствовав что-то важное для себя в ворчании волчицы, перестали скулить, поднялись и, шатаясь на дрожащих ногах, с растущим смятением смотрели на мать. Поводя хвостом, волчица внимательно оглядела щенят, и в этот миг только она сама, да еще прапамять щенков позволяли понять, о чем говорит ее взгляд.

Вдруг волчица, точно так же, как Серый, бросилась под ноги щенкам, растерявшись волчата на миг отпрянули назад, затем что-то словно придало им сил, они устремились вперед и, каждый со своей стороны, вцепились в горло матери, но, как ни старались, им оказалось не под силу разорвать шкуру, и эта их немощь разгневала волчицу. Чувство голода было столь сильно и в ней самой, что она не чувствовала боли, вернее, в это мгновение голод и боль смешались друг с другом, мать-волчица инстинктивно желала, чтобы для нее все поскорей завершилось, но, с одной стороны, немощь, бессилие, с другой – неопытность, а еще, наверное, не оставившая их до конца даже сейчас врожденная привязанность, не давали волчатам смелости разорвать горло, убить мать.

На шее волчицы выступила кровь, вкус свежей крови пробудил у щенят алчность хищников, и они с возросшим усердием вгрызлись в горло матери, но никак не могли добраться резами до гортани волчицы.

Мать-волчица покорно лежала, закрыв глаза, внезапно она ощутила запах сочащейся из горла собственной крови, и в этом ощущении проявилась весть, связанная с муками голода, эта весть дразнила и соблазняла ее, в ней на миг, инстинктивно, пробудилась волчья, животная суть.

Глаза волчицы открылись, она невольно взглянула в чистую синь

неба, затем ее веки бессильно опустились, словно в этой чистоте еще явственней уловила влажный запах с Востока, этот запах смешался с запахом сочащейся из ее шеи свежей крови, и в слиянии этих запахов жизни, волчица вновь обрела неведомую внутреннюю силу, гневно зарычала, затем резким движением оторвала от зубов щенят шею, откинув голову, отползла назад, подставив щенятам свое брюхо.

Она инстинктивно желала помочь им.

Когда мать освободила шею от зубов волчат, те поначалу растерялись, не понимая, что она хочет сказать, сообщить им, но затем чувство неуверенности прошло, и даже как будто истаяло привычное родное тепло, исходящее даже в эти мгновения от матери-волчицы, и лишь только она, в последний раз зарычав, подставила брюхо под их клыки, щенята, тут же сообразив, что говорила, чего желала, что требовала от них напоследок мать, бросились к брюху волчицы, вгрызаясь в податливую, с редкой шерстью шкуру между высокими сосками, ощутив мягкость и вкус плоти, они сунули морды в брюхо матери, разорвали печень волчицы, вымазавшись в крови и утробной жидкости, стали жадно заглатывать вырванные куски.

Мать-волчица не чувствовала никакой боли, видно, все ее ощущения закупорились, как сосуды, ее мозг больше не воспринимал ничего.

Повизгивания щенят, которые разрывали ее печень, были последними звуками, что слышала волчица-мать на этой земле, затем ей почудилось, что они по-прежнему сосут молоко, что ее соски в молоке и слюне ее щенков, – затем жизнь ушла из нее.

...наевшись, набравшись сил два волчонка резво и упорно шли друг за другом...

Инстинкт вел их на запах влаги, доносящийся с Востока.

2009, январь

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
Маленькая птичка на алмазной горе (Лев Аннинский)	6
Желтый пиджак (перевод А. Орлова.)	21
Поезд. Пикассо. Латур. 1968 (перевод Г. Митина.)	30
Мотоцикл за пять копеек (перевод И. Золотусского.)	39
Броня (перевод Р. Фаталиева.)	51
Красный медвежонок (перевод А. Орлова.)	59
Напротив старой мечети (перевод Э. Тахтаровой.)	66
Голубой, оранжевый (перевод А. Орлова.)	77
Первая любовь Баладаша (перевод А. Орлова.)	88
Отчаяние лисы (перевод И. Крупника.)	100
В снегу (перевод А. Орлова.)	112
Ходят по земле поезда (перевод А. Орлова.)	122
Навес (перевод Н. Сарафаникова.)	129
Смоковница (перевод А. Орлова.)	145
Шушу туман окутал (перевод А. Орлова.)	170
Сказка соловья (перевод В. Портнова.)	193
Свадебная баня Баладаша (перевод В. Портнова.)	199
Тесные туфли (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	213
Отель Бристоль (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	230
Чинара (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	240
Двое в сером пространстве (перевод Э. Везировой и В. Портнова.) ...	245

Автокатастрофа в Париже (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	253
Пять минут и вся жизнь (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	268
Сказала роза соловью (перевод Т. Калякиной.)	280
Последнее утро (перевод Э. Везировой и В. Портнова.)	309
Самый счастливый на свете (перевод Г. Ковалевича.)	325
Смерть Сталина (перевод Г. Ковалевича.)	338
Ночи ясные, ночи лунные (перевод С. Мамедзаде.)	349
Красные гвоздики в отеле «Пера-Палас» (перевод Н. Расулзаде.) ...	354
Звездная пора небес (перевод Н. Расулзаде.)	372
Сары Гялин (перевод Н. Расулзаде.)	394
Арба (перевод Н. Расулзаде.)	409
Карабахское шикесте (перевод Н. Расулзаде.)	432
Байрагдар (перевод С. Мамедзаде.)	454
Волки (перевод А. Мустафазаде.)	496

Эльчин
РАССКАЗЫ

Директор издательства	Э.А.Алиев
Директор типографии	С.О.Мустафаев
Технический редактор	М.Г.Ханбабаева
Корректор	С.А.Ашурбекова
Компьютерный дизайн	С.А.Алиев

Подписано к печати: 05.04.2010.
Формат 70x100 ¹/₁₆. Ф.п.л. 32. У.п.л. 41,3.
Офсетная бумага. Тираж 500.

Издательство **“Чашыоглу”**.
Типография **“Чашыоглу”**.
г.Баку, ул. М.Мушфига 2Е., Тел: 447-49-71



Жизнь

Поэзия

Мир

2
787098

Бранчи

Красной небесной

Старости старой нести

Волшебной оранжевой

Первая повесть Валадиса

Отражение души

В снегу

Ложит на земле позора

Навес

Снохобница

Шушу туман окутала

Сказка голубья

Свадебная балла Валадиса

Темные туманы

Стелья Бристоль

Чинара

Двое в сером пространстве

Автакатастрафа в Париже

Пять минут и вся жизнь

Сказка роза голубья

Последнее утро

Самый сладкий мир на свете

Смерть Стихия

Новый день, ноги чужие

Красные гвоздики в воде

"Перо-Получе"

Звездный перо небес

Сирень Тюльпан

Арба

Корабовское микесто

Вайрагаар

Восхи